

Васіль

Быкаў

7 том

Поуны збор
твораў



Грамадскае аб'яднанне
Саюз Беларускіх Пісьменнікаў

Грамадзянская ініцыятыва
Агульнанацыянальны рух

«ВОЛЯ НАРОДА»



Васіль Быкаў

*Поўны збор твораў
у чатырнаццаці тамах*

Рэдакцыйная калегія:

БЫКАВА І. М., КАЗАКОЎ В. М., ПАШКЕВІЧ А. А.,
САЧАНКА (ПЯТРОВІЧ) Б. П., СІНЬКОВА Л. Д.,
ТЫЧЫНА М. А., ШАПРАН С. У.

Кіраўнік праекту – КАЗУЛІН А. У.

Васіль Быкаў

Поўны збор твораў

Том

7

Апавяданні

Мінск
Саюз беларускіх пісьменнікаў
Масква
ТАА «Выдавецтва «Время»»
2009

ББК 84Бел7

*Наклад гэтага выдання бясплатна
перадаецца ў бібліятэкі Беларусі.*

Укладанне і каментары
Сяргея Шапрана

Б 95 **Быкаў В.**
Поўны збор твораў. У 14 т. Т. 7. Апавяданні. – Мінск,
Саюз беларускіх пісьменнікаў; Масква, ТАА «Выдавецтва
«Время», 2009. – 480 с.

Гэта першы ў гісторыі Поўны збор твораў Народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава (1924–2003). Падчас укладання тамоў найперш улічвалася думка самога аўтара, які паспеў спланаваць праспект выдання свайго 8-томнага Збору твораў.

Сёмы том Поўнага збора твораў В. Быкава змяшчае апавяданні, пачынаючы ад самых першых і заканчваючы тэкстамі 70-х гадоў.

ISBN 978-5-9691-0428-X



9 785969 10428X

ISBN 978-5-9691-0072-2

ISBN 978-5-9691-0428-x (т. 7)

© Саюз беларускіх пісьменнікаў, 2009

В тот день

Запыленные машины с пушками на прицепах мчались на запад. По обочинам дороги брели толпы подавленных, деморализованных немцев, пустыми оупевшими взглядами провожавших нескончаемый поток нашей артиллерии и мотопехоты. Дорога бежала по долине рядом с шумной и быстрой горной речушкой. Весеннее солнце было высоко над снежными хребтами гор и лило в долину живительные потоки лучей. Цвели акации, мягкой сочной зеленью переливались луга, над долиной стоял благоухающий аромат весны, терпкий запах прения и произрастания. Свежий весенний ветер звенел в решетках радиаторов.

Командиры склонялись к планшетам. Красные стрелки маршрутов тянулись к реке, на которой жирная линия означала место встречи с союзниками. Шоферы прибавляли газу, стремясь вперед, к конечному пункту великого маршрута Отечественной войны.

Миновав небольшой австрийский городок, головная машина полковника остановилась. Впереди длинной сплошной колонной вытянулись наши танки, подоспевшие к демаркационной линии раньше артиллерии и пехоты.

К торжественной минуте первой встречи мы опоздали. Наши чумазные друзья-танкисты уже как старые знакомые обнимались с американскими солдатами, похлопывая друг друга, обменивались скромным фронтовым угощением — сладостной солдатской закуркой. Американцы в коротких свободных куртках цвета хаки, в широких шароварах, с неуклюжими пистолетными кобурами на животе, держались свободно, как дети, радовались победе и восхищались героизмом советских солдат. Они осматривали наши пуш-

ки, одобрительно поглаживали броню славных Т-34, взбирались на машины и говорили без конца. Немногие из нас знали их язык, но мы понимали их оживленный говор, их улыбки и восторги. В их устах так же славно звучало великое русское слово «Сталинград», искренне и сердечно слышались разноязыкие поздравления в честь победы.

В те первые минуты нашей встречи не видно было американских офицеров. Только спустя некоторое время на наш вопрос американский солдат небрежно махнул рукой в сторону реки. На том берегу толпы чопорных военных, не отрываясь от биноклей и стереотруб, рассматривали встречу их солдат с теми, кто три года героически боролся с общим врагом, терпеливо дожидаясь, пока они пришьют последние пуговицы на своих мундирах. Они боялись этой встречи: в этом мы убедились в первый же день.

Вскоре возле нашей машины появился старшина Овсов с тремя американскими солдатами. Наше внимание сразу же привлек один из них — рослый широкоплечий негр в измятой суконной форме. Он обеими руками сжимал руку старшины, прикладывая ее к своей широкой груди и говорил что-то, не отрывая больших добрых глаз от торжествующе-радостного лица собеседника. Его спутник — худощавый высокий американец, мешая английские и польские слова, старался подробнее объяснить смысл речи товарища.

— Его зовут Джим. Он негр, очень хотел видеть русских. Он говорит, что для того пошел драться с фашистами. Он слышал о Сталинграде и любит Советский Союз.

Наш старшина любил вникать во все подробности. И на этот раз он не преминул спросить у негра, чем ему особенно нравится Советский Союз. Высокий американец быстро перевел вопрос. Негр понял, радостно закивал головой и, все так же прижимая к груди руку старшины и обнажая яркobelые зубы, произнес с большим акцентом, картаво и торжественно:

— Ленин! — и заговорил быстро, торопясь, как бы опасаясь, что русский собеседник не выслушает до конца его сердечную и искреннюю, полную большого человеческого горя речь. В прекрасных глазах негра отразилось страда-

ние честного человека, темного, обманутого, угнетенного, но живого и жаждущего справедливости и правды. Неподдельная искренность его возбужденной и печальной речи понятно звучала на незнакомом языке, и мы слышали в ней и жалобу, и вопль отчаяния, и надежду быть понятым незнакомыми солдатами великой армии-победительницы.

Вокруг американцев и старшины образовался тесный кружок солдат — танкистов, артиллеристов, пехотинцев. Затаив дыхание, все вслушивались в слова солдата-союзника, то безысходно-тоскливые, то гневно-грозные.

Высокий американец, с трудом подбирая полузабытые польские слова, переводил:

— Он негр! Разве это не говорит вам о всем. В полку его не считают полноценным человеком, офицер бьет его сапогами. В Штатах он не имел работы, в армии ему дали оружие и кусок хлеба. А что будет после войны — он не знает, у него нет семьи: негр в Соединенных Штатах не может ее иметь. Он счастлив видеть русских, которые уважают все нации.

А негр говорил. По его черным с бронзовым отливом щекам скатились и застыли на подбородке две скупых мужских слезы. Но вскоре он оправился после первых впечатлений нашего заботливого внимания, голос его зазвучал твердо и гневно. Его спутники стояли рядом с ним и, уронив головы, печально смотрели перед собой. Слетела улыбка радости и с лиц наших солдат. Светлый весенний день великой победы омрачился печалью черного человека, в отчаянии взывающего к справедливости.

— Джим — храбрый солдат. В Руре во время немецкого контрнаступления он с гранатами бросался против немецких танков. Его подвигов умышленно не заметили. Но это чепуха. Он дрался потому, что ненавидел фашизм, а не для похвалы. Но вот недавно наш полковой командир сказал, что после войны с немцами следует передушить негров и красных. Мы возмущены. Все честные солдаты возмущены. Но что могут сделать солдаты, если так говорят сенаторы?..

Негр продолжал свою гневную речь. Вполголоса, часто запинаясь, стараясь подобрать понятные нам славянские

слова, говорил его спутник. По тону его слов не трудно было понять, что он не безразличен к тому, что так волновало его друга, не безучастен к несправедливости.

— Наши политиканы не любят вас, русских. Перед отплытием из Штатов нам говорили, что разгромить немецкую армию должна Красная Армия, а установить «демократию» в Европе — долг американцев. Так наши генералы разделили обязанности в войне. Мы думали: «Нет! Европа не захочет нашей «демократии». Европа уже пережила гибель наций, не угодных фашизму. Она не пожелает видеть травлю загнанных негров. Народы Европы ждут демократии с той стороны, откуда восходит солнце... Им не нужна свобода хищного доллара...».

Это была глубокая и сильная обличительная речь. Мы вспомнили тогда многое, что в этот день вытеснила из памяти всеобъемлющая радость победы: и нечеловечески тяжелые 1941–42 годы, и обидную медлительность открытия второго фронта, и оскорбительное прощупывание наших сил в трудные первые месяцы войны.

Несколько помолчав, солдат-переводчик сказал:

— Джим говорит, что он давно бы погиб, если бы не жаждал видеть русских и сказать им правду...

По краю дороги, с трудом пробираясь в людской массе, медленно двигались два «виллиса». Поровнявшись с нашей машиной, они остановились. Из переднего выпрыгнули двое младших офицеров и грузно выбрался одутловатый толстый майор. Негр умолк. Сдвинув брови, он удивленно смотрел на офицеров, как бы соображая, зачем они тут. Наши солдаты расступились. Толстый майор первым подошел к негру и хриплым голосом пропойцы что-то прокричал. Все трое солдат сняли свои автоматы и отдали приехавшим офицерам. Майор, заикаясь, произнес длительную фразу по-английски, и мы уловили два понятных слова — «коммунисты» и «митинг».

Двое спутников негра молча направились к «виллисам», негр же задержался, взглянул на нашего старшину и, порывисто обхватив его плечи своими мощными руками, прильнул губами к звезде ордена Славы на груди. Одут-

ловатый майор удивленно произнес: «О-о!» и схватил негра за плечо куртки с погоном. Но наш старшина мог владеть собой при всяких обстоятельствах и так взглянул в заплывшие глаза майора, что тот, нервно задергав руками, отступил на шаг. Потом старшина обратился к солдату-переводчику, который уже сидел в «виллисе».

– Скажите господину офицеру, что русские солдаты не позволят трогать негра на этом берегу.

Американец перевел. Майор снова произнес свое удивленное «О-о!» и отошел к «виллису».

Негр крепко пожал руки наших ребят, долгим пристальным взглядом всматриваясь в лицо каждого, стараясь надолго сохранить в памяти образы русских солдат, о встрече с которыми так страстно мечтал он, этот человек из-за океана.

«Виллисы» умчались. В бинокли мы следили за удаляющимися машинами американцев. Толстый майор не нарушил предупреждения нашего старшины: на этом берегу он не тронул арестованного негра. Но мы видели, как «виллисы» остановились на середине моста, как майор подозвал негра и ударил его по лицу его же боевым автоматом.

Мы запомнили эту весеннюю встречу с двуликим миром — миром честных угнетенных тружеников и миром плутократов-реакционеров.

[1949 г.]

В первом бою

Николай Бережной лежал на соломенной подстилке рядом с командиром первого орудия. Впервые за много дней он познал чувство удовлетворенности, какое обычно приходит к человеку, достигшему после долгих мытарств цели. Прошедший день был полон забот и впечатлений, и теперь Николай, пользуясь покоем и тишиной, мысленно осваивал свое новое положение.

Теплая майская ночь стояла над селом. В неподвижном воздухе растекались густые запахи цветущих вишен, молодой березовой листвы, а временами в этот душистый аромат весны вкрадывались горькие запахи пожарищ. Усыпанное звездами темно-синее небо было высоко, спокойно и торжественно.

Во дворе в походной готовности стояли две противотанковые пушки, а между ними на плащ-палатках и шинелях лежали солдаты. Лошади, попарно привязанные к передкам, спокойно жевали сено, изредка отряхиваясь и позвякивая удилами. Утомленные дневными хлопотами люди спали. Только силуэт часового смутно маячил у ворот на фоне звездного неба.

Минувшей ночью Николай Бережной прибыл в третий батальон, а утром принял взвод «сорокапяток». Вечером комбат вызвал командиров и приказал всем подразделениям находиться в боевой готовности. Дивизия стояла в резерве, но в любую минуту могла быть брошена в бой.

С каждым днем Николай все явственнее ощущал медленное, но неуклонное приближение к тому роковому часу, с которого начнется и его схватка с врагом. Энергичный и смелый, он с нетерпением ждал первого боя. Каков будет этот бой, как сложатся обстоятельства? — было загадочно,

но молодой командир ощущал в себе достаточно сил и верил в мощь боевого оружия. Фантазия, забегаая вперед, рисовала яркие картины горячих боев и самоотверженных подвигов. Но здоровый трезвый ум понимал разницу между юношескими мечтами и суровой действительностью.

В последнее время Николай реже стал думать о себе. Он был командиром, и на нем лежала ответственность за жизнь людей, за боевую технику. Чувство этой ответственности было несколько ново, незнакомо.

По природе своей он не был замкнутым: воспитанный в коллективе, он никогда не переживал наедине ни радостей, ни горестей. И теперь, как никогда раньше, ему захотелось по-дружески, сердечно поговорить с близким человеком.

Но кругом все спали. Слегка похрапывал командир первого орудия сержант Погребняк, раскинув руки, скороговоркой бормотал невнятные слова ездовой Голиборода. На одной шинели лежали наводчики Митяев и Еронин. Это были опытные солдаты, они уже давно пережили полные неясной тревоги ночи перед первым боем.

Один ездовой первого орудия хлопотал еще возле своей пары. Он хозяйственно подбирал раскиданное лошадьми сено и вполголоса добродушно ворчал.

Николай встал, скрутил цыгарку и подошел к солдату.

— Что, все кормите? — спросил он.

— Ничего не поделаешь: Пуля у меня очень уж беспокойная: разбрасает свое сено и тянется к Быстрому: он и не наедается. Приходится вставать и кормить.

— Надо, конечно... А скажите, вы давно на фронте?

— С самого начала. Как немец подошел к Днепру, так меня и мобилизовали. Так что с сорок первого...

Николай видел, что ездовой непрочь был поговорить со своим новым командиром.

— А страшно было в первом бою? — спросил Николай, с любопытством всматриваясь в малознакомое лицо солдата.

— Как вам сказать? — не сразу ответил ездовой. — Оно, известно, спервоначалу не очень весело, но, знаете, на войне, как и на работе: задание или там приказ надо выполнять. В первом бою, помню, мне командир говорит: «Бери, Гарпенко, пулемет и айда на левый фланг — не дай нем-

цам обойти». Я и побёг. Отбивался до ночи, а немцев не пустил... Было страшно, да еще как...

Николаю понравился этот пожилой бывалый солдат, его простодушная непосредственность, добросовестное отношение к своим солдатским обязанностям. После короткого молчания он снова спросил:

– Гарпенко, а где ваш прежний командир взвода?

– Лейтенант Кузьмин? Он погиб под Николаевкой...

Гарпенко замолчал, глядя вдоль пустынной улицы, где край неба над селом вспыхивал мутным отсветом зарниц. В ночной тишине доносились глухие залпы артиллерийской батареи. Эхо далекого боя то нарастало, то вновь замирало.

– Лейтенант Кузьмин был хороший командир, – продолжал Гарпенко. – Смелый был. Воевать умел и нас приспособил... А вот погиб нелепо...

– Как же это?

– Наступал наш батальон на Николаевку. Хорошее было село – на бугре, посреди чистого поля. Мы поддерживали пехоту, а пехота залегла и не поднимется: сечет немец пулеметами, нет никакого тебе продвижения. Вот лейтенант и говорит Погребняку: «Ты смотри тут, а я пойду к кургану, понаблюдаю, откуда это он стреляет». А пули так и визжат в воздухе. Мы говорим: «Пригнитесь, товарищ лейтенант», – а он не слушает и идет во весь рост. Гордый был, не хотел на виду у нас пулям кланяться. Ну, смотрим – схватился за грудь, упал. Мы с Семеном Ерохиным – он тогда еще вторым номером был – бросились к нему, да поздно: уже мертвый.

Солдат умолк, протяжно вздохнув, и погодя прибавил:

– Конечно, как говорится – на людях и смерть красна, но все же эта смерть никудышная.

Разговор свелся к теме о смерти, чего не любил Николай. В свои двадцать лет он редко думал о ней, и хотя знал о ее зловещем касательстве к его солдатской судьбе, почему-то считал, что воевать ему придется долго. Гибель его предшественника неприятно подействовала на Николая, и он с горечью думал, что вот такая смерть не оставила даже хорошего воспоминания в сердцах его солдат.

«Смерть тоже должна быть красивой, как и жизнь, как и борьба», — заключил про себя Николай.

Огненные отблески на горизонте стали шире, гул артиллерии усилился. Где-то слева заухала дальнобойная батарея, и весенняя ночь встревожилась и насторожилась...

Так и не пришлось тогда уснуть командиру взвода Николаю Бережному. Прибежал связной от командира батальона и, торопясь, передал приказание стягиваться в батальонную колонну на западном выезде из села.

Сонное прежде село огласилось шумом поднятых подразделений, окриками командиров. По улице метались связные, телефонисты сматывали связь, съезжались обозники.

Когда взвод Бережного выехал на западную окраину, батальон был уже в сборе. Поднятые по тревоге солдаты собрались наспех и теперь, стоя в строю, перевязывали скатки, поправляли обмотки, терпеливо ожидая команды, привычные ко всему.

Было очевидно, что полк направляется на передовую. Николай хотел подробнее знать обстановку и ближайшую задачу. Но с младшими офицерами он еще не успел познакомиться, а спросить у командира батальона не посмел, стыдясь обнаружить свое преждевременное любопытство.

Скоро колонна тронулась. Николай увидел, как в ночном сумраке закачались передние ряды, и подал команду своему взводу. Он шел впереди первого орудия и, привычно чувствуя мерное движение людской массы, сам сливался с нею. Чувство этого слияния вселяло что-то крылатое и сильное, что наполняло душу радостным волнением и заслоняло загадочную неизвестность завтрашнего дня.

По колонне передали:

— Командир взвода ПТО — к комбату!

Придерживая полевую сумку, Николай побежал в голову колонны.

«Что-нибудь важное, — мелькнула мысль. — Наверное, приказ». Догнал комбата, хотел доложить, как требовалось по уставу, но тот перебил, деловито сказав:

— Возможен встречный бой. Так что смотри, будь наготове. Когда батальон развернется, следуй за восьмой ротой. Комроты уже знает. Он тебе поставит задачу. Понял?

— Так точно.

– Боеприпасов достаточно? Бронебойные держи под руками: могут понадобиться... Ну все.

Николай откозырял и пошел навстречу своему взводу.

– Ну, хлопцы, повоюем, – сказал он, обращаясь к артиллеристам.

– Что ж, за этим идем! – просто ответил замковый Андреенко.

– Скорее бы, а то пока до фронта дойдешь – сапоги сносишь, – пошутил широколицый ефрейтор Юсуфов.

Хорошее настроение солдат приятно подействовало на командира. Он слегка волновался, но твердая решимость держаться смело совсем утвердилась в нем. Ощущая необычайный взлет энергии, он сам себе казался сильным и решительным.

Батальон выделился из полковой колонны и свернул на узкую проселочную дорогу. Ряды солдат перестроились по три, повозки застучали по ухабам. Артиллерийская стрельба оставалась левее, затихала. Небо на востоке посветлело, принимая зеленовато-мутный оттенок. Звездный ковш Большой Медведицы перекосялся. Близилось утро.

Николай вглядывался в светлеющую даль и думал...

– Пусть пойдут танки... Пусть пойдут, – безмолвно твердил он. – Я подпущу их на 400 метров и расстреляю в упор. Корректировать огонь второго орудия буду сам, а Погребняк и так справится: он парень смышленный.

И перед глазами явственно предстали горящие металлические громадины с черно-белыми крестами.

Батальон расчленился. Ездовые съехали с укатанной дороги, и колеса мягко зашуршали по мокрой от росы кустистой озими. Восьмая рота, за которой следовал взвод Бережного, перевалила через покаты́й холм и, развернувшись в цепь, начала спускаться в лощину. Командир роты приказал Бережному занять огневую позицию на гребне холма, окопаться и прибыть к нему за получением боевой задачи.

«Где же немцы?» – недоумевал Николай. Ему казалось, что рота приняла боевой порядок раньше времени, не сблизившись с противником. Он опасался, что пехота слишком удалится от орудий и ему не удастся наладить огневую связь с ней. Но Николай подчинился приказу пехотного командира и сам расставил орудия.

Светало. В своей утренней мгле выплывали неясные формы незнакомой сильно пересеченной местности. Справа тянулся редкий перелесок, у подножья холма, сквозь белесый туман испарений, поблескивала речушка. Увидев ее, Николай понял, почему командир роты оставил его пушки на гребне этого холма.

В мягком грунте расчеты быстро отрыли укрытия, закатали пушки, укрепили сошники. Николай оставил за себя Погребняка и, позвав Юсуфова, пошел искать командира восьмой роты.

По полусгнившему бревну они перешли речку и поднялись на взгорок. Николай шел быстро, и низкорослый Юсуфов то и дело отставал, вприпрыжку нагоняя потом своего командира.

За взгорком Николай ожидал увидеть залегшую цепь, но она, вероятно, ушла дальше, за перелесок. Он сильно смутился за опасный разрыв с пехотой и почти бегом пустился по ложине.

Что произошло в последующие мгновенья, он не увидел, не услышал, а скорее почувствовал. Подчиняясь бездумному инстинкту самосохранения, он упал. И только тогда, лежа на комковатой пашне, глянул вправо, в дальний конец ложины, где из опушки молодого ельника выползали два желтовато-пятнистых танка. В ту же секунду несколько пуль короткими упругими ударами прошли почву возле него, взбив крохотные облачка пыли. Николай, не пригибая головы, недоумевая смотрел вправо, пока не услышал за собой слабый стон. Он напомнил ему о связном, и Николай повернул голову.

Юсуфов лежал ничком в шаге от его ног. Руки его были неестественно подвернуты, а голова воткнулась теменем в мягкую вспаханную почву. Николай понял все, когда увидел мокрое красноватое пятно на остриженной голове своего солдата.

Танки беспорядочно стреляли из пулеметов и на полном ходу двигались вперед по полевой дороге. Только теперь Николай заметил эту дорогу, пролежавшую в шагах пятнадцати перед ним.

Они приближались. Николай уже слышал сквозь сердитый рокот моторов металлический лязг гусениц, видел

прерывистые вспышки пулеметных очередей. С неотразимой отчетливостью он осознал необходимость действия. Но, кроме пистолета, у него ничего не было. Он повернул голову, ища глазами автомат убитого, и увидел в оттопыренном кармане его брюк рукоятку противотанковой гранаты. Быстрым движением он выхватил ее и в то же время что-то сильно стегануло по правому предплечью. «Ранен!..» Смешанное чувство глубокой обиды и отчаянной ярости охватило все существо офицера. Танки близились, а правая рука Николая мертво лежала на земле; из набрякшего рукава гимнастерки стекала и впитывалась в рыхлую землю густая застывающая кровь.

В эти несколько мгновений он оценил и постиг всё: танки пройти не должны, а левой рукой тяжелую гранату далеко не кинешь...

Где-то в глубине души мелькнуло, еле коснувшись сознания, горькое чувство досады за короткую жизнь и такой неудачный преждевременный конец. Вспомнилась смерть лейтенанта Кузьмина и пословица, сказанная ночью ездовым Гарпенко...

Нет, не ради славы... В этой узкой лощине никого не было. Один мертвый Юсуфов будет свидетелем его гибели, и никто не расскажет солдатам о его подвиге.

Неистово урча, танки неслись по полевой дорожке, готовые вот-вот проскочить мимо. Николай зубами вырвал чеку, поднялся на локоть и вскочил навстречу...

Огромная стальная машина столкнулась с человеком, желтое пламя оглушило его страшной болью, и все кануло в вечность.

...Из-за перелеска в чистое небо брызнули первые золотистые лучи восходящего солнца. Справа и слева разгоралась стрельба, батальоны вступали в бой.

[1949 г.]

Смерць чалавека

Чалавек ляжаў у непрытомнасці.

Пякельны боль ран і неадчэпныя страшныя пачвары безупынку катавалі яго знясіленае цела. Асабліва дапякаў аглушальны, пранозлівы крык, поўны нечалавечай лютасці і жаху. Часам крык трохі слабеў, адступаў кудысьці, і тады наўкола ў дзікім карагодзе з'яўляліся нейкія вострыя, нібы шклянныя аскалёпкі, агромністыя косыя плоскасці. Чалавек, як апантаны, кідаўся прэч, шукаючы ратунку, а бязладныя аскалёпкі накідваліся на яго, рэзалі і калолі цела вострымі краямі. Зноў з усіх бакоў наступаў злавесны крык, і пакуты, дасягнуўшы мяжы магчымага, заглушалі і без таго слабыя праявы жыцця ў паўмёртвым арганізме.

Так прадаўжалася доўга. Чалавек то кідаўся ў непрытомнасці, ратуючыся ад пачвараў, то зусім заміраў пад цяжарам нясцерпнага болю.

І раптам усё скончылася. Адляцелі кудысь страшыдлы, спыніўся крык, і ў пакалечанае цела паволі вярнулася жыццё. Рэальны свет, так далёка адсунуты пакутамі, з'явіўся перад чалавекам ва ўсёй яго выразнасці, як пасля страшнага сну, які прыпыніўся ад раптоўнага прабуджэння. Розум вярнуў амаль звычайную яснасць, фізічны боль, хоць і не ўняўся зусім, страціў ужо былую пякельнасць, і толькі празмерная слабасць, непадуладная ні волі, ні фізічнаму намаганню, моцна трымала чалавека ў сваім палоне.

У тую ж хвіліну, калі чалавек адчуў сябе ў рэальным свеце, ён зразумеў, што гэта прыйшла смерць.

Чалавек ляжаў на спіне, амаль увесь хаваючыся ў рослай лясной траве. Расплюшчыўшы вочы, ён убачыў над сабою павіслыя ўгары галіны маладых алешын, з камлёў

да верху густа прыбраных лісцем. Ніжнія лісты, буйныя і зялёныя, ахопленыя цішшу, ужо хіліліся долу. Між імі ад лопуху і папараці непрыкметна ўзнямаўся вячэрні паўзмрок. Угары на альховых вяршалінах развітальным бляскам ірзелі косыя сонечныя промні. Дробныя далёкія лісточкі там краталіся на лёгкім ветрыку, які то сціхаў зусім, то ціха варушыў самыя тонкія галінкі.

Чалавек быў моцнага складу, шырокай касці, плячысты і прысадзісты. Акрываўленая вайсковая гімнасцёрка з чырвонымі пятліцамі, парваная ў некалькіх мясцінах, адкрывала шматкі белай сарочки і валасатыя грудзі – таксама са слядамі падсохлай крыві. Буйныя выразныя рысы схуднелага твару сведчылі пра адкрытасць і мужнасць характару. Цяпер твар быў парафінава-белы. Белізна гэтая, ненатуральная пад густым чорным шчаціннем, рабіла непазнавальным узрост чалавека. Нядаўні баец нагадваў цяпер вязня, які толькі што выйшаў з сутарэння. Спакучаныя вочы яго глыбока запалі пад касцісты лоб, і, як цень блізкай канчыны, навокал іх бралася смяротная празрыстая сіль.

Чалавек варухнуў распластанымі рукамі, спрабуючы ўзняць іх. Правая з цяжкасцю зрушылася з месца, а ў левай чалавек нечакана адчуў цяжар, непадуладны яго сіле. Спакваля ён намацаў пад пальцамі нешта круглае і металічна сцюдзёнае, немаведама зачым сціснутае ў руцэ. Другім намаганнем ён усё ж узяў руку і ўбачыў у ёй каструбаватую чорную «лімонку», зараджаную і годную да дзеяння.

Намаганні ад першых рухаў балючай грывасай адбіліся на твары і сутаргай прайшліся па целе. Чалавека апанавала такая слабасць, што кожная спроба крануць мускулам выклікала пакуты. Чалавек не ведаў, дзе былі яго раны, што заўчасна падарвалі сілу, не адчуваў нідзе асаблівага болю, толькі ў грудзях было неяк вельмі пуста.

Апусціўшы руку з гранатай, ён падумаў, што трэба канчаць, пакуль яшчэ не затуманіўся розум. Паміраць марудна, пры памяці, сярод цішыні летняга вечара было да агіды нязносна яго некалі энергічнай, дзейнай натуре.

Граната, што невядома як апынулася ў яго, прыйшлася дарэчы...

Дык вось, значыць, які канец твой, чалавеча...

Колькі думаў аб ім, разважаў, а такога, аднак, не прадбачыў. Усё здавалася, што смерць будзе гераічнай, на вачах у людзей і дорага абыдзеца ворагу. А выйшла так, што прыйдзеца самому спыніць уласныя пакуты, і ніколі ніхто не даведаецца, як памёр чалавек...

«Ну, што ж! Так будзе лепей... шкада толькі, што гэтак марна...»

А розум і думкі, перамагаючы смяротныя прадчуванні, у гэтыя апошнія хвіліны ўпарта чапляліся за жывое: за лёс барацьбы, з якой ужо назаўсёды выбыў баец. Ён не мог толькі меркаваць, як даўно абарвалася змаганне, бо непрытомнасць выкрасліла з памяці нейкі адрэзак часу.

«Дзе ж рота? – думаў чалавек. – Дзе сябры? Няўжо зноў адышлі, не стрымалі?...»

Іх было нямнога, надта нямнога для таго, каб лічыцца ротай. Фашысцкія танкі шчыльна прыціснулі іх да пераправы, і тут, у алешніку і ўзбярэжным лазняку, яны счাপіліся ў смяртэльнай схватцы.

У памяці ўзнавілася тое апошняе імгненне, за якім ужо пачаўся змрок і непрытомнасць.

...Граната ўдарыла ў танк гэтак моцна, што, здавалася, не ўзарваўшыся магла праламаць браню. Гэта была апошняя супрацьтанкавая граната, і баец уклаў у яе ўсю ярасць і ўсе сілы, якіх тады нямала было ў яго. Ён не кінуўся прэч, не ўпаў на зямлю, толькі сцяў зубы да болю ў сківіцах і сам сціснуўся, гатовы і з голымі кулакамі кінуцца на ворага.

Выбух быў моцны і, здаецца, зрабіў сваю справу. Баец паспеў толькі адчуць гэта, а потым здарылася нешта, што ўжо вырвала яго з жыцця.

Сцішаны ветрык зноў лёгкім шолахам прабег па вяршынах, перабраў лісточкі і на момант развееў іх санлівы спакой. У гэты час чуйны ў цішыні слых чалавека злавіў у лясным шэпце глухі, быццам з зямлі вынікшы гул. Спа-

чатку незразумела было, з якога боку пачаўся ён, але потым, па меры таго, як ён мацнеў і шырыўся, можна было вызначыць напрамак яго з'яўлення. Гул нарастаў, усё больш запаўняў сабою прастор і паступова ператвараўся ў грукат.

Вочы чалавека акругліліся. У іх з'явіўся слабы бляск, які адбіваў насцярожаную ўвагу і намаганне зразумець сэнс новай з'явы. На твары першы раз адлюстравалася напружанне думкі, яно ажывіла змучаныя пакутамі рысы, і ў глыбіні вачэй нарадзілася нейкае жаданне.

Чалавек з хвіліну ўслухоўваўся. Ён не мог успомніць як далёка, але ведаў, што дзесьці побач павінна быць дарога, якую абараняла іх рота. Відаць, цяпер там нікога не было, і фашысцкія танкі калонамі паўзлі на ўсход – усё далей па захопленай здратаванай зямлі. Мімаволі ўваччу паўсталі бачаныя нядаўна фанабэрлівыя твары захопнікаў, і нянавісьць зноў хлынула ў аслабелае сэрца.

Няўхільны прыступ смерці, здаецца, затрымаў сваё развіццё, саступіўшы месца мацнейшым за яго праявам жывога.

Непрыкметна абарвалася недзе і зусім знікла думка аб уласным няшчасці, і ўмомант нарадзіўся новы намер. Зразумеўшы, што азначае грукат, чалавек забыўся нават пра сваё бяссілле і памкнуўся ўзняцца. Калі ж гэта яму не ўдалося, ён, учапіўшыся за куст папараці, перакаціўся на бок.

Неадольнае жаданне дзейнічаць усё болей авалодвала ім. У цяперашнім яго стане ён ужо не адчуваў звычайнага чалавечага страху. Ён толькі прагнуў сыйсціся з ворагам, каб адпомсціць яму за тысячы бед, за людскія пакуты і за сваю заўчасную смерць.

Прага да змагання ўзгарэлася ў ім так моцна, што чалавек, здаецца, адчуў, як у цэле прыбавілася сілы, якой не было хвіліну назад.

Чалавек запхнуў у кішэню гранату і марудна, пераадольваючы ўсеабдымную слабасць, працягнуў уперад руку, каб ухапіцца за нятоўсты альховы камель. У пальцах не ставала моцы абхапіць яго, і скручаная пяцярня слаба зачাপілася за гладкую кару дрэва. Потым таксама павольна і няўпэўнена працягнуў ён да алешыны другую руку –

яна была такая ж слабая і дрыжала. Сутаргава торгаючыся, чалавек падцягнуў сваё важнае цела, затым, узняўшыся з травы, перанёс рукі вышэй па ствале, каб устаць на ногі. Крохкае дрэўца размахыста гайдала верхавінай, але трымалася і, як магло, дапамагала чалавеку.

Грукат тым часам усё мацней. Ён ужо не толькі непадзельна панаваў у паветры, заглушыўшы ўсе іншыя гукі, але, здавалася, пранік у глыб зямлі, і тая дробна несціхана дрыжала. У чалавека ад слабасці таксама дрыжалі калені, а яму здавалася, нібы гэта нагам перадаецца ліхаманка зямлі.

У першы момант чалавек ледзь зноў не страціў прытомнасць. Галава неяк згубіла раўнавагу, зрабілася важкай і ўвесь час хілілася ўніз. Абапёршыся на алешыну, чалавек хістаўся разам з дрэўцам, а ў вачах яго гайдаліся лес, неба і хвалямі разыходзіліся чорна-барвовыя кругі. Не маючы надзейнай апоры ўгары, ён не мог трывала стаяць на зямлі – яна здавалася няцвёрдай, угіналася пад нагамі і ўладарна цягнула яго да сябе.

Пачакаўшы і крыху прызвычаіўшыся да новага стану, чалавек, усё яшчэ не выпускаючы з рук выратавальнай алешынкi, зрабіў крок наперад. Тады дрэвы і светлыя плямы неба, што віднеліся скрозь лісце, нечакана хіснуліся ўбок, разам з імі гайданулася зямля, і чалавек, раней чым паспеў зразумець, што адбылося, зноў адчуў гаркаваты цвілы пах долу.

Першая няўдача не пахіснула намеру чалавека. У яго яшчэ ставала сілы, а больш чым сілы было жадання дабрацца да дарогі. Чалавек і ў жыцці быў упарты, і цяпер, у апошнія хвіліны, упартасць гэтая ўдзесьцярыла яго фізічную здольнасць.

Звычайным рухам чалавек падцягнуў пад сябе нагу, праз густую траву прасунуў наперад руку і падаўся сам. Потым – другую нагу і другую руку. Праз гімнасцёрку на баку выступіла шырокая мокрая пляма – гэта недзе адкрылася рана.

Чалавек папоўз. Цяжка дыхаючы, губляючы долу згусткі крыві, ён упарта разгортваў траву і прасоўваў наперад

сваё цела. На травяністым шляху яго спалохана ўзлятлі матылі, разбягаліся прэч устрывожаныя жукі і кузуркі. Ззаду за чалавекам цягнуўся няроўны шырокі след.

Дзесьці, ужо зусім побач, скрыгочучы гусеніцамі і люта равучы маторамі, грукацелі танкі. Зямля, не стрымліваючыся, абурана дрыжала, нібы не ў стане была сцярпець на сабе сталёвыя страшыдлы чужынцаў.

Яны былі блізка, і чалавек спяшаўся, каб паспець у час. Пасля доўгіх хвілін руху ён выпаўз на край невялічкай прагаліны, і нечакана яго абыякавы ўжо да смерці розум быў збянтэжаны страшным відовішчам.

У густой сакавітай траве на краі прагаліны працягнутая рука чалавека раптам напаткала перашкоду, і ён, далёкі ад страху, знячэўку ўздрыгнуў. Перад ім, неяк незвычайна закінуўшы галаву і задраўшы ўгору моцныя пашчэнкі, ляжаў забіты. Раскіданыя вакол галавы светлыя валасы пераблыталіся з травою, расплюшчаныя вочы застылым невідучым позіркам углядаліся ў вячэрняе неба.

У чалавека тупым болем зашчымела ўнутры, калі ён пазнаў у забітым таго, хто дагэтуль камандаваў імі, веў праз баі, між смерцяў, падтрымліваючы ў людзях веру ў перамогу. Узняўшы з травы галаву, чалавек убачыў і астатняе, што без слоў растлумачыла зыход страшных падзей на гэтай ціхай лясной прагаліне.

Праз дзесятак крокаў адсюль, расцягнуўшы за сабой гусеніцы, нібы кішкі, скасабочыўся нямецкі танк. Звернуты на бок і апушчаны ў бяссілі ствол яго гарматы бездапаможна глядзеў у гушчар, правае вядучае кола ўпіралася ў корпус другой машыны, ад якой засталася бязладная куча абгарэлага жалеза. Воддаль, у паламаным алешніку, нібы гіганцкі палонік, ляжала вежа з гарматай, адкінутая выбухам. Прагаліна ва ўсіх напрамках была ўзарана гусеніцамі, травяністы дзірван разрыты на шматлікіх паваротах. А вакол танкаў на ўтаптанай траве ў ненаaturalных позах ляжалі людзі – нашы савецкія байцы. Іх было шмат, і ўсе яны былі мёртвыя. Пэўна, не засталася ў іх ніводнага жывога таварыша, каб у роднай зямлі пахаваць іх целы. І яны ляжалі цяпер, як нямыя сведкі лютай сутычкі, у якой яны прыдбалі сабе салдацкую смерць.

Чалавек спыніўся, не адважваючыся прадаўжаць шлях праз гэтую страшную пляцоўку смерці. Боль усё мацней пранікаў у яго пачуцці: сярод забітых байцоў ён з жахам пазнаваў сваіх таварышаў па службе.

Цяпер ён упэўніўся, што ніхто не адступіў адсюль, і ўсе памерлі, да канца выканаўшы свой салдацкі абавязак. Толькі ён цудам ліпіць пакуль што, і ўвасобленая ў ім адным яшчэ прадаўжае жыць іх стралковая рота. З гэтай прычыны такой дарагою здалася чалавеку рэшта яго жыцця, што ён спалохаўся нават, адчуўшы, як моцна ўхапілася смерць за яго аслабелае цела. Не, не можа ён, не мае права загінуць раней, чым зробіць тое, да чаго кліча недавершаная помста мёртвых байцоў!

У свядомасці неяк сама па сабе ўмацавалася ўпэўненасць ва ўдалы зыход яго намагання. Здавалася, святая справядлівасць апошняга абавязку з тае хвіліны ўзяла яго пад сваю ахову.

Сонца, схваўшыся за гушчар, кранулася недзе нябачанай хмурынкі і ў апошні раз раскінула над лесам стромкія шырокія промні. Прагаліну ўжо заслаў дымчаты цень — зачынак ночы, а ў небе над лесам яшчэ было светла і ўтульна. У бязветранай цішы віселі над прасторамі рэдкія хмурынкі, падсветленыя знізу самотным вячэрнім святлом нізкага сонца.

Знемагаючы, чалавек адолеў прагаліну і спыніўся. Далей пачынаўся рэдкі беразняк, а за ім ужо праягала дарога. Толькі паўсотні крокаў аддзяляла чалавека ад яго мэты, ад яго апошняга рубяжа. Ужо можна было адрозніць па грукаце і лязгу на дарозе, як праходзілі паасобныя машыны. Рух там не спыняўся, але дыстанцыя між танкамі прыкметна павялічылася: відаць, калона канчалася.

Чалавек ведаў, што трэба паўзці, а сіл ужо амаль не было. Некалькі доўгіх хвілін ён ляжаў ніцма, не варушаючыся. Нялёгка і страшнае відовішча мёртвай прагаліны зусім знясілілі яго. На момант крануўшыся свядомасці, недзе ў адчуванні мільганула непрытомнасць, памутнела ўваччу.

Чалавек спалохаўся, што зноў пазбавіцца пачуцця, і намогся зрабіць яшчэ некалькі рухаў.

Ішлі хвіліны. Заміраючы ад бяссілля, чалавек пасоўваўся крыху наперад, а потым зноў доўга ляжаў без руху. Пачуўшы, як слабее супраціўленне, смерць зноў насела на яго, і чалавеку не было чым абараняцца. Раз-пораз урываліся ў голаў пякельныя здані, і адчуванне рэчаіснасці чаргавалася з кашмарамі. Усё больш працяглымі рабіліся правалы ў аслабеўшай памяці, чалавек забываўся аб сабе, толькі недасягнутая мэта ўпарта трымалася ў свядомасці. І, пэўна, толькі яна яшчэ давала сілы супраціўляцца смерці.

У лесе цямнела. Дол ужо затуліла змрокам, у ім схваўся чалавек і яго шлях, поўны пакут і болю.

Цяпер чалавек больш ляжаў, нерухома распластаўшыся на зямлі. Толькі зрэдку, нібы прачнуўшыся, нязграбна ўпіраўся нагамі і пасоўваўся на крок уперад.

Розум чалавека знесіляўся ў барацьбе з нябачным ворагам, які ўсё больш адольваў яго. Нібы ўрыўкі чужых размоў, у галаве скакалі думкі-фразы, звернутыя да ўсяго, што дапякала чалавеку. Тут былі і праклёны ворагу, і сварка з назаляўшай слабасцю, і падбэдзёрванне сябе. І ўсё гэта працякала адвольна, без удзелу волі чалавека, так, нібы розум меў яшчэ сілу і сам па сабе рабіў сваю справу.

Невядома, колькі прайшло часу, але ў адно з кароткіх прасвятленняў чалавек адзначыў, што стала зусім цёмна. Спачатку яму здалося, што ён аслепнуў, але, прыўзняўшы твар, убачыў зоркі над недалёкімі цёмнымі вяршалінамі. Чалавек зразумеў тады, што дасягнуў свае мэты, толькі запозна. На прыдарожную траву ўжо асеў пыл, узняты танкамі, далёка на ўсход аднеслі захопнікі новыя няшчасці. На шырокай дарожнай паласе між лесу было пуста і мірна, нібы нічога і не адбылося тут: ні вайны, ні заўчасных чалавечых смерцяў.

Вострае адчуванне няўдачы бяссільнай крыўдай прарвалася ў свядомасці. Ён заплакаў, бадай, першы раз за шмат пражытых год. Заплакаў так, як плачуць моцна пакрыўджаныя дзеці ці выжытыя з сіл старыя: ён ужо не мог заглушыць распачы, што хлынула ўслед за крыўдай.

Не сябе было шкада яму, а крушэння той апошняй надзеі, якая мацней за слабыя сілы цела ўтрымлівала яго ў жыцці.

Усёй істотай чалавек адчуваў, што хутка ўжо наступіць хвіліна, калі канчаткова пагасне яго жыццё.

Мінула яшчэ трохі часу. Чалавек, зусім ужо пазбаўлены сіл, пераадолеў дзесятак метраў і споўз з травяністага адхону. Пульхны дарожны дол, перацёрты гусеніцамі, быў яшчэ цёплы, як попел свежага вогнішча. У ім патанулі абмяклыя рукі чалавека.

Незвычайнае напружанне, якое ўвесь час узбуджала сілы, адразу ўпала. Чалавек слабеў і ўжо не імкнуўся нічым супрацьстаяць гэтай слабасці. Розум зноў пачаў напаўняцца туманам, сталі з'яўляцца пачварныя, страшныя істоты, зноў дапякалі кашмары.

І раптам, нібы ад знешняга штуршка, чалавек схямнуўся і ачнуўся. Нейкае трывожнае прадчуванне назаляла яму, і чалавек не адразу ўцяміў, што яно азначае. А потым, не ведаючы яшчэ, тое гэта было ці не, ён намацаў рукою кішэню і выняў гранату. Прывычным рухам пальцы адагнулі чакі, а зубы, у якіх больш захавалася моцы, выцягнулі яе з запала. Зноў адчуўшы набліжэнне млосці, чалавек, не адпускаючы планкі, сунуў гранату ў пясок пад свае грудзі.

Пэўна, гэта было тое, дзеля чаго абудзілася свядомасць, бо за ім наступіў супакой.

Хутка прыйшло забыццё, і смерць, канчаткова перамогшы, назаўсёды спыніла жыццё.

Было далёка за поўнач. Ужо прастыў дарожны пясок і закалянела цела нябожчыка. Бліскучы аднабок і месяц, як заўсёды, праплыў сваім шляхам па зорным небе і схваўся за вяршаліны дрэў.

З-за павароткі, асвятціўшы бліжня дрэвы і дарогу, з моцным бязладным трэскатам выкаціў атрад матацыклістаў. Пук яркага святла з фары пярэдняга, праразаючы цемру, роўна слізгаў па дарозе. Нечакана, угледзеўшы перашкоду, матацыкліст крутнуў убок і спыніўся. За ім прыпынілася калона.

– Агледзець! – скамандаваў ён.

Двое падначаленых ускочылі з матацыклаў і кінуліся выконваць загад. Яркае святло з фар кінула па адхоне іх галінастыя, хісткія цені.

– Рус, – сказаў немец, які раней за іншых падбег да цела. Моцным штуршком нагі ён перавярнуў труп на спіну.

– Рус зальдат, – дадаў гітлеравец.

Пярэдні схапіўся за рычаг, каб уключыць газ, але не паспеў. Ярка-чырвоная бліскавіца рванулася з-пад нябожчыка, аглушыла, люта пырнуўшы ў бакі мноствам гара-чых смертаносных асколкаў...

Так памёр Чалавек.

1951 г.

Абознік

Уз'ехаўшы на пагорак, Максім спыніў коней і прыслухаўся.

Над схаванымі ў цемры прасторамі ціха ляжала летняя ноч. Слабыя подыхі цёплага ветрыку асцярожна неслі з сабой кволяя шolahі ніў і густыя духмяныя пахі выспелых мурожных сенажацяў. У нябачным травяністым наваколлі старанным хорам верашчалі конікі, недзе ўдалечыні глухімі ўздыхамі аддавалася гарматная страляніна, угары, прыкрыты цемрай, праракатаў і сціх «кукурузнік». Павевы ветру даносілі і іншыя гукі, невыразныя і падазроныя, але тых, што намагаўся ўчуць Максім, не было ў начной цішыні.

Тады закралася сумненне, якое парушыла разважлівы спакой чалавека. Апаслівыя думкі заснавалі ў яго галаве, але трэба было або ехаць наперад, або вяртацца назад. Намаганнем волі Максім усё ж адагнаў благія прадчуванні і, разважыўшы, рашыў, што батальён павінен быць далей, наперадзе. Гэтае меркаванне хоць і не суняло ўзнікшай трывогі, але крыху супакоіла чалавека. Коні, нібы зразу-меўшы намер гаспадара, ахвотна падаліся па мяккай палявой дарозе.

Максім Корань – ездавы сёмай роты. Гэтую вайсковую пасаду заняў ён нядаўна, і прычынай таму быў яго ўзрост – Корань лічыўся самым старым салдатам у роце. Максім цяперразумеў, што з такімі гадамі хоць і давялося трапіць на фронт, але ваяваць ужо наўрад ці прыйдзецца. Ёсць у войску старшыны, якія заўсёды цікуюць старога, каб са строю забраць яго да коней або да кухні ці яшчэ куды, дзе патрэбны дбайны, надзейны гаспадар. Праўда, Максім не вельмі і нудзіўся па тым стралковым узводзе, у якім ён

нядоўга служыў дагэтуль. «Эт,— разважаў ён,— калі нягож у страі, дык і няма чаго лезці туды. Начальству лепш відаць, дзе тваё месца». Нядаўна па загадзе старшыны прыняў ён пару спраўных трафейных коней і цяжкую, акутую жалезам вайсковую каламажку.

Так пачалася яго служба на новай пасадзе, служба спакойная і аднастайная, мала чым падобная да вайскавай. Максім ведаў толькі клопаты пра коней ды паклажу, выконваў старшыновы загады, асцерагаўся бамбёжкі ды баўся часам задрамаць на возе, каб не адстаць ад аboзу. Пад бамбёжку, праўда, трапіць не давялося, а адстаць вось здарыўся выпадак.

«І як недарэчна выйшла, — думаў Максім. — Каб ён згарэў, той вобад. Трэба ж было яму збракаваць у цемры. Даганяй цяпер батальён, шукай сярод ночы».

— Нэ-нэ, любяя, варушыся, — упаўголаса, лагодна падганяе Максім коней, седзячы на перадку, і немаладымі вачыма імкнецца разгледзець што-небудзь наперадзе. Але ноч выдалася не па-летняму цёмная, у ёй і з добрым зрокам нічога нельга было ўбачыць. Зямля да раніцы старанна схавала сваё аблічча, каб заўтра сустрэць сонца новым, пасвяжэлым харакствам. Толькі высокае зорнае неба, уладарна ўзнёсшыся над ёю, поўнілася бляскам і няспынай мітуснёю зор.

Злёгка варушачы лейцамі, Максім з непрыемнасцю думаў, што цяпер, пэўна, пападзе ад старшыны. Адноўчы між імі ўжо была сутычка: старшына задаў перцу ездавому, не абышлося, вядома, і без моцнага слова.

Яно крыўдна, праўда, але, бадай, справядліва.

Максім і сам невялікай думкі аб уласных якасцях. Дый якія там якасці, калі чалавеку з паўсотні год, маладосць пражыў цёмным мужыком, без пісьменнасці, у працы ды нястачы. Нават і чыгункі не бачыў ніколі, і дзе яе ўбачыш, калі да найбліжэйшай станцыі было дзевяноста вёрст. Так, у лясной глушы, пад панскай уладай і ішло жыццё. Толькі ў 39-м з'явілася надзея, акрыяў духам, ды ненадоўга. Зноў жыццё пайшло вірам, у вайну загінуў старэйшы сын, памерла старая... Дый сам пастарэў да часу, знік былы спрыт

у працы, надламаўся характар. Дзе яму цяпер раўняцца з маладымі ды разумнымі. «Ну і хай, – суцяшае сябе Максім, – хоць бы і абознік. Усё ж трэба камусьці быць і пры возе...»

А коні Максіму спадабаліся. У сваім жыцці не давялося мець добрых, дык цяпер вайсковыя не на жарт захапілі сялянскую душу байца. Што і казаць: добрыя былі коні, у гаспадарку б такіх, у плуг з накаваным новым лемехам, на ўрадлівую зямлю...

Так, крыху паспакайнеўшы, думаў ездавы, а коні ішлі як самі хацелі – дзе трушком, а дзе і крокам. Яны ўжо мінулі поле і дасягнулі хваёвага ўзлеску, які змрочнай сцяной паўстаў на Максімавым шляху. Дарога стала пясчанай, і фурманка амаль не скрыпела і не стукала. Толькі зрэдку, трапіўшы на карнявішча, яна аднабока перавалвалася пярэднімі і заднімі коламі. У гэтай таемнай лясной прыцішанасці Максіму зноў зрабілася нікавата, і ён, сілячыся не бразнуць чым, каб не парушыць цішыні, узяў з воза вінтоўку.

Пэўна ад надакучлівай адзіноты Максім прыпомніў былы свой трэці ўзвод, камандзіра аддзялення татарына Сагітава, які вучыў яго страляць і акупвацца. З акупваннем, праўда, справа ішла паспяхова, а вось у стральбе не шанцавала Максіму. «Які ўжо там з мяне стралец, – ухмыляецца ездавы, – у жыцці ружжа не трымаў, не то што вайсковай стрэльбы». Аднак, трапіўшы надоечы да коней, ён выпрасіў у старшыны вінтоўку, а трафейны карабін аддаў назад.

– Бо ямчэй мне з ёю: усё ж руская. Ды і даўжэйшая, далей возьме, – вытлумачыў Корань.

Цяпер гэтую вінтоўку прымасціў ён на каленях, але ў такім стане яна перашкаджала кіраваць коньмі, і Максім узяў яе на рэмень. Потым, прызвычаіўшыся да лясной дарогі і крыху супакоіўшыся, баец уздзеў яе за спіну, як і належала ездавому.

Неўзабаве лес скончыўся і зноў пачалося поле. Цемра нібы парадзела, расступілася, але па-ранейшаму воддаль ад дарогі нічога нельга было ўбачыць. Коні ступалі жвава,

ім таксама надакучыла падарожжа, і яны прыкметна імкнуліся наперад.

А ноч зачароўвала хараством. Струменілі раслінныя пахі, цёплай дрымотаю павяваў ласкавы ветрык, і ў недасяглай вышыні незразумелай мігатлівай музыкай трапталіся зоркі. Дні стаялі спякотныя, з рэдкімі пераходнымі навальніцамі, ад нагрэтай зямлі за поўнач зыходзіла цеплыня. А раніцай збажына і даспелыя травы зіхацелі срэбнымі росамі, і ззялі ў доле іскрыстыя зоркі, нібы апаўшы з неба ўначы.

Захоплены думкамі, Максім не адразу заўважыў, што коні чамусьці прыцішылі хаду і нарэшце нерашуча спыніліся. Ездавы спрабаваў быў тузануць лейцамі, але гэта не падзейнічала, тады ён не замарудзіў злезці. Праз колькі крокаў перад ім у цёмным небе высіўся адзінокі крыж раздарожжа. Вузенькая дарожка дзялілася на дзве, і тыя, абышоўшы змрочнага «Ісуса», разыходзіліся ў розных напрамках.

Максім благім словам памянуў цёмную ноч і тое няладнае кола, што прымусіла яго блукаць немаведама дзе, мо' нават ужо ў тыле ворага. Максіму раптам стала боязна, ён хуценька ўскочыў на сваё месца і звярнуў улева. Але, не праехаўшы і сотні крокаў, ездавы спыніўся, падумаў і крута завярнуў назад паўз крыж, на другую дарогу. Цяпер ужо было відавочна, што абознік Максім Корань заблудзіў, адстаў ад сваіх, згубіў батальён, і хто ведае, куды выедзе ў гэтай цемры на незнаёмай мясцовасці. Зноў узнікла трывога, ды ўжо мацнейшая, чым першы раз, трывога і адчуванне страху, няўпэўненасці, калі няма яснай думкі ў галаве, а расшыраныя вочы імкнуцца пранікнуць у цемру.

І раптам зусім блізка наперадзе надрыўны вокліч скалануў цішыню. Ад нечаканасці спалохана захрапілі коні, а ў Максіма, здаецца, адарвалася сэрца і жудаснае здранцвенне на якую секунду адабрала розум і сілы. Мімаволі сама па сабе шыбанула ў голаў страшная здагадка – немцы!

На другі такі ж вокліч Максім рвануў лейцы, – коні, адчуўшы нядобрае, паслухмяна кінуліся ўбок, але ў тое ж імгненне з цемры ўдарыла аўтаматная чарга. Максім адчуў

толькі, як, лязгнуўшы па коле, рыкашэтам зыўкнула куля. Коні знянацку рвануліся, а ён, не ўтрымаўшыся на краі сядзення, нязграбна бразнуўся з брычкі.

«Вось і ўсё, канец!»

Ні жалю, ні думкі, адно самотнае прадчуванне пагібелі ахапіла ездавога. Жах скаваў розум, цела апанаваў халодны панылы боль. Максім не кратаўся, у смяротнай роспачы сутаргава ўпіліся ў імшыстую мякаць пожны яго вузлаватыя пальцы.

Без руху з паўхвіліны Максім усёй істотай чакаў апошніх стрэлаў, якія прыкончылі б яго, але стрэлаў чамусьці не было. Тады паволі пачала вяртацца развага.

Яшчэ не адчутае да канца нешта новае, падобнае на злосць, з'явілася ў яго настроі. Максім крануўся – моцна балела плячо і нага, але асаблівых пашкоджанняў, здаецца, не было. Ён хацеў ужо ўставаць, ды пачуў непадалёку таропкія крокі і цяжкае чалавечае дыханне. На зорным фоне відаць было, як зусім блізка, баязліва прыгнуўшыся, прабеглі ўслед коням дзве цьмяныя постаці. Максім адразу пазнаў гэтыя ненавісныя постаці: надоўга адбіліся яны ў памяці чалавека. «Яны ж забяруць фурманку», – шыбанула новая думка, і крыўда хлынула ў сэрца старога.

Праз нейкі час, калі крыху суняўся першы спалох, у пачуццях чалавека ўзнікла адчуванне адказнасці за свой абавязак салдата. Перамагаючы боль, ездавы павярнуўся на бок і дастаў з-за спіны вінтоўку. Рукі яго дрыжалі і ўсё не маглі зладзіць з тугім затворам, і наогул ён не ведаў, што зробіць зараз, толькі жаданне неяк супраціўляцца ўсё болей мацнела ў ім.

Максім узняўся і, згорбіўшыся, кульгаючы на правую нагу, падаўся ўслед за ворагамі. Зараджаную вінтоўку ён ухапіў за канец ствала і бяссільна цягнуў яе, нібы цяжкую і нязручную прыладу.

Збянтэжаны і ўзрушаны здарэннем, у гарачцы хвалявання ён дрэнна ўяўляў сэнс падзей і, бадай, трапіў бы ў рукі ворагаў, калі б тыя першыя заўважылі яго. Але гітлераўцы, злавіўшы напалоханых коней, пэўна, рашылі, што ездавы ўцёк, і, пачакаўшы крыху, павярнулі ў свой бок. Максім тады і сустрэў іх.

Адчуўшы спрыт і асцярогу, што раптам з'явіліся ў ім, ездавы адскочыў убок і прытуліўся да зямлі. Зноў перад ім, непрыкмечаным, прайшлі немцы: адзін веў за павады яго коней, а другі, што ішоў ззаду, спыніўся і пастаяў, хвіліну прыслухоўваючыся.

Максім узняў вінтоўку. Яму з долу добра бачны быў варожы сілуэт, які чорным ценем заслانیў край зорнага небасхілу. Максім наставіў стрэльбу на ворага, але стрэліць так і не адважыўся. У апошняе імгненне, калі трэба было ціснуць курок, смеласць пакінула яго. Задні гітлеравец, відаць, нічога падазронага не ўчуўшы, сказаў нешта таму, што веў коней, і яны абодва ўзлезлі на былое Максімава месца на возе.

Так ворагі, коні і фурманка з ротным дабрэм зніклі ў начной цемры.

Тады ездавы, абапёршыся аб дол рукамі, сеў на травяністай імшарыне побач са сваёй вінтоўкай і ўжо не спрабаваў стрымацца. Канчаткова ахапіўшая яго распач выціснула з грудзей цяжкі, пакутлівы энк. Гэты энк, спалохаўшы ў цішы самога Максіма, нечакана абудзіў яго, прымусіў зірнуць на сябе аднекуль збоку, вачыма другога чалавека, чалавека разумнейшага ў жыцці і мацнейшага ў барацьбе. Потым ён адчуў асуджэнне і дакор сабе, агідна бездапаможнаму ў такі рашаючы час. Цяжкія няўцешныя думкі, поўныя бязлітаснай насмешкі над сабой, паплылі ў немаладой яго галаве. Хоць і не першы раз у жыцці напаткала Максіма бяда, але гэтая была зусім іншага складу, чым усе перажытыя. Яна агіднай ганьбай запляміла чалавечую яго вартасць, падсекла надзеі, дарэшты зняславіла ранейшае жыццё чалавека. Як было пасля такога здарэння ісці ў батальён, дзе кожны дзень паміралі людзі, маладыя і больш вартыя, чым ён? Як было жыць, калі пасля гэтага ўжо нічога не заставалася ў душы, апрача вечнай агіды да сябе?

Дык няўжо гэта канец? Няўжо толькі пагібель з'явіцца справядлівай збаўцай ад нясцерпных пакут? Чаму ж тады ён павінен так недарэчна, пагана памерці, а злачынцы-ворагі застануцца жыць і ўчыняць яшчэ не адну смерць добрым людзям.

Усвядоміўшы глыбіню сваёй бяды, ездавы зразумеў, што ёсць у ім нешта мацнейшае за звычайную чалавечую смерць. Пачуццё салдата паступова, але рашуча пачало браць верх, заглушыўшы ўсё іншае, асабістае, якое цяпер выявілася ў ім самым благім чынам.

Усё настойлівей з'яўлялася жаданне дзейнічаць, яно хутка аформілася ў намер і стала непахісным. І хоць вялікі быў яшчэ маральны боль, але на сэрцы ўжо палягчэла, і памалу пачало ўзнаўляцца ранейшае адчуванне злосці. Гэта вярнула сілы, і баец хутка ўзняўся, падхапіўшы вінтоўку.

Дзіўна нават было, адкуль узялося ў Максіма гэтулькі энергіі і спрыту, калі ён пусціўся наўздагон ворагам. Каржакаваты і нязграбны, ён шпаркім крокам сігаў па полі, то прыгінаючыся да зямлі, каб лепш бачыць наперадзе, то намагаючыся ступаць як мага хутчэй і цішэй. У гэтыя хвіліны ездавы ні аб чым не думаў і нічога не адчуваў, апрача ўпартага жадання дагнаць праціўніка.

Невядома, ці доўга ён гнаўся, як пашанцавала яму не збіцца з кірунку, але нарэшце ўбачыў Максім знаёмы сілуэт сваёй фурманкі з няпрошанымі седакамі на перадку. Тады ездавы, на колькі быў здольны, узброіўся хітрасцю і асцярогай, нячутна зайшоў збоку і на хаду прыблізіўся да ворагаў. Яго выстаўленая наперад вінтоўка амаль кранала бліжняга немца. У грудзях моцна білася сэрца, здавалася, вось-вось гучна вырвецца сцятае дыханне і ўсё загіне. Немаладыя ўжо сілы байца падыходзілі к канцу.

Грымотны стрэл рускай трохлінейкі аглушыў усіх – і ворагаў, і Максіма. Крайні немец неяк бясшумна знік пад фурманкай, а другога Максім, дранцвеючы ад жаху, з усяе апошняй сілы выцяў вінтоўкай па галаве.

Далей усё пайшло з нейкім шалёным імпэтам. Максім, падхапіўшы лейцы, вялікім паўколам завярнуў фурманку і дзікім, несваім голасам гікнуў на коней. Ім, напэўна, перадалася ўзрушанасць гаспадара, бо без пугі і новых крыкаў яны так паімчаліся ў цемры, што Максім, паўмёртвы ад перажытага, з вялікім намаганнем трымаўся на возе, які цяжка кідаўся з боку ў бок, грукаець і падсакваў. Баец зусім не ведаў, куды кіраваць, і ў выбары напрамку цалкам

даверыўся коням. І коні імчалі без супынку, наўскасяк мяжыстых палосак шархатлівай збажыны, па глухой мякаці бульбянішчаў, пераехалі неглыбокі высахлы раўчук, асакаватую балацявінку і, нарэшце, непадалёку ад змрочнага лесу выбіліся на нейкую дарогу.

Максім тады спыніў фурманку, прыслухаўся і на поўныя грудзі ўдыхнуў пасвяжэлага падранак паветра. У правым вуху, нібы парваная струна, тоненька звінела ад стрэлу, ва ўсім целе, схаладзелым ад ліпкага поту, з'явілася млявасць, як пасля цяжкай шматгадзіннай працы.

Пачынаўся досвітак. Змрок парадзеў, на ўсходзе святлела неба, гасячы зоры. Наперадзе ля лесу пачуліся галасы, іх адразу пазнаў Максім – то былі свае.

Толькі тады раптоўна неяк зразумеў ездавы, якой вялікай бяды пашанцавала яму пазбыцца ўначы і як пакутліва далася яму маленькая перамога. Ён парадаваўся яшчэ, што ўсе жахі тыя засталіся ззаду, і, хутка губляючы сілы, моцна захачеў спаць. Мабыць, упершыню так выразна адчуў чалавек, што шмат ужо год за плячыма, а за гэтую ноч прыбавілася яшчэ, – бадай, з дзесяць.

1951 г.

Страта

– Матузка, а Матузка! Аглух ты, ці што?

Над шэрай кучай зямлі пад плотам перасталі ўзлятаць угору дробныя камякі і паказалася аблезлая пілотка і кірпаты, апечаны сонцам твар.

– Лейтэнант кліча, не чуеш? – сказаў вусаты баец Піліпчук, які, пазвоньваючы медалямі, акупваўся побач.

Матузка зірнуў убок дарогі з вербнымі прысадамі, дзе, высунуўшыся з канавы, нешта махаў яму іх камандзір.

– Матузка!! – гукаў лейтэнант. – Бягом за вёску, перадай Галкіну, каб у лес цераз лагчыну не пусціў ніводнага фашыста. Сам пакуль што застанешся з ім. Давай хутчэй!

Калі загадана – трэба бегчы. Баец пашкадаваў крыху свайго ўтульнага сховішча, але што зробіш? Прыхапіўшы вінтоўку, ён спрытна выскачыў з акупчыка і, шыгнуўшы пад жэрдку паламанага плота, апынуўся ў агародзе.

Летняе сонца ў бясхмарным небе ўжо з раніцы набрала сілу і моцна паліла прастор. Вялае бацвінне, не ачуняўшы за кароткую ноч, бяссьільна ляжала на сухой зямлі; жоўклі і курчыліся на градах агурковыя калівы. Капуста і тая згарнула абмяклае лісце і зморшчылася, нібы пастарэўшы да часу. Шморгаючы ў агародніне загнутымі наскамі стаптаных ботаў, Матузка бег між градак і не азіраўся назад, дзе над выганам паспешліва акупваліся яго таварышы – байцы паходнай заставы, уранку напаткаўшай ворага.

Знарок дзеля маскіроўкі баец трымаўся гумнаў і агародаў, і хутка яму трапілася сцяжынка, якая вілася ля саду. Цераз паркан на абцяжараных галінах звісалі буйныя, яшчэ недаспелыя яблыкі, хлопец, па-дзіцячаму азірнуўшыся, на бягу сарваў адзін і памчаў далей. Рухавасці ў яго хапала,

хутка неслі ногі, і заўзята, без роздуму, сігаў ён цераз высокія платы і драцяныя загароды. Першае самастойнае баявое заданне было прычынай яго незвычайнай энергіі і спрыту. Хоць Матузка і не першы дзень на вайне, але неяк здаралася, што яму не давялося трапіць у бой: усё выпадаў рэзерв або марш ці другі эшалон. Толькі вось сёння, здаецца, будзе нешта сур'ёзнае.

Так, па загуменнях і агародах, Матузка амаль ужо мінаў вёску. Захоплены ўласным спрытам і жвавасцю, ён на час забыўся пра пагрозлівыя абставіны, таму зусім нечакана для яго ўгары заверашчэла нешта страшнае і, страсянуўшы наваколле, грывнулі тры выбухі. Якраз у тым кірунку, куды трэба было бегчы, у адно імгненне знесла саламяную страху з хаты. У паветры мільганулі кроквы, шматкі саломы, кавалкі коміна, і ўсё знікла ў гушчары садоў, толькі воблака пылу ціха папльыло ў блакітнае неба.

«Міны», — падумаў Матузка і здзівіўся, адчуўшы пад сваім целам цвёрдыя галінастыя сцяблы бульбоўніку. Падаць не меў ён намеру, а выйшла гэта неяк само сабой, неўпрыцям. Страшныя выбухі развеелі ўзнёслы настрой байца, але, каб не траціць часу і не напаткаць якой бяды, Матузка не стаў асабліва смуткаваць і яшчэ паскорыў бег.

* * *

Зрубленая з яловых вярхоў, счарнелая ад дыму і часу старэнькая лазня, у якой шмат гадоў мыліся людзі гэтай вёскі, набыла цяпер новае значэнне. Яна стала апорай непрыкрытага правага фланга, над якім навісла цяпер пагроза абыходу і які асабліва непакоіў лейтэнанта. Гэта было глухое месца наводшыбе, ля самага лесу. Вакол лазні густа і згодна лезлі ўгору і ўшыркі был'нёг, крапіва, дзядоўнік і іншая раслінная непатрэба, якой нямала развяслося на спустошанай вайною зямлі.

Матузка абышоў лазню, але Галкіна нідзе не ўбачыў. Тады ён прыслухаўся і пачуў шамаценне галля: гэта кулямётчык маскіраваў свой акуп на ўзмежку пад лазовым кустом.

Ён ужо акапаўся і цяпер старанна хаваў сляды свежай гліны, рассыпанай наўкола. Хлопец працаваў распрануты, у прапацелай бруднай майцы, а гімнасцёрка яго ляжала пад дыскамі побач з кулямётам на брустверы.

У паветры тым часам завылі новыя міны, і Матузка, не чакаючы запрашэння, скочыў у цесную ячэйку, якая ледзь змясціла дваіх. Трохі здзіўлены кулямётчык не вельмі прыязна агледзеў нечаканага пасланца. Гэта быў дужы і сур'ёзны хлопец, ненамнага старэйшы, але з выгляду куды мажнейшы за Матузку. Рысы яго твару вылучаліся той грубаватай буйнаватасцю, якая разам з некаторай панураасцю ў поглядзе рабіла яго старэйшым за свае, можа, і невялікія гады. А свежы кірпаты твар Матузкі, на пераноссі крануты рабаціннем, і тонкая постаць падлетка ўжо завельмі маладзілі яго. Такім чынам, розніца ў выглядзе двух байцоў, звездзеных вайсковым лёсам, была даволі прыкметная.

З хваляваннем выклаўшы загад лейтэнанта, Матузка чакаў, што Галкін паскардзіцца на цяжар новай задачы, аднак кулямётчык флегматычна заўважыў, гледзячы ўдалачынь:

– Вядома, не пушчаць, а то абыдуць.

Матузка хоць і бачыў раней гэтага байца, але мала ведаў яго. Галкін служыў у кулямётным узводзе, трымаўся заўсёды сваіх хлопцаў і толькі ўчора быў перададзены стралкам для ўзмацнення галаўной паходнай заставы. Размаўляць жа ім давялося толькі першы раз, таму малады баец хацеў бліжэй пазнаёміцца са сваім часовым начальнікам.

Але Галкін маўчаў, і гэтая маўклівасць усё больш не падабалася Матузку. Ён пачаў здагадвацца, што кулямётчык сваёй негаварлівасцю хоча трымаць яго воддаль, маўкліва напамінаючы маладому салдату, што не час яшчэ ім раўняцца. І сапраўды, Галкін, які быў ад прыроды не лёгкі на слова, гэты раз і зусім не меў жадання пачынаць размовы. З раніцы яго дапякала незразумелая трывога.

Ён ведаў, што з правага боку няма больш нікога, усе сілы паходнай заставы згрупаваны на тым баку вёскі.

Праўда, дагэтуль тут было спакойна, гітлераўцы паказаліся недзе на левым фланзе, спрабуючы, відаць, ударыць па дарозе, але хто ведае іх сапраўдныя намеры? На вайне трэба быць асабліва пільным, каб не даць ашукаць сябе, і Галкін, ладзячы пазіцыю, увесь час пазіраў у нізіну і прыкмячаў усё, што рабілася ў баку ворага.

Ад лазні на ўвесь прасцяг праглядалася нешырокая травяністая лагчына, якая падступала да вёскі. Справа, уздоўж лугавіны, цягнуўся па адхону ельнік, зараснікамі шырокага ўзлеску амаль даходзячы за ўпадзіны. Там, дзе палоска маладога алешніку заходзіць далёка ў нізіну, гітлераўцы могуць паспрабаваць прабрацца ў лес, каб абысці вёску з яе безабароннага боку. Кулямётчык ужо заўважыў у тым кірунку некалькі постацей, занятых невядома чым, і таму байцу было зусім не да размовы.

Прыціснуўшыся да халаднаватай сцяны акопа, Матузка таксама пачаў углядацца ў гэты небяспечны ўчастак. Вінтоўку ён паклаў на бруствер побач з кулямётам, але ў гэты час за вёскай затрашчалі рэдкія стрэлы, і баец падцягнуў яе да сябе. Галкін не зварухнуўся. Схіліўшы набок галаву, ён прыслухоўваўся да гукаў бою і сіліўся зразумець па іх, што адбываецца ў вёсцы. На яго заклапочаным твары не шмат адбівалася думак, аднак ніводная праява яго пачуцця не заставалася непрыкмечанай яго напарнікам.

Тым часам страляніна ў вёсцы мацнела, і міны пачалі рвацца часцей і бліжэй. Матузка ў акопе хоць і не вельмі баяўся, але, не ўмеючы яшчэ валодаць сабою, уздрыгваў пасля кожнага выбуху. Толькі ўпэўніўшыся, што міны не набліжаюцца больш да лазні, ён перастаў турбавацца. Хлопец з радасцю адзначыў гэтую перамену ў сабе і падумаў, што прывыкае.

Праз якую гадзіну бой за вёску пачаў сціхаць. Аўтаматы і вінтоўкі змоўклі, толькі кулямёты яшчэ пускалі доўгія чэргі па далёкіх цэлях. Відаць, першая атака гітлераўцам не ўдалася, і цяпер трэба было чакаць другой.

Трымаючы кулямётны прыклад ля пляча, Галкін не зводзіў вачэй з нізіны – і не дарма. Накапіўшыся ў раўчку злева, гітлераўцы высыпалі ў нізіну і, выстройваючыся

на хаду ў няроўны блытаны ланцуг, кінуліся да лесу. Галкін пачакаў, пакуль усе высыплюць на адкрытую мясцовасць, і пусціў доўгую чаргу.

Ад першых стрэлаў кулямёта Матузка ўздрыгнуў, мацней сціснуў сваю вінтоўку, але стрэліць не здолеў. У яго зашчымела ў грудзях, млосць разлілася па целе. Цяпер толькі ён адчуў і зразумеў упершыню, што вось пачалося тое, да чаго ён рыхтаваўся гэтулькі часу. Узрушанасць была моцная, яна хваляй уварвалася ў душу маладога салдата, але хутка і прайшла. Барацьба, у якую ўжо ўступіў юнак, патрабавала яго непасрэднага ўдзелу, не лічачыся з настроем, і Матузка зразумеў гэта. Прыклаўшыся да вінтоўкі, ён убачыў ля мушкі многа маленькіх фігур, якія паднімаліся, беглі і падалі. Побач страляў кулямёт, і неяк у такт яго стрэлам ці мо ў такт сэрцу, сціснутаму ў грудзях, ва ўсе бакі хадзіў ствол вінтоўкі, не даючы прыцэліцца. І ўсё ж Матузка выбраў момант, зацяў дыханне і стрэліў. Потым яшчэ і яшчэ...

Нечакана сустрэтыя кулямётным агнём з фланга, гітлераўцы спачатку кінуліся наперад, а потым прыцішылі бег. Многія з іх пападалі на лугавіну, іншыя, змяшаўшыся, пачалі бязладна бегчы назад у раўчук, адкуль толькі што выйшлі. Наўздагон ім Галкін апаражніў дыск і вылаяўся, не стрымаўшы злоснай радасці.

Матузка ўслед за кулямётчыкам з прыкметнай неахвотай пакінуў страляць і паклаў на бруствер вінтоўку. На яго твары ззяла такое шчырае захапленне першым поспехам, што Галкін не ўтрымаўся ад усмешкі і, мімаволі паддаючыся настрою памочніка, амаль весела запытаў:

— Ну, як?

— Адбілі, — проста адказаў Матузка. Кулямётчык выцер пілоткай узмакрэлы лоб і, нібы скінуўшы з плячэй які цяжар, зморана ўздыхнуў.

— Нічога, братка, — цёпла сказаў ён, адклікаючыся, відаць, на нейкія свае думкі. — Як-небудзь. Давай папоўнім дыскі.

Ён узяў з-пад ног рэчавы мяшок, наладаваны патронамі, і развязаў ляжкі.

– Патронаў, здаецца, хопіць, а вось хлеба няма. Прыйдзецца патрываць пакуль што.

– У мяне ёсць крыху, – азваўся Матузка, узрадаваўшыся, што чым-небудзь можа ўслужыць старэйшаму таварышу.

– Давай тады заадно падмацуем і жываты, каб весялей жылося. Цябе як завуць?

– Мікалай, – паведаміў Матузка.

– А мяне – Змітрок.

Матузка выняў з кішэні загорнуты ў паперу кавалак усохлага хлеба, разламаў на дзве паловы і большую аддаў таварышу. У гэты час ён быў перакананы, што Галкін зусім някепскі хлопец, з ім можна сябраваць, і пашкадаваў, што яны не пазнаёміліся раней. А Галкін, смачна хрумстаючы яблык з хлебам, піхаў у дыск патроны і думаў, што з маладога байца, пэўна, будзе толк.

Так яны паснедалі несамавітым харчам, павесялелі ў адносінах між сабой і, задаволеныя добрым пачаткам справы, мала думалі, што яшчэ іх чакае.

* * *

Апоўдні над вёскай і полем запанавала нудная няпэўная цішыня. Прасторы, размораныя спёкай, ціха драмалі, адпачываючы ад шматгадзінных трывог барацьбы, ахапіўшай наваколле.

Галкін і Матузка ў дзве пары вачэй сачылі за лагчынай, каб у час заўважыць новыя спробы немцаў абысці вёску. Але ў нізіне і ў полі было зусім пуста. Ніводнай жывой істоты, ніводнага руху не назіралася ўдалечыні, толькі над чаротам, пэўна, на добрае надвор'е, дрыжала гарачае марыва.

Можна было меркаваць, што немцы кінулі намер авалодаць вёскай і адышлі на іншы рубез ці змянілі кірунак наступу. Аднак да хлопцаў ніхто не прыходзіў, і Галкін, як

баец з вопытам, ведаў, што ў такіх выпадках трэба выконваць ранейшы загад.

Разам са спакоем прыйшлі і новыя клопаты. Пасля сухога снадання нясцерпна хацелася піць, а спэка яшчэ больш узмацняла смагу. Нейкі час хлопцы моўчкі змагаліся з ёю, але нарэшце Галкін не вытрымаў.

– Ты з кулямёта страляць умееш? – запытаў ён у таварыша.

– Ага.

– Тады папільнай тут, а я пашукаю вады.

Ён дастаў з рэчавага мяшка пагнуты кацялок і павольнай ходою падаўся за лазню.

Застаўшыся гаспадаром у акопе, Матузка агледзеў дыскі, пацікавіўся, які прыцэл стаіць на калодцы, і, паклаўшы палец на спуск, прымерыўся да кулямёта. Ён адчуваў сябе рашучым і моцным у гэты час, і на момант у яго нават з’явілася жаданне, каб у лагчыне паказаліся немцы. Ужо ён даў бы ім перцу! Толькі да звароту Галкіна нічога не здарылася. Матузка ўволю напіўся смачнай сцюдзёнай вады, а рэшту паставіў пад куст, каб не грэлася на сонцы.

Сонца тым часам пасунулася ў небе і павярнула цень ад куста, які дагэтуль крыху хаваў іх. Стала вельмі гарача, і Матузка, пазіраючы на рудыя плечы сябра, параіў:

– Ты б апрануўся, а то спячэшся.

Галкін паслухаў і, пераклаўшы дыскі на дзядоўнікаў ліст, апрануў заношаную і засаленую гімнасцёрку з двума медалямі «За адвагу».

Уладкаваўшы свае справы, хлопцы зноў сталі пільнаваць лагчыну.

Галкін, мала адпачыўшы ноччу і змораны напружаннем раніцы, адразу пачаў дзеўбаць носам, стоячы за кулямётам. Не давяраючы яшчэ аднаму Матузку, ён імкнуўся назіраць сам, але ўваччу непрыкметна наплываў туман, галава марудна хілілася долу і павісала, амаль кранаючы зямлі. Тады кулямётчык усхоплываўся і як мага шырэй расплюшчваў пачырванелыя вочы, аднак праз хвіліну цішыня, зморанасць і спэка зноў бралі сваё. Матузка трымаўся болей бадзёра. Хоць і на яго дзейнічала нерухомасць

і спакой у полі, але ён не думаў пра адпачынак. Наадварот, бачачы, як стаміўся таварыш, ён яшчэ пільней у соты раз аглядаў поле, якое вывучаў да апошняй драбніцы.

Так прайшло некалькі расцягненых бяздзеянасных гадзін, і ў паўдзённай цішыні выспела нарыхтаваная ворагам бяда.

Спачатку ні Галкін, ні Матузка не звярнулі ўвагі на тое, што дзесьці за лесам нібы чмыхнула нешта раз і другі. Гукі гэтыя былі слабыя і амаль не нагадвалі стрэлаў. І тым не менш з-за лесу ўзяў пачатак і набліжаўся востры прарэзлівы віск. Матузка на нейкую секунду разгубіўся, а потым інстынктыўна ўцяў галаву ў плечы і прыціснуўся да бруствера. У гэты ж момант з аглушальным крэкам цяжка здрыганулася зямля, і блізкі выбух амаль болям аддаўся ў целе. Матузка ўчапіўся за Галкіна, а той, мігам адолеўшы сон, падаўся да кулямёта. Калі ж хлопец глянуў наперад, дык убачыў непадалёку ад акопа дзве свежыя чорныя варонкі, над якімі ў цішыні курылася сухая зямля.

Зрабілася надзвычай ціха, толькі ненадоўга. Зноў – тыя ж глухія гукі з-за лесу, і цераз паднябессе з прарэзлівым скрыгатам паляцелі міны. Галкін схапіў кулямёт і, тузануўшы Матузку, прысеў на дно ячэйкі. Магутныя выбухі ўскалыхнулі зямлю, апаліўшы алешнік на ўзлеску, якраз ззаду іхняга акупчыка.

– Эге, братка, – зірнуўшы са сховішча, сказаў кулямётчык. – Гэта па нас вілку ўзялі. Ну, цяпер трымайся!

І сапраўды, не паспелі хлопцы што-кольвечы падумаць, як зноў угары заверашчала ў шмат галасоў, і шумна ды жудасна панесліся на іх серыя цяжкіх, буйнакаліберных мін. Матузка адчуваў, як з кожным імгненнем, непадуладнае цяпер яму, напружвалася яго цела, а сэрца, пэўна, спынялася, ахопленае прадчуваннем пагібелі. Выбухі грывелі зусім побач і так моцна, што здавалася, пад іх ударамі шчэпалася зямля, на ўсю глыбіню працятая страшнай трацілавай сілай. Адзін гучней за другі, як лютыя перуны, білі яны знямеўшыя ў распачы нетры, і грывотнае рэха калыхала лясныя абшары.

Так цягнулася, здаецца, вельмі доўга. З бруствера на спіны байцоў сыпалася зямля, пахла пылам і нейкім пале-

ным смуродам, а яны, прыпаўшы да самага дна, ні разу не варухнуліся. Амаль фізічны боль пранізваў істоту, і хоць не было ран, Матузка дрэнна адчуваў, жывы ён ці ўжо мёртвы.

Галкін чакаў, калі скончыцца агнявы шквал, ды чакаць давялося доўга. Калі ж выбухі крыху аддаліліся, ён, адчуўшы нядобрае, хуценька падняўся ў акопе і ўскрыкнуў. Карыстаючыся агнявым прыкрыццём, цераз лагчыну ў лес бегла некалькі дзесяткаў ворагаў. Пярэднія дасягнулі ўжо сярэдзіны лужка, і баец схопіў кулямёт.

За таварышам падняўся з акупа і Матузка. Кусты на ўзмежку парадзелі, нібы скінулі лісце; лазня з выбітым вуглом і раскіданай сцяною павалілася на бок. У вёсцы нешта гарэла, і дым рудымі клубамі валіў угору. Травяністы дол наўкола быў перамешаны з зямлёю, а ад багатай расліннасці не засталася і следу.

Зноў трапіўшы пад флангавы агонь, гітлераўцы збянтэжыліся і заляглі. Злосна засакаталі ўдалечыні іх лёгкія кулямёты, і недзе побач у паветры пачулася нядобрае «ф'ю-ф'ю». Хлопцам, аднак, не было калі прыслухоўвацца да новай небяспекі: яны выконвалі загад. Галкін, упёршы прыклад у дужае плячо, разам з кулямётам тросся ўсім целам. Ён баяўся прапусціць хоць бы адзін рух ворага і біў частымі кароткімі чэргамі. Побач, спяшаючыся і хвалюючыся, страляў Матузка, ад перажытага страху яшчэ дрэнна валодаючы сабой.

Гітлераўцы нарэшце зразумелі, што прабіцца ў лес, пакуль на фланзе дзейнічае кулямёт, ім не ўдасца. Відаць, уцямілі яны і тое, што сілы ля лазні невялікія і кароткім імклівым ударам можна знішчыць дакучлівую перашкоду.

Там, у траве на лузе, яны перастроілі свой ланцуг і кароткімі перабэжкамі пачалі пасоўвацца да лазні. Потны і брудны ад пылу Галкін толькі скрыгатаў зубамі: высокая някошаная трава добра хавала ляжачых салдат, а біць адзіночак, якія зрэдку перабягалі, было нязручна і трацілася шмат патронаў.

Злева, за вёскай, таксама разгарэўся моцны бой, там стрэлы і выбухі зліліся ў суцэльны гул, гітлераўцы адразу атакавалі на ўсім участку.

Некалькі хвілін Галкін страляў і страляў, а ворагі, не зважаючы на агонь, павольна, але ўпэўнена пасоўваліся наперад.

— Ах, сволачы! — крыкнуў хлопец, адарваўшыся ад кулямёта. — Паўзуць!

Ён вызначыў, што затрымаць ворага на адлегласці не ўдасца, а наблізіўшыся, гітлераўцы скарыстаюць хмызняк і блакіруюць кулямёт. На твары кулямётчыка адбілася злосць, і вочы заснавалі па прасцягу, шукаючы выйсця. Адчуўшы, што настаў рашучы момант, ён увесь ажывіўся, наліўся сілай і спрытам.

— Мікалай, — звярнуўся ён да таварыша, — вось што, братка: бяры кулямёт і краем лесу шпар наперад. Як зраўняешся з іх флангам — лупяні збоку. Толькі нядоўга: дыскі са два. А я іх падражню адгэтуль.

Усхваляваны Матузка не вельмі разумеў у новым пава-роце справы, але адчуваў небяспеку. Ды і выгляд таварыша сведчыў, што становішча сапраўды сур'эзнае. Не кажучы ні слова, ён вылез з акопа і па ўзмежку, прыгінаючыся як мага ніжэй, падаўся да лесу.

Пасля акопа на паверхні баец адчуў сябе неяк зусім адкрытым і безабаронным. Кулі пасвіствалі побач, падалі галінкі, падсечаныя іх кароткімі шалёнымі ўдарамі. Нядоўга было трапіць пад іх імклівы лёт, і ўжо наўрад ці давялося б падняцца. Страшна зрабілася хлопцу тут, на паверхні зямлі, воддаль ад выратавальнага акупчыка. Але трэба было рабіць сваю справу — бегчы наперад, каб у час памагчы Галкіну, які адзін зараз шчоўкае з яго вінтоўкі. І Матузка шыбаў праз альховы гушчар, не асцерагаючыся галля, што балюча сцябала яго.

Выглядаць з лесу, каб убачыць, дзе немцы, яму не спатрэбілася. Калі іх страляніна стала зусім побач, Матузка збочыў з гушчару і асцярожна высунуўся з-за маладой елкі на краю ўзлеску. Месца гэтае крыху ўзвышалася над лагчынай, і хлопец на момант сумеўся: ён выразна ўбачыў на роўнядзі крывы ланцуг гітлераўцаў, якія адзін за адным ускаквалі, беглі і падалі.

Матузка лёг у жорсткую папараць пад елкай і нарыхтаваў кулямёт. Пакуль ён даставаў дыск, зараджаў і ставіў

прыцэл, прайшло няшмат часу, але менавіта тады настала рашучая хвіліна. Мінныя выбухі зноў затаўклі зямлю ля лазні; немец, што перабягаў апошні за ланцугом, закрычаў штосьці, усе пачалі падымацца і, страляючы з аўтаматаў, хуткім крокам кінуліся да вёскі. Здарылася так, што супраць Матузкі апынуўся гэты задні немец-камандзір, а ланцуг сваім флангам ужо мінуў тое месца, дзе прытаіўся кулямётчык. Малады баец моцна спалохаўся ад думкі, што спазніўся. Як-кольвечы ён прыцэліўся і націснуў спуск. Кулямёт, нібы знайшоўшы выхад злосці, рвануўся ў руках і задрыжаў буйнай сутаргавай ліхаманкай.

Калі б не так гучна грукацеў яго кулямёт, хлопец яшчэ раней пачуў бы новыя гукі, якія з'явіліся за гэты час. У тым баку вёскі, дзе адбівалася галаўная паходная застава, скрозь лютую страляніну пачуліся шматгалосыя крыкі. Адсюль нельга было ўчуць, было гэта «ўра» ці што іншае, ды Матузка і не слухаў. Немцы зноў заляглі, і па ўзлессю пайшоў моцны трэск, сыпаліся галінкі з лістамі, нібы дзесяткі нябачных бізуноў у розных месцах сцябалі дрэвы. Аднак як ні прыціскаліся к долу залёгшыя ворагі, адсюль яны былі відаць кулямётчыку, і ён, змяніўшы дыск, зноў пусціў чаргу.

У той час аднекуль з варожага боку ўзляцела ў неба дымная ракета і, выцягнуўшы хвост, згасла над логам. Немцы тады шалёна ўскочылі і што было моцы кінуліся назад да свайго раўчука. Матузка задрыжаў увесь ад радасці і апусціў прыклад.

Нястрымная весялосць ахапіла кулямётчыка. Аглушаны выбухамі і стрэламі, ён на ўсё горла крычаў адно і тое ж зларадна-дураслівае:

— Ага-а! Ага-а! Ага-а!

Праз некаторы час нямногія ўцалелыя ворагі зніклі ў раўчуку, а ў лагчыну высыпалі ротныя ланцугі падышоўшага батальёна. Матузка, раптоўна зрабіўшыся лёгкім і імклівым, узваліў на плячо гарачы яшчэ кулямёт і па-над узлескам пабег да вёскі.

Многа ператрывала яго душа за гэты дзень, але здабытая перамога хвалюючай радасцю заслانیла цяпер усё

самотнае. Як крыўдныя слёзы маленства, адразу забыліся нядаўнія страхі. Пачатак быў зроблены – цяжкі, але удалы пачатак. Хлопец паваяваў, і хоць не зусім ладна, але, бадай, і не дрэнна. Ён сам адчуваў гэта, быў рады, і радасць яго павялічвалася ўпэўненасцю, што Галкін задаволіцца яго ўмельствам і цяпер, бадай, пасябруе з ім. Што ж датычыць Матузкі, дык ён вельмі жадаў гэтага.

Макрэючы ад поту, хлопец імчаўся па ўгрэтай духмянай траве, радасць падганяла яго, і ён спяшаўся падзяліцца са знойдзеным сёння баявым сябрам.

Яшчэ здалёк Матузка прыкмеціў ля лазні групу афіцэраў (ён пазнаў там камандзіра батальёна) і заўважыў, што яны глядзелі ў гэты бок, нібы чакалі каго. Хлопец пашукаў вачыма Галкіна, але не ўбачыў яго. Не было таго і ў акопчыку, які, пусты і непатрэбны цяпер, туліўся пад лазою. У кусце на ранейшым месцы стаяў кацялок з рэштай вады. Але чаму Змітрок не сустракае яго, няўжо ён стаў зусім абыякавым да свайго былога памочніка? Нешта трывожнае затрымцела ў хлапечым сэрцы, калі ён пралазіў хмызняк на ўзмежку і набліжаўся да камандзіраў.

– Вось ён, гэты кулямётчык, – сказаў камбат, звяртаючыся да незнаёмага, відаць, старэйшага афіцэра.

– Малайчына, – сказаў той. – Малайчына. Прадстаўце да ўзнагароды.

Матузка, аднак, чамусьці змаркатнеў і не адчуваў радасці ад пахвалы начальства: нейкая смутная трывога ўзнімалася ў ім. Сціпла стоячы перад афіцэрамі з узятым да нагі кулямётам, ён адказаў на іхнія пытанні і, адпушчаны, пайшоў памалу на выган да свайго ўзвода.

У вёску прыйшлі ўжо новыя людзі і з поўнай абыякавасцю да ўсяго, што адбылося тут, займаліся сваімі справамі. У дварах гаманілі галасы, стукалі колы па вуліцы; байцы нейкага гаспадарчага падраздзялення маскіравалі галём нагружаныя вазы пад плотам. Абапал дарогі дагаралі хаты, і ўдушлівы едкі смурод пажарышчаў раздзіраў грудзі. У адным месцы з вуліцы Матузка пазнаў садок, ля якога бег раніцай, каб перадаць загад. Нейкая будыніна збоч саду згарэла дашчэнту, апаліўшы сваім полымем суседнія яблыні.

Між імі ўбачыў баец і тую яблыньку ля сцежкі, з якой сарваў надоечы недаспелы яблык. Цяпер чорныя галіны яе маркотна цягнуліся над тынам і, здавалася, у смяротнай распачы прасілі ратунку.

Пад прыдарожнымі вербамі на выгане сядзелі і гаманілі цяпер байцы былой паходнай заставы. З апошняй надзеяй Матузка пашукаў позіркам сябра і, не знайшоўшы, запытаў у Піліпчука, які курыў на абочыне, спусціўшы ногі ў канаву:

– А дзе Галкін?..

– Галкін? – здзівіўся вусаты Піліпчук. – Галкін забіты, хіба ты не ведаеш?

Нешта цяжкае і душнае навалілася на хлопца, зацяло дыханне, і ў вачах скрывілася дарога. Матузка апусціўся на пыльны ўскраек дарогі і абхапіў рукамі кулямёт. Знямоглае за дзень сонца паволі апускалася над лесам, дарога па насыпе, як хрыбціна шчупака, стракацела палосамі ценяў, кінутых вербамі...

Так баец сядзеў доўга і не чуў, што рабілася наўкола. Толькі калі падалі каманду строіцца і байцы выйшлі на дарогу, Матузка падняўся апошні і, падумаўшы крыху, стаў у галаву калоны, дзе ўчора крочыў Галкін і дзе звычайна становіліся ручныя кулямётчыкі.

1956 г.

Тупое пяро

Аднойчы ў абласной газеце давялося прачытаць мне нарыс пра калгасных даярак. Добрыя былі тыя даяркі – працавітыя і сумленныя, і навялі яны мяне на развагу пра нашага пастуха – чалавека вельмі паважанага ў нас, дбайнага і кемлівага. Гэтаму чалавеку калгас шмат чым абавязаны за тое, што нашы каровы сёлета далі столькі малака, што не сорамна стала трымаць іх. Абдумаў я ўсё гэта і засеў за допіс для газеты, Пачаў нібы для пробы, але паступова так улёг у гэтую справу, што дзён пяць узапар нічога не прыкмячаў навокал.

Я быў выкладчыкам мовы, меў пэўны густ у літаратурных стылях, чытаў сёе-тое пра трафарэты, штампы і канцылярызмы, якімі грашаць газеты, і хацеў напісаць свой твор выдатна. Знарок перад тым я прачытаў кніжку аб літаратурным майстэрстве, паглядзеў падручнікі, дзе падрабязна тлумачыліся розныя таямніцы пісьменніцкай справы. У мяне нават з'явілася жаданне яшчэ раз прачытаць «Вайну і мір», каб лепш засвоіць выдатны талстоўскі стыль, і не зрабіў гэта толькі таму, што пабаяўся спазніцца са сваім допісам.

Асаблівых пакут каштавала знайсці свежыя эпітэты, выразныя метафары і вобразныя параўнанні. Гэта было вельмі цяжка, але якая ж добрая літаратурная рэч абыходзіцца без іх?

Нарэшце ўсё было скончана. Упершыню за некалькі дзён я выйшаў з хаты і са сваім шматпакутным творам накіраваўся ў кантору. Над вёскай толькі што прашумеў лівень, з-пад хмар лагодна зірнула нізкае вячэрняе сонца, безліччу іскрынак заззялі мокрыя садкі і гароды, а вербы

на вуліцы яшчэ доўга страсалі на пясчаны дол важкія сцюдзёныя кроплі. Я сігаў уздоўж парканаў, а сустрэчныя неяк падазрона глядзелі на мяне, некаторыя пыталі, чаму пахудзеў і як здароўе наогул. Я ж нічога пэўнага не мог сказаць ім, бо ў маёй галаве ўсё грымотна гучалі радкі майго твора, памерам у тры старонкі. Асабліва падабаўся мне яго пачатак, у які я ўклаў працы больш, чым, бадай, ва ўсё астатняе. Вось ён:

«Ледзь толькі срабрыстыя росы заблішчаць пад першымі промнямі летняга сонца, пастух Іван Свірыдаў выводзіць на пашу свой статак. Ужо з ранку ён поўны клопату пра сваіх бялушак і чарнавак, а яны, відаць, разумеюць гэта і без звычайных злосных крыкаў слухаюць яго».

Далей ішло падрабязнае апісанне пастуховых намаганняў, каб лепш даглядзець жывёлу, накарміць, напаіць і не ўпусціць у шкоду. І калі мой допіс знік у паштовай скрынцы і я вярнуўся дадому, дык столькі радасці свяцілася на маім твары, што ў гаспадыні, у якой кватараваў я, узнікла пытанне, у каго з вясковых прыгажунь закахаўся яе кватарант.

Не ў стане саўладаць з нецярплівацю, я кожны дзень з ранку бегаў у калгасную кантору і самотна чакаў паштальёна. Ён звычайна з'яўляўся пад поўдзень і клаў на стол добры абярэмак пошты. Шмат рук цягнулася да гэтага абярэмка. Многія адразу бралі цэнтральныя выданні, а я хапаўся за невялікі аркушык раённай газеткі, маланкавым позіркам прабягаў па яе старонках, прачытваў загалоўкі розных артыкулаў, а праз момант ужо сумна і без цікавасці разглядаў незнаёмыя прозвішчы шчаслівых аўтараў.

Аднойчы ў канцы ліпеня давялося мне трапіць у наш раённы цэнтр. Уладкаваўшы свае школьныя справы, я накіраваўся ў бакавую зялёную вулічку, дзе змяшчалася рэдакцыя раённай газеты. Над платамі густа стаялі вялізныя старыя вербы і клёны, яны шчыльна хавалі неба, а маладая мураўка рабіла нячутнымі мае крокі. Было ўтульна і лагодна. Аднак нейкая няёмкасць дапякала мяне ўвесь час, пакуль я набліжаўся да ганка рэдакцыі. І пэўна я вярнуўся б назад, калі б у гэты час на парозе не з'явіўся высокі,

вельмі худы і амаль жоўты чалавек у акулерах, які здаўся мне хворым. Я вытлумачыў яму сваю патрэбу. Ён моўчкі і абьякава выслухаў і параіў зайсці ў рэдакцыю, дзе са мной «разбярцуца».

Я зайшоў. Кусты бэзу засланылі шыбы пакоя, у якім было змрочна і прахладна. Ля трох сталоў, заваленых падшыўкамі, сядзелі маладыя, пэўна маіх год, людзі і нешта чыркалі ў паперках; на чацвёртым, нібы кулямёт, стракатала машынка. На стале, што стаяў у куце, чмялём гудзеў вентылятар, варушачы валасы на галаве чарнявага хлапца. Я павітаўся, пастаяў крыху і затым накіраваўся да чалавека, ля якога гудзеў той вентылятар.

Чарнявы аказаўся здагадлівым хлопцам. Я толькі яшчэ пачаў выкладаць яму маю справу, а ён палез ужо ў стол, перавярнуў кучу папер у адной скрынцы, потым у другой, у трэцяй і, нарэшце, недзе з самага дна ці мо' з-пад стала выцяг мае лінаваныя старонкі. Увесь час, пакуль рукі яго корпаліся ў шуфлядах, ён мармытаў:

— Калгасны пастух, калгасны пастух, дзе ж гэты пастух?..

І вось мае шматпакутныя лісткі распласталіся на тоўстым шкле рэдакцыйнага стала, і чарнявы, ухаліўшы тоўстую пластмасавую ручку, узлёт грудзьмі на край сталешніцы.

Цяжка перадаць, што рабілася тады ў маёй душы. Бадай, ніколі яшчэ з таго часу, як з'явілася ў мяне гэтая задума з пастухом, не дасягалі мае пачуцці такога напружання. Я амаль быў упэўнены ў той час, што гэты чарнявы праз хвіліну адарвецца ад рукапісу і скажа што-небудзь накшталт: «Ну і здорава, брат! Вось малайчына!». Я ўжо загадзя бянтэжыўся ад такой пахвалы, але чарнявы не адрываўся, а неяк нібы драмаў, наваліўшыся на стол. Нарэшце яго рука з пластмасавай ручкай мільганула ў паветры, і я ледзь не крыкнуў: тупое спісанае пяро краманула ўпоперак старонкі, і сіняя крывая лінія закрэсліла цэлы радок у лепшым маім абзацы. Потым гэтакая ж лінія, толькі карацейшая крыху, знішчыла кавалак маёй, у пакутах народжанай, думкі ў наступным радку, потым яшчэ і яшчэ...

З нянавісцю пазіраючы на свайго ката, я думаў аб тым, якія бязлітасныя людзі існуюць на зямлі. Але я маўчаў, згадваючы, што, пэўна, з такім чалавекам лепш не пачынаць сваркі. А ён тым часам крэсліў, нешта дапісваў над знішчанымі радкамі, паставіў крыж на некалькіх абзацах. Нарэшце, калі справа катавання майго няшчаснага твора наблізілася да аўтарскага подпісу, які, бадай, адзін толькі і заставаўся некранутым, я нясмела, дрыжачым голасам заўважыў:

— Як вы, аднак, пакрэслілі!

Замест таго, каб абурыцца, ён неспадзявана гэтак ветліва і па-сяброўску ўсміхнуўся, што я зусім збіўся з панталыку.

— Гэта нічога. Гэта толькі беглая праўка. Вось рэдактар у нас, той сапраўды грунтоўна правіць.

Тым часам вярнуўся чалавек, якога я сустрэў на ганку. Расчыніўшы дзверы ў пакой, ён з калідора загадаў прынесці ў яго кабінет «допіс васьмі гэтага аўтара» і пры тым паказаў на мяне. Чарнявы панёс да яго мае пашматаныя старонкі, а я, не вытрымаўшы больш уласных пакут, паплёўся дадому.

За наступныя пасля гэтага здарэння дні я, здаецца, пасталеў. Менш смяўся, стаў больш стрыманым у размовах, чытаў Дзікенса і зусім перастаў цікавіцца нашай раённай газетай. Але здараецца так, што людзі зрабляць паслугу, калі нават няма ніякай патрэбы ў ёй. Адноўчы ўранку (я быў яшчэ ў ложку) прыбег Колька Азевіч — мой вучань — і прынёс тую раённую газету, дзе на трэцяй старонцы значылася: «Узорны калгасны пастух». У мяне адразу знікла цягучая дрымота, і я з болей і жалем упершыню агледзеў рэшту ўцалелых абзацаў, абскубаных думак, а пачатак допісу ледзь не зусім даканаў мяне:

«Уключыўшыся ў барацьбу за круты ўздым малочных надояў, пастух Іваноў Свірыд у адпаведнасці з новымі патрабаваннямі перабудаваў сваю працу. Буйнае рагатае пагалоўе сельгасарцелі пад яго кіраўніцтвам значна па-лепшыла мяса-малочныя паказчыкі».

Прозвішча пастуха было пераблытана, замест 180 кароў калгаснага статку ў артыкуле значылася 18, толькі прозвіш-

ча аўтара, на мой шчыры жаль, не пакідала ніякіх сумненняў у прыналежнасці гэтых радкоў мне.

Я ледзь перажыў той дзень. Увечары прыходзіў сварыцца загадчык фермы, уначы мне сніліся каровы, а назаўтра мая гаспадыня казалася, што няўдалае каханне ў маладосці праходзіць без шкоды для здароўя.

Доўга не ведаў я, што думаць пра селькораўскія справы. Але пісаць я ўсё ж пачаў і друкаваўся ў розных выданнях, толькі ні разу больш не пасылаў сваіх допісаў у тую раённую газету.

[1956 г.]

Даведка

Па вуліцы ішоў чалавек. З выгляду ён падобны быў на вайскоўца – у кіцелі, але без пагонаў, у руках трымаў невялічкі чамаданчык і цікаўна аглядаўся навокал.

Чалавек падыходзіў да вугла, калі адтуль шпаркай хадю выкаціўся маленькі круглявы прахожы ў палатняным летнім гарнітуры і з папкай. Ён спяшаўся, а яго сустрэчны пазіраў угору на шылду, і яны спрытна стукнуліся адзін аб аднаго. Маленькі збянтэжана буркнуў штось, злавіў збіты з галавы капялюш і хацеў было падацца далей, ды вузенькія вочкі яго раптоўна расплюшчыліся на колькі былі здольны і, поўныя здзіўлення, хуценька замігалі.

– Гэ! Няўжо Алесь?

– Ага, ён самы, – усміхнуўся сустрэчны. – Вітаю вас, Іван Іванавіч.

– Ну-ну-ну! Якім чынам, адкуль і куды?

– Ды вось прыехаў па справе.

– Да нас?

– Ага.

– Тады хадзем. Мне хоць і некалі, але ўжо вярнуся: для былога калегі яно можна.

Яны звярнулі за вугал у бакавую вулічку і засенню бухматых каштанаў дайшлі да першага пад'езда. Маленькі ўвесь час сыпаў пытанні, жарты і прымаўкі – ён, відаць, быў у добрым гуморы і радаваўся сустрэчы.

У калідоры важнай ціхманай установы Іван Іванавіч паслужліва расчыніў дзверы свайго кабінета, гасцінна прапусціў наперад сустрэчнага. Застаялая халаднаватая ціш пакоя адразу ўстрывожылася гоманам і рухамі мітуслівага гаспадара. Ён шпурнуў на стол папку, на ды-

ван – капялюш, бразгочучы графінам, з асалодай напіўся і, нарэшце, у знямозе ад празмернай рухавасці і духаты зваліўся ў крэсла.

– Значыцца, адслужыў? Так, так, цудоўна. Як сямейства, як жонка?

– Дзякую, нічога, – казаў захожы, садзячыся перад сталом. – Нядаўна сын нарадзіўся.

– Гэк, ты! Сын? Малайчына! Сын – спадчыннік, так сказаць.. Цудоўна, цудоўна! Расце, значыць... А мы старэем. Так. Што зробіш...

Іван Іванавіч летуценна-сумна ўздыхнуў, але маленькія вочкі яго па-ранейшаму весела смяяліся.

– Я па справе да вас, – сказаў захожы пасля кароткай паўзы. – Патрэбна даведка аб часе маёй работы ў вашай установе.

Гаспадар пакоя неяк знячэўку ўстрапянуўся, ураз сагнаў усмешку з твару, які стаў ад таго сумны і посны.

– Даведку, значыць, – паўтарыў ён, нібы абдумваючы сэнс просьбы. – Ат, навошта тыя даведкі? Уся гэта папераманія – заслона ад жывога чалавека.

– Ды ўжо так патрабуецца, дзеля формы, – адказаў захожы. – Калі не забыліся, я працаваў тут з 46 па 49, да прызыву ў армію.

– Як жа, як жа – памятаю. Усё памятаю, але...

Іван Іванавіч абарваў фразу, ускочыў з крэсла і дробнымі крокамі выбег з пакоя. Вярнуўся ён хутка, і яго твар ужо нёс на сабе адбітак моцнай заклапочанасці.

– Ты разумеш – архіваў няма. За 50 год ёсць, а за 49 няма. – Ён па нейкай старой прывычцы прыгладзіў бліскучую лысіну. – Не ведаю, што і рабіць.

– А навошта архівы? – запырэчыў захожы. – Вы ж мяне і так ведаеце.

– Вядома, я ведаю. Але ж трэба падстава для даведкі.

Захожы здзіўлена ўзняў шырокія калматыя бровы. Іван Іванавіч пухлымі рукамі ляснуў сябе па сцёгнах, нібы дзівячыся няўцямнасці чалавека.

– Я ведаю, але Пётр Аўдзеевіч не ведае, таварыш Зюмкін, бадай, не памятае, а даведка – рэч адказная, для яе патрабуецца апраўдальны дакумент у справах.

Ён яшчэ раз ляснуў далонямі і, закінуўшы за спіну рукі, разы два задумліва прабег па кабінецце. Твар яго ўвесь час выказваў моцны непакой. Відаць было, што Іван Іванавіч не супраць таго, каб дапамагчы чалавеку, але невядомая сіла не давала яму адважыцца на нейкі крок.

Пабегаўшы па пакоі, ён блізарука перабраў паперы на сталае, зноў выбег у дзверы, але хутка вярнуўся.

– Разумееш, браце, нічога не можам зрабіць: няма даных.

– Гм! Як жа быць? – занепакоіўся захожы. – Даведка ж мне вельмі патрэбна.

На круглявым твары Івана Іванавіча, у яго зыркніх вачах і нават на невялічкім, падобным на спелы памідорчык носе з'явілася столькі пакут і жалю, што, здавалася, справа гэтай даведкі дапякала яго больш, чым захожага.

– Проста не ведаю, што і рабіць. – Усё бегаючы па пакоі, ён быў, здаецца, на мяжы адчаю, ды раптам ад нейкай удалай думкі ўраз успыхнуў надзеяй і ўскінуў руку.

– Стоп, браце! Надумаў! Шукай у кішэнях якую паперку з тых часоў.

Захожы без лішніх слоў узяўся за кішэні. З нагрудных, бакавых, унутраных і задніх ён пачаў выкладаць на стол шматлікія паперкі рознай даўнасці. Стоячы побач, Іван Іванавіч выхопліваў з яго рук усё самае старое і цёртае і падносіў да блізарукіх вочкаў. Нарэшце, калі ўсё, што было ў кішэнях, апынулася на сталае, і нават была даследавана падклеяка вайскавай фуражкі, Іван Іванавіч напаткаў нешта здатнае.

– Вось, вось! – ускрыкнуў ён, прыкмеціўшы знаёмы штэмпель сваёй установы. – Ёсць, ёсць паперка! Цяпер, браце, парадак.

Чалавек узрадаваўся, як малы, што прыдбаў зманлівую цацку, і хуценька азнаёміўся з квелым ад часу «дакументам».

– О, якраз – «дана для прад'яўлення ў домакіраўніцтва». Цудоўна. Зараз, зараз – знімем толькі пару копій, заверым, запішам – і ўсё ў парадку.

Ён зноў выбег у суседні пакой, разгоніста ляпнуўшы за сабою дзвярыма. Не было яго даволі доўга, і захожы бес-

клапотна пазяхнуў, пацягнуўся на стуле. Справа амаль скончылася, думалася, што турбавацца, уласна, і не было чаго.

Але супакойвацца, відаць, было рана: калі Іван Іванавіч зноў з'явіўся на парозе, ранейшы клопат засмучаў яго ружовы твар.

– На, зірні, брат, што гэта за лічба?

Ён тыцнуў пад нос захожаму ягоную паперку, той уважліва агледзеў яе: на пацёртым згібе дакумента цьмяна вырысоўвалася машынапісная дзевятка, падобная на васьмёрку.

– Ну, вядома, павінна быць дзевяць.

– Гэ, павінна! Я сам ведаю, што павінна, але ж загвоздка ў тым, што значыцца. А значыцца восем.

– Ну якая ж васьмёрка! – здзівіўся захожы. – Гэта ж ад згібу так здаецца. Не можа ж быць, каб значыўся тут 1847 год.

– Ах жа, каб ты спаракнела! – у распачы зноў ляснуў сябе гаспадар кабінета і, ухапіўшыся за галаву, забігаў па пакоі. – Ну і задаў ты, брат, задачу... Трэ' параіцца...

Ён зноў выслізнуў у другія дзверы і, з'явіўшыся праз нейкі час безнадзейна сумны і маркотны, падышоў да стала.

– Нічога, брат, не зробіш. Мусім засведчыць тое, што значыцца ў дакуменце.

– Іван Іванавіч, ну што вы на самай справе! – узмаліўся захожы і ўскочыў са стула. – Навошта ж мне такая даведка?!

Твар гаспадара пакоя ўжо згубіў усе жывыя фарбы, асунуўся, вочы яго не ўзнімаліся ад долу і не пазіралі на наведвальніка.

– Ах, ты, божа мой! Ну што я зраблю, што зраблю? Калі б былі архівы...

Усялякія добрыя намеры, відаць, канчаткова пакінулі яго. З кіслай мінай Іван Іванавіч заверыў копіі, падпісаў даведку, запісаў нумары гэтых папер у нейкі сшытак, зрабіў адзнаку ў сваім кішэнным блакноціку і, прымусіўшы захожага распісацца ў чатырох месцах, уручыў яму новенькі дакумент.

– Вось, паважаны. Мо' як прынадабіцца. А наконт года, дык што ж паробіш: у мяне ў самога ёсць адзін дакумент

са скажонай датай. Хіба вась што магу параіць. Схадзі да таварыша Арапава, папрасі – ён чалавек смелы і, пэўна, згадзіцца паправіць. А калі зробіць гэта і паставіць свой подпіс, дык я ўжо заверу пячаткай. Так і быць!

Захожы змрочна выслухаў і, няўцямна паціснуўшы плячыма, з паперкай у руках паплёўся да дзвярэй.

Невясёлы Іван Іванавіч застаўся адзін. Гэтая сустрэча, радасная ўпачатку, пад канец зусім сапсавала яго настрой. Але што зробіш: затое ён пазбег рызыкі, як заўсёды, вытрымаў прынцыповасць.

[1956 г.]

Ход канём

У вялікім пакоі за адзіным сталом сядзелі двое. У крэсле – грузны мужчына з азызлым тварам, старшыня праўлення арцелі «Вострая шпілька», а таксама гаспадар гэтага пакоя – сам Кузьма Кузьміч. Насупраць яго – непрыкметны, хлюсткі чалавек у шэрым гарнітуры. Гэта таварыш Лямзікаў, папяровы шашаль і арцельны знаўца розных складаных спраў. Яны гулялі ў шахматы. У пакоі, апроч іх, не было нікога. Стаяла цішыня.

На клятчастай дошцы мала ўжо засталася фігур, і гульня набліжалася да канца. Раптам пасля чарговага ходу Лямзікаў аберуч схапіўся за голаў і гучна заенчыў:

– Ох, ох, што я нарабіў! Прапаў, прапаў!..

Ягоны ж партнёр грукнуў канём, ставячы яго на новае месца, і задаволена адкінуўся на спінку крэсла.

– Мат! Га-га-га... – ускалыхнуў кабінетную цішу магутны раскат шчаслівага смеху, ад якога тоненька затрымцела шклянка, надзетая на рыльца графіна. Кузьміч закінуў сваю яршыстую галаву і абхапіў рукамі важкі жывот. – Гы-гы... Ну і дурань ты, Лямзікаў, а яшчэ пнешся гуляць са мною!

Лямзікаў, маркотна разглядаючы небараку-караля, які трапіў у пастку, чухаў лысую патыліцу і думаў: «Скулу б ты даў, а не мат, каб я знарок не падставіў табе!». Але ўслых ён заўважыў з прытворным уздыхам:

– Вы, вядома, мастак, што і казаць... Гросмайстар!

– Ну, а ты сумняваўся. Вось гэта мат: ходам каня! Так-так, гм... Ну добра, – змяніў, нарэшце, свой гарэзлівы тон старшыня. Ён усклаў важкія кулакі на стол і, прыняўшы

паставу ўладарнага кіраўніка, абвясціў Лямзікаву, які, пачціва схіліўшыся, ужо стаяў ля стала:

– Значыць, як дамовіліся. Пасля выступлення Сербяка і Вадалейкіна скажаш ты. Але ўжо будзеш гаварыць адно добрае: пра тое, што начэй не сплю, што турбуюся і дбаю, здароўя не шкадую, ну і яшчэ там што. Ты прыдумаеш, на гэта цябе не вучыць.

– Будзе зроблена, Кузьма Кузьміч. Пастараемся ўжо.

– Вядома, трэба старацца. Інакш вы ведаеце, што можа быць?.. Дарэчы, Паніковіч не вярнуўся яшчэ? – запытаўся старшыня.

– Не, яшчэ не. Але падвечар чакаем.

– Прыехаў бы хаця, усё падмога нашаму лагеру.

Ціхенька прычыніўшы дубовыя дзверы, нібы яны былі шклянныя, Лямзікаў выйшаў з пакоя.

Застаўшыся адзін, Кузьма Кузьміч страціў незалежна рашучы выраз, і яго твар, нібы ад зубнога болю, зморшчыўся ў пакутлівай грымасе.

Што і казаць, становішча сур'ёзнае. Рабочыя наракаюць, пішуць скаргі. Як жа: старшыня праўлення – рвач, нячысты на руку, заціскае крытыку, самаўпраўны дыктатар, акружаны падлізамі. Сёе-тое ўжо і выплыла. Сёння справаздачны сход. Прыехаў кіруючы таварыш з вобласці. Нездаволеныя радуюцца: зляціць старшыня. Але старшыня не прападзе. Ён узяў на штурм сваю «гвардыю», сваіх верных папалчнікаў, якія за яго і ў агонь і ў ваду... Сёння ён пакажа кіруючаму таварышу, што зусім не такі ён паганы, як яго малююць. Хай слухае, хай цяміць гэты таварыш! Кузьма Кузьміч зробіць сёння сапраўдны ход канём.

...З-за цеснаты вытворчых памяшканняў арцелі і камфартабельнай прасторы старшынёвага кабінета сход арцельшчыкаў адбываўся ў апошнім. За сталом, ля акна, сядзеў прэзідыум, і цэнтральнае месца там займала важная постаць Кузьмы Кузьміча ў паўвайскавай гімнасцёрцы з адкладным каўняром. Побач сядзелі кіруючы таварыш і старшыня сходу, іншыя члены прэзідыума размясціліся ззаду, у другім радзе крэслаў.

Справаздачны даклад быў скончаны. Ішлі спрэчкі.

Засяроджаны настрой арцельшчыкаў, з якім яны слухалі даклад, таяў, як спазнелы сакавіцкі снег. Выпрабаваныя старшынёй дружкамі згодна крытыкавалі Кузьму Кузьміча, прыпамінаючы розныя ягонныя хібы, а той надзіва спакойна пазіраў на прамоўцаў, нібы і не чуў, што казалі яны.

– Таварышы! – сыпаў нядаўні старшынёў хаўруснік прараб Вадалейкін. – Старшыня наш, трэба прама сказаць, не зважаючы на асобы, мае, знацца, недахопы, ну, і, вядома, розныя там махі-прамахі ў нашай слаўнай арцельнай гаспадарцы. Узяць хоць бы такі факт, таварышочкі: ці ветлівы ён? Калі задаць гэтае актуальнае пытанне, то, не зважаючы на асобы, трэба прама сказаць – не заўсёды! Зноў жа чуласць...

Кузьма Кузьміч тым часам усміхаўся ў душы. Усё ішло ладна, як і было задумана.

Вадалейкін нездарма славіўся майстрам публічных выступленняў. Кожную, нават самую простую думку ён гэтак заблытваў мноствам слоў, што неспрактыкаваныя ў красамоўстве шаўцы моршчыліся і ледзьве разумелі яго.

– Гэта не дробязь, таварышочкі, гэта – радзімыя плямы сусветнага капіталу, яны ганьбяць і гэтак далей... З усёй прынцыповай рашучасцю мы павінны сёння ўказаць і найстражэйшым чынам асудзіць!..

Якраз у той час, калі Вадалейкін дасяг найвышэйшага запалу, дзверы ціхенька адчыніліся, і ў пакой улез здарожаны чалавек у чорным кажушку. Ён сцягнуў з галавы рудую шапку і прыпнуўся плячыма да дзвярнога вушака. Гэта і быў Паніковіч, якога ўвесь дзень чакаў Кузьма Кузьміч і які толькі цяпер з'явіўся са станцыі. Зыркмімі, насцярожанымі вачыма акінуў ён сход, прэзідыум і ўслухаўся ў гаворку прамоўцы. У той жа момант нешта сталася з гэтым чалавекам, бо бровы яго ўскінуліся на лоб, на ўсю шырыню расплюшчыліся вочы, і твар выцягся, як у здзіўленага англічаніна. Тое, што ён пачуў, уразіла Паніковіча, збіла зпанталыку, і страшная здагадка аб выкрыцці шыбанула ў голаў.

Ён з маланкавай хуткасцю чалавека, які трапіў у бяду, сцяміў небяспеку, што навісла над ім, патуральнікам і

ўдзельнікам злачынных спраў Кузьмы Кузьміча, і ў момант у галаве яго з'явілася адзінае выратавальнае выйсце.

Вадалейкін яшчэ не скончыў заклікаць сход пакараць старшыню (за няветлівасць і нячуласць), як Паніковіч ускінуў руку. Сход загуў, нібы курасадня ўначы, патрывожаная тхорам. Ускінуліся над галовамі рукі, патрабуючы слова.

І тады пачалося няшчасце. Усе тыя беды, што запісаны ў падручніках гісторыі, не больш, як дзіцячыя крыўды ў параўнанні з катастрофай Кузьмы Кузьміча.

Паніковіч, нібы сляпы, чапляючыся за крэслы, прабраўся наперад і амаль залемантаваў:

– Таварышочкі, даражэнькія, па несвядомасці ўсё, па цемнаце сваей рабілі мы гэта. Старшыня загадваў, а мы і выконвалі. Бо як жа не выканаеш? Хіба ж Кузьма Кузьміч даруе непаслушэнства? Ну мы і таго... рабілі памылкі, значыцца, цягнулі з арцелі. І цэмент сплавілі Лямзікаў з Вадалейкіным, ну, рахункі падрабілі, дагаворы з падрадцамі завысілі дзеля ўзятак. Кузьма Кузьміч усім распараджаўся, а мы, што ж, мы выконвалі... Але цяпер, таварышочкі, я шчыра, значыцца, прызнаю памылкі, а віна яго галоўная, старшыні нашага...

Кузьма Кузьміч адразу пачуў небяспеку ў паніковічавых словах, ірвануўся з крэсла, як заяц з-пад стрэльбы, але куды было дзецца! Нібы вада ў адчынены шлюз, хлынуў паніковічаў страх на галовы людзей, а Кузьме Кузьмічу здалося, што ён разам з крэслам кудысьці праваліўся і шалёна ляціць скрозь усю тоўшчу зямлі.

Гэта была катастрофа!

Крыху ачуняўшы ад першага перапуду, Кузьма Кузьміч успомніў пра апошнюю сваю апору, ад якой можна было чакаць нейкага паратунку, – пра таварыша Лямзікава. Таму, калі Паніковіч, гучна смаркаючыся, выенчыў пяцігадовы запас старшынёвых злачынстваў, Кузьма Кузьміч амаль закрычаў:

– Выдумкі! Мана! Слова – Лямзікаву! Лямзікаву! Лямзікаў хай скажа!

Старшынствуючы неак раптам страціўшы голас, прамармытаў, што слова мае Лямзікаў, але той, відаць, не спяшаўся выступаць.

— Ну, дзе ж Лямзікаў? — загаманілі нецярплівыя галасы. — Давай хутчэй.

— Няма Лямзікава, — адказаў нехта з парогу. — Лямзікаў выйшаў.

Тады старшыня арцелі — уладарны і выкрутлівы Кузьма Кузьміч — зразумеў, што апошняя надзея на паратунак прапала і добрыя мары канчаткова пакінулі яго.

А сход гаманіў, рагатаў, абураўся. Непрадугледжаныя прамоўцы выкрывалі непрадугледжаныя да таго справы старшыні, а Кузьма Кузьміч, абхапіўшы голаў рукамі, нібы адгароджаны ад сходу сцяною, ніяк не мог адкараскацца ад няўцямнай блытаніны ўласных думак аб тым, якія непрадбачана злосныя людзі ў гэтай арцелі «Вострая шпілька» і які гібельны ход зрабіў ён сёння.

[1956 г.]

Уначы

У нізкім мураваным пад'ездзе старога будынка-інтэрната стаялі два хлопцы. Адзін – Піліп Лапата – прысадзісты, дужы дзяцюк у чорным пінжаку, які туга напяўся на яго шырокіх плячах – нецярпліва пазіраў маленькімі вочкамі на двор, – відаць, кагосьці чакаў. Другі – Алесь Вострыкаў – здаваўся абыякавым да непакою таварыша і задуменна калупаў заплямленую, даўно не фарбаваную сцяну пад'езду. Быў ён невялічкі, тонкі, у старэнькай, аблезлай і мытай-перамытай фэзэнаўскай форме; на твары яго з драбнаватымі рысамі ляжала паныласць. Калі, нарэшце, са двара паказаўся трэці, той, каго чакалі, Піліп загаварыў, і яго басавіты голас, нібы ў дзежцы, забумкаў пад нізкім скляпеннем пад'езду.

– Ну, чаго ты так доўга, Сёмка?

– Ат! – махнуў рукою Сёмка. – Няма кім падмяніць.

Пайшлі!

Юнак быў відавочна раззлаваны нечым, і яны ўдвух з Піліпам падаліся на вуліцу. Алесь пачакаў, пакуль яны мінуць яго, і нетаропкай, сумнай хадой пабрыў следам.

Сонца схавалася за дахамі, але яго няяркія промні яшчэ поўнілі спакойны блакіт нізкім святлом адвячорка. Там, угары, было светла, цёпла і ўтульна, і ў самым zenіце, быццам ладкуючыся на адпачынак, спыніла свой дзённы рух белая хмурынка. На зямлі ад нагрэтых камяніц патыхала духатой, пахла пылам; як звычайна ў суботу, на трагуарах тоўпіліся пешаходы; запозненыя аўтамабілі пакідалі за сабой устойлівы ў цішы пах бензіну.

Алесь паныла ішоў за таварышамі і моцна крыўдзіўся. І як было не крыўдзіцца, калі тыя хлопцы, з якімі ён пра-

цаваў на адных рыштаваннях, жыў у адным інтэрнаце, сёння так пагардліва паставіліся да яго?

Уся справа пачалася адвечоркам, калі ад іхняй брыгады садзеяння міліцыі вылучаўся камсамольскі патруль. На гэта як заўсёды прызначылі двух: Піліпа Лапату і Сёмку Зубрыцкага, трэцім упершыню сёння наказалі збірацца Вострыкаву. Алесь пачысціў свой старэнькі фэзээнаўскі гарнітур, прышыў белы каўнерык, наваксаваў туфлі і, крыху ўзрушаны, чакаў, калі выходзіць. Але тут выявілася, што Сёмка і Піліп незадаволены трэцім супольнікам і не хочць разам з ім ісці ў патрулі. Алесь, папраўдзе кажучы, разумеў іх: для такой справы патрэбны быў бойкі, рухавы хлопец. Ён жа сціплы, не дужа смелы і не дужа моцны, і ў такой справе гатовы быў уступіць сваё месца больш вартаму. Але вось больш вартага не знайшлося сёння ў іхнім інтэрнаце. Пасля работы ўсе разышліся хто куды, і Алесь мусіў збірацца з Піліпам і Сёмкам, якія злавалі, што ў іхнюю кампанію трапіў нежаданы чалавек.

Праўда, яны хутка забыліся на сваю злосць. Жвавы чарнавокі Сёмка шпарка сігаў па тратуары і, цікакуючы між сустрэчных прыгожых дзяўчат, апавядаў нешта вясёлае. Лапата слухаў і ляніва ўхмыляўся вузенькімі вочкамі на дабрадушным санлівым твары. На Алеся яны махнулі рукой – ат, маўляў, няхай ідзе, калі хоча, а не хоча, няхай вяртаецца: бяда невялікая.

Але Вострыкаў не вярнуўся, а з самотнымі думкамі ішоў следам. Ды і чаго было вяртацца, калі ў інтэрнаце пуста і сумна, блізкага сябра ў Алеся яшчэ не было, і ніхто яго не чакаў там. Другія неяк зыходзіліся, разам працавалі, разам гулялі, а ён, ціхі, сціплы і непрыкметны, ад усіх заставаўся ўбаку. У сяброўства да яго ніхто не набіваўся, ды і ён асабліва не лез да іншых.

Хлопцы прайшлі люднай вуліцай, мінулі ўжо агорнуты вчэрняй цішынёю парк і падышлі да гаркомаўскага дома. Толькі тады, адчыняючы злёненыя дзверы ў мураванай браме, Лапата азірнуўся і ўбачыў Алеся, які ўпарта цягнуўся ззаду. Піліп знарок моцна грукнуў дзвярыма і ўвайшоў у двор.

Там ужо было шмат народу – навучэнцы школ ФЗН, студэнты педінстытута, чыгуначнікі і маладыя рабочыя заводаў, – яны сабраліся сюды і чакалі інструктажу. Трымаліся ўсе купкамі, сядзелі на ганку ўздоўж сцяны і нават на нізенькім шчыкетніку ля брамы. Увайшоўшы сюды, Алесь разгубіўся, не ведаючы, куды падацца. Хутка ён убачыў сваіх, Сёмку і Лапату, якія ўжо размаўлялі з нейкім віхрастым у акуларах хлопцам. Алесь здалёк ваўкавата паглядзеў у іх бок, але не пайшоў туды, а, уздыхнуўшы, прыткнуўся ля загародкі побач з групай гаваркіх студэнтаў.

Блізка за брамай гаманіла вуліца, шорхалі ногі па асфальце, і ў двор даносіліся ўрыўкі чужых вясёлых размоў. У двары таксама шумелі галасы, адчуванне нязведанай новай справы ўзнесла хлапечы настрой. Студэнты ўжо, відаць, не ўпершыню выпраўляліся ў патрулі і цяпер дасціпна фантазіравалі на тэму начных прыгод. Усе навокал гаманілі і смяліся, прадчуваючы забаўныя падзеі, адзін толькі Алесь Вострыкаў, маўклівы і насуплены, сядзеў тут, на мулкай загародцы, і дзеўб абцасам упартую да жыцця мураўку.

Але вось той віхрасты ў акуларах, з якім размаўлялі хлопцы, выйшаў на сярэдзіну і сказаў, што трэба пастроіцца. З жартамі і вясёлымі кпінамі наконт свайго вайсковага спрыту моладзь падалася да яго і пачала нязграбна станавіцца ў шарэнгу. Алесь таксама ўстаў і, не ведаючы, дзе прыступіцца, стаяў зусім разгублены і чамусьці ніякавата моршчыў кароценькі, амаль дзіцячы нос. Ён пэўна стаў бы дзе-небудзь на левым фланзе, калі б не пачуў басавіты голас Піліпа Лапаты:

– Вострыкаў, давай сюды!

І дзіўная справа – душа чалавечая! Знаёмы Лапатаў голас прагучаў сярод гоману, як нешта сваё, блізкае і роднае. Алесь адразу адчуў, што трымацца замкнёна і воддаль у яго не стае моцы. Адчуваючы, як пацяплела ў душы, ён знарок паволі падышоў да хлопцаў і дзікавата яшчэ стаў у шарэнгу побач з Лапатам. Выроўніваючыся, хлопцы спачатку штурхаліся і сціскалі яго, паводзячы з боку ў бок,

а потым неяк выпхнулі ў першы рад, дзе было вальней, і ён такім чынам апынуўся ля Сёмкі, які нядобра паглядзеў на яго.

Калі шум крыху ўгаманіўся і шарэнга як-кольвечы ўладкавалася на двары, віхрасты ў акулерах аб'явіў, што ён – начальнік штаба камсамольскіх патрулёў, і пачаў інструктаж. Ён сказаў, што ў горадзе здараецца шмат хуліганскіх учынкаў, што камсамол павінен выкараняць іх, і для таго прызначаюцца патрулі, у задачу якіх уваходзіць выяўляць хуліганаў і папярэджаць хуліганства. Дзесяткі з тры хлопцаў уважліва слухалі яго, потым віхрасты разгарнуў спіс, што трымаў у руцэ, і пачаў размяркоўваць патрулёў па аб'ектах.

Пакуль называліся незнаёмыя прозвішчы і вызначаліся месцы, Алесь пазіраў на начальніка штаба і паціху слухаў, як варушыўся збоку яго сусед Сёмка. Ён усё перашэптываўся нешта з Лапатам і хіхікаў немаведама чаго, аднак Алесь не паварочваўся і не ўнікаў у іхнюю весялосць.

Нарэшце дайшла чарга і да іх. Віхрасты выйшаў на сярэдзіну шэрага і зачытаў:

– Дзесяты будтрэст: Лапата, Вострыкаў, Зубрыцкі. Будзеце патруляваць па вуліцы Пясчанай і ля інтэрната цагельнага завода. Звернеце асаблівую ўвагу на клуб завода. А хто старшы ў вас?

Начальнік павёў акулерамі, нібы стараючыся ўбачыць у шэрагу будаўнікоў старшага, але тыя стаялі маўклівыя і не ведалі, хто ў іх старшы.

– Што, няма старшага? – перапытаў ён. – Ну, вось... Вострыкаў і будзе ім.

Алесь збянтэжана зірнуў на начальніка штаба, не ведаючы яшчэ, жартуе той, ці сапраўды загадвае яму. Але пакуль хлопец гадаў, віхрасты ўжо зрабіў адзнаку ў сваім спісе.

– Я не старшы, – запярэчыў Алесь. – Я не ўмею...

Начальнік штаба толькі ўсміхнуўся.

– Ну, што вы? Зможаце, гэта нескладаная справа.

Алесю зноў стала ніякавата, праўда, ужо з нейкай іншай прычыны, чым раней. Лапата ззаду прыціх, а Сёмка неяк адразу насцярожыўся – Алесь не бачыў, але, стоячы побач,

адчуў гэта. Начальнік тым часам падаў яму чырвоную наракаўную павязку старшага патруля і зноў паўтарыў, на што трэба звярнуць асаблівую ўвагу.

Так нечакана для сябе Алесь зрабіўся старшым, і, толькі калі віхрасты перайшоў да іншых, паверыў, што ўсё гэта адбылося ўсур'ез і канчаткова.

Нарэшце ўсе справы былі скончаны. Хлопцы ў двары парушылі строй, з гамонкай і мітуснёй збіраючыся разысціся па сваіх вуліцах, але віхрасты зноў узняў руку:

— Адно хвіліну, таварышы! На мінулым тыдні ў горадзе з'явіўся рэцыдывіст, нехта па мянушцы Фараон. Калі дзе хто заўважыць гэтага бандзюгу, то даць сігнал абавязкова. Міліцыя на яго ўжо мае справу.

Двор пачынаў пусцець, хлопцы адзін за адным выходзілі, скрыпаючы дзвярыма. Алесь, не звяртаючыся да таварышаў, як-кольвечы сам завязаў на рукаве канцы павязкі і зірнуў на хлопцаў.

Яны стаялі збоч ад яго і пазіралі на новага начальніка. Лапата, як заўсёды, заклаўшы рукі ў кішэні, ледзь варушыў сваімі белаватымі вейкамі, і хто ведае, што было ў яго позірку. Сёмка ж неяк стрымана ўсміхнуўся, але, здаецца, у жвавых чорных вачах яго бліснула насмешка. І хоць у Алеся прапала ўжо ўся крыўда на хлопцаў, гэтая насмешка неяк стрымлівала яго ад канчатковага збліжэння. Аднак, узяўшы на сябе пэўны клопат за справу, ён знарок проста, нібы між імі нічога і не здарылася, сказаў таварышам:

— Ну што? Пайшлі.

— Лавіць Фараона? — перапытаў Сёмка і з'едліва ўсміхнуўся.

— Пойдзем, — няпэўна азваўся Лапата, і яны выйшлі, на вуліцу.

Сёмка і Піліп усё трымаліся попlech, толькі крочылі ззаду, падкрэслена прапусціўшы наперад старшага з павязкай. У людской цеснаце яны ішлі ля магазінаў; Алесь трошкі скасіў вока ў бок люстраной вітрыны і аж не пазнаў сябе. За тоўстым шклом у нагу з ім рухаўся белатвары хлопец у чысценькім выпрасаваным гарнітуры, і на яго рукаве ўрачыстай чырванню ззяла павязка. Крышачку

саромеючыся за сваё незаслужанае старшынства, Алесь ішоў нетаропкім, важным крокам, як ходзяць патрулі-салдаты, і з сур'ёзнай мінай углядаўся ў постаці сустрэчных.

Злева, за беленай фігурнай агарожай, стаіўся стары парк, тут быў глухі яго бок. Дрэвы стаялі паніклыя ў цішы, і між іх галля ўжо гусцеў змрок. На слупах запаліліся ліхтары, але было яшчэ відна, іх святло марна таяла ўгары, цьмяна асвятляючы блізкае вецце дрэў. У канцы вуліцы залаціста-палевым бляскам святлеў заходні ўскраек неба, аздоблены нізкай барвовай хмурынкай.

Хлопцы ішлі і ішлі ў напрамку тае хмурынкі, і ўжо заду засталіся людныя вуліцы і шматпавярховыя дамы. Лапата і Сёмка нешта перагаворваліся і жартавалі між сабой, а Вострыкаў пільна глядзеў па баках. Ён па-ранейшаму адчуваў сябе не зусім ёмка ў гэтай новай ролі. Праўда, тут, на ўскраіне, дзе прахожых было меней, ён паспайнеў, а дагэтуль усё здавалася хлопцу, што сустрэчныя з іроніяй пазіралі на яго і, пэўна, думалі: «Вось яшчэ ўпарадкавальнік, блазан гэткі!». Асабліва дапякалі яму няпэўныя адносіны таварышаў. Была б гэта якая іншая справа, менш сур'ёзная, дык ён кінуў бы турбавацца і трымаў бы сябе куды вальней. Але цяпер ён быў тут галоўным, ад яго залежала дзейнасць патруля, і ён адказваў за яе перад гаркомам камсамола. Хлопец адчуваў гэтую адказнасць і хацеў выконваць свае абавязкі як мага лепш.

На скрыжаванні дзвюх пыльных небрукаваных вуліц ім сустрэліся двое юнакоў. Добра апранутыя, у шэрых гарнітурах з белымі каўнярамі паверх пінжакоў, яны шыбавалі пасярэдзіне вуліцы, трымалі ў роце цыгаркі і адмыслова лаяліся. Увесь іх выгляд быў нахабны і сведчыў, што хлопцы не прывыклі зважаць на чые-небудзь заўвагі. Алесь ведаў, што з такімі чапляцца – не абыдзешся без сваркі. Другім разам ён паціху прамінуў бы іх, і нават цяпер яму вельмі карцела зрабіць гэта. Але абавязкі ёсць абавязкі, і, неяк пераадолеўшы нерашучасць, ён спыніўся на асветленым ліхтаром месцы.

— Хлопцы, трэба цішэй, — як мага спакайней сказаў ён. Юнакі спынілі лаянку і, падазрона ўглядаючыся, збочылі

да яго. Лапата і Сёмка адсталі ад свайго старшага крокаў на дваццаць і, размаўляючы, пляліся па тратуары. Апрача іх, на вуліцы, здаецца, не было нікога.

– Што трэба, блазан?

Гэта прамовіў пярэдні, нізкарослы таўсцяк. Ён насупіў бровы і, выцягнуўшы з кішэні рукі, пагрозліва наблізіўся да Алеся. Другі, сутулы і высокі, змрочна аглядаючы яго, таксама падышоў і стаў з другога боку.

Алесь адчуў сябе зусім нікавата ад такога пагрозлівага намеру, але, прыкідваючыся, што не прыкмячае нічога незвычайнага, цвёрда сказаў:

– Мы – камсамольскі патруль. Прашу трымаць сябе культурна.

– Ха! Патруль! – шыркнуў высокі, і яны насмешліва пераглянуліся: – Дык што табе, па мордзе заехаць?

Але тут падышлі Сёмка і Лапата і моўчкі, з гатоўнасцю памагчы, сталі ззаду. Хуліганы, відаць, зразумелі, што на баку патруля не толькі закон, але і сіла, і бокам падаліся далей. Ужо адышоўшыся, яны палаяліся і зніклі ў змроку.

Патрулі пайшлі далей. Абапал вуліцы цягнуліся нізкія аднапавярховыя дамы. У асветленых вокнах часам з’яўляліся жаночыя постаці і завешвалі іх ці папраўлялі фіранкі. К ночы моцна пахла бульбоўнікам з агародаў і нечым смажаным, што рыхтавалася на вячэру. Алесь крыху хваляваўся ад той не дужа прыемнай сустрэчы і вырашыў цяпер трымацца разам. Лапата і Сёмка ішлі моўчкі, аднойчы Лапата сказаў:

– Аднак ты, гляджу, зубасты.

Алесь не ўцяміў, была гэта пахвала ці дакор, ці мо’ толькі насмешка, і адказаў, думаючы пра тых нахабнікаў:

– Іх трэба было як след прабраць.

– Затрымаць ды ў штаб адвесці, – сур’ёзна зазначыў Лапата.

Сёмка, скептычна ўсміхаючыся, запярэчыў:

– Што з імі валэндацца? Намыліць бы каркі, ды і ўсё. Я ім паказаў бы!

Ужо, бадай, добра сцямнела, калі яны прыйшлі на вуліцу Пясчаную. Гэта была звычайная ўскраінная вуліца – ціхая,

з невялікімі прыватнымі домікамі, садамі і агародамі. Між дамоў цягнуліся высокія платы, над імі ў зорным небе чарнелі вішнякі, і ў дварах бразгаталі ланцугамі сабакі. Хлопцавы чаравікі мякка ступалі па ўтаптанай мураве, дзе пасвіліся ўдзень шматлікія гусіныя статкі. У канцы вуліцы згрувасціліся баракі, павеці і абпальныя карпусы цагельнага завода.

Высокае, цёмнае неба заззяла безліччу мігатлівых іскрынак. Няроўнай паласой праз зорныя абшары рассыпаўся Млечны шлях. Пасля гарадскога тлуму тут, на ўскраіне, было неяк незвычайна ціха і глуха. Здалёк даносіліся гудкі паравозаў на станцыі, на людных вуліцах бліскалі аўтамабільныя фары – іх далёкае святло палахліва блукала па сценах будынкаў.

Хлопцы прайшлі між змрочных нямых карпусоў цагельнага завода, мінулі інтэрнат. Усюды было спакойна. Вокны ў будынках ярка свяціліся, часам бразгалі дзверы, і з фортак выляталі гукі радыё. У прысадзістым доўгім будынку клуба ішло кіно. Сіняватыя промні, быццам нацягнутыя трапяткія струны, снавалі ў цемнаце над галовамі глядачоў. Патрулі спыніліся перад вокнамі, зазірнулі на экран, і Сёмка раптам загарэўся жаданнем:

– Давайце паглядзім, – прапановаў ён Піліпу. Алесь прыкмеціў, што Сёмка чамусьці не размаўляў з ім і звяртаўся да аднаго Лапаты. Разважыўшы, што гэта благая справа – глядзець кіно, калі яны прызначаны патруляваць, старшы запярэчыў:

– Ну, нельга так. Трэба хадзіць.

– Вось мне яшчэ камандзір знайшоўся! – злосна асек яго Сёмка. – Нельга, нельга!.. Хадзем, Піліп, нас пусцяць.

Але Піліп таксама адмовіўся, і яны зноў пайшлі назад ранейшым шляхам. Цяпер ужо ззаду ішоў Сёмка. Ён пакрыўдзіўся ці раззлаваўся і не размаўляў ні з кім.

Так яны апынуліся зноў на Пясчанай – у пачатковым пункце свайго маршруту. Час набліжаўся к поўначы, вокны ў дамах ужо гаслі патроху, і ўскраіну ўсё болей апаноўвала начная ціша. Патрульства канчалася, і Алесь нават пашкадаваў, што нічога так і не здарылася ў гэты вечар.

Пакрысе ён ужо асвоіўся з новымі абавязкамі і хацеў, каб яшчэ што-небудзь здарылася і каб была якая карысць ад яго намаганняў.

У канцы вуліцы яны спыніліся ля воданепорнай калонкі. З яе загнутай трубы ціхенька цурчэў у цемры тоненькі струменьчык, хлопцы па чарзе напіліся сцюдзёнай вады, потым моўчкі пастаялі крыху.

– Ну што, бадай, хопіць на сёння? Пайшлі дамоў, – сказаў Сёмка, і кінуў у цемру акурак.

– Яшчэ трэба было б на цагельны наведання, – запярэчыў Алесь.

– Ат, што там хадзіць! Усюды спакойна.

– Але ж там сеанс хутка скончыцца.

– Мне ўжо надакучыла бадзяцца, – стаяў на сваім Сёмка. – Пайшлі, Піліп!

Ля Піліпавага твару разгарэўся і згас у цемры агеньчык цыгаркі, і Піліп сказаў з нечаканай прыкрасцю ў голасе:

– Што ж, аднаго Алеся пакідаць, ці што? Трэба патруляваць, калі прызначылі.

Сёмка крута павярнуўся да яго і ўраз насцярожыўся, пэўна, пакрыўджаны адказам.

– Што, мо' хочаш падзяку з ім зарабіць? – з'едліва сказаў ён, гатовы, відаць, пасварыцца.

– Нашто падзяку, – спакойна адказаў Піліп. – Проста трэба прайсці.

– Ну і ідзі! – са злосцю кінуў Сёмка і хутка пайшоў ад іх.

Алесю не спадабалася гэта, але ён не спрачаўся. Сёмка быў разумнейшы, байчэйшы за яго і з усякай сваркі заўсёды выходзіў пераможцам. Алесь жа вельмі не любіў сварыцца і часта ўступаў крыклівым і нават тады, калі праўда была на яго баку. Яму цікава было толькі, чаго гэта Сёмка, звычайна такі актыўны ў камсамольскіх справах, гэтак занатурыўся сёння. І паступова ў Алеся выплыла думка, ці не яго старшынства было тут прычынай? Калі так, то які дзівак гэты Сёмка! А Лапата вось, здаецца, іншы, куды прасцейшы і зразумелы, – таксама новая рыса

ў чалавеку, бо Піліп і Сёмка даўно сябравалі, і многія лічылі, што ў іх роўныя характары.

Застаўшыся ўдвух, Алесь і Піліп моўчкі пастаялі крыху, потым Лапата сказаў, таксама, відаць, думаючы пра Сёмку:

– Раззлаваўся, дурань.

– Давай, Піліп, хутчэй пойдзем, а то сеанс скончыцца, – сказаў Алесь. Піліп, зразумеўшы таварыша, згодна налёг на хаду, і неўзабаве хлопцы зноў уваходзілі на тэрыторыю цагельнага завода.

Кіно ўжо скончылася: ля клуба чулася гамонка; у розных кірунках разыходзіліся людзі; у цемры блішчалі ручныя ліхтарыкі. І раптам аднекуль данёсся жахлівы крык:

– А-а-й! Ратуйце! Людзі!

Гэты крык скалануў хлопцаў. Алесь устрапянуўся і кінуўся бегчы на голас, за ім – Лапата.

І тут насустрач ім вынырнулі цьмяныя постаці, яны набліжаліся да патрулёў, гучна тупаючы нагамі. І калі ззаду другі раз пачуўся прарэзлівы жаночы крык, Алесь зразумеў, хто гэта ўцякае. Але на нейкі момант ён разгубіўся і, відаць, спазніўся. Покуль хлопец што-кольвечы сцяміў, трое ўцекачоў ужо міналі іх. І тады, ахоплены нейкай трывогай, што ледзяніла душу, Алесь рвануўся з месца.

– Стой!!!

Куды прапаў Лапата, ён і не заўважыў нават. Пэўна той падаўся туды, дзе здарылася няшчасце, ды ў першае імгненне Алесь і не зважаў на яго адсутнасць. Ён імчаў, што аж жарам гарэлі падэшвы і сэрца захлыналася ў грудзях. Але ўцекачы, пэўна, ведалі, што ў іхніх нагах – іх паратунак, і таксама добра шыбавалі па цёмнай вуліцы. Нейкі час адлегласць між імі і Алесем амаль не скарачалася; Алесь бачыў у цемры толькі прыгнутую постаць задняга ўцекача, пярэдня ж хутка зніклі, відаць, пахаваліся недзе.

Узрушаны здарэннем, Алесь наважыўся абавязкова дагнаць злачынцу. Ён не думаў, ці здолее затрымаць яго, не ведаў, ці хопіць у яго сілы і смеласці зрабіць гэта. Ён толькі адчуваў сваю адказнасць за яго затрымку. І гэтае адчуванне цяпер было мацней за ўсе іншыя пачуцці.

Так яны апынуліся ў тым месцы, дзе была калонка і дзе яны нядаўна стаялі ўтраіх. Алесь, сабраўшы ўсе сілы, паскорыў бег і ўхапіў злачынцу ззаду за яго адзежыну. Уцякач спатыкнуўся, і яны абодва з лаянкай пакаціліся па вуліцы.

– Ах!.. Гад!.. – задыхаючыся ад зморанасці, хрыпеў валацуга. Алесь, падаючы, ухапіўся за яго рукаў, але ўцякач моцна выпяў хлопца ў бок, вырваўся і ўскочыў. Яны сутыкнуліся на нейкі вельмі кароткі момант, але хлопец паспеў адчуць яго моцнае пругкае цела і зразумеў, што той намнога дужэйшы. Як цяпер быў патрэбны Лапата! Але яго не чуваць нідзе – навокал ляжаў сонны маўклівы змок.

Устаўшы на ногі, злачынца адразу кінуўся наперад. Алесь, ледзь аддыхаўшыся ад зморанасці і болю ў баку, зноў падаўся за ім. Крыўда і злосць ахапілі яго істоту, і думка, што, не ўтрымаўшы злачынцу, ён ужо не зловіць яго, моцна спалохала хлопца. Усё ж ён імчаўся следам і зноў ледзь не ўхапіўся за ўцекача, але нечакана апынуўся перад дзіркай у высокім дашчаным плоце. Тады ён спыніўся: з другога боку плота чулася зморанае цяжкае дыханне і злосны, поўны нянавісці хрып злачынцы...

– Ну ідзі, гад... калі... жыць абрыдла!

І бадай упершыню з таго часу, як ён пачуў той жахлівы крык на заводзе, хлопец зразумеў, якая небяспека пагражае яму. А калі зразумеў, дык у сэрца раптам пракраўся страх. У цемры за плотам ён адчуў лютае раз'юшанага злачынствам чалавека і зразумеў яго рашучасць прыкончыць усякага, хто стане на яго шляху да паратунку.

Але што было рабіць? Яго назначылі старшым камсамольскага патруля, усклалі пэўныя абавязкі, надзеі. І ці мог ён пасля гэтага пакінуць злачынцу, які ўчыніў мо' нават забойства? А што скажуць хлопцы, калі даведаюцца, што ён выпусціў бандыта толькі таму, што не хапіла смеласці?

«Але ж ён так і ўцячы можа», – мільганула трывожная думка. І хлопец, усё яшчэ працяты жахам, на адно кароценькае імгненне перамог нерашучасць і рынуўся ў дзірку. Яго з'яўленне па той бок было якраз упару, бо злачынца ўжо

шкрабаў па плоце, спрабуючы пералезці ў суседні двор. Алесь падскочыў да яго і што было моцы рвануў за ногі.

Але той не зваліўся, а моцна брыкнуў нагамі і балюча выцяў Алесь абцасам у лоб. Хлопец войкнуў ад болю і, знянацку пачуўшы свой голас, ухпіўся за яго, бы за падмогу.

– Сюды! – закрычаў ён. – Сюды, людзі!

Уцякач на плоце спяшаўся, аднак Алесь хапаў яго за ногі і цягнуў долу. Нарэшце ён зваліўся і накінуўся на хлопца.

У кутку між платоў, на лапушыстай, ужо пакропленай расою гародніне пачалася лютая барацьба. Злачынца некалькі разоў балюча ўдарыў хлопца, Алесь прыгінаўся, біў, куды трапляла, але вельмі хутка адчуў, што перамога будзе не на яго баку. Уцякач кароткай спрактыкаванай хваткай паваліў хлопца і ўсім сваім цяжарам наваліўся на яго. Адною рукою ён мерыўся ямчэй таўхануць пад дых, а другой хапаў за горла. Алесь круціўся пад ім, як мог, у яго вачах ужо разы са два бліснулі агністыя іскры і заняло дыханне. Нарэшце, неяк устрапянуўшыся, хлопец ухпіў зубамі варожую пяцярню, што дабіралася да яго шыі.

Злачынца завыў ад болю, пакінуў Алесь і зноў рынуўся наўцёкі. Але хлопец не адставаў. Абодва яны выскачылі на вуліцу, і тут бандыт моцным размахыстым ударам выцяў Алесь па твары.

У хлапечых вачах бліснуў, нібы лопнуў, нейкі жоўты вогненны шар, ён адчуў, што страціў апору, але ўсё ж не выпускаў з рук злачынцу. Ад болю і пякучай крыўды вочы яго раптам заплылі слязьмі. А той другі раз і трэці ўдарыў па галаве, потым яшчэ і яшчэ. Алесь нарэшце выпусціў яго адзежыну і нема закрычаў. Падаючы ніцма, ён, аднак, замахнуў рукой, з апошняе сілы ухпіўся за нагу свайго ворага, і той зноў потырч пляснуўся аб зямлю. У гэты момант хлопец пачуў недалёкія галасы, тупат ног і... страціў прытомнасць.

Хутка навокал загаманілі людзі, нехта падняў Алесь з зямлі. Ён, яшчэ не расплюшчыўшы вачэй, пазнаў змораны Лапатаў голас і, зірнуўшы, заўважыў, што з неба свяціў

акрайчык месяца, адна палова вуліцы стулілася ў ценю, а ля другой на відным месцы некалькі цьмяных постацей валтузіліся з бандытам.

Алесь паволі пераступіў з нагі на нагу і, кульгаючы, падаўся да людзей. Патрывожаная начным здарэннем, вуліца ажывала, аднекуль з'яўляліся людзі, у веснічках стаялі здзіўленыя, наспех апранутыя жыхары.

Нарэшце, калі міліцыянер і Лапата звязалі злачынцу рукі, афіцэр міліцыі бліснуў у твар затрыманага кішэнным ліхтарыкам і здзіўлена вымавіў:

– Эге! Ды гэта ж Фараон! Вось як ты трапіў да нас!

Алесь пачуў гэтае знаёмае імя і аж здрыгануўся ад страху. Але палыхацца цяпер не было чаго: бандыта моцна трымалі. Наўкола ўзбуджана гаманілі людзі, і з іх гамонкі Алесь дазнаўся, што гэты рэцыдывіст пырнуў нажом нейкага чалавека, які, казалі, наўрад ці выжыве ад раны.

Бандыта павялі, а да Алесь падышоў усхваляваны, змораны Лапата.

– Ну, як ты? – цяжка дыхаючы, запытаў ён. – Не параніў ён цябе?

– Ды не, – адказаў Алесь. Хлопец адразу павесялеў ад чуласці таварыша, а боль і слабасць, здаецца, таксама паменшалі.

– А я аж спалохаўся, калі ты знік. Думаў, можа, забілі цябе.

Яны зноў пайшлі поплич за натоўпам, які цягнуўся за міліцыянерамі. На заходняй палове неба з усёй моцы свяціў спознены маладзічок і ззялі зоры, а на ўсходняй, ужо разганяючы мігатлівую цемру, плыло іншае святло – там нараджаўся ранак.

У Алесь балела ў баку, балела левая нага, і слабасць знясілівала цела. Піліп цяпер не адыходзіў ад яго і, убачыўшы, што хлопцу цяжка ісці, сказаў:

– А ты абапірайся на мяне.

Алесь паклаў на яго плячо сваю руку і глянуў у твар. У прыцемках ён не ўбачыў Піліпавага позірку, але, бадай, і не трэба было бачыць нічога. Узаемнае добрае імкненне адзін да аднаго яны зразумелі без слоў.

– Што, вельмі баліць нага? – пытаў Піліп. – Давай я цябе паднясу, калі хочаш. Бярыся!

Алесь аж засаромеўся ад гэтай шчырасці і сказаў, што дойдзе сам: нага баліць, толькі не вельмі.

Яны яшчэ памаўчалі, кожны паасобку думуючы аб сваім, і тады ўпершыню ў іх нарадзілася нешта блізкае і цёплае ў адносінах адзін да другога. Потым Піліп сказаў:

– Аднак ты смелы, брат. Ціхі, маўклівы, а нішто...

– І ты таксама... справядлівы.

– А ты не ведаў? – пажартаваў Піліп. – Дык вось мы і спазналіся.

Алесь удзячна зірнуў на яго, іх позіркі сустрэліся, і абодва яны шчасліва засмяяліся.

1956 г.

Арганізатар

Зялёная «Пабеда» звярнула з шашы і накіравалася ў лагчынку. Там яна прыкметна збавіла хуткасць, разы два віхлянулася ў глыбокіх слізкіх каляінах і перад самым мастком стала. Шафёр – малады белабрысы хлапчына ў ватоўцы – высунуўся з дзверцаў і, пазіраючы на заднія колы, даў газ. Але і назад ужо машына не хацела ісці. Шафёр вылез, нібы журавель, выцягваючы з гразі ногі, абышоў машыну, зазірнуў пад ніз і заклапочана ссунуў на бок салдацкую шапку.

– Каб табе трасца! – вымавіў ён са стрыманай злосцю.

Тады расчыніліся другія дзверцы, і на абочыну нязграбна выбраўся сядок, шафёраў начальнік – прысадзісты, надзьмуты чалавек. Ён адразу нагледзеў больш-менш сухое месца ля канавы, сяк-так дабраўся туды і стаў, засунуўшы рукі ў кішэні паліто.

– Ну што? Селі?

Шафёр маўчаў, корпаючыся ля задняга кола. Сядок нецяярпліва загадаў:

– Давай назад!

Хлопец сеў на сваё месца і ўключыў газ. Машына пакрыўджана фыркнула клубам шызага дыму, ураз падхопленая хлёткім асеннім ветрам, уздрыгнула, але з месца не скранулася.

– Давай уперад!

Шафёр паслухмяна даў і ўперад, але дарэмна.

– Цягні вунь тое палена, – загадаў начальнік, паказваючы на нейкі корч, што тырчэў на ўзмежку.

Без лішняй развагі шафёр скочыў цераз канаву, выдзер з зямлі трухлявы корч і прыладзіў яго пад задняе кола.

Пакуль ён рабіў гэта, начальнік усё стаяў на ранейшым месцы і, хілячыся наперад, каб не ступаць у грязь, даваў парады.

– Мацней таўчы... Так, так. Сукам уніз. Во! Наддай абцасам.

Шафёр маўкліва рабіў усё гэга, і, калі корч добра ўладкаваўся пад колам, узяўся за руль. Зноў машына задрыжэла, закалацілася ад моцнага напружання.

– Стой! – крыкнуў начальнік, з хвіліну паназіраўшы дарэмныя намаганні. – Галля трэба! Давай галля!

– Няма сякеры, – упершыню з адзнакай нязгоды вымавіў шафёр.

– А ты рыдлёўкай насячы, – параіў начальнік, убачыўшы, што шафёр думае нешта сваё, закрычаў: – Ну, давай, давай!

Начальнік пачынаў нервавацца. Ён сціскаў вусны, жмурыў вочы і нецярпліва тупаў па сваёй выпачцы. Восеньскі вецер буяніў над шэрымі прасторамі, гнаў і кудлачыў у небе густыя хмары, шматаў кусты за канавай, зрываў жоўтае і чырвонае ссохлае лісце.

Шафёр як-колечы наламаў галля і, паднёсшы да машыны, пачаў пхаць яго пад левае задняе кола. Надзьмуты чакаў, – яму за машынай не відаць было, як корпаўся шафёр, – і нецярпліва пакрыкваў:

– Ну, хутка там?

Нарэшце абодва заднія колы былі добра абкладзены веццем і падпёрты карчамі. Шафёр зноў улез у машыну і ўключыў перадачу. «Пабеда» паторгалася, пафыркала на розных нотах і не кранулася з месца.

– А няхай цябе! – пачынаў злавацца і разам з тым непакоіцца начальнік. Забыўшыся, ён нават памкнуўся падацца да машыны, але, ступіўшы ў грязь, хуценька адскочыў назад.

Шафёр, бадай, стаміўся ўжо ад дарэмных захадаў зрушыць машыну. У безнадзейна спакойнай абыякавасці ён прыхіліўся да кузава і пачаў рыхтаваць закурку.

Ужо бралася на адвячорак. Непрывабная сцюдзёная далячынь хуталася ў тумане. На дарозе ўсё больш рабілася нудна і няўтульна. Вецер мацнеў.

– Ну, што ты там раскуруўся! – не вытрымаў начальнік. – Давай спрабуй!

Шафёр нічога не адказаў, яшчэ разы два зацягнуўся і пайшоў аглядаць заднія колы. Са злосцю выцягнуў з каляіны корч і кінуў яго ў канаву, потым з-пад другога кола выбраў галлё. Надзьмуты ўзлаваўся.

– Што ты робіш! Не чапай галля. Газуй!

Шафёр, аднак, добра расчысціў каляіну і не пачаў газавць, а заглушыў матор і вылез на дарогу.

– Ну чаго спыніўся! – крыкнуў начальнік. – Давай, давай!

– Што давай? – упершыню запырэчыў шафёр. Штурхнуць трэба.

– Гм, штурхнуць. Каму ж штурхнуць?

Але таго, бадай, не ведаў і шафёр. Яны адны сядзелі ў гэтай калдобіне і больш на дарозе не бачна было нікога.

Не сыходзячы са сваёй выпачкі, закурыў і начальнік. Увесь працэс прыкурвання папяросы на ветры і першыя салодкія зацяжкі крыху супакоілі яго. Якраз у гэты час з боку шашы, на дарозе, узніклі дзве невыразныя постаці. Праз колькі хвілін можна было разабраць, што ішлі мужчыны. Задні намнога адстаў ад пярэдняга, высокага і плячыстага, што без асаблівага разбору сігаў па ўзбочыне. Яшчэ праз нейкі час можна было разгледзець падарожнікаў. Абодва былі ў зашмальцаваных чорных ватоўках, пярэдні – з палявой кірзавай сумкай на баку, з якой тырчэлі канцы гаечных ключоў, адкрутак і малаткоў. Відаць, прахожыя належалі да тутэйшых механізатараў і цяпер па нейкай патрэбе ішлі ў РТС.

Начальнік дакурваў папяросу, чакаў прахожых і рыхтаваўся як мага ветлівей запрасіць іх дапамагчы ў ягонай бядзе. Але пярэдні, не чакаючы запрашэння, яшчэ здалёк, відаць, зразумеў усё і з незвычайнай лёгкасцю ў тоне, уласцівай простым і адкрытым людзям, пачаў сам:

– Што, браткі, штурхнуць?

– Ага, крышачку трэ’ было б, – сказаў шафёр і адразу палез у машыну.

— Давай, Міцька, націнем, штурхнём, каб выскачыла, як корак з пляшкі, — на хаду звярнуўся высокі да свайго таварыша.

Ён ухапіўся рукамі за буфер, а побач прымасціўся яго спадарожнік.

— А ну, заводзь! — скамандаваў начальнік, усё не сыходзячы са свайго месца.

Машына загула, мужчыны ямчэй упёрліся, напружыліся і сагнуліся крукам. Колы пасунуліся было ў каляінах, ды праз хвіліну сілы матора і людзей вычарпаліся, і памагатыя выпрасталі спіны.

— Давай, давай! — заўзята крычаў начальнік. — Яшчэ крышачку! Раз-два!

Паспрабавалі яшчэ і раз і два. Нейкага зусім нязначнага намагання не хапала, каб выпхнуць машыну з калдобіны. Твары штурхачоў наліліся чырванню, набраклі жылы на скронях, а начальнік з усяе моцы свайго басу натхняў іх на большыя натугі. Раптам высокі кінуў штурхаць і выпрас-таўся.

— Што крычыш? А ну, давай сюды, штурхні, якога д'ябла крычаць!

Надзьмуты на якую хвіліну збянтэжыўся, замігаў вачыма, хацеў сказаць нешта, але высокі другі раз крыкнуў:

— Ну, чаго стаіш, рудавахі!...

Шафёр кінуў газаваць, ад неспадзяванасці разявіў рот і, чакаючы чагосьці, пытальна паглядзеў на свайго седака.

І начальнік, не сказаўшы ні слова, неяк бокам, няспрытна ступаючы ў грязь, падышоў да аўтамабіля, выглядаючы, дзе б зручней прымасціцца.

— Смялей бярыся! — строга загадаў высокі і раптам закрычаў:

— А ну, узялі! Раз — націнем, два... Пайшла, давай, ідзе... Ёсць!

І машына сапраўды выйшла, адарвалася ад рук людзей і яшчэ нясмела, але папаўзла па дарозе, штораз усё шпарчэй, і, нарэшце, выйшла на сухое месца.

– Ну вось, – сказаў другі, цяжка дыхаючы. – А то раз-
два – узялі... А ён стаіць... Арганізатар...

Начальнік раптам пачырванеў, яго надзьмуты і змораны твар наліўся абурэннем.

Высокі спачатку здзівіўся, відаць, не адразу зразумеўшы прычыну злосці чалавека, а потым зарагатаў, аж адкінуўся назад усім целам.

– Арганізатар! – толькі і можна было чуць скрозь рогат. – Арганізатар!... Ой, браткі, трымайце, разаб’юся...

[1956 г.]

Да родных месц

Неяк глыбокай ноччу Васіль Васільевіч адчуў, што ўжо да раніцы яму заснуць не прыйдзеца. Некалькі гадзін ён варочаўся яшчэ ў ложку, шчыльней туліў вуха да падушкі, але ўладаваць свае думкі, што дачасна адагналі сон, так і не здолеў. Тады ён надзеў на ногі цёплыя тапачкі, апрануў піжаму і выйшаў у пярэднюю.

Начны дрымотны спакой панаваў у кватэры. Часам чуваць было, як за тонкай сцяной нешта сонна мармытала жонка, недзе пад падлогай заварушыліся мышы, моцна задзярэбаўшы вугал, злез з даху кот. Васіль Васільевіч падсунуў бліжэй да грубка стул і прыемна адчуў, як цяпло ад гладкага кафелю мякка разышлося ў рэўматычнай спіне.

Васіль Васільевіч, чалавек даволі ўжо пажылога веку, нядаўна выйшаў у адстаўку з вайскавай службы і пасяліўся са сваёй старой у небагатым, але ладным доміку ўскрай вялікага горада.

Жыццё ішло ў закат, часцей і часцей дапякалі хваробы, думкі ўходзілі ў мінулае, у цяжкія гады двух войн, у мірныя часы турботнай армейскай службы. Дзеці ўжо павырасталі, выйшлі ў людзі, жылі, працавалі, клопатаў заставалася ўсё менш з кожным годам. Ён пісаў кнігу, каб пакінуць свой багаты вопыт маладзейшым людзям, вайскоўцам. Жылося ўвогуле нядрэнна, ды і не ў глушы дзе-небудзь: усё ж у вялікім горадзе, прыгожым і людным. Дзесьці былі родныя мясціны, землякі, але за апошнія, асабліва пасляваенныя гады неяк адвык зусім Васіль Васільевіч ад тых месц, дзе нарадзіўся, гадаваўся. Жыццё праходзіла здалёк ад іх, былі месцы лепшыя, былі і горшыя, шмат новых людзей зрабіліся блізкімі і дарагімі, старыя сувязі з земля-

камі змарнелі з часам, з часам прастыла і юнацкая прыхільнасць да такіх прывабных некалі родных мясцін. Кароткія водпускі імкнуўся праводзіць з карысцю для здароўя, ездзіў на поўдзень. У астатні час, заняты службай, не да ўспамінаў было, жыў справамі, штодзённымі клопатамі. Так і думалася, што дзе добра жывецца, дзе ёсць хлеб, там і будзе калі ўжо не шчасце, дык хоць спакой, а што трэба яшчэ пажылому ўжо хвораму чалавеку[?] Гэткія былі думкі і намеры, але на справе нешта атрымлівалася іншае.

Колькі ўжо дзён усё часцей і часцей успамінаўся родны край, тая затуленая лясамі вёсачка, дзе прамільгнула яго басаногае дзяцінства, дзе еў крапіву ў галодныя вёсны, палеткі, на якіх пасвіў скаціну і дапамагаў бацьку, старому чалавеку, дачасу змардаванаму працай і сялянскай нядоляй. Даўно ўжо было тое, шмат часу мінула, цяпер там, вядома, змянілася шмат што, вялікая сіла новых пераўтварэнняў узняла народ да інакшага, лепшага жыцця. Якімі там сталі цяпер людзі, землякі яго, як змяніўся край, гаротны і спакучаны, які спрадвеку гібеў у галечы? І тут Васіль Васільевіч адчуў, што тое, забытае за шмат гадоў, выціснутае з памяці справамі службы, узнялося цяпер у душы і не дае спакою. І, пэўна, не дасць ужо.

Да самага золаку сядзеў Васіль Васільевіч у пярэдняй. Шмат выкурыў папярос, шмат перадумаў, усё пра былое, не заўважыў нават, што ўжо даўно прастыла грубка, а ён усё туліўся да яе хвораі спіной. У вокнах пашарэла, пэўна, памацнеў на дварэ вецер, тоненькая галінка бэзу задзярэбала па мокрай шыбе. Нехта з суседзяў, бразгаючы ведрамі, прайшоў паўз акно да калодзежа. Са спальні выйшла старая, устрывожаная неспакоем мужа.

— Адамаўна, — сказаў Васіль Васільевіч, — збяры мне чамадан: трэба наведацца на пару дзён у Замошша.

Нешта здзіўлялася старая, казалі пра восень, сцюжу, пра далёкі шлях, пагражала хваробай. Васіль Васільевіч ведаў пра ўсё гэта, не пярэчыў ёй, але адчуваў, што не паехаць яму нельга, і яго ўсё мацней пачала апаноўваць нецярплівасць рушыць у дарогу.

Непрывычна і некалькі дзіўна прагучала з яго вуснаў даўно забытая назва маленькай станцыі, да якой браў ён білет. Касірша спытала, якой дарогі станцыя, але Васіль Васільевіч ужо не ведаў, якой яна стала цяпер дарогі. Чыгуначніца, незадаволеная зірнуўшы на няўцяжнёнага пасажыра, пацягнулася [па] тоўст[ую] кніг[у].

Пасля некалькіх дзён язды і трох перасадак, хмарнай асенняй ноччу Васіль Васільевіч злез з высокіх прыступкаў вагона. Калі цягнік пайшоў далей, на пероне засталася некалькі пасажыраў. Васіля Васільевіча ніхто не сустрэў, падавацца сярод ночы было некуды, і ён увайшоў у станцыйны будынак. Невялічкі пакойчык з бетоннай падлогай вельмі скупа асвятляла закапцелая газоўка, што вісела над акенцам касы. На лаўках уздоўж сцен сядзела некалькі кабет, якія ціха размаўлялі аб сваіх справах. Для чорнай грубка-галандак прымасціўся на бярэмку дроў сівабароды дзед у ватоўцы і вельмі вялікай касматай шапцы. Васіль Васільевіч, агледзеўшыся, накіраваўся да яго і паставіў на падлогу свой чамаданчык. Жанчыны прыпынілі размову і агледзелі незнаёмага чалавека ў капелюшы, апранутага не па-тутэйшаму ў лёгкае добрае паліто. Яго некалькі азызлы, але яшчэ рухавы з выразнымі рысамі твар нікому тут не здаўся знаёмым, і жанчыны хутка ўляглі ў сваю размову.

Васіль Васільевіч дастаў папяросы і, каб распачаць гутарку, прапанаваў старому. Дзед асцярожна ўзяў адну з бліскачага партсігара, падзякаваў і, пакруціўшы ў няспрытных пальцах, схваў некуды ў шапку. Потым ён выцяг за пазухі свой капшук і пачаў скручваць цыгарку.

— Прыехалі ці едзеце куды? — запытаў Васіль Васільевіч.

— Еду, чалавеча, у горад, — ахвотна адказаў дзед. — Сын там у мяне працуе. Наказаў, каб прыехаў: патрэба нейкая ёсць.

— А самі адкуль вы?

— А сам з Свірыдава, калгас «Новы шлях» цяпер.

Васіль Васільевіч адразу прыпамятаў гэту невялічкую вёсачку, якая была не дужа далёка ад яго Замошша.

– Ну і як там цяпер жыццё ў вас?

– А нішто, жыццё стала пахожае, – сказаў дзед, закашляўшыся. – Калгас увабраўся ў сілу, мільянер цяпер. І старшыня спрытны мужчына, клапоціцца пра ўсё.

– А як жывуць у Замошшы? – пытаў Васіль Васільевіч.

– А ў Замошшы, скажу я вам, не дужа гожа. Штось у іх там не ладзіцца. Ды і кіраўніцтва не дужа ўдалае, усё змяняецца штогод. Ну і жыццё, каб сказаць – добрае, дык не. А вы ці тутэйшы будзіце? – ужо, відаць, зацікавіўшыся, запытаў дзед.

– Тутэйшы, тутэйшы, дзед, – адказаў Васіль Васільевіч. – З таго самага Замошша. Мусіць, чулі Васіля Крывога, вось я яго сын.

– Як жа не чуць? Чуў. Гэта вы ўсё на ваеннай службе былі. А цяпер як – на зусім ці на пабыўку?

Васіль Васільевіч уздыхнуў і адказаў не адразу.

– На пабыўку, дзед.

– Ну вядома ж на пабыўку, – згадзіўся стары. – Калі якое начальства, то яму ў вёсцы жыць незрукі, усё па гарадах больш.

Васіль Васільевіч не сказаў нічога. Яму крыху нікавата зрабілася ад слоў старога, некалькі крыўдна нават, што калгас у роднай вёсцы горшы за суседні. Хацелася чуць добрае пра сваіх аднавяскоўцаў, бачыць іх жыццё радасным, з дастаткам у сем'ях, арганізаванасцю ў арцельнай гаспадарцы. Але калі так кажа гэты дзед, то справы, відаць, не дужа добрыя ў яго Замошшы.

Дачакаўшыся ранку, Васіль Васільевіч рушыў да родных месц. Ісці трэба было кілометраў з дзесяць. Дарога вілася ў полі, мінала ляскі і параснікі, адразала край вялікай пушчы. Чым бліжэй падыходзіў Васіль Васільевіч да сваёй вёскі, тым больш знаёмых месц траплялася яму. Праўда, шмат што змянілася за гэты доўгі тэрмін: разрасліся хмызнякі між ворных прасцягаў, пазнікалі ў полі памятнаы з дзяцінства грушы-дзічкі, з'явіліся новыя дарогі і сцежкі.

Надвор'е выдалася добрае, вецер сціх. З-за лесу ўзняло-ся сонца і лагодна засвяціла над прасторамі. Стаялі апошнія пагодныя дні восені, густа палымнелі на ўзлесках далікатныя бярозкі, як чырвоныя слёзы з ціхім маркотным шолахам падалі іх лісточкі, шасткім дываном усцілаючы дол. Поле пуставала ўжо, сям-там на іржышчы высіліся сцірты саломы, ужо страціўшай свой свежы жаўтлявы колер. Пад лесам на бульбянішчы завіхаліся жанчыны, недзе чмыхаў нябачны за кустоўем трактар.

Набліжаючыся да Свірыдава, праз якое трэба было прайсці, каб трапіць у суседняе Замошша, Васіль Васільевіч звярнуў увагу на вялікую колькасць ільну на палях. Усе лужкі, сенажаці і нават выган нібы саматканыя дываны стракацелі ладнымі палосамі разасланага даўгунца. Пад самай вёскай да Васіля Васільевіча далучыўся тутэйшы брыгадзір – сухарлявы аднавокі чалавек, былы партызан і армейскі камандзір, як выявілася з размовы. Ён раскажаў пра справы калгаса, як за два гады прыбыткі гаспадаркі перайшлі за мільён – і ўсё праз лён – як будавалі грамадскія памяшканні, наладжвалі працоўную дысцыпліну, памянуў і пра гаспадарчую дбайнасць новага старшыні. Праходзячы праз вёску, Васіль Васільевіч бачыў новыя хаты калгаснікаў, ад слупоў пад дахі збягалі тоненькія правадкі радыё, а над многімі дахамі высіліся гонкія шасты антэн. Па ўсім відаць было, што жыццё тут ідзе ўгару, і гэта выклікала стрыманую радасць за ўдалыя справы суседзяў.

Мінуўшы вёску і невялікі параснік у полі, Васіль Васільевіч выйшаў на пагорак, і сэрца яго хутка-хутка застукала ў грудзях. У канцы поля, між садкоў і гарадаў расцягнулася яго Замошша. Ніжняя ваколіца сяла і крайнія хаты зусім не змяніліся за шмат год і выглядалі амаль так, як і адбіліся на век яшчэ ў дзіцячай памяці Васіля Васільевіча. Гэтак жа між плоту ішла вулачка да дарогі, хіліўся над хатай дзядзькі Паўла высачэзны вяз з бусліным гняздом у коле, ніжэй, у канцы гарадаў, зелянела заросшая асакой сажалка. Другі ж, дальні канец быў незнаёмы Ва-

сілю Васільевічу: там значна прыбавілася хат, і вуліца цягнулася да самага лесу.

Ахоплены даўно нязведаным пачуццём замілавання да родных мясцін, Васіль Васільевіч марудна крочыў па дарозе. Пад альховым кустом за канавай нечакана трапіўся яму вялізны пляскаты камень, расшчэплены папалам. Васіль Васільевіч спыніўся і ўсміхнуўся яму, нібы знаёмаму чалавеку. Як добра вядомы быў яму гэты імшысты велікан, кожная яміна на ім і кожная шчыліна! Яго расшчэпіла маланка амаль перад вачыма малога Васількі, які непадалёку пасвіў тады вясковы статак. Тут, недзе побач з камянём была палоска зямлі яго бацькі, вузенькая і сціснутая дзвюма высокімі межамі. Цяпер і следу няма ад тых меж. Тут ён, падлетак Васілька, упершыню пазнаў і асалоду, і пакуты цяжкой і марнай сялянскай працы. А вунь і бярэзіна ля балацявінкі, старая ўжо, як і ён, а колькі разоў у спёку і ў дождж туліла яна яго пад сваім багатым веццем. Васіль Васільевіч выцяг з кішэні хустку. Хваляванне не сціхала, і цёплае пачуццё да ўсяго гэтага дарагога, паўзабытага прастору, да ўсіх драбніц, звязаных з непаўторнай цяжкой і чароўнай парой дзяцінства, узнімалася ў ім.

Ён ішоў далей. Абапал дарогі на вялікім прасцягу паўстала новая для гэтых месц расліна – кукуруза. Месцамі яна ўрадзіла добрая, галінастая і сцяблістая, але, відаць, бавіліся тут з яе ўборкай. У другіх месцах бачыў Васіль Васільевіч ужо ўбраныя плошчы. Дзесьці побач чуліся людскія галасы, і недалёка з кукурузных зараснікаў высіўся кузаў машыны, напоўнены тоўстымі важкімі сцяблямі. Дзве дзяўчыны, уладаваўшы паклажу, сядзелі з віламі на версе, адна з іх першай прыкмеціла незнаёмага і ўгледзелася ў яго. За ёй і другая пачала глядзець у яго бок, і Васіль Васільевіч павярнуў з дарогі на аўтамабільны след.

Некалькі жанчын і падлеткаў ссякалі сцяблы секачамі і вялікімі нажамі і складвалі кукурузу ў кучы. На адной такой кучы сядзела пяцёра мужчын і дымілі цыгаркамі. Машына хоць і была поўнасю нагружана, але не краналася з месца. Спрактыкаваным вокам Васіль Васільевіч адразу прыкмеціў непарадак і неарганізаванасць у працы.

– Дзень добры, землякі, – сказаў ён, зняўшы капялюш. Тыя, што працавалі, безуважна паглядзелі на яго і зноў узяліся за свой занятак, адна толькі старая жанчына з сярпом у руцэ засталася нерухомай і пільна ўгледзелася ў прахожага.

– Ой, родненькія, – ускрыкнула яна. – Гэта ж Васіль-евіч!

– Пазнала, – згадзіўся Васіль Васільевіч.

– Ой, як жа не пазнаць! Але ж і змяніліся вы і пастарэлі.

– Ды ўжо пара. Але я вось не пазнаю вас.

– Ды я ж Сымоніха, што ля калодзежа жыла. Але вы, мусіць, не памятаеце ўжо.

– Цяпер прыпамінаю, – сказаў Васіль Васільевіч. – Аднак вам шмат ужо гадоў, а вы працуеце ўсё.

– А як жа не працаваць. Калі маладыя не хочуць, дык старым хоць трэба. Маладыя яны, вядома, толькі вырастуць і – у людзі, у гарады, а каторы і застанецца ў калгасе, дык дбае начальнікам стаць, ці ў кантору куды.

– Аднак штосьці ў вас машына стаіць даўно? – запытаў Васіль Васільевіч.

– А вось бачыце, шафёр, трасцу яму ў бок, пайшоў за нейкай гайкай у вёску і няма ўжо паўдня. Няйначай п'е дзе.

Васіль Васільевіч памаўчаў. З уласнага вопыту ён добра ведаў усю згубу гэткай неарганізаванасці, і новае пацучцё абурэння з'явілася ў ім.

– А дзе ж брыгадзёр?

– Ат, брыгадзёр, – махнуў рукой высокі селянін з няголеным тварам. – Усё там жа, у кладаўшчыка, пэўна.

– Аднак і бязладдзе ў вас, – заўважыў Васіль Васільевіч. – Ну а як жыццё наогул?

Шмат галасоў загаварылі разам. Адчувалася, што крыўда і абурэнне даўно сабралася ў людскіх сэрцах. Казалі пра дрэннае кіраўніцтва, пра п'янства брыгадзіра, пра nelaды ў гаспадарцы. Васіль Васільевіч вельмі чула паставіўся да іхніх скаргаў і адразу ўнік у чужыя турботы.

– Дык а куды ж вы глядзіце? – з яўным абурэннем запытаў ён.

— Эт куды глядзець? Мы што? І не дужа разумныя і грамаці мала, — адказаў за ўсіх вялізны худы калгаснік, абапіраючыся на граблі. Іншыя сяляне ўжо ўсе прыпынілі працу і па адным падаліся да неспадзяванага госця.

— Грамаць тут не мае вялікага значэння, — сказаў Васіль Васільевіч. — Трэба толькі не цярпець бязладдзе, а змагацца з ім.

Сяляне, відаць, разумелі гэта і самі, але штосьці не дала ім рабіць так, як было трэба. Яны ўздыхалі, тупілі ў дол вочы і заклапочана ссоўвалі на патыліцы шапкі.

— Эх вы! — з дакорам сказаў Васіль Васільевіч. — Навокал вас жыццё шыбуе, а вы...

— Вы ж, пэўна, па справах ці так да нас? — запытала Сымоніха, прыпыняючы непрыемную размову.

Гэтае пытанне ўскалыхнула Васіля Васільевіча. Сапраўды, хто ён і зачым прыехаў сюды? Уражанаму турботамі землякоў, яму ўжо нават дзіўным здалася, што ён колькі месяцаў пражыў у цішы, у баку ад клопатаў і трывог, замкнуўшыся ў сабе, а тут, на радзіме, яго землякі, простыя калгаснікі, не вельмі пісьменныя, але працавітыя і сумленныя, прагнуць разумнага парадку, арганізаванасці і дбайнага кіраўніцтва.

Яшчэ нават не разважыўшы як трэба, ён адчуў, што не можа, не мае права зноў пакідаць гэтых людзей, родныя мясціны, дзе пачалося яго жыццё. Тое, што ён пачуў і ўбачыў, адразу разбурыла сузіральны спакой і нядаўняе замілаванне, узяло недзе з глыбіні душы ўлегшы было непакой за людскія лёсы, і ён рашыў, што будзе дзейнічаць. Ён яшчэ не ведаў, што і як трэба рабіць, але трэба было нешта прадпрымаць, будзіць людзей, і хоць няпэўнай яшчэ заставалася роля яго і месца ў новай справе, ён цвёрда рашыў пачынаць барацьбу.

— Назаўсёды, — пасля роздуму цвёрда адказаў ён Сымонісе. — Ускалыхнуць рашыў вас, каб вы нарэшце ўзняліся ды агледзеліся.

[1956 г.]

Радасць

Вясна неахвотна і вяла гнала зіму. Снег ужо растаў, і вуліцы былі сухія і чыстыя, але хмарнае неба зусім не павеснавому дыхала на зямлю сцюдзёнымі вятрамі і асенняй золлю. Маладыя ліпкі вулічных прысадаў з зімы стаялі голыя і маркотныя. Гэткія ж сумныя чарнелі ў гарадскім парку іх старыя сародзічы; цесна сплэўшыся голлем, гойдалі яны на ветры ўсохлыя верхавіны з леташнімі варонінымі гнёздамі. І дрэвы і трава доўга і цярпліва чакалі свае пары, а нябачаныя звонку жыватворныя сокі вясны ўжо брулі ў карэннях, гатовыя кожную хвіліну пусціцца ў рост.

І аднае раніцы, выбегшы на двор, Слаўка адчуў перш, чым убачыў, што нешта здарылася ўначы.

Чыстае ціхае паветра, прамытае цёплым начным дожджыкам, дыхнула на хлопца свежасцю і пагодлівай празрыстасцю. Нібы па-святочнаму вымыты, яркі блакіт неба ў высокім прасторы струменіў спакой і поўніўся святлом узышоўшага, але яшчэ не бачанага за дахамі далёкага сонца. Невялічкі дворык між сцяной і рэдкім плотам, шэры і нецікавы ўчора, заўзята зелянеў скрозь шэрань сухой леташняй травы. Здавалася, нават было прыкметна, як шаляліся і шапацелі, выбіваючыся з зямлі, маленькія, але ўжо такія ўпартыя маладыя травінкі. А над мокраю бляхай даху кучаравілася старая шоўкавіца – гэта толькі што нарадзіліся яе кволыя лісточкі, і яна, нібы баючыся варухнуцца, асцярожна трымала іх на выцягнутых галінках.

Так уначы здарылася вялікае ў барацьбе цяпла і сцюжы, вясны з зімою, і вясна перамагла.

З асалодай дыхнуўшы свежага паветра, Слаўка нечакана адчуў, як шмат сілы ў яго маладым целе, і, нібы хлап-

чук, пабег па маладой траўцы. Было ранавата ісці на завод, але хлопец, не марудзячы ні хвіліны, памыўся на кухні, апрануў свой сіні камбінезон і, забыўшыся на сьнеданне, выйшаў на вуліцу.

Ускраінная гэтая вуліца горада ляжала яшчэ ў ценю. Над ёю ў прасторным небе ліліся бліскучыя патокі ранішняга сонца, і рэдкія невялічкія лужынкi на маставой гэтак жа ярка блішчэлі нябесным блакітам. Слаўка крочыў уздоўж знаёмых з дзяцінства домікаў, аздобленых першай зелянінай дворыкаў, агародж – з частакола, дашчатых і драцяных, новых і старых, яшчэ тых часоў, калі Слаўка не меў права адыходзіць далей трэцяга дома ад сваёй кватэры. Гэтай жа вуліцай дзесяць вёснаў Слаўка бегаў у школу, вунь яна ўжо бялее за павароткай. І зараз, калі Слаўка набліжаўся да яе, неўсвядомленая сіла старой прывычкі цягнула яго павярнуць управа, як зварочваў ён кожны раз у мінулым. Аднак з леташняй вясны яго шлях пралёг да іншай павароткі – на другую ўскраіну горада, дзе тырчэлі высачэзныя трубы і заводскія гудкі рознагалосым хорам будзілі ранак. Прыпамятаўшы цяпер тую вясну, Слаўка ўздыхнуў. Колькі было турбот і перажыванняў, ваганняў!..

– Слаўка, Шэлестаў! – пачулася ззаду. Хлопец спыніўся і азірнуўся. Шпаркім крокам даганяў яго малады чалавек у светлым плашчы, праставалосы і з партфелем у руках. Гэта Колька Вязаў. Яны даўно не бачыліся і ўзрадавана паціснулі адзін другому рукі.

– На работу? – запытаў Колька, ідучы побач.

– На работу, – адказаў Слаўка. – А ты ў інстытут?

– Ага. Трэба што-колечы падагнаць да заняткаў.

Некаторы час яны няёмка памаўчалі, раптоўна адчуўшы, што няма ўжо ў іх агульных інтарэсаў, потым Колька запытаў:

– Ну, як працуецца?

– Памалу. А як твая вучоба?

Колька не адразу адказаў на гэтае агульнае пытанне. Ён неяк нявесела агледзеў свае зграбныя жоўтыя камашы, відавочна перацяў уздых і сказаў проста:

– Так сабе, – і толькі пасля працяглай паўзы дадаў: – Увосень думаю падацца на педагагічны.

– Гэтак! – здзівіўся Слаўка. – А што ж архітэктурны?

– Эх, лухта адна.

Употаі спачуваючы хлопцу, Слаўка ўздыхнуў. Архітэктурны, вядома, не лухта. Яшчэ мінулым летам, калі Колька бегаў туды і пакутваў на экзаменах, Слаўка разумеў усю недарэчнасць ягонага выбару. Ні да будаўніцтва, ні да малявання ў сябра не было ніякіх здольнасцей, і вабіла яго, бадай, адно толькі гучнае слова – архітэктар. Відаць, такі ж выйдзе з яго настаўнік, які і дойдзе. Гэтак думаў Слаўка, моўчкі крочачы побач з былым сябрам, але ўслых не сказаў нічога. Неяк неўпрыцям здарылася так за гэты год, што былая дружба іх сыйшла на нішто без сварак і без асаблівага незадаволення адзін другім. Пакрысе яны ўзаемна аддаліся, у абодвух з’явіліся новыя, блізкія толькі сабе клопаты.

Яны прыйшлі на астанойку і стрымана развіталіся. Коля спяшаўся хутчэй дабрацца да інстытута, а Слаўка хацеў, не спяшаючыся, прайсці вясновы ранішні горад, а бадай, яшчэ больш – пабыць адзін-на-адзін з сабой.

Слаўка быў апошнім сынам у некалі вялікай сям’і. Яго браты, скончыўшы ў свой час тую ж школу, дзе вучыўся і ён, ішлі ў людзі, і малы хлапчук быў сведкай выбару імі жыццёвых прафесій. Адзін брат стаў палярнікам, другі – ваенным лётчыкам, трэці прысвяціў сябе навуцы і ўжо дваццаць год цярпліва вывучаў ў Маскве нейкіх кузурак. Шлях іх жыццёвага станаўлення – памятае Слаўка – быў ахутан рамантыкай нязведанага, і ўсе ў доме, нават суседзі і знаёмыя, поўніліся чулай увагі да іх лёсу. У Слаўкавым жыцці ўсё склалася інакш. Здарылася так, што калі настаў час выбіраць сабе жыццёвы шлях, Слаўка моцна завагаўся. Добра было тым, якія, як кажуць, ледзь не з першага класа ўжо рашылі гэтую задачу і марылі стаць урачом або настаўнікам, ці знатнай даяркай. Слаўка ж з маленства ні аб чым гэтакім сур’ёзным не задумваўся: у дзіцячыя гады яго займалі дзіцячыя клопаты і забаўкі, а марыць аб медыцыне ці геалогіі ён не меў ніякіх падстаў, бо амаль не ведаў,

што гэта такое. Яму куды больш па душы быў дужы «МАЗ», дасканалы зведаны на суседскім дварэ ў знаёмца-шафёра, чым невядомыя кузуркі, ці праектаванне высотных палацаў. Бацька – разумны і добры Слаўкаў татка, – пазіраючы на сына, не вельмі лез у хлопцаву душу, але, відаць, разумеў усё, што адбывалася ў ёй.

Аднойчы ў суботні вясновы вечар яны ўдвух пілі чай пасля лазні і маўчалі. Здавалася, кожны думаў сваё, але абодва яны думалі аб адным. Бацька, адставіўшы пустую шклянку, неяк вельмі пільна паглядзеў на сына.

– Вось што, хлопец, – сказаў ён. – Ідзі ты на завод. Папрацуеш, а там бачна будзе. Калі папраўдзе сказаць, дык яно будзе так, што лепш быць добрым шаўцом, чым дрэнным міністрам.

І Слаўка паслухаўся бацьку. Маці ж, тоячы мары аб славытым будучым малодшага сына, пратэставала бурна і доўга, але дарэмна. Ён пайшоў на завод, і, пэўна, з той прычыны, што машыны наогул падабаліся яму, пачаў працаваць на іх і рабіць іх. Вядома, ён можа вучыцца, каб з часам канструяваць іх, але які будзе з яго канструктар – невядома, а вось станочнік, здаецца, атрымліваецца нядрэнны. А бацька, пэўна, маючы на ўвазе гэтую думку, усё веў гаворку наконт таго, што сініца ў кішэні куды лепш, чым журавель у небе.

Слаўка задуменна ішоў па малалюднай вуліцы. Побач з ім у цьмяным шкле шырокіх магазінных вітрын рухаўся другі Слаўка – у некалькі мешкаватым камбінезоне, невялічкі ростам, круглатвары і ўсмешысты. Гэты Слаўка часам цікавіўся тым, пазіраў у шкло, і іх позіркі сустракаліся. З вітрыны хітравата глядзеў кірпаты хлапечы твар са зблытанай чупрынай – нічога ні гераічнага, ні рамантычнага ў ім – звычайны твар звычайнага хлопца.

Усё было б добра ў Слаўкавым жыцці і шчасце было б поўнае, калі б не адзін чалавек на заводзе. З першага дня Слаўкавага з’яўлення ў цэху наладчык станкоў Прохараў нямаведама чаму ўзненавідзеў хлопца і не прапускаў ніводнага выпадку, каб не ўкалоць чым яго. Хоць гэты Прохараў і наогул быў чалавек няўрымслівы і злоязыкі, але да

Слаўкі меў асабліваю пагарду і кпіў з яго, калі толькі мог. Спачатку Слаўка не крыўдзіўся, зводзіў на жарт ягоныя кпіны, аднак пакрысе крыклівы наладчык стаў адзінай надакучлівай хмурынкай у заводскім жыцці юнака.

Успомніўшы Прохарава, Слаўка так задумаўся, што аж забыўся на характэроўку ранка. Сонца ўжо ўзнялося над дахамі і асвяціла адзін бок вуліцы. Дамы на гэтым баку заблішчэлі зусім чыстай белізнаю, нібы толькі ўначы іх нанавы пафарбавалі. Захірацелі вокны на паверхах, цераз брусчатку маставой праляглі шырокія сіняватыя цені з рэдкімі палосамі святла ад прамежкаў у будынках, а ліпкі, нібы маладыя дзяўчаткі, адна перад другой выхваляліся сваімі зграбненькімі кучаравымі прычоскамі.

Слаўка хоць і не спяшаўся, але прыйшоў у цэх ранавата.

Ранішняе сонца, бадай, упершыню за гэтую вясну пранікла ў вялізную будыніну цэха і з зашклёных дахаў развесіла над абсталяваннем светлыя промні.

Слаўкаў зменшчык на станку яшчэ заканчваў сваю норму і сказаў нешта, але ў грукаце і шуме хлопец не пачуў нічога і адышоў убок, каб не замінаць чалавеку. Не ведаючы, чым заняцца ў гэтую рэшту вольнага часу, ён накіраваўся да выхаду, але спыніўся ля апошняга ад дзвярэй станка. Станок не працаваў, а гаспадар яго, абапершыся аб кожух, нецярпліва пазіраў, як наладчык Прохараў, зняўшы ахоўны шчыток, корпаўся ўнутры станка. Слаўка цераз плячо наладчыка зазірнуў туды, але Прохараў у гэты час выпрастаўся і штурхнуўся аб хлопца.

— Якога д'ябла таўчэшся тут? — злосна гыркнуў ён у твар Слаўкі. Хлопец адышоў на крок і зводдаль назіраў за няравнымі рухамі наладчыка.

Тым часам у цэх заходзілі людзі, якія прыйшлі на змену, і спыняліся ля сапсаванага станка. Станкі былі новыя, называліся паўаўтаматамі, рабочыя яшчэ не вельмі асвоілі іх, і таму ў рабоце здараліся розныя хібы. Наладчык і дзяжурны механік мелі вялікі клопат. Вось і цяпер Прохараў калуцаўся, мабыць, з гадзіну, але ніяк не мог знайсці няспраўнасць. Калі даваліся абароты, сілавая група пера-

ходзіла ў рух, а валік перадач не рухаўся з месца. Наладчык лаяўся, зазіраў ва ўсе адтуліны, але дарма. Рабочыя стаялі над ім, таксама мацалі розныя месцы, перашкаджалі Прохараву і давалі парады.

— Электраабсталяванне трэба праверыць, — даводзіў жвавы мітуслівы Семянчук, які, не дайшоўшы яшчэ да свайго станка, запэчкаўся ўжо горш за наладчыка.

— Не, голубе, тут справа ў трансмісіі, — не згаджаўся пажылы вусаты Астап Ільіч у старамодных акулерах з маленькімі шкельцамі. Франтаваты Зяблікаў, малады яшчэ хлапец з накручанымі валасамі і нахабным тварам, бесцырымонна адштурхнуў Слаўку і палез да наладчыка.

— Дай, маэстра, я загляну разок.

Ён паглядзеў унутр станка і ўпэўнена тыцнуў пальцам у нейкі вузел.

— Вось, маэстра, шукай тут.

Але наладчык праз момант ужо лаяў самаўпэўненага знаўцу і ўсё глыбей засоўваў сваю галаву ўнутр станка.

Слаўка глядзеў на марныя намаганні Прохарова і напружана думаў, уяўляючы сабе ўзаемадзеянне механізмаў і імкнучыся знайсці прычыну няспраўнасці. Раптам у яго знікла цікаўнасць да таго месца, куды была накіравана ўвага людзей, і хлопец зайшоў на другі бок станка, дзе не было нікога. Кішэнным ключыкам ён адкруціў гайкі і зняў заслонку. Было крыху цёмнавата, і хлопец амаль вобмацкам даследаваў васьмь ролікаў слізгання і выявіў, што канічная шасцярня спаўзла са шліцоў. Ён памацаў стопар, але яго не было ў гняздзе, пэўна, дрэнна закручаны, ён выпаў [–] і шасцярня паволі спаўзла са свайго месца. Нічога пакуль не гаворачы, хлопец пашукаў у кішэнях, дзе заўжды было шмат рознай металічнай дробязі, знайшоў здатны вінцік і часова замацаваў шасцярню. Усе тоўпіліся ля наладчыка і ніхто не сачыў за хлопцам, і не адразу звярнулі на яго ўвагу, калі ён папрасіў, каб далі абароты. Тады ён сказаў настойлівей:

— Дайце абаротаў.

Наладчык узяў ад станка злосны твар і крыкнуў:

— А ты яшчэ чаго тут? Не лезь не ў сваю справу.

Але Астап Ільч абышоў станок і, убачыўшы занятага справай хлопца, таксама паўтарыў яго просьбу. Старога паслухалі, і Семянчук уключыў станок. З мяккім шэлёстам рабочы агрэгат станка прыйшоў у рух, і рабочыя з таго боку ўсе разам перайшлі на гэты. Слаўка, які пільна ўглядаўся ў станочную адтуліну, нечакана гатовы быў зусім збянтэжыцца ад увагі многіх вачэй. Ён больш, чым патрэбна было, глядзеў на цьмянае зіхаценне імклівай шасцярні, але нарэшце ўзняўся. Ніхто не прамовіў ні слова. Скупыя на хвалу рабочыя стаялі некаторы час, сочачы за рухамі станка, а потым, страціўшы цікавасць да яго, ужо спраўнага і працавітага, пачалі разыходзіцца. Слаўка ўпершыню ўзняў вочы, не стрымаўшы жадання ўбачыць кплівага наладчыка, але яго не было тут. Адзін толькі Астап Ільч усё гладзіў вусы, стоячы побач, і нарэшце сказаў:

— Аднак добра гэта ты справіўся, малайчына.

Слаўка выйшаў пакурыць на якую хвіліну, што заставалася да пачатку змены.

Яркае ранішняе сонца зіхатлівымі праменьнямі і вясновай цеплынёй поўніла прасторны заводскі двор; безліч светлых блікаў ад шкла і металу блішчэла наўкола; зелянаватым рэдкім воблачкам быў ахутан малады клёнік, пад якім на скрынках дымілі цыгаркі рабочых. Слаўка накіраваўся туды, але ўбачыў там Прохарава і спыніўся. Не хацелася яму зараз бачыць гэтага свайго ворага. Аднак нешта новае і рашучае з'явілася зараз у ім, і хлопец цвёрда закрочыў да клёніка.

— Ну і спрытна, маэстра, гэты блазан уцёр табе нос, — гойдаючы нагою, загаварыў да Прохарава Зяблікаў. Слаўка з-пад ілба зірнуў на наладчыка, ён чакаў, што той зноў скажа што-небудзь абразлівае, і падрыхтаваўся не змаўчаць, а на гэты раз даць добры адпор. Але Прохараў нечакана спакойна сказаў:

— Ідзі сюды, Слава, сядай і закуры маіх, ланінградскіх.

Ад гэтых слоў Слаўка аж разгубіўся нават і, падпарадкоўваючыся сардэчнасці чалавека, падышоў да наладчыка і няёмка сеў побач. Ён закурыў тых, ланінградскіх, папярос і прыемна адчуваў, як паступова знікае ў ім злосць да

гэтага чалавека і з'яўляецца новае, яшчэ нязведанае добрае пачуццё. Нейкі час ён маўчаў, рабочыя ўсмяшліва і добра-зычліва пазіралі на яго, а наладчык сказаў:

– Ты не вельмі крыўдлівы, праўда? Ну і добра.

– А што яму крыўдаваць? – не сунімаўся Зяблікаў. – Ён, глядзі, хітрэйшы за цябе, маэстра.

Прохараў пільна з-пад ілба паглядзеў на франтаватага рабочага:

– А ты маўчы! Ну і хітрэйшы, і разумнейшы, дык што ж? Ён атэстат сталасці мае, а мы што з табой – па сямі-годцы?

– Э не! Я больш.

– Усё роўна дурань, – адрэзаў Прохараў. – А ён вась малайчына.

Слаўка сарамліва ўсмяхаўся ад наладчыкавых слоў і думаў: як гэта дзівосна атрымліваецца, што нечаканая ўвага нядаўна яшчэ непрыемнага чалавека стала такой прыемнай і жаданай, і сам чалавек гэтак адразу перамяніўся да яго. Але ўсё тое добра, што добра канчаецца. У Слаўкі ж вось апошняя ільдзінка, якая засмучала яго нядаўна, растала ў гэты пагодлівы ранак, і, зірнуўшы ў высокае чыстае неба, хлопец, здаецца, упершыню адчуў прамяністую звонкую радасць вясны.

[1957 г.]

Буйны выйгрыш

У нядзелю ранкам спіш і адчуваеш, што дзень гэты не такі, як усе дні тыдня. Гэта – выходны, і таму у галаву ўжо лезуць іншыя, адметныя ад будзённых думкі, а душу агортаюць святочныя адчуванні. У нядзелю звычайна чакаюць цябе цікавыя з’явы. Вось хоць бы латарэя. Сёння, пэўна ж, табліца выйгрышаў ашчаслівіць тысячы людзей, і хто запэўніць, што ў гэтым ліку не апынецца і мая асоба? Новая думка адразу праганяе сон, я ўскокваю і, накінуўшы хатняе адзенне, выходжу на двор. Але ў скрынцы на дзвярах яшчэ пуста – гэтыя сувязісты ніколі не спяшаюцца, калі вельмі чакаеш іх. Трошкі маркотна ад першага расчаравання, але нішто. Калі вельмі хочаш стаць уласнікам «Волгі» ці «Масквіча», дык мусіш ужо без скаргаў пратрываць якіх пару гадзін.

А ў небе тым часам ужо дужаецца сонца з густой заместо хмар, і на зямлі то праімчыцца іх цень, то нахлыне спякота. Шуміць, пляскае лісцём малады садок, шапацяць агародныя грады. За рэдкім невысокім шчыкетам, у суседзяў на лаўцы ўжо дыміць люлькай дзядзька Пракоп. Гэты пажылы чалавек, худы, але шырокаплечы, з учэпістымі працавітымі рукамі. Ён 30 год пражыў на чужыне, адкуль вынес тую ж беднасць, з якой і ехаў туды, кучу невясёлых успамінаў і новае прозвішча «Пракоп-амерыканец». Я падыходжу да шчыкету, бяруся за яго дашчатыя вастракі і вітаюся.

– Адпачываем, значыць? – кажа дзядзька Пракоп, прыплюшчваючы ад дыму сваё запалае вока.

– Ды ўжо ж, – згаджаюся я. – Выхадны. Газет чакаю: латарэя павінна быць.

– А-а, – зразумеўшы, цягне дзядзька. – Выйграць, значыць, жадаеш?

– Ды не шкодзіла б «Волгу» там ці «Масквіча» ў горшым выпадку.

– Ну, вядомая справа. Унук мой аж дзесяць білетаў набыў, – паведамляе дзядзька Пракоп, нерухома абапёршыся на калені вузлаватымі рукамі. І раптам ён выпростваецца, нібы ўсхопліваецца ад чаго, вымае з роту аздобленую медзю люльку, і на твары яго з’яўляецца захапленне.

– Гэ, вось, хлопец, да ўспамінаў прыйшло. Ужо колькі год, як зусім забыўся на гэтую гісторыю, а ты вось напамніў. Зухаватая, браце, гэта гісторыя там, у Амерыцы, здарылася. Ты часам не спяшаешся? – пытаецца ён у мяне, і па яго жвавых вачах, якія быццам бы загарэліся на кашчавым голеным твары, я здагадваюся, што гісторыя сапраўды, мусіць, цікавая, бо ўжо вельмі хоча расказаць мне яе гэты чалавек.

– Гэта браце я тады маладзейшы быў і ў гаражы адным працаваў у гэтых Штатах – хай ім пекла без дна. Работа простая – мыць грязь, выціраць плямы, качаць бочкі з бензінам, заліваць масла. І там жа, у нас, працаваў механік – містэр Пік. Гэта быў такі ж наёмны працаўнік, як і ўсе мы, рабочыя гаража, але трымаў ён сябе крышачку гэтак з гонарам – механік усё ж! І хоць у яго, як і ў нас, запэцканыя рукі па локаць, але меў чалавек свой домік на ўскраіне, куплены ў растэрміноўку, святочны гарнітур, радыёпрыёмнік і нават старэнькі двухмесны «Форд». Да таго ж гэты містэр Пік быў працавіты, як вол, памяркоўны, бы старая ўдава, і скупы, як банкір. Ужо ён куфля піва не вып’е без дай прычыны. А сам такі чорны, як цыган, маленькі, тоўсты і вельмі вяртлявы. Дык вось я і хачу расказаць, як адна тамашняя латарэя спарahnіла лёс гэтага чалавека.

Уся справа, памятаю, пачалася аднойчы ў нядзелю. Містэр гэты раніцою выйшаў на вуліцу, дзе ўбачыў цэлы гармідар газетчыкаў. Усе крычалі пра выпуск грандлатарэі. Пік, аднак, адмахнуўся ад гэтае назолы і пайшоў у гарадскі

парк. Але і там вялізныя рэкламы заклікалі яго купляць латарэйныя білеты. У механіка чамусьці сапсаваўся настрой ад гэтых маляўнічых прызываў, і ён зайшоў у кафэ выпіць шклянку мінеральнай вады. Але і там ужо ўсюды раскіданыя і расклееныя аб'явы навязвалі латарэю. Тады ён вярнуўся дадому, а жонка паведамляе яму навіну: заклікала радыё білеты купляць — выгадная справа. Пік ужо раззлаваўся і, насварыўшыся на жонку, запёрся ў бакоўцы. Але з ганку пастукалі ў дзверы. Ён выйшаў адчыніць, і на яго сунуўся — хто думаеш? Адзін з гэтых крыкуноў-назол, што білеты прадаюць. Ды з такім запалам стаў запэўняць чалавека ў выгадзе гэтай латарэі, так распінацца ў бескарыслінасці яе завадатараў, што містэр Пік неяк прамарудзіў і не зачыніў дзвярэй. А трэба табе сказаць, што калі не зробіш гэтага на першым слове, то потым ужо не ўдасца да канца гаворкі. Ужо гэта такі народ! Пакрысе прадавец білетаў улез у калідор, потым апынуўся ў прыхожай і, урэшце, — у бакоўцы механіка. Праз паўгадзіны містэр Пік ужо не пярэчыў, а, загіпнатызаваны гаваруном, сядзеў насупраць яго і злосна маўчаў. А той усё расхвальваў гэтую справу:

— Вы падумайце, дарагі містэр: долар за білет, што вы страціце? А якія выйгрышы ў вашай перспектыве!!! Колькі цудоўных рэчаў, нават акіянскі параход! Мільённая штука, скажу вам, і білет на тое шчасце — адзін долар.

Скончылася, вядома, тым, што містэр Пік, які ўжо звыкся з думкай аб страце долара, купіў білет. Але прадавец не адчапіўся, пакуль не сунуў яму тры. Пік маркотна паглядзеў на іх, пашкадаваў свае долары і, засмучаны, сеў чытаць тэхнічны часопіс.

Дзядзька Пракоп спяшліва хапаецца за сваю люльку, якая ледзь не пагасла, хуценька цмокае яе, там нешта сіпіць, і перад тварам з'яўляецца клуб шызага дыму. Дзядзька прагна зацягваецца разы са тры — чалавеку, відаць, карціць курыць, але яшчэ больш хочацца расказаць гэты цікавы ўспамін.

— І вось, братка ты мой, мінуў час — месяц ці два, не памятаю ўжо, і адбылася тая латарэя. Містэр Пік газет не

чытаў, увесь дзень корпаўся ў рухавіках і гэтую падзею прапусціў незаўважнай. Вядома, чалавек глядзеў на яе, як на баламуцтва, толькі шкадаваў сваіх трох долараў і ўсё бедаваў з прычыны такой страты. Мы, тым часам, жартуючы, супакойвалі яго: нічога, не бядуйце, маўляў, містэр Пік – тры долары не вернуцца, затое «Санта Марыю» выйграеце (так называўся той карабель – самы буйны выйгрыш). Казалі так, а самі смяяліся ў душы з гэтага сур'ёзнага, скупого чалавека, які дапусціў гэткую трохдоларавую слабасць.

Але жонка ўсё ж прымусіла яго знайсці табліцу і праверыць білеты. Праверка адбылася ў нядзелю, гэта я ўжо добра памятаю. Памятаю, бо я тады сядзеў ад суботы галодны, злосны і без цэнта ў кішэні. І раптам паштоўка: містэр Пік тэрмінова запрашае да сябе на сямейны абед з прычыны сямейнай урачыстасці. Што, думаю, за дзіва гэткае? Пяць год прапрацавалі разам – ніколі ў яго чарку віскі не выпіў, а тут – урачыстасць. І вось я ў містэра Піка. Там ужо народу багата – нашыя з гаража, інжынер, знаёмы чыноўнік, суседзі. У чым справа? Лагодны, радасны гаспадар паведамляе: на адзін яго білет выпаў выйгрыш – і думаеце што? Аўтаручка ці жавальная гумка? – Не! Сама «Санта Марыя». Усе дзівуюцца, віншуюць, глядзяць табліцу і той білет – сапраўды так. Наш аўтамеханік – уладальнік мільённага акіянскага парахода!

І вось для містэра Піка насталі дзівосныя дні. Ён перастаў ужо хадзіць на працу, на яго месца стаў другі, а гаспадар гаража містэр Сландэр афіцыйна запрасіў механіка ў свае кампаньёны. Знаёмыя віншуюць, жонка робіць набыткі – у растэрміноўку і ў доўг. Усе гарадскія гандляры расчынлі дзверы сваіх устаноў – калі ласка, бяры, як хочаш: наяўнымі, у крэдыт і нават дарма. Для мільянера нічога не шкада. Сам Пік, як звар'яцелы, бегае па горадзе па нейкіх справах: афармляе дакументы на той карабель, ездзіць на тэлеграф, удакладняе, атрымлівае тлумачэнні, робіць запытанні, патрабуе даведкі; водзіць хвасты газетных рэпарцёраў, пазіруе фатографам і дае інтэрв'ю. На другі ўжо

дзень газеты і радыё на ўвесь свет разнеслі вестку аб ашчасліўленым латарэяй чалавеку.

Але вось тут і пачаліся хібы. Містэр Пік, як табе вядома, аўтамеханік, а не капітан: а да таго порта, дзе стаяла гэта «Санта Марыя», тысяча міль. Караблік жа не шлюпка, яго ў кантэйнер не запрэш. Пік запрасіў латарэйных гаспадароў выплаціць яму ў доларах кошт парахода, але атрымаў адказ. Тады ён змясціў аб'явы ў газетах аб продажы судна, чакаў тыдзень, але не дачакаўся ніводнай прапановы. Ён – да гандлёвых і марскіх экспертаў – у чым справа? Аказваецца, справа ў скарачэнні гандлёвых абаротаў марскога флоту і ў старасвецкіх якасцях тае «Санта Марыі». Карабель вялікі, але ўжо стары і нікчэмны. Ад усіх гэтых навін містэр Пік схуднеў, і пінжак заматляўся на ім, нібы пашыты навывост. А тут новыя непрыемнасці: з порта прыйшла тэлеграма ад аб'яднання партавікоў і іхні рахунак – за ўтрыманне ля прычала судна заплаціце такую-та і такую суму, а ў наступныя дні тарыф за прычальнае месца будзе павышаны ў паўтара разы.

Містэр Пік пачаў сівець. Гандляры і крэдыторы, нюхам учуўшы благое, перасталі скідаць капелюшы пры сустрэчы з ім, а на форменных бланках пачалі страчыць напамінкі аб тэрмінах плацяжоў. Містэр Пік пачаў праклінаць тую латарэю і грызці жонку за дурную ініцыятыву, а жонка – грызці мужыка за камерцыйную неразваротлівасць.

Я пільна гляджу, як хітравата ўсміхаецца запалымі вачыма дзядзька Пракоп, як плывуць у зацішку шызыя струменьчыкі з яго адмысловае люлькі. У двары ціха, толькі часам з-за вугла ўрываецца вецер, недзе ў кватэры іграе прыёмнік ды на суседскім двары кудахча курыца. Дзіўныя справы тыя захапляюць мяне сваёй навізнай, такім незвычайным для нашага жыцця паваротам падзей і логікай з'яў.

– Дык вось, значыць, задумаўся містэр Пік і парашыў хоць як-небудзь адкараскацца ад гэтага клятoga выйгрыша. Праз аднаго знаёмага ў тым партовым горадзе напытаў ён купца на свой параход. Купец гэты не мараход, а гаспадар метызнага завода і, вядома, за чвэрць цаны, якая падышла б хутчэй для якога-небудзь рачнога катэра, купіў

бы тое судна на металалом. Усё ўжо было ўладжана – і цана і парадак куплі-продажу, як раптам тэлеграма: здзелкі не адбудзецца. Містэр Пік аж вар'яецца – чаму? Аказваецца такая справа: метызнік атрымаў таямнічую пагрозу: купіш параход – вылеціш у трубу. Вядома, сталеліцейныя трасты тут глядзяць пільна, і ім такая здзелка не па-нутру сталася. Містэр Пік яшчэ цану збавіў, кідаўся сюды-туды, але калі ўжо тыя магнаты цыкнулі, то хто адважыцца пайсці наперакор ім?

Што тут было рабіць бедалазе Піку? Рахунак у порце ўсё расце – гэтак і ў турму нядоўга трапіць за неплацёжа-здольнасць. Пагараваў містэр Пік, прадаў свае набыткі – і «Форд», і палову дома, і нават святочныя гарнітуры свае і жончыны – і паехаў у той порт. Там ён наняў буксір, каманду матросаў, якія выцягнулі тую старую бандуру з порта, адбуксавалі яе ў акіян і затапілі. Містэр Пік пасля гэтага стаў сівы, як той голуб, страціў пасаду, добра яшчэ, што гаспадар злітаваўся і прыняў яго простым рабочым. Вось, браце, якая гісторыя!

– Дзіўная гісторыя, – кажу я, і душу маю неак агортвае сум. Хоць і чужое яно, тое гора, і даўняе, і далёкае, а неак аж дрыжкі бягуць па спіне ад гэтакіх драпежных парадкаў у той заморскай краіне. А дзядзька Пракоп, відаць, прывык ужо за трыццаць год да такіх пачварных з'яў капіталістычнага свету і цяпер толькі цмыгае сваю люльку ды хітра ўсміхаецца: вось, маўляў, як бывае.

А я ў той дзень не выйграў ні «Волгі», ні «Масквіча», ні нават пыласоса. Я выйграў дзіцячую каляску. І гэтая штукавіна мне здалася такой важнай і каштоўнай, што, параіўшыся з жонкай, мы рашылі не патрабаваць за яе грошы, а чакаць пасылкі натурай. Хоць у нас няма дзяцей, але хай прысылаюць: бадай, спатрэбіцца.

[1957 г.]

На возеры

У Мішкі Бурбона вясёлы настрой.

Гонячы перад сабою кароткі цень, Мішка зухавата завярнуў з перавулка, разагнаў у вішанніку курэй і апынуўся на двары. Там хлопец ураз затармазіў, саскочыў з сядзення і нядбайна штурхнуў да ганка свой блішчасты веласіпед.

– Маці, пастаў машыну! – гукнуў ён у хату тонам пестуна. – Я на возера.

Важна варушачы тугімі, рудымі ад загару плячыма, камлюкаваты і дужы, у аблезлай сіняй майцы, Мішка падаўся за ваколіцу. Ля апошняй хаты з новым, ненакрытым яшчэ трысценам ён збочыў на сцяжынку і пабрыў на недалёкі, у хмызняку, пагорак. З паўдзённага ліпеньскага неба пякло сонца, верашчалі жаўрукі над бульбянымі палямі, нагрэтая зямля апякала босыя хлопцавы ногі. Ззаду на дарозе загрукацела фурманка, нехта адтуль клікнуў Мішку. Хлопец з выразам незалежнасці на твары азірнуўся і стаў. Фурманка таксама спынілася – там сядзеў брыгадзір Сафрон і калгаснік з другой брыгады.

– Міхась! – закрычаў брыгадзір. – Ці ты скасіў, як я казаў?

У светлых хлапечых вачах, поўных упэўненасці і лянівае сілы, мільганула свавольная весялосць.

– І не думаў.

– Ну, ты не жартуй, дурань гэтка, а то я ўраз старшыні далажу. Што гэта за хамства – не выконваць нарады! – абураючыся, крычаў брыгадзір. – Дык кажы праўду, касіў ці не?

– Не верыш – правер, – свавольна ўхмыльнуўся Мішка. Брыгадзір зноў пачаў лаяць хлопца, – тады Мішка, відаць, задаволіўшыся ягонай злосцю, крыкнуў:

– Скасіў. І на поплаве, і яшчэ ў кустах сотак з дваццаць.

– Ну глядзі, а то я пажартую, – ужо без злосці пагразіў Сафрон, і фурманка зноў загрузацела па ўсохлай дарозе.

Весела аглядаючы наваколле, хлопец пайшоў сваім шляхам.

З пагорка з-за хмызняку яму адкрылася возера. Шырокае, прывольнае і блішчастае ад сонечнага ззяння, яно спакойна ляжала між чаротавых берагоў, дыхала прахалодай і ў паўдзённы час вабіла да сябе тутэйшыя вязковыя люд. Гаспадыні ў ім паласкалі бялізну, хлапчукі вучыліся плаваць і вудзілі рыбу, мужчыны таксама завітвалі часам, каб памыць скарэлыя на працы ногі ды пасядзець на прыволлі.

Мішка памалу шкандыбаў сцяжынкай праз нешырокі лужок і, паводзячы прыгожымі брывамі, цікаваў каго са сваіх шматлікіх хаўруснікаў. Але на беразе не відаць было ніводнага дзецюка – пэўна, яшчэ бавіліся на працы – і хлопец не ведаў, куды падацца. Купацца ён не вельмі спяшаўся, а болей аднаму рабіць тут не было чаго, хіба толькі пераплыць на той бок да лесспрамгасаўскіх дзяўчат, якія ў лесе збіралі жывіцу.

Аглядаючы берагі, хлопец думаў, на што скіраваць увагу, калі ўбачыў ля сцежкі шэрую касмылявую постаць дзядзькі Алёксы, старога з суседняй вёскі Зароўе. Гэты Алёкса некалі меў вялікую сям'ю, але жонка нядаўна памерла, тры сыны загінулі ў вайну, а малодшы, Восіп, скончыўшы доўгую навуку, жыў недзе ў горадзе. Алёкса ў калгасе вядомы быў сваёй бяскрыўднасцю, ціхманасцю і непрыкметнасцю. Не адно пакаленне вязковых падшывальцаў вытварала над ім смешныя, часам крыўдныя забавы, але дзядзька не крыўдаваў, толькі зрэдку гразіў свавольнікам, чаго тыя не дужа баяліся. Нядаўна яны прадзіравілі дзядзькаў човен, і стары, не ўмеючы плаваць, ледзь не ўтапіўся ў возеры. Пасля той човен зусім знік недзе, і да

рыбацкіх паслуг старога засталася на возеры старэнькая, немаведама чья дубіца. Учора яна спатрэбілася Мішку – хлопец сагнаў яе ў затоку і схаваў у трысці.

– Здароў, стары, – грубавата павітаўся Мішка, падыходзячы да Алёксы. – Што сядзіш?

Стары выняў з бяззубага рота абслонены недакурак і слязлівымі вочкамі, схаванымі ў сівым касмыллі, зірнуў на хлопца.

– Ці ведаеш – хай на яго халера – дубіцы няма. Трэ’ паглядзець мярэжы, а дубіцу нейкі дуронік сагнаў ці мо’ ўтапіў дзе.

Хлопец пагардліва агледзеў шчуплую дзядзькаву постаць у залапленай гімнасцёрцы, зрэбных портках, завязаных ля костачак, і ў яго гарэзных вачах з’явіўся заўзяты агеньчык.

– Хочаш, знайду дубіцу, толькі ўдвох сядзем.

– Ну, добра каб знайсці. А то ўжо два дні мярэжы не кратаны.

Становячыся на калені і памагаючы сабе рукамі, дзядзька ўзняўся, адкашляўся, даверліва пазіраючы на хлопца, які, нешта ўздумаўшы, сачыў за ім.

Крывой узбярэжнай сцяжынкаю, утапанай мноствам каровіных ног, яны падаліся ў азёрныя зараснікі. Сцяжынка хутка схавалася ў алешніку, абапал яе тоўпіліся зараслі пякельнай крапівы, дзядзька неўзабаве адстаў і паціху тупаў ззаду. Каб не згубіць чалавека, Мішка ўсё пакрыкваў у гушчар «Давай, давай» і ўхмыляўся ад зухаватай сваёй задумы. «Выедзем на сярэдзіну, і ўжо ж я выкупаю яго...».

Пазіраючы на бераг з цяністага алешніку, ён, нарэшце, знайшоў сваю схованку і, падкасаўшы штаны, улез у ваду. Водмелі тут, бадай, не было – адразу з берага дно крута ішло ўглыб, і адтуль, з глыбіні, лезла да сонца трасніковая гушчырня. Вада ў возеры, аднак, была цёплая, пахла аерным карэннем, над трысцём бліскалі на сонцы мітуслівыя стрэлкі. Мішка падцягнуў да берага гэтае выдаўбленае з елкі судна, узяў прыхаваны ля яго доўгі ашостак і, гойдаючы ў зарасніку ціхую вадзяную паверхню, улез у дубіцу.

– Дзядзька, гэі!

– Бягу, бягу, – пачулася з хмызняку, і неўзабаве з кустоў вылез Алёкса. Асцярожна мацаючы нагой дубіцу, стары папрасіў хлопца:

– Ты ж паціху каб, а то – хай на яе халера – я і так палоханы.

Мішка ўсміхнуўся і, стоячы на сваім канцы, хвацка адштурхнуўся ашосткам. Расхінаючы шархоткі чарот, дубіца вылезла на прастор.

– Вунь туды кіруй, да сухое елкі, – паказаў дзядзька на той бок. Ён сядзеў на носе і абэруч трымаўся за мокрыя счарнелыя барты. Мішка спрытна перабіраў шастком, пад дошкі-крыллямі плёскалася вада, ззаду цягнуўся шырокі наморшчаны след. Тут было мелка, ля берага раслі гарлачыкі, дубіца раскалыхвала іх пляскатае слізкае лісце. Дно скрозь было багністае, з яго сям-там бісернымі ланцужкамі струменілі ўгору паветраныя пухірки, Мішкаў шост ледзь знаходзіў апору. Урэшце бераг аддаліўся – яны апынуліся на шырокім вадзяным разлозе. З лужка даляталі галасы купальшыкаў, нехта ў тым канцы крычаў цераз возера:

– Во-о-о-о-олька! Пісьмо табе прышло-о-о-о-о-о!

– Ну, як Восіп твой? – запытаў Мішка старога. – Што піша?

Гэта было знарок правакацыйнае пытанне. Адна з Мішкавых каханак – Алена, насіла пошту, і таму хлопец ведаў, што гэты Восіп ужо гады са два як не слаў бацьку пісем. Праўда, Алёкса аб тым не казаў нікому, не скардзіўся, але ўсе ведалі, што вучоны Алёксаў сын цураецца старога бацькі.

– Ды так, – неахвотна адказаў Алёкса, гледзячы ў ваду. – Піша, нішто жыве.

– Хлусіш ты, дзядзька, ні д’ябла ён не піша табе: адцураўся.

Стары нібы ўздрыгнуў, зірнуў на хлопца нейкім нядобрым, спалоханым позіркам і зноў патупіў голаў.

– Як гэта адцураўся? – сказаў ён, відаць, уражаны гэтым словам. – Хіба можна бацькі адцурацца?

Перакідваючы шост на другі бок, Мішка заўважыў, што пад вачыма старога, у сівых яго касмылях, быццам бліснула штосьці. Хлопцу на момант стала шкада чалавека, але такая слабасць душы была чужая яго характару, і Бурбон хутка пазбыўся яе.

– Ён у мяне добры, – казаў тым часам стары. – Бывала, маленькі быў, такі белагаловенькі, усё есці насіў на ніву. Прыйдзе, сядзіць на ўзмежку ці ходзіць за канём і ўсё пытае: што гэта, чаму тое? А ўвечары я яго на плячах дамоў нясу, да ваколіцы дайду, зірк – а ён ужо спіць.

– Гэх ты, – іранічна чмыхнуў Мішка. – А цяпер?

– Ён і цяпер добры... Надоечы, значыць, пасылку прыслаў: папярос гарадскіх, цукерак, піша, частуйцеся, татка, табе гасцінец. Яшчэ піша, можа, прыедзе на Спаса ды дошак выстараецца як: хату паправіць.

– Хм, – не ўтрымаўся Мішка і зірнуў на чалавека. Тое, што казаў ён, была святая няпраўда, і хлопцу нават здалося, ці не п'яны, а мо' не выспаўся гэты дзядзька. Аднак Алёкса спакойна сядзеў на шчарбатым носе, задумліва пазіраў цераз возера на той бераг, і на твары яго ляжала такая непрытворная вера ў сказанае, што хлопец ажно здзівіўся. Ён прыкінуўся прастаком і знарок запытаў старога:

– Мо' ён табе і грошы прыслаў?

– Ага, і грошы прыслаў... Яно не многа, але ўсё падмога мне, бабылю. Ён добры, дарма што людзі кажуць.

– Выходзіць, выдумляюць?

– Ну яно, канешне, людзям цяміцца і тое і гэта. Дарма толькі.

Мішка зноў хацеў сказаць, што стары хлусіць, але нешта ўтрымала яго ад тых грубых слоў – вельмі ўжо непрыемна было разбураць гэтую фантазію чалавека. А той, відаць, упэўніўшыся ў даверлівасці хлопца, прадаўжаў сваё:

– Восіп у мяне добры, вучоны. Няма чаго бога гнявіць. Бацьку ён не забудзе.

– Глядзі ты, – прытварыўся хлопец. – А я думаў – паганец ён.

– Што ты? – здзівіўся стары. – Не.

«Вось дык справа, — думаў тым часам Мішка. — Трудна жыве сам, а не хоча ганьбіць таго свалату. Другі б на яго месцы ў суд падаў».

Хлопца здзівіла, што стары не паскардзіўся, не ўсчаў выкладваць свае крыўды, як гэта любяць занядбаня, слабыя людзі. Такіх людзей Мішка недалюбліваў і да іх ліку адносіў і дзядзьку Алёксу. Але цяпер выходзіла, што стары быў неяк па-свойму велікадушны, а гэта ўжо сапраўды падабалася Бурбону, які паважаў усё шырокае, размашыстае ў жыцці. У той жа час Мішка шчыра ненавідзеў Восіпа і, праўду кажучы, трохі не разумеў Алёксу, які, здавалася хлопцу, дарэмна аберагаў сына. Нейкія ўжо дужа невыразныя былі іх адносіны, але затое было відавочна, што стары насіў у сабе немалое гора.

Яны пад'ехалі да другога берага, тут таксама было мелка і багніста, зялёнай шырокай паласой цягнуўся аер і трыснік, за імі, на пагорку, растапырыўшы кашлатае сучча, стаялі высачэзныя елкі. Іх верхавіны расплываліся ў вадзе, зыбаліся, пераліваліся бляскам і ценьмі.

Алёкса здалёк прыкмеціў над вадой верх мярэжы, і дубіца наблізілася да яе. Пакуль стары выцягваў з вады мокрую, аблепленую тванню снасць і лавіў у гарлавіне слізкіх карасёў, Мішка ўсё шкадаваў, што заместа старога не сядзіць тут яго «добры» Восіп. Захоплены новымі думкамі, хлопец ужо забыўся на сваю дураслівую задуму, маўчаў, не прырачыў дзядзьку, а той, узбадзёраны давер'ем, выдаваў за бль свае набалелыя мары пра сына.

— Хто ж цяпер мяне і дагледзіць, калі не ён? Жывыя былі б старэйшыя — і надзеі было б болей, а так на яго ўвесь спадзяванак. Ці ж ён не цяміць гэтага?

Другую мярэжу стары доўга не мог выцягнуць з вады, яе засмактала ў багну, і Мішка, устаўшы з кармы, грубата адпіхнуў гаспадара.

— Дай я.

Ён спрытна ўправіўся, вытрас непатрэбнае, кінуў у дубіцу трапяткую плотку і перабраўся на сваё месца ў карме.

— Ну, дзякуй табе, хлопца, помог ты мне сёння, — казаў дзядзька Алёкса. Пакрысе ён ужо перажыў свой смутак і,

узбадзёраны зважлівасцю хлопца, неяк аж пасвятлеў з твару. У яго слязлівых вачах, здаецца, свяцілася ўдзячнасць Мішку за тое, што паверыў у яго словы пра сына.

Мокрымі пальцамі з блішчынкамі прыліплай лускі дзядзька скруціў нязграбную цыгарку, прыкурыў у прыгаршчах – у гарачым паветры паплыў над вадою шызы пахучы дымок. Дубіца лёгка гойдалася на ціхай азёрнай плыні, стары задуменна пазіраў у ваду, а Мішка пільна глядзеў на яго.

– Ведаеш што, – нейкім асаблівым голасам раптам сказаў хлопец. – Гэта ж мы тады з Юзікам твой човен прадзіравалі.

Дзядзька коратка зірнуў на яго, але, замест здзіўлення, яго выцвілыя вочы бліснулі ўсмешкай.

– Я ж ведаю, браце, мне казалі. – Ён памаўчаў крыху і ўжо сур'ёзна дадаў: – Ну ды гэта глупства: вядома, падшывальцы.

– І ўздумалі ж – біць не было каму, – казаў Мішка. Ён ужо шчыра абураўся тым учынкам, а пра свой нядаўні намер хлопец аднак змоўчаў: было сорамна самога сябе.

Назад ехалі напрасткі, цераз усё возера да лужка, дзе разам з поўднем скончыўся людскі гоман, і пясчаны бераг быў пусты і ціхі. На сцяжынцы, там, ля алешніку, паказалася нейкая адзінокая постаць, і над возерам разнёсся знаёмы зычны брыгадзіраў голас:

– Мі-і-і-ха-а-ась, на стагаванне пойдзеш! Вілкі не забудзься-я-я!

Брыгадзір яшчэ пастаяў там, на пагорку, відаць, чакаў заўсягдашніх Мішкавых адгавораў, але хлопец, пасур'ёзнаўшы неяк, змоўчаў у знак згоды. Упершыню, здаецца, за сваю гарэзную маладосць натрапіў Міхась на невясёлую загадку чалавечых адносін і маўчаў, не ведаючы, як вытлумачыць яе. А дзядзька Алёкса курыў і прыязна пазіраў на памагатага, які ўсё хмурыў свае прыгожыя бровы і, шастком узнімаючы з дна пухіры, шпарка гнаў дубіцу.

На водмелі дзядзька вылез, намачыўшы штаны і трымаючы ў прыполе небагаты азёрны набытак. З берага ён сказаў хлопцу:

– Ну, дзякуй табе. Усё казалі нягодны ты, а гляджу – быццам нішто дзяцюк.

Мішка ніякавата паморшчыўся ад непрывычнай пахвалы.

– Дубіцу я на тое ж месца пастаўлю, – сказаў ён. – Трэба будзе – возьмеце.

Ён падхапіў шасток і, шырока расставіўшы ногі, упёрся ў бераг. Алёкса выціраў рукавом узмакрэлы лоб.

– Ведаеце, дзядзька, – раптам сказаў Мішка. – Усё ж калі траплю ў горад, знайду вашага Восіпа і наб'ю яму морду. Хам ён, вось хто. Кажуць на мяне, што я хам, але вось ён сапраўды хам.

Алёкса знячэўку ўздрыгнуў. Ён ураз зразумеў і няўдачу сваёй хітрасці, і нечаканую Мішкаву спагаду – старэчыя вочы яго хуценька заміргалі. Трэба было ісці дамоў, але ён чамусьці стаяў на беразе і ўсё моўчкі глядзеў на спрытнага дужага хлопца ў дубіцы.

А Мішка заклапочана зірнуў на паніжэлае сонца і, размахваючы даўжэзным шастком, пагнаў дубіцу ў трысніковую затоку.

1957 г.

Апендыцыт

Надвячоркам у нядзелю ў бальнічнай палаце стала ціха і сумна. Трое хворых, што некалькі дзён ляжалі тут, былі ўжо добра вядомы адзін другому. Усе ўжо ведалі, што жылісты і чорны, нібы цыган, шафёр Свірыдаў наездзіў трыста тысяч без рамонту; што дзядзька Міхась, калгаснік з дальняга раёна, перад самой хваробай вярнуўся са сталічнай нарады перадавікоў-жывёлаводаў, дзе ён першы раз у жыцці выступаў з прамовай; што дыхавічны і тоўсты дырэктар скурзавода Нікадзім Іванавіч пакутваў не столькі ад сваёй язвы, колькі ад таго, што яго завод у мінулым месяцы не выканаў план. Ад суму і нудоты дырэктар цяпер задрамаў з газетай у руках, шафёр чытаў «Залатое цяля», а дзядзька Міхась варочаўся ў ложку і думаў свае адвечныя сялянскія думы. Два ложка ў палаце пуставалі, і дзядзька Міхась раптам сказаў:

– Сёння, бадай, будзе папаўненне: бальніца ж дзяжурная.

І дзядзькавы словы спраўдзіліся. Не прайшло і хвіліны, як у калідоры затупацелі ногі, і на парозе з’явіўся чалавек у сінім халаце паверх бялізны. За ім ішла сястра: яна паказала хвораму месца на ложку ў куце і хуценька разгарнула пасцель.

Хворыя ў палаце адразу ж страцілі самоту і напоўніліся цікаўнасцю. Дзядзька Міхась, пэўна з ветлівасці, аж прыўзняўся на локці (навічок стаў яго суседам), шафёр загарнуў кніжку, і нават дырэктар прачнуўся. Хутка сястра пайшла, а хворы, крэкчучы і стогнучы, пачаў мясціцца пад коўдрай.

– З чым гэта вы? – ветліва запытаў дзядзька Міхась. Хворы коратка бліснуў зыркiмі чорнымі вачыма на мала-

джавым укормленим твары, аблізаў вусны і холадна кінуў у прастору палаты:

– Апендыцыт.

– Ну, апендыцыт – дробязь, – зазначыў дзядзька Міхась. – Выражуць і не ўчуеце. Бы авадзень укусіць.

Хворы павярнуў на падушцы голаў і недаверліва паглядзеў на суседа.

– Апендыцыт для медыцыны ўжо дробязь. Нават практыканты і тыя рэжуць добра, – казаў далей дзядзька Міхась.

– Слухай, стары, а не ведаеш, хто мяне аперыраваць будзе? Хіба не доктар Сяміпалацінскі?

– Круглікаў, пэўна, бо ён сёння дзяжуріць.

Хворы спалохана ўскінуў бровы, яго твар раптам ахапіла трывога.

– Які гэта Круглікаў? Мабыць, практыкант які? Не, я не дамся яму!

– Ну, дарма вы так, – уставіў дзядзька Міхась. – Круглікаў добры хірург. Мне ён, братка, почку выняў. І Нікадзіма Іванавіча ён аперыраваў. І нішто.

– Не! Толькі Сяміпалацінскі. Я не магу даверыцца кожнаму. Маё жыццё дорага мне. Дый ён не мае права без маёй згоды. Сястра! – раптам зычна крыкнуў хворы. На парозе з’явілася маладзенькая сястра.

– Хто мяне аперыруе?

– Доктар Круглікаў.

– Адставіць! Выклікайце Сяміпалацінскага.

– Сяміпалацінскі заўтра дзяжуріць, а сёння Круглікаў, – далікатна растлумачыла сястра.

– Ну і што ж, што заўтра! А ў мяне баліць сёння.

У палаце стала трывожна. Трое хворых насцярожана пазіралі на чацвёртага, а той мятляўся па падушцы, ад болю ці ад нярвознасці скрыгатаў зубамі і, не стрымліваючыся, гучна стагнаў. Дзядзька Міхась спачувальна параіў:

– А ты б спакойна, братка, так яно зручней.

– Пакіньце сабе вашы парады, – буркнуў хворы, і пасля тых слоў ужо ніхто не турбаваў яго.

Тым часам сцямнела, уключылі электрычнасць. Прышоў доктар Круглікаў, сёстры. Яны пераконвалі хворага не марудзіць, даводзілі, што выклікаць старога Сяміпалацінскага зараз немагчыма дый няма патрэбы. Аднак на хворага гэтыя довады дзейнічалі, як масла на агонь.

— Як гэта няма патрэбы? — крычаў ён, і ў яго чорных неспакойных вачах кіпела абурэнне. — Вы ведаеце, што значыць жыццё савецкага чалавека? Хіба так вас вучыць партыя берагчы здароўе народа? Я тэлеграфірую міністру. Безабразія, доктар!

Доктар няёмка пераступіў з нагі на нагу і, відаць, не знайшоўшы, што адказаць, коратка заўважыў:

— Ну, ваша справа. Але, каб не было горш.

Ён пайшоў, выразна бразнуўшы дзвярыма, пайшлі і сёстры, а хворы яшчэ доўга абураўся, пагражаў, абяцаў дайсці да Масквы і пакараць медыцыну за няўвагу да яго асобы. Але пасля яму стала горш, і тут ужо было не да пагроз і праклёну. Пакідаўшыся ў ложку, ён гукнуў сястру і аб'явіў, што згодзен на ўсё. Хутка яго панеслі ў аперацыйную.

— Ну, браткі, і фрукт! — сказаў дзядзька Міхась, як толькі зачыніліся дзверы. — Месяц ляжу тут, а яшчэ такога не бачыў. Відаць, нейкі важны чын.

— І глядзі, які фарс: падавай яму Сяміпалацінскага, Круглікаву не давярае, — казаў шафёр. — Сапраўды, хто ж гэта такі?

— Нейкі кіраўнік, відаць, з вобласці, — зазначыў дырэктар. — Там часам бываюць такія крыкуны.

— Ці не з аўтаінспекцыі, — гадаў шафёр.

— Ды ўжо ж, відаць нейкая важная асоба, — круціў галавой дзядзька Міхась. — Як ён гэта наконт здароўя савецкага чалавека, га? Пэўна, заслужаны, калі так крута круціць.

— Хвацкі чалавек, гэта так, — згадзіўся шафёр.

Аперацыя тым часам прайшла хутка і добра. Праз паўгадзіны хворага прывезлі на высокай калясцы і асцярожна паклалі на ложак. Ён вельмі стагнаў, але не патра-

баваў нічога. Шафёр і дырэктар заснулі, а дзядзька Міхась не спаў — глядзеў у столь, усё думаў, хто такі будзе гэты ягоны яршысты сусед. Часам стары неўпрыцям прыглядаўся да яго энергічнага профілю, падцятых вуснаў, і ў старога нараджалася ўпэўненасць, што гэты рашучы і патрабавальны чалавек мае вялікія заслугі, мо' нават славу і займае пасаду не меней, чым абласнога маштабу.

Уранку хворы аднак прачнуўся даволі спакойны. Востры боль прайшоў ужо, чалавек расплюшчыў вочы і, здаецца, упершыню з увагай агледзеў палату і сваіх суседзяў. Неўзабаве ў палату ўвайшла бабулька-прыбіральшчыца і расчыніла фортку. І тады хворы злосна азваўся:

— Фортку зачыніце!

— Чаму? — здзівілася жанчына. — Хворым жа трэба паветра.

— Мне шкодзіць скразняк.

— Але ж ён не зачэпіць вас. Акно ж у нагах.

— Усё роўна.

Прыбіральшчыца зашчапіла кручок і з пакрыўджаным выглядам узялася за сваю справу. Але тут рашуча сігануў з ложка шафёр, які маўкліва ляжаў дагэтуль, і, нічога не кажучы, злосна штурхнуў фортку.

— Вы па якому праву? — закіпеў хворы, але шафёр ужо нырнуў пад коўдру, злосна буркнуўшы:

— Па такому.

У палаце ноў запахла сваркай. Хворы сказаў доўгую, поўную абурэння прамову аб чуласці да савецкага чалавека. Трое маўчалі. Дзядзька Міхась хітравата падмігваў шафёру і стрымліваў смех. Дырэктар насуплена пазіраў на сварліўца, і яго ноздры нервова раздзімаліся. А той, відаць, зразумеў, што да яго тут ніхто спагадліва не ставіцца.

— Сястра! — закрычаў ён. Сястра хутка прыйшла і спынілася на парозе. — Перавядзіце мяне ў іншую палату, я не магу ў гэтай.

— Чаму? — здзівілася сястра. — Гэта ж самая лепшая палата.

— Стварыце мне належныя ўмовы! Я не магу з гэтымі людзьмі.

– Але ў іншых месцаў няма. Хіба ў калідор?

– Што-о-о?! – чорныя вочы хворага бліснулі лютасцю.

Праз гадзіну сястра прыйшла зноў рабіць уколы. Пакуль яна калола ў руку хворага, ён зыркмі, поўнымі падазронасці вочкамі сачыў за яе рухамі. Потым сястра яшчэ калола шафёра і затым, закруціўшы гумай руку, пачала ўводзіць глюкозу дзядзьку Міхасю. Вочы сварлівага хворага хціва бліснулі.

– А мне што, няма глюкозы?

– Не прызначана.

– Як гэта не прызначана? Я ж аслабеў вельмі.

– Не ведаю, – коратка адказала сястра.

– Безабразія! Куды глядзяць гэтыя медыкі! Паклічце доктара.

– Праз гадзіну абход.

– Што мне абход! Вы лячыць мяне павінны, гэта ваш абавязак, а вы тут бюракрацію заводзіце. Я сёння ж напішу ўсё міністру. Я гэта вам не дарую...

Сястра аднак не стала слухаць і выйшла. Зноў у палаце стала ціха, і ў гэтай цішы ўладна грымеў голас хворага. Астатнія трое ляжалі моўчкі. Шафёр уткнуўся ў кніжку, дзядзька Міхась ужо не падмігваў. Дырэктар аднак не стрываў:

– Паслухайце. Не ведаю, хто вы такі, але трэба ж быць чалавекам, а не гэткім злыднем.

Ад гэтых слоў хворы ўстрапянуўся на ложку, вочы яго ўзгарэліся нядобрай рашучасцю, і невядома, што тут здарылася б, калі ў гэты час не расчыніліся б дзверы і ў палаце не з'явіліся новыя людзі. Гэта прыбыў новы хворы ў халаце, на кастылях. Яго прытрымлівала сястра. Яны накіраваліся да пятага незанятага ложка. Ubачыўшы гэтага чалавека, сварлівец ураз абвяў, а новы зірнуў на яго і здзіўлена шавяльнуў брывамі.

– І ты тут? І ўсё сварышся? Кінь, браце. Хварэць трэба ціха.

Сварлівец раптам ірвануў з сябе коўдру.

– Сястра! – закрычаў ён. – Пераводзьце ў калідор. Я не магу тут, не магу...

Дзядзька Міхась ад нечаканасці разявіў рот, шафёр апусціў на падлогу кніжку, а на твары дырэктара з'явілася горкая ўсмішка.

– Хутчэй, – крыкнуў хворы. – Хутчэй!

Сястра паціснула плячыма, выйшла. Хутка прыйшлі санітаркі з каляскай і, паклаўшы на яе хворага, выкацілі з палаты.

– Ух ты, ну і чалавек, аж замарыў усіх, – сказаў дзядзька Міхась. – Ці не ведаеце яго? – звярнуўся ён да новага хворага.

– Як жа, ведаю, – казаў той, крэкчучы і месцячыся на ложку. – Пусты чалавек. Усё толькі сварыцца ды скаргі піша.

– А дзе ж ён працуе? – цікавіўся дзядзька Міхась.

– Працаваў. У харчгандлі – зволілі, у сангігіене – судзілі, але мала далі. Ездзіў на цаліну, ды збег, а зараз не працуе. Прыжыўся ў нейкай агароднай удавы і цягне з яе патроху.

– Глядзі ты! – здзівіўся дзядзька Міхась. – А гонару колькі! Бы які міністр, не меней. А на справе – пустата.

– Язва, – сказаў дырэктар.

– Апендыцыт, – дадаў шафёр. – Апендыцыт ён у здаровым целе – вось хто!

[1957 г.]

Дапякло

(Скарга раскрытыкаванага старшыні)

Браточкі, сакратары, начальнікі, старшыні, што ж гэта робіцца? Два гады кіраваў, стараўся, гаспадарку ладзіў, пра рэпутацыю дбаў, а тут ушчалася напасце. Зняславілі, зганьбілі, раскрытыкавалі... Гаспадарцы яно нішто, але ж мой аўтарытэт...

Не падумайце благога – я не супраць крытыкі. Не, што вы! Я за яе і рукамі і нагамі. Але ж трэба разумець, якая крытыка і хто крытык. Калі, скажам, таварыш Петрушкевіч – наш першы сакратар – крытыкуе, дык яно, ведаеце, неяк аж прыемна. З аднаго боку – прыкра, а з другога – прыемна. Сядзіш гэта і старанна ў блакнот тую крытыку ўпісваеш, а на цябе суседзі пазіраюць – здаецца, што зайздросцяць нават. Скончыць сакратар, а ты гэтак ветліва і цвёрда: «Будзе спраўлена, Пётр Кузьміч. Памыліліся». І ўсё добра і ладна. Калі часам на калгасным сходзе там які стары Пятрок ці дзед Афон пачнуць што з прымаўкамі плявузгаць – трошкі ніякавата, але трываеш – хай! Ім можна прабачыць – натое і старыя. Усё гэта, як кажуць, у сваёй хаце, на людзі не прэцца, за парог не выносіцца. І ўжо іншая справа, калі які друкаваны орган зачэпіць цябе. Спакой ужо не ўтрымаеш – на тыдзень настрой страціш. Але і тое яшчэ нічога, калі гэта піша які газетны пісака – ён, вядома, адукаваны чалавек. А вось тое, што ў мяне здарылася, ніякага працадэнт у не мае. Ужо такой крытыкі ніводзін знаёмы мне старшыня не стрывае – нават ціхманы Панасюк з «Кастрычніка» і той роўнавагу страціў бы.

І хто мог падумаць, што ўсё пачнецца з таго адвячорка, калі у мяне ў канторы з'явіўся той газетчык з раёна, малады, кірпаты, у шэрай кепцы. «Прывітанне, — кажа, — старшыня. Як справы з уборкай?». «Добра, — кажу, — што нам: пасялі — жнём». «Дык можа артыкульчык напішаце пра жніво?» Вось, думаю, не было марокі. Што я, пісец які, ці што? На пісаніну ў мяне апарат ёсць. «Не, — кажу, — некалі. У нас план, а на тое няплановае мерапрыемства часу няма».

У той момант гляджу — з вуліцы да нас Паўлюк кіруе, кульгавага Селівона хлопец, які дзесяцігодку скончыў і цяпер на ферме працуе. Сам ён з выгляду такі непрыкметны, ціхманы. Кармушкі ладзіць ці гной двойнямі кідае і ўсё маўчыць, нібы пра якую дзяржаўную справу дбае. Вось, кажу карэспандэнту, Паўлюк напіша, ён разумны — алгебру вывучаў. Пасмяяліся, а газетчык той да Паўлюка і падаўся. Я аж уздыхнуў з палёгкай, а не змікіціў, дурань, што нарабіў. Ды хіба мог я меркаваць тады, што гэты рахманы Паўлюк атруціць маё жыццё?

Не ведаю, аб чым там яны ўдвух гутарылі, дый не да таго было. Я хутка забыўся і на газетчыка, і на Паўлюка таксама. Але вось неўзабаве даходзяць да мяне людскія размовы пра нейкі артыкул. Я — за падшыўку. Гляджу — праўда: «Не зніжаць тэмпаў уборкі», чытаю — пра наш калгас. Усё добра, але ў канцы, быццам цвік у сцяне — нібыта я, старшыня, мала патрабую ад механізатараў, якія часам робяць брак. І подпіс: Павел Апенька. Падзівіўся я, што такі смаркач гэтак падвал адгэхаў, але не стаў злавацца. Хай сабе і не патрабую. Ды і як ад яго патрабаваць, калі яны сёння тут, заўтра там, ды агрызаюцца яшчэ: у нас сваё начальства на ўказкі і гэтак далей. Праўда, сустрэўшы аднойчы гэтага пісаку, я ўкалоў яго ўсё ж: што, маўляў, карэспандэнт, мо' і ў «Правду» падвал напішаш? Людзі наўкола смяюцца, а ён усё моўчкі стаіць ды сур'ёзна гэтак пазірае.

Маўчаў, а праз нейкі час прыходзіць пісьмо з рэдакцыі — старшыні на рэагаванне, гэта значыць — мне. Чытаю. Аказваецца, гэты Паўлюк напісаў, што старой адзінокай

Барысісе не аказваецца дапамога, што ў яе няма дроў і дзіравая страху.

Ну, думаю, ці не сапраўды ўявіў ён сябе карэспандэнтам – вось нарабіў на сваю галаву! Але нешта ж трэба адпісаць – яшчэ новы клолат! Выклікаў я тую Барысіху. «Ты што, – кажу, – не можаш сама папрасіць, калі што трэба?». «Прасіла, – кажа. – Вы абяцалі, дык вось не дачакаюся, мо' забыліся». Мо' і забыўся, што ў мяне толькі і клопату, што тая Барысіха, – у мяне вунь дзяржаўныя задачы. Ну, прывезлі дроў, залапілі страху, але я ўжо разлаваўся на гэтага блазнюка Паўлюка і ўсё збіраўся зайсці на ферму ды як след прабраць пісаку. Збіраўся, збіраўся і дачакаўся на сваю галаву. Праз тыдзень-другі ў той жа газеце – новы артыкул: «У «Новым шляху» марудзяць з сіласаваннем». Маўляў, засмечаныя ямы, сапсаваныя сіласарэзкі і гэтак далей. І Паўлюкоў подпіс. Ну, што тут зробіш? Я адразу ж бяжком на ферму, а ён якраз там скідае канюшыну з воза. Кажу: ці ты з глузду з'ехаў, хлопец? Не забывайся, у калгасе жывеш, пакуль я над табою начальнік. Май на ўвазе: ты – блазнюк, а я – старшыня. Ты пад лаўкай поўзаў, а я на франтах ваяваў. Словам, даў наганяй. А ён хоць бы слова. Маўчыць, стоячы на возе, і пазірае сур'ёзна, быццам не разумее, хто перад кім вінаваты.

А вінаватым такі аказаўся я. Бухталтар падаў звесткі, што ў нас засіласавана 80 працэнтаў, а на справе было засіласавана толькі 40. Тут я перажыў жахлівыя хвіліны, ледзьве вылез з тае бяды.

Але бяда адна не ходзіць, а за сабою і другую водзіць. Пасля ўсіх гэтых Паўлюковых допісаў камсамол яго сваім сакратаром абраў. І вось пачалі яны на ферме збірацца штосьці – Паўлюк гэты, Гнат Іванаў, Грышка Бормат і яшчэ куча падшывальцаў з імі. Збіраліся, шапталіся і аднойчы клічуць мяне на камсамольскі сход. Пытанне – аб стане жывёлагадоўлі ў калгасе. Думаў не пайсці, ды разважыў: трэба. Тут з райкома іхняга таварыш і той кірпаты газетчык. Выступалі, выступалі, крытыкавалі – і мяне, і праўленне, і сельсавет – і дагаварыліся да таго, што ў калгасе ёсць прытоеныя каровы на ферме, што дояць 120,

а малако здаюць за 95. Тут ужо я не ўтрымаўся і, прыпомніўшы ўсе свае крыўды, страціў раўнавагу і нарабіў сваркі. А яны хоць бы што! Разышліся – і ўчора ў газеце зноў артыкул, ды не звычайны, а фельетон, значыцца, пра мае нібыта махінацыі.

Ну што цяпер будзе – памяркуйце самі. І хто гэта дазволіў, каб нейкі блазан, учарашняе дзіця, маё заслужонае імя няславіў і аўтарытэт падрываў?

Таварышочкі, дарагія, абараніце ад Паўлюка, не дайце загубіць заслужонага чалавека!

[1957 г.]

Незагойная рана

Мінаюць часіны – знікаюць руіны,
Злятаюць з палёў груганы.
І толькі ў сэрцах баляць, не сціхаюць
Незагойныя раны вайны.

Міхась Васілёк

Буе над абшарамі сцюдзёны асенні вецер, змятае пад прызбы пажоўклае лісце, гайдае мокрае галлё ў садку. Гарэзным свавольнікам выскаквае ён з-за вуглоў на цесны панадворак, здзірае саламяную страху хлёўчука, нібы дурэючы, матляе па Тэклінай спіне блытаня махры яе хусткі. Ад ветру і холаду ў старой макрэюць запалыя вочы, яна раз-пораз выпроставаецца і, прыставіўшы да чурбана выслізганае тапарышча, ражком хусткі выцірае слёзы. Потым яна стомлена ўздыхае і акідвае позіркам тыя некалькі паленцаў, што ўжо адсечаны ад жардзіны. Жанчына вельмі стамілася, а наскла столькі, што не хопіць і разу прапаліць у печы. Спачыўшы з хвіліну і аддыхаўшыся, яна зноў прыступае нагой на тую жардзіну і ўзмахвае вышчарбленай сякерай.

Над пустым бульбянішчам Тэклінага агарода, над недалёкім выганам і дарогай, што, узбегшы на ўзгорак, хаваецца ў шэрай далечы, марудна паўзе восеньскі адвячорак. Некуды спяшаюцца імклівыя пакудлачаныя хмары ў небе, за хатамі ў вёсцы трывожна бляе авечка, і недзе разважна гергечуць гусі.

Тэкля сячэ, адпачывае ў кароткіх перапынках і ўвесь час азірае дарогу. Відаць па ўсім, што яна кагосьці чакае, і гэтае чаканне балючым адбіткам тугі і надзеі свеціцца ў яе слязлівых вачах.

Нарэшце на пагорку з'яўляецца імклівая постаць веласіпедыста, і Тэкля па нейкіх адной ёй вядомых прыкметах пазнае ў ім калгаснага пісьманосца. Веласіпедыст набліжаецца абочынай дарогі, потым унізе, пад пагоркам, злазіць з машыны, выводзіць яе з калдобін і зноў сядзе, локцем адкінуўшы на спіне цяжкую сваю сумку.

Па меры яго набліжэння старую ўсё больш ахоплівае нецярплівасць. Яна кладзе сякеру і з незагароджанага двара выходзіць на гразкую вуліцу. Рукі яе неспакойна блукаюць па грудзях, без патрэбы абмацваюць світку, твар зморшчыўся ў пакутлівым выразе чакання, і ў вачах – няцярпная туга надзеі. Калі пісьманосец звярнуў з дарогі ў вуліцу, жанчына па гразі шкандыбае насустрач, нібы баючыся, што ён без увагі абміне яе.

Пісьманосец прыцішвае бег веласіпеда, але не спыняецца, а ўзняўшы на жанчыну насуплены твар зморанага чалавека, груба папракае старую:

– Ну што ты мяне пільнуеш усё? Няма ж табе нічога. Нічога няма! – крычыць ён у твар жанчыне і знікае за рагом.

Старая нібы камянее на месцы, доўга яшчэ глядзіць услед праезджаму, і ў вачах яе – боль і здзіўленне. Нейкі час яна стаіць так без слоў і руху, аглушаная няласкай чалавека. «Нічога няма», – шэпчаць яе засмяглыя палінялыя вусны, і жанчына паволі ўнікае ў сэнс гэтых грубых слоў. Разбітай цяжкай хадой яна вяртаецца на панадворак да сваёй сякеры, але не падымае яе, а доўга стаіць над жардзінай і ўсё пазірае ў імглістую далеч. Па яе пасівераных рудых шчоках ціха коцяцца слёзы.

Яна доўга яшчэ глядзіць на сумны пагорак, гразкую дарогу і бачыць над гэтай мясцінай цёплы ліпеньскі дзень, высокае яснае неба і густое жыта абাপал дарогі. Гэта было ў той, ужо далёкі, памятны год, калі пачалася вайна. І тады яна таксама стаяла тут і з распаччу ў сэрцы пазірала на гэты шлях, а ногі яе імкнуліся бегчы туды, за ім, адзіным сынам, яе Васем. Шпаркай хадой рухавага чалавека ён хутка аддаляўся, па самыя плечы затулены ўмалотнай высокай збажыной, не азірнуўся, аж покуль не адышоўся

далёка. А яна, не адрываючы ад яго позірку, несціхана галасіла, вочы засцілалі слёзы і не давалі наглядзецца апошні раз на сваю васемнаццацігадовую надзею, сваё шчасце, частку яе матчынага сэрца. Толькі пасля ён спыніўся, павярнуўся да маткі, да роднай хаты і вёскі, пастаяў так, памахаў рукой, бы навек развітваўся з усім родным, сваім маленствам, маладосцю, і потым хутка знік за пагоркам.

І знік, відаць, назаўсёды...

Шаснаццаць страшных, нясцерпных год штогадзінным бодем адмервалі свой лік у матчыным сэрцы. Шаснаццаць год чакання, надзей, нязбыўнага трывожнага спадзявання. Часам прыходзілі пісьмы ў розных канвертах і з зусім аднолькавым зместам: радавы Сподак Васіль Іванавіч у спісах забітых і прапаўшых без вестак не значыцца. Яны бянтэжылі і абнадзейвалі, гэтыя пісьмы, але ішоў час, а надзеі не спраўджваліся. Суседзі часам казалі такое, супраць чаго з усёй матчынай сілай пратэставала сэрца, якое верыла і чакала ўдзень і ўначы. Гэтая вера трымала старую ў жыцці, вымушала на клопаты аб сабе, але ж гэтулькі год мінала дарэмна...

Тым часам марудна цягнулася, далячынь спаўзлася шэрай смугою, у паветры заснавала надакучлівая восеньская золь. Абудзіўшыся ад задумення, старая сабрала на руку нарыхтаваныя паленцы і, крануўшы закрутку сенцаў, увайшла ў хату. Тут было ўжо цёмна, ледзь свяцілася ў паўзмку абшкрэбаная закураная печ, стуліліся ў куце стол і дзве лаўкі – уся хатняя абстаноўка жанчыны. Светлымі квадрацінамі сінелі яшчэ два акенцы, у адным чарнела заткнутая шыба. Старая паклала ля печы дровы, прыслухалася да знаёмай цішыні пустой хаты і, не распранаючыся, апусцілася на лаўку. Так яна сядзела доўга, думала ўсё пра адно і тое ж: дзе ён, ці жывы, ці не?

Спакваля змрок зусім затуліў пакой, толькі ўсё яшчэ бялела ля парога печ ды шарэлі вокны. Тэклі ўсё сядзела не кратаючыся, склаўшы на каленях рукі і схіліўшы ў задуме голаў. Яна моцна скаланулася, калі на ганку грукнулі нейчыя крокі, і, як заўсёды на ўсялякі стук, абамлела яе

сэрца. «Ён!» Не маючы ўжо сілы ўскочыць і кінуцца насустрач, яна застыла ў напружаным пакутным чаканні. Нехта ўвайшоў у сенцы, зашкрэбаў рукой па сцяне, шукаючы клямку, і хутка адчыніў дзверы. «Няўжо, няўжо, няўжо?» – у нямым запытанні стукала сэрца і прагнула, каб было так. Але спадзяванні жанчыны хутка рушыліся.

– Ці тут вы, цётка? – пачуўся з парога знаёмы голас суседскай дзяўчыны Ульянкі. Збянтэжаная неспадзяванасцю, Тэкля маўчала, не ў стане супакоіць даўні прывычны боль.

– Што ж гэта вы лямпы не паліце? А я прыйшла па запалкі, калі багаты. У нас, каб на іх ліха, гэтыя курцы за дзень усе павыцягалі. Не накупляешся на іх, дымакураў.

Тэкля моўчкі слухала і не чула дзявочай гамонкі, у галаве яе плылі маркотныя даўнія думкі. Неяк няўцямна старая намацала на прыпечку няпоўны карабок запалак, аддала дзяўчыне. Тая ўсё балбатала пра тое ды гэта, а потым, нібы адчуўшы, як далёка яе размова ад сэрца жанчыны, змоўкла і, ужо ўзяўшыся за клямку, уздыхнула.

– Не мучцеся вы ўжо. Што ж зробіш? Калі дзе жывы, дык вернецца. А калі не... Калі не, дык трэба забыцца ўжо.

– Ці ж можна забыцца? – пакутліва адгукнулася Тэкля. – Калі б хоць ведала, што няма, дык лягчэй было б. А так вось... У заўтрашні дзень якраз нарадзіўся ён, перад Пакровамі. Нарадзіўся на белы свет, а шчасцейка, відаць, не суджана было. Ляжаць, можа, дзе адны костачкі – ведаць бы хоць, у якой зямельцы – ці ў сваёй, ці – крыў Божа – у нямецкай.

Дзяўчына няёмка пераступіла ля парога, баючыся, што старая расплачацца, і немаведама як тады супакоіць яе матчына гора. Але працяглы боль ужо высушыў слёзы старой Тэклі, толькі сэрца гарэла ад нясцерпнай пакуты.

У гэты вечар яна не паліла ў грубцы і не засвяціла лямпы. Яна ўзлезла на печ, трохі яшчэ цёплую зранку, і, накрывшыся світкай, скурчылася на ўскрайку. Яна не заснула, ды і не намагалася зрабіць гэта, а ляжала так, не заплюшчваючы вачэй, і ў змроку хаты перад ёй паўставалі даўнія, але незабыўныя малюнкi.

...Ён нарадзіўся ў гэткі ж, як сённа, ветраны восеньскі дзень – маленькі крыклівы хлопчык. Бацька толькі што перахварэў на тыф, ужо ўзняўся, хадзіў, але быў яшчэ кволы і слабы. Першы сыноч стаў вялікай уцехаю у гэтай крайняй у вёсцы хаціне. Абое з бацькам яны вынянчылі, выхадзілі яго, радаваліся яго першым крокам і першым словам. Ішоў неўзаметку час, і рос бялявы, ціхманы хлопчык – ласкавы, велікалобы, жвавы. У пяць год ён ездзіў з бацькам у поле, на начлег, пасвіў гусі, а потым, калі нарадзілася Марыська, стаў няньчыць яе. Вучыўся ён добра, на святы прыносіў маленькія школьныя прэміі: сшыткі, пенал, каляровыя алоўкі. Суседзі хвалілі сына, і часта матчына сэрца мацней білася ад радасці.

І Васілька пасля школы падаўся далей, у гарадскі тэхнікум, дзе вучыліся на настаўнікаў. Тады ж яна зведала першы боль ростані і першую чароўную радасць сустрэчы. Ён быў зусім яшчэ падлетак, а ўжо яго паважалі ў вёсцы, суседкі зайздросцілі Тэклі, мужчыны хвалілі сына, а ён усё, як і ў дзяцінстве, быў ціхманы, сарамлівы і стрымана ласкавы з маці. Яна тады ўжо засталася адна – бацька не шмат пражыў са слабым здароўем і неяк памёр напрудвесні. У той год Васілька канчаў вучобу, пасталеў, падрас, раздаўся ў плячах. І аднойчы, на нейкае свята, у час яго кароткага гасцявання дома, адчула маці, што ўжо скончылася дзяцінства яе белагаловага хлапчука і з ім – яе, матчына, улада над сынам.

Ёй добра памятны той цёплы майскі адвячорак, калі ў паветры пахла таполяй, маладым бярозавым лісцем. Гудзелі на панадворку хрушчы, недзе ў вёсцы граў гармонік, і яна, успомніўшы, што трэба да вечарынкі накарміць сына, пайшла за хату ў агародчык гукнуць яго. Ён там чытаў нешта, але калі маці ўбачыла яго, Васіль, безуважны да кнігі, неяк устрывожана і пільна пазіраў з-пад рабіны на палымяны разліў зары. Маці пяшчотна паклікала, але ён не паварушыўся нават, усё глядзеў на захад, а потым азваўся і сказаў такое, што назаўжды разбурыла спакой у матчыным сэрцы:

— Мама, глянь: бачыш, які захад? Праўда, падобна на вялізнае пажарышча? А бадай, і сапраўды запалае зямля.

Вайна будзе, мамачка. Я пайду гады, застанецца вы адны з Марыскай.

Яна моцна спалохалася, памятае, зразумеўшы страшны сэнс тых слоў, заплакала, а ён ускочыў, абняў яе і супакойваў, як мог, кажучы, што, можа, яшчэ ўладкуецца ўсё паціху. Але калі яна сціхла, прыцяла благое прадчуванне, ён сказаў ужо сур'ёзна і цвёрда, як узмужнелы сталы мужчына:

– Усё ж, калі што здарыцца, я пайду, мама. Прызавуць ці не, а пайду: так трэба.

Яна не разумела ўсяго, але верыла, што калі казаў ён гэта, то сапраўды так трэба было, і не адгаворвала, не ўпрошвала яго.

І ўсё ж у сэрцы яе ён заставаўся маленькім, добрым белагаловым хлопчыкам, якому патрэбна была яе любоў і яе клопат. Усё здавалася ёй у страшныя гады вайны, што яму недзе цяжка, што ён знемагае ад болю, ад сцюжы, ад голаду. І яна не знаходзіла сабе месца ў хаце – хацелася бегчы, знайсці яго, памагчы, прыняць частку яго цяжару на свае плечы. Але куды было бегчы і дзе шукаць?

Ішлі гады. Яны неслі распач, радзей кароткую, як пробліск восеньскага сонца, радасць. Людзі прыходзілі з вайны, з партызан, многія былі паранены, але жывыя, за другіх прыйшлі весткі аб іх гібелі. Па іх паплакалі маці і патроху супакоіліся – страчанага не вернеш. Тэклія ж усё чакала – доўга, цярпліва, без скаргаў, а ён не ішоў, не адзываўся. Яе суцяшалі суседзі, колькі разоў угаворвала Марыска, якая ўжо выйшла замуж і жыла ў далёкай вёсцы. Зяць пры кожнай сустрэчы цярпліва запрашаў яе да сябе – там гадаваліся ўнукі, і яна была дужа патрэбна. Але Тэклія ўсё не магла адцурацца хаціны, дзе нарадзіўся сын і якую яна ўпарта доўгія гады берагла для яго.

У хаце пакрысе ўсталёўваецца сляпая асенняя ноч, глухая ціш, апроч Тэклі тут нікога няма. Быў некалі кот, ды і той звёўся чамусьці. Вялікае гора прыбіла ўсякі інтарэс да жыцця, зламала характар, спаракніла душу – нічога няміла цяпер старой, адзінокай жанчыне.

Яна ўсё ляжыць, расплюшчыўшы вочы, думае свае невясёлыя думы і напружана ўслухоўваецца. Так ужо пры-

выкла за шаснаццаць год і трывог і чаканняў – слухаць кожны шолах і кожны гук у ваколiцы.

Але ўсюды ціха, толькі шамаціць у страсе халодны вецер ды недзе на дарозе гудзе машына. Яна, відаць, набліжаецца, буксуе, пэўна, у калдобінах тых, ля пагорка. Знячэўку сіняватае дрыготкае святло яе фар слізгае па вокнах і кладзе ў куце пад столлю вузенькую бліскучую паску. Машына гудзе бліжэй, паска паволі сунецца па закураных, патрэсканых бяргавеннях, шырэе; з'яўляюцца чорныя палосы рамы, і вось ужо на сцяне – бліскучы косы адбітак Тэклінага акна з адной чорнай заткнутаю шыбай. Акно ўсё хутчэй слізгае па сцяне ў другі кут і ўрэшце знікае, асвятляючы на момант вялізны цвік і каўнер павешанага на ім кажушка. У хаце зноў робіцца цёмна, машына з цяжкім ляскатам і гулам мінае Тэклін панадворак.

Тэкля нерухома слухае, думае сваё і раптам усхопліваецца ад новай надзеі. А можа, гэта ён, можа, ён са станцыі, прыехаў, стаіць цяпер ля роднае хаты, вось-вось увойдзе. Тэкля ўзнямае голаў, слухае і сапраўды чуе няпэўныя крокі на ганку і ціхі кароткі стук. Ён! Старая ўзнямаецца на печы, спускаецца і, сцягнуўшы за сабою ватоўку, таропка бразгоча зашчапкай. Яна расчыняе дзверы сенцаў – у твар ёй б'е вільгаць і холад восеньскай ночы, наўкола цішыня і цемра. На ганку нікога, на панадворку змрок. З хвіліну яна ўзіраецца ў ноч, слухае, і сэрца яе зноў захлынаецца ад роспачы, не хоча ніяк пагадзіцца з крушэннем надзеі. Асцярожна мацаючы ботам гразкі дол, яна заходзіць за рог, доўга ўглядаецца ў вуліцу – нідзе нікога.

Потым яна вяртаецца і зноў ляжыць на печы з расплюшчанымі вачыма і слухае, слухае ўсю ноч. Пад ранак жанчына ўсё ж засынае і нібы ў працягу сваіх думках бачыць дзівосны сон.

Бачыць яна: нібы настае новы, заўтрашні дзень – дзень нараджэння Васількі. Яна нешта завіхаецца на панадворку і ўсё пазірае на дарогу, чакае і пэўна ведае, што сёння павінен з'явіцца ён, яе надзея. Жанчына ўсё рыхтуецца да гэтай сустрэчы, але чамусьці няма радасці на яе сэрцы ад хуткага спаткання – нешта замінае ёй, гэтай радасці.

Урэшце чаканне сустрэчы і зусім знікае. Жанчына паліць у печы, ёй памагае дачушка Марыська. Яны пякуць бліны і між справай ласуюцца святочным наедкам, зусім забыўшыся ўжо пра Васільку і яго хуткае вяртанне. І раптам суседская Ульянка стукае і нешта хрычыць у акно – Тэклі не чутна слоў, але яна здагадваецца, што гэта вяртаецца ён. Старая выбягае з хаты і бачыць, як на той жа дарозе, што і шаснаццаць год назад, ідзе яе сын, яе дарагі Васілька. Але ён ідзе вельмі марудна, часта спыняецца, становіцца на калені – з ім штосьці здарылася, яму, відаць, вельмі цяжка. Маці, ахопленая нястрымным распачным хваляваннем, наўпрасткі, праз бульбянішча і грязь, у адной кофце, без хусткі бяжыць насустрач сыну. Яна ўжо ведае, што нешта страшнае, непяпраўнае здарылася з яе Васількам. Жанчына, галосычы, падбягае да сына – ён, прыўзняўшыся на руках, ляжыць на дарозе, і яго малады, такі ж, як і шаснаццаць год назад, без ніводнай маршчынкі, твар спагадліва ўсміхаецца. Але што гэта? Чаму ў сына няма ні рук, ні ног, замест іх адны толькі кароткія кульцяпкі? І чаму кроў на яго пілотцы з маленькай зялёнай зорачкай, якія насілі франтавікі? Маці, млеючы ад жаху, хапаецца за сына, прабуючы ўзняць, і галосіць, а ён спакойна так кажа: «Нічога, мама, усё благое скончылася. Цяпер жыць будзем...».

А потым яна бачыць яго ў роднай хаце, быццам ён сядзіць на покуці і ўжо не ў чырвонаармейскай форме, а ў шэрым пінжачку, які справіў перад вайной, і сур'ёзна кажа маці: «Ну і нічога, хоць я і загінуў, але зноў жывы».

Ад нясцерпных жахаў яна прачынаецца на досвітку і, знясіленая ад перажытага за ноч, нерухома ляжыць, не ведаючы, што і падумаць. Яна прыпамінае сон, удумваецца ў яго адметныя драбніцы, зноў пакутуе ад такога выразнага, свежага ў пачуццях відовішча, і чым далей, тым болей у старой мацнее ўпэўненасць, што ён вернецца. Гэтая ўпэўненасць і жаданне, каб яна здзейснілася, ужо не даюць старой чакаць у бяздзейнасці, яна ўзнімаецца, хуценька накідвае на плечы сваю світку. У хаце сцюдзёна, ужо даўно і зусім астыла печ, у вокнах сінее свежы ранак, і Тэклі

кідаецца да таго, з разбітай шыбай, каб убачыць дарогу. Але дарогі яшчэ не відно, ледзь-ледзь цямнее пад нізкім хмарным небам пусты пагорак – і ўсё. Старая сноўдае па хаце, не ведаючы, што рабіць, за што ўзяцца, а думкі яе – на той дарозе, і сэрца ўсё больш ахоплівае нецяярплівасць. Яна ўжо верыць, што ён недзе вяртаецца, і ўвесь час то падбягае да акна, то выходзіць на панадворак і да болю ў вачах узіраецца ў шэрую далячынь.

Калі добра развіднела, Тэкля ўжо не магла стрымаць сябе і, выйшаўшы на вуліцу, пачала ўглядацца ў дарогу. Спачатку там было пуста, потым з'явілася нейкая фурманка, на ёй сядзела двое мужчын і кабета. Старая ўсё ўглядалася ў іх – пільна і доўга, захлынаючыся ад нецяярплівасці, а яны, бесклапотна гутарачы аб нечым і перасмейваючыся, так і мінулі вёску. Потым зноў на дарозе доўга не было нікога, аж пакуль здалёк не паказалася нейкая адзінокая постаць. Яна з'явілася, паматлялася на краявідзе і недзе знікла. У Тэклі адразу адарвалася нешта ўнутры, тупа ўдарыла ў голаў здагадка: «Ён!». Яна прыгледзелася яшчэ і ўжо не магла стрымацца. Не зачыніўшы нават сенцаў, у бахілах набасанож старая хутка пайшла па дарозе. Спачатку яна абмінала гразь, пазіраючы то пад ногі, то на пагорак, потым прыбавіла кроку і ўжо не разбірала дарогі. У нізіне ля калдобін, калі знік з вачэй пагорак, яе ахапіла трывога. Здалося жанчыне, што яна позніцца, што ён упаў там і ляжыць пакалечаны, і маці, цяжка дыхаючы, кінулася падбегам.

Сэрца яе ледзь не разрывалася ад гора і напружання, пакуль яна выйшла з лагчыны. Вось-вось, здавалася, яна ўбачыць яго, як у тым сне, на дарозе, зняможанага, пакалечанага. Яна, захліпаючыся ад стомы і хвалявання, узлезла на пагорак, але дарога была пустая. Гэта было першае расчараванне, але яно не пахіснула веры жанчыны. А можа, ён далей, можа, за параснікамі ці ў лужку, думалася ёй, і старая, не спыняючыся, бегла далей.

Над шырокімі прасцягамі, раллёй і голымі пералескамі непрыкметна зачаўся сумны восеньскі дзень, было ветрана і сцюдзёна. Нізкае неба поўнілася цяжкімі азызлымі хма-

рамі – яны суцэльным бясконцым статкам плылі з захаду, несучы першы зазімак.

Тэжля не спынілася ні на пагорку, ні ля параснікаў, яна не магла ўжо суцішыць хады – усё ў ёй рвалася наперад, туды, адкуль яна чакала яго. Увесь час здавалася старой, што вось-вось яна дасягне горкі ці абміне хмызняк і ўбачыць яго, і жанчына ўсё прыбаўляла хады.

Але ён не паказаўся ні з-за горкі, ні з-за параснікаў, а сілы старой пачалі слабець. Адзін раз яна прытулілася да тэлефоннага слупа, нібы ўпершыню здзівіўшыся марнасці надзеі, зірнула назад, наперад. Як добра, падумала старая, што бацька пахаваны дома, на вясковых могілках, што ў яго дагледжаная магілка, а дзе ён? Дзе пахаваны ён? – нема крычала яе душа. Няўжо сапраўды ўсё скончана і ніколі ёй не дачакацца яго, і давядзецца падацца ў чужыну да зяця?.. Але чаму пахаваны? Не можа быць, каб памёр ён, ён павінен жыць, ён ідзе гэтай дарогай, дык трэба спяшацца сустрэць яго. І яна шкандыбала па гразі ў невядомую далеч дарогі.

Апоўдні мінула знаёмыя мясціны, вядомыя вёскі. Дарога ўсё вілася ў восеньскіх прасторах, усё з прагнасцю азірала яе маці, але яго не было нідзе. Яна ўсё ішла, але вельмі знемагла ўжо, часта адпачывала на ўзмежках, ля слупа, на камянях. Спыніцца яна не магла, не магла і вярнуцца: ёй здавалася, што жыццё яе сына – у той дарозе.

А то ёй сустрэўся трактар, ён цягнуў вялізную чырвоную малатарню, а на ёй і на трактары сядзела некалькі хлопцаў. Старая саступіла з дарогі ўбок ад грукату і лязгу і ўважліва агледзела седакоў. Адзін, што сядзеў збоч трактарыста ў кабінце, здаўся ёй неяк вельмі падобны да яе Васількі; трактар праехаў, а яна ўсё глядзела ўслед. Хлопец у расшпіленай ватоўцы на малатарні нешта крыкнуў ёй і засмяўся – яна не пачула яго слоў, але чамусьці аж схмянулася ад яго маладога свавольніцкага смеху.

Пад вечар яна ўжо ледзь брыла дарогай, спынялася, задыхалася ад стомы. Старэчы позірк, што так натхнёна вёў яе ўдалеч, пагас пакрысе, як пагасла і яе нясцерпная

надзея сустрэць яго. І ўсё ж яна з дрыготкім сэрцам узірлася ў дарогу з-за кожнай павароткі.

Урэшце беспадстаўная вера жанчыны пачала марнець. Усё часцей вярталася думка, што дарэмныя яе надзеі, бескарысны клопат. Не прыйдзе ён і сёння і ніколі, бо яго няма ўжо на белым свеце. Усё быў зман, пустыя спадзяванні, і яна прагла толькі даведацца, дзе пахаваны яе сын. Гэта было іншае пытанне, але яно апанавала маці з гэткай жа нязмернай сілай, як і тое, што датычылася яго жыцця.

У небе ўсё гусцелі барвовыя хмары, яны не плылі цяпер, а збіраліся, тоўпіліся над прасторамі, быццам здумаўшы нешта нядобрае. Расплываўся з-за краявіду сіняваты змрок, далячынь сцямнела, насупілася ў прадчуванні непагадзі. Пэўна, блізіўся вечар, ці мо ад хмар сцямнела да часу. На сіверным ветры замільгалі рэдкія сняжынкі.

Тэкля некуды ішла, ужо і сама не ведала, куды і па што. Усё больш апаноўвалі яе распач і гора, яна ведала пэўна, што шчасце не спаткае яе на гэтай дарозе. Але не магла яна і вярнуцца назад – не было ўжо сілы ў яе на тое вяртанне.

Дарога прывяла старую ў нейкі лясок. Абапал шляху цесна стаялі елкі, шумелі, гулі ў ветранай высі іх верхавіны. На доле шамацела змеценае ў каляіны лісце, блішчалі лужыны рудой, мутнай вады. Тэкля ішла па дарозе, абাপіраючыся на кій, ледзь пераступаючы збалелымі натруджанымі нагамі. Аднак лес неўзабаве скончыўся, дарога пабегла ўніз да самотнай пустой лугавіны, і жанчына, схамянуўшыся, раптам спынілася.

На пагорку, збоч ад дарогі, на ўзлеску незвычайна ярка і чыста неяк у гэты халодны восеньскі вечар бялеў каменны абеліск з зоркай наверху – звычайны вайсковы помнік тым, хто не дайшоў да Берліна. Хістаючыся ад горкіх прадчуванняў, што хлынулі ў яе душу, Тэкля сышла з дарогі і, узнімаючы нагамі некрануты пласт шапатлівага лісця, падалася да помніка.

Ён быў дагледжаны, падпраўлены і нядаўна пабелены, гэты журботны напамінак вайны. Невялікая магілка з завялай травой і высахлымі немудрагелістымі вянкамі ста-

ранна падраўняна; пагабляваныя шчыкеціны агароджы афарбаваны зялёнай фарбай – як і належыць вайскоўцам. На адным баку абеліска чарнела ўмураваная ў яго дошчачка з не дужа зграбна напісанымі, але выразнымі літарамі – спісам пахаваных байцоў. У распачы павісшы грудзьмі на агароджы, старая ўпілася ў гэтыя радкі жалобных слоў.

Не, яго не было і тут. «Лейтэнант Авяр'янаў, гвардыі старшына Кузняцоў, радавыя Бондараў, Піліпенка, Чарных і іншыя». Але хто ж гэтыя іншыя, чаму не напісаны іхнія імёны? А можа, і ён тут у ліку гэтых невядомых «іншых».

Яна ўжо не магла ісці адгэтуль, учапілася рукамі ў халодныя шчыкеціны, і з глыбіні яе жарам гарэўшых грудзей вырвалася страшнае пытанне:

– Сыночак мой, дзе ж ты?

Чарнела неба ад хмар, шумеў голым веццем узлесак, стыла шэрая далячынь. Доўга яшчэ ляцела на ветры тое яе запытанне, і нема крычала матчына сэрца ад нясцерпнае раны вайны.

[1957 г.]

Непагадзь

Нізкае змрочнае паднябессе ўвесь вечар сеяла назойлівую вадзяную імглу; нейкай фальшывай радасцю нясцерпна блішчала вуліца; аўтамабільныя фары ганялі бліскавіцы ў мокрым асфальце; безліч мігатлівых водбліскаў гуляла ў гарадскім небе. У такія гадзіны нудлівай вячэрняй непагадзі Андрэй Андрэевіч асабліва балюча адчуваў адзіноту і скруху ў сваім невясёлым жыцці. Зябка захінуўшыся ў плашч, ён крочыў па люднай вуліцы і няўцямна ўглядаўся ў блішчасця пералівы асфальту, расплывістыя цені пракожых, мітусню агнёў і ніяк не мог пагасіць у сабе нудных, надакучлівых, як гэтая макрэдзь, думак.

Ужо не першы год насіў ён у сабе тую тугу і трываў, бо што было рабіць? Даўно ўжо мінулася ў яго душы ўсякая павага да жонкі – недалёкай, поўнай дробязных клопатаў жанчыны, якая неўзаметку неяк прыйшла ў яго жыццё, як гэты шэры восеньскі вечар на змену дню. Вечна яна гаспадарыла, усе яе інтарэсы заўжды межаваліся кухняй, суседзямі і рынкам. Яна не цікавілася яго справамі, яго турботамі, а ён хацеў шмат чаго большага – хацеў агульнасці ўзроўняў, шырыні поглядаў, маладой весялосці ў жыцці, лёгкасці ўзаемаадносін. І крыўдна было тое, што жонка не хацела разумець яго дамаганняў, лічыла, што ён проста дзівачыць, і па-ранейшаму старанна мыла посуд, дбала пра хатнія набыткі і штодзень клала неразгорнутымі атрыманыя ўранку газеты. Андрэя Андрэевіча спачатку раздражняла гэтая прыземленасць яе натуры, некалі ён часта сварыўся, а потым маўкліва замкнуўся ў кола сваіх клопатаў і толькі пакутаваў. Часам карцела перайначыць усё, разарваць з нялюбым чалавекам, але адна акалічнасць у гэтай справе была

непераадольнай: яны мелі дзяцей. Кірпатая разумніца Аленка і дапытлівы дуронік Валодзька з аднолькавай неўтаймаванай сілай трымалі ў палоне абодва бацькоўскія сэрцы.

Дождж усё сыпаўся – надакучлівы, роўны, несціханы. Камарыным паскокам снавалі на лужынах яго дробныя мігатлівыя кроплі. З вадасцёкавай трубы на рагу імчаў цераз тратуар імклівы ручай, і пухіры, бы дыяменты, мільгаючы, знікалі ў рашотцы вадазбору. Побач грукалі вялізныя дзверы «Гастранома», ад вулічнай непагадзі слязліва пацелі вітрыны. Па дарозе дадому Андрэй Андрэевіч часта заходзіў у гэты магазін, купляў дзецям гасцінцы. Ён зайшоў сюды і цяпер. Ля кас і прылаўкаў тоўпіліся пакупнікі, мільгалі ўсмешкі, рукі, позірккі, сумкі. Шум і гоман мноства людзей даходзіў да пачуццяў панылага Андрэя Андрэевіча нейкім невыразным клубком чалавечай задаволенасці, якая ў гэтай раскошы магазіна, здавалася, перапаўняла ўсіх і якой так не хапала яму. А душа ўсё прагла нечага светлага, ціхага, добрага... Ён купіў дзецям дзве шакаладкі і, паназіраўшы з хвіліну за людскім тлумам, падаўся ў дзверы.

На вуліцы зноў ахапіла яго дрыготкая восенская золь, пасля светлага цёплага прытулку асабліва агорклай здалася гэтая сырасць. Андрэй Андрэевіч наставіў каўнер і пайшоў далей у мокрую зіхатлівую ноч, несучы з сабой маркотныя думы чалавека, зморанага непагодай жыцця. Часам ён лавіў на сабе нейкія асаблівыя ў паўзмроку адкрытыя і цікаўныя жаночыя позірккі – загадкавую ласку струменілі прывабныя вочы, але не радасць, не шчасце, а боль і тугу параджалі яны ў чалавечым сэрцы.

Андрэй Андрэевіч уздыхае толькі і думае пра другую жанчыну, з якой у яго магло быць шчасце, – бадай, сапраўднае шчасце, што рэдка спраўджваецца і аб якім падоўгу, настойліва мараць людзі. Была чароўная суладнасць пачуццяў, узаемная павага і прыязнасць, чыстае светлае сяброўства. У тую адзіную ў кожнага чалавека вясну ўспынула каханне, і здавалася, нішто не ў стане парушыць іхняга шчасця. Але, дзіўная справа – яны парушылі яго самі.

Ніна тады канчала інстытут і якраз уваходзіла ў тую пару маладосці, калі зусім нечакана, увачавідкі расцвітае дзявочая прывабнасць. Не памятаючы сябе, захапіўся Андрэй яе чараўнічай маладой жаночкасцю, узнёсласцю яе мараў, начытанасцю і спагадлівай чуласцю да чужых турбот. Абое яны з першай самаадданай гарачнасцю пакахалі адно аднаго – была вялікая радасць ад таго кахання, але яна несла і вялікае гора. Адноўчы выпадкам ён сустрэў яе ў гарадскім парку з двума маладымі афіцэрамі – яна не бачыла яго і гэтак, як і з ім, была вясёлая, жартоўная, і тая яе весялосць балючай крыўдай ударыла ў Андрэева сэрца. Яны пасварыліся неўзабаве, і ён дзеля помсты і са злосці, не падумаўшы, пачаў заляцацца да другой. Не шмат мінула часу, і калі апамятаўся хлопец, Ніна была ўжо замужам – не за кім-небудзь з тых, сустрэтых у парку, а зусім за іншым, не вядомым яму чалавекам.

Гэта было ў сорок пятым годзе, у далёкім невялікім горадзе на ўзбярэжжы славутай ракі, дзе незабыўнай казкай прамільгнула яго дзяцінства. Потым абое яны раз'ехаліся і ўжо не сустракаліся болей. Хутка раззлаваны і знявераны Андрэй Андрэевіч ажаніўся са сціплай ціхманай трэстаўскай машыністкай, аднак неўзабаве адчуў, што страціў сваё вялікае шчасце, а набыў незадаволенасць і горыч, толькі каго было вінаваціць у тым?

У апошнія гады Ніна ўсё часцей і часцей з'яўлялася ў яго памяці – паўставала ва ўяўленні такой, якою ён ведаў яе калісьці – маладой, клапатлівай, прыветнай. Калі-нікалі яна снілася яму, і жаданы мілы вобраз яе выклікаў нясцерпную тугу ў чалавеку. Андрэй Андрэевіч назаўтра хадзіў панылы, змрочны, разгублены, злосна пазіраў на дачасу раздабрэлую жонку і маўчаў. Жонка здагадвалася пра яго пакуты і нічога не распытвала, затое Алёнка, чуллівая да ўсякіх перамен у бацькоўскай душы, адразу насцярожвалася і пыталася, чаго татка сярдзіты. Ён на момант абуджаўся тады з паныласці, вінавата зазіраў у празрыстыя, крынічныя вочкі дзіцяці, супакойна гладзіў яе светлую кучаравую галоўку і казаў, што зусім ён не сярдзіты, што

ён «так». Дзяўчынка недаверліва пазірала ў яго твар – здаецца, нешта ўжо адчувала яна, ды не магла зразумець.

Сам баючыся ў тое паверыць, Андрэй Андрэвіч няўрымсліва кахаў Ніну, вечары і доўгія бяссонныя ночы марыў аб ёй, жыў далёкімі незабыўнымі ўспамінамі аб іх кароткім каханні. Але ён не ведаў, дзе яна, што з ёй, як уладкавалася яе шчасце. Чамусьці ўвесь час жыла ў ім упэўненасць, што і яна не знайшла радасці ў паспешлівым замустве – папраўдзе ён вельмі хацеў, каб і яна не была шчаслівая, задаволеная – гэта прынізіла б яе ў ягоных вачах. Вядома, ён мог бы напісаць знаёмым, спытаць пра яе, але ён не наважваўся зрабіць гэта, бо не было ўпэўненасці, што не ўчыніць чаго-небудзь і не накліча гэтым вялікай бяды. Так ішоў час, і яна ўсё жыла з ім – у яго ўяўленні, думках, пачуццях – усё болей ушыркі і ўглыб разрастаўся ў яго душы яе выпеставаны ў маргах вобраз.

Затканая сеткай дажджу, у канцы вуліцы вынікла плошча. Цьмянымі расплывістымі плямамі блішчалі ліхтары, у шэрым змрочным тумане невыразнай глыбай высіўся помнік. На голых галінках прысадаў, бы перламутравыя пацеркі, варушыліся вялікія кроплі, ліпла да тратуара сарванае непагодай пажоўклае лісце.

На аўтобусным супынку Андрэй Андрэвіч стаў за плячыстым у зялёным капелюшы мужчынам, наперадзе стаяла дзяўчына. Абое яны хавалі пад парасонам свае галовы, дзяўчына даверліва тулілася да дужай постаці свайго спадарожніка і ўвесь час гарэзна пазірала ў ягоныя вочы. Яны нешта перагаворваліся, ціха смяяліся. Андрэй Андрэвіч чамусьці ніякавата адчуў сябе ў гэтым суседстве з замілаваным чужым шчасцем, бяздумна павярнуўся і маркотна пабрыў на супынак таксі.

Машын, аднак, і там не было. Некалькі чалавек, што купкай стаялі ўскрай тратуара, нецярпліва пазіралі ў туманную далячынь і чакалі. Андрэй Андрэвіч зірнуў на людзей – побач соп дыхавічны таўсцяк з парасонам, нешта валтузілася ўсё маладая маці з дзяўчынкай, якая капрызна хныкала і нечага прасіла. Наперадзе нерухома чакала жанчына ў жаўтавым крэпдэшывым плашчы з ча-

маданчыкам у руках. Не цікавячыся асабліва нікім, Андрэй Андрэевіч пачаў паглядаць на рог, адкуль выязджалі машыны.

І машына неўзабаве з'явілася. Сіняя «Победа», з мяккім шорхатам распырскваючы лужыны, гайданулася на рысо-рах і спынілася перад людзьмі. Да яе адразу кінулася некалькі чалавек. Андрэй Андрэевіч не ў час схамянуўся ад задумы і спазніўся – пярэднія дзверцы таксі ўжо адчыняла жанчына ў плашчы. Ад ляску дзверцаў ці мо' ад якога ўнутранага падсвядомага штуршка Андрэй Андрэевіч зірнуў у машыну, і адразу нешта гарачае, хмельнае шыбанула ў яго голаў. Асветлены цьмяным святлом, за мокрай шыбаю аўтамабіля на адно нейкае імгненне мільгануў гэтка знаёмы і родны твар яго Ніны. Ад нечаканасці Андрэй Андрэевіч слаба ўскрыкнуў, рвануўся з месца і, штурхнуўшы некага, рынуўся наперад. Але машына ўжо бліснула чырванню стоп-сігналаў і падалася на плошчу.

Ён саскочыў з тратуара, кінуўся ўслед, прыдушаным чужым голасам гукнуў «Ніна», ды ўрэшце куды было гнацца! Невядома, што стала б з ім, калі б побач зноў не бліснулі яркія фары і зноў не спынілася таксі. Як апантаны, Андрэй Андрэевіч кінуўся да шафёра, нешта незразумелае крыкнуў яму, спрабуючы адчыніць дзверцы, зачыненыя знутры. За ручку разам з ім ухапіўся той дыхавічны таўсцяк і таксама абурана крычаў нешта. Андрэй Андрэевіч не звяртаў на яго ўвагі і, як толькі адчынілася машына, уваліўся туды і распачна загаманіў шафёру:

– Братка, хутчэй... дагнаць трэба... вунь тую, сінюю...

Вадзіцель здзіўлена паглядзеў на ўзрушанага пасажыра, аднак хутка адпусціў тормаз. Не стрымліваючы нервовых дрыжкаў, Андрэй Андрэевіч утаропіў праз шкло ліхаманкавы позірк – у туманнай далечы плошчы за помнікам, запаліўшы асфальт яркай чырванню, аддалялася сіняя «Победа».

Машына паслухмяна імчалася па мокрым асфальце, але Андрэю Андрэевічу здавалася, што яны едуць марудна. Ён жаласліва прасіў шафёра паддаць хады, а ў самога ўсё напял[а]ся ўнутры, дрыжала ад напружання кожная жыл-

ка, пачуцці заліла нязмерная радасць сустрэчы, у той жа час яго працінаў страх ад думкі згубіць «Победу». Ён так многа выпакутаваў за гэтыя гады, з такою сілай успыхнула ў ім жаданне бачыць Ніну, што, пэўна, ён гатовы быў зрабіць злачынства, каб толькі дагнаць яе.

Па роўным прамым праспекце сіняя «Победа» прывяла іх на вакзальную плошчу. Там яна на нейкі час прапала за аўтобусам, схваўшыся, раз'ехалася з грузавымі машынамі і збочыла да білетных кас. Прыпаўшы да слязлівага шкла, Андрэй Андрэевіч пільна сачыў за ёю.

Яны трохі спазніліся. «Победа» на кароткім супынку ўжо высадзіла пасажырку і, зрабіўшы па плошчы шырокі круг, паварочвала ў горад. Неўзабаве спыніліся і яны, і Андрэй Андрэевіч, нават не зачыніўшы дзверцаў, падбегам кінуўся ў мітуслівы натоўп.

У штурханіне і гомане вакзала ён знайшоў Ніну перад раскладам руху цягнікоў. Яна чытала гэты расклад, пэўна, збіралася некуды ехаць. У Андрэя Андрэевіча моцна застукала сэрца і ажно аслабелі ад хвалявання ногі, калі ён наблізіўся да яе. Зноў не сваім, зацятым голасам ён неяк спуджана клікнуў:

– Ніна!

Яна ўздрыгнула, хуценька павярнулася, выявіўшы ў вялікіх вачах выразны спалох, які зараз жа змяніўся здзіўленнем. Нясмелая ўпачатку радасць адбілася на яе белым, паўнаватым твары. Яна ўскінула да яго руку ў пальчатцы, ён ухапіўся за яе дзвюма сваімі мокрымі далонямі і казаў нешта, сам не разумеючы што...

– Вось як... Знайшлася... Вось...

– Андрэй! – слаба ўскрыкнула яна, і ад хвалявання захадзілі яе высокія грудзі. – Андрэй, адкуль ты?..

– Ды вось стрэліся, – трохі ўжо авалодаўшы сабой, казаў Андрэй Андрэевіч. – Ты едзеш куды?

– Я? Ага, еду... Ці яшчэ не, але трэба... Сёння паеду.

Тады ён далікатна ўзяў яе за локаць і, патроху перамагаючы хваляванне, павёў між людзей у цесным праходзе.

– А я, ведаеш, на плошчы зірнуў у таксі, гляджу: ты! Ну, я на другое, даганяць. Ледзь-ледзь не згубіў... Вось...

Здарылася ж як! – ужо без ценю былых пакут і сумненняў радасна казаў Андрэй Андрэвіч.

– А як жа гэта ты? Адкуль? – пыталася яна, паслухмяна ідучы поруч і пільна ўглядаючыся ў яго твар, які ўсміхаўся збянтэжанай, трохі сарамлівай усмешкай...

– Я жыву тут... Ужо тры гады... Працую ў трэсце інжынерам.

Яны прабраліся ў самы кут пачакальнай залы, прыселі на ўскрайку дубовай з высокай спінкай канапы. Побач, узваліўшыся на чамадан і захінуўшы твар каўняром, ляжаў нейкі здарожаны пасажыр. Яны, аднак, не зважалі ні на кога.

– Ой, якая сустрэча!.. Якая сустрэча! – ад здзіўлення ці ад радасці, усё ўзіраючыся ў яго, казала Ніна. – А ты не змяніўся, Андрэйка. Усё такі, як быў. А колькі ўжо год мінула!..

Яна нялёгка ўздыхнула. Ён таксама з замілаваннем, з незразумелай тугой і бязмерным шчасцем глядзеў у яе прыемны, маладжавы, крануты сумнай усмешкай твар з падведзенымі тонкімі брывамі і па-ранейшаму доўгімі вейкамі. Яна зняла з галавы намоклы капюшон і апынулася ў модным зялёным бярэціку на кароткіх ільняных завітках. На Андрэя Андрэвіча адразу дыхнула ўспамінамі пра іх незабыўнае былое. Здавалася, усё, што было ў ягоным жыцці без яе, было сном, хворым трызненнем, а цяпер прадаўжаецца тое, ранейшае. Але трохі ўгледзеўшыся ў яе падпудраны твар, Андрэй Андрэвіч улавіў у ім нешта новае, невядомае яму, набытае, відаць, у тыя доўгія гады іхняй ростані. Аднак ён яшчэ не хацеў заўважаць гэтага і сказаў шчыра:

– І ты ўсё такая ж, Ніна...

Нешта, пэўна, большае, чым трэба было, вымавіў ён у апошнім слове, бо ў яе вачах бліснулі на момант іскрынкі нейкай здагадкі, але яна хутка пагасіла іх і спытала:

– Ну, як жа ты маешся?

Ён не хацеў ні думаць, ні гаварыць пра сябе, ён глядзеў, глядзеў у яе любыя вочы, трымаў у сваіх далонях яе руку, і вочы яго струменілі перамешаныя хваляваннем пачуцці. Але яна спытала яшчэ:

– Як ты жывеш[?] Ці шчаслівы?

– Я? – чамусьці здзівіўся Андрэй Андрэвіч. Так, ён быў цяпер шчаслівы, і ўсё іншае не датычыла яго, знікла з адчуванняў, унутры чалавека бурліла хмельная радасць. – Я так, нішто, – казаў ён. – Працую. А ты? Дзе ты? Як ты? Хто ў цябе?

Яна неяк трошкі журботна ўсміхнулася куточкамі вуснаў.

– Позна ж ты цікавішся, – папракнула Ніна і коратка ўздыхнула.

Ён адчуў тады, што сапраўды вінаваты перад ёй і аж здзівіўся цяпер, як гэта ён мог гэтулькі чакаць, маўчаць, нічога не зрабіць, каб адшукаць яе, сустрэцца, убачыцца. Але ён быў шчыры з ёю, і яго радасць, яго відавочнае шчасце сустрэчы сказала ёй больш за ўсе словы.

– Андрэйка, – пазіраючы ў глыб яго ўважлівых вачэй, сказала Ніна. – А я памылілася тады... памятаеш?.. – яна апусціла вочы. Боль яе смутку кальнуў у душы Андрэя Андрэвіча. – Я замужам, у мяне дзіця, але... мне нявесела...

– Ніна! – перабіваючы яе такі знаёмы па сабе сум і боль, загаварыў Андрэй Андрэвіч. – Не трэба цяпер пра гэта... Не трэба... Ведаеш, і мне... нявесела.

Яна яшчэ маркотна, бы з недавер'ем, зірнула на яго і зноў уздыхнула. Ён змоўк, і тады ўпершыню патухла радасць і ў яго стомленых цёмных вачах.

Нейкі час яны задуменна маўчалі. Паволі ўлягалася ўзрушанасць, новыя, засмучоныя ноты напаўнялі перажыванні абоіх. У ёй гэтая засмучонасць таксама была новая, незнаёмая яму: нейкае капрызнае раздражненне на кароткі час з'явілася на яе твары. Яна крыху задумалася – можа, што ўспамінала, – рукі яе у намоклых рукавах плашча нервова варушыліся на каленях, пальцы няўцямна церабілі пальчатку. Але так працягвалася нядоўга, хутка яна зноў, ужо весялей, зірнула на Андрэя Андрэвіча, відаць, перамагла нешта ў сабе і спытала:

– Як жа гэта ты, аднак, уздумаў даганяць мяне?

Мноства гарачых пакутных слоў узнялося тады, перамяшалася ў яго галаве, ад перажытага ўзрушання зблыталіся

яго думкі і намеры, і ён кусаў толькі свае засмяглыя вусны. Трэба было сказаць самае галоўнае, самае важнае, аб чым марыў ён доўгія гады. Жанчына нібы разумела гэта і чакала, не ў стане згасіць у вачах няное трывожнае пытанне.

– Ніначка, каб ты толькі ведала! – натужна сказаў ён, глынуўшы ў горле пакутны камяк.

Яна павесялела ад яго невясёлых слоў, зноў, як калісьці ў далёкія гады, прыхінулася плячом да яго, узяла ў свае яго вялікую з набраклымі жыламі руку.

– У цябе сям'я.

– Так, сям'я, – сумна сказаў Андрэй Андрэевіч. – Двое малых...

– У мяне дачка... Вялікая ўжо... Муж маёр. Прыехалі вось з Далёкага Усходу. Ведаеш, як я апынулася тут? Ты мне сніўся ўчора, – стрымана бліснуўшы вачыма, паведаміла Ніна. – Я кінула ўсё і паехала... Шукаць цябе, – даверліва прызналася яна.

Побач за высокай спінкай канапы гаманіў вакзал, снавалі людзі, глуха хроп сусед, падкурчыўшы на сядзенні ногі. У цьмяным вялізным акне гулялі вулічныя водсветы, раўлі, лязгалі цягнікі за сцяной. Яны ж забыліся на свае справы і турботы, сядзелі, прыпаўшы адзін да аднаго, і слухалі пакутную споведзь сэрцаў.

Але ўляглося першае хваляванне сустрэчы, і неяк нечакана хутка мінулася яе чароўнае замілаванне, нешта куды больш простае і звычайнае ўваходзіла ў душу. Андрэй Андрэевіч усё глядзеў на жанчыну – збоку ён бачыў яе маленькае мяккае вушка, напалову схаванае ў завітках валасоў, далікатны, бы ў дзіцяці, пушок на шыі, і чамусьці гэтае суседства каханай усё меней кранала яго. Незразумела, чаму так хутка ў гэтай сустрэчы зніклі і хваляванне, і боль, і нават радасць, і ўнутры ў ім усё выразней расла незразумелая прыкрая няёмкасць. Прыгарнуўшыся да яго, сядзела любая жанчына, яго колішняя Ніна, а ў вачах чалавека праз туман гадоў выплываў іншы вобраз – вобраз той смяшлівай дзяўчыны, што засталася некалі ў далёкім горадзе на ўзбярэжжы славунай ракі... Андрэй Андрэевіч, крыху збянтэжаны ад такога здрадлівага пачуцця, душыў

у сабе тую прыкрасць – ён не хацеў разлучацца са сваім выпеставаным у марах шчасцем.

– Разумееш, я ўжо думала розум страчу. Так прыкра, так сумна... А муж вечна заняты, нічога не бачыць, апроч сваёй справы... не цэніць. Спіць і ўсё мармыча пра нейкія свае клопаты. А я... а мне надакучыла гэта, я жыць хачу... Навошта гіне маё хараство?.. Думаю: прападзі яно ўсё пропадам, купіла білет і – сюды. Але хіба знойдзеш, не ведаючы! І вось ты – нібы сам бог паслаў.

Яна кінула на яго смяшлівы позірк і ніякавата, нібы засаромеўшыся, пачала церабіць пальчаткі, пасля, прывычна прыхарошваючыся, папраўляла валасы, бярэцік, полы плашча, і гаварыла, гаварыла... Ён маўчаў, слухаў пра яе жыццё з нялюбым, занятым службаю мужам і жахаўся, думаючы, што, бадай, гэтак сама сказала б пра яго самога ягоная жонка. Ён шчыра намагаўся выклікаць у сабе спагаду да жанчыны, але ў глыбіні душы ўсё настойлівей раздзімаўся яшчэ не ўсвядомлены да канца агенчык незадаволенасці, прыкрасці ад яе апавядання. Нечага іншага карцела яму, нечага былога і каханага неставала ў ёй, і здавалася, быццам побач сядзіць нейкая незнаёмая, чужая жанчына.

Аднак яны доўга сядзелі прыгарнуўшыся і не чулі, як ішоў час. Сусед, што спаў побач, раптам прахапіўся, спачатку ўскінуў галаву, потым спусціў на падлогу ногі і запытаўся сіплым заспаным голасам:

– Колькі часу, не скажаце?

– Дваццаць хвілін на першую, – сказала Ніна і сама войкнула. Яна спазнялася на цягнік, да яго адыходу заставаліся апошнія хвіліны. Толькі зараз, узняўшыся з канапы, заўважылі яны, што ў зале прыкметна пацішала – людзі павыходзілі на пасадку – то быў апошні цягнік уначы. Сусед-пасажыр, сонна сапучы, знік недзе ў дзвярах, побач болей не было нікога, толькі на жаўтаватым узорным паркеце ляжалі нерухомыя цені канап.

Ніна збянтэжана замітусілася, зашпільваючы плашч. Мімаволі Андрэю Андрэевічу кінулася ў вочы сытая паў-

ната яе некалі тонкага дзявочага стану. Жанчына была вельмі ўсхваляваная, белыя шчокі яе нервова ружавелі, вочы блішчалі трывогай. Андрэй Андрэевіч стаяў маўклівы і сумны.

– Андрэйка! – умольна сказала яна, горнучыся да яго і закідваючы голаў, каб зазірнуць у яго невясёлы твар. – Андрэйка, што нам рабіць?

Андрэй Андрэевіч маўчаў. Колькі гадзін назад, даганяючы яе, ён не ведаў яшчэ, што мог бы зрабіць дзеля гэтай жанчыны. Цяпер ён адчуваў, што, бадай, ужо нічога не вырашыць і нічога не скажа ёй.

– Андрэйка, шчасце, шчасце мінаецца... Гады ідуць... Што будзе потым, Андрэйка?.. Я чакала цябе... Ну, скажы мне што-небудзь...

Ён чакаў таго і баяўся. Баяўся, бо гэта было вялікае, складанае пытанне, незразумелае, загадкавае, і цяпер, калі ў яго адчуваннях перамяшалася ўсё, ён не ведаў, як паставіцца да здарэння. За гэтую нерашучасць і няўцямнасць ён праклінаў сябе ў думках, але маўчаў і разгублена глядзеў на жанчыну.

Яна абхапіла яго за плечы, утуліла твар у вільготныя складкі плашча, прыціснулася да яго ў распачным дрыготкім парыве.

– Давай сыйдземся, будзем жыць, будзем кахаць адно аднаго, паважаць, шанавачь... Давай, Андруша!

Андрэй Андрэевіч балюча сцяў сківіцы.

– А дзеці? – спытаў ён сіпатым, тугім голасам, бы яго хто ўзяў за горла.

– Дзеці? – здзівілася яна і ўскінула ўгору заплаканы мокры твар. – Дзеці? У мяне добрая дзяўчынка, ты будзеш любіць яе як бацька... Ты будзеш рады... Яна паслухмяная такая, прыгожанькая... Андруша!!

Яму зрабілася крыўдна, балюча ад таго, што яна не зразумела яго ці прыкінулася, што зразумела не так. І тады нешта новае з'явілася ў яго адчуванні – ён ужо ведаў, што ў нечым доўга памыляўся ў жыцці.

– А як жа мае дзеці? – разгублена спытаўся ён і нахмурыўся.

Яна адразу змоўкла, насцярожылася. Андрэй Андрэевіч адчуў, як звялі на яго плячах яе рукі – неўзабаве яна зусім прыняла іх. Потым жанчына пільна паглядзела ў схаладзельныя вочы Андрэя Андрэевіча і, відаць, не знайшоўшы таго, што шукала, моўчкі ўздыхнула.

А Андрэя Андрэевіча апаноўвала прыкрасць. Яна ўжо прарвалася ў душу шырокім струменем і засмучала яго міжвольна, але няўхільна, усё болей аддаляючы гэтую нядаўна жаданую жанчыну. І чамусьці ў тых хвіліны Андрэй Андрэевіч забыўся на свае мары, на сваю няўтольную прагнасць да ціхага шчасця, яму стала ніякавата ад гэтай сустрэчы, ён шкадаваў ужо нечага, што адбылося сёння, злаваў на сябе за супярэчлівасць пачуцця да Ніны і зноў пакутаваў. Але ён усё ж прыцяў у сабе незадаволенасць і раздражнёнасць, выкліканую яе дамаганнямі, і сказаў ціха: – Не, так нельга, Ніна...

Тады яна ўзяла свой чамаданчык і, разважыўшы нешта, паціху пайшла па праходзе. Ён падаўся следам.

Чыгуначнік з чырвонай павязкай выпусціў іх на перон. Уздоўж вузкай апусцелай платформы стаяў цягнік. Дождж перастаў, усюды ў лужынах ззяла адлюстраванне агнёў.

Ён веў яе па доўгай платформе паўз уважлівыя позіркi нерухомах правадніц, і здавалася чалавеку: чужыя вочы з дакорам, бы ведаючы што, пазіралі на іх. А ў галаве Андрэя Андрэевіча настойліва чамусьці стукала неадчэпная думка: «Як жа гэта?.. Як жа гэта?..»

Недзе ў зіхатлівай цемры станцыі працяжна зароў паравоз. Ніна, разгубіўшыся, кінулася да свайго вагона, потым спынілася, падалася да Андрэя Андрэевіча, ухапіла яго за рукі.

– Андрэйка, падумай... Пішы, я чакаю... Чуеш?

– Куды ж пісаць? – усміхнуўся ён, згладжваючы ўсмешкай няёмкасць ад такой ростані. Яна выхапіла з сумачкі кавалак паперы, нешта чыркнула алоўкам і падала яму.

Калі цягнік крануўся, яна ўсё стаяла на прыступках і за спіны правадніцы махала яму. Ён трохі прайшоў следам, але цягнік усё набіраў імпэт, і вагоны, бліскаючы вокнамі, неўзабаве абагналі яго.

Тады Андрэй Андрэвіч спыніўся, не разумеючы добра, што адбылося. Нешта ціха, маўкліва і пуста стала на душы, і ён не ведаў яшчэ, радавацца ці бедаваць ад гэтага. То яму здавалася, што ён другі раз пакрыўдзіў яе, то сам пачынаў крыўдзіцца на Ніну. Пастаяўшы так, ён сунуў у кішэню паперку з яе адрасам – рука абмацала там шакаладкі, купленыя ў «Гастраноме», і чалавек нібы вярнуўся да будзённай свае рэчаіснасці. Ён неяк усміхнуўся, думаючы, што дзеці, пэўна, паснулі ўжо, не дачакаўшыся сёння яго гасцінцаў, і нешта цёплае, замалаванае ўвайшло ў яго пачуццё.

А ў небе тым часам зусім зніклі хмары, і над горадам высыпалі мігатлівыя зоры. «Пэўна, распагодзіцца», – машынальна падумаў Андрэй Андрэвіч, зірнуўшы ўгору, і ўздыхнуў, як уздыхаюць, пазбавіўшыся нялёгкіх турбот. Пасля ён шпарка пайшоў па платформе...

1957 г.

Ціхманая жонка

Зімовы дзень кароткі, як зайцаў хвосцік. Не паспее развіднецца, і ўжо хіліць на адвячорак. А калі мала часу, заўжды знойдзеца шмат спраў, і тады ўжо не мінуць ночы.

У Юзіка Паддубка спраў было многа. Пакуль атрымаў трыерныя сіты на базе Сельгасзбыту ды купіў сёе-тое ў крамах, дык ужо на вуліцах загарэліся агні. У прыцемках хлопец выехаў з горада, узбіўся на гасцінец і паціху падаўся ў сваё Зарэчча.

...Конік рухава бяжыць па знаёмай дарозе, візгоча, рыпіць снег пад палазамі, плывуць, паварочваюцца па баках бялявыя, далікатна ахінутыя змрокам палі. Мароз нанач патроху ўбіраецца ў сілу, пашчывае Юзіка за вушы, але той цярпліва трымае форс і не развязае шапкі. Дый што той мароз, калі ў душы хлопца столькі мараў-летуценняў, такіх далёкіх ад гэтай зімовай дарогі! Нездарма ж ён паехаў у горад за тымі сітамі – былі і яшчэ клопаты. І як ім не быць, калі ў хлопца праз тыдзень вяселле, а там... А там гэткае шчасце, што аж не верыцца, не ўяўляецца нават...

І раптам над Юзікавай галавой – бесцырымонны конскі храп, ажно цёплай парай патыхнула за сцюдзёны каўнер. Амаль налезшы на хлопцавы сані, конь так і не збіраецца збочыць, абмінуць, а толькі бразгае цуглямі ды шумна пыхкае ў воз. Неўзабаве, аднак, з фасоннага вазка саскаквае на дарогу сядок – спрытны мужчына ў расшпіленым чорным кашушку і валёнках. Паляпаўшы рукавіцамі, ён крычыць спадарожніку:

– Гэй, закурым, браток?

Ён даганяе Юзікавы сані і, па-качынаму валюхаючыся ў бакі, спорна крочыць побач.

– А я выехаў поначы, гляджу – нідзе нікога. Во, думаю, самота будзе аднаму. Ды вось дагнаў цябе, – жвавым тонам гаваркога, шчырага чалавека кажа незнаёмец. Ён на хаду прыпальвае папяросу, пстрыкае ў снег агеньчык запалкі. Юзік насупіўся, маўчыць, не дужа задаволены ўтаржэннем у яго мары.

– Ты адкуль будзеш? – проста пытаецца чалавек.

– З Зарэчча.

– З Зарэчча? А чый там? А, Петрусёў. Ну, ну, ведаў калісь. Бацьку, вядома, не цябе. Што, ужо сямейны ці нежанатым ходзіш?

– Ды не яшчэ, нежанаты, – сарамяжліва ўсміхаецца Юзік і па нейкіх няўлоўных рухах душы спадарожніка адчувае, што таго поўніць добрае, лёгкае пачуццё, якое і прывяло яго да Юзікавых саней. І сапраўды, чалавек, як да знаёмага, адразу прыладжваецца да хлопца. Конік яго рупліва тупае ззаду, а чалавеку карціць усё гаманіць, выказаць сваё.

– А я, браце, вунь жонку адвёз... У горад – на вазку, а там у «Победзе» паехала – на сустрэчы выступаць. Кандыдат, брат, жонка, – з прытоеным гонарам паведамляе незнаёмец, і Юзік здагадваецца, што гэта і ёсць прычына яго радасці.

Юзік – маўчун, ціхманы, нетаропкі. З такім цяжка весці размову, але затое ён скарб для тых, хто сам любіць расказаць, успомніць ці проста падзяліцца сваім. Незнаёмец, відаць, адчувае гэтую рысу ў хлалечым характары і ўжо не можа ўтрымаць у сабе таго, што так поўніць яго цяпер.

– Ось, браце, каб ты ведаў, і нарабіла мне жонка клопату – і клопату і дзіва – усё адно да аднаго. Быў гаспадар, муж, галава сям’і, так сказаць, а стаў чорт ведае хто.

– А што? – зацікавіўшыся, пытаецца Юзік. Чалавекаў кажушок матляецца поламі ля Юзікавага твару, пахрумствае снег пад валёнкамі. Чалавек ступае спорна, ёмка і ў такт кроку сюды-туды паводзіць плячыма.

– Ды вы сядайце, чаго там, – прапануе Юзік.

– От, браце, і сам дзіўлюся, як усё выйшла, – кажа новы сядок, размашыста ўвальваючыся ў Юзікавы сані.

Хлопец трохі пасунуўся на край, побач адразу моцна запахла аўчынай і духмянасцю папяроснага дыму. Зблізку Юзіку добра відаць чалавекаў твар – паголены, ужо нема-лады, пасівераны і скуласты – рухавы твар бойкага, недурнога чалавека.

– Ведаеш, я нават атарапеў крыху. Думаю, мо' які не-дагляд, непаразуменне, вельмі ўжо крута ўсё. Была жонка, баба, значыць, ну там даярка – гэта зразумела, як і мае быць. А цяпер – хто ведае што? І як усё атрымалася – падумаць толькі! – Ён з задавальненнем смяецца і рухава ляпае сябе па сцягне рукавіцай. – Мая Фроська – і на табе: ардэнаносец – раз, герой – два, кандыдат – тры! Во як.

У словах чалавека – здзіўленне, павага і нястрымная, няўрымслівая радасць, – тая светлая добрая радасць за жонку, якая часцяком хаваецца ў мужчын за зухаватай знешняй грубаватасцю. Але радасць – не гора, яе не сха-ваеш у душы, радасць імкнецца к людзям.

Юзік сціпла ўсміхаецца ў паўзмроку ночы, але незнаё-мец не бачыць таго. Адкінуўшыся на локаць, ён патыхае ў марознае паветра пахучым дымком і ўсё апавядае пра тое, што рвецца цяпер з яго душы.

– Ведаеш, я і сам не які-небудзь доўбень. У вайну ў войску службы – вярнуўся з ордэнам і трыма медалямі. Вярнуўся – дома пашана і павага. Усе, ведаеш, з роспытамі: што і як? Многа ў каго ў вачах – сам бачу – завідкі гараць, усё мае ўзнагароды мацаюць. Ну, гарэлкі папілі, значыць, павесяліліся – трэба і за працу брацца. А ў кал-гасе, брат, блага – ні коней, ні хлеба, паўвёскі спалена. Кажуць прыяцелі: што ты тут будзеш пэцкацца – ты ж заслужаны чалавек, гэта мы ўжо нікудыкі, дзе дзявацца? І праўда, думаю, хіба я раўня гэтым дамаседам: Берлін браў, паранены, узнагароджаны. Ну, і падаўся я ў МТС, па тэхнічнай, значыць, лініі. МТС недалёка, вярсты тры. Кожнага ранку сняданак у кішэню – і на працу. Кіцель з медалямі на відным месцы ў хаце павесіў, каб бачна было, што за гаспадар тут. А дома маці адна старая. Цяжка ёй, вядома. Кажа аднойчы: жаніўся б – пара ўжо. Думаю: сапраўды пара. Але вось толькі з кім тут ажэнішся? Дзе-

вак-то многа, а адной, той самай, якой трэба, і няма. Але ўжо, як кажуць, калі парупіць, дык мусіш. Прыгледзеўся я – у энтэсе ў нас рахункаводка Жэня, зграбная такая дзеўка, і апрануцца і язык пачасаць – во якая хвацкая. Ну і ў вёсцы яшчэ была ў мяне, да вайны калісь вадзіліся трохі – Фрося. Гэта, брат ты мой, якраз супраціўніца той, энтэсаўскай. Такая сарамяжная, ціхманая, у калгасе робіць, і больш нічога аб ёй не скажаш. Думаў я, думаў і не ўцямлю, да якой больш сэрца цягне. Хацеў ужо быў да Жэні прыставаць – байчэйшыя яны хутчэй галаву ачмураць. Ды гляджу аднойчы – наш Сёмка-шафёр неяк дужа блізка ля яе круціцца, і яна яму, увакурат, як і мне, вочкі закочвае. Узяла мяне злосць – я ж табе пакажу. Раз-два з Фроськай згаварыўся, і акурат на Дзень танкістаў – у загс, распісаліся.

Над заснежанымі палямі ў зорным мігатлівым небе аднекуль з'явіўся ўжо вузенькі сярпок месяца. Ён не свеціць, а толькі пазірае ў цьмянае зімовае наваколле і ўсё бяжыць, бяжыць кудысьці навывперадкі з двума фурманкамі на дарозе, нібы таксама слухае, зацікаўлены разважнай чужой радасцю. Юзік усё маўчыць, але слухае чуйна – яго сэрца вунь як убірае ў сябе тыя незнаёмыя справы чалавека.

– Давай закурым,– зноў прапануе сядок, шчоўкаючы ў руках самаробным джуралевым партабакам.– Не курыш? Ну, ты, браце, зусім як дзеўка. Дык слухай тады, спатрэбіцца можа...

Ён прыкурвае з прыгаршчаў, асвяціўшы пасівераны нос і натапыраныя бровы, гойкае на свайго коніка, які трохі адстаў ад саней, і смачна зацягваецца.

– І вось, браце, стаў я, значыць, жанатым чалавекам. Спачатку дзіўна гэта з непрывычкі – жанатым зрабіцца. На працы – нейкая новая сур'ёзнасць, бы гадоў прыбавілася ці на пасадзе павысілі. Жонка здаецца гэткай ладнай, добрай, успамінаеш што-кольвечы, ну і марыш пра рознае. Але зноў жа і нязручнасць – дзеўкі ўжо без увагі да цябе, бы ты які вышчарблены стаў. Пажартуеш ці ўшчыпнеш там – адразу адвод – не для цябе, кажуць: жонка ёсць. І вось прыйдзеш дадому, а там – новы чалавек у хаце, глядзіш,

цікавішся: што, як. Дагэтуль жа не бачыў так зблізку ў жыцці, ды мо' не звяртаў увагі, а цяпер у адной хаце ўсё відно. А трэба табе сказаць, чалавек я не злосны, але строгасць паважаю. Бацька быў строгі, потым сам я ў войску сяржантам служыў, там ужо камандзірская строгасць у кроў уелася – не люблю зважаць. Ну, і да жонкі я таксама без паблжкі. Што дзе не так – кажу напрамкі: вучыся, слухай – на тое й муж, каб дагаджаць яму. Спачатку яна – слязу на вочы, а потым нішто, прывыкла. Вядома ж, хто яна? Вясковае дзяўчо, а я ўсё ж аўтаслесар, тэхнічны чалавек, дый на людзях пабыў, пабачыў сёе-тое.

Так і жывём. Нарадзілася дачка Нюрка, пахаваў маці. Я ўсё ў МТС, а жонка пад восень на ферму даяркай уладкавалася. Гляджу – дрэнь справа. І днюе, і начуе там, а тут прыбяжыш з працы – на дзвярах замок. Вячэры няма, дачка ў суседзяў ці ў цешчы. А ведаеш, як гэта прыкра, калі ў дом позна вернешся, а жонкі няма. Гэта, браце, адна злосць ды нервананне. Бегай па вёсцы, як пабіраха, збірай сям'ю, палі ў печы. Надакучыла мне гэта, уз'еўся я на Фросю, кажу: кінь к сабакам тую ферму – мне жонка патрэбна, гаспадыня, а не даярка. Дрэнь жывецца, а тут яшчэ радня, асабліва цётка Ігналіха – ведзьма-баба, скажу табе, – шапоча ўсё пры сустрэчы: на каго ты падобны стаў, рубашка брудная, схуднеў, навошта браў такую – негаспадарлівая, неруплівая, каровіна паслугачка. Ці такая табе трэба, сам мужык такі відны, – муціць чорт душу. Ужо хацеў быў кінуць, развясціся, ды дачка ўтрымала. Іншы раз сваруся, сваруся, кулаком аб стол грымну, якую міску жалезную аб падлогу бразну, а жонка ўсё маўчыць – хоць ёй што. Маўчыць, а потым, нібы нічога і не чула, гэтак спакойна: «А Красаўка сёння ацялілася – бычок во які ладны». Эх, ты, гора сяміногае, думаю, што ты з ёй зробіш? Калі б хоць яна сварылася, даказвала, ужо я даў бы ёй, а то ціхманая такая, маўклівая. Ну і адлегла пакрысе маё сэрца. Прывык. Кінуў у яе справы мяшацца, стаў і печ паліць, і сніданак сабе гатаваць, а болей без снідання абыходзіцца. Думаю: хай! Ірві свае жылы, можа, сама сабе дакажаш, калі я не даказаў.

– Ну, а як жа тады: кахалі яе ці не? – стрымана запытаўся Юзік. Сядок, не чакаючы, відаць, гэтага пытання, памаўчаў крыху, бы ўспамінаючы штосьці.

– Ды ну: кахаў... Не ведаю, ці кахаў, ці не. Так, шкадаваў, гэта было. Як пагляджу на яе рукі, распухлыя, парэпанья, гэткія балгочыя, шкада робіцца. Адноўчы ўвечары мыла яна бялізну, а я ўсё бурчаў, бурчаў ды не вытрымаў. Ці ведаеш, адабраў у яе начоўкі ды ўзяўся сам. Не рукі, а гора адно. Не жарты – дзесяць кароў і дагледзець, і накарміць, і выдаць – і ўсё ў макраце, у холадзе – немінучы раматус. Ды яшчэ з гэткім яе характарам – сябе не пашкадуе, здароўе паложыць, а зробіць як трэба. І зрабіла. Спачатку на Дошцы гонару апынулася, потым – на выстаўцы ў Маскве. Ну, думаю: давай, давай, баба. А сам, папраўдзе, гляджу на гэтыя яе поспехі, як на забаўку якую. Падумаеш там – за малако медаль нейкі бронзавы. У людзей срэбных ды залатых колькі, ды за якія справы! Пасля сталі да яе з вобласці ездзіць – усё на ферме глядзелі нешта, выпытвалі, вымяралі. Яна ўсё расказвае, часам дома каго прымае, якога карэспандэнта. Я не звяртаю ўвагі. Адзяліўся, так сказаць, ад яе службы – свая шыю пілуе.

Над дарогай плыве зорная, мігатлівая ноч. Маладзічок усё лезе на неба вышэй і вышэй, у полі панурыліся, сціхлі заснежаныя дрэвы, хмызняк. Хоць і ноч, а відно далёка, ледзь не да самага краявіду. Гасцінец бяжыць роўны, доўгі і далёка наперадзе, бы агромністы полаз, загінаецца на ўзгорак. Раптам над тым узгоркам бліснулі і ўперліся ў неба стромкія промні сустрэчнай машыны. Праз момант, стрыгануўшы ў густой нябеснай сіні, яны падаюць ніжэй і ўрэшце бліскучай плямай кладуцца на дарогу. Машына хутка набліжаецца, асляпляе седакоў, залівае дарогу густым святлом фар.

Незнаёмец хуценька саскаквае з саней, каб скіраваць убок свой вазок, Юзік прытрымлівае каня, углядаючыся зпад далоні ў грукатлівы рухавы сілуэт. Нехта адтуль, з машыны, гучна крычыць:

– Прывет, Нязвецкі! Віншаванне! Заўтра твая ў нас выступае...

Юзіка абдае снежнай віхурай, і машына мінае іх. Спадарожнік бліжэй падганяе свайго каня і зноў валіцца ў Юзікавы сані.

— Андрэй з «Кастрычніка», — паведамляе ён. — Ваявалі разам. Пазнаў, глядзі. А ўжо даўно не бачыліся. І пра жонку ведае, — з усмешкай кажа чалавек і з хвіліну задуменна пазірае на дарогу, дзе яшчэ гудзе машына.

— Гэта, брат, так, — кажа ён далей хлопцу. — Другая жонка за мужавай спіной, як за печчу, жыве, а мая вось, як бачыш, на мяне сваю славу наводзіць. Вось табе і баба... Дык дзе гэта мы спыніліся? Ага, значыць, прышылася мая Фроська да фермы, як гузік да світкі. Там бы і спала, і ела, калі б сям'і не было. Мала што ўвесь дзень працуе, яшчэ розных кніжак напрыносіла — чытае ўсё па вечарах, нешта выпісвае ў сшытак. Тут ужо я зноў не ўтрываў, кажу: не дужа зарывайся, не лезь на чужое седала. Робіш, ну і рабі сабе, а навошта па начах яшчэ сляпіцца? Прызнацца, я да кніжак не дужа ахвочы. Ну там «Дапаможнік аўтамеханіку» ці «Кіраўніцтва па рамонце» — гэта вартыя кніжкі. А другія там што — лухта адна. І вось прачнуся сярод ночы — святло гарыць, і яна над сталом гнецца. Я тады ўстану ды кніжку — у кут, і лямпу патушу. Патушу, а яна запаліць, зноў патушу — зноў запаліць. І маўчыць, не сварыцца, але ўпартая, як той мядзведзь ля вулля. Кажа: без навукі і карову не падоіш. Ну і сядзіць да другіх пеўняў, вылічвае на паперцы тыя свае рацыёны. І праўда, ці ад таго, ці па якой іншай прычыне, а кароўкі яе болей сталі малака даваць. Адна дык нават па пяцьдзесят літраў у дзень давала — во як! Ферме — слава, калгасу — пашана, і даяркам, вядома, добрае слова. Тут ужо я трохі змякчэў, стаў прыглядацца да свае жонкі. Што, думаю, за такая: дзесяць год жыву, а што ў яе душы — толкам не ведаю. Гляджу калі — гэткая невялічкая і не надта прыгожая з аздобы — пастарэла ўжо — нос кірпаты, нічога няма ў ёй — звычайная баба. Адкуль, думаю, упартасць тая? І ведаеш, даўмеўся. Адноўчы ўжо засынаю ўначы, думаю ўсё. Яна за сталом сядзіць над паперамі, і мне раптам стукнула ў голаў: ад працы ўсё ў яе, бо змалку яна смак да працы мае. Сапраў-

ды: навукі не дужа многа – сем класаў, і ўсё жыццё – у працы. Вось так мазалём і дайшла да плёну. І слухай, брат, самае галоўнае вось будзе.

Аднойчы пасля новага года прыходжу з МТС – на дзвярах замок. Ну гэта справа не новая, – дастаў з-за шула ключ, адчыняю. У хаце ўсё прыбрана, вячэра згатавана і на стале – запіска. Сэрца ў мяне так і ёкнула – першы раз за ўсё жыццё. Думаю, ці не кінула часам, аж злякаўся. Чытаю: дарагі Хвядоска, паехала ў Мінск на нараду. Скараспешна выклікалі. Есці – там і там, Нюрка – у бабы. Вось, думаю, і дачакаўся. І тады ўпершыню, браце, зразумеў я, што мая Фрося пераскочыла мяне, перарасла неўзаметку, цесна ўжо ёй у мужавай хаце. А хіба стрымаеш? Не стрымаеш. І я, ведаеш, прыціх і скарыўся. Ну вось і вяртаецца – і што думаеш? З Залатой Зоркай і ордэнам Леніна. У калгасе дзіва, людзей поўна хата, прыязджаюць, прыходзяць, адбою няма. Роспыты, віншаванні. Аказваецца, сам таварыш Хрушчоў уручыў тую ўзнагароду і руку паціснуў і казаў штось маёй Фросьцы, толькі яна ўжо не памятае што – з радасці забылася ўсё чыста. Паглядзеў я на гэтую справу ды і зняў са сцяны свой вайсковы кіцель з медалямі: павесіў у шафу. Якія ўжо там медалі, калі такая ўзнагарода ў хаце завялася – і ў каго, падумаць, – у маёй ціхманай жонкі Фросі. Вось, брат, як выйшла! А цяпер яшчэ і кандыдатам у Вярхоўны Савет вылучылі, афішы расклеілі з партрэтамі і біяграфіяй. Вунь выступаць будзе, паехала ў вобласць.

Чалавек памаўчаў крыху і, усміхнуўшыся, зноў хапаецца за свой партабак у кішэні.

– Вось, браце, як выйшла, – бадзёра дадае ён і смяецца. Радасць і ціхае захапленне блізкім чалавекам зноў пануе ў яго настроі, і калі ёсць там доля зайздрасці, дык зайздрасці добразычлівай і зважлівай, а болей – гонару і стрыманага мужчынскага шчасця.

Неўзабаве Юзіку трэба зварочваць з гасцінца на вузенькую дарожку, і Нядзвецкі саскаквае з саней. Ён дзякуе за ўвагу, адвязвае ад перадка лейцы і апынаецца на вузенькім сядзенні ў вазку.

– Вось, браце, жэнішся – пазнаеш фунт ліха. Але будзе і шчасце, чакай.

Маўчун Юзік не адказаў нічога. Над прыціхлымі соннымі прасторамі загадкава і няспынна варушацца зоры: бы разумеючы што, жмурыць блішчастае вока месяц. Хлопец уздыхае і доўга думае пра сваё будучае і, папраўдзе, вельмі хочацца яму хоць і труднага, але вялікага шчасця, такога, як у гэтага нечаканага начнога спадарожніка.

1957 г.

Страчаныя мары

1

Вадзім добры, клапатлівы, вясёлы.

Мінула паўгода, як яны пажаніліся, але Ірынка ні ў чым не можа папракнуць яго. Кожны дзень яны разам – на працы ў будаўнічым трэсце, дзе ён – інжынер-планавік, а яна – лабарантка, у вольную часіну – у кіно, на бульвары ці ў сваёй маленькай кватэры на чацвёртым паверсе новага дома. Здавалася б, усё ў жыцці ўладкавана добра, гэтулькі падстаў для ціхага першага шчасця замуства, але яна стала нейкай панылай і вялай.

Яна і сама яшчэ не разумее, адкуль такое адчуванне. Яно то прыходзіць зусім беспрычинна, то мінае, уступіўшы месца радаснаму і светламу. Ёй падабаецца, калі яны, узяўшыся падручкі, ідуць цераз двор у горад ці вяртаюцца дадому і суседзі з замілаванымі ўсмешкамі лагодна пазіраюць услед. «Якая слаўная пара», – чуе Ірынка ззаду і забываецца тады на свае цьмяныя жаданні, ёй трошкі няёмка перад мужам, і дзяўчына адчувае палёгку і задаволенасць у душы. Але так бывае нядоўга.

Вадзім яшчэ гаспадарлівы, практычны, умелы. Калі яна скончыла лясны тэхнікум і атрымала назначэнне на Далёкі Усход, ён нямала патурбаваўся, і ўсё ж уладкаваў яе, праўда, хоць лабаранткай, у іх будтрэст. Пасля яны пажаніліся, і ён выстараўся гэтую кватэру, нанавя абсталяваў ванную, здабыўшы недзе цудоўнай малочна-белай кафлі. Ён ведае, як вывесці чарнільную пляму на адзежыне, чым чысціць люстры, як спячы яблычны пудзінг і замарынаваць на зіму лісічкі. А яна?.. Усе гэтыя цікавыя драбніцы побыту неяк

прайшлі міма яе дзявочай маладосці – яна шмат чаго не ўмее – у яе не дужа ладны выходзіць абед, прыгарае каша, дрэнна пякуцца аладкі. Праўда, Вадзім ніколі не папракае яе – шмат што ён робіць і перарабляе сам і ўсё вучыць, вучыць яе. Але неяк дрэнна ідзе ёй тая навука. Часцяком яна пазбягае бясконцых хатніх клопатаў і садзіцца за кніжку свайго любімага Джэка Лондана, героі якога з дзяцінства прывучылі яе марыць пра зманлівае – турботнае, змястоўнае жыццё.

Вадзім шмат што ўмее. Калі ён не заняты сваімі разлікамі, што прыносіць з работы, дык часта выпілоўвае ўвечары розныя выкрутаслівыя крывулякі ў фанерыне, з якой майструе потым прыгожыя настольныя штуківіны. Ірынка ў такі час сядзіць насупроць на канапцы, у руках яе – кніжка, але Вадзім просіць не чытаць, ён што-небудзь расказвае, і яна, заклаўшы пальцам старонку, сцішана пазірае на мужа, на яго ледзь ссутуленыя плечы, хударлявыя шчокі. У яго руках спрытна гойсае пружыністы лобзік і ціхенька матляецца на вузкім з залысінамі ілбе апаўшая пасма валасоў. Ён усё гаворыць, гаворыць, зрэдку пазіраючы на жонку, а яна маўчыць. Спачатку ён крыўдаваў на яе за гэтую маўклівасць, часам спыняў працу і пытаўся, што з ёй, але яна і сама не ведала што – проста ёй хацелася маўчаць, слухаць і думаць.

У той чэрвеньскі адвячорак яны гэтак сама сядзелі ўдваіх у сваім пакойчыку, ён ужо выпілаваў, што трэба было, і цяпер смярдзючым сталярным клеём змацоўваў фанерныя ўзоры – атрымлівалася прыгожая скрыначка для драбніц. Займаючыся справай, ён успамінаў пра сяброў свайго маленства, расказваў, а яна слухала і, аблакаціўшыся на падаконнік, пазірала ў расчыненае акно.

Унізе за невялікім і пыльным, не дужа яшчэ ўпарадкаваным дваром раскінуўся горад. Адсюль, з вышыні, ён выглядаў без аніякай прыгажосці – адны шэрыя, рудыя, чорныя дахі з безліччу закураных каміноў і разнахілых антэн. У прамежках дамоў варушыліся, хісталіся верхавіны дрэў, было ветрана, і ў небе, бы сняжынкі ў зазімак, мітусіліся, ападалі к зямлі і зноў узнімаліся шэрыя пушынкі

таполяў. Іх было незлічонае мноства, яны напаўнялі прастор, мітусіліся, бліскалі на сонцы ў недасяжнай высі летняга неба і ўсё плылі і плылі кудысьці. Ірынка слухала мужа, і чамусьці ягонае апавяданне здавалася ўжо некалі чутым і не даходзіла да свядомасці, а ў адчуванні міжвольна заставаўся толькі гэты бязладны, устрывожаны лёт.

– Анатоць наогул нішто сабе быў хлопец, – казаў тым часам Вадзім, намазваючы клеём берагі фанерак. Ён сядзеў на табурэтцы за круглым сталом на сярэдзіне пакоя, абрус быў зняты, на стале, на каленях майстра і на падлозе ляжала па газеціне. – Хлопец нядрэнны, толькі безгаловы. Калі ўжо што ўлезе ў голаў, ніхто не выб’е. Павагі да навукі, безумоўна, не меў. Кажа, бывала, люблю канкрэтную справу, ненавіджу папяровую, і што ты думаеш? На другім курсе кінуў наш інстытут. Другія стараюцца, каб хоць як-небудзь атрымаць дыплом, выйсці ў людзі, а ён і вучыўся лёгка, а кінуў і паехаў некуды – ці ў Архангельск, ці яшчэ куды – забыўся ўжо. А ўчора, ведаеш, іду ва УНР месячную справаздачу звяраць, гляджу – шыбуе ўпоперак вуліцы. Пазнаў мяне. Дзе, пытаюся, як і што? О, кажа, не пытай: доўга казаць. У водпуск прыехаў, заходзь, кажа.

Вадзім пастукаў маленькім малаточкам, забіваючы маленькія цвічкі ў бакавінкі, і прыладзіў маленькае вечка. Любуючыся, ён адставіў скрыначку на сярэдзіну стала, прыжмурыўся:

– От і ўсё. Глянь, Іра, на мой твор мастацтва.

Ірынка павярнулася, няўцямна зірнула на стракатую ад узораў штукавіну. Яна ўжо бачыла гэтую шкатулку на чарцяжы, што прысылалі з часопісам, і не адчула цяпер ніякай цікавасці да яе.

– От яшчэ адпаліруем, лакам пацягнем, і будзе цуда. А можа, нават не лакам, а пафарбаваць бронзай – будзе як літая, – задаволена казаў Вадзім, адкінуўшыся на табурэтцы. – Ну, але гэта другі раз. Добрага патрошку. Праўда, Ірынка?

Ён гарэзліва падскочыў, абняў жонку за талію, яна трошкі скаланулася, абуджаная ад сваіх думак, але пры-

ветна паглядзела на яго і чамусьці хуценька прамовіла, скіроўваючы яго ўвагу на іншае:

– Глянь, глянь, як ляцяць. Як лебедзі, маленькія такія, перамяшаліся, быццам згубілі што, важнага страцілі...

– Што? А-а, таполі... Ну, глупства адно, якія там лебедзі! Проста адзін са спосабаў размнажэння. Батанічны варыянт, закон прыроды, – абьякава праказаў ён, раскінуўшы ў бакі натруджаныя працай рукі – высокі, хударлявы, трохі сутулы, у гладка нацягненай на грудзях сетцы-безрукаўцы. Ірынка неўпрыцям закусіла губу, на яе чыстым ілбе пралегла танюсенькая няроўная зморшчынка.

– Ведаеш, давай прагуляемся, – пасля паузы сказаў Вадзім. – Што сядзець? Давай сходзім да Анатоля. Паглядзім, што ён за тыпус стаў.

2

Узяўшыся падручкі, яны паволі ішлі ў густой засені прысадаў па ціхай ускраіннай вуліцы.

Яна апранула свой новы гарнітур – шэры, з недарагога, але вельмі прыгожага каверкоту, якога яны набралі неўзабаве пасля вяселля. Гэта была Вадзімава ініцыятыва, ён адразу прыкінуў, як гэта надарага і выгадна. І цяпер у аднолькавых гарнітурах яны выглядалі, нібы блізняты – маладыя, прыгожыя, статныя.

Яны маўчалі. Ён стараўся трапляць у нагу з жонкай і, задаволены сабой, вуліцай, надвор'ем, добразычліва пазіраў на сустрэчных, на гаманкую дзетвару ля платоў, выглядаў патрэбны нумар Анатолевай хаты. Збоч цягнуліся чыстыя цесныя дворыкі, адгароджаныя ад вуліцы пашарэлымі дашчанымі платамі, месцамі з дротам наверх. У зацішнай цеснаце стрымана шумелі садкі, гучала з вокан радыё і ўсё ляталі скрозь беспрытульныя пушынкі таполяў.

– Ось жывуць жа людзі: садок, агародчык, музыка – любата, – казаў Вадзім.

Іра чамусьці не прыкмячала прыгажосці адгароджанага платамі жыцця; апроч тапалёвага лёту, у яе душы ўжо

колькі дзён жыў, не слабеючы, незвычайны, страшэннай сілы вобраз далёкага Мексіканца.

Калі яна ўпершыню прачытала гэтае апавяданне, то, нібы аглушаная перуном, з паўгадзіны нерухома сядзела, нічога не чуючы і не бачачы навокал. З апошняй старонкі кніжкі на яе пазіралі страшныя чорныя вочы Рыверы, знясіленага, спакучанага, але перамогшага ў імя вышэйшай ідэі, у імя рэвалюцыі. Уначы ёй сніўся страшэнны баксёрскі бой і ўсё тыя зацятыя ў сваёй нечалавечай нянавісці вочы Рыверы. Упершыню тады яна невыразна яшчэ адчула, што нешта надламалася ў яе жыцці, знік зусім былы кароткі спакой – яна штосьці згубіла.

Урэшце Вадзім спыніўся перад рэдкімі садовымі весніцамі, бразнуў клямкай. У суседнім двары над нізенькім плотам высунулася цікаўная белавалосая хлапчукова га-лоўка, ён угледзеўся ў прахожых і зычна гукнуў у расчыненыя вокны абвітага зелянінай дома:

– Бабка Фрося, да вас прыйшлі!

У акне з'явілася старэнькая бабулька з акулерамі на носе і кніжкай у руках. Яна запытальна бліснула старамоднымі маленькімі шкельцамі, аберуч адчапіла ад вушэй дужкі і гасцінна запрасіла:

– Заходзьце, заходзьце, дзеткі, там не зашчэплена. Заходзьце.

– Анатоць дома? – запытаў Вадзім, расчыняючы дзверцы.

– Га? – прыклала да вуха руку старая. – Тут, дзеткі, тут Мерзляковы. Заходзьце, калі ласка.

– Дзядзька Толя ў катлаване, – растлумачыў за бабульку беллагаловы хлапчук. – Там скалу выпальваюць.

– Гэта дзе? На Пустцы?

– Ага, дзе камбінат будуюць.

Вадзім адступіўся назад, зачыніў весніцы, ужо не зважаючы на глухую бабульку, якая ўсё запрашала зайсці. Ён ведаў, куды ісці, і падаўся тратуарам, а Ірына, цярэбячы ў руках галінку, трохі адстала ад мужа, і ён, прыпыніўшыся, пачакаў яе.

– Такі добры домік, сімпатычная бабка, чаго перціся немаведама куды, – казаў ён, заглядваючы ў шэрыя, задумныя вочы жонкі. Ірынка патупілася, каб не глядзець на мужа, маўчала і бязвольна ішла за Вадзімам.

Ціхі зялёны свет абжытага людскога ўтулку хутка скончыўся, упёршыся ў так званую Пустку, дзе разлеглася самае сапраўднае царства хаоса. Здавалася, не было тут ніводнага кавалачка зямлі, які б не быў раскапаны экскаватарамі, здратаваны тугімі скатамі самазвалаў – усюды высіліся штабялі дошак, цэглы, ляжалі груды бетонных блокаў і горы ссунутай бульдозерамі зямлі. Крыху далей паважна і нетаропка паводзілі стрэламі вежавыя краны, а побач ужо бялелі фасадамі гатовыя будынкі. Ня нейкай, відаць, немалой выемкі тоўпіліся людзі, усе пазіралі ўніз, адкуль патыхала ў неба вялізнае полымя і клубамі валіў густы чорны дым.

Пералазячы цераз штабялі цэглы, кучы шпал-бэлек, арматуры, пераскакваючы з перашкоды на перашкоду, абмінаючы ямы і скрыні з рошчынай, Вадзім з Ірынай прабіраліся да гэтага незвычайнага пажарышча. Такі цяжкі шлях неяк ажывіў дзяўчыну, надаў ёй рухавасці і сілы, яна разы два войкнула, баючыся страціць раўнавагу на бетоннай бэльцы, па якой пераходзіла выемку. Вадзім хацеў памагчы ёй, але і сам спатыкнуўся і ўдарыў калена. Ірына гучна расмяялася.

– Ідзі, ідзі – я сама, – сказала яна, узмахнуўшы рукамі, і спрытна саскочыла з бэлькі. Ён паціраў далонню пабітае месца, нешта бурчаў, а яна ўсё гэтак жа лёгка ўзбегла на земляную горку ля абрыву, дзе тоўпіліся будаўнікі, і зазірнула ўніз.

І з той гіганцкай катлавіны-выемкі патыхнула на дзяўчыну ўладарным духам чалавечай сілы, якая пераўзыходзіла яе ўяўленне. Не верылася нават, што такую глыб і шыр зямных нетраў раскапалі тыя маленькія людскія постаці, што выглядалі цяпер мурашкамі ў гэтай яме-даліне. Такімі ж слабымі і нерэальнымі ля вынікаў свае працы здаваліся і два экскаватары, што ўжо нерухома стаялі на сярэдзіне

катлавана, таксама як і скасабочаныя на адхоне некалькі самазвалаў.

У Ірынкі заўзятымі агеньчыкамі загарэліся яе сумныя вочы, заружавелі шчокі, вецер зацярушыў яе лоб забытанымі кудзеркамі валасоў – яна стаяла тут трохі вышэй і ззаду іншых людзей і дзівілася, дзівілася з чалавечых сіл і магчымасцей.

– А што гэта там паляць? – запыталася Ірынка, пазіраючы на агромністыя клубы дыму і на людзей, што таўкліся ў адным куце катлавана. На яе пытанне азірнуўся нейкі чарнявы хлапец у запэцканым камбінезоне – узняўшы бровы, ён акінуў яе цікаўным позірам.

– Скалу паляць. Скала ў грунце, экскаватары не бяруць, а рваць нельга – дамы блізка. Ну і паляць, каб трэснула, – вытлумачыў ён і, пакаўзнуўшыся на касагоры, падаўся назад, стаў побач з дзяўчынай.

Ірынка, бы зачараваная, стаяла і ўсё пазірала на гэтую будаўнічую веліч. Яна не чула, як ззаду падышоў Вадзім; на нейкі час ён перастаў існаваць для яе.

– Глядзі: ды гэта ж Анатоль, – паказаў Вадзім уніз. – Вунь у чырвонай рубашцы. Завіхаецца, як прараб. Глядзі ты!

– Той, без шапкі? – перапытаў будаўнік у камбінезоне. – Гэта ж ён надумаў – нагрэць, а пасля вадой. Нашы рваць хацелі, ды вокнаў шкада. Вунь ужо шланг цягнуць, – махнуў ён на выезд з катлавана.

Сапраўды, некалькі рабочых, згінаючыся ледзь не да зямлі, валаклі ў катлаван тоўсты брызентавы шланг. Ён, відаць, быў вельмі доўгі і ледзьве паддаваўся людзям. Вогнішча тым часам пачало слабець, чырвоныя языкі паменшалі, толькі валіў чорны дым ад нафты, якой аблілі скалу. Але ўжо дагарала і нафта.

Шланг, урэшце, падцягнулі, і да рабочых падскочыў той хлопец у клятчастай чырвонай кашулі. Ён схапіў канец шланга і закрычаў некаму ўгору:

– Вады давай! Вады!

Ён увесь разгарачыўся, кашуля шырока расшпілілася на яго грудзях, валасы разварушыліся на галаве. Хлопец

нецярпліва тузануў шланг, ямчэй перахапіў яго і скіраваў канец у агонь. Нарэшце, відаць, пусцілі ваду – шланг, наліваючыся ёю, варушыўся на зямлі, бы гіганцкая жывая вужака, набрак, надуўся, і хутка з яго хлынуў бліскучы шырокі струмень вады. Хлопец засцярожліва крыкнуў на людзей, што заміналі яму ля вогнішча – тыя паслухмяна падаліся назад, а ён, ледзьве спраўляючыся з тугім пругкім шлангам, упіраўся ў зямлю шырока расстаўленымі нагамі і ліў у агонь ваду. Адтуль разам з чорным дымам нафты заклубіліся ў неба шэрыя воблакі пары, густы туман папоўз па катлаване. У схаваным парай вогнішчы шумна сквірчала, шыпела, і ў гэтым шуме прападалі людскія галасы і крыкі таго зухаватага хлопца.

Тым часам з другога боку катлавана на абрыве з'явіліся яшчэ людзі – яны валаклі другі шланг, і хутка зверху ў дым і пару паліўся яшчэ адзін шырокі вадзяны струмень. Людзі ў катлаване і на абрыве адышліся далей, зблізку засталіся толькі гэты хлопец у чырвонай кашулі і яшчэ двое, што памагалі яму. Побач на абрыве таксама падаліся назад, будаўнік у камбінезоне сказаў:

– Хутка лопатца пачне. Вы глядзіце, а то асколкі...

Вадзім нерашуча пацягнуў жонку за локаць, але тая вызваліла руку – яна чамусьці нічужь не баялася асколкаў. Уся яе ўвага, яе пачуцці сканцэнтраваліся на гэтым незвычайным відовішчы – напружыўшыся ад захаплення, яна неадрыўна сачыла за тым, што рабілася ў катлаване. Невыказнай асалодай поўнілася яе душа ад адчування чалавечай сілы і смеласці.

І вось, нарэшце, пачуўся глухі, быццам з-пад зямлі, стрэл і ў бакі з дыму шуганулі нейкія абломкі – кавалкі зямлі ці каменя – людзі на абрыве адступілі назад. Вадзім ужо настойлівей пацягнуў Ірынку за руку, яна трохі падалася за ім, але страху так і не было – яна хацела ўсё глядзець туды, на гэтае адзінаборства стыхіі з чалавекам – тым смелым хлопцам у чырвонай кашулі.

Яна, пэўна, не адышлася б ад таго месца, але ў гэты час прагучала яшчэ некалькі глухіх стрэлаў, і нейкія людзі пачалі адганяць гледачоў ад абрыву. Тады яны адышлі да

кучы бетонных блокаў і там спыніліся, усё ўглядаючыся ў клубы пары і дыму, што валілі ў ветранае чэрвеньскае неба.

3

Ён выйшаў з катлавана ў мокрай сваёй чырвонай кашулі, гэтакіх жа мокрых залепленых грязю штанах і, абціраючы адна аб адну далоні і весела смеючыся, казаў нешта Вадзіму. Той, няспрытна пераскакваючы цераз параскіданую арматуру, веў яго да Ірынкі, якая, стоячы ля бетонных блокаў, нецярпліва чакала іх, хвалявалася чамусьці і ад таго хвалявання перабірала худыя тонкія пальцы.

– Вось знаёмся, – казаў Вадзім уласцівым яму тонам старэйшага і разумнейшага. – Анатоль, той валацуга, што і ў водпуску без працы не ўседзіць. А гэта мая благаверная Ірына Пятроўна.

– Не стрымаў, – быццам у нечым вінавацячы сябе, смеючыся шчыра і проста, бы даўні сябра, сказаў Анатоль. – Гляджу, людзі таўкуцца, а ніхто толкам не ўмее – вядома, справа новая. А я ўжо гэтага наглядзеўся, ну і тут навязаўся, нарабіў дыму...

Ён засмяяўся – ды так заўзята, што на твары не заста-лося ніводнай маленькай жылкі, якая б не смяялася разам з ім. Увесь ён аж прамяніўся ад нейкай унутранай радасці, задаволенасці, ад уласнай сілы і зухаватасці. Паддаючыся яго бадзёрасці, Ірынка таксама ўсміхнулася, і яны, трымаючы дзяўчыну ў сярэдзіне, падаліся ў вуліцу.

Ірынчына хваляванне хутка мінулася – новы знаёмы быў на дзіва просты, прыемны і адкрыты чалавек, і з ім дзяўчыне неяк адразу стала бяздумна весела. Ён усё гаварыў і гаварыў, смеючыся і пабліскваючы сваімі чыста-белымі моцнымі зубамі.

– У нас, у Сібіры, гэта звычайная справа. Скалаў там безліч. Летась мы вялі дарогу на Брацк, дык у дзень па пяць скал узрывалі. Тры тоны аманіту – і гары як не было. Ну, але, праўда, пакуль рваць – папрацаваць трэба.

– Вы ў Сібіры працуеце? – запытала Ірынка, стрымана зазіраючы ў хлопцавыя вочы.

– У Сібіры, Забайкаллі, на Далёкім Усходзе – усюды быў патроху.

– Ой, гэта ж, відаць, вельмі цікава? Праўда?

– Што цікава? – уставіў сваё Вадзім. – Цікава там, дзе нас няма, – старая ісціна. Яшчэ Герадот пісаў...

– Як каму, – заўважыў Анатоль, звяртаючыся да Ірынкі. – Некаторым самота – культуры мала, яблыкі дарагія. А каму міла-дарага, хто прастор любіць, размах, вялікую работу.

– Які ўжо там размах, калі садавіны няма. У выніку таго «размаху» рана ці позна – гастрит або язва. Ведаю я, – прэрэчыў Вадзім.

Анатоль толькі расмяяўся сваім дзіцячым залівістым смехам, і Ірынка зразумела, што Вадзім сказаў нейкае наіўнае глупства.

«Якія ў яго прыгожыя зубы», – міжвольна падумалася Ірынцы, – яна ўжо не мела сілы адарваць позірку ад гэтага загарэлага, абсіверанага, вясёлага твару. І тады, як цень невыразнага, забытага суму, згадалася ёй, што Вадзім ніколі не смяяўся так шчыра, што ў яго гнілыя, хворыя зубы, што ён залішне любіць лячыцца і занадта асцярожна пераходзіць вуліцу. Ад гэтага ўспаміну Ірынка балюча паморшчылася, панурылася і аж здзівілася, як гэта яна раней не заўважала гэтых выразных заганаў чалавека.

Вадзім, аднак, нічога не прыкмячаючы ў настроі жонкі, узяў яе за руку і прытуліў да сябе. Яна пакорліва пайшла побач, а ў душы яе ўжо, відаць, канчаткова міналася тая кароткая першая радасць, невыразным жаданнем зашчы-мела сэрца, зноў стала чагосьці шкада і балюча, але ўжо куды мацней і нясцерпней, чым усе ранейшыя разы.

Анатоль расказваў, якая смачная і карысная на Далёкім Усходзе вясновая чарамша, што яна не горш за тутэйшую цыбулю і расце сама – нясеяная і неараная, адразу ж зпад снегу; якія вялізныя і тлустыя тамашнія ласосі: у не-раст яны лезуць у ручаі і рэчкі, і тыя аж не могуць змясціць вялізных іх касякоў. А колькі велічных будоўляў разгарну-

лася ў раней не кранутых чалавекам краях, і як усё гэта захапляюча і цікава! Ірынка слухала і ўсё хмурылася з твару, яе сэрца захлыналася ад нясцерпнай усеабдымнай жальбы. Яна прыгадала, як некалі была так блізка да таго незвычайнага, амаль гераічнага жыцця, і гэты ўспамін тупым болем засеў у яе душы.

Вербы і клёны слалі ў доле касыя частыя цені, парэзаныя палосамі сонца, у якіх мільгалі прахожыя. Цераз вуліцу важна і нетаропка прайшла белая рахманая каза, за ёй цягнулася доўгая вярхоўка з калком на канцы. Від гэтай казы і ўвесь дрымотны малюнак ускраіннай вуліцы адгукнуліся ў сэрцы дзяўчыны новай горыччу, але яна ўсё маўчала, хаваючы ў сабе пакутлівыя перажыванні.

Вадзім далікатна прытрымліваў жонку, бы аберагаў ад якой небяспекі, Анатоль лёгка ішоў поруч. Плячысты, дужы, коратка падстрыжаны, патрэсваючы густой чупрынай, ён усё смяяўся і апавядаў пра далёкае, невядомае і зманлівае жыццё.

— Гэтую зіму здорава наляглі. Асабліва пад Усць-Кутам. Тайга. Вы ведаеце, што такое тайга? — тоячы на пульхных вуснах радасную усмешку, пытаўся ён у Ірынку. — Не, гэта не лес. Звычайны лес супраць тайгі — што сад супраць пушчы. Тайга — гэта падзі і сопкі і такі завал дрэў, што — ні на кані, ні пехатой. Чалавек там нішто — кузурка, але тэхніка — сіла. А гэтай тэхнікі там болей, чым яе было на фронце, на ўчастку прарыву. Яна ўсё крышыць — і лес, і горы, і скалы. А чалавек — толькі камандзір. Праўда, трэба і рукі, але болей галава і вочы. Ну, там ёсць на што паглядзець. Такі камень, як сёння, — ён махнуў рукой у бок Пусткі, — там глупства. Яго тры чалавекі прыбярэць. Пару тон аманіту — і чыста.

— А звяры? — ні то ўсур'ёз, ні то з прытоеным жартам спытаў Вадзім.

— Звяры? — перапытаў Анатоль, падкасваючы мокрыя рукавы на валасатых дужых руках. — Звяры, брат, уцякаюць у глухамань, у распадкі. Думаеш, тыгры, мядзведзі людзей дзяруць? Глупства, мінулі тыя часы. Хоць бывае, што з цікаўнасці падходзяць. Ад Тайшэта праклалі лінію

сувязі. Ну, на доўгім перагоне засталіся лінейшчыкі, каб дарабіць што-кольвечы. Сядзяць хлопцы ў зямлянцы, і што такое? – кожнай ночы пад ранак – парыў. Пойдуць, злучаць – на другую ноч – зноў парыў. Думалі – шкоднікі якія. Рашылі падпільнаваць. Заселі ля расцяроба звечара, ружжы навялі, чакаюць. Аж пад ранак вылазіць з падзі касалапы Міхась, спыніўся, паветра нюхнуў і падыбаў да слупа. Залез, паглядзеў у адзін бок, у другі, лапай провад – капыш. Провад, вядома, тугі, ён дзын-н-н-н, а мядзведзь вуха прытуліў і слухае. І так давай Міхась музыкай забаўляцца. Хлопцы страляць хацелі, але цікава – чакаюць. А мядзведзь тромкаў, тромкаў, аж покуль не парваў, і ад таго, пэўна, сам спалохаўся, – саскочыў, ды наўцёк. Стрэльнулі хлопцы, не трапілі, вядома, але, відаць, напалохалі. Больш не пайшоў.

– Глядзі ты! – здзівіўся Вадзім. – Вось бы мядзведзя падстрэліць. Ты не прабаваў?

– Прабаваў, – усміхнуўся Анатоль, – ды няўдала.

– Ці не ад таго ў вас шрамы на шыі? – сур’ёзна запытала Ірынка.

– А, гэта, – Анатоль пацёр пад вухам сінія, ужо загоеныя, але, відаць, нядаўнія драпіны. – Не, гэта тросам. Паром праз раку хадзіў на сталёвым тросе, ды трос парваўся ў паводку. Ну, я паплыў, дастаў са дна канец, а хваля як рванула, дык мяне крыху драпнула. Але нічога – тыдзень у бальніцы паляжаў – і на працу. Час быў гараць, людзей не хапала.

Яны падышлі да знаёмых весніц, у якія заходзілі нядаўна. Анатоль расчыніў іх насцеж і запрасіў гасцей.

– Дык ты што там – кіраўнік які? Спец? – усё захоўваючы свой тон перавагі, пытаўся Вадзім. Ён прапусціў Ірынку наперад, яна нясмела пайшла па двары, у яе шэрых сумных вачах трымцела трывога.

– Ды не, які там кіраўнік, – шчыра здзівіўся Анатоль. – Рабочы, радавы рабочы. – Ён памаўчаў крыху і пасля паўзы вытлумачыў: – Люблю, ведаеш, як след папрацаваць, добра пад’есці, адпачыць і зноў налегчы – ляпей учарашняга.

Энергічным рухам круглявых плячэй ён на хаду скінуў цераз галаву кашулю, пасля збегаў у пакой, вынес Ірынцы крэсла, а Вадзіма пасадзіў на лаўцы. Затым, перагаворваючыся з глухой бабкай у акне, пачаў мыцца, распырскваючы наўкола ваду, пырхаючы і ахаючы ад задавальнення. Ірынка неадступна сачыла за кожным яго рухам і кожным крокам. Яна маўчала, а незразумелая трывога ў яе душы ўсё расла і мацнела. Сама таго не жадаючы, яна раптам выразна ўбачыла іх побач – Вадзіма і Анатоля, убачыла аднекуль збоку, у жыцці, і ўсё тое, што раней падабалася ў акуратным, здатным да драбніц мужу, цяпер здалося мізэрным і фальшывым. Нават тое, як Вадзім заўжды мыўся над ракавінай у кухні, асцярожна беручы прыгаршчамі ваду і ні кропелькі не разліваючы на падлогу, здавалася цяпер нікчэмнай абмежаванасцю і толькі раздражняла дзяўчыну.

– Ведаеце, – казаў Анатоль, шырокімі ўзмахамі ручніка выціраючы грудзі і шыю, – чакаў водпуску, як свята якога. А прыехаў, паверце, занудзіўся. Без працы занудзіўся. А там хлопцы ўжо, пэўна, Вургунскі тунель канчаюць. Прыеду, калі ўсё скончана будзе.

Вадзім няўцямна перасмыкнуў плячыма – дзівак, маўляў, чалавек, а Ірынцы раптам здалося, што ў гэтага русавалосага, смяшлівага хлопца ёсць нешта ад таго далёкага зацятага Мексіканца. Не, знешне ён, вядома, зусім не падобны на агнявокага, адзінокага Рыверу – ён зусім іншы, ды і іншых часоў чалавек. Але, як і ў тым фанатычным змагары, адчувалася ў ім нешта неспатольна ўпартае, выразнае, раз і назаўсёды вызначанае і нязменнае – мабыць, гэтая бескарыслівая самаадданасць, улюбёнасць да сваёй, відаць, неверагодна цяжкай працы. Ірынка зноў, як і там, над катлаванам, шырока расплюшчыла вочы, поўныя невыказнага захаплення, і, не міргаючы, здзіўлена глядзела на Анатоля.

Невядома, што думаў Вадзім і ці заўважыў ён што, толькі раптам нейкі чужы яго голас ураз парушыў Ірынчыны здані-мары. Яна азірнула з болем на разгубленым здзіўленым твары.

– Ірынка, ты ж пляму пасадзіла. Глядзі, во, во, ля кішэні, – з прытоенай прыкрасцю казаў Вадзім. Яна слаба павярнулася, спрабуючы зазірнуць на свой бок, а муж ужо ўкленчыў побач і цёр насоўкай заплямленае месца.

– Чорт вазьмі, – вось сюрпрыз. Першы раз гарнітур адзела – і на табе. Трэба ж глядзець... – стрымана папракаў ён жонку. Анатоль, закінуўшы ручнік за плячо, таксама стаяў побач і зазіраў на палу сапсаванай адзежыны.

– Пэўна, гудрон ці мо' дзе-небудзь каля ізаляцыі. Трэба бензін. Пайду, спытаю ў бабкі.

– Ды не трэба, што вы, – знарок весела ўсміхнулася Ірынка. – Адчысцім, глупства.

– Бензінам нельга, бензін паліць, – заклапочана сказаў Вадзім. – Вось эфір у роўнай дозе з хлараформам – другая справа. Гэта найлепшы сродак.

– Ды ну, хай, даволі, даволі... – слаба адгаворвалася Ірынка, вызваляючы ў мужа палу. Яна ўжо ледзь стрымлівала крыўду, што падступіла да горла. Анатоль выпрасьтаўся, змахнуў з пляча ручнік і, цвёрда стоячы на шырока расстаўленых нагах, усміхнуўся, упершыню зазірнуўшы ў самыя вочы дзяўчыны.

– Ну, нічога. Падумаеш, вялікая справа – пляма. Праўда, Ірына Пятроўна? Было б клопату...

І тады нешта не вытрымала ў Ірынцы, яна скаланулася, хліпнула, і з яе вачэй паліліся распачныя слёзы. Ірынка затуліла твар далонямі, але слёзы ўсё цяклі – па шчоках, між пальцаў, і яна, ужо не маючы сілы стрымаць сябе, адкінулася на спінку крэсла і ўздрыгвала ўсім целам. Вадзім з жахам на твары кінуўся да яе, абхапіў за вузкія худыя плечы і пытаў усё:

– Ірынка! Ірынка! Чаго ты? Я ж нічога... Я так...

Анатоль, здзівіўшыся ад такога здарэння, пабег у пакой [па] вад[у]. Над нізкім плотам ад суседняга двара з'явіліся тры дзіцячыя галоўкі – сур'ёзныя найўныя вачаняты ўстрывожана глязелі на Ірынку.

Яна плакала нядоўга, але гэтулькі застарэлай горычы вылілася з яе душы, што яна спалохалася потым, каб не нарабіць чаго горшага. Ёй не шкада ўжо было сваёй

маладосці, толькі нясцерпна балела ад вялікага расчаравання, якое цяпер выразна адчула яна. Аднак яна нічога нікому не сказала, толькі раптам змоўкла, выцерла твар і ўзнялася. Вадзім з вінаватым выглядам усё таптаўся ля яе; збянтэжана чухаў патыліцу слаўны, нечакана такі блізкі і дарагі Анатоль. Яна трохі вінаваціла сябе ў душы, што патурбавала і засмуціла сваёй нястрыманасцю гэтага чалавека, і ціха сказала яму:

— Даруйце мне.

Пасля яны з Вадзімам выйшлі на вуліцу. Маўклівы, насцярожаны Анатоль праводзіў іх крыху — відаць, яму было чагосьці няёмка, ён ужо не смяяўся і ад рогу вярнуўся назад.

Пакуль яны ішлі ціхай, цяністай вуліцай, Ірынка паспакайнела трохі, але ўсё не адважвалася ўзняць заплаканых вачэй, не адказвала на бясконцыя Вадзімавы пытанні — ціха ішла яна са сваёй тугой, адзінокая і панылая. Напружанне і трывога, якія ўсё тамілі яе, пакрысе аслабелі, але па-ранейшаму было горка і цяжка. А Вадзім, неяк фальшыва нервуючыся ад таго, што здарылася, усё туліў да сябе яе локаць і неадчэпна ўгаворваў жонку:

— Ну чаго ты? Ну што за натура! Нельга ж так. Падумаеш, пляма! Чорт з ёй, урэшце. Другі купім, лепшы...

Наўкола ўсё ляскаталі лісцем дрэвы і мітусіліся, ляцелі кудысьці пушынкi таполяў. Дзяўчына няўцямна глядзела на іх бясконцы лёт і выразна адчувала, што назаўсёды згубіла спакой, што жыццё неўпрыцям абмінула яе і бязлітасна адпомсціла за здраду дзявочым марам. Яшчэ яна думала, што так трываць нельга, трэба нешта рабіць, нешта перайначыць — інакш яна ўзненавідзіць сябе.

1958 г.

Дваццаты

I

Людзі ішлі на ўсход.

Пад ранак высвецілі зоры. З бяздоннай сіні начнога марознага неба сплыла туманная смуга, увабраўся ў сілу мароз, і ў твар падарожнікам павеяў пранізлівы калючы вецер. Сухі сыпкі снег зашуршаў у каламутнай белізне наваколля – па полі віліся выгінастыя пасмы завеі.

Маёр быў трохі мацнейшы за двух сваіх спадарожнікаў. Высокі і плячысты, ён крочыў спарней і раз-пораз апярэджваў іх, потым спыняўся, услухоўваўся і чакаў, пакуль падыдуць таварышы. Першы звычайна даганяў яго Валодзькін – невялікі, вельмі схуднелы юнак у туга зацягнутым нямецкім шынялі і глыбока насунутай на голаў пілотцы. Наблізіўшыся да маёра, ён садзіўся на снег, спіной к ветру, курчыўся, кранаючыся ілбом халодных вострых каленяў. Старшы лейтэнант Івашоў, у падпяразанай папрускаю нейкай кароткай світцы, адстаў далёка і шкандыбаў вельмі марудна. Ён прыкметна кульгаў, абапіраўся на падабраную ў дарозе палку, хрыпла дыхаў, стагнаў і, дагнаўшы таварышаў, прастуджаным голасам прасіў:

– Браткі... Пастойце... Не магу так... Не магу...

Ён адразу клаўся на снег і моўчкі ляжаў без руху. Маёр стаяў нейкі час, азіраўся па баках, нешта думаў і заклапочана пазіраў на сваіх знямоглых спадарожнікаў. Аднак праз колькі хвілін ён настойліва падаваў голас:

– Ну, пара. Яшчэ трохкі. Яшчэ вёрст пяць да відна.

Першы тады ўставаў Валодзькін, Івашова яны падымалі за рукі ўдваіх. Неба на ўсходзе паволі святлела, і навокал

бялела ў доле, ноч растваралася ў паўзмроку нясмелага позняга світання.

Праз колькі часу на заснежаным полі развіднела – завя рабіла яго зыбкім, рухомым. Снегавыя вужакі, перасыпаючыся і варушачыся, бы жывыя, суладна імкнулі ўдалячынь. Вецер усё мацнеў. Шлях падарожнікаў пралёг праз узгорак, і двое з іх зноў адсталі ад свайго дужэйшага таварыша.

...А яшчэ два тыдні назад яны мелі куды болей сілы.

Кожную раніцу пасля доўгай лагернай паверкі дваццаць спецыяльна прызначаных на тое палонных лезлі ў гулкі кузаў вялізнага «Ханамага» і пад канвоем васьмі салдат ехалі ў далёкі кар’ер. Увесь дзень да змяркання, без адпачынку і ежы, цяжкімі малатамі і кіркамі ламалі яны выкапнёвыя скальныя брылы. Той жа «Ханамаг» вазіў каменне ў горад. Лагер пашыраўся, будавалі яшчэ тры комплексы нявольніцкіх блокаў – на ўсходзе нямецкія арміі падыходзілі да Масквы.

Але аднойчы нечуваная вестка ўскалыхнула шматтысячную грамаду палонных. Невядома кім прынесеная з волі, яна ў некалькі гадзін абляцела ўсе блокі лагера. На рабоце, у бараках, у шматлікіх паверачных страях і бясконцых чэргах за ежай шэптам адзін другому перадавалі людзі нечуванія словы, ад якіх многія плакалі радаснымі слязьмі надзеі. Праўда, ніхто не ведаў нічога пэўнага, шмат было варыянтаў тае навіны, але адно заставалася бясспрэчным – пад Масквой Чырвоная Армія граміла захопнікаў.

Гэтая вестка незгасальным агнём запаліла ў Валодзькіна вялікае жаданне ўратавацца – выжыць, прарвацца на ўсход. Ні ўдзень, ні ўночы не ведаючы спачыну сабе, ён думаў усё, як бы гэта зрабіць. Аб тым жа думалі многія.

І вось у адзін пахмуры, задожджаны восеньскі вечар дваццаць каменаломаў ускрайкам шашы брылі з кар’ера. Два канваіры ішлі наперадзе, два ззаду, астатнія чацвёрта, паспяшаўшыся на адпачынак – была субота – паехалі раней на гружанай машыне. Непадалёк пачынаўся горад, ззялі агнямі домікі пад чарапічнымі дахамі, па дарозе адзін за адным праносіліся аўтамабілі. Змарыўшыся за дзень ад

бясконцага крыку і лаянкі, канвойныя нешта суцішыліся, курылі [цы]гарэты, зрэдку гыркаючы на якога-небудзь аслабелага нявольніка. І ў такі вась час, калі на шашы выпаў кароткі перапынак у руху, над калонай гойкнуў нечы прызыўны кліч:

– Бі гадаў!!!

Не раз успамінаючы тое, Валодзькін так і не мог зразумець, адкуль толькі ўзялося сілы ў гэтых схуднелых людзей, адкуль стала гэтулькі энергіі і спрыту. Не паспелі канваіры што і падумаць, як іх ухапілі за горлы, павалілі, прыдушлі, пазабівалі драўлянымі чаравікамі-апоркамі, у якія былі абуты людзі. Той чалавек, што падаў свой кліч, камандаваў і далей – палонныя пахапалі ў забітых зброю, некаторыя панадзявалі варожую форму.

Хутка аднак яны ўгаманіліся, апамяталіся, удала захапілі на шашы першы грузавік, што выскачыў з горада, і, пасеўшы ў яго, пад аховай пераапанутых «канваіраў» паімчалі на ўсход.

Праўда, ехаць давялося нядоўга. Праз гадзіны дзве іх ужо спрабавалі затрымаць, а яшчэ праз гадзіну, адстрэльваючыся ад пагоні, яны абярнулі ў канаву машыну і, страціўшы палову людзей, ледзь схаваліся ў лесе.

Пасля яшчэ было шмат сутычак, шмат страху і рызык. У шляху напаткала іх зіма, і ўсё меней заставалася байцоў. Урэшце іх стала трое.

2

Узысці на пагорак было дужа цяжка. На ўгладжаным заваяй касагоры выслізганя чаравікі непаслухмяна раз'язджаліся ў бакі – Валодзькін цяжка падаў у снег. Ён стараўся ступаць у сляды маёравых ботаў, – так было крыху ямчэй лезці ўгару, толькі ад стомы не хапала дыханьня і заходзілася сэрца.

Ён быў ужо на сярэдзіне касагора, калі ззаду пачуўся голас. Валодзькін здрыгануўся ад нечаканасці, спыніўся і азірнуўся на кульгавага Івашова. Зусім, відаць, выбіўшыся

з сіл, старшы лейтэнант ляжаў унізе і прыцішана яшчэ разы два клікаў таварыша.

– Знямог? Ну, чакай, зараз, – прамовіў Валодзькін і ў ветраной гэтай немаце не пазнаў свайго голасу, слабага і прыдушанага. Прыўзняўшыся на руках, Івашоў чакаў дапамогі і з надзеяй пазіраў на яго.

– Зараз, зараз іду, – зноў крыкнуў Валодзькін таварышу, а сам усё стаяў на касагоры, не маючы сілы выцягнуць з гурбы завязлую да калена нагу. Ён цяжка дыхаў, з рота вырываліся і знікалі на ветры белаватыя подыхі пары, а сэрца шчымела ад таго, што яны ўсе ўтраіх такія аслабелыя, бездапаможныя і маленькія ў гэтых заснежаных сцюдзёных прасторах.

Трохі спачыўшы, Валодзькін спусціўся з узгорка. Не дачакаўшыся таварышаў, на адхоне паказаўся маёр, пасля ён таксама сышоў уніз. Івашоў ляжаў на снезе, уткнуўшы твар у рукавы світкі. Яго плечы раз-пораз нервова ўздрыгвалі.

– Канец... Усё роўна канец... Усім, усяму... – чулася яго надрыўная распачная скарга. Володзькін, учуўшы гэта, збянтэжана зірнуў на пачарнелага, аброслага сівым касмыллем маёра. Той скрыгануў зубамі, і на яго худых запалых шчоках захадзілі жаўлакі. Ён не сказаў нічога, а толькі ўздыхнуў, узняў свой позірк ад распластанага чалавека і доўга маркотна глядзеў у затуманеную завей даячынь.

Ці ад гэтага маркотнага позірку, ці ад тых распачных Івашовых слоў упершыню бліжэйшым прадчуваннем здрыганулася і Валодзькіна сэрца. Няўжо і сапраўды не пашанцуе ім вырвацца з няволі і дайсці да сваіх? Гэтулькі ўжо бяды стрывалі яны, што ад адных толькі ўспамінаў рабілася страшна. А колькі яшчэ наперадзе – пэўна, не меней. Відаць, памыліліся яны, пагарачыліся, і прыйдзеца ўпасці дзе-небудзь ад сцюжы ці кулі, як упалі ўжо іх семнаццаць таварышаў. Праўда, з'яўлялася часам надзея – адшукаць партызанаў і далучыцца да іх. Учора ля нейкай лясной станцыі яны бачылі, як гарэлі вялізныя склады-пакгаўзы, людзі казалі, што ўначы тут былі партызаны. Там жа яны

дачуліся, што ў тутэйшай мясцовасці забіты важны нямецкі начальнік – оберштурмбанфюрар Вірт. Расклееныя ў вёсках аб’явы абяцалі 50 тысяч марак таму, хто дапаможа немцам натрапіць на след гэтых лясных змагароў. Але дзе было знайсці іх – не ведаў ніхто, а няшчасныя ўцекачы гублялі апошнія сілы.

Урэшце, Івашоў трохі супакоіўся, прыўзняўся на руках і сеў. Яго спакучаны, счарнелы ад сцюжы і стомы твар быў страшны.

– Я ўжо ўсё... выдахся, – сіпла выціснуў ён з прастуджаных грудзей і надрыўна закашляўся. – Дый вы... і вы не дойдзеце... Не трэба было... Усё роўна смерць, смерць усюды...

Маёр незадаволена павёў плячыма, нецярпліва пераступіў з нагі на нагу.

– Уздумаў паміраць? – глуха сказаў ён. – Рана. Уставай, трэба ісці. Бяры, Валодзькін.

Яны ўзялі яго пад рукі. Івашоў бязвольна паддаўся ім і, скрывіўшы ад болю твар, пакорліва паплёўся на ўзгорак.

Марудна, цяжка і доўга лезлі яны на касагор, задыхаючыся ад Стомы; маёр і Валодзькін, часта прыпыняючыся, упарта цягнулі таварыша ўгору. Івашоў туліў голаў у высока ўзнятыя плечы, зусім неяк абвяў у іхніх руках, вяла пераступаў нагамі, і, здавалася, варта было пусціць яго, як чалавек скаціўся б уніз. І яны цягнулі яго, не ведаючы, што будзе далей, сяк-так вывалаклі на пагорак і, знясіленыя, пападалі ў снег.

...Завая ўсё гаспадарыла ў бязлюдным затуманеным снегам полі. Жвавыя снежавыя языкі хутка спавілі сваёй беллю нерухомыя целы людзей, мяккі дол прыветна туліў да сябе зняможаных падарожнікаў, і не было сілы расплюшчыць вочы, варухнуцца, устаць.

Мерцвякамі ляжалі людзі і не чулі, як пад узгоркам, прабуксоўваючы, раўнулі машыны, як выніклі яны з лагчыны на дарозе, што бегла зусім недалёка ад уцекачоў. Машын было шмат, і ў іх высокіх кузавах, тулячыся ад завеі, цесна сядзелі салдаты ў мышастых шынялях.

Іх прывялі на дарогу, да пярэдняй машыны, дзе стаялі два афіцэры ў шынялях з футравымі рудымі каўнярамі. Узняўшы ўгору рукі, Валодзькін ішоў сам, ззаду кульгаў Івашоў, прастрэленага ў грудзі маёра двое салдат цягнулі па снезе. Наўкола гаманілі дзесяткі ворагаў, калолі з усіх бакоў ненавісныя позіркi, а Валодзькін не прыкмячаў нічога. Усеабдымная журбота ад гэткай няўдачы прыдушыла яго, скавала волю, і пагібель, не далёкая і ўяўная, а ўжо блізкая і рэальная, ва ўсёй сваёй жахлівай велічы паўставала над ім.

ЛЯ машыны ўсе спыніліся, параненага паклалі ля ног афіцэраў. Ён трохі варушыўся, зацята пазіраў на ворагаў і, сцяўшы сківіцы, з натугай перасільваў у сабе, відаць, немалы боль. Панылы, разгублены Валодзькін не зводзіў з яго позірку, але дапамагчы чалавеку не было як.

Іх гаманлівым колам акружылі салдаты. Гоман аднак разам спыніўся – афіцэр у акулерах нешта сказаў доўгаму пласкагрудаму салдату ў кароткім шынялі. Той паслухмяна выступіў наперад.

– Національ? Полякі? Рускі?

– Рускія, – з натугай гучна сказаў маёр і прыўзняўся на локці. – Рускія! – паўтарыў ён мацнейшым і трошкі дрыготкім ад напружання голасам. Немец буркнуў афіцэру, той, гідліва крывячы вусны, сказаў нейкую доўгую фразу.

– Что ві дзелаль? Откуда бежал? Ваш чын і фаміль?

Маёр на гэта горка ўсміхнуўся.

– Шмат вы хочаце ведаць, – сказаў ён. – Цікава, што рабілі? Дык ведайце: білі фашыстаў!

Немец пераклаў і гэты адказ, і раптам наўкола выбухнуў з’едлівы салдацкі рогат. Валодзькін упершыню ўзняў галаву, абвёў позіркам вясёлыя нахабныя твары. Сытыя, добра апранутыя і ўзброеныя ворагі пагардліва іржалі вакол траіх абадраных знясіленых валацуг. Ім было дужа смешна, што адзін з гэтых нікчэмных небаракаў уздумаў так недарэчна пажартаваць. Валодзькін зразумеў гэты рогат, убачыў зняважлівую пагарду, што шчэрылася на кожным

твары, і яму стала вельмі прыкра і балюча за сваю слабасць і такое мноства вайсковых няўдач. Ён зусім звесіў галаву і глядзеў толькі на маёра, які злосна бліскаў вачыма.

– Пан ротэнфюрар гавары сумнень о ваш боеспасобнасць, – абыякава перакладаў салдат. – Ві, рускі свіны, дзеляйце блягодарнасць гэр гот, что ешчо не подыхаль у этот снег.

Валодзькін убачыў, як пабялелі шчокі на маёравым твары, той варухнуўся, спрабаваў, відаць, узняцца, але затым з неадольным болем зноў апусціўся на снег.

– Дарма так думае ваш ротэнфюрар, – сказаў ён і злосна крыкнуў: – Мы станцыю Баркі спалілі! Мы вашага оберштурмбанфюрара Вірта забілі! Што, мала? Ну, страляйце нас!

Ад тых маёравых слоў нешта здарылася ў варожым коле. Акулярысты афіцэр раптам збянтэжана заміргаў белабрысымі вачыма, салдаты наўкола заварушыліся. Валодзькін чуў за спіной, як шмат вуснаў забубнілі знаёмыя, відаць, словы: «О, банхоф Боркі. ...Оберштурмбанфюрар Вірт...». Хлопец не зразумеў яшчэ, што адбылося, але ён ведаў ужо, што смелыя маёравы словы зрабілі ворагам нешта непрыемнае і шкоднае. І, адагнаўшы ад сябе паныласць, Валодзькін, здаецца, знайшоў надзею на нейкую незразумелую сілу, нейкую няпэўную яшчэ перавагу над гэтымі вылюдкамі.

І варожая грэблівасць на твары акулярыстага змянілася тады трывожнай зацягасцю. Афіцэр выняў з кішэняў рукі і ступіў да маёра:

– Что ты сказал, сабака?

– Тое, што чулі. Мы забілі Вірта, спалілі Баркі.

Немец сцяў вусны і ўдарыў параненага ботам у грудзі. Маёр глуха войкнуў, і з яго рота на снег хутка выслізнуў вузкі струменьчык парнай крыві. Валодзькін знячэўку ўскрыкнуў, гарачае абурэнне і спалох за чалавека шыбанулі ў яго пачуцці – ён кінуўся да таварыша. Але нехта ззаду выцяў яго, і хлопец з размаху грывнуўся на дарогу.

А наўкола ўсё замітусілася, злосцю скрывіліся касцістыя твары ворагаў, яны накінуліся на траіх знясіленых бездапаможных людзей. Іх білі ботамі, таўклі кулакамі, прыкла-

дамі; рвучыся, трашчала вопратка. Валодзькін толькі сашчапіў сківіцы і трываў, стогнучы, – чакаў канца. Дзіўна было, але гэтае варожае шаленства, народжанае помслівай злосцю, здалося куды лягчэйшым, чым той пагардлівы салдацкі рогат. «Біце, біце, трэскайцеся ад злосці, знайце, хто мы, – нема крычала хлапечае сэрца, – забівайце, усё роўна цяпер вам не будзе лягчэй». Але раптам між злоснай лаянкі чужынцаў прагучаў спалоханы крык Івашова:

– Ой, завошта!!! Завошта!!! Ён хлусіць! Маёр хлусіць! Не білі мы нікога, не бачылі...

Афіцэр скамандаваў нешта, і валтузня навокал спынілася. Валодзькін аднак усё курчыўся на снезе ад балючага ўдару ў живот.

– Что ві хацель сказаць? – звярнуўся пласкагруды перакладчык да паваленага Івашова. Той нязграбна ўзняўся і хуценька, нібы баючыся, што яго не выслухаюць як трэба, загаварыў акулярыстаму афіцэру.

– Пан афіцэр... пан афіцэр... Няпраўда. Маёр знарок. Ён выдумляе... Не бачылі мы нікага оберштурмбанфюрара... Мы ледзь жывыя, а ён... камандзір...

Валодзькіну здалося, што ён трызніць. Спачатку ён здзівіўся ад тых Івашовых слоў, але неўзабаве неспатольная злосць на таварыша ўзбунтавала хлапечыя пачуцці. Ён імпэтна рвануўся да афіцэраў, да гэтага труслівага Івашова, якога ўжо абступалі немцы. І, нечакана адчуўшы, што гэты агідны чалавек вырве ад іх такую неспадзяваную перавагу над ворагам і зусім прынізіць іх годнасць, Валодзькін з усяе моцы закрычаў у варожы натоўп:

– Няпраўда! Гэта ён хлусіць! Ён трус! – тыцкаў ён пальцам у Івашова, які, выціраючы ад снегу твар, усё казаў нешта. Перакладчык, афіцэры, салдаты азірнуліся на яго і змоўклі, пэўна, не ведаючы, як іх разумець. А Валодзькін на здзіўленне ім кінуў новыя словы – кінуў цвёрда і з перакананнем сваёй праўдзівасці, з годнасцю чалавека, далёкага ад хлусні.

– Не слухайце яго! Ён сам страляў у вашага обера.

Плоскі немец пераклаў тое, афіцэр недаверліва паглядзеў на Івашова, затым на Валодзькіна, зірнуў на гадзіннік

у рукаве і прамовіў нейкі загад. Ён, відаць, паспакайнеў ад першай сваёй злосці і цяпер распараджаўся дзелавіта і роўна.

Салдаты, нешта гамонячы, падаліся да сваіх машын, ля палонных засталіся трое. Яны знялі з-за плячэй карабіны, і кастлявы яфрэйтар з халоднымі, асалавелымі ад строгаасці вачыма голасна крыкнуў:

– Маршырэн, думес фі!¹

Ён балюча тыцнуў Валодзькіна прыкладам у спіну, даючы тым самым зразумець, куды трэба ісці, штурхнуў у каршэнь Івашова і з тым жа апантаным крыкам ударыў абцасам нерухамага маёра. Аднак зацярушаны снегам маёр ляжаў сцішаны, строгі і маўклівы.

Валодзькін праглынуў тугі горкі камяк у горле, прыжмурыў вочы ад прыліву слабасці і жалю. Але хлопца зноў штурхнулі і пагналі ў той бок, адкуль прыйшлі машыны. Ён абочынай мінуў іх і паціху пайшоў далей па перамеценай завейй дарозе.

Пакрысе аднак Валодзькін спакайнеў. Ён прывыкаў ужо да непазбежнасці свайго лёсу, усё болей раставала ў душы недасяжная мара – жыць. Заклаўшы рукі назад, як таго дамагаліся канваіры, ён аднак затаіў у сабе нескароную ўпартасць і ўжо амаль верыў у тыя маёравы словы, што так збянтэжылі гітлераўцаў. І хоць не ўдалося яшчэ небараку Валодзькіну нарабіць асаблівай шкоды фашыстам, ад таго, што ворагі бачылі ў ім нейкага змагара, было болей рашучасці і болей сілы ў душы. Ён не спадзяваўся на іхнюю літасць, ведаў – заб'юць, і не шкадаваў сябе, а ўсё болей уваходзіў у ролю таго, каго бачылі ў ім немцы. Ён вышэй узняў сваю галаву, азірнуўся на насцярожаных канваіраў – іх празмерная пільнасць здалася яму нават прыемнай.

4

На шэрым засмужаным небасхіле з'явілася сіратлівае няяркае сонца. Яно разы два бліснула невясёлай усмешкай

¹ Марш, быдла!

і, бяспромнае і маркотнае, сціснулася ў маленькую жоўтую плямку ўгары. Завая тым часам паменшала, упрыгожанае снегавымі выкрутасамі, ціха ляжала застылае поле.

Старшы трох канвойных – яфрэйтар з доўгім, каствявым, бы конскім, тварам – не зводзіў халоднага позірку з двух згорбленых знясіленых постацей. Ён часцей за іншых крычаў «шнэль!» і часцей штурхаў прыкладам Івашова і Валодзькіна. Другі канвойны – нізкарослы ўкормлены немец з свінячым выразам белабрысага зашчаціненага твару – усё нешта жаваў, дастаючы з кішэні. Ён, відаць па ўсім, быў лянiвы на рухі і словы, але ніколі не мінаў штурхнуць Івашова, які, адстаўшы, апынаўся ля яго. Рабіў ён гэта не рукамі, якія вымаў з кішэняў толькі каб пхнуць у рот чарговую порцыю ежы, і не карабінам, што няспрытна вісеў за спіной на доўгім рэмені – штурхаў ён нагой. Гэта выходзіла ў яго хлэстка і, відаць, з сілай, бо Івашоў пасля такога штуршка некалькі крокаў потырч ляцеў па дарозе. Трэці канвойны ішоў ззаду, ён маўчаў, і на яго пажылым чарнявым твары ляжаў выраз невясёлай задумы.

Валодзькін не вельмі цікавіўся варожымі справамі, іх салдацкай балбатнёй – яго асабісты лёс быў ясны. Праўда, да палоннага даляцела некалькі зразумелых фраз, і ён даведаўся, што іх вядуць у горад, дзе павінны здаць у штаб нейкай зондэркаманды. Што там чакала яго, ён ведаў пэўна, бо за паўгода палону добра засвоіў фашысцкую завяздзёнку распраўляцца з вінаватымі.

У нейкай невялічкай лагчыне, дзе дарога больш за іншыя месцы была завалена снегам, Івашоў спатыкнуўся і ўпаў. Ля яго адразу спыніўся ўкормлены і, ганяючы сківіцамі жаўлакі, абьякава, без злосці, ударыў ботам у бок.

– Штэе аўф, абер шнэль!²

Івашоў скрывіўся ад болю, узняўся на адну руку і зноў заплакаў, як плакаў пад тым пагоркам у полі. Канвойныя спыніліся на дарозе, Валодзькін таксама стаў зводдаль.

² Паднімайся, жыва!

– Паночак, камарад, завошта? Мы ж нявінныя... Злітуйся, пусціце мяне... Пусціце...

– Гэ, чаго захацеў, – буркнуў Валодзькін. – Не ламайся, не ўпросіш.

Але Івашоў прасіў. Ён, пэўна, адчуў, што сілы яго ўжо невялікія, што многа ён не пройдзе, і чалавек слязьмі і просьбамі думаў вымаліць сабе паратунак.

Укормлены праглынуў сваю жованку і запытальна зірнуў на яфрэйтара. Той нешта гыркнуў гучным ад лютасці голасам і зняў з пляча карабін.

– Аўфштэен! Форвэртс!³

Ён наставіў карабін у голаў палоннага і злінялымі сваімі вачыма з хвіліну свідраваў яго. Цяжка варушачыся, Івашоў устаў, але ногі яго бяссьільна запляталіся, і ён няўпэўнена ступіў некалькі разоў. Валодзькін гідліва плюнуў на дарогу – ён не шкадаваў былога таварыша, не мучыў сябе дакорамі, што той быў доўгі час блізкі яму, гідлівасць зацяніла ў ім усе пачуцці да гэтага чалавека.

Праз нейкі час Валодзькін зноў спыніўся ад крыкаў ззаду – Івашоў, распластаны, ніцма ляжаў на снезе, голасна екатаў нешта і плакаў. Валодзькіну стала вельмі прыкра і горка ад усяго гэтага, і ён адварнуўся. Захінаючыся ад сцюдзёнага ветру, з хвіліну ён слухаў то распачны лямант зняможанага Івашова, то разлютаваны крык старшага канваіра. Затым нечакана грывнуў стрэл, і крыкі сціхлі. Калі Валодзькін азірнуўся, яфрэйтар, лязгаючы затворам, выкідаў з карабіна гільзу – на зямлі ляжала скурчанае нерухомае цела Івашова.

Ад прыкрасці Валодзькін толькі ўздыхнуў – ні жалю, ні самага маленькага спачування не засталася ўжо да гэтага недарэчнага таварыша. Ён хацеў ісці далей, але канваіры паклікалі яго да забітага, загадалі адцягнуць труп з дарогі. Хлопец пачакаў, пакуль укормлены абшукаў кішэні дзіравае світкі нябожчыка, і потым зрабіў тое, чаго патрабавалі ворагі.

³ Устаць! Наперад!

Глухая, малаезджаная дарога ўсё вілася і вілася між пералескаў, пагоркаў, балацявін. Побач не відаць было ніводнае вёскі, і невядома, дзе быў той горад, куды вялі дваццатага ўцекача.

Адразу пасля забойства Івашова Валодзькін заўважыў, што немцы чагосьці сварацца. На яго яны не дужа звярталі ўвагі, ён ішоў сабе наперадзе, а канвойныя нешта злосна спрачаліся між сабой. Валодзькін не азіраўся, але ён пазнаваў ужо голас кожнага і цяпер чуў, што неразгаворлівы дагэтуль чарнявы нешта стрымана і незадаволена бурчаў ззаду. Ён чымсьці абураўся, і яфрэйтар раздражнёна гыркаў на яго. Укормлены больш маўчаў, толькі зрэдку ўстаўляў у спрэчку некалькі слоў.

– Хаст ду тот гешляген, ганц рыхціг!⁴

– Філляйхт іст эр уншульдзіг? Воцу зо граўзам?⁵ – даводзіў чарнявы.

– Філе gefallenэ, венігэ лебендзігэ зо фортдэрт унзэр фюрэр! – гыркаў яфрэйтар. – Зольст ду маўль кальтэн, Лорэнц!⁶

– Альзо ляс ін аўх нідэр!⁷ – раздражнёна кідаў чарнявы.

– Біст ду фэрукт гевордэн, ду цівільку! Вен абер вэрдэн вір цум хэрн оберштурмфюрэр хэрбайшлепэн? – злаваўся старшы. – Ім мілітэр мус ман я дэнкэн, унд цвармер, альс бай дэн бюхляйн!⁸

⁴ Забіў, і добра!

⁵ А можа ён не віноўны? Навошта так люта?

⁶ Больш забітых – менш жывых, так патрабуе фюрар! А ты маўчы, Лорэнц!

⁷ Дык распраўся і з ім!

⁸ Ты з глузду з'ехаў, цывільная карова! Каго ж мы тады прывядзём да пана оберштурмфюрара? У вайскавай справе трэба думаць – і куды больш, чым за кнігамі!

Валодзькін не ўсё зразумеў з гэтай сварлівай гамонкі, але галоўнае ён усё ж сцяміў і з цікаўнасцю азірнуўся. На тварах дваіх – яфрэйтара і чарнявага – ляжала раздражненне, толькі ўкормлены абыякава плёўся ззаду і ўсё нешта поркаўся ў кішэнях. Валодзькін коратка затрымаўся позіркам на чалавеку, які гэтак нечакана заступіўся за іх. Штосьці было ў яго твары разважнае і нязлоснае, нават нешта пакутнае, і тады гэты чалавек нагадваў Валодзькіну другога немца – лагернага шафёра, які зусім інакш, чым астатнія ворагі, адносіўся да палонных. Ён не крычаў ніколі на іх, не лаяўся, здаралася, калі не бачылі іншыя прыганятыя, соваў якому бедак кавалак бутэрброда ці недакурак [цы]гарэты. Палонныя, як трэба, ацанілі яго дабрату і яго рызыку і вельмі паважалі гэтага незвычайнага немца. Цяпер па нейкім унутраным руху чарнявага хлопец адчуў незразумелую яшчэ аднасць яго і таго лагернага шафёра, і ад гэтага нечаканага адкрыцця крышачку святлей стала на душы. Неяк быццам паменшала тая адзінота, якая мімаволі самотна з’явілася ў яго сэрцы пасля забойства Івашова.

Ужо, мабыць, пад поўдзень з небасхілу ярка бліснула зімовае сонца, і снежавое поле заіскрылася алмазным россыпам калючых блішчынак. Валодзькін зусім ужо прыбіўся і ледзьве-ледзьве кльпаў, прагнучы хоць якога-небудзь канца гэтым пакутам. Канвойныя, пасварыўшыся, доўга ішлі моўчкі – яны таксама прытаміліся, і ля трох разгатых сосен, што стрэліся ім збоч дарогі, яфрэйтар крыкнуў: «Аўсруэн!»⁹. Ён стомлена бухнуўся задам у снег, ля яго размясціліся салдаты. Валодзькін таксама сеў непадалёку і з-пад ілба зацята пазіраў на ворагаў.

Укормлены канваір, відаць, ужо з’еўшы ўвесь свой правіянт, зморана разлёгся на снезе, а яфрэйтар з чарнявым дасталі з сумак харч і пачалі сілкавацца. У Валодзькіна раптам пацякла слінка, і ён, каб не пакутаваць залішне, адварнуўся. Але вось нехта ззаду падышоў да яго і далікатна, нібы па-сяброўску, крануў за плячо. Валодзькін здзіўлена павярнуў галаву і блізка ля свайго твару ўбачыў жаўтава-

⁹ Прывал!

ты, хрумсткі сухар, які даваў яму пажылы чарнявы канваір. Валодзькін вельмі здзівіўся, яго рукі ўхапілі пачастунак, а немец, коротка зірнуўшы на хлопца, сеў на сваё месца ў снезе. Валодзькін толькі ўпіўся зубамі ў сухар, з незвычайнай асалодай адчуваючы ў роце яго гаркаваты смак, як з долу ўскочыў яфрэйтар і моўчкі размашыста выцяў Валодзькіна. Ледзь накушаны сухар вылецеў у снег, а з разбітых вуснаў палоннага палілася кроў.

Раптоўны гнеў і крыўда ўзарвалі хлопца, патроілі яго сілы, і ён дзіка закрычаў проста ў нялюдскі канячы твар:

– Гад ты! Звер! Фашыст! Ірад! Шваін, – крычаў Валодзькін, выкарыстоўваючы ўвесь запас знаёмых абразлівых слоў. Немец зноў рвануўся да яго і зноў выцяў, але ўжо не так балюча, бо Валодзькін паспеў утуліць галаву ў плечы і толькі хіснуўся. Ён чакаў і яшчэ ўдараў, гатовы быў на самае страшнае катаванне – усё роўна ён крычаў бы абразу ў гэты паганы твар. Яфрэйтар, сцяўшы кулакі, стаяў побач і тросся ад злосці, але не біў болей, а ззаду за ім перасцерагальна крычалі двое падначаленых:

– Кук маль, біст ду фэрукт гэвордэн!¹⁰ – гнеўна насупіўшы бровы, казаў чарнявы.

– Ота, ляс ін ін руэ! Эр кант ніхт геен, ман мус ін ві аін зак трагэн!¹¹, – непакоіўся ўкормлены, седзячы ў снезе.

І добра яшчэ не зразумеўшы ў гарачцы, Валодзькін адчуў, што з'явілася нейкая новая акалічнасць, якая, здаецца, змяншала сілы ворагаў і абараняла яго. Нездаволена сцяўшы конскія сківіцы, яфрэйтар дастаў з кішэні закурку, а хлопец, цяжка дыхаючы, ужо ведаў, што ён нейкім чынам не падуладны гэтаму зверу-фашысту. І зразумеўшы гэта, Валодзькін так узрадаваўся, што аж засмяяўся сам сабе – гэта напоўніла яго новай адвагай і надало новыя сілы.

– Эй, ты, фашыст, Гітлер капут! – зноў закрычаў Валодзькін. – Гітлер шваін!

¹⁰ Глядзі ты, з глузду з'ехаў!

¹¹ Ота, пакінь яго ў спакоі! Ён жа не здолее ісці, і нам прыйдзеца цягнуць яго, як мяшок.

Немцы спалохана азірнуліся, быццам хто мог падслу-хаць іх у гэтым зімовым полі, а Валодзькін, мабілізаваўшы ўсё тое, што ведаў з нямецкай мовы, злосна крычаў:

— Гітлер капут! Герынг капут! Фашызм капут! Ротэ армее сіген! Бліц крыг! — зларадна рагатаў палонны. — Кукіш вам, во! Капут вам, праклятыя дойчы! Москаў сіген!

Чарнявы змрочна маўчаў, а ўкормлены з яфрэйтарам збянтэжана пераглянуліся, не ведаючы, пэўна, што рабіць з гэтым нескаронным палоннікам. Потым яфрэйтар нешта закрычаў на яго, заляскаў затворам і наставіў у Валодзькіна карабін, але той аж захліпаўся ад невыказнага зларадства. Яго зусім не палохалі гэтыя захады канваіра, і ён з кароткімі перапынкамі ўсё крычаў лютыя праклёны ворагам.

Урэшце старшы канваір, відаць, страціў цярпенне. Бачачы, што напалохаць палонніка не ўдасца, ён дзіка вызверыўся сваёй кастлявай фізіяноміяй, вочы яго замуціліся ад шаленства, і ён замахнуўся прыкладам. Нібы раз'юшаны сабака, накінуўся фашыст на Валодзькіна. Разоў колькі ён моцна ўдарыў хлопца, у вачах таго бліснулі іскры, зацяло дыханне, ён паваліўся ў снег. Але гэта не пахіснула яго намеру супраціўляцца, прагнасць дапячы ворагу ўзмацнялася разам з болем, які прычыняў яму немец. І ён, задыхаючыся, праз стогны і энкі, крычаў, шаптаў тое, што цяпер так бянтэжыла ворага.

Невядома, чым скончыўся б гэты няроўны паядынак, калі б у той час не ўскочыў з долу чарнявы і моцным рыўком за плячо не адкінуў яфрэйтара ад яго ахвяры. Нібы звер, якога адрываюць ад свежай крыві, гітлеравец рвануўся з яго рук, нешта крыкнуў падначаленаму і, калі гэта не падзейнічала, наводліў стукнуў яму прыкладам у грудзі.

Прагна хапаючы ротам паветра, Валодзькін якраз узнімаўся з долу і бачыў, як нядобрым агнём успыхнулі строгія вочы чарнявага і як ён, хіснуўшыся, спрытна ўзмахнуў карабінам і з крэткам, як гэта выходзіць у дрывасекаў, апусціў яго на яфрэйтара. Той кінуў зброю, аберуч схопіўся за галаву і, надламаўшыся ў каленях, выцягнуўся на снезе.

Раптоўная магчымасць адпомсціць, быццам на крыллях, падхапіла Валодзькіна з зямлі, зацьміла боль, і ён у

два скокі апынуўся ля варожай зброі. Ён не думаў тады ні пра небяспеку, ні пра свае шанцы перамагчы – увесь свет ад яго засланіў нялюдскі скрыўлены твар яфрэйтара. У марозным паветры грывнуў стрэл з варожага карабіна – немец, што дагэтуль грэбаў на снезе рукамі, здрыгануўся і заціх.

Перазарадзіўшы карабін, Валодзькін адскочыў убок і, гатовы да бойкі, прысеў на зямлю. Раптоўным магутным выбухам узнікла ў ім прытушаная ўжо прага жыць. Неадольная і ўладарная, яна сваёй хмельнай, апантанай рукой узяла хлопца, які нечакана адчуў сябе спрытным і дужым. Але ворагі чамусьці не кідаліся на яго. Чарнявы ў першае імгненне быццам аслупянеў над забітым, а потым, штосьці сцяміўшы, крутнуўся да трэцяга канваіра. Той, спалохана лыпаючы вачыма, заікліва мармытаў нешта, круціўся ў снезе на сваім тоўстым задзе і ніяк не мог узяцца з долу. Чарнявы нешта пагрозліва крыкнуў, падскочыў, выхапіў з яго вінтоўкі затвор і кінуўся на дарогу.

Валодзькін толькі тады скеміў, хто ўратаваў яго, і адразу быццам апамятаўся. Ён хуценька ўскочыў і, апасліва пазіраючы на тоўстага, кінуўся за сваім збаўцам.

Немец шпарка крочыў па цвёрдай снегавой цаліне, за ім з карабінам пад пахай спяшаўся Валодзькін. Ён не ведаў, што зробіць з ім яго канваір, не ведаў, ці варта зусім даярацца яму, але агульны ўдзел у нядаўняй сутычцы з'яднаў іх, і хлопец адчуваў у чарнявым свайго саюзніка.

Так, крывуляючы з пагорка на пагорак і штораз азіраючыся, яны дасягнулі хваёвага ўзлеску. Лес, відаць, быў стары і вялікі. Растапырыўшы ў бакі кашлатае сучча, цесна стаялі запарушаныя снегам яліны, з узлеску некуды ў глыб змрочных нетраў вялі сцяжынкі воўчых слядоў. Тут немец спыніўся, павярнуўся да зморанага, узрушанага і абнадзеенага Валодзькіна і паклаў яму на плячо сваю руку.

– Как твой фаміль? Вальодкін? Надо убеги́ваць, Вольодкін. Этот Лепечанск пушч, – паказаў ён на лес. – Там рус партизан, многа партизан. Ты будэш партизан, будэш крыг фашизм.

Ён падаў былому палонніку руку, і Валодзькін з нечаканым жалем узяў яе, а ў грудзях зашчымела сэрца ад прадчування адзіноты і ростані з гэтым загадкавым чужым чалавекам.

— А як жа вы? — запытаў хлопец. — Унд вохін зі?

Немец сумна ўсміхнуўся куточкамі вуснаў, моўчкі махнуў на развітанне і таропка пакрочыў па ўзлеску. Валодзькін апошні раз паглядзеў на дарогу, дзе на пагорку пад трыма соснамі ўсё яшчэ сядзеў збянтэжаны ўкормлены немец, і таксама падаўся ў лес. Хутка заснежаныя галіны зусім затулілі яго.

1958 г.

Загад

Сувязі не было ўжо дваццаць хвілін.

Дваццаць хвілін тэлефаніст Пятрашкін, сагнуўшыся ў куце бліндажа над палявым камутатарам, то патрабавальна, то ласкава, то звонкім хлапечым крыкам, то шэптам паўтараў у запацелую трубку самы патрэбны цяпер у свеце пазыўны – «Клён». Але «Клён» маўчаў, загадкава стаіўшыся недзе на другім канцы провада. Затое суседні на камутатары клапан з карандашным надпісам «Волга», амаль не закрываючыся, ліхаманкава дрыжаў: д-р-р-р-р, д-р-р-р... Да самага нутра працінала Пятрашкіна гэтае дрынканне, і ён раз-пораз таропка пераключаў штэпсель і ад прыкрасці так сціскаў у азяблым кулаку трубку, што аж бялелі суставы на пальцах. Прыгнечаны ўласным бяссіллем, тэлефаніст з маўклівай пакорнасцю слухаў далёкі сярдзіты голас дваццаць першага – іхняга камандзіра палка:

– Чорт вазьмі, калі вы дасце «Клён»? – хрыпеў у трубцы яго нягучны суровы бас. – Дзе начальнік сувязі?

Капітан Полазаў не чуў таго, але па нейкай аднаму яму вядомай прыкмеце здагадваўся, што яго патрабуе камандзір, і, прысеўшы ля Пятрашкіна, валасатай кастлявай рукою браў трубку. Яго дужа худы, немалады ўжо, вельмі строгі і заклапочаны твар сцяўся ў прадчуванні нейкай суровай непазбежнасці.

– Ёсць, таварыш дваццаць першы! Загад будзе выканан – сувязь будзе, – спакойна і цвёрда казаў капітан, і Пятрашкін, сцяўшы ўсё цела ад восеньскай сцюжы і ад гэтага нязбыўнага клопату, глядзеў, як яшчэ болей хмурнелі капітанавы запалыя вочы.

Сувязь была неабходна – толькі яна магла выратаваць полк ад той страшнай бяды, якую неслі фашысцкія танкі, прарваўшыся аднекуль з фланга ў палкавыя тылы. Недалёка недзе з імі змагалася транспартная рота і каменданцкі ўзвод, але Пятрашкін, заняты камутатарам, не бачыў і не чуў тае бойкі, – ён толькі адчуваў спіною, як уздрыгвала ад выбухаў зямля. Часам яна скалыналася так моцна, што з дзіркі на сярэдзіне жывым струменем сыпаўся пясок, і ў куце, дзе стаяла падпорка, каціліся каменьчыкі і ўсохлыя камякі гліны. Пятрашкін за невялікі тэрмін свайго франтавога жыцця яшчэ не меў такога пераплёту і цяпер вельмі пакутаваў і ад страху перад нямецкімі танкамі, і ад суровых патрабаванняў камандзіра палка, і ад напружанага чакання, калі, нарэшце, адновіцца сувязь і адгукнецца тая батарэя, на якую цяпер была ўся надзея.

Апрача Пятрашкіна і начальніка сувязі, у гэтым адбітым у немцаў бліндажы з перацёртай саламянай трухой у доле быў яшчэ яфрэйтар Бутэнка – камлюкаваты маўклівы дзяцюк у вайсковым бушлаце з павырыванымі гузкімі. Ён выглядаў зайздросна спакойна ў гэты крытычны час і, падпёршы спіною сцяну, усё цмыгаў тоўстую, з палец, самакрутку, да якой меў, здаецца, адзіную ў жыцці ахвоту. Быў тут яшчэ і высокі, чубасты прыгажун сяржант Сімакоў – першы радыст палка, вельмі паважаны ўсімі сувязістамі і нават самім камандзірам, які, заходзячы на вузел сувязі, заўжды вітаўся з сяржантам за руку. Цяпер Сімакоў быў без справы, бо ўранку выбухам міны пашкодзіла яго рацыю і смяротна параніла ягонага напарніка Васю Болзіна. Чарнеючы з твару ад гэтай двойной страты і сённяшніх няўдач, ён з адчайным пакутніцкім выглядам стаяў у траншэі ля ўваходу ў бліндаж і сачыў за ўзгоркам, на якім недзе здарыўся парыв і куды пабег ужо тэлефаніст Айбекаў.

– Эх, с-сабака, так і садзіць, так і садзіць... Аблажыў разрывамаі навокал... Эх, Айбекаў!..

Капітан Полазаў у той час круціў другі апарат і спакойна, нібы нічога небяспечнага нідзе не сталася, загадваў некаму звязацца з «Клёнам» праз нейкую «Зіму», што –

памятаў Пятрашкін – значылася ў спісе пазыўных штаба дывізіі.

Быў у гэтым бліндажы і яшчэ адзін чалавек – малады, пэўна, Пятрашкіных год афіцэр у караткаватым новым шынялі, з тонкаю доўгаю шыяй, якая смешна вытыркалася з вялікага каўняра гімнасцёркі. Ён то падыходзіў да камутатара, то мацаў вывады правадоў, зазямленні, то, услухоўваючыся ў рознагалоссе блізкага бою, невясёла пазіраў на маўклівага, заклапочанага капітана. Пятрашкін не ведаў ні яго прозвішча, ні пасады, ён толькі бачыў учора, як надвячоркам з’явіўся гэты малодшы лейтэнант на іхнім вузле сувязі.

Пятрашкін тады, як і цяпер, абслугоўваў камутатар, і, чакаючы, пакуль Айбекаў прынясе вячэру, быў вельмі чуйны не толькі да сваёй трубка, але і да крокаў у траншэі. Таму ён адразу павярнуўся да дзвярэй, калі пачуў там нечыя рухі, і ў незавешаным праходзе ўбачыў спярша незнаёмыя кірзавыя боты, пасля – полы зусім яшчэ новага шыняля. Неўзабаве, згорбіўшыся пад нізкай столлю, у бліндаж улез малады кірпаты вайсковец, падпяразаны жаўтавай зусім не пашарпанай папругаю, у суконнай пілотцы, залатых пагонах з адной зорачкай у прасвеце і сувязісцкай эмблемай ля гузіка. Пэўна, дрэнна бачачы ў прыцемках бліндажа, афіцэр спыніўся на парозе і запытаў:

– Начальнік сувязі тут?

Пятрашкін, усё разглядваючы незнаёмага, моўчкі кіўнуў галавой у бок капітана, які, прымасціўшыся на катушцы чырвонага трафейнага кабелю, маляваў схему сувязі. Афіцэр тады саскочыў з парога і, шчоўкнуўшы абцасамі, размашыста дзеўбануў кончыкамі пальцаў у край пілоткі:

– Таварыш капітан, малодшы... – і чамусьці змоўк, бы заікнуўся, і праз момант ужо іншым голасам, спалоханым і ўзрадаваным адначасова, ускрыкнуў:

– Ой, Іван... ты?

Пятрашкін, апусціўшы ад вуха трубку, крутнуўся быў ад свайго камутатара, чакаючы, што строгі, зусім не на-строены жартаваць капітан што-небудзь крыкне на гэтага дзівака-лейтэнанта, які так спляжыў свой службовы дак-

лад. Але капітан Полазаў не крыкнуў, у яго шырока раскрытых вачах адбілася здзіўленне, і, стросшы з кален паперы, з расшпіленай на баку сумкай, ён ускочыў насустрач.

– Аркадзь!? Адкуль? Як жа гэта?– разгублена казаў ён, абхапіўшы таго за плечы і ўзіраючыся ў яго радасны твар.

– Ды вось прыбыў, – збянтэжана адказаў малодшы лейтэнант. – З вучылішча вось... Скончыў ужо. Прыехаў у дывізію, пасля сюды...

– Глядзі ты!.. Вось нечаканасць! – усё здзіўляўся начальнік сувязі, і Пятрашкін падумаў, што гэты афіцэр нейкі, відаць, знаёмы капітана Полазава.

Так яно, бадай, і было.

Увечары тады стала зацішна, мінамётныя выбухі змоўклі, толькі недзе за пагоркам у напрамку трэцяга батальёна трашчалі «МГ» і нашы «максімы» ды ўзляталі ў чорнае неба імклівыя хвасты ракет. Рухавыя зеленаватыя водбліскі мільгалі па сценах бліндажа, на брустверы траншэі, дзе доўга сядзелі гэты малады афіцэр і начальнік сувязі. Яны ўсё гутарылі і гутарылі аб нечым – ціха ўспаміналі далёкія даваенныя часы, нейкі горад, незнаёмых людзей, чужое, невядомае Пятрашкіну жыццё. Пятрашкін вельмі хацеў спаць і драмаў неўпрыцям між тэлефонных званкоў і дрыскання клапанаў, і, дрэмлючы, усё слухаў ці мо сніў нават тыя размовы. Здаецца, афіцэры так і не паспалі да ранку, а на світанні здарылася вось гэтая бяда з танкамі.

– Эх, гады, накрылі! Накрылі нашага Айбекава! – амаль залемантаваў у траншэі Сімакоў. – Упаў!.. Устае... Не, усё! Ляжыць!

Туды, у траншэю, у прадчуванні нядобрага падаліся капітан, малодшы лейтэнант; нават Бутэнка і той няспрытна ўзняўся з-пад сцяны і палез у дзверы. Утрох яны нейкі час тапталіся ў вузкай цеснаце траншэі і з прытоенай трывогай на спахмурнелых тварах усё ўзіраліся туды, дзе здарылася ліха з Айбекавым. Пятрашкіну таксама хацелася зірнуць на той здрадлівы пагорак, але зноў зазваніла «Волга», і тэлефаніст у трубцы спытаўся пра сувязь.

У той крытычны момант узрушаны нецярплівы Сімакоў вылаяўся, махнуў рукою, нібы з усяе сілы разбіваючы што аб зямлю, і коратка гукнуў начальніку сувязі:

– Дайце я!

Не чакаючы дазволу, ён хуценька скінуў дзягу, дрыжачымі рукамі здэў з сябе цесны шынель і, як апантаны, ускочыў на бруствер.

– Сімакоў, глядзі ж! – крыкнуў наўздагон капітан. Ён, відаць, шкадаваў гэтага радыста і хоць якой-небудзь парадай хацеў засцерагчы сяржанта ад той небяспекі, што на ўзгорку чакала яго.

Зноў пацягнуліся марудныя хвіліны чакання. Пятрашкін усё падзьмухваў у трубку, спадзеючыся злавіць хоць якія-небудзь прыкметы сувязі, але нават мадуляцыі не было паранейшаму. За спіной, недзе ў зямной далечы, таўкліся і гудзелі выбухі, нешта калацілася і стагнала – здавалася, нейкі падземны асілак варочаецца там і злосна бурчыць, ніяк не знаходзячы сабе зручнага месца. Гукаў і нейкіх невыразных рухаў там стала болей, чуўся ўжо і грукат матораў, нейкі далёкі цягучы гул. Пясок з дзіркі ўжо сыпаўся няспынна – бы танюткі вадзяны струмень, цурчэў і цурчэў у саломе.

Пятрашкін так і не ўбачыў, што сталася з Сімаковым, толькі маўклівы і напружаны капітанаў твар балюча тузаноўся, і афіцэр непрывычна злосна і распачна вылаяўся. Далей ён, ужо не стрымліваючы свайго хвалявання, зычным, нейкім чужым голасам, ад якога аж здрыганулася ў Пятрашкіна трубка, скамандаваў яфрэйтару:

– Бутэнка – упярод!!!

Пятрашкін і здзівіўся, і спалохаўся – яшчэ ні разу не чуў ён такога камандзіравага вокрыку і поўнымі жаху вачыма глядзеў на капітана. Бутэнка нібы змярцвеў у сваёй флегматычнай нязрушнасці, толькі яшчэ вузей прыжмурыў заўсёды заспаных вочы. Пасля некалькі разоў, часцей чым звычайна, ён цмыгнуў напаследак свой тоўсты недакурак, прыпасліва сунуў яго ў пілотку і, зняўшы з рэменя аўтамат, нібы на якую будзённую справу, нязграбна вылез з траншэі. На бліндажы пратупацелі яго цяжкія

крокі; пэўна, скрануты імі, з кута на вечка камутатара ўпаў і рассыпаўся камячок усохлай зямлі.

У траншэі ля ўваходу засталіся двое. Капітан Полазаў, сутаргава ўчапіўшыся пальцамі ў бруствер, упіваўся вачыма ў далячынь, куды бег Бутэнка. Побач, плячо ў плячо, стаяў гэткі ж маўклівы малодшы лейтэнант – ён, відаць, хваляваўся і, ледзь стрымліваючыся, кусаў свае пабялелыя тонкія вусны.

Пятрашкін ужо не слухаў тэлефонных званкоў, ён быццам глух да свайго камутатара, уся яго ўвага сыйшлася цяпер на твары яго камандзіра. У паветры тым часам усё большала грукату, угары нешта скавытала, мінныя выбухі траслі, калацілі зямлю, – там, на пагорку, Бутэнку, відаць, было вельмі нялёгка. Скамянелы капітан з высунутым наперад касцістым падбародкам, жылістай шыяй і імклівым разлётам валасатых броваў здаваўся чужым, інакшым, загадкавым чалавекам. Але вось раптам дрыгнула тое яго брыво і ў вачах мільгануў знаёмы цень злосці. Пятрашкін ураз здагадаўся, што недзе там здарылася новая бяда, і аж прыўзняўся на каленях, чуючы сваю чаргу на страшную і немінучую справу. Бы спружына, туга сцяўшыся, баючыся таго і чакаючы, ён гатовы быў рынуцца туды, дзе ўжо зніклі трое яго таварышаў, – трэба было толькі першае камандзірава слова. Аднак капітан глуха і прыдушана, але па-ранейшаму няўмольна і сурова загадаў:

– Малодшы лейтэнант Полазаў! Даць сувязь!

Малады афіцэр зябка перасмыкнуў плячыма, неяк бокам зірнуў на капітана, бы хацеў што сказаць, але не сказаў нічога. Затое ў вачах яго занялася такая невыказная туга, што нават Пятрашкіну ў бліндажы чамусьці стала кепска. Аднак капітан, здаецца, не прыкмячаў таго, – строгі і зацяты, ён чакаў ад афіцэра выканання загаду і знарок не пазіраў на яго. І малодшы лейтэнант пасля нядоўгай маўклівай паўзы натрэніраваным спрытным рыўком ускочыў на бруствер. У вузкай шчыліне дзвярэй мільганулі і зніклі яго новыя кірзавыя боты з радамі нестاپтаных шыпоў на гумавай падэшве.

Застаўшыся адзін у траншэі, капітан неяк размяк тварам, страціў сваю суровую зацягасць – няўтоеныя распач і боль скрывілі яго пакутныя рысы. Нешта жаласнае авалодвала ім, у незразумелай Пятрашкіну знямозе ён усё болей схіляўся на бруствер, нібы імкнучыся за тым, каго толькі што паслаў на страшную справу.

– Правей, правей бяры! – крычаў ён услед малодшаму лейтэнанту.

Пятрашкін не ведаў, як бег той малады афіцэр, але, пэўна не так, як трэба было, бо капітан у пыл расціраючы пальцамі груды, толькі скрыпеў зубамі і шаптаў, ужо не маючы надзеі, што яго пачуюць:

– Аркадзь, правей! Правей, браточак!.. Эх!..

Учуўшы гэты распачны шэпт, Пятрашкін раптам усвядоміў, што таго малодшага лейтэнанта капітан таксама назваў Полазавым. Маладога тэлефаніста гэта яшчэ болей уразіла – ён адчуваў ужо, што тут здарылася нешта драматычнае, якое цяжка было зразумець зараз, і толькі вельмі хацелася, каб хоць не напаткала гэтых людзей якое няшчасце. І напяўшыся ўвесь, з прыкладзенай да вуха трубкай, ён выцягнуўся, як і капітан, і, баючыся міргнуць, глядзеў на скрыўлены балючай грывасай твар камандзіра.

А там, недзе ў адкрытай восеньскай далечы, усё раўло і грывела. З шэлегам, шоргатам і віскам імчалі ў паднябессі снарады, вухала, ахала, стагнала зямля. Тэлефаніст з «Волгі» ўсё патрабаваў сувязь з «Клёнам», але Пятрашкін ужо не адказваў яму.

І тое, чаго так чакаў і баяўся Пятрашкін і ад чаго камянеў капітан, здарылася. Ад таго страшнага відовішча Полазаў раптам абхапіў твар рукамі, застагнаў і хіснуўся. Пятрашкін, мярцвеючы ад жаху, кінуў трубку і памкнуўся да камандзіра, але той зараз жа выпрастаўся і сустрэў тэлефаніста ўжо ўладарным суровым позіркам страшных, нейкіх ашклянелых вачэй.

– Назад! – крыкнуў ён. – Трымаць сувязь!

А сам, як і нядаўна Сімакоў, расшпіліў дзязгу, скінуў сумку, шпурнуў у траншэю шынель і ў адной гімнасцёрцы з ордэнамі на грудзях кінуўся ў грывліваю прастору поля.

Застаўшыся адзін, Пятрашкін раптам адчуў, як у яго душу хлынуў страх. Прыкуты да сваіх абавязкаў, ён не бачыў, што адбываецца наверху, не ведаў, дзе былі тры танкі, што нарабілі бяды, ён адчуў сябе слабым і пакінутым. Але нядаўні прыклад яго таварышаў, яшчэ не ўсвядомлены і не зусім зразумелы ўчынак капітана прымушалі сувязіста пераборваць страх і трываць. Ён ужо не зважаў на дрынканне «Волгі», уключыў і не вымаў штэпселя з «Клёна» і слухаў, слухаў. І ад напружанага жадання пачуць яму часам нават здаваўся невыразны пошчак кантактаў, здавалася, вось-вось загамоніць адтуль далёкі голас, але ішоў час, і ўсё заставалася па-ранейшаму.

Урэшце, не могучы зносіць неведомасці і чакання, тэлефаніст паклаў на салому трубку і выскачыў з бліндажа. У якім кіламетры на ўзараным касагоры пыхкалі і пыхкалі зусім неяк нястрашныя здалёку кусцістыя выбухі мін. Увесь схіл пагорка быў падзеўбаны іх чорнымі, падобнымі адна на адну плямамі, і сярод іх Пятрашкін убачыў маленькага ўдалечыні, неяк дзіўна павольнага і мізэрнага капітана Полазава. Ён, відаць, знайшоў канцы перабітага кабеля і, схіліўшыся, з усяе сілы сцягваў іх з пагорка, далей ад гэтага няспыннага скоку смерці. Наперадзе, ззаду і з бакоў афіцэра ўсё пырскалі, бы прарываліся з-пад зямлі, выбухі мін, а ён, не зважаючы на гэта, рабіў сваю справу. Пятрашкін, глядзячы на яго ў той час, чамусьці не адчуваў ужо страху за сваё жыццё – яго апанавала прагнае, неспатольнае жаданне, каб хоць як-небудзь абмінула афіцэра бяда, дала зрабіць тое, што цяпер было важней за жыццё чалавека.

Але, відаць, немагчыма было доўга ўцалець у гэтай віхуры выбухаў, і неўзабаве тое непазбежнае спасцігла і капітана. Ужо амаль у самым нізе пагорка пырснуў і затуліў чалавека шырокі, клубчасты куст выбуху. Пятрашкін схладзеў увесь і некалькі бясконцых секунд чакаў, пакуль асядзе пыл і зямля, і тады на краі новае чорнай плямы паказалася нешта жажлівае, што засталася ад начальніка сувязі.

У тое імгненне тэлефаніст адчуў, што настала і яго чарга. «Волга» ў камутатары злучана з «Клёнам», калі адновіцца лінія, яны адразу звязуцца, а калі не... калі не, дык і ён тут усё роўна ўжо не будзе патрэбны. Натхнёны магутнай сілай яшчэ не выкананага загаду, ён абапёрся рукамі на бруст-вер і скочыў угору.

І тады ў бліндажы настойліва і гучна зазваніў апарат.

Не адразу нават уцяміўшы, што здарылася, павіснуўшы жыватом на краі траншэі, Пятрашкін нейкі час нерухома слухаў залівісты выклік і потым кінуўся да камутатара.

— «Рэзда», «Рэзда», як чутна?.. Дзе вы там прапалі?.. Гаворыць «Клён»...

Тэлефаніст зразумеў, што гэта выратаванне, і амаль фізічна адчуў, як упала з яго душы палова вялізнага гора. Шчыльна сцяўшы дрыготкія вусны, ён таропка злучыўся з «Волгай» і пасля, крыху перасіліўшы сябе, закрычаў у запацелую ля рота трубку:

— «Волга», «Волга»... перадайце дваццаць першаму, іх загад выканан... Сувязь ёсць! Ёсць сувязь! Гаварыце з «Клёнам»... Што? Начальнік сувязі?.. Няма ўжо начальніка сувязі... Няма нікога... Гаварыце з «Клёнам»...

1958 г.

На сцяжыне жыцця

Дзверы былі старыя, высокія і цяжкія. Адчыніўшыся нават на вузенькую шчылінку, яны незадаволена, спаважна рыпелі: «хр-р-р-р-ы-іп» – быццам пратэставалі супраць парушэння іх старэчага ляютнага спакою. Фрузына некалі змазвала іх адмысловыя паржавелыя завесы, але дзверы, счакаўшы дзень-другі, зноў упарта пачыналі свой надакучлівы хрып. І яна спакваля прывыкла да гэтага іх голасу, таксама, як і да выгінастых медных ручак-поручняў, за якія было няспрытна брацца, як і да сваіх нескладаных абавязкаў вахцёркі. Дый дзіва было не прывыкнуць, калі мінуў ужо шосты год, як упершыню села яна за невысокай фанернай перагародкай у куце ля дзвюх доўгіх вешалак ды толькі і ведала – глядзець, каб хто не вынес з будынка які ўстаноўскі набытак.

Два разы ў дзень – уранку і ўвечары – таропка тупаючы па прыступках на ганку і ў вестыбюлі, адзін за адным яе міналі супрацоўнікі ўстановы – занятыя справамі, заклапочаныя, сур'ёзныя людзі. Яна ведала ўсіх і, нават заплюшчыўшы вочы, магла ўгадаць кожнага па яго кроках, па тым, як ён адчыняў ці зачыняў дзверы або ішоў па лесвіцы. З'яўленне дырэктара Івана Кузьміча Фрузына пазнавала па яго аўтамабілю, які заўсёды раптоўна паяўляўся за акном насупроць установы. Яна чула кароткі пошчак дзверцаў машыны, а затым праз нейкі час з працяжным асаблівым скрыпам адчыняліся вялікія дзверы і ўваходзіў ён. Ён быў вялізны, тоўсты і надзьмуты з твару, яго вельмі паважалі ўсе, а Фрузына баялася і таму першая казалася «дзень добры». Іван Кузьміч чамусьці заўсёды незадаволена падціскаў ніжнюю губу і толькі адным ледзь прыкметным рухам правага брыва адказваў на яе прывітанне.

Пяць год узпар па два разы ў дзень Фрузына бачыла яго толькі такім, інакшым яго не ўяўляла – ён быў для яе загадкавы і далёкі.

Гэткім жа далёкім і незразумелым быў яшчэ таварыш Петрачэнкаў – вельмі худы, жоўты і надзвычай старанна апрануты чалавек. Фрузыне часам здавалася, што, апроч як выстаўляць напаказ свае адмысловай прыгажосці гарнітуры, паліто і паўпальткі, ён не меў інакшых абавязкаў у жыцці. Паводзачы сюды-туды маленькай лабастай галавою, Петрачэнкаў праз тоўстыя шкельцы акулераў усё аглядаў свае плечы, рукавы, грудзі і тонкімі худымі пальцамі страсаў нябачныя парушынікі. Заўсёды ён быў заняты сабою, болей амаль нікога не прыкмячаў і рэдка калі вітаўся з Фрузынай.

Жанчын ва ўстанове працавала нямнога, і сярод іх самай прыкметнай была Нонка, маладая жонка немаладога і несімпатычнага намесніка дырэктара Дубчанкі. Зранку, калі пачыналі рыпаць дзверы, яна чутна была яшчэ здалёк, яшчэ з вуліцы, калі, дробна тупаючы абцасікамі па шматлікіх прыступках, узбягала на ганак. Маладзіца ўмела спрытна шыгнуць у дзверы, здаецца, амаль не расчыняючы іх, заўсёды спазнялася, заўсёды спяшалася, але ніколі не прамінала ветліва ўсміхнуцца вахцёрцы. Фрузына з прытоеным замілаваннем глядзела ўслед: Нонка падабалася ёй, падабалася, як малодшая сястра, як прывабная і недасяжная жаночая прыгажосць.

Яшчэ нешта прыхільнае ў сэрцы вахцёркі было да інжынера Шаўрова – простага, вясёлага і гаваркога чалавека. Зранку ў гэтым вестыбюлі ён звычайна з'яўляўся першы, бо жыў тут недалёка, за рагом ля аўтобусага прыпынку. Па-гаспадарску прыстукнуўшы дзвярыма і выпіраючы аб дарожку падэшвы, ён жартоўна кідаў жанчыне:

– Привет, Фруза! Як жысць маладая?

Яна стрымана ўсміхалася, сарамліва, па-дзявочы азірала яго паўнаватую, у шэрым гарнітуры, постаць і апускала вочы. Здавалася Фрузыне, што інжынер бачыў у ёй нешта патаемнае, захаванае, у чым яна неахвотна прызнавалася нават самой сабе, і ад таго ёй рабілася няёмка.

— Не смуткуй вельмі — не бяда. Вось падшукаем табе жаніха, адгрукаем вяселле, і будзеш жыць-пажываць ды дзяцей нажываць,— казаў ён, узбягаючы па прыступках, азіраючыся і заўзята смеючыся шэрымі жвавымі вачыма.

Фрузына апускала вочы, разгладжвала на каленях спадніцу, а потым уздыхала і доўга пазірала ў акно.

Яна была адзінокая, працавітая жанчына, што не зведала ні ласкі, ні якой блізкай чалавечай спагады ў жыцці. Адзінай даступнай для яе радасцю была радасць працы. Яна працавала з маленства, як толькі пачала памятаць сябе, а можа, нават і раней. Няньчыла братоў і сястрычак, пасвіла жывёлу, пасля жала, касіла, арала, секла дровы. У маладосці яна магла падняць шасціпудовы мех збожжа, усцягнуць на зруб бервяно, забратаць бадлівага быка. Праца зрабіла яе моцнай, каржакаватай, засцерагала ад хворасці, загартавала да нягодаў жыцця, але жаночай прывабнасці, таго нечага патрэбнага і незаменнага, што вабіць мужчын, у яе, відаць, не было. Міналі гады, яе сяброўкі павыходзілі замуж, мелі дзяцей, а яна ўсё заставалася ў дзеўках і пакрысе старэла.

Адзінокае жыццё прывучыла яе многа думаць, пільна прыглядацца да людскіх адносін і спраў. Часта ёй здавалася, што людзі бываюць несправядлівыя да саміх сябе, не цэняць, не бачаць тое вялікае ў жыцці, што так цаніла і чаго доўгія гады прагнула яна.

З ёй разам працавала вахцёркай Драздова — сярдзітая, знерваная, абсыпаная дзецьмі нестарая яшчэ кабета. Заўжды яна была незадаволеная, раздражнёная, лаяла ўвесь свет і асабліва свайго мужа Арцёма, маўклівага падатлівага цесляра з будтрэста. Зрэшты, гэтак жа груба ставілася яна і да дзяцей — усё крычала і скардзілася, што гэтая сям'я спаракніла яе маладосць. Фрузына, бываючы часам ва ўстанове ў яе дзяжурства, моўчкі без спачування слухала яе нараканні на шматлікія турботы жыцця і думала, што гэтая жанчына проста не бачыць свайго вялікага неацэннага шчасця. Нават маленькая частачка з таго, што гэтак дапякала Драздовай, магла б ашчаслівіць Фрузыну. Яна ніколі не лаяла б мужа за тое, што той з палучкі прапіў з

таварышамі якую дзiesiąтку, што ён шмат курыць ці часам запозніцца з працы. Яна не сварылася б на дзяцей, маленькіх пяці-сямігадовых карапузаў, калі тыя, несучы маці на працу сняданак, зазяваюцца на вуліцах і астудзяць ежу. Яна вельмі б даражыла гэтым ціхім маленькім шчасцем, калі б толькі яно было ў яе. Але ішлі гады, і ніхто яшчэ не сказаў ёй ніводнага слова пяшчоты, усе былі заняты сваімі справамі, сем'ямі, і радасць толькі мроілася ў яе далёкіх, недасяжных марах.

Яна часта казала людзям і самой сабе: кожнаму сваё, што каму на раду напісана, таго не мінеш. І яна пакрысе прывыкла да адзінокага лёсу немаладой бабылкі, цешыла сябе людскім шчасцем, радавалася чужой радасцю і бедавала з чужых бедаў. Свайго – ні добрага, ні благога, ні асаблівых трывог – у яе не было.

Так яна пражыла б да канца сваіх дзён, каб не тыя акалічнасці лёсу, што нарыхтавалі нечаканы паварот на яе сцяжыне жыцця.

Аднойчы ўжо глыбокай снежнай зімою, седзячы ля тых вялікіх дзвярэй, яна запрыкмеціла, як у адным месцы рассохліся старыя філёнкі, утварылася шчыліна, у якую прадзімае вецер. Жанчына прыбрала з прыпола клубок з неадвязанай рукавіцай і праз чорны ход пад лесвіцай выйшла на панадворак. Тут быў гараж, у вялізных адчыненых варотах стаялі машыны, і Фрузына хацела ўбачыць каго са знаёмых шафёраў, каб папрасіць пакулля.

Аднак знаёмых нідзе не было. Параскіданыя ля гаража на ўтапаным, заплямленым снезе валяліся цяжкія скаты, скрынкі, бочкі. Гарластая шафёрская братва падалася, відаць, у сталоўку, толькі ў апошніх дзвярах чуўся бразгат жалеза. Схаваўшы ў кішэнькі ватоўкі астылыя на марозе рукі, Фрузына нясмела падышла да гэтых дзвярэй і спынілася. У машыне з задраным угору капотам, перагнуўшыся цераз радыатар, калупаўся незнаёмы, нядаўна прыняты на працу шафёр, і яна звярнулася да яго з нясмелай сваёй просьбай.

Шафёр не адразу адказаў ёй, спярша прыкруціў у маторы нейкую трубку, пасля выпрастаўся, узняў да яе не-

малады ўжо, не дужа часта голены, замурзаны твар, выцер ватнім рукавом успацелы лоб і спытаўся:

– Гэта куды? А, да дзвярэй. А што, некаму паправіць? А заўхоз дзе?

Ён казаў гэта грубавата, як чалавек, якому замінаюць, у якога безліч сваіх пільных спраў, і яна ўжо пашкадавала, што звярнулася да гэтага малазнаёмага шафёра. Але затым ён саскочыў з высокага буфера, узяў нешта ў кабінэ і, упэўнена ступаючы шырокімі падэшвамі падшытых валёнак, накіраваўся ў будынак.

– Ану, дзе, паказвай.

Яна паказала тое месца, шафёр, усё нічога не гаворачы, нешта прыстукнуў, нешта прыціснуў, забіў цвік і напаследак грукнуў кулаком у счарнелыя філёнкі.

– Ну вось, парадак. Цяпер не прадзьме.

Яна стала дзякаваць яму, ды за адным разам паскардзілася, што пад акном падцякае батарэя, надакучыла ўжо выціраць анучай, што колькі ўжо прасіла заўхоза, але таму не даходзіць, усё болей швэндаецца па піўных, без ста грамаў не падступішся. Дастаючы закурку, шафёр слухаў, глядзеў на яе сур'ёзным няласкавым позіткам і, зацягнуўшыся разы два, паабяцаў:

– Ладна, паправім. Цяпер няма калі, а пасля абеду папраўлю. Напомніш, цётка.

Напаследак ён, здаецца, усмінуўся ледзь-ледзь, аднымі толькі куточкамі вачэй і, пакінуўшы ў вестыбюлі моцны, непрывычны тут пах махоркі, выйшаў. Ёй чамусьці адразу зрабілася вельмі самотна адной і захацелася яшчэ зірнуць у акно, як ён, няспешна тупаючы па снезе, ішоў да сваёй машыны.

Батарэю ён адрамантаваў, праўда, не пасля абеду, а на другі дзень і зноў, закурваючы, спыніўся ля Фрузыны, пазіраючы, як спрытна мільгаюць у яе руках сталёвыя пруткі і ўвачавідкі даўжэе, расце рукавіца.

– Ладныя рукавіцы будуць, – сказаў ён і, злёгка ўсміхаючыся, з цыгаркай у руцэ, быццам ад сцюжы, пацёр свае шырокія парэпаныя далоні.

Фрузына вязала рукавіцы на рынак, дзе патроху прадавала ў нядзелю, і цяпер адчула, што за ягоны клопат нечым абавязана гэтаму чалавеку.

– А што, падабаюцца? – спытала яна і нясмела ўзняла вочы. – Можа, звязаць вам, калі не маеце?

– Не, дзякуй, – сказаў шафер. – Што толку з іх – на адзін рэйс. Каб тут якія скураныя і то – на тыдзень, не болей.

Яны зноў разышліся, і зноў Фрузыне стала ніякавата адной – хацелася яшчэ пагаманіць з гэтым зважлівым чалавекам, але жанчына ведала, што яна нецікавая, дык ці будзе ён бавіцца з ёю?

Можа, праз тыдзень ці болей пасля гэтай размовы Фрузына ўжо ўпрыцемкі вярталася з працы дадому. Яна жыла на самым ускрайку горада, ля шашы, у цесным кутнім пакойчыку дашчанага, пракуранага вугальным дымам барака. Каб дабрацца сюды з цэнтра, ад яе ўстановы, трэба было, два разы перасаджваючыся, ехаць аж на трох аўтобусах, а пасля яшчэ з кіламетр абходзіць пустку. Зімой, праўда, можна было сцяжынкай перайсці цераз роў з замёрзлаю ручаінай і такім чынам зрэзаць добры крук дарогі.

Яна ўжо выбралася з рова, выйшла на агароды і набліжалася да шашы, цесна атуленай дамамі гэтай ускраіннай вуліцы.

Тым часам добра сцямнела, чорнае, без зорак неба мяккім змрочным полагам вісела ўгары, на снезе, у нясмелых паўзмроках чарнелі навокал будынкі, дрэвы, невыразныя плямы зямлі. Снег быў мяккі, мароз адпусціў нанач, бралася на адлігу, і было золка.

Жанчына зранку не была дома і цяпер спяшалася – на сконе дня прывычна вабіла хатняе цяпло, спакой і адпачынак. У кірзавай чорнай сумцы яна несла з сабою небагаты харч – хлеб, селядзец, кілаграм круп [–] і ўсё гадала, каб як абысціся гэтым якіх два ці тры дні і зэканоміць на дровы.

На шашы яе асляпіла святлом фараў, абдало грукатам і лязгам імклівых аўтамабіляў. Якраз у тым месцы, дзе яна заўсёды зварочвала з дарогі на сцяжынку да свайго дома,

нерухома стаяла машына. Фрузына не стала звяртаць на яе асаблівай увагі – ці мала машын спыняецца на шашы – пастаяць, шафёры зробіць што трэба і паедуць далей. Жанчына ўвайшла ў сенцы, намацала ў кішэні ватоўкі ключ, адамкнула дзверы. У пакойчыку было холадна – ужо два дні яна не паліла грубка, пахла нечым неабжытым і пакінутым. Чагосьці тут не хапала ў гэтай кватэры, хоць і было ўсё прыбрана – і вузкі ложка з высока падбітай падушкай і лебедзямі на тайным дыванку на сцяне, і вымытая падлога, засланая наўскасяк палавічком, і накрыты марляю посуд на невялічкім століку. Яна прыслухалася – суседзяў штось не чуваць было. Распрануўшыся, жанчына адчула холад і падумала, што трэба было б прапаліць у грубцы, каб былі насечаны дровы.

У гэты час у дзверы пастукалі.

Да яе рэдка калі хто заходзіў, і кожны раз на стук Фрузына насцярожвалася. Але не паспела яна што адказаць, як дзверы адчыніліся і ў пакой увайшоў апрануты ў паўшубак чалавек. Не зважаючы на зіму, ён быў увесь расхлістаны – і паўшубак, і кашуля, і шапка, ссунутая на патыліцу, з рота вырывалася бачная на холадзе пара. Яна адразу пазнала – гэта быў яе нядаўні знаёмец, іх шафёр. Прыжмурыўшыся ад яркага святла, ён пераступіў з нагі на нагу і, відаць, не пазнаючы жанчыны, загаварыў:

– Добры вечар, гаспадыня. Ці не паможаце ў бядзе, так сказаць? Ліха на яе, машына занаравілася – аднаму не справіцца.

Фрузына ўжо развязала хусцінку, але зноў чамусьці пачала закручваць на шыі рагі, пазірала на чалавека, як ён не дужа ёмка таптаўся ля парога, і сэрца жанчыны ў нейкім недарэчным прадчуванні хутчэй затукала ў грудзях.

– А што здарылася? – як мага спакойней спыталася Фрузына.

– Э, – здзівіўся шафёр, прыгледзеўшыся і толькі цяпер пазнаючы яе. – Гэта вы? Тут жывяце?

– Ды тут. Вось прыйшла толькі.

– А я гляджу – святло загарэлася, думаю, дай пастукаю, – казаў ён ужо больш упэўнена і з прыкметнай

іскрынкай радасці ў голасе. Адталымі пляскатымі валёнкамі прагінаючы маснічыны, ён адышоў ад парога. — Чорт бы яе ўзяў, шафёрскую долю. У Мінск ездзіў учора, праз ноч туды, цяпер адтуль, і вось не дацягнуў — кандэнсатар прабіла. А тут адзін, машыну не кінеш і завесці нельга — хоць плач. Можа б, вы паглядзелі, каб не чапаў хто? Ці, можа, у гараж падскочылі б, там у хлопцаў ёсць запасныя. А то проста бяда...

Яна, усё яшчэ недарэчна хвалюючыся, запрашала шафёра прысесці, пагрэцца, казала нешта пра холад у пакоі — не паспела насекчы дроў, а сама тым часам апранала ватоўку, гатовая ўслужыць чалавеку.

— Што ж, калі трэба, дык трэба. Я хутка, аўтобусам. Але як яе, гэтую частку?

— Кандэнсатар, там у Змітрукова ці ў Цярэшчанкі спытаеш — дадуць, — казаў ён, выпраўляючыся за ёю. — Я і сам збегаў бы, ды груз у машыне, на шашы ўсё ж.

У яго голасе чулася вінаватасць за тое, што турбуе, ён збіраўся выйсці следам, але яна запрапанавала:

— А вы нішто, не турбуйцеся. Пагрэйцеся тут. Калі што, дык у акно відаць.

Ён падзякаваў і застаўся, стомлена апусціўшыся на лаўку ля акна, а яна, на хадзі зашпільваючыся, падалася ў горад — трэба было спяшацца, каб не зачынілі гараж.

Кандэнсатар Фрузына адразу ж дабыла ў Змітрукова, ён аказаўся маленькай лёгкай штукавінай, але часу на абодва канцы шляху ўсё ж мінула нямала. Калі яна зноў адчыніла свае дзверы, святло ў пакоі было выключана, пэўна, каб лепей бачыць у акно. У расчыненай грубцы, пырскаючы іскрамі, трашчалі сукаватыя смалякі, што нерассечаныя гады два валяліся на панадворку, а побач, на табурэтцы, змораны, аблакаціўшыся на шырока расстаўленыя калені, драмаў шафёр. Ён не варухнуўся на стук дзвярэй і, звесіўшы долу забытаных валасы, ціхенька і мерна высвістваў носам.

Фрузына паклала на стол кандэнсатар, зняла ватоўку, стараючыся не нарабіць шуму; пацерла густа запацелую шыбу, каб бачыць машыну, і прысела на лаўцы.

Невядома, колькі мінула часу, а шафёр усё драмаў. Дровы ў печцы спакваля дагарэлі, пакінуўшы груды зіхатлівага вуголля. На сцяне пад столлю варушыліся густабарвовыя водбліскі; схіленую голаў, плячо і рукаў чалавека заліло гарачай мігатлівай чырванню. Ад грубкі на ўвесь кут і паўстолі нерухома падаў вялізны раскідзісты цень чалавека.

Раз-пораз пазіраючы праз акно на шашу і на гэтага здарожанага чалавека, жанчына пакрысе пранікалася ціхай жаласлівай спагадай да яго нялёгкага турботнага жыцця. Тая спагада ўсё глыбей і глыбей пранікала ў яе ўзрушаныя пачуцці, шырылася недзе ў душы, паступова перарастаючы ў лагодную пяшчоту. Усчалася і прывычная шчымлівая самота па сваім няўтульным, неўладкаваным жыцці, паціху ўваскрасала былая паўзабытая прагнасць жаданага чалавечага цяпла. Але Фрузына, як магла, усё стрымлівала, глушыла ў сабе тыя няясныя адчуванні, толькі ціхенька ўздыхала, баючыся патрывожыць шафёра.

Праз нейкі час ён, аднак, схамянуўся, глыбока ўздыхнуў і здзіўлена агледзеўся.

— О, ты ўжо? — прамовіў ён і ўзняўся. — Ну што?

— Вось прынесла, — сказала яна, устаючы з лаўкі і падаючы яму кандэнсатар. Але ён, відаць, адпачыў зусім мала і, яшчэ не прачнуўшыся як след, пазяхаючы і пацягваючыся, зноў сеў на табурэт.

— Ага, во добра... Ну дзякуй. А што гэта нікога не чуваць, ці ты адна жывеш?

— Ды ўжо ж, адна, — адказала яна і ўздыхнула.

— А дзе ж твой... муж? — паволі вызваляючыся ад санлівай знямогі, пытаўся чалавек. — Ці не было?

— Не было, ага, — пацвердзіла Фрузына.

Пасля яна таксама прысела на лаўку насупроць яго і раптам адчула сябе слабай, маленькай і нават у нечым вінаватай ад гэтай стрыманай мужчынскай цікаўнасці.

Ён трохі памаўчаў, аб нечым задумаўшыся, жанчына ўсё пазірала на яго, ледзь прыкметнага ў прыцемках дагарэлай грубкі, быццам чакала яго.

– Адной кепска, – сказаў ён, счакаўшы. – Цяжка адной... Гэта я ведаю...

Ён пачаў закурваць, прыпаліў паперкай ад вуголля, асвяціўшы на момант зашчацінены, зусім не прывабны, але добры, спагадлівы твар, а яна сядзела, стаіўшыся, ля акна і, бы злоўленая на якой несумленнай справе, баялася паварушыцца.

Накуруўшыся, ён кінуў у печ недакурак, падышоў да яе, стрымана і далікатна дакрануўся да яе пляча сваёй заскарузлай далонню і пагладзіў:

– Цяжка адной, толькі што зробіш... Ну, не бядуй! Дзякуй за турботы... Так.

Калі ён выйшаў, Фрузына, не зашчэпліваючы за ім дзвярэй, таропка павярнулася да акна, прыціснулася лбом да запацелай шыбіны і доўга пазірала, як ён там поркаўся ў маторы, бразгаў капотам, тупаў ля машыны. Яна нічога не думала, не выцірала слёз, што няпрошаныя і нястрыманыя паціху каціліся па шчоках, толькі глядзела ў прыцемкі ночы і не магла ўжо заглушыць распачнай трывогі ў сваёй душы.

З таго зімовага вечара Фрузына стала яшчэ болей маркотная. Часта ўздыхала на дзяжурстве, радзей усміхалася на жарты інжынера Шаўрова, часцей выходзіла на панадворак, дзе часам сустракала яго. Калі-нікалі, завіхаючыся ля машыны, ён кідаў ёй некалькі звычайных малазначных слоў, але – чула яна – ставіўся добразычліва і ветліва, зусім не так, як другія зубаскалы-шафёры. Ёй хацелася запытаць гэтага чалавека пра яго жыццё – адчувала жанчына, што і ён не вельмі шчаслівы, што добры, і нечага лепшага ў жыцці хацелася яму. Яна ўжо ведала яго прозвішча – Пархомаў – ведала, што ён з Баранавіч, але ці сямейны, ці не – было невядома.

Так у маўклівай жаночай тузе мінула зіма і наступіў першы месяц вясны – сакавік. Снег на вуліцах растаў, рэшткі яго вывезлі на машынах за горад; удзень з дахаў, гулка лопаючы аб асфальт, падалі рэдкія цяжкія кроплі. У парках і за горадам, праўда, было яшчэ снежна, але з кож-

ным сонечным днём усё шырэлі, злучаліся адна з адной праталіны, наліваліся пупышкі лазы і вербаў.

У жаночы дзень – 8 Сакавіка Фрузыне якраз быў выхадны, і яна, прыбраўшы зранку ў пакоі, узялася перашываць свой стары шарсцяны сарафан. Звычайна яна любіла такую работу, любіла прымерваць, прыкідваць, каб зрабіць што як мага танней і лепей. З гэткім жа стараннем яна ўзялася і цяпер, але спакваля неяк цікавасць да работы пачала знікаць. У думках усё часцей з'яўляўся Пархомаў, усё думалася, што ён за чалавек, чаму так уважліва, не як другія, паставіўся да яе, што ў яго самога на сэрцы? Час ад часу жанчына ўздыхала, апускала на калені шыццё і затуманеным зрокам доўга пазірала ў чыстае сонечнае акно на шашу, дзе некалі зімой ён ладзіў машыну. Чамусьці ёй усё болей і болей хацелася зноў убачыць яго, пачуць яго спагадлівы разважны голас. Часам, схямянуўшыся, Фрузына лаяла сябе за недарэчныя мары, палохала тым, што, можа, у яго – сям'я, дзеці. Урэшце, колькі ёсць і маладзейшых, і прыгажэйшых, а яна – саракагадовая баба, – ні характва, ні шчасця – навошта каму такая? Але звыклае імкненне да яго ўзгаралася з новай сілай, і яна ўсё пазірала ў акно, трывожылася, хацела саўладаць з трапяткім сэрцам ды не магла.

Урэшце перад змярканнем яна трохі адагнала ад сябе свае неспакойныя летуценні, пачала думаць аб іншым – аб людзях іхняй установы – трошкі ганарыстых, але ніштаватых супрацоўніках, аб простых, часам языкастых, але няшкодных шафёрах, прыбіральныхчыцах, вахцёрах. Успомнілася, што чагосьці радзей стала смяяцца Нонка – мусіць, нешта не ладзіцца ў яе замустве; усплыло ў памяці, як апавадала Драздова пра сваю сварку з мужам; прыгадалася, як узімку хварэў на нейкі цяжкі грып Петрачэнкаў і як усе клапаціліся і непакоіліся аб ім.

І вось у такую хвіліну ўспамінаў-роздумаў, адкусваючы нітку, яна незнарок зірнула ў акно і спалохана здрыганулася. Ад шашы сцяжынкай да барака ішоў Пархомаў.

Ён, відаць, раней яшчэ прыкмеціў яе ля акна і цяпер здалёк усміхаўся. У руках яго і пад пахай былі папяровыя

скруткі. На ім непрывычна тапырыўся добры чорны гарнітур, неяк зухавата прыткнулася на галаве чыстая шэрая кепка. Фрузына вельмі спалохалася, кінулася да дзвярэй, пасля – да стала, скамячыла кавалкі тканіны, кінула іх на ложак, а пасля перахавала пад лаўку. Яна зусім разгубілася, а ён ужо стукаў у дзверы. Фрузына нічога не адказвала на гэты стук, толькі шаптала распачнае «ай Божачка!», а ён усё ветліва пастуковаў і чакаў дазволу ўвайсці.

Трохі счакаўшы, яна сцяміла, што трэба сустракаць госця, і, прыдушываючы ў сабе сарамлівую збянтэжанасць, адчыніла дзверы. Ён з усмешкай зірнуў на яе, далікатна пераступіў парог, зняў кепку і пачаў старанна выціраць аб палавічок забруджаныя чаравікі.

– Дзень добры, гаспадынька. Са святам! З жаночым днём! Вось здумаў, што адна, прыйшоў павіншаваць, бо я таксама адзін...

Яна, усё яшчэ бянтэжачыся, запрашала яго садзіцца, падстаўляла табурэтку, тупала сюды-туды. Ён, перш чым сесці, паклаў пакункі, выняў з кішэні бутэльку гарэлкі, паставіў на стол. Фрузына здзівілася і спалохалася, не ведаючы, навошта гэта і што яно можа азначаць, але прыкінулася, што не заўважае тае незвычайнасці, і дрыжачымі ад хвалявання рукамі круціла рагі хусцінкі.

Ён быў нязвыкла прыбраны – пры гальштуку, паголены, нейкі вясёлы, не падобны на будзённага, запэцканага і сур’ёзнага Пархомава. Ці то з прычыны сваёй прыўзнятасці, ці мо разумеючы стан гаспадыні, ён ні аб чым не пытаўся, а ўсё гаварыў сам.

– Думаю, што будзе жанчына адна марнец у гэткае свята? Дай, думаю, з’езджу, добра, недалёка.

– Ого, недалёка, – упершыню ўсміхнулася яна, не ведаючы, куды дзець свае вялікія нязграбныя рукі.

– А якое там далёка? Тры-чатыры кіламетры – не адлегласць для чалавека, так сказаць, аўта-фота-мота. Ну, як ты тут жывеш? – спытаўся ён і агледзеў пакойчык. – Што, цячэ? – кінуў ён на мокрую пляму ў столі. – Рамонту дабівацца трэба, а то што ж гэта такое – жаночае

свята, а ў жанчыны дах працякае. А можа, проста дзірка, трэ паглядзець. Э, ды і падлога тут рук просіць. Пераслаць бы, калі яшчэ лагі не згнілі, а то што ж?

Ён закурыў, па-гаспадарску расклаўшы на стале курэцкія прылады – блішчасты партабак з папяросамі, запалкі. У пакоі прыемна запахла духмяным дымком добрых папярос, і ад гэтага паху Фрузыне чамусьці стала лягчэй і веселей на душы. Яна ўжо перамагла ў сабе першае замяшанне, зразумела ўсё, што трэба было ёй рабіць, і, счакаўшы колькі хвілін, пачала даставаць са стала сякі-такі посуд.

Пархомаў ахвотна апавядаў пра свае шафёрскія справы, пра парадкі ў гаражы, а яна па-маладому лёгка завіхалася ля стала – дастала гуркоў, дробнымі кольцамі парэзала каўбасу з пакунка, абчысціла селядца. Да гарэлкі, аднак, яна не дакранулася, бутэлька ўсё стаяла, дзе была пастаўлена. Фрузына расставіла талеркі, напаследак дастала шклянку і невялічкі кілішак. Пархомаў добра не адмытымі ад мазуты пальцамі ўзяў кілішак, пакруціў у руках, незадаволена адставіў убок.

– А што ж гэта? Хіба большай няма?

– Няма, – схлусіла яна, зноў прысоўваючы кілішак. Ён з жартоўнай падазронасцю зірнуў на яе і ўзяўся за бутэльку.

– Ну што ж, давай адзначым жаночае свята. Сядай, чаго там, – запрасіў ён. Яна паслухмяна і няўпэўнена, бы ў гасцях у чужой хаце, прысела на лаўку.

Яны выпілі – ён паўшклянкі, яна са свайго кілішка. Пархомаў пачаў апетытна закусваць селядцом, яна таксама ўзяла кольца агурка і паціху жавала. Першы кілішак узняў у ёй цэлы рой добрых, імклівых пачуццяў, адразу стала радасна і светла, але яна хавала гэта ў сабе і толькі ўсміхалася. Ён ветліва падсоўваў ёй талерку з каўбасой і, быццам яна была яго гасцяй, запрашаў:

– Ты еш, каўбаса смачная, маскоўская, самы раз: не цвёрдая, і сала ўвакурат.

Пасля яны выпілі яшчэ...

Ніколі ў жыцці ёй не было так хораша і па-маладому весела. Пархомаў добра еў, аж пачырванеў з твару ад

выпітага і з'едзенага і з нейкай лёгкай сяброўскай шчырасцю абыходзіўся з ёю. Ён нешта гаварыў і гаварыў усё, але яна дрэнна ўнікала ў сэнс яго слоў. Яна ўся аддалася ва ўладу сваіх пачуццяў – ціхага шчасця ад прывабнай цеплыні блізкай чалавечай душы.

Урэшце, відаць, наеўшыся і напіўшыся, Пархомаў адсунуў ад сябе талеры, адчыніў партабак. Яна, поўная замілавання да гэтага чалавека, усё пазірала на яго памаладзелы ўпарты твар, які заставаўся па-ранейшаму разважны і цвярозы, быццам гарэлка не мела ніякай улады над ім. А Пархомаў, смачна зацягнуўшыся, падсунуў лаўку бліжэй да яе табурэткі і раптам проста, упэўнена, але зусім не груба і не абразліва прыгарнуў яе да сябе.

І яна не вырывалася, не супраціўлялася, не аднеквалася, яна, як да жаданага, падалася да яго ўсім целам, прыціснулася да яго шырокіх, разагрэтых хатнім цяплом і гарэлкай грудзей і ўтуліла ў яго пінжак свой гэткі ж гарачы твар. Ён моўчкі і моцна туліў яе, гладзіў па плячах сваімі шорсткімі далонямі, а яна, здавалася, гатова была памерці за тых хвіліны незвычайнага, ніколі не зведанага шчасця чалавечай блізкасці. Нейкая хваля шчаслівай бяздумнай знямогі ахапіла яе, узяла на страшную вышыню, ад якой зацяло дух і панесла, аж покуль яна перастала адчуваць сябе...

Уранку, ледзьве памыўшыся і дужа спяшаючыся, Пархомаў сабраўся і пайшоў. На парозе ён пацалаваў яе ў лоб, таропка прыгарнуўшы да сябе, і скупа сказаў на развітанне:

– Ну, будзь здарова. Не смуткуй, нічога. Хорошая ты, праўда.

Яна пачала наводзіць дома парадак, прыбрала пасцель, перамыла посуд. Увесь час яе перапаўнялі ўзнёслыя, радасныя адчуванні ад усяго, што здарылася, ад таго, што ёсць гэткі просты і гэткі цудоўны чалавек на зямлі. Ёй вельмі прыемна было адчуваць, што яна, – як і ўсе жанчыны, не якая-небудзь пагарджаная няўдаліца, а таксама вось прывабная і любячая мужчыне, што ён аддаў ёй столькі пяшчоты і шкадуе яе. Ураз знікла тая застарэлая маркота, якая ў адзіноце гэтулькі год дапякала ёй, – Фрузына адчула

незвычайную дзявочую лёгкасьць, зухаватасць, — здавалася, вярнулася яе даўняя забытая маладосць.

З гэтымі новымі радаснымі адчуваннямі яна прыйшла на працу, змяніла ў вестыбюлі Драздову, замяла падлогу, выцерла падаконнікі і не ведала, куды яшчэ падзець сваю сённяшнюю імкліваю энергію. Як заўсёды, за акном бразнулі дзверцы і паўз яе, важна сапучы, прайшоў Іван Кузьміч. Яна павіталася з ім, але ўжо не тым палахлівым голасам, а з нейкай годнасцю і незалежнасцю ў тоне. Неўзабаве мякка, па-кацінаму ступаючы на тоўстых падэшвах, прайшоў Петрачэнкаў, і ён не здаўся ёй сёння такім недасяжным і далёкім, як заўсёды. І калі, адстукаўшы абцасікамі на ганку, у вестыбюль з'явілася Нонка, Фрузына не вытрымала і на прывітанне ветліва адказала:

— З мінулым святam вас, Нона Васільеўна!

Увесь гэты дзень Фрузына з прытоеным бляскам шчаслівых вачэй усміхалася знаёмым. Хацелася ёй, каб хто спыніўся, загаманіў з ёю, нешта вялікае бруіла ўвесь час у яе душы, не змяшчаючыся там, і жанчыне карцела падзяліцца з людзьмі радасцю, толькі дзяліцца не было з кім.

З таго дня Пархомаў стаў часта наведваць яе. На працы ва ўстанове, сустракаючыся з ёю, ён быў ранейшы — па-дзелавому строгі, заклапочаны, нават трошкі няласкавы — як і ўсе. Яна не падыходзіла ўжо да яго, як раней, толькі віталася пры сустрэчах — і ўсё. Здавалася ёй: тое, што сталася між імі, трэба берагчы ад старонняга вока, і не таму, што хтосьці можа перашкодзіць ім, а так, проста было неяк сорамна ад людзей. Яна чакала суботы, нядзелі, калі ў яго і ў яе супадалі выхадныя, прыбірала ў пакоіку, апранала сваю сінюю з мярэжкамі сукенку і садзілася ля акна. Ён заўсёды прыходзіў перад вечарам, часам прыносіў бутэльку, а болей ішоў так. Яна ўсё па-ранейшаму хвалявалася, сустракаючы яго, а ён ужо асвойтаўся ў яе пакоі, трымаў сябе роўна і упэўнена. Пакуль яна гатавала на дваіх вячэру, ён, каб не сядзець без справы, браў сякерку, малаток і ладзіў што-кольвечы па гаспадарцы — замасціў дзіркі ў падлозе, затуліў дах, паправіў лаўку на прызбе. Суседкі перашэптваліся і хітра ўсміхаліся, сноўдаючы на

панадворку, але яна не саромелася іх. Наадварот, яна ціха таіла ў сабе стрыманую жаночую гордасць, гордасць за сябе і за чалавека, які стаў поруч з ёю.

У доўгія гадзіны пяшчотнай блізкасці яны болей маўчалі. Ён часта прытульваў яе да сябе, гладзіў, зрэдку ўздыхаючы – здагадвалася яна – шкадаваў яе. Ён амаль ніколі не казаў нічога пра свае пачуцці, ні пра сям'ю, якая, яна ўжо ведала, была ў яго ў Баранавічах. Хоць ёй і вельмі хацелася ведаць пра ўсё гэта, але яна не пыталася, каб не парушыць чым свайго нечаканага, няпэўнага, толькі трошкі зведанага шчасця. Яна вельмі берагла і вельмі баялася за тое шчасце – чула яе душа, што яно кволае і кароткае, як усё неспадзяванае, цудоўнае...

Тым часам прыйшоў сонечны квяцісты май. Зранку над горадам зіхацела чыстае блакітнае неба, пад сценамі туліліся сінія цені, на рагу пачалі прадаваць газіроўку. Петрачэнкаў апрануў клятчасты, бы шашачная дошка, скошаны ў плячах пінжак, Нонка ляскатала ў асляпляльна белых басаножках на вострых абцасах. Ля ганка ўстановы былі дзве вялікія клумбы, і на іх, ледзьве прарэзаўшыся з зямлі, чысцюткай сінявой стракацелі «анюціны вочкі».

Аднаго ранку, счакаўшы, пакуль перастануць рыпецць дзверы і ўсе супрацоўнікі разыдуцца па кабінетах, Фрузына ўзяла пад лесвіцай палівачку, набрала ў бочцы вады і выйшла паліць клумбы. Пасля застылай засені вестыбюля на сонечным угрэве вуліцы было цёпла і ўтульна. У Фрузыны, як і ўсе гэтыя дні, было добра і спакойна на сэрцы. Тая ўзрушаная радасць, што спачатку поўніла яе і бруіла ў ёй, спакваля саступіла месца роўнаму замілаванаму пачуццю, – так хацелася пражыць жыццё, і шкадаваць не было б чаго.

Жанчына палівала, стараючыся ступаць як мага асцярожней, каб не парушыць цудоўнага хараства гэтых мігатлівых, як зоркі, кветак, і ўсё думала, думала пра яго – незвычайнага гэтага Пархомава. Ён ужо тыдзень як быў у камандзіроўцы, таму ёй не было каго сустракаць ні дома, ні на панадворку ўстановы, заставаліся толькі думкі, успаміны, розныя меркаванні.

У гэты час адчыніліся дзверы, і прыбіральшчыца Ганка, санлівая, леная дзяўчына, чухаючы бок, прамовіла:

– Цётка Фрузына, вас Петрачэнкаў клічуць.

У яе адразу надобрым прадчуваннем здрыганулася сэрца, але яна знешне спакойна выйшла з клумбы, паставіла на асфальт палівачку і, паправіўшы на грудзях брошку, нетаропка пайшла ў будынак. Яна ўзнялася на другі паверх і, прыпыніўшыся ля чорных дэрмацінавых дзвярэй, нерашуча пацягнула ручку.

Петрачэнкаў пісаў. На яе прыход ён нават не ўзняў свайго акулерастага твару, толькі буркнуў: «Ага, зараз». Апроч яго, тут яшчэ за трыма сталамі сядзелі людзі – усе былі заняты сваімі справамі і, здавалася, не звярталі на яе ніякай увагі. Фрузына стала ля петрачэнкаўскага стала і з хвіліну чакала, усё робячы здагадкі, якая патрэба прымусіла гэтага чалавека клікаць яе.

Напісаўшы, што трэба было, ён пачаў поркацца ў паперах на сталі і, нібы аб якой прастай будзённай справе – надвор’і ці нясвежай вадзе ў графіне, задаў пытанне, ад якога ў яе пахаладзела ўнутры.

– Слухайце, Сямашка, ці праўда, што вы таго... з шафёрам гэтым, як яго?.. З Пархомавым?

Петрачэнкаў коратка бліснуў акулерамі, а яна, счырванелая і збянтэжаная ад гэтай бессаромнай праматы, стаяла і пакутна ламала свае непрыгожыя пляскатыя пальцы.

– Га? – зноў запытаўся гэты выглянцаваны чалавек. – Відаць, плёткі, праўда?

Яна ніколі не хлусіла нікому, ніколі не апраўдвалася, калі была вінавата, і, хоць цяпер была здзіўлена і абражана гэтай бесцырымоннасцю, сказала:

– Ну, а што? Ну, ён прыходзіць калі...

Петрачэнкаў варухнуў брывамі, здзіўлена пераглянуўся з некім за яе спіной, крыва ўсміхнуўся і загаварыў прыкра і нудна:

– Прызнацца, не чакаў такога... здзіўляючага сваёй класічнай праматой адказу... А вы ведаеце... што такімі сваімі... ганебнымі, я сказаў бы, паводзінамі кідаеце цень неблагачыннасці, так сказаць, на ўсю ўстанову, вось... Вам

вядома, што гэты ваш, як яго... Пархомаў мае сям'ю, так сказаць, да якой ён нейкім чынам павінен захоўваць свой абавязак. Вось. І цяпер, у свеце вашага недвухсэнсоўнага прызнання, я як старшыня мясцкома буду вымушан не абмежавацца гэтай гутаркай, а прыняць, так сказаць, дзейсныя меры, з тым разлікам, каб...

Да яе дрэнна даходзіў сэнс гэтых слоў, яна да болю ў душы адчувала толькі, што сталася нешта агіднае, нешта ганебнае і што яна вінавата ў нечым. Затуманеным зрокам жанчына глядзела цераз лысаватую голаў гэтага чалавека праз акно на панадворак, там відаць быў канец гаража, апошнія вароты, дзе стаяла машына Пархомава. Цяпер гэтыя вароты былі зачынены. І ёй стала вельмі сумна ад таго, што яна адна і што ёй за дваіх трэба прымаць гэты цяжкі ўдар. З прыкрым адчуваннем нейкай так і не зразумелай віны Фрузына неўзабаве спусцілася ўніз на сваё месца ля вешалак і прысела, абапёршыся на падаконнік.

Жанчыне нават стала дзіўна, як гэта яна не прадбачыла, што яе могуць абвінаваціць, зняславіць. Пасля горкіх калючых слоў Петрачэнкава было ясна, што людзі не даруюць ёй гэтай блізкасці да Пархомава, але зноў жа – у чым была яе віна, Фрузына так і не магла зразумець. Хіба яна дабівалася чаго, хіба на што благое падбівала Пархомава, хіба чаго злачыннага жадала ад яго?

Нейкі агідны цень запаў у яе душу, і жанчына ўсё не магла зразумець, каго тут вінаваціць – сябе ці Пархомава, – ад гэтага было вельмі тлумна і прыкра. Змаркатнелая, яна ледзьве дачакалася вечара і, так і не разабраўшыся ў сабе, ад крыўды немаведама на каго і завошта, ціха паплакала, ідучы дадому.

На другі ранак пасля тае размовы з Петрачэнкавым яна сядзела ў вестыбюлі і баязліва чакала дзевяці гадзін, калі пачнуць зыходзіцца людзі. Першы, як, бадай, заўсёды, з'явіўся інжынер Шаўроў, як заўсёды, ён старанна выцер ногі і кінуў ёй:

– Прывет! Ну што? Як жысць?

Яна нешта новае ўлавіла ў яго тоне і насцярожылася, сіснула ся нутром, чакаючы якой нетактоўнасці. І ён не

замарудзіў – выпаліў ці то жартам, ці ўсур'ёз, бы пра якую дробязную справу:

– Кажуць, ты ўжо гэтае самае... жаніха знайшла. І недалёка, толькі сямейнага, так сказаць. Што ж, брава, брава.

Сігаючы цераз прыступкі, ён узнімаўся па лесвіцы, мабыць, адразу забыўшыся пра свой жарт, а Фрузына адчула раптам, як хіснулася столь, скрывіліся калоны – ёй стала млосна. Але жанчына стрымалася, прыхінуўшыся да падаконніка, і ўжо амаль не прыкмячала і не віталася ні з кім – ні з Іванам Кузьмічом, які нават не зірнуў у яе бок, ні з Петрачэнкавым, які сёння чамусьці ўважліва агледзеў яе халодным позіркам бялёсых вачэй, ні з Нонкай, якая падкрэслена ветліва і са смяшынкай у вачах павіталася з ёю. Фрузыне было вельмі крыўдна і на сябе, і на людзей, і на ўвесь белы свет.

Увечары таго дня вярнуўся з камандзіроўкі Пархомаў.

Праз акно пад лесвіцай з вестыбюля яна адразу ўбачыла яго машыну, калі ён заварочваўся, каб заехаць у гараж, і яе сэрца зноў, як некалі, у час яго першага прыходу, нязладна забілася ў грудзях. Яна памкнулася на панадворак, але спынілася ля акна, пачакала трохі, пакуль ён уладкуецца з машынай, і пасля, з намаганнем перастаўляючы ногі, пайшла да варот.

Ён зняў акумулятар і анучкай выціраў яго клемы, але, пачуўшы крокі, адразу ўстрывожана азірнуўся. Відаць, нешта кепскае азначылася на яе твары, бо шафёр адразу ўстрапянуўся і выпрастаўся. Фрузына, прыкмеціўшы гэта, спрабавала няўдала ўсміхнуцца і, павітаўшыся, сказала:

– Ведаеш, мяне Петрачэнкаў выклікаў. Лаяў... Пытаўся, ці праўда, што ты да мяне ходзіш?

– Што? – не зразумеў ён. – Што? А скуль ён ведае? – На яго запыленым, змораным твары мільганула трывога. Фрузына патупіла вочы. – Ну... А ты што? Што ты сказала?

– А што мне было казаць? Сказала, што прыходзіш..

– Дурніца! – Пархомаў з прыкрасцю шпурнуў на зямлю анучу. Потым патаптаўся на месцы, узняў на яе раззлаваныя вочы. – Хіба так можна? Эх, ты!..

Яна ўраз зразумела, што ён не так, як чакала яна, паставіўся да гэтае справы, і ў жанчыны стала пуста і самотна ў душы. Страціўшы надзею і сілу, яна ледзьве дабрыла да свайго месца за перагародкай і ўжо не стрымлівала распачных слёз, што душылі яе. Побач рыпелі дзверы, хадзілі людзі, нешта казалі, пыталіся, але яна не глядзела ні на кога, не адказвала, не слухала.

Наступілі гаротныя дні.

Пархомаў болей да яе не прыходзіў, пазбягаў сустрэч, на працы яна часта бачыла ў акно, як прызвычайіўся ён да шафёрскай кампаніі, сядзеў, курыў, размаўляў нароўні з усімі. Фрузыне было ад таго дужа балюча, яна па-ранейшаму імкнулася да яго, ні ў чым не вініла, цяпер ужо яна папракала сама сябе, што адкрылася тады Петрачэнкаву, але фальшывіць, хлусіць, ашукваць яна не ўмела.

Ёй было вельмі пакутна ў адзінокія ночы ў сваім пакойчыку – думаць, уздыхаць, успамінаць нядаўнія, поўныя хмельнага шчасця, дні. Часта яна зноў адчувала сябе вельмі адзінокай, пагарджанай, ды ўжо куды мацней і нясцерпнёй, чым у ранейшыя разы.

І тады аказалася, што яна будзе маці.

Спачатку Фрузына вельмі спалохалася ад тае навіны – яе ахапіў жах, калі яна прыгадала, як паставяцца да яе на рабоце, што скажучь суседзі. Ёй карцела некуды бегчы, неяк ратавацца ад той бяды, якая навісла над ёю. Але на змену спалоху неўзабаве з'явілася новая думка, што вельмі дзівіла яе: у яе будзе дзіця – свая маленькая родная істота, самая важная і самая дарагая ў жыцці. Яна прыпомніла знаёмых суседскіх дзяцей, блізнятак Драздовай, і неспадзявана яе ахапіла супярэчлівая хвалючая радасць. Яна ведала ўжо, што будзе шмат гора наперадзе, што Петрачэнкаў, бадай, не адступіцца са сваімі нуднымі пропаведзямі, што будуць насмешкі і сорам, але ўсе гэтыя нягоды марнелі перад новай вялікай радасцю мацярынства.

І Фрузына пакрысе супакоілася, павесялела, яна пачала прыглядваць за сабой – у час паесці, не заседжвацца начамі, у меру хадзіць. Са сваёй трохсотрублёвай зарплаты яна пачала ашчаджаць грошы – яны так патрэбны ёй

будуць тады, як з'явіцца ён. Жанчына зноў, як калісьці ў шчасліваю пару яе адносін з Пархомавым, адчула сябе ладнай, здольнай, разумнай, такой, як і ўсе задаволеныя жыццём людзі. Пра свой новы стан яна не сказала нікому, як мага глыбей тоячы свае надзеі. Яе цяпер вельмі цікавілі дзеці, і яна часта, ідучы дадому, спынялася дзе ў скверы і падоўгу пазірала на малых карапузаў у калясках, на дарожках, на руках маці.

Так ішоў час, і надышла пара, калі людзі пачалі прыкмяцаць перамены ў яе абліччы. Неяк у час зменкі Драздова ўважліва, з падазронасцю паглядзела на яе закруглены живот і з заўсягдашняй грубаватай праматой, уласцівай гэтай жанчыне, спытала:

– Што гэта ты растаўсцела? Ці не дзіцёнак?

Фрузына сканфузілася, затуліла далонямі живот, але хіба можна было ўтаіць тое, што адбывалася ў ёй? І, зразумеўшы гэта, яна ўсміхнулася са стрыманай шчырай радасцю ў вачах і паведаміла, як найвялікшую сваю таямніцу:

– Ага, дзіцёначак.

– Ах, каб ты правалілася! – са знарочыстай злосцю загаманіла Драздова. – Што ж гэта ты дапусціла сябе, не ў час агледзелася? Трэба ж было раней, цяпер жа можна і нядорага... Ах, каб цябе!..

– Навошта? – зразумеўшы, пра што кажа жанчына, сказала яна. – Хай.

– Хай?! – здзівілася тая. – Вось дык гунора! Хай! Што ты сабе думаеш, баба? Як жа так можна? Не замужам і хай! Ты думаеш, гэта што – дзіця? Гэта катарга, жыцні сваёй няўзлюбіш, свет праклянеш! Гэта ты ненавучаная, вядома. А я ўжо шасцярых вырадзіла, хай ім дно з прарэхай – дзецям гэтым. Праз іх да часу ў магілу ляжаш...

Фрузына маўчала, папраўляючы на сабе кофту, пакарацелую наперадзе спадніцу. Трэба было б пашыць што шырэйшае, вальнейшае, але яна шкадавала грошай, ды і навошта? Яна не саромелася, ні ад каго не таілася, яна ўжо зжылася з думкай аб сваім маленькім і да часу яшчэ ганарылася ім.

А Драздова ніяк не магла ўгаманіцца і кожную раніцу, сустракаючыся з ёю (пэўна, і за вочы таксама), лаяла ўсё яе дураць, а яшчэ болей Пархомава.

— Ах ты, зладзюга, каняга няшчасны! Што нарабіў бабе! — не зважаючы на людзей, што праходзілі міма, злосна лапатала яна за сваёй перагародкай. — Я яму вочы выдрала б, фізіяномію расквасіла. Папомніў бы ён мяне, вырадак пракляты. Не, я гэтага не даравала б так ціха-гладка. Што стаіш? — крычала яна на Фрузыну. — Ідзі да дырэктара, да мясцома, хай яго, нягодніка, жаніцца прымусяць.

Але яна не ішла ні да кога, нікому не скардзілася, на Пархомава яна проста забылася сярод сваіх новых турбот. Праўда, яна разумела, што крыху памылілася ў ім, што залішне панадзеялася на яго прыхільнасць да яе, але хіба ён учыніў ёй што кепскае? Усё, што датычыла яго ў яе ўспамінах, было добрае і светлае, і калі ён перамяніўся да яе пасля, дык што ж... Ведама ж, яна не нявеста, ды і ён не які там жаніх. Адным словам, крыўдаваць, злавацца на яго Фрузыне, здавалася, не было за што. І яна жыла сама па сабе, як і да яго, жыла марамі аб маленькім, — цяпер ужо ёй не страшна была адзінота і не дужа патрэбны і Пархомаў.

Але хоць яна і замкнулася ў сабе, у сваіх надзеях і клопатах, людзі ўсё ж не перасталі турбаваць яе. Жонка Пархомава, відаць, нешта дачулася ў Баранавічах і неўзбаве балюча нагадала аб сабе. Адночы ў пагодны дзень, толькі што заступіўшы на дзяжурства, Фрузына захацела нечага выйсці і ў тых скрыпучых дзвярах спаткалася з дырэктарам. Жанчына спаважна саступіла ўбок, павіталася, імкнучыся як найхутчэй размінуцца. Але дырэктар, невыразна буркнуўшы нешта на яе «дзень добры», нечакана спыніўся, перахапіў у руцэ жоўтую папку і, гледзячы зверху ўніз, з затоенай пагардай у строгіх вачах сказаў:

— Ага, дарэчы, таварыш Сямашка, што гэта ў вас з Пархомавым? Жонка ліст прыслала, судом пагражае. Яго я ўчора зволіў па ўласнаму жаданню, але вы што сабе думаеце?

І, нахмурыўшы касмылявыя крутыя бровы на выгале-ным укормленим твары, ён утаропіўся ў жанчыну і чакаў,

што яна скажа. А Фрузына раптам адчула, што ёй замінаюць рукі, пачала церабіць аборку кофты на вялікім ужо жываце і гатова была праваліцца ў зямлю ад гэтага яго дапытлівага позірку. Ёй зрабілася млосна і крыўдна, у горле захраслі ўсе словы, і яна нічога не магла адказаць, толькі думала, каб як перабароць сябе, не хвалявацца, бо гэта шкодна яму, маленькаму. Добра, што дырэктар не настойваў, пастаяў троху, паўзіраўся ў яе збянтэжаны твар і, пакруціўшы галавой, падаўся да лесвіцы.

Толькі б не хвалявацца, толькі б стрымаць сябе, не заплакаць – патрабавала яе мацярынская рупнасць і пасля, калі яна зноў вярнулася да свайго акна, і на другі дзень – дома, калі ёй давялося ўчуць, як, сабраўшыся на прызбе за рагом, абгаворвалі яе суседкі. Яна прымушала сябе аглухнуць да ўсяго благага, фанатычна школіла сваю волю, каб не раздражняцца нічым, не хвалявацца ад людской нядобразычлівасці.

Так мінула лета і паціху пачала ўсталёўвацца восень. Фрузына даношвала апошнія месяцы, ёй было трудна штурхацца ў аўтобусах, і яна ўсё часцей з працы і на працу хадзіла пехатой. Водпуску яна не брала – ніхто ёй не прапаноўваў таго, а прасіць у яе не хапала адвагі. Усё ёй здавалася, што яна нечым не дагадзіла людзям, нешта зрабіла не так, і ад таго хацелася як мага меней трапляць ім на вочы і турбаваць іх. Добра, што на дварэ стала халадней, пачаліся нудныя восеньскія дажджы, і яна апанула фуфайку, каб меней вылучацца сваёй цяжарнасцю.

Драздова неяк змяніла свае грубаватыя адносіны да яе, не лаяла ўжо, нічога не дамагалася. Адночы толькі, калі Фрузыне нешта заняджылася на працы, вахцёрка прагнала жанчыну дадому, накрычаўшы за яе няўвагу да сябе. Заадно яна палаяла і Пархомава, а таксама пачала наракаць на сваю горкую долю, якая ніколі не дае ёй спакою.

Чаго Фрузына найбольш баялася, тое пачалося на працы. Зранку было дужа сцюдзёна, дзьмуў моцны вецер, яна не ўлезла ў перапоўненыя аўтобусы і цераз увесь горад ішла пешшу. Заступіўшы на дзяжурства, жанчына як села на табурэтку ля акна, так і не магла ўжо ўстаць. Ёй рабілася

горача, млелі ногі, але яна дужалася з немаччу і неяк дацярпела да абеду. Далей ужо трываць было нельга, і Фрузына зразумела, што прыйшоў той час.

Яна папрасіла прыбіральшчыцу Ганку падзяжурыць да змены, а сама асцярожнай, кволай хадою, мацаючы сцены будынкаў, выправілася ў радзільны дом. Добра, што ісці было недалёка, хоць і вельмі трудна, і яна праз гадзіну з супынкамі дабралася туды.

Увечары яна радзіла. Радзіла без аніводнага крыку, без стогну, задушыўшы ў сабе ўвесь пякельны боль — яна ўсё не хацела турбаваць людзей. Доктарка пахваліла яе за цярплівасць, і, калі паведаміла, што нарадзіўся спраўны, ніштаваты хлопчык, Фрузына адразу забылася на пакуты.

Хлопчык абурана, гарласта крычаў, пакуль яго выносілі прэч, і яна той раз на ўсё жыццё запамятала яго патрабавальны, характарны крык. Пасля яна ўбачыла яго маленькі ружаваты тварык з прыплюшчанымі вачанятамі і прагнай маленькай прысоскай на верхняй губе. Ссаў ён добра, жвава, смачна цмокаючы маленькім роцікам, і яна аж замірала ад нязведанай мацярынскай асалоды.

У раддоме ёй было добра. Праўда, з дванаццаці гадзін, калі ў калідоры пачыналі бегаць санітаркі, носячы перадачы, выклікаючы парадзіх, яна адчувала цьмяны неспакой у душы. На ўсіх тумбачках у палаце ў спецыяльна прыгатаваных на тое вазах стракацелі кветкі, яе ж ваза стаяла пустая. Праўда, кветкі, розныя прысмакі зусім не патрэбны былі жанчыне і нічуць не турбавалі яе, вось хіба толькі людскія вочы... Ад людзей цяжка ўтаіць, што ў сваёй душы, суседкі ў палаце і сёстры, відаць, разумелі ўсё, але маўчалі, не распытвалі, і яна за гэта была вельмі ўдзячна ім.

Але яна ніяк не магла пагасіць у сабе ўсё болей агартаўшай яе трывогі. Ёй прыгадаўся даўні выпадак, што адбыўся некалі ў яе роднай вёсцы. То былі цяжкія часы, калі толькі што скончылася вайна і з франтоў вярталіся салдаты. Усе, у каго хто-небудзь быў у войску, чакалі служывых, адна толькі Галена, маладая салдатка, не чакала свайго Яўхіма, які ў шаснаццатым годзе склаў сваю галаву ў невядомай далёкай Галіцыі. Даведаўшыся аб тым страш-

ным здарэнні, Галена дзён колькі несучешна галасіла на ўсю вёску, а пасля запрагла буланага і паехала араць свой надзел.

Фрузына была тады зусім маленькай дзяўчынкай, у ворыва насіла бацьку на поле яду і ўсё не магла зразумець, чаго гэтая маладзіца так мала арэ, а ўсё сядзіць у баразне ля плуга і плача. Аднак пасля нехта памог кабэце, яна супакоілася, павесялела, а яшчэ праз нейкі час нарадзіла маленькую крыкліваю дзяўчынку. Фрузына добра памятае гэтую яе крыкушку ў плеченай зыбцы на бярозавай жардзіне – яна тады з другімі дзецьмі не раз падбягала пад вокны глядзець на малую, што нарадзілася без бацькі. На вёсцы гэтае нараджэнне стала незвычайнай падзеяй, аб ім з'едліва і абразліва гаварылі мужчыны, бабы і нават дзеці. Пасля здарылася такое, што страшна нават і ўспамінаць. Дзед Пахом, свёкар Галены, круты, ваўкаваты стары, напіўшыся на нейкае свята, да паўсмерці пабіў маладую ўдаву. Галена з паўгода пакашляла крывёй і памерла, і ніхто не шкадаваў яе, не апраўдваў. Нябогу пахавалі на краі могілак, і яе курганчык неўзабаве зарос быльнягом, а вясковыя бабы пачалі ёю палохаць дзяцей.

Праўда, цяпер часы іншыя, але ўсё ж людзі бываюць розныя, хіба не знойдзецца хто пакпіць з адзінокай немаладой жанчыны. Фрузыне ўсё здавалася, што пасля ўсяго, што здарылася, ва ўстанове не даруюць ёй такога ганебнага мацярынства. Яна ўжо прадбачыла, як будзе выгаворваць ёй Петрачэнкаў, можа, нават выклічуць на мясцком і дадуць якое спагнанне. Праўда, яна ўсё намагалася пазбыцца турбот аб сабе, дбаць толькі пра свайго малога, але заглушыць неспакой было немагчыма. І Фрузына ўсё ўгаворвала сябе трываць – усё перажыць адной, адасобіцца ад людзей, жыць толькі ім, аглухнуць да ўсяго благага.

Папраўлялася яна добра, і праз некалькі дзён адчувала сябе няблага. Ёй дазволілі ўставаць, і Фрузына, сеўшы на ложку і захінуўшыся ў халат, чакала ўсё часу кармлення, калі прывозілі малых. Яшчэ здалёк на парозе яна пазнавала свайго ў радку зусім падобных белых скруткаў на каласцы і, не могучы ўтрымаць замілаванай радасці, першая

ўзнімалася насустрач, карміла і з вялікай неахвотай аддавала яго назад. Сёстры хвалілі яе малога, дакторка шматзначна назвала вагу – 4 800, і мацярынскае сэрца поўнілася ціхім гонарам. Ніколі яшчэ так не ганарылася яна ў сваім жыцці. Гэта было сапраўднае, вялікае шчасце.

І вось прыйшоў дзень, калі трэба было пакідаць бальніцу.

У апошнюю ноч ёй стала асабліва неспакойна на душы. З вечара яна прысніла непрыемны, блягі сон, ратуючыся ад пакутаў якога яна прачнулася і ўжо болей не заснула да ранку. Ёй сніўся Петрачэнкаў, і дырэктар Іван Кузьміч, і Шаўроў, быццам яны з'явіліся ў раддом і злосна патрабавалі ў яе вярнуць некуды яе малога. Яна вельмі спалохалася, бо яе абвінавачвалі ў крадзяжы дзіцяці, на якога яна не мела права, а як апраўдацца, даказаць, што гэта яе дзіцёнак, яна чамусьці не мела сілы. І яна толькі пакутвала і бегала па пакоях, па вуліцах, хавала малога, а за ёй ганяліся людзі і атукалі, як у полі на воўка.

Яна не стрывала да канца гэтага страшнага відовішча, але ўжо ведала, што заўтра здарыцца нешта благое. На світанні яна ўзнялася і стала клапаціцца, каб сабраць свае рэчы, званіла па тэлефоне ва ўстанову. Ноччу там дзяжурыла Ганка, якая, аказваецца, цяпер замяніла яе ля дзвярэй, Фрузына папрасіла Драздову, каб тая прынесла з кватэры малому бялізну. Пасля яна стала чакаць, калі папрыходзяць дактары і напішуць яе дакументы. Ёй было ніякавата ад таго, што ніхто не прыйдзе за ёю, што і ў апошнюю хвіліну ёй не мінуць украдкам кінутых позіркаў сясцёр, санітарак, – позіркаў, у якіх празмерная цікаўнасць, здагадкі і прытоенае асуджэнне.

Час ішоў вельмі марудна. Мінула ўжо і дзесяць, і адзінаццаць гадзін, а Драздовай усё не было. Фрузыне ўжо выдалі дакументы – даведку, што ў яе нарадзіўся хлопчык, што яму зроблены ўсе прывіўкі. Гэтую даведку, бы найдаражэйшы дакумент, яна загарнула ў паперку і схавала за пазухай. Яна ўсё хадзіла на калідоры і чакала, агорнутая клопатам, як данесці малога дадому па такой сцюжы, што

трэба было б купіць цёплую коўдрачку, ды вось дагэтуль на ўсё не хапіла грошай.

Жанчына аж здрыганулася, калі сястра адчыніла ў калідор дзверы і паклікала яе апрапаца. Там, у пярэднім прахадным пакойчыку, яна спаткалася з Драздовай – захутаная ў цёплы шалік, у плюшавым жакеце, вахцёрка чакала яе са скруткам у руках. Яна ледзь прыкметна ўсміхнулася насустрач Фрузыне знарок сярдзітымі вачыма і загаварыла сваім грубаватым голасам:

– Ну што, выхадзілася, нябога? Ну, нябось пазнала, дзе ракі зімуюць? А што, не казалася я?! Ну! дзе ён – твой крывапівец? На вось, сабралі тут. На кватэру я не хадзіла – далёка, ну яе.

Яна сунула ў рукі Фрузыне тугі скрутак – коўдрачка, прасцінкі, сіняя шоўкавая стужачка. Жанчына здзівілася: чыё ж усё гэта?

– Бяры, бяры, – папіхнула яе Драздова. – Сабралі тут. Нонка, Куцячыха, Шаўроў даў паўсотні. Я сваіх пару пялёнак загарнула – спатрэбіцца.

– Дзякуй, – сказала Фрузына і прыплюшчыла вочы. Ёй раптам стала нечага вельмі жаласліва на душы – і да сябе, і да іх, што не забыліся, не пагрэбавалі...

– Ну ідзі, ідзі, паказвай свайго крывасмока, – падштурхнула яе Драздова.

Яна хуценька апрапулася ў сваё пакамечанае, несамавітае адзенне, ад якога ўжо паспела адвыкнуць, і ўсё пазірала на дзверы, прыслухоўвалася – адтуль у першы свой шлях па зямлі павінен быў выйсці сын, яе ўцеха і яе вялікае шчасце ў жыцці.

Вельмі занятая, рухавая і заклапочаная сястра вынесла ёй акуратна загорнуты пультны скрутак, падала ў рукі і развіталася. Фрузына асцярожна ўзяла яго, адхінула ражок прасцінкі – ён соладка спаў, сцяўшыся тварыкам у маленькі ружовы камячок. Драздова таксама зірнула пад прасцінку.

– Спіць? Іш ты, Пархом халерны. Ну ладна, расці. Дай сюды, я...

Яна бесцырымонна забрала яго з рук маці, спрытна ашчаперыла, штурхнула нагой дзверы, і жанчыны выйшлі на вуліцу.

Пакуль яны ішлі глухаватымі завулкамі, Фрузына па-ступова набіралася лёгкага радаснага забыцця. Ёй было добра – зноў тонкай, памаладзелай, перанёсшай труднае ў жыцці; радасна, што прыдбалася ў жыцці блізкая, дарагая істота, частачка яе жыцця; прыемна, што вось Драздова – заўсёды зласлівая Драздова – гэтак дарэчы ўслужыла ёй.

А вахцёрка ішла крыху наперадзе і ўсё нешта прыгаворвала малому – нешта знарочыста сварлівае. Фрузына даўно ўжо прывыкла да гэтага яе тону і цяпер неяк асабліва выразна адчувала ў ім і спагаду, і пяшчоту, якія заўсёды былі старанна захаваныя пад гэтай знешняй яе незадаволенасцю. Яшчэ Фрузына вельмі ўдзячна была Нонцы і Шаўрову. Адчувала яна, што шматлікія пакуты неяк зблізілі яе з людзьмі, далі, відаць, ёй нейкае няпісанае права на людскую прыхільнасць.

Падыходзячы да іх установы, Драздова нечакана павярнула ўбок, да ганка.

– Ідзі, пакажам твайго крыкуна. Хай паглядзяць. А то – Фрузына такая, Фрузына сякая... Ідзі, ідзі, чаго там, – прыкрыкнула яна на жанчыну, калі тая нерашуча спынілася на вуліцы.

Фрузына збянтэжылася: ёй вельмі няёмка было несці туды дзіця, але Драздова ўжо адчыняла нязладныя дзверы. Нічога не заставалася рабіць, і яна вымушана была пацягнуць за тыя медныя ручкі-поручні. Дзверы працяжна прарыпелі, бы прывіталіся са старой знаёмай, і гэты іх рып душэўным болям працяў нутро жанчыны.

У вестыбюлі было цёпла, да іх адразу прытупала ў скрыўленых валёнках Ганка. Драздова, прымасціўшыся ля батарэі, пачала расхутваць малога.

– Во, глядзі, якога мужыка займела баба. А то думалі, што Фрузына горш за людзей. Вунь як пазяхае, пражора! Толькі есці давай, – прыгаворвала яна, спрактыкавана разгортваючы пялёнкі.

Заўважыўшы навіну ў парозе, аднекуль з калідораў прыбеглі дзве прыбіральшчыцы, угары на лесвіцы дробна застукалі абцасікі, і цераз поручні нагнулася кучаравая галава Нонкі.

— О, што там у вас робіцца? — гукнула маладзіца і зноў заляскавала абцасікамі, збягаючы ўніз.

— Ой, які маленькі, які карапузік, дайце мне, дайце я, — загаманіла яна, беручы малога і няўмела прытуляючы яго да сябе.

Фрузына вельмі баялася, каб ён часам не выпаў як на падлогу, яна ўсё падстаўляла рукі, непакоілася за кожны яе ліхаманкава-радасны рух. А Нонка ўсё хапала малога, шугала, прыціскала да сябе — дзіва было, колькі таілася пяшчоты ў гэтай жанчыне.

У той час у вестыбюлі аднекуль з’явіўся Шаўроў. Як некалі, у даўнія часы, ён здалёк басавіта гукнуў Фрузыне:

— Прывет, Фрузына! Як жысць маладая, вясёлая? О, я гляджу — з прыбаўкай цябе! Ну, маладзец, — казаў ён, падыходзячы да яе ў сваім шархоткім чорным плашчы. — Дайце ж і мне патрымаць чалавека.

Ён узяў маленькі скрутачак, асцярожна шугнуў яго ўгору ўніз, і малое неспакойна заварушылася.

— Харош, харош, гвардзеец, — радасна ззяў вачыма інжынер. — Як жа назваць яго? — спытаў Шаўроў і паўз-верх жаночых галоў зірнуў угору. На лесвічнай пляцоўцы, нерашуча занёсшы нагу на ніжэйшы прыступак, стаяў Петрачэнкаў.

— Эй, Петрачэнкаў, хадзі сюды!

Фрузына на момант спалохалася: ёй прыгадаўся сон і здалося, што Петрачэнкаў, як некалі, пачне дакараць яе. Але старшыня мясцкома рупліва заклаў пад стракаты пінжак такі ж стракаты гальштук і, асцярожна намацаваючы прыступкі, паслухмяна пайшоў уніз. На яго заўчасна абвялым, нездаровым твары з’явілася не то вінаватая, не то цікаўная ўсмешка.

— Вось глянь, — казаў да яго інжынер, — чалавек! Што, брат? Жыццё жывое творыць, ці не праўда?

Усё ўсміхваючыся, Петрачэнкаў падышоў да людзей, агледзеў малога, якога ўсё варушыў інжынер, здаецца, упершыню з цікаўнай павагай паглядзеў на Фрузыну. Праўда, ён не дакрануўся да яе сына, але ад яго зважлівасці ў Фрузыны паспакайнала ўнутры.

— Ну, што ж, чалавек, канешне, факт, гэта безумоўна, — паводзячы блішчастымі акулерамі, зазначыў ён і, яшчэ, паўсміхаўшыся, дадаў, кажучы Фрузыне: — Вы вось што, Сямашка... Напішыце заяву ў мясцком... Рублёў гэтак на трыста... І яшчэ дырэктар сказаў, на яго «Пабедзе» адвядуць вас. Так што пехатой не ідзіце.

І Фрузына нечакана адчула, як разлілася па яе цэле хваля нейкага цёплага шчымлівага пачуцця. Хвалюючыся і ўжо не збіраючыся супакойваць сябе, яна ўпершыню пачала спавіваць таго, хто здабыў ёй гэткую прыхільнасць людзей. Драздова гэты раз адступілася ад жанчыны, не памагала, толькі пільна назірала за яе яшчэ няўмелымі рухамі, тоячы на вуснах ледзь прыкметную ўсмішку. Шырока і шчыра, бы разумеючы штось таёмнае, усміхаўся Шаўроў, спагадлівая весялосць свяцілася ў марудлівых вачах Ганкі і на тварах дзвюх прыбіральныхчыц. Адна толькі Нонка чамусьці згубіла сваю нядаўнюю радасць, спахмурнела і, насупіўшы тонкія броўкі, патупілася.

Ап'янелая ад вялікага шчасця, Фрузына, аднак, не прыкмячала нічога, старанна затульвала малога і сарамліва ўсміхалася. Упершыню за шмат год жыцця адчула яна сябе чалавекам — нароўні з усімі людзьмі.

1958 г.

Няўломак

1

У яго добрае імя – Косця, прыгожае прозвішча – Верас, а людзі клічуць Няўломкам. Калі ён быў яшчэ малы і жыў у вёсцы, тады яго звалі Рудым. Гэта, пэўна, таму, што ў Косці агністыя валасы і поўны твар густога рабаціння. Рабацінне тое крыху прытухае ўзімку, а пад весну разгараецца такой яркай чырванню, што хлопцы на рыштаваннях жартуюць калі: «Няма запалак – прыкурым з Няўломка».

Недарэчную гэту мянушку прыляпіў да Косці Правіла. Ён сапраўды гэткі ж доўгі і тонкі, як тая рэйка-правіла, якой муляры раўняюць цагліны ў радзе. Яшчэ ён злыдзень, бо не можа пражыць гадзіны, каб не пакрыўдзіць слабейшага. Яго многія пабойваюцца, многія абходзяць, а Косця дык ненавідзіць. Правіла плаціць яму тым жа, але хлопцу пляваць на яго адносіны: ён умее пастаяць за сябе. Калі б яшчэ гэткі быў Федзька, Косцеў аднавясковец і сябра, дык ім бы і не блага жылося. Але ў тым і бяда, што Федзька ціхманы і завельмі ўжо мяккі хлопец.

Вось і цяпер, доўгі і тонкі, як балотны хвошч, у расхлістанай на грудзях кашулі з'явіўся ў калідоры Правіла. Кашулю ён не зашпільваў, каб людзі бачылі цяльняшку, што ўзімку і ўлетку пярэсіць на яго грудзях. Косця ведаў, што гэта нават не цяльняшка, а толькі шкумат, які Правіла мацуе на целе шпагатам. Што з гэтага карысці – няўцям нікому, хіба толькі Правілу ямчэй хваліцца сваёй колішняй флоцкай службай.

Правіла спыніўся ў дзвярах, закурыў і хцівым позіркам вузкіх вачэй пачаў аглядаць чаргу. Чарга не дужа вялікая, але гаманкая і мітуслівая. Чалавек з трыццаць муляраў, тынкоўшчыкаў, арматуршчыкаў, цесляроў прыперліся да сцяны ўздоўж калідора, гаманілі і ціснуліся наперад. Некаторыя без чаргі лезлі і штурхаліся ля маленькага закратаванага акенца, застаўленага разлінаванай фанерынай, мабыць, ад якой-небудзь дошкі паказчыкаў. У гэтай фанерыне ўнізе – маленькая дзірачка, у якую толькі пралезе рука, каб чыркнуць у ведамасці і ўзяць грошы. У калідоры адны хлопцы. Дзяўчаты часам паказваюцца ў дзвярах, нясмела зазіраюць у гэты гоман і скарэй уцякаюць назад. Уцякаюць, бо Правіла ці яшчэ хто з гэтых жа языкастых нахабнікаў не заяваюцца і адразу ўсмяляць жарт, ад якога дзяўчыне адзін паратунак – уцячы.

Сціснуты спераду і ззаду і падпёрты сцяною, Косця цярпліва чакаў свае чаргі. Нахмурыўшы бровы, хлопец неўпрыцям пазіраў у парог, дзе, заклаўшы ў кішэні рукі, усё шныпарыў па людзях Правіла. Ён даўно ўжо атрымаў сваю палучку (без чаргі, вядома), збегаў, відаць, на рог спатоліць прагу, і цяпер яшчэ нешта трэба гэтаму злыдню. Косцік здагадваўся, каго выглядваў Правіла, і хлопцава нутро напаўнялася абурэннем.

– Федзька, – крыкнуў ён сябру. – Федзька, гэі!

Федзька быў ля самага акенца. На вокліч таварыша ён павярнуў белабысы, круглы, заўжды з усмешкаю твар і моўчкі глянуў на сябра сваімі дзясочымі прыгожымі вачыма.

– Федзька, чакай мяне. Чуеш?

Пэўна, хлопец пачуў, але не адказаў нічога. Не адказаў, вядома, таму, што па калідоры да чаргі, раздзімаючы тонкія ноздры, ужо падыходзіў Правіла. Ён спыніўся збоч Косці, прыплюшчыў праз дым сваё хцівае вока і, не вымаючы з зубоў папяросы, ляніва спытаўся:

– Яшчэ морда цэла? Га?

– Не палохай, – спакойна адказаў хлопец. – Няма чаго абіраць людзей.

– Ага, так, Няўломак?

– Так.

Правіла яшчэ пажмурыўся з хвіліну, нібы згадваючы, што зрабіць гэтаму хлопцу, а потым, паводзячы з боку ў бок кашчаватай хрыбецінай, выйшаў на двор.

Чарга пасоўвалася марудна, хлопцы пацелі, штурхаліся ля акенца, цяжка было пралезці туды, але не лягчэй і вылезці. Ужо не адзін гузік, звонка цокаючы, каціўся ў кут па бетоннай падлозе. Але што там гузікі – сёння ўсе былі багатыя і вясёлыя, і хоць балелі бакі, але смяяліся твары, і ніхто не сварыўся.

Неўзабаве, адштурхоўваючыся ад людзей, нібы тыя не хацелі выпусчаць яго, вылез з натоўпу і Федзька. Яго шэрая кепачка нейкім цудам трымалася на патыліцы, хлопец абэруч прыціскаў да грудзей свой двухтыднёвы заробак.

– Глядзі ж, чакай мяне. Разам пойдзем, – папярэдзіў Косця.

Федзька кінуў галавой і адступіў на вальнейшае месца.

На дварэ наступаў вечар, і ў калідоры патроху цямнела. Недзе, змагаючыся з хмарамі, раз-пораз заглядвала ў акно сонца, і на сцяне пад столлю нядоўга, але ярка ззяла касабкая латка святла. Пакрысе яна ўсё менела і, нарэшце, знікла зусім. «Хоць бы не зачыніўся магазін, – занепакоіўся Косця. – Ну ды цяпер ужо хутка...». Яшчэ міне трохі часу, і ён атрымае палучку, заробленую жорсткімі, збітымі цэглай рукамі, і пабяжыць у ювелірны магазін. Там ён даўно ўжо аблюбаваў сабе жаданую пакупку – наручны гадзіннік «Кама» – дзівосную штукавіну з чорным цыферблатам і фосфарнымі лічбамі. Уначы, калі выключаць у інтэрнаце святло, яны будуць ціха свяціцца роўнымі зеленаватымі агеньчыкамі, бы тыя светлячкі на трухліне. Прачнешся, зірнеш – адразу відаць, колькі яшчэ спаць, ці скоро ранак. На будоўлі таксама стане вунь як зручна, заўжды відаць, якая гадзіна, не трэба будзе чакаць гудкоў ці, задраўшы голаў, пытацца пра час у кранаўшчыцы Зінкі.

Чым бліжэй да акенца, тым цясней рабілася ў чарзе. Хлопцы бясконца штурхаліся, і ўсё таму, што адны стаяць гадзінамі, чакаюць, а другія пнуцца атрымаць адразу.

Вядома, гэта ўсё зубастыя ды хвацкія, і ніхто не дасць ім добрага адпору.

Адзін з такіх – Шпур, мурласты і рукасты дужака, заўсягдашні Правілаў хаўруснік. Рассоўваючы людзей локцямі, ён пралез да акенца і атрымаў грошы. Хлопцы бурчалі, але ціснуліся, саступалі з дарогі, і ніхто як след не дапёк гэтаму нахабніку. Адзін толькі Косця не хацеў зважаць і, хоць з выгляду быў зусім блазан супраць баксёрскай постаці Шпура, злосна кінуў з чаргі:

– Хлопцы, нашто пушчаеце? Хай бы пастаяў, падумаеш, цаца!

Шпур азірнуўся на голас, паказаў кулак і падаўся сабе ў дзверы. Косця пашкадаваў толькі, што не дадзена яму болей сілы – ён правучыў бы нягодніка як след.

Але вось і яго чарга. Хлопец нетаропка і роўна вывеў сваё прозвішча на чыстым радку і, падабрэўшы, пазіраў у акно, дзе ўжо мільгацелі яго хрумсткія паперкі. Як таго патрабуе парадак, ён тут жа, ля акенца, яшчэ раз пералічыў іх – 378 рублёў – здаецца, якраз хопіць на яго мару і яшчэ застанецца. На пражыццё не хопіць, вядома, але ён як-небудзь стрывае. Галоўнае – набыць гадзіннік, які ўжо сніцца яму амаль кожную ноч.

Хлопец вылез з чаргі, у патайную кішэню пінжака акуратна засунуў грошы, зашпіліў яе шпількай і пайшоў шукаць Федзьку.

На дварэ папырскаў невялікі дожджык і цяпер, хутка беручыся плямамі, падсыхаў асфальт дарожкі, духмяна пахла клейкае лісце таполяў. На бетонных прыступках высокага ганка сядзела некалькі хлопцаў, Косця зірнуў сюды-туды – сябра нідзе не было.

– Федзькі не бачылі? – устрывожана спытаў ён, адразу адчуўшы непакой у душы.

– Федзька? – ухмыльнуўся хлопец з запэцканым вапнаю тварам. – Быў ды ўвесь выйшаў. Змабілізаваны, брат, Федзька: пайшоў з Правілам.

Косця прыкусіў губу і насупіўся.

– Вось жа дурань! Казаў пачакай, дык не. А матка з дому дзвесце рублёў просіць – парася купіць. А ён вунь што!

– Лічы, што парася гэпнулася, – ухмыльнуўся хлопец. – Ужо Правіла паклапоціцца.

– Трэба шукаць, – вырашыў Косця. – Куды ж іх чорт панёс?

Ён збег з прыступак і ў брамцы спаткаўся з Зінкай. У чысценькай светлай сукенцы, у белых шкарпэтках, з малюсенькім чамаданчыкам у руках, яна была зусім нейкай інакшай, лепшай, чым звычайна, у сваёй зашклёнай будцы на кране.

– Зіна, не бачыла Федзькі? – спытаўся Косця, чамусьці асцерагаючыся глядзець у яе прывабны кірпаты твар.

– Не, не бачыла, – крутнула яна, з затоенай усмешкай зірнула на яго і, узмахнуўшы чамаданчыкам, падалася ў кантору.

Косця трошкі затрымаўся, паглядзеў услед дзяўчыне і адварнуўся. Усе навокал ведалі, што яна закахана ў Федзьку, гэтага прыгожага балбеса, а што ёй Косця? Да Федзькі яшчэ падбіваецца Шурка з бетонкі, Ванда са сталоўкі – вязе хлопцу на дзевак. У Косці ж няма нікога.

Косця выйшаў на вуліцу, паглядзеў у адзін бок, у другі, уздыхнуў і пайшоў шукаць сябра.

2

Болей за злодзеяў, нахабнікаў і хлусоў не любіў Косця п'яніц. За пражытыя ім васемнаццаць год хлопец вельмі добра пазнаў, якія беды нясе п'янства людзям. Гадоў колькі назад у яго была маці – ціхая лагодная жанчына, найлепшая за ўсіх людзей, якіх толькі ведаў Косця. Бадай, яна адна па-сапраўднаму любіла гэтага рудагаловага хлапчука і клікала яго трошкі старамодна, але ласкава – Касцючок. Яны тады жылі на станцыі, у іх была лянівая каза і безліч дзівосных чыгуначных штукавін: цяжкія кіркі, ламы з раздвоенымі, як казіныя капыты, канцамі, флажкі, доўгая жалезная трубка з роўнем пасярэдзіне. Была яшчэ каляска на двух колах, у ёй маці катала яго на рэйках, калі вярталася з перагону, дзе падбівала шпалы. Косцік тады насіў

фуражку з эмблемай ключа і молата на аколышцы, у яго кішэнях заўжды бразгацелі расплясканыя цягніком манеты. Гэта было ўжо далёкае, як сон, але незабыўнае шчаслівае жыццё. Бацькі тады не было.

Але вось аднойчы ў іх маленькі домік-будку з'явіўся бацька. Ён быў чорны ад вугальнага пылу, бруду і шчаціння, якое ніколі не выводзілася на яго твары. Маці спачатку хадзіла вясёлая, потым стала задумлівая, а пасля пачала плакаць. У іх не хапала грошай, а бацька, аднекуль позна прыйшоўшы ўначы, грукаў дзвярыма і незнаёмым грубым голасам клікаў маці. Маці палохалася, уцякала ў акно і хавалася ў палісадніку, а бацька кідаў па пакоі табурэткі і дзіка крычаў:

– Маня! Гадзіна! Хадзі сюды!

Косцік ад страху таксама высакваў у акно, прыціскаўся ў кусце бэзу да дрыготкага цела маці і прасіў:

– Мамачка, мама... Уцячом! Давайце ўцячом...

Але маці нікуды не ўцякала, плакала і пазірала ўсё ў асветленае акно, дзе звярэў бацька. А той, ашаломлены гарэлкай, хапаў з-пад лаўкі сякеру і замахваўся на кафельную грубку – тую грубку, якую ім змураваў вартаўнік Восіп і якая дужа падабалася маці.

– Маня! – роў бацька. – Лічу да трох і крышу ўсё ў пыл!..

Ён і сапраўды пачынаў сеч грубку, аж пырскалі ў бакі кавалкі кафлі, і маці з крыкам кідалася ў хату.

Бацька бушаваў усю ноч. Біў маці, ламаў мэблю, шукаў Косцю, равучы на ўсю станцыю, што заб'е «рудога шчанюка». А на другі дзень гэты агідны чалавек поўзаў перад жонкай, цалаваў яе босыя ногі і плакаў. Маці таксама плакала, плакаў і Косця – ад нянавісці да бацькі і жалю да маці.

Неяк усё ж бацька ўціхамірыўся і не піў месяцы са тры. Маці зноў павесялела, памаладзела і, калі яны з сынам заставаліся ўдваіх, казалы, што бацька добры, толькі хворы і нешчаслівы чалавек. Але Косця не верыў у гэта. Ён па-ранейшаму ненавідзеў бацьку, а бацька бачыў тое і ненавідзеў сына.

Аднак радасць маці была нядоўгай. Узімку пад новы год бацька зноў напіўся, выгнаў яе на снег і гнаў босую аж да суседняй вёскі Глінішчаў. Пасля маці захварэла і памерла. Бацька прадаў казу, разгойшыў набытак, запіў яшчэ болей, і Косцю жыць дома стала нельга. Хлопец надзеў стары мацерын кажухок, фуражку з эмблемай, узяў свой двухлязы ножык і пайшоў у вёску. Там яго прытуліла нейкая радня, ён дахадзіў зіму ў школу, а потым пасвіў жывёлу. Тады ж ён пасябраваў з Федзем і з ім два гады назад прыехаў у горад і паступіў у будаўнічую школу.

І вось цяпер гэты самы Федзька, ціхі добры хлопец, паддаўся шайцы Правілы і прапівае з ім свае грошы. А дома ў гэтага лайдака клапатлівая, старэнькая маці, якая кожны тыдзень шле яму пісьмы, у кожным пісьме яна абодвух іх называе сынкамі і ўсё бядуе пра іх цяжкае жыццё «на мурах». Дык як было стрываць хлопцу і спакойна глядзець, як на вачах у яго бэсціцца гэты неразумны, але ўсё ж свой чалавек.

І Косця шыбаваў па гарадскіх вуліцах, зазіраў у сталоўкі, закусачныя, піўныя – шукаў Федзьку.

3

Розных закусачных, бутэрбродных, піўных у горадзе было безліч. У кожнай каморыне памерам ледзь не з сабачую будку, дзе толькі магло змясціцца пяць чалавек, нейкія людзі гарадзілі прылавак, ставілі пару сталоў і прадавалі гарэлку. Косця даўно ўжо дзіву даваўся, чаму гэта адны чытаюць лекцыі, пішуць у газетах пра шкоду алкаголю, а другія гэтак заўзята гандлююць гарэлкай. Забараніць бы яе зусім ці выдаваць у аптэцы або хоць бы прадаваць раз у месяц перад якім святам, як тыя дрожджы. Дык не. На кожным рагу шырокімі радамі вабяць з вітрын спакулівыя для дурняў бутэлькі.

Косцік аббегаў з паўгорада, злятаў за Нёман у славетную «Хвалю», зазірнуў у два рэстараны, аднак тых, каго трэба, нідзе не было. Ён занепакоіўся, што патраціў шмат

часу і, мабыць, спазніўся. Увесь час, лётаючы па вуліцах, ён вельмі злаваўся на Федзьку і на сябе таксама, што адпусціў хлопца, не ўтрымаў. Што ён напіша Федзькавай маці, калі той прап'е грошы і нічога не пашле ёй. Вось жа безгаловая істота, ну хіба ж так можна? Калі б хоць Косця не засцерагаў яго, не гаварыў, што так нягожа, што трэба жыць сваім розумам, а не слухаць гэтага прайдзісвета Правілу. Дык не ж!

Так хлопец прыбег на вакзал, паглядзеў ля аднаго ларка, ля другога – знаёмых не было. Тады ён збочыў у завулак, дзе яны некалі вазілі арматуру на дваццацісям'ікватэрны дом, – там, здаецца, была піўная.

Тым часам паволі вечарэла. Косця хутка крочыў па няроўным вузенькім тратуары, зазіраў на шыльды. Было прыкра, што Федзька перастаў слухацца і рабіў яму адны клопаты. Ну але ён усё роўна не адступіцца, і калі ўжо ўзяўся, то вырве яго з гэтай кампаніі. Косця нават усміхнуўся з свае рашучасці, – мусіць, таму і клічуць яго Няўломкам, што ўпарты ён і заўжды гне сваю лінію. Але хай. Хай завуць, як хочуць, а характар ён перамяніць не можа.

Піўная сапраўды была на тым самым месцы – між вялікіх цагляных дамоў лісліва прыткнуўся яе зялёны фанерны буданчык. Угары над дзвярыма вісела, аднак, шыльда сасісачнай, але Косця ўжо ведаў гэтыя гандлярскія хітрыкі і штурхнуў зашклёныя дзверы.

Захожых было тут нямнога. Чалавекі два стаялі ля прылаўка, гэтулькі ж сядзела за столікам з аднаго боку дзвярэй, а за другім у куце хлопец убачыў знаёмыя твары. Прыпёршыся да сцяны, знемагаў ад п'янай асалоды расхлістаны, потны Правіла. Закаціўшы пад лоб невідучыя вочы, ён хрыпла цягнуў нейкую няскладную песню і паныла матляў галавой. Збоку ад яго ўзлэгся на край стала Шпур, які, відаць па ўсім, быў тут за гаспадара – наліваў шклянкі, бразгацеў посудам і пад песні завадатара спраўна ўплятаў каўбасу. Насупроць яго сядзелі і жавалі закуску двое незнаёмых дзецюкоў. Але дзе ж быў Федзька?

Толькі прыгледзеўшыся, Косцік убачыў Федзю, і жаласць да яго балюча кальнула хлопца. Не дужа прывычны да гарэлкі, Федзя ўжо зусім аслабеў, адкінуўся на піўную бочку, схіліў на грудзі голаў і так пакутаваў. Косця ступіў да іх стала, і тады мурласты Шпур убачыў яго.

– Гэ, Няўломак! – гукнуў ён. Правіла сціх, злабаціў голаў, насцярожана ўтаропіў у хлопца выцвілыя вочы.

– Браткі, Няўломак зламаўся – піць пачаў, – сказаў Шпур і раптам зарагатаў, шырока разявіўшы рот, напханы каўбасою. Дзецюкі здзіўлена азірнуліся, Правіла ўсё падазрона ўглядаўся ў яго, паводзячы галавой. Косцю стала агідна ад гэтых п'яных выкрыкаў, нялюдскіх, нахабных твараў, і ён ступіў да сябра:

– Федзя, – нягучна паклікаў ён. – Федзя!

Федзя ачнуўся, убачыў яго, хацеў устаць, але пахіснуўся, і Шпур лёгкім дотыкам сваёй цяжкай рукі пхнуў яго на ранейшае месца.

– Цыц! – гаркнуў ён. – Во яшчэ нянька знайшлася. Маленькі, нос трэба абцерці, порткі надзець! Га? Ну дай ручку, Фядзюк, ён цябе ў яслі павядзе. Ты ж сапляк, блан, а ён твой кодлач...

– Палундра! – раптам грывнуў Правіла і ляснуў па сталае кулаком. Доўгі сухі твар яго наліўся п'янай лютасцю. Федзька няўцямна зірнуў на Косцю, на зрудзелага страшнага Правілу і жаласна ўсміхнуўся. На нейкі час стала ціха, Косцік цярпліва чакаў, хоць яго аж перасмыкала ад агіды і няёмкасці быць у гэтай адзічэлай п'янай кампаніі. І тады Федзька – той самы добры, падаткі Федзька, пра якога гэтак клапаціўся Косця, – замармытаў нейкім чужым і бездапаможным голасам:

– Адчапіся, Косцік. Ну чаго ты прывязаўся? Я ж сам не малы...

– Чуў? – другі раз грывотна зароў Правіла і зноў пагрозліва і запытальна ўтаропіў у хлопца свае п'яныя, затуманеныя бельмы. – Чуў? Каціся к сякой-такой матары, салага несалёная!..

За сталом заварушыліся. Шпур дэманстратыўна саўгануў да локцяў рукавы, агаляючы ўшчэнт статуіраваныя

валасатыя кісці. Правіла рвануў на грудзях світку і, сагнуўшыся крукам, цяжка ўзняўся за сталом, бы збіраючыся праз яго скочыць на хлопца. Косцік насупіў бровы і не крануўся з месца.

– Федзька, ідзі дамоў! – цвёрда сказаў ён.

Але Федзька ўжо баяўся ісці, ён ніякавата патупіўся, каб не зірнуць у сябравы вочы, і туліўся да бочкі. А Правіла шырокім жэстам ускінуў над сталом доўгую кастлявую руку і тыцнуў на дзверы:

– Прэч, салага! Выгрузіць яго! Майнай, братва!

Хлопцы адкінулі табурэткі і падаліся да Косці. За прылаўкам завішчала буфетчыца, нехта з-за другога стала пачаў нерашуча суцішваць людзей. Косця, аднак, стаяў спакойны і стрыманы.

– Пусціце Федзю, – казаў ён. – Не маеце права спойваць яго. Яму грошы патрэбны, у яго маці...

Правіла зноў нешта зароў з-за стала, і Шпур растапыранай пяцярнёй ткнуў у Косцеў твар. Іншыя схапілі яго за рукі, за плечы, пачалі штурхаць у дзверы. Аднак дзверы былі вузкія, і Косця рашыў не здавацца.

У гэтай цеснай будыніне пачалася барацьба. П'яніцы таўкліся ля хлопца, штурхалі яго і адзін аднаго. Шпур учапіўся за нейчую нагу і так падварнуў яе, што адзін п'яны дзяцюк зароў дзікім голасам. На Косцевых плячах затрашчаў пінжачок, нехта балюча выкруціў яму руку, крычала за прылаўкам буфетчыца, а Косця супраціўляўся з усяе сілы і ўсё цвярдзіў сваё:

– Пусціце Федзю. Пусціце... Не маеце права прапіваць яго грошы! Паразіты... Блатнякі...

Хлопца ўсё ж выштурхнулі за дзверы.

Шпур апошні раз балюча выцяў яго ў грудзі, і Косця, глуха войкнуўшы, апынуўся на вуліцы. Ззаду гучна бразнулі дзверы, і ўсё сціхла, а хлопец, душачыся ад крыўды і злосці, стаяў яшчэ на вышчарбленым тратуары і пазіраў у выбітую ў дзвярах шыбіну. Правіла сеў у куце, Шпур адразу ўзяўся наліваць шклянкі, дзецюкі, злосна сапучы, пачалі закурваць, а збоч, затуліўшы далонямі твар, сядзеў Федзька.

У Косцікавай душы зноў перамяшалася ўсё: і злосць, і крыўда на сябра, і хлынуў аднекуль жаль да яго, бездапаможнага і дурнога, і дапякала горыч ад свайго бяссілля. Але хлопец быў не такі, каб доўга паддавацца распачы і адступаць перад сілай. Ён пастаяў яшчэ, падумаў і пайшоў, цвёрда рашыўшы дамагчыся свайго.

4

Соладка спіцца ў дажджлівы ранак выхаднога летняга дня. Не бяда, што грукочуць машыны на вуліцы, што стукаюць дзверы ў калідоры і чутна гамонка. Укарочаная танцамі, кіно і сустрэчамі, суботняя ноч займае часу ў нядзельнага ранку. І пластам ляжаць пад прасцінамі і коўдрамі падгуляўшыя хлопцы – ляжаць, пакуль не прагнецца хто першы і не наробиць крыку.

Косцік, аднак, даўно ўжо не спіць.

Каб не парушаць цішыні, ён ціхенька ляжыць на сваім скрыпучым ложку ў куце, пазірае ў столь і ніяк не можа перадумаць усяго. Хлопец зусім не выпаўся ў гэтую ноч, балела галава ад стомы, а болей ад непакою і перажыванняў, што турбавалі яго.

Учора ён усё ж дамогся, што апоўначы яны апынуліся ў міліцыі – і Федзька, і Правіла, і Шпур, і тыя два дзёкюкі з аўтабазы. Міліцыянеры паклікалі туды і гаманкую буфетчыцу, і дзядзьку з-за другога століка. Дзяжурны склаў пратакол, даў падпісаць яго ўсім і пасля буфетчыцу, Косціка, Федзьку і дзядзьку пусцілі дамоў.

Пакуль хлопцы ішлі ў інтэрнат па пустэльнай начной вуліцы, Федзька крыўдліва бурчаў усё, што Косця нарабіў бяды, што цяпер ім не мінуць разбору на камсамольскім сходзе; павесяць, відаць, на ганебную дошку «Вілы ў бок», якой больш, чым міліцыі, баяліся Шпур і Правіла. Ды і на рабоце колькі будзе размоў, калі ў панядзелак даведаюцца людзі, што адбылося ў гэтую ноч. Ва ўсім ён вінаваціў Косцю, скардзіўся на яго зацяты, нялюдскі характар, што давёў іх да такога сораму. Косця спачатку даводзіў сваё,

лаяў неразумнага сябра, каторы раз тлумачыў, якія злыдні Шпур і Правіла і чаго дастукаецца Федзька, калі не пакіне вадзіцца з імі. Косця і гарачыўся і злаваў, але потым змоўк. Хіба мог тады зразумець што-небудзь гэты яго п'яны дурань? Другая справа пасля, калі той праспіцца, – ужо ён паставіць тады пытанне рубам – ці з Косцем, ці з Правілам. З гэтым намерам хлопец і прачнуўся ўранку.

На дварэ, відаць, ішоў дождж, у пакоі быў змрок. Верхавіна таполі, што заўжды зазірала ў акно іх паверха, устрывожана варушыла мокрым лісцем; з карніза за шыбай мерна падалі вялікія кроплі. На ўсіх шасці ложках яшчэ спалі хлопцы, за тумбачкай побач ціхенька скурчыўся Федзька. Косцю здалася, што ён спіць, хлопец неўпрыцем зірнуў на сябра – а той шырокімі сваімі дзявочымі вачыма самотна глядзеў у акно.

Косця збіраўся як след вылаяць яго, ужо цвярозага і разумнейшага, накрычаць, каб ведаў, што ён не прымірыцца з гэтай распустай. Але выгляд у Федзькі быў такі вінаваты і гаротны, што Косця змоўчаў.

Паляжаўшы яшчэ з гадзіну, Косця ўстаў, старанна заслаў ложка, увесь час мінаючы позіркам сябра. Той таксама маўчаў і ўсё маркотна глядзеў у акно. Косця яшчэ паптаўся крыху ў праходзе, пасля закінуў на плячо ручнік, узяў мыльніцу і пайшоў у мыцельнік.

У вузкім гэтым цемнаватым пакойчыку з ночы гарэла пад столлю лямпачка, пад кранам мыўся тынкоўшчык з сёмай брыгады. Тынкоўшчыкі любяць папаласкацца ў вадзе, і гэты хлопец мыўся старанна і доўга, аж стогнучы ад асалоды. Пасля ён гэтак жа старанна выціраўся і, ужо канчаючы, запытаў у Косці:

– Ці праўда, кажуць, ты на Правілу і Шпура ў міліцыю даказаў?

– Праўда, – коратка адказаў хлопец, намывляючы рукі.

– І на сябрука свайго Федзьку таксама?

– Таксама.

– Здрава, брат.

Тынкоўшчык не сказаў болей нічога, сабраў сваё начынне і пайшоў, але Косцік выразна адчуў яго варожасць і пагарду да сябе.

Адразу засмуткаваўшы невядома чаму, ён нетаропка памыўся. Вось не разумеюць людзі, чаго дабіваецца Косця, не разумее і Федзька. Усе думаюць, што ён які дзівак, упарты Няўломак, што ён дзеля свайго нораву бунтуе супроць звычайнага, прывычнага, хоць і нядобрага. «Хто не п'е? – усе п'юць, толькі трэба ўмеючы, каб усё было ціха і гладка», – кажуць людзі. Але хіба п'янка прынесла каму дабро?

Калі Косця вярнуўся ў пакой, Федзька ўжо ўстаў. Паставіўшы на падлогу босыя ногі, ён нерухома сядзеў на ложку. Галава хлопца з раскудлачанымі валасамі цяжка звисала долу. Косця не вытрымаў:

– Ну што, кепска?

Федзька не адказаў.

У інтэрнаце рабіць не было чаго, але Косця не спяшаўся на сьнеданне. Без пільнай на тое патрэбы ён пачаў перакладаць драбязу ў тумбачцы – яму карцела ўсё ж дапячы Федзьку.

– Дык здаволіўся ўчора? Можна, і сёння таго ж хацеў бы? Дурны ты, як пень альховы, скажу я табе па шчырасці.

Федзька ўсё маўчаў, хілячы голаў. Ён аблакаціўся на калені, падпёр кулакамі скроні і быццам не чуў злосных Косцевых слоў.

У той час пачалі прачынацца хлопцы, заварушыліся пад коўдрамі, прыслухоўваючыся да гамонкі. Косця змоўк і, прыгадаўшы, што ў яго адарваны рукаў пінжака, пачаў прышываць. Федзька ўздыхнуў, узяў на хлопца самотныя вочы і вінавата папрасіў:

– Пазыч мне грошай, а, Косця?

– Во, якраз усю ноч чакаў, – з'едліва адказаў Косця, строга азіраючы сябра. – Прапіваць дык з Правілам, а пазычаць у мяне.

Федзька заварушыўся, пакутна паморшчыўся сваім круглявым тварам.

– Ведаеш... маці ж паслаць. Думаў, застанецца, ды дзе там...

– П'яніца ты няшчасны, – уздаваўся Косця. – Да чаго ж ты дастукаўся, дурань? Столькі грошай прапіць – дзе

твая галава была? Не дам ні рубля, хоць канай. Хай табе Правіла дае, — злосна абвясціў Косця.

Федзька ведаў характар сябра і болей не прасіў. Ён узяў ручнік і выйшаў з пакоя.

Косця завязаў вузельчык, адарваў нітку і ўздыхнуў. Новы невясёлы клопат усё болей агартаў яго. Што цяпер было рабіць з гэтым дурнем? Хто яму дасць грошай, каб паслаць маці? Вядома, піць дык сяброў знойдзецца шмат, а вось памагчы небараку, апроч Косці, няма нікога.

Сяк-так Косця прышыў рукаў — атрымалася нішто сабе, добра яшчэ, што парвалі па шве, а не па цэлым. Косцік узняў адзежыну за плечы, разгарнуў. Пінжачок быў суконны, ужо не новы, заплямлены, лепшага хлопец не меў — усё неставала грошай. Але што пінжак — ён паслужыць яшчэ, а вось гадзінніка шкада. Купіць яго ўжо не прыйдзецца пакуль што, і ўсё гэты Федзька...

5

У сталовай Косця снедаў адзін — ён быў невясёлы. Федзька неўпрыям знік з інтэрната, і сябра думаў цяпер, што з яго земляком робіцца нешта благое. Мусіць, прыйдзецца схадзіць да старэйшых — да прараба Івана Сымонавіча або ў камітэт камсамола. Усё роўна так гэтага пакінуць нельга — нельга дапусціць, каб хлопец спіўся — што тады скажуць пра іх абодвух у далёкіх Глінішчах?

Заплаціўшы за сняданак, Косця паціху падаўся на выхад. На дварэ сыпаў дробненькі, але густаваты дожджык, і ў дзвярах таўкліся дзяўчаты і некаторыя хлопцы, што зранку ўжо апануліся ў лепшае. Дождж цяпер палохаў іх, і яны ў нерашучасці чакалі, баючыся выбягаць на мокрае. Косця аднак не баяўся — наставіўшы каўнер пінжака, ён ступіў з ганка.

Хлопец ішоў на пошту.

Ён рэдка калі заходзіў у гэты вялізны будынак на га-лоўнай вуліцы. Ніколі ў яго не было тут ніякай патрэбы — ён нікому не пасылаў нічога і ні ад каго не атрымліваў. Толькі калісьці ўзімку яны з Федзькам прыходзілі сюды

па пасылку ад ягонай маці і пасля з тыдзень ласаваліся смачнымі вясковымі каўбасамі. Федзька тады быў цішэйшы, і Косця меў болей улады над ім.

На пошце Косця нагледзеў патрэбнае акенца ў вялізнай зале, папрасіў у дзяўчыны картку паштовых пераводаў і прысеў за сталом. Не прывыкшы да пісаніны, ён аж уходаўся, пакуль напісаў усе адрасы, суму лічбай і пропісам. Калі ўсё было зроблена, хлопец зірнуў на другі бок карткі – там таксама трэба было напісаць штосьці. Косця падумаў, незнарок капнуў з пяра на заплямлены і без таго стол і не надта прыгожа вывеў: «Мама, пасылаю вам 200 руб. Жыву добра, працую з Косцем. Федзя».

Пасля Косця адшпіліў сваю тугую кішэню і падышоў да акенца.

Трохі паспакайнеўшы, хлопец вяртаўся ў інтэрнат. Дождж спыніўся, разы са два з неба ўсміхнулася сонца і, нібы засаромеўшыся сваёй усмешкі, схавалася зноў. Надвор'е пад поўдзень абяцала ўсё ж разгуляцца. Па вуліцы шпацыравала безліч народу. Зграбна апранутыя ў кароценькія шэрыя курткі, беглі кудысьці дзяўчаты-студэнткі. Косця стрымана глядзеў на іх мільготкія вясёлыя твары, але ніводная з дзяўчат не затрымала свайго позірку на гэтым адзінокім нехлямяжным хлопцы.

І раптам у людской мітусні з-за рога паказаўся Федзька, а з ім поплич – Зіна. Косця чамусьці аж узрадаваўся, убачыўшы дзяўчыну і свайго няўдалага дружбака. Але нешта новае, насцярожлівае мільганула на вясёлым Федзевым твары – ён тузануў за рукаў Зіну і сышоў з тратуара. Дзяўчына, няўцямна азіраючыся, таксама падалася за ім, і яны апынуліся на другім баку вуліцы.

Ад нечаканасці Косця спыніўся і прыкусіў губу.

Але нездарма ён зваўся Няўломкам, каб лёгка адступіцца і дазволіць Федзьку канчаткова сапсавацца. Ён паказаў сябру кулак і, поўны рашучасці, перайшоў вуліцу. Трэба было высветліць адносіны і, як кажуць, паставіць кропку над «і».

1958 г.

Калі хочацца жыць...

Мы спаўзлі на мулкія груды голага ўзбярэжнага абрыву і, зацяўшы дыханне, сціснуўшы ў сабе знямоглыя сэрцы, узіраліся на ўскраек кручы, дзе ў бяхсмарным ранішнім небе гойдаліся зблытаныя сцябліны палыну і дзе вось-вось павінны былі з'явіцца яны. Зрэшты, узіраўся туды адзін я. Мой зямляк і неразлучны сябра Алёшка курчыўся ад болю, біўся патыліцай аб цвёрдыя, як камень, гліністыя брылы абрыву і чужым слабым голасам, ад якога ў мяне млела сэрца, прасіў даканаць яго. У пяці кроках ад нашых даўно не пераабубаных, спавітых абмоткамі ног лена пляскаў хвалямі Дон – наша нядаўняя надзея і наш цяперашні смяротны рубеж.

– Не марудзь... Чуеш? І ўцякай... Ты, можа, як-небудзь...

Замурзанымі аб зямлю пальцамі ён шкрабаў па глінішчы абрыву і, не зносячы пякельнага болю, распачна матляў галавой. Я не мог ні дапамагчы яму, ні абнадзеіць: разрыўная куля з нямецкага бронетранспарцёра перабіла хлопцу нагу, і яму ўжо, відаць, не суджана было жыць. Кіламетры з два я цягнуў яго на сабе сюды, да Дона, за якім быў наш паратунак, але з хутара за намі пагналіся немцы, а я ўжо выбіўся з сілы.

– Не марудзь... Дабівай і пльві... Перадай калі нашым... Запомні – Алешкавічы... Малыя Алешкавічы, ля возера.

Нібы ўспомніўшы штось, ён шырока расплюшчыў свае васільковыя вочы, ўгледзеўся ў высачэзную бездань летняга неба, у якім ужо шырока і вольна панавалі промні яшчэ нябачнага за краявідам сонца, і на хлапечых ніколі не голеных шчоках азначылі свой след дзве скупыя слязіны.

Я толькі скрыгаў зубамі ад яго страшных слоў і ад усёй вялікай бяды, што ў тья жахлівых дні апанавала нас. Пад Старабельскам наш полк спачатку адрэзалі ад сваіх, пасля акружылі, разбілі, і нямецкія танкі паразганялі па стэпах, хто яшчэ застаўся жывы. Два тыдні, абдзёртыя і галодныя, мы невялічкімі групамі прабіраліся на ўсход, кожны раз натыкаючыся на ворага і губляючы апошніх байцоў.

Не маючы ніякага выйсця, я гатоў быў дабіць і сябе, толькі дабіваць не было чым: учора ўначы мы наскочылі ў лагчыне на калону ворага і, адбіваючыся, у гарачцы разраділі аўтаматы, не пакінуўшы ніводнага патрона сабе. Цяпер, апроч трафейнай фінкі на Алёшкавай папружцы, у нас не было ніякае зброі.

Трэба было нешта рабіць, каб як ратавацца, але ў мяне ад усяго перажытага, ад стомы і бяссонніцы толькі немачна гудзела ў галаве. Я прыклаў вуха да выдзьмутаі ветрам зямлі і выразна пачуў тупат ворагаў, якія даганялі нас. Я нічога не сказаў сябру, толькі зірнуў на яго, да болю ў скронях напружваючыся ў пошуках выйсця, і ён, відаць, зразумеў, што жыць засталася некалькі кароткіх хвілін.

— Валодзя! — распачна вымавіў ён. — Што ж ты робіш?!!

Ён ужо не матляў галавой, ён упіўся ў мяне сваім патрабавальным, пакутным позіркам, у якім адбівалася ўсеабыдмынная перадсмяротная туга. Я ўсё маўчаў, а ён аслабелымі рукамі нязграбна выцягнуў з похвы паіржавелую ад начной расы фінку і падаў мне.

І тады, мабыць, упершыню, я ўразумеў тое, што ўжо выразна паўстала перад маім небаракам Алёшкам. У памяці мільганулі мінулыя страшныя выпадкі — з нашым клапатлівым ротным старшыной Дорахавым, пасля — з веселуном і запявалам Траяном. Уласаўцы захапілі іх у палон параненымі, здэкаваліся, пазнявечвалі штыхамі твары, павыразалі на спінах крываваыя паскі, а пасля дабілі. Паратунку ў нас не было, аднак ці мог я аддаць дарагога Алёшку — ціхманага, яснавокага равесніка і майго земляка на здэк і такія пакуты?

Ад невыноснага гора і напружання мне здалося, што я вось-вось звар'яцею і загублю яго і сябе. Тады ўжо ніхто

з нас не пабачыць ніколі наш далёкі азёрны куток, ніхто не суніме няўцешныя слёзы нашых гаротных матак...

Алёшка ўсё курчыўся, грывасы неадольнага болю крывілі яго зрудзелы ад загару і пакутаў твар, пакрыты дробнай расой схаладзелага поту. Ад яго знявечанай, наспех перавязанай маёй папругаю нагі сцякаў, убіраючыся ў сухую зямлю, струмень згусцелаі крыві. Сонца ўжо ўзнялося над зарэчнай далеччу. Нізкае і прамяністае, яно распластала над Донам свае гонкія промні, асвяціла ва ўпор гэты голы абрывісты бераг і блішчастым мігатлівым агнём запаліла шырокі прасцяг данское вады.

І тады на гэтым абрыве збоч нас паказаліся ворагі. Іх было чалавек восем, з нарыхтаванай зброяй. Паўглядаўшыся ў раку, адкуль іх сляпіла сонца, яны па-над кручай накіраваліся ў наш бок і неўзабаве схаваліся ва ўзбярэжанай рытвіне.

Заставаліся апошнія імгненні жыцця.

На маім твары, пэўна, адбіўся жах і збянтэжанасць, я ненавідзеў сябе за тую разгубленасць, але перайначыцца не мог. Я кінуўся да Алёшкі, прыціснуўся вуснамі да яго запалых, абветраных шчок і заплакаў горка і балюча – разам з ім. Ён, вядома, зразумеў, што рабілася ў маёй душы і, перамогшы сваю смяртэльную распач, слаба ўсміхнуўся, каб суцешыць мяне.

– Ну, нічога... нічога... Я сам...

Дрыжачымі, бяссільнымі рукамі ён падняў з зямлі фінку і наставіў яе канец пад левую кішэньку свае аблезлай старой гімнасцёркі, У той час з абрыву даляцелі галасы – матляючы рамянямі аўтаматаў, сюды беглі трое цыбатых немцаў – яны, відаць, заўважылі нас.

– Бывай, братка! – цішэй і гаротней за ўсе разы прамовіў Алёшка, зразумеўшы, што прыйдзеца гінуць абодвум, і прастагнаў ад нейкага іншага болю, куды мацнейшага за боль свае смяротнае раны: – А як хочацца жыць! Помсціць!!!

Гэтая яго нелюдская туга ўраз парушыла ва мне нешта непадуладнае чалавеку, нешта надарвалася ў маіх знямо-

жаных ад гора грудзях, і я выхапіў з яго пальцаў тую паіржавелую фінку.

— Алёшка! — дзіка вырвалася з майго нутра, і я адчуў, што звар'яцею, калі не выратую яго. А ён паслухмяна варухнуў павекамі і недаўменна павёў па мне сваім развітальным позіткам, спакойным і ясным, як тое далёкае неба, што вісела над намі. І тады, адчуўшы, як напружылася ва мне нестрываная сіла, я схапіў сябра пад пахі і рынуўся ў раку...

Пасля было страшнае, але яно засланилася ад мяне нечалавечым напружаннем маіх апошніх сіл. Захлёбваючыся сцюдзёнай вадой, я шалёна лупіў нагамі, гарнуў вадзяныя глыбы і, як здзічэлы, ірваўся ў зіхатлівую мітусню сонца. Гулкім надрэчным грымошцем ззаду грукаталі стрэлы, наўкола градам сыпаліся кулі, здавалася, ад іх кіпела і булькатала данская вада. Ад незвычайнага намагання мярцвелі мае рукі і ногі, а я, не азіраючыся і штораз глыбей правальваючыся ў рачную бездань, болей пад вадой, чым на паверхні, усё далей і далей валок на сабе прыціхлага сябра. Урэшце неяк прыбіўся к берагу, і там, у трыснягу на пясчанай водмелі, выцягнуўся паўжывым знямелым трупам.

...Ачнуўся, калі з паўдзённага неба свяціла высокае сонца. Было ціха, між шархоткіх сцяблін трыснягу снавалі зялёныя стрэлкі, санліва плёскалі ля берага хвалі. Спалоханы цішынёй, я выскачыў з вады: у якіх пяці кроках ляжаў мой Алёшка — ляжаў нерухома, уткнуўшы твар у празрыстую мель узбярэжнай вады.

Здаецца, я зноў страціў прытомнасць...

Пасля, адубянелы ад холаду і мокры, я стаў на калені. Адарваўшы рукаў гімнасцёркі, прамыў сваё прастрэленае куляй плячо і, угледзеўшыся ў люстраную гладзь вады, знячэўку ахнуў. Мая васемнаццацігадовая нястрыжаная галава, нібы пацярушаная снегам, свяцілася разам з аблокамі дзікай недарэчнай сівізной...

1959 г.

«Цябе пакрыўдзілі?..»

Пасля смерці маці Люся пакінула восьмы клас, адступіла суседзям свой пакойчык і ўладкавалася нянькай да знаёмай настаўніцы Дзіны Васільеўны.

Кожнага дня зранку Дзіна Васільеўна, гаропка сабраўшыся, бегла на аўтобусны прыпынак, а Люся апранала маленькіх Валерыка і Наташку і заставалася гаспадарыць, Яна прыбірала ў пакоях, мыла бялізну, купала дзяцей, рыхтавала сняданак, бегала з судкамі па абед у сталоўку. Памочнікаў у яе не было. Дзіна Васільеўна, прыйшоўшы пад вечар са школы, адразу садзілася за тоўстыя кіпы вучнёўскіх сшыткаў, якіх у яе ніколі не меншала, і ўсе хатнія справы па-ранейшаму ляжалі на Люсі. Ёй было цяжка ў шаснаццаць год несці на сабе ўвесь цяжар бясконцых хатніх клопатаў, ніхто не суцяшаў яе, асабліва не дзякаваў, але дзяўчына адчувала сваю неабходнасць у гэтым доме і старалася, як умела. Так яна і пражыла ў настаўніцы болей за два гады.

Але, відаць, так уладкаваны свет, што ўсё, што мае пачатак, мае і канец. Аднойчы позна ўвечары, калі паснулі дзеці, Дзіна Васільеўна паклікала Люсю з кухні. Люся дамывала посуд і так, у фартушку і з мокрымі рукамі, увайшла ў пакой. Настаўніца сядзела за круглым сталом над раскладзенымі паперамі, але не пісала, а, зьбика хутаючыся ў пуховы шалік, задуменна пазірала перад сабой.

Люся спынілася ў парозе, думаючы, што гаспадыня што-небудзь скажа ёй наконт звычайных заўтрашніх спраў і яна пойдзе дамываць посуд. Аднак дзяўчына нечакана ўлавіла нейкую заклапочаную разгубленасць у змораных,

нясвежих пад вечар вачах гаспадыні, і яе сэрца боязна варухнулася ў грудзях.

– Ідзі сюды, Люся, – неяк асабліва мякка паклікала Дзіна Васільеўна. – Я табе хачу сказаць...

Яна нерашуча зірнула на няньку, агледзела свае худыя тонкія пальцы і змоўкла. Люся, аднак, стаяла ўсё ля дзвярэй – яна занадта добра ведала гаспадыню, каб не здагадацца, што яе, Люсю, напаткала нейкае другое пасля смерці маці няшчасце.

– Знаеш, справа такая, – ужо болей рашуча працягвала гаспадыня. – Я надумала аддаць дзяцей у садзік... На лета гэта будзе якраз няблага... Тым больш – немалыя, падраслі ўжо... Я, канешне, шкадую вельмі, ну, але ты сама разумеш...

Люся зразумела ўсё, і нешта недарэчна крыўднае заварушылася ў яе пачуццях, стол і чырвоны абажур пакрывіліся ў вачах, яна патупілася ў падлогу і маўчала.

– Ты прабач мне, Люся, – адчуўшы яе збянтэжанасць, сказала гаспадыня, якая ўжо крыху ачуняла ад сваёй ніякаватасці. – Ты прабач, я вельмі ўдзячна тебе за Валерыка і Наташку, ну але ўжо вось падраслі... Я цябе, вядома, не пакіну так... Месца табе ўжо падшукала, заўтра сходзіш, паглядзіш, там табе добра будзе...

...Увесь той вечар у Люсі было вельмі цяжка на душы. Гаспадыня ўжо суцішылася ў спальні, ціха спалі дзеці, а яна ўсё не гасіла святла на кухні і не сцяліла сабе пасцелі. Ёй было да млоснасці шкада пакідаць гэтую адзінокую працавітую жанчыну, шкада расставіцца з Валерыкам, асабліва з Наташкай, якая пасталела на яе руках і прывыкла да нянькі болей, чымся да маці. Але ў той жа час на сподзе душы варушылася незразумелая і непадуладная ёй крыўда, што вось стала непатрэбнай, лішняй, што яна – чужая.

Назаўтра была нядзеля. Гаспадыня спала даўжэй, чым у рабочыя дні, а Люся ўстала раненька. З неадольным трывожным сумам падняла яна з ложка Наташку, апранула яе і, пакуль на керагазе грэўся чайнік, распачна туліла малую да сябе, цалавала яе сонныя вачаняты, і сэрца дзяўчыны балюча млела ў грудзях. А Наташка, зранку рвучы-

ся да забаў і цацак, матляла ў яе на руках сваімі босымі, цёплымі са сну ножкамі і, зусім не разумеючы гаротнага болю нянькі, балбатала сваё, дзіцячае, смялася.

За шырокім акном кухні, якое выходзіла ў сад, паволі зачынаўся пагодны вясновы дзень – самы сумны дзень за апошнія гады Люсінага жыцця. Напаставаўшы Наташку, яна пасадзіла дзяўчынку да цацак, а сама ўзялася гатаваць сніданак. З думак усё не выходзіла самотнае прадчуванне ростані. Праз нятоўстую сцяну чуваць было, як тупацелі па лесвіцы крокі прахожых, і ў Люсі ўвесь час замірала сэрца, як толькі з калідора даносіўся які стук.

Той шматзначны стук, якога яна зранку чакала і баялася, прымусіў яе палахліва ўздрыгнуць. Знячэўку яна выпусціла з рук шчотку, якой падмятала ў калідоры падлогу, нерашуча замерла перад дзвярыма. Яна ўжо ведала, што гэта за ёю, і гатова была ўцячы ад гэтага цвёрдага, упэўненага грукату – яна западозрыла ў ім нешта варожае і нязладнае. Але ўцякаць не было куды, а з пакоя ў адчыненых дзвярах паказалася ў сваім квяцістым халаціку Дзіна Васільеўна – і Люся павярнула ключ.

Дыхнуўшы ў кватэру нябачным воблакам нейкіх вельмі салодкіх духоў, парог пераступіла поўная, немаладая ўжо кабета, з маладжавым дагледжаным тварам. Падцяўшы пульхныя нафарбаваныя вусны, яна кінула на Люсю кароткі, усё разумеючы погляд, з прывычнай ветлівасцю заўсміхалася, калі ўбачыла Дзіну Васільеўну.

– Вось, Люся, пазнаёмся, гэта Маргарыта Яўгеньеўна. Яна хоча ўзяць цябе.

– Так, так, – мякка пацвердзіла Маргарыта Яўгеньеўна, уважліва разглядаючы Люсю падфарбаванымі вачыма. – У нас сям'я невялікая, малых няма, работы будзе нямнога. Галоўнае – уборка, ну там які сніданак, какава ды пакупкі. У мяне хворае сэрца, я не магу бегач па магазінах, муж заняты, а Ігарок не вялікі памочнік маці: ведама, юнак, у яго свае інтарэсы.

Яна пазірала на Люсю, чакаючы згоды, а можа і адкрытай радасці ад яе паведамлення пра добрыя ўмовы. Але дзяўчына круціла гузік на сваім сарафане і маўчала.

– Ну дык як, дзетка?– пасля паўзы запытала Маргарыта Яўгеньеўна. – Ты згодна?

Люся ўсё маўчала, хоць ведала, што трэба нешта сказаць. Але новая гаспадыня нечым адштурхоўвала. Можаму, што сваёй напышлівасцю і яўна задаволеным выглядам зусім не падобна была на сціпую, ціхую і такую прывычную Дзіну Васільеўну...

– Ну, яна згодна, толькі не кажа. Яна, ведаеце, гордая дзяўчына, – лагодна зазначыла Дзіна Васільеўна, і ад гэтага яе тону Люсі стала безнадзейна горка і сумна.

– Тады збірайся, дзетка, а то мяне чакае таксі. Я думаю, што ты не пашкадуеш...

Яна ўзнялася з крэсла, укормленая, у дарагіх панчохах, з бранзалетамі на ружовых запясцях. Люся, як толькі мела сілы, сціснулася, быццам каленам прытаптала ўсеабдымную распач, і пайшла на кухню збіраць свой нямудры набытак. Яна павыцягвала ўсё з гаспадынінага чамаданчыка, якім карысталася, і, падумаўшы, завязала клункам у вялікую маміну шарсцяную хустку. Наташка ў новых сандаліках, прыбраная і святочная, тупала побач, усё шчабечучы неразумнае, а Валерка, нешта зразумеўшы, насупіўся і, стоячы ля дзвярэй, моўчкі назіраў за зборамі нянькі.

– А чаму ты пойдзес да гэтай цёткі? – запытаў ён.

– Так трэба, Валерка, – дрыгануўшым голасам адказала Люся.

– А ты не ідзі да яе. Я цябе не пушчу...

Люся прыкусіла губу і маўчала.

– Я пайду скажу мамцы, каб яна прагнала яе.

– І я пайду з табой, і я... – раптам зразумеўшы, што нянька кудысьці збіраецца, загаманіла і Наташка.

– Не, Наташачка, я цябе не вазьму, бо ўжо не буду болей з табою гуляць: ты пойдзеш у садзік, – сказала Люся.

Ёй стала дужа шкада гэтай выпеставанай ёю дзяўчынкі, з якою толькі яна адна і ўмела ладзіць; падумалася, што ў садзіку дзяўчынку будуць крыўдзіць, і Люся не будзе ўжо мець да яе ніякага дачынення. Ад гэтай матчынай жаласлівасці ці яшчэ ад чаго яе вочы наліліся слязьмі, следам голасна заплакала і Наташка. На плач дачкі прыбегла

Дзіна Васільеўна, яна схапіла Наташу на рукі, але тая ўсё плакала і рвалася да нянькі.

Развітанне было пакутлівым і горкім.

Быццам у нейкім цягучым тумане, Люся пацалавала дзяцей, упершыню ў жыцці падала руку ўзрушанай Дзіне Васільеўне і сказала: «Не крыўдуйце, калі што...». І выйшаўшы за новай гаспадыняй, села ў «Пабеду»... Сабраўшы ўсе свае сілы, Люся намагалася стрымаць слёзы і таму не магла ні гаварыць, ні глядзець на Дзіну Васільеўну і дзяцей. Яна прыладзілася на заднім сядзенні і маўчала.

З таго ўскраіннага квартала, дзе жыла Дзіна Васільеўна, машына выкаціла на цэнтральную гарадскую магістраль і шпарка шыбавала ў напрамку да цэнтра. Люся ніколі не ездзіла ў легкавой машыне і цяпер трошкі павесялела ад той асалоды, якую дае хуткая язда. Бы ў зыбцы, яна мерна пагойдвалася, на паваротах яе млосна хінула ўбок і прыемна круцілася ў галаве. Наперадзе, ля шафёра, з прывычным выразам уласнай важнасці сядзела яе новая гаспадыня.

На люднай шырокай вуліцы яны звярнулі ў пад'езд вялікага дома. У ладным, упарадкаваным двары з клумбамі і кустамі бэзу пад сценамі машына спынілася, і Маргарыта Яўгеньеўна нязграбна вылезла ў вузкаватыя для яе дзверы. Люся таксама пачала мацаць нейкія ручкі збоку, але дзверцы не слухаліся, і дзяўчыну мусіў выпусціць шафёр. Пасля яна дагнала гаспадыню, якая, ужо астудзіўшы прыветную ласкавасць у вачах, узнімалася па прыступках ганка.

— Вось наша кватэра, прыкмячай. Тут веранда, дзе мы п'ем чай. Дарэчы, трэба падвязаць галіны вінаграду — гэта ты ўвечары зробіш. Тут калідорчык, пярэдняя. Дываны і дарожкі будзеш выбіваць кожны ранак. Выбіваць будзеш вунь там, — паказала яна некуды ў кут двара. — Тут у нас ванная, тут гасціная.

Кватэра была вялікая і багатая. На блішчатай паркетнай падлозе ляжалі дарожкі і прыгожыя стракатыя дываны (прыбіраць будзе лёгка, міжвольна зазначыла Люся), у гасцінай стаяла дарагая канапа і два мяккія крэслы, са сцен хіліліся нейкія цёмныя карціны ў тоўстых пазалочаных рамах. У пакоі на кожным кроку стаялі нейкія столікі

і шафкі, на якіх, бы ў музеі, блішчэлі фарфоравыя і медныя фігуркі людзей і звяроў... Дзяўчына аж здзівілася, колькі тут было іх, і падумала: «Вось бы сюды Наташку – столькі цацак!». Яна спынілася ў парозе, разглядаючы багатае ўбранства кватэры, а Маргарыта Яўгеньеўна кінула на канапу плашч, спіхнула нагой з нагі басаножкі і стомлена расселася ў крэсле.

– Упарылася – такая духата! Як толькі пачынаецца лета, дык з ім і мае пакуты. Хвораму сэрцу асабліва супроць-паказана гарачыня, – скардзілася яна, абмахваючыся хустачкай. – Хоць бы ўжо хутчэй тую пуцёўку... Толькі ля мора і паратунак. Ігаро-о-ок! – раптам з маладымі звонкімі ноткамі пяшчотна паклікала яна.

Недзе ў глыбіні кватэры бразнулi дзверы, нешта рыпнула, і на парозе паказаўся той, каго назвала гаспадыня Ігарком. Гэта быў высокі юнак, крыху старэйшы за Люсю, з худым бледным тварам і грываі пакручастых валасоў на невялікай галаве. Ён спыніўся на парозе, засунуў голыя па локаць рукі ў кішэні вузкіх і караткавых блакітных штаноў і, пагойдваючыся ўзад-уперад, ляніва пацікавіўся:

– Гэта яна?

– Вось, Ігарок, гэта Люся, пазнаёмцеся, – лагодна сказала Маргарыта Яўгеньеўна і па чарзе паглядзела на абодвух, быццам параўноўваючы. Ігарок, аднак, не крануўся з месца, і не дастаў з кішэняў рук, толькі неяк бессаромна, з нахабным выразам у прыгожых, як у маці, вачах, агледзеў Люсю. Ад яго погляду дзяўчыне стала ніякавата, і нешта падобнае на злосць і прыкрасць прымусілі яе панурыцца і прыкусіць губу.

– Ну што ж, хай будзе так!.. – зноў гэтак ляніва і самазадаволена зазначыў Ігар. Выцягнуўшы з кішэні руку і гулліва падкінуўшы на далоні нейкую манету, ён лянівай паходкай знік у калідоры.

– Ігар – студэнт інстытута. Цяпер толькі прыехаў з Харкава на канікулы, – растлумачыла Маргарыта Яўгеньеўна, чагосьці заклапочана ўздыхнула і ўзнялася з крэсла. – Ну, што ты стаіш там, праходзь. Спаць будзеш тут, на раскладушцы. Свае рэчы можаш пакласці ў тумбачку.

Дарэчы, скінь свой мяшчанскі сарафан, – гаспадыня тыцнула пальцам у Люсін квяцісты пашыты ёю (самою) штапельны сарафанчык. – Для хатняй работы я табе дам нешта прыгажэйшае. Ідзі сюды.

Яна падалася ў бакавыя дзверы, Люся нясмела пайшла за ёй. Дзяўчыне было чагосьці трывожна ў гэтай кватэры. Яе пачынаў прыгнятаць самаўпэўнены тон гаспадыні і прысутнасць паблізу яе сына з нахабна-пагардлівым позіркам. Здавалася, што яна тут нейкая дужа маленькая, слабая і неразумная.

– Вось трымай, – сказала тым часам Маргарыта Яўгеньеўна і кінула ёй на рукі агніста-чырвоны кітайскі халацік. Хоць ён быў стары і сям-там дзіравы, але ад яго нельга было адвесці вачэй. Па яго чырвоным фоне распласталі крылы імклівыя ластаўкі і, бы жывыя, цвілі нейкія дзівосныя кветкі. Люся баязліва разгарнула дарагую адзежыну, а гаспадыня, бачачы яе збянтэжанасць, падахвоціла:

– Адзявай, адзявай, ён якраз табе будзе. Крышку зашыеш толькі ў баках... А вось яшчэ бяры. Гэта калі ў горад прыйдзецца збегаць, у магазін ці на рынак, – і яна падала Люсі таксама паношанае светла-блакітнае плацце. – У нас не будзеш сірацінай, калі станеш старацца...

Ад гэтых слоў гаспадыні нешта хваравітае варухнулася ў душы Люсі, але ўся яе ўвага была скіравана на падарункі. Ёй карцела разгарнуць, разгледзець, прымерыць уборы, якіх яна з роду не насіла, але гаспадыня вяла яе далей.

– Ідзі сюды. Паркет у гасцінай будзеш націраць па суботах. Калідор і кабінет Аляксандра Аляксандравіча, дзе цяпер Ігарок, трэба праветрываць зранку і ўвечары. Аляксандра Аляксандравіча зараз дома няма. Ён паехаў пісаць эцюды да карціны... З шафаў пыл будзеш выціраць анучкай. Статуэтак, крыў божа, не чапай, выціраць іх буду я. Канапы і крэслы чысціць пыласосам. Дарэчы, ты ўмееш карыстацца ім? А халадзільнікам? А пральнай машынай?

Люся не ўмела карыстацца гэтымі прыладамі навейшай цывілізацыі. У Дзіны Васільеўны нічога падобнага не было. Ды хіба можа нейкі там пыласос або пральная ма-

шына так добра зрабіць сваю справу, як гэта можна выканаць сваімі рукамі? Люся так і сказала гаспадыні, калі тая адчыняла дзверы яшчэ ў адзін пакой.

— Гэта погляды тваёй Дзіны... Спадзяючыся на твае рукі, яна не купляла нічога, што палягчае працу, — строга заявіла гаспадыня і пераступіла парог.

Люся нахмурылася.

— Дзіна Васільеўна добрая... — ціха, але ўпарта зазначыла яна.

— Добрая? Гм... Можа і добрая, але скнара. Сабе паліто з чарнабуркай справіла, а домработніца мае бялізну ў карыце... Вось яе дабрата.

Люся хацела сказаць гэтай дзябёлай жанчыне, што Дзіне Васільеўне даводзіцца адной выхоўваць дваіх малых дзяцей, што ёй цяжка, бо часта не хапае грошай, што яна эканоміць і выгадвае на ўсялякіх гаспадарчых драбязях. Ужо хто-хто, а Люся добра ведае, якая гэта клапатлівая і чалавечная жанчына. Але Маргарыта Яўгеньеўна вяла далей, кружыла па кватэры, цеснай ад мноства мэблі, і сыпала ўказанні наконт уборкі, догляду, чысткі ўсіх гэтых дываноў, шафаў, дзвярных ручак, люстраў, гардзін і парт'ер, паркету. Люся дзівілася, што гэтулькі клопату патрабуюць нямаведама каму патрэбныя рэчы. Гэта ж каб выгадаваць Валерыка і Наташку і то трэба менш старання.

Нарэшце, пазнаёміўшы новую домработніцу з яе абавязкамі, Маргарыта Яўгеньеўна падфарбавала перад люстэркам вусны і некуды выйшла з кватэры. Люся засталася адна. Яе агарнула пачуццё няпэўнай варожасці да гэтага шматклапотнага ўтулку і яго гаспадыні, якая надоечы так лісліва ўсміхалася ў вочы Дзіне Васільеўне і так зняважліва адзывалася аб ёй за вочы.

Люся агледзела падлогу, шафы, сталы, паправіла абрус, боязна абышла вялізны — большы за яе — гадзіннік у куце, які са старасвецкай важнасцю ледзь ківаў цяжкім маятнікам. Яна не ведала, што яшчэ можна зрабіць сёння, і, падхапіўшы падарункі, пабегла да вялікага люстэрка.

О, яна любіла ўбранне! Няважна, што не мела амаль нічога свайго. Усё роўна не горш ад любой модніцы разбі-

ралася яна ва ўсіх гэтых шоўках, штапелях, крэпах, нейлонах і перлонах. Спачатку Люся прымерыла агністы халацік, а пасля светла-блакітнае плацце. Яна то пацешна падміргвала сабе ў люстра, то таямніча прыхмурвалася, адкінуўшыся ўсім целам, то высока задзірала свой курносы, крыху вяснушкаваты тварык, то пагардліва аглядала ў люстэрку велічную і гордую, амаль незнаёмую Люсю, то бралася ўбокі і круцілася па пакоі, шчаслівая ад уласнай маленькай радасці. Аказваецца, яна была зусім неблагая на выгляд дзяўчынка... Паступова ёй стала падабацца і трумо, перад якім можна было падурэць з сабою, і гэтая пакаёвая раскоша з безліччу бескарысных прыгожых рэчаў. Павесялеўшая і задаволеная, яна дачакалася гаспадыню.

Маргарыта Яўгеньеўна зноў разамлела ад спёкі і ледзьве дашкандыбала да мяккага крэсла. Некалькі хвілін яна не магла вымавіць слова, усё стагнала і абмахвалася хустачкай. Пасля неяк супакоілася і агледзела Люсю.

– Ну вось, зусім не тое, што вясковы сарафанчык. Цяпер можна і на вуліцу выйсці. Дарэчы, схадзі ў ларок і запраў пару сіфонаў. Гэта ведаеш дзе? Groшы я табе зараз дам.

Яна яшчэ раз неяк пільна зірнула на Люсю, паднялася і адчыніла дзверы ў спальню. Застаўшыся адна, Люся не ўстрымалася ад спакусы лішні раз зазірнуць у трумо. Паправіла заколатыя на патыліцы косы і, задаволеная, падміргнула сабе. У гэты час да яе данёсся насцярожаны голас гаспадыні:

– Люся, зайдзі сюды..

З прывычнай гатоўнасцю дзяўчына шмыгнула ў спальню, дзе гаспадыня з нейкай зацятасцю на спацелым твары перастаўляла каробкі на туалетным століку.

– Ты грошы тут не бачыла?

– Не, не бачыла, – адчуўшы, як раптам здрыганулася сэрца, сказала Люся. – Я не заходзіла сюды.

– Гм... Дзе ж яны? Дзесяць рублёў?.. Я ж клала іх сюды.

Яна прымоўкла, узіраючыся сюды-туды і неўпрыцям кідаючы запытальныя позіркы на Люсю. А тая, трымаючыся за ручку расчыненых дзвярэй, раптам адчула, як нешта правалілася ў яе пад нагамі і яна быццам апусцілася ў нейкае пагане бяздонне.

– Значыць не бачыла? – настойлівай перапытала гаспадыня і перастала шукаць. У глыбіні яе калючых і жорсткіх вачэй прытаілася нешта атрутнае.

– Не, – крыўдлівым і чужым голасам адказала Люся, ледзьве стрымліваючы дрыготкія вусны.

Бездапаможна цярэбячы вузенькі паясок падараванага плацця, Люся безуважна прайшла каля трумо, спынілася ля завешанага гардзінай акна і невідушчым позіркам уставілася на сонечны зялёны падворак. Пасля кароткай радасці ёй зноў стала сумна і горка. Гаспадыня ўсё нешта чмыхала за дзвярыма, а яна доўга пазірала, як мітусяцца ў галлі вераб'і.

Хутка знадворку забразгалі дзверы, і ў калідоры пачуліся лянiвыя крокі. У пакой увайшоў Ігар, швырнуў на канапу пакамечаны капронавы брыль і рашуча наблізіўся да Люсі. Але ў гэты момант са спальні выглянула маці.

– Во, Ігарок, якраз дарэчы. Ты ў мяне са спальні грошы не браў?

Ігар, падрыгваючы тонкімі нагамі, адышоўся ад акна, бухнуўся ў матчына крэсла і, не спяшаючыся, дастаў з кішэні блішчасты партабак. Маці, поўная ўвагі, чакала адказу.

– Гм, – сказаў Ігар, пастукуваючы папяросай па вечку партабака, – Так сказаць, першая сямейная драма. І прадмет спрэчкі – дзесяць рублёў?

– Ну, кажы, Ігарок, – не вытрымала Маргарыта Яўгеньеўна. – Кажы, браў ці не?

– Што за наіўнае пытанне? – зноў іранічна чмыхнуў сын. – Грэх пакідаць богам пасланья пару рублёў.

Ён закурыў і, нахабна паводзячы вачыма, даследаваў знямелую маркотную Люсю.

– Ігаа-а-а-ар, – засцярожліва праенчыла маці. – Няўжо ты не мог узяць там, дзе ў мяне заўсёды ляжаць грошы? Не для цябе ж яны былі пакладзены...

Люся раптам зразумела ўсё... Не разважаючы болей, яна кінулася ў прихожую, адтуль у ванную, сарвала з сябе дараванае плацце і дрыготкімі рукамі апранула свой старэнькі квяцісты сарафанчык... Яе душыла вялікая крыўда.

Пасля скочыла ў гасціную, таропка і бяздумна выхапіла з-пад стала свой так і не развязаны клуначак і, ні слова нікому не кажучы, выбегла ў калідор...

...Убачыўшы яе з гэтым клункам на парозе, Дзіна Васільеўна толькі спытала:

– Цябе пакрыўдзілі?

А Наташка і Валерык з піскам і смехам вобцас кінуліся да Люсі, пачапляліся за яе сарафан, лемантавалі на ўвесь голас:

– Вазьмі на ручкі! Вазьмі на ручкі!

Клуначак упаў з яе рук на падлогу.

– Дзіна Васільеўна, я там не буду... Я не магу...

– Ну і клопат вялікі... Ну і не трэба, – нічога не распытваючы, толькі ўсяго і адказала Дзіна Васільеўна. – Не прападзем жа, нешта прыдумаем... Можна разам з імі, – яна кіўнула на Валерыка і Наташку, – я ўладкую цябе на работу ў дзіцячы сад. А там ты і ў вячэрнюю школу пойдзеш...

– Ой, каб так было!.. Каб так... – сказала Люся, хілячы да сябе і цалуючы Валерыка і Наташку.

[1959 г.]

Паядынак

Шчыльнымі радамі ляжалі яны на голай затаптанай падлозе былой сярэдняй школы, гэтыя некалькі сотняў палонных – параненых, хворых, душэўна надломаных людзей.

Уставаць, размаўляць і хадзіць было забаронена, і яны курчыліся так доўгія дні і ночы, застылымі позіркамі ўтаропіўшыся ў падзеўбаную кулямі столь, у разбітыя шыбы вялікіх акон, у адзінае, што яшчэ нагадвала школу – пакрэмзаную класную дошку на тынкаванай сцяне. Дарагім напамінкам былога бялелі на ёй сляды, пэўна, яшчэ вясновых экзаменаў: рэшткі сказаў з падкрэсленымі словамі, напалову сцёртая алгебраічная задача, а дзе-нідзе на беражках рамы нават паблісквалі напісаныя алоўкам выражаваўчыя вучнёўскія падказы. Гэта было жажліва – у такім пекле нялюдскіх пакут бачыць гэтакія светлыя адзнакі інакшага, далёкага ўжо, як мара, жыцця. Яны быццам дражнілі, гэтыя зацёртыя словы «Пока свободою горим...» і гэтыя рэшткі спісанай крэйды, і нават анучка – шэрая, размачаленая, даўно ўжо высахлая і забытая на самым краёчку дошкі.

Тыя напамінкі мінулага тупым нажом кроілі спакучаную душу лейтэнанта, які, шчыльна прыціснуўшыся да сцяны, ляжаў крайні ў радзе, якраз пад дошкай. Ён быў зусім яшчэ малады, гэты палонны камандзір, і вабіў сваёй юначай узмужнеласцю – зблытанымі валасамі колеру пшанічных каласоў, схуднелым, але ўсё яшчэ круглявым, чыстым і нейкім прасветленым тварам – усім абліччам добрага, паслухмянага хлопца. У класе было зусім ціха, людзі прымоўклі, ляжалі, бы мёртвыя, толькі ў далёкім

кутку нехта стагнаў у сне, нешта трызніў; роўна тупалі вартавыя ў калідоры ды ў рамах, не знаходзячы выйсця, білася, гудзела вялікая муха.

Але вось надвячоркам, калі негарачае восенскае сонца паклала на белай тынкоўцы шэсць доўгіх бліскучых палос, у калідоры загрузкалі падкутыя боты, застукалі дзверы, і засталяю цішу будынка скалыхнула каманда:

– Строіцца ўсім!

Людзі на падлозе заварушыліся. З немачнай паспешнасцю і стогнамі тья, што яшчэ былі жывыя і маглі ўстаць, пачалі ўзнямацца на ногі, – заварушыліся твары, спіны, скарэлыя бінты павязак – усе падаліся ў дзверы. Лейтэнант пад дошкай таксама варухнуўся, з яго вачэй ураз знікла зацятая самота, і ў глыбіні мільгануў цень трывожнае думкі. Ён узняўся разам з усімі і ў незашпіленай і непадпяразанай суконнай гімнасцёрцы з чорнымі пятліцамі на каўняры накіраваўся к выхаду. Яго левы рукаў з камандзірскім шаўронам матляўся пусты ўздоўж тулава, а пад гімнасцёркай на вузкай почапцы, якая белым шрамам уядалася ў худую юнацкую шыю, вісела параненая рука.

З калідора тым часам ляцела звычайнае тут, як пакуты і смерць, прывычнае «шнэль, шнэль», і людзі, стрымана тоўпячыся на парозе, выбіраліся ў дзверы. Яны ўжо ведалі, навошта іх строяць, што будзе далей – гэтая жахлівая завядзёнка паўтаралася тут штодзень роўна ў сем вечара.

Выпхнуты ў калідор цесным натоўпам людскіх цел, лейтэнант як-кольвечы засцерагаў ад штурханіны параненую руку і ціснуўся між людзей да акна. Праз падвойнае спляценне рам яму відаць быў цесны панадворак, з трох бакоў ціснуты сценамі, а з чацвёртага адгароджаны суцэльным шэрагам парт, заследжаных ботамі, паламаных, з адарванымі вечкамі. З таго боку бар’ера ўжо збіраліся немцы – афіцэры тутэйшага гарнізона, якія акуратна штодзень сходзіліся на відовішча гэтай нялюдскай экзекуцыі. Сярод іх быў і малады, пэўна лейтэнантавых год, афіцэр, у такой, як і ўсе, чорнай эсэсаўскай форме, – белатвары, маўклівы і нават пануры. Бы Гамлет на сцэне, стаяў ён крышачку ўбаку ад усіх, скрыжаваўшы на грудзях белыя рукі, і, так-

сама, як учора, як і ўсе ранейшыя дні, нерухомым затое-ным позіркам глядзеў у акно. Ён быццам кагосьці шукаў і неўзабаве, напаткаўшы лейтэнантаў твар, уставіўся ў яго, нібы ў самую душу, — глядзеў і глядзеў, і невядома, што займала яго — леная цікаўнасць ці змрочная злая зацятасць.

Аднак сёння ўглядацца адзін ў аднаго ім давялося нядоўга. Праз якую хвіліну ў калідоры прагучаў сярдзіты нямецкі вокліч, за ім — лаянка. Людскі натоўп здрыгануўся і таропка пачаў выстройвацца ў цесны няроўны рад. Лейтэнанта адпхінулі да акна, пацяснілі, балюча прыціснулі руку, і ён апынуўся ў першай шарэнзе. У вузкім праходзе між людзьмі і сцяной з зацятай таемнасцю на ўкормленых тварах ішлі двое афіцэраў з салдатамі аховы. Яны выбіралі дужэйшых.

...Праз чвэрць гадзіны чацвярых з гэтай нялічанай грамады пакутнікаў вывелі са школы.

Па знаёмай, пратаптанай другімі сцяжыне яны — лейтэнант, баец у сподняй кашулі з пустым, выбітым вокам, пажылы вусаты капітан-сапёр і жылісты чарнагаловы ўзбек — увайшлі за бар’ер і спыніліся. Лейтэнант прагна ўдыхнуў вячэрняй свежасці, агледзеўся — трэба было неяк рыхтавацца да стычкі, і нічога цяпер так не жадаў ён, як мець здаровыя рукі. Побач, прыхінуўшыся адзін да аднаго цёплымі целамі, стаялі тыя, з кім яму суджана было хутка загінуць, і гэтая непазбежнасць канца без слоў і поглядаў таёмнаю сілай з’ядноўвала іх.

А на дварэ — над немцамі, людскімі пакутамі і блізкаю смерцю — ціха лунаў надвячорак цудоўнай восеньскай пары — бабінага лета. Недзе за шыферным дахам школы садзілася яшчэ і ўвечары цёплае прыветнае сонца, двор атуліла доўгая палоса ценю, а ўгары цагляныя камяны, верхавіны клёнаў і ліп з жоўтым парадзелым лісцем ззялі журботай пагоднага захаду. Нейкі час было ціха. Немцы, стоячы купкамі, прымоўклі і з цікаўнай цяраплінасцю прыглядаліся да ахвяр, мераючы іх вачыма і вызначаючы іх фізічныя здольнасці. Яны скіравалі на гэтых чацвярых усю ўвагу, а тыя з перадсмяротнай прагнасцю пазіралі, як над галовамі ворагаў ззяў, свяціўся бляскамі восені стары разложысты

клён. Ужо набліжаўся канец яго прыгажосці, і з галля адвечным сваім парадкам з ціхім, развітальным шэптам-жальбаю сыпаліся долу кляновыя лісткі. Усё менела і менела іх на галінах, а яны ўсё падалі і падалі, бы залатыя вялізныя кроплі, важкія і нетаропкія ў цішы вечара, на прыветны дол ля камля, на сцяжыну, у мураву. Тыя, што з верхавіны доўга прабіраліся праз галлё і, бы матылі, адляталі далёка – пад сцены будынка, на парты, к гнуткім блішчастым ножкам прынесенага аднекуль стала.

За сталом, адхінуўшыся на спінку крэсла, бы цвік, роўна тырчаў даўгашыі сухі оберштурмфюрар – не стары, кастлявы чалавек з падцятымі тонкімі вуснамі і схаванымі пад бровы вачыма. Бліскаючы сіняй іскрынкай пярсцёнка, выстукваў ён на стале нейкі матыў, старанна выпінаючы свае напрусаваныя грудзі з круглым нацысцкім значком і тоўстым «жалезным» крыжам. За яго спіной стаялі астатнія афіцэры і збоку ад усіх – той малады. Ён па-ранейшаму насцярожана і пільна глядзеў на ахвяры і найбольш – на лейтэнанта.

Яны былі зусім непадобны адзін на аднаго з першага погляду, – гэтыя два варожыя афіцэры – той вымыты, свежы, у наглянцаваных хромавых ботах, зухаватай высокай фуражцы з галуном і кантамі, і гэты – знявечаны, босы, расхрыстаны і змучаны. Але адчувалася нешта схожае і ў росце і нават у іх абліччы – тыя ж бялявыя схуднелыя твары, разважныя ўдумныя позіркі, мяккая пака-тасць чыстых юнацкіх ілбоў. Малады немец не адводзіў позірку ад лейтэнанта-смяротніка, і невядома, што змушала яго так упарта ўглядацца. Можа, то была выхаваная з маленства пагарда к слабейшаму, можа, жаданне неабстрэленага тылавіка пазнаць дух праціўніка, можа, схаванае таёмнае спачуванне?..

Лейтэнант між тым не вельмі думаў аб прычынах тае цікаўнасці: ён бачыў перад сабой ворага, чакаў пагібелі і думаў, што трэба будзе памерці па-людску. Але ў яго не было ніякае зброі, не шмат засталася сілы. І ён уклаў у свой погляд усю сваю нескароную волю і глядзеў так хвіліну-другую, не жадаючы ўступіць гэтаму немцу.

Ворагі тым часам чакалі сабак, чацвёрта палонных, самкнуўшыся плячмі, чакалі пагібелі, сотні людзей за пабітымі вокнамі душылі ў сэрцах бяссільную распач і ледзь стрымлівалі сябе.

І вось з-за рога будынка, туга напяўшы раменныя павадкі і прыцяўшы к ілбам вострыя вушы, выскачылі два шэрыя ваўкадавы – вялізныя, шыракагрудыя, з клоччам зляжалай поўсці на брухах. Яны ўжо ведалі свае абавязкі, гэтыя дрэсіраваныя людаеды, перад тым іх добра памарылі голадам, і яны рваліся цяпер, дыхавічна саплі, пырскаючы з ляп слінаю, драпежна аскальваючы жоўтыя іклы. За імі бег іх павадыр, нейкі эсэсаўскі ўнтэр – чалавек з агідным насатым тварам, пакрэсленым сінімі рубцамі старых шрамаў, у рудой скураной куртцы і абшытых скураю брыджах. Упіраючыся ў дол абцасамі, ён ледзьве стрымліваў на паводах раз’юшаных сабак.

Крайнія ад рога немцы са стрыманай бояззю адступілі назад, загаманілі, забліскалі вачыма. Оберштурмфюрар задаволена ашчэрыўся і з нечаканай лагоднасцю на сухім твары паляпаў сябе па сцёгнах.

– Рэкс! Рэкс!.. Гут, Рэкс!

– О Рэкс, – падхапілі афіцэры, нясмела падыходзячы бліжэй, каб палашчыць сабак, якія, тузаючы доўгія паводы, рваліся за загародку. Оберштурмфюрар яшчэ паляпаў па сцёгнах, адхінуў крысо мундзіра, нешта дастаў з кішэні і невысока падкінуў. Вялізная ваўкарэзіна з чарнабурай вузкай хрыбецінай лёгка скочыла ўгору, схапіла ў паветры гасцінец і, прыгнуўшы голаў да кіпцюрыстых шырокіх лапаў, прагна зжэрла яго.

Услед за першымі выскачылі з-за рога яшчэ дзве, праўда, не такія вялізныя, як першая, але гэткія ж сквалняныя да чалавечай крыві, надрэсіраваныя дужыя аўчаркі. Афіцэры загаманілі, іхняя ўвага пераклучылася на сабак, і відаць было, што яны ведалі і любілі гэтых жывёлін. Такое жахлівае відовішча было ў іх нахштальт таталізатара і, пэўна, весяліла тылавое жыццё ў гэтым сумным, панішчаным вайной прыфрантавым гарадку.

Лейтэнант ведаў, што чаго лепшага, як толькі памерці з найбольшай годнасцю, ужо не выпадзе ў яго кароткім жыцці. Апошні раз паглядзеў ён на лагоднае прыволле вячэрняга неба, на якім у недасяжнай высі, бы срэбнае крыло дзівоснае птушкі, ціха ляжаў касячок празрыстых дробных аблокаў, услухаўся ў пакорлівы самотна-ўрачысты шэпт лістапада і адступіў бліжэй да сцяны.

Прадчуваючы хуткую асалоду відовішча, немцы падступіліся да бар'ера, оберштурмфюрар запалым жыватом узваліўся на ўскраек стала, толькі той малады афіцэр стаяў усё на ранейшым месцы і скамянелым позіркам з-пад шырокага казырка фуражкі ўглядаўся ў палонных.

І тады каты спусцілі сабак.

Чацвёрта няшчасных шчыльней прыціснуліся да сцяны і адзін да аднаго, і хоць яны ўжо не мелі ніякіх шанцаў у барацьбе, але ўсё ж не хацелі здавацца адразу. Лейтэнант шырэй расставіў босыя ногі, нарыхтаваў для абароны здаровую руку і сачыў. Натрэніраваныя сабакі спрактыкавана выбралі кожны сабе ахвяру і, ударыўшы вобзем пругкімі хвастамі, усе разам рынулі на людзей.

Ён скочыў можа на якой паўсекунды раней за астатніх, гэты здаравенны чарнабуры Рэкс. Лейтэнант мяльком паспеў убачыць яго хцівую ікластую ляпу і, больш інстынктыўна, чым па сваёй волі, з усяе сілы ўскінуў нагу. Шырокія сабачыя грудзі балюча ўдарылі ў ступню, але не павалілі чалавека, прыпёртага да сцяны, і ваўкадаў, шалёна завуўшы ад няўдачы, адскочыў назад. Іншыя драпежнікі аднак ужо ўчапіліся ў свае ахвяры і дзіка тузаліся. Наўкола ўсчаўся сабачы віск, брэх, штурханіна лютай, незвычайнай барацьбы.

Услед за першым наскокам Рэкс адразу ж сігануў зноў, цэлячы вышай; чалавек не паспеў замахнуцца нагою, як сабачыя лапы ўдарылі яго у бок, і зубатая зяпа ўпілася ў плячо. Лейтэнант рвануўся ад болю і жудасці, ухіляючыся ад страшнай касматай істоты – затрашчала гімнасцёрка, і сабака адарваўся. Але ў той жа момант ён скочыў яшчэ раз і ўжо апынуўся на карку.

Гэта было самае страшнае. У нейкае імгненне, зыходзячы крывёю, што ліпкім гарачым струменем лілася з пляча, лейтэнант адчуў ля сябе адну толькі апору – сцяну, людзей ужо не было побач. Ля ног раўлі, екаталі, вішчалі сабакі, і за бар’ерам з парт гэтак жа раўлі, гарлапанілі, стукалі немцы.

З апошніяе сілы ён утрымаўся каля сцяны, не даўшы сябе паваліць і тым скончыць усё. Сцяўшы ў душы пякельны боль, ён зноў рвануўся ўсім целам і здаровай рукой ухапіў ваўкадава за шыю. Выгінастыя іклы звера ўжо ўчапіліся ў яго карак: нясцерпны боль пранізаў усё цела, мозг, кожную часцінку яго істоты. Памутнела ўваччу. Сабачыя кіпцюры задніх лап дралі яго сцягно, і ён, як толькі мог, усім цяжарам аслабелага цела бразнуў сабаку аб сукатае бяргенне сцяны.

Ваўкадаў коратка віскнуў і хоць не адчапіўся, але расслабіў сківіцы, і ў той жа момант лейтэнант, намацаўшы рукой ашыйнік, з усяе сілы ўхапіўся за яго і крутнуў. Гэта памагло, націск ваўкадава паменшаў, звер абмяк, чалавек адарваў яго ад сябе і скінуў на зямлю.

Немцы лютавалі – махалі рукамі, крычалі, лаяліся і нечага патрабавалі. Сабачы павадыр, неадрыўна сочачы за бойкай, сіліўся расшпіліць кабур, нехта падахвочваў сабаку. Але оберштурмфюрар, які адзін, здаецца, не хваляваўся і туліў у вуснах задаволеную ўсмешку, раптам выпрастаўся за сталом і крыкнуў «Фу!».

Тым часам лейтэнант, прыхінуўшыся да сцяны, стаяў скрываўлены, у пашматанай гімнасцёрцы, а ў яго вачах мітусіліся, скакалі, віліся барвовыя вужакі. Вельмі хацелася яму ўпасці, памерці, каб скончыць пакуты, але ён стаяў усё, як крывавае сімвал страшнага людскога злачынства. Прыпаўшы да зямлі і хціва насторчыўшы вушы, гатовы рынуцца зноў, чакаў новай каманды Рэкс. Скончыўшы кароткую схватку, шкуматалі свае ахвяры іншыя трое сабак.

І тады сярод агульнага замяшання і вэрхалу з важнаю павольнасцю ўзняўся з-за стала оберштурмфюрар. Афіцэры адразу прыціхлі і пачціва павярнуліся да яго, а ён, тузануўшы на вочы блішчасты казырок фуражкі, ашчаперыў выпеставанымі пальцамі спінку гнутага школьнага крэсла.

– Этот русский офицер есть храбрый зольдат. Он достоин уважения, но он потерял форму, господа. Рекс – фас!!!

Ваўкадаў коратка рыкнуў і распластаўся ў паветры на імклівым узлёце, але шырокія сабачыя грудзі глуха лягнуліся аб смаляныя бёрны сцяны. Яго ахвяра, на якое імгненне апярэдзіўшы гэты скачок, мёртвая звалілася на здратаваны, скрываўлены дол.

Наступіла кароткая паўза, у якой ніхто не паспеў заўважыць, як змрочны малады афіцэр, што стаяў за ўсімі, дастаў танкастволы парабелум, рашуча ўзняў яго да светлавалосай галавы і стрэліў. Афіцэры здрыгануліся, схапіліся за кабуры, а ён ужо курчыўся на зямлі, і ў зялёную, прытапаную ботамі мураўку хутка-хутка капалі з падстрыжанай скроні першыя кроплі яго арыйскай крыві.

– Вас іст лёс*? – крыкнуў оберштурмфюрар.

Але было зусім ціха, і ніхто не адказаў яму, быццам усе анямелі, толькі за бар'ерам здаволена вурчалі сабакі, ірвучы целы палонных.

1959 г.

*Што здарылася? (ням., зноска рэд.)

На ўсходзе сонца

Над крутымі дахамі гарадскіх будынін, над балконамі з павіслымі ў цішы прасцінамі – флагамі капітуляцыі, над шызаі брусчаткай вуліцы весела займаўся першы пасляваенны ранак. Ад далёкае ласкі нябачнага сонца прэгным бляскам ірззелі снегавыя вяршаліны гор, у суцэльнай засені вуліцы мацней запахла клейкім тапаліным водарам і хмельнай духмянасцю ўначы зацвіўшых акацый.

Яшчэ гэтак жа востра патыхала пыльнай сухменню бітае цэгля з руін вялізнага вуглавога дома, дзе заляглі байцы трэцяй роты, загананыя сюды нечаканымі стрэламі з вежы ратушы. Нейкі здзічэлы гітлеравец, засеўшы з кулямётам, на золку спыніў іх тут, не даючы рухацца далей на злучэнне з саюзнікамі.

– Ах, воўчыя душы, ім яшчэ чатырох год мала, – казаў ротны, лежачы за вялізнай цаглянай глыбай і камечачы ў руках толькі што прастрэленую фуражку. Трэба было прызначыць байцоў выкурваць таго нягодніка, пасыльны ад камандзіра палка, прынёшы такі загад, чакаў выніку, тулячыся ў каменні ззаду, а камандзір вагаўся. Было б гэта яшчэ ўчора ці калі раней, хіба адчуў бы ротны гэткую раптоўную нерашучасць! Але сёння... Сёння іх жыццё падаражэла ўдвая – яны дачакаліся міру.

– Вунь, вунь ён! – крыкнуў плячысты сяржант у залапленай на спіне гімнасцёрцы. Ён адзін тут стаяў, хаваючыся за ўцалелым прасценкам. – Вунь пад цыферблатам руля вытыркаецца. Во гадзюка!

Сінцоў, малады светлавокі баец, што ляжаў побач з ротным, асцярожна выглянуў і сцішана, але так, каб чуў камандзір, вымавіў:

– Чаго з ім цацкаца! На ўра атакаваць, і канец.

У гэты час чорная пляма рулі пад вежавым гадзіннікам раптоўна бліснула чырвонай іскрынкай – і ад прасценка, ад жалезных бэлек абрушанага перакрыцця сыпанулі ва ўсе бакі кулі. Людзі хуценька дзеўбнулі галавамі – кожны за сваё сховішча; на каменне пасыпалася тынкоўка, і ў прыцемках руін ціха закурылася лёгкае воблачка пылу.

Калі шоргат спыніўся, ротны ўпарта варухнуў галавой і звыклым камандзёрскім голасам выкрыкнуў:

– Вераб'ёў... Чарняк... Туркоўскі...

Сяржант у прасценку азірнуўся, нібы не адразу паве-рыўшы, што назвалі яго, неяк сумна глянуў на ратушу і зняў з пляча аўтамат. Нездаволена прабурчаў нешта ззаду між цагельнага друзу Чарняк, стараваты ўжо, аброслы шчаціннем баец – вохкаючы і лаючыся, ён палез наперад. За ім аднекуль з цёмнага кута, сагнуўшыся ў тры пагібелі, з'явіўся тонкі, як дубец, Туркоўскі.

Ротны не глядзеў на іх, і яны ні разу не зірнулі на камандзіра – усім было чамусьці няёмка. Пасля кароткай паўзы старшы лейтэнант павярнуў голаў убок і напаткаў позірк Сінцова. Баец зразумеў адразу і раней, чым было названа яго прозвішча, падхапіў аўтамат і падаўся да сяржанта ў прасценак.

– Ну вось, Сінцоў, табе першае пасляваеннае заданне, – услед яму неяк фальшыва пажартаваў камандзір. – А то ўсё бедаваў, чым будзеш займацца.

Сінцоў не адказаў і не ўсміхнуўся. Гэта праўда, што ўсе апошнія дні ён не на жарт клапаціўся, як уладкавацца пасля вайны – хлопец быў адзін, без бацькоў і радні, з чатырнаццаці год – выхаванец палка.

Сяржант падавіў уздых і, з асцярогай пазіраючы на вуліцу, пачаў прабірацца па-за сценамі ў бакавы пралом. Чарняк пастаяў яшчэ ў нейкай задуманнай нерашучасці, выцер рукавом ложу карабіна, вылаяўся і ўрэшце, няспрытна валюхаючыся, рушыў следам. Воддаль, яшчэ болей прыгнуўшыся, шмыгнуў Туркоўскі, і апошні спакойна перайшоў адкрытае месца Сінцоў.

Ля пралому яны спыніліся, сяржант выглянуў, хвіліну счакаў і, нібы ў сцюдзёную ваду, імкліва рынуўся цераз вуліцу да сцяны процілеглага дома. Сінцоў і Чарняк скіравалі следам, а Туркоўскі нешта прамарудзіў, і калі высунуўся бегчы, ад ратушы загрузкалі стрэлы. Высякаючы на каменнях бруку сінія іскры, наўкола разляцеліся кулі, а Туркоўскі вёртка сігануў назад і знік у праломе.

Пад сцяной з агромністай, скіраванай уніз стрэлкай рэкламы байцы аддыхаліся, тут яны былі ў нейкай бяспецы, закрытыя ад ратушы вуглом шэрага, падзеўбанага асколкамі дома. Сяржант узіраўся ў руіны, дзе застаўся іхні чацвёрты таварыш, і, не ўбачыўшы яго, крыкнуў:

— Гэй, давай бягом!

Туркоўскі нясмела высунуўся з-за пашчэрбленага ўскрайка сцяны, але кулямёт з ратушы зноў сыпануў па тынкоўцы бязладнаю чаргой, і баец борзда схаваліся.

— Ладна, — сказаў Сінцоў. — Пайшлі. Траіх управімся.

Яны пачакалі яшчэ, а пасля адзін за другім паўз шархоткую сцяну дома пачалі прабірацца да ратушы. Чарняк чамусьці хутка адстаў, і за сяржантам бег адзін Сінцоў. Адрага яны пераадолелі ўскраек сквера і схаваліся пад густымі кронамі акацый. Кулямётчык з вежы ці не заўважыў іх, ці, можа, зусім не мог бачыць.

Нарэшце ў ранішняй сцішанасці перад імі вырасла змрочная высачэзная ратуша.

Сінцоў з сяржантам, сігаючы праз два прыступкі, хуценька ўзбеглі па шырокай лесвіцы да насцеж расчыненых вялізных дзвярэй. Неўзабаве, старанна хаваючыся пад сцяной, іх дагнаў насуплены, задыханы Чарняк, і яны стаіліся, услухоўваючыся ў падазроную таямнічасць будыніны. Але скрозь было ціха, кулямётчык маўчаў. Праз першыя расчыненыя дзверы віднеліся другія, такія ж вялізныя. Яны былі зачынены, а побач у змрочным куце пад стрэльчатой аркай пачыналіся нейкія прыступкі ўгору. Стараючыся не парушаць цішыні, усе трое засцярожліва падаліся да таго ўвахода.

Тут аказалася вузенькая вінтавая лесвіца, стромкая і скручаная ў штопар, — яна ўпарта ўвінчвалася ў цесную

вежу ратушы. Праз тры крокі наперадзе яе спіраль зусім ужо заварочвала ўбок, і далей нічога не было відаць, хоць вузенькія маленькія акенцы з аднаго боку добра асвятлялі яе пашчэрбленыя прыступкі.

Байцы асцярожна крочылі пры сцяне, дзе круцізна была меншая. Першы ішоў сяржант, за ім – Сінцоў, і ззаду, сапучы і зрэдку пакрыхваючы, няўклюдна карабкаўся Чарняк. Яны ўжо парадкам узняліся ўверх, і ў чарговым акенцы паказаліся дахі горада, верхавіны акацый, далей – прасцяг вузкай даліны з дарогай і над усім – Альпы, падсветленыя сонцам, якое неўзабаве павінна было вырвацца ў неба. Па яркай набрыняласці снегавых вяршынь яно мелася сёння быць асаблівым – яркім і захмялела вясёлым, гэтае веснавое сонца першага дня міру.

Людзі абышлі па спіралі яшчэ некалькі кругоў, і Сінцоў, неяк неўпрыцям змануты цішынёй, аж забыўся, куды і навошта вяла іх апошняя вайсковая патрэба. Ён усё больш зачаравана ўглядаўся ў кожнае акенца на ўсход і чакаў, што вось-вось з-за пазубленай сцяны гор пырсне тое самае незвычайнае і дзівоснае сонца. Але яно, відаць, рухалася марудна, быццам баючыся растраціць поўную меру сённяшняй радасці, няспешна і плаўна ўзнімалася за гарамі; і гэтак жа няспешна, спыняючыся і ўслухоўваючыся, падымаліся ўгору байцы.

Раптам блізкая чарга ўгары гулкім грымоццем аддалася ў будынку, у вузкай, як калодзеж, лесвіцы, імкліва рассыпалася над горадам, і байцы ад нечаканасці сталі. Сяржант узняў да грудзей аўтамат, побач уклечыў на прыступках Сінцоў, за ім з раскрытым ротам і наморшчаным старэчым ілбом утаропіўся ўгору Чарняк. І калі яшчэ кулямётнае рэха зусім не заціхла ў гулкім нутры ратушы, зверху загрузацелі таропкія чалавечыя крокі.

Сяржант зірнуў на Сінцова і скамянеў ад увагі, хруснуўшы засцерагальнікам аўтамата. Але крокі прагрузацелі і сціхлі – пэўна, чалавек спыніўся, можа, пачуў што ці проста перамяніў пазіцыю.

Тады сяржант, счакаўшы якіх паўхвіліны, марудна і няёмка, быццам на балючай шыі, павярнуў голаў, зірнуў

па чарзе на абодвух падначаленых і коратка кіўнуў Чарняку. Той прывычна падпарадкаваўся, але, ступіўшы крокаў два, чагосьці спыніўся, паглядзеў на сяржанта, і ў гэтым яго позірку востра адбілася нейкая незвычайная жаласлівая знямога.

Угары зноў нехта заварушыўся, ці то аддаляючыся, ці мо спускаючыся, і зноў доўгая кулямётная чарга громам раскацілася ў будынку. Байцы напружыліся, сяржант, на нешта рашаючыся, прыжмурыў вочы. Чарняк абедзвюма рукамі ўзяўся за карабін. І Сінцоў раптам прыпомніў, што Чарняк у гэтую вайпу шэсць разоў паранены, што ў яго дома старая маці і чацвёрта дзяцей, а сяржант Вераб'ёў пайшоў на вайну з апошняга курса ўніверсітэта, меў два ордэны Славы і быў разумны, адукаваны чалавек. І баец, нервова перасмыкнуўшы вуснамі і адразу забыўшыся і пра сённяшнюю раніцу, і пра канец вайны, і пра свае клопаты-мары, шырока сігануў угору і апынуўся наперадзе.

Ён хацеў як мага хутчэй дабегчы даверху, не даць ашалеламу недабітку апамятацца і заўважыць іх. Падхопленыя яго парывам, ззаду беглі таварышы. Гумовыя падэшвы ботаў мякка прыглушалі іх крокі.

Кулямётчык з'явіўся раптоўна. Гэта быў нейкі даўгашы гітлеравец у цыратовым зялёным плашчы – укленчыўшы на запэцканых галубамі прыступках, ён вадзіў у акенцы кулямётным ствалом, збіраючыся націснуць на спуск.

– Хэндэ хох!!! – зычна крыкнуў Сінцоў, і ў той жа момант вораг з дзівосным спрытам адкінуў кулямёт, скочыў угору, і з яго рук грывнулі запар два стрэлы. Сяржант і Чарняк амаль адначасова ўдарылі з двух аўтаматаў – немец бразнуўся на прыступкі, ляснуў аб каменні браўнінг, а пад самыя ногі байцоў ціха, без аніводнага стогну апусціўся раптоўна збялелы Сінцоў.

...Праз пяць хвілін на шырокі ганак ратушы Вераб'ёў і Чарняк вынеслі яшчэ цёплае цела таварыша. Пераскокваючы цераз клумбы сквера, да іх ужо беглі байцы, бег Туркоўскі, камандзір роты, а гэтыя двое моўчкі паклалі трэцяга на сцёрты граніт прыступак і стаялі так, збянтэжаныя і разгубленыя, баючыся зірнуць адзін аднаму ў вочы.

Чарняк крактаў усё, пераступаў з нагі на нагу, смаркаўся і размазваў па аброслым твары брудныя пісягі пад вачыма.

А з-за гор радасным рассыпістым бляскам пырснула запозненае сонца і весела асвяціла змрочную ратушу з вежай, шырокі ганак, недарэчна застылых у немай журбоце байцоў і таго, на зямлі, што на пяць хвілін не дажыў да чаканага дня.

1959 г.

У ліхую часіну

У Патапавых гора. Надвячоркам пісьманоска Нюра прынесла са станцыі тоненькі трохкутнік франтавога пісьма і невялічкую, памерам з падатковы квіток казённую паперку. Стары Ларывон стрэў дзяўчыну ў куце панадворка, дзе ён складваў пад страху падсохлыя на восеньскім ветры кізьякі, і яшчэ зводдаль уцяміў, што здарылася страшнае. Ссунуўшы над пераносем касмылявыя ссівелыя бровы, ён з натугай выпрастаўся над рассыпанай грудкай паліва і, як цяжкі прысуд, моўчкі ўзяў з рук прыціхлай Нюркі тыя вайсковыя весткі.

У пакамечаным і заштампаваным чорнымі пячаткамі пісьме старэйшы Ларывонаў сын Ігнат паведамляў бацьку, што ён жывы і здаровы, ваюе, хоць пакуль што адступае, але моцна б'е немцаў сваімі танкамі. Пісаў, што за абарону Смаленска яго прадставілі да ўзнагароды ордэнам Чырвонага Сцяга, прасіў, каб не турбаваліся дома, бо хоць цяжка і гаротна, але нічога – як-небудзь спыняць і адолеюць навалу, і ўсё абыдзецца добра. А ў казённай паперцы за подпісам нейкага падпалкоўніка і круглай пячаткай значылася, што пад горадам Вязьмай капітан Патапаў загінуў за свабоду Радзімы.

Патапавы сваё гора зносілі моўчкі. Стары Ларывон, негаваркі чалавек крутога характару, не знімаючы кажущка, як сеў у каморцы на зэдлік, так і не ўставаў да світаньня. Шырока расставіўшы ногі, абаруч ашчаперыўшы сівую галаву, ён быў змрочны, зацяты і страшны. Увечары вярнуўся з працы Піліп, дарослы, ужо запазнелы з жаніцьбай сын-камбайнёр, які па броні працаваў у МТС. Аб няшчасці ён здагадаўся, не распытваючы нікога, і таксама, не ска-

заўшы ні слова, гаротна прыткнуўся на ўслоне. Малодшы, семнаццацігадовы Грышка з'явіўся пазней за ўсіх, бо зранку вазіў здаваць у фонд абароны пшаніцу. Хлопец ужо дачуўся ў дарозе аб іхняй вялікай бядзе і, вячэраючы ля прыпеку, крыху пашморгаў носам ды так і заснуў, прысланіўшыся да астылай абшарпанай печы. Адна толькі старая хворая маці, не перастаючы, стагнала, вохкала, усхліпвала ў запеччы, упаўголаса выплакваючы матчына гора, і Ларывон насуперак сваёй завядзёнцы ні разу не крыкнуў на яе, не залаваў – разумеў і маўчаў.

Калі густой ранішняй сінню азначыліся вокны, Ларывон пераставіў з месца на месца абутыя ў валёнкі старыя балючыя ногі, пакратаўся і цяжка ўзняўся. Пасля ён зірнуў на Піліпа, які ўсё нерухома сядзеў, аблакаціўшыся на стол, на прыціхлага, зморанага працай і горам Грышку, прыслухаўся да немачных уздыхаў за печчу і зразумеў, што маці не перажыве ўжо гэтага гора. Стары намацаў клямку звечара не зачыненых на засоўку дзвярэй, выйшаў на панадворак. Ранак выдаўся сцюдзёны, ціхі, пахла кізячным дымам, рыпаў калодзежны калаварот у суседзяў. На дварэ, у больнягу ля плота і на стрэхах будынін ляжаў сівы пласт першага моцнага замаразку.

Вялікае гора тачыла сэрца старога. Канчала свой век жонка, да часу абарвалася жыццё першага, найбольш паважанага сына, перліся ў глыб рускай зямлі германскія войскі. Калючым клубком спавіліся ў старэчай душы спрадвечныя людскія беды – і свае, і чужыя – і невядома было, якая мацнейшая, якая бліжэйшая – ад усіх прыкра, балюча і самотна.

Над касматымі ад інею стрэхамі, праз голае голле вербаў паблісквала далёкая паска зары. Неба там святлела, ірדзела, налівалася ядранай свежасцю марознага восеньскага дня. Толькі яшчэ пачынаўся лістапад, а ўжо амаль кожную ноч да звонкай цвердзі закоўвалі зямлю немалыя марозы – відаць, зіма збіралася ранняя і суровая. Ларывон павярнуўся ў другі канец вуліцы – на небасхіле ляжаў густы чорны змрок – туды адступала ноч.

Пагодная яснась ранку надала старому рашучасці ў яго намеры, і ён патупаў у хату. Ад скрыпу дзвярэй і знаёмага тупацення ног заварушыліся Патапавы сыны. Ларывон, не ашчаджаючы цішыні, кінуў на лаўку рукавіцы і апусціўся на ўслон тварам у твар да Піліпа.

— Ну што, сын? — са знарочыстай строгасцю сказаў стары. — Цяпер ты?

Піліп адкінуўся ад стала, апусціўшы на лоб нерасчэсаныя пасмы валасоў. Ён зразумеў бацьку, бо абодва яны думалі аб адным.

— Цяпер я, — адказаў ён і ўстаў, тужэй зацягваючы дзягу. — Паснедаю і — у ваенкамат. Калі што — Грышка падменіць. Хлопец кемлівы, налаўчыўся за лета.

Піліпа ўзялі. Ларывон сам адвёз яго ў старшынёвым вазку на станцыю, пацалаваў у лоб і, не дачакаўшыся адпраўкі, паехаў назад. У брыгадзе патрэбны быў конь.

На прамёрзлую, бугрыстую, у каляінах дарогу, на бяскрайні стэпавы прастор з няўбранай кукурузай, на вялізны прасцяг незабуртаваных, у кучках буракоў клалася ранняя марозная зіма. Шэрае маркотнае неба ўсё церушыла і церушыла на дол дробныя калючыя сняжынкі. Апусціўшы хвасты, самотна сядзелі на тэлефонных слупах вароны. Ларывон патроху варушыў лейцамі і думаў.

Гадоў 25 назад гэтай самай дарогай на станцыю, на тую ж самую справу, што і сын, ішоў і ён, малады унтэр запасу. Гаманілі п'яныя мужыкі, плакала, ідучы попlech, Мальвіна. Яна несла на плячы мужыкову катомку, а ён туліў да грудзей трохгадовага Ігнатку, які ўсё мацаў на яго галаве захаваны са службы картуз. Да самай станцыі ныла сэрца ад балючай самотнай ростані, горла душыў крыўдны камяк, але Ларывон трываў, зацяў у сабе гора і маўчаў. Пасля былі акопы, атакі, шрапнель, кроў, гразь і вошы. Лясныя беларускія прасторы — Аўгустоў, Сувалкі, Ваўкавыск, гора бежанцаў, руіны гарадоў і жах германскай навалы. Узводны Патапаў ненавідзеў несправядлівасць, меў цвёрдую руку, быў люты да ворага святой лютасцю помсты, і праз паўгода палкавы камандзір прычапіў на яго

грудзі першы крыжык Георгія. Пісьмаў дамоў Ларывон не пісаў, сказаў Мальвіне: заб'юць – начальства даведаміць. Жонку шкадаваў, глыбока схаваўшы тое нават ад самога сябе. У шаснаццатым надарыўся палон, а з ім – доўгія гады пакут, здзекаў. Рэвалюцыя прынесла волю, потым – мір, які даў зямлю, і на ёй – труднае, але людскае жыццё.

І вось зноў паўтарылася старое...

Шкада, што мінула столькі гадоў, што выветрыла жыццё яго чалавечыя сілы. Праўда, у новыя часы прыйшлі новыя людзі, павырасталі сыны, адстойваць радзіму – цяпер ужо іхняя справа. Вось толькі цяжка рабілася ў вёсцы: усюды няўпраўка, хоць разарвіся ў працы, а тут яшчэ жонка... Калі б хоць болей паліва, а то з калгаса не далі ні пуда саломы, а кізьякоў – толькі да новага года.

Дарога вілася доўгая, і перадумана было многа.

Калі ён прыехаў, упарадкаваў каня і датупаў дадому, настаў ужо вечар. У астылай хаце было па-нежылому сцюдзёна, пуста і самотна. Грышка на досвітку пайшоў дамаўляцца ў МТС, старая стагнала ў запеччы.

Ларывон адхукаў азяблыя рукі, адхінуў пасцілку, паглядзеў на жоўты, схуднелы твар жонкі. На момант у душы стала нечага крыўдна і балюча, чагосьці шкада. Але ён перасіліў сябе і сказаў сваім звычайным чужым сярдзітым тонам:

– Ну, можа хочаш чаго?

– Не, ужо ўсё, – слаба адгукнулася жонка і пакратала на падушцы захутанай у лахманы галавой. – Ужо ўсё, Ларывонка.

Пасля памаўчала і дадала з папрокам:

– Навошта Піліпку адправіў? Не выпраўлялі ж яго, дзяржалі пакуль. Памру – не пабачу абодвух сыночкаў...

Ён, відаць, не хацеў гаварыць пра гэта, адварнуўся і выйшаў з запечча. Пастаяў, натапырыў бровы, бліснуў убок пацямнелымі строгімі вачыма, уздыхнуў.

– Нічога. Так трэба, старая...

– Яно, можа, і так. Табе лепш ведаць... Толькі я ўжо памру...

Жыць стала цяжэй, з кожным днём усё мацнелі марозы, узняўся з Заволжжа і не сціхаў пругкі сіверны вецер. Цераз вуліцу ад плоту да плоту намяло доўгія языкі гурбаў, павыкручвала снегавыя віры ў завуголі. Кізякоў засталося ўжо мала, а хвораі патрэбна было цяпло, яна мерзла і ціха-ціха стагнала. Кожны дзень, устаўшы на досвітку, Ларывон ладзіў санкі, браў старыя вузлаватыя лейцы і, з натугай перастаўляючы ногі, ішоў за ваколіцу. Там, за лагчынай, зазімаваў у стэпе прасцяг сланечніку, будылямі якога паліла ў печых сяло.

У той дзень, мераючы глыбокі і пульхны ў сланечніку снег, Ларывон ламаў хрусткія на марозе будылі, складаў у кучкі і ўсё думаў, як там на захадзе, пад Масквой, ці ўтрымаюць, ці не. Кажуць, і там маразы, гэта добра, што дацінае прырода праклятых чужынцаў, але адной халадэчай, пэўне, не возьмеш. Трэба многа сілы, многа людзей і яшчэ болей – людскога трывання. Надоечы дзяўчаты збіралі цёплае адзенне для фронта, Ларывон аддаў аўчынную сваю жылетку і рукавіцы, думаў – хай, там трэба, а тут як-небудзь.

Нагружаныя санкі глыбока ўразаліся вузкімі палазамі, канцы будылёў валакліся па свежа-бялюткім снезе, чыркалі абапал сцежкі доўгія роўныя рыскі. Ларывон цягнуў, спыняўся і зноў цягнуў. Самае цяжкае было пераадолець лагчыну, потым ішло лягчэй. І ўсё ж, дабраўшыся да панадворка, стары без сілы сеў на свой воз, доўга дыхавічна кашляў і дрыготкімі азяблымі рукамі ніяк не мог развязаць лейцаў. Трэба было выпраўляцца ў сталярню, дзе ён рамантаваў сані, але хацелася прапаліць у печы, каб хоць крыху сагрэць хату і аблегчыць пакуты старой.

Ларывон расчыніў дзверы, напусціўшы сівае сцюжы, уцягнуў бярэмя будылля і, рыпаючы намёрзлымі валёнкамі, падышоў да запечча.

– Ну, як ты тут? – запытаў ён захутаную ў рыззе старую. – Ці жыва?

Яна не адказала.

Ён спалохана сігануў бліжэй, ухапіў яе за худыя кастлявыя плечы, пакратаў.

— Мальвіна!

Жонка маўчала. Ларывон зразумеў, што сталася непазбежнае, зняў шапку, ссунуўся на падлогу і закамянеў так на доўгую пакутную гадзіну...

Праз дзень яе пахавалі.

Грышка не пайшоў на працу, ломам выдзеўб у мёрзлай зямлі на могілках вузкую яму. Ларывон збіў са старых набіраных дошак дамавіну. Прыйшлі суседзі, бабулькі, чыя маладосць адшумела ў даўнія забытыя гады, некалькі каббет, паплакалі і закрылі дамавіну. Грышка з бацькам вынеслі яе на панадворак, паставілі ў сані. Хлопец за гэтыя дні пасталеў, пасур'езнеў і, цёпла апрануты ў ватовыя штаны, целагрэйку і валёнкі, зусім стаў падобны на прысадзістага ніштаватага мужчыну. Ён не плакаў, толькі насупіўся, нахмурыў брывасты, як у бацькі, лоб з тонкімі раннімі маршчынкамі і моўчкі разам з ім брыў за санямі з нябожчыцай.

Апусціць дамавіну ў магілу памагла пісьманоска Нюра, закопвалі Патапавы самі. Вецер курыў вымерзлы земляны пыл, раздзьмуваў яго доўгай грывай па чыстай белізне снегу. Пакуль паставілі змацаваны з таполевых чурбакоў крыж, на могілках ужо не было нікога. У сцюдзёным ветраным небе ляцела снеговая імгла, у стэпе і на могілках гуляла пазёмка, увачавідкі раўняючы свежую чалавечую магілу...

Пасля смерці жонкі стары Ларывон яшчэ больш панурыўся, прымоўк; бывала, што за ўвесь дзень не вымаўляў ніводнага слова. Ён перастаў хадзіць за будыллем, ведаў адно толькі сцежку ў сталярню. Грышка ўставаў рана, на досвітку, і, загарнуўшы ў газету кавалак хлеба, выпраўляўся ў МТС. Яго прынялі камбайнёрам, цяпер там было шмат рамонту, і хлопец вельмі завіхаўся на новай, тэхнічнай справе. Позна ўвечары, калі ён вяртаўся дадому, стары нешта паліў у грубцы і, не засвяціўшы газоўкі, сядзеў, ашчаперыўшы голаў, думаў. Ён ні аб чым не распытваў, але Грышка ведаў, што цікавіла бацьку, і заўсёды апавядаў яму пра пачутыя зводкі Саўінфармбюро, пра навіны вай-

ны. Стары ўсё не кратаўся ад печкі, маўчаў, і сын адчуваў, што бацьку гэта цікава, і ўсё гаманіў, гаманіў – пра фронт, МТС, пра калгасныя справы.

Аднойчы, вярнуўшыся позна, Грышка намацаў на дзвярах замок. Замок гэты год дзесяць як служыў без ключа і вешаўся так, для адводу вачэй. Грышка зняў яго і ўвайшоў у дом. Холад тут быў не раўнуючы, як на панадворку; бацька, відаць, зранку так і не завітаў з працы. Хлопец трошкі засмуткаваў, але выбег на вуліцу, з трухлявага плота хуценька наламаў палак і запаліў у грубцы. Агонь доўга тлеў у намерзлай заснежанай трухліне, Грышка дзьмуў, паліваў дровы бензінам, у хаце смярдзела дымам і чадам. Урэшце вогненныя языкі пачалі набіраць сілы, слабае цяпло лагодна атуліла астылыя рукі, залашчылася на хлопцавым твары.

У гэты час у сенцах забразгалі, затупацелі нечыя ногі і пачуўся бацькаў голас. Грышка ўскочыў, пабольшыў кнот у налітай пасоленым бензінам газоўцы, памог некаму адчыніць дзверы. Асцярожна ступаючы ў незнаёмым жыллі, у хату улезла кабета ў чорным гарадскім паліто і старым шаліку. За руку цераз парог яна цягнула захутанае малое з заснежанымі вялікімі чаравікамі на нагах. Незнаёмыя спыніліся ля печы, следам увайшоў стары і зачыніў дзверы.

– Ну, вось, – заклапочана прамовіў ён. – Не бог ведае што, і сцюдзёна, але неяк будзем... Што ж рабіць...

Жанчына ўсё стаяла, разглядаючы змрочную ўбогасць хаціны, не ведаючы, пэўна, куды прыткнуцца. Малое праз вузенькую заінелую шчыліну ў рыззі сумнымі вачанятамі пазірала на Грышку, які збянтэжана аглядаў гасцей.

– Ну, што стаіш? – буркнуў бацька на сына. – Бяры дзяўчынку, распранай, грэй. Не бачыш – змардаваліся людзі...

Грышка пачаў расшпільваць мноства несамавітых світак на худзенькім, азяблым цельцы малой, пасля абмеў рукавіцай яе змерзлыя з загнутымі наскамі чаравікі. Дзяўчынка пакорліва слухала яго, толькі падазрона паводзіла сваімі вялікімі вачыма і час ад часу пазірала на маці. А тая толькі расшпілілася, ссунула на патыліцу старэнькі шалік і, зала-

маўшы рукі, павалілася на стол у распачным няўцешным рыданні. Грышка спалохаўся і не ведаў, як і чым суцешыць жанчыну, а бацька, нічога не кажучы, нетаропка зняў кажушок, прысеў ля печы і так доўга, паныла глядзеў у агонь.

Выплакаўшыся, жанчына, аднак, ажыла, яна была зусім яшчэ маладая, неблагая сабой, з круглявым дзявочым тварам і вялікімі, як у дачкі, сумнымі вачыма. Грышка падсунуў услон бліжэй да грубкі, збегаў яшчэ на двор, даламаў рэшткі плоту, падкінуў у агонь палак. Дровы ўрэшце разгарэліся, навокал пасвятлела, жанчына прыладзілася на ўслоне бліжэй да агню. Тулячы да сябе дачку, яна з непрывычным тут мяккім вымаўленнем расказала пра свой страшны лёс – пра бомбы, танкі, уцёкі, пра немцаў, пра жахі вайны, пра тое, як яна бегла з Гомеля, як згубіла ў дарозе сына, як напакутавалася на шматлікіх станцыях, у перапоўненых паяздах, пакуль не прыбілася сюды, у тыл.

Мігалі на падлозе барвовыя водсветы з грубкі, патроху цяплела ў хаце. Ларывон з Грышкам, тоячы ў сабе трывогу і боль, уважліва слухалі. Грышка не мог адарваць позірку ад гэтай спакутаванай жанчыны, а Ларывон, зацята насупіўшы бровы, глядзеў у падлогу і маўчаў.

– Дзякуй вам, дзеду, вялікае, за вашу дабрату, што прыгарнулі вы нас, – трохі абагрэўшыся і супакоіўшыся, казала жанчына.

Стары ніякавата заварушыўся на зэдліку, выцягнуў на каленях вузлаватыя, як вербныя карані, рукі.

– Няма за што, – сказаў ён з уздыхам. – Усе мы людзі... Будзем жыць, што зробіш... Ідзі ты, Грышка, пашукай – там недзе ў скрыні трохі цукру было, старая хавала. Будзем жывіцца, чым бог паслаў...

Хоць эвакуіраваная Зося з трохгадовай Людачкай і прынесла ў гэтую хаціну яшчэ болей гора, усё ж яно стала не такім зацятым і маўклівым, як было раней. Калгас выдаваў жанчыне трохі пшаніцы і проса, Грышка прынёс аднекуль ручную тарку – несамавітую самадзелку вайны, і Ларывон увечары, прымасціўшыся на ўслоне, трушчыў-расціраў на жарсцвяную муку той небагаты паёк. Да сваёй

кватаранткі і яе дачкі ён, як і да ўсіх, ставіўся стрымана і зважліва, не шмат гаварыў, болей слухаў, а слухаць было пра што. Зося перацярпела нямала, і яшчэ часта здаралася, ускаквала ўначы з пасцелі, крычала, клікала згубленага сына, плакала. Ларывон узнімаўся тады ў запеччы і роўным разважным голасам цярпліва супакойваў кабету.

Надышоў час, калі стары пачаў пазіраць на дарогу, пільнаваць пісьманоску Нюру – ён чакаў весткі ад сына. Праўда, надзей было небагата, Ларывон ведаў, што Піліп – ягонаі натуры, і не дужа распішацца. Хіба толькі здарыцца благое, якім багата вайна, таго бацька чакаў і баяўся.

Але ні вестак ад сына, ні добрых навін з фронту ўсё не было. Грышка ўвечары расказваў пра цяжкія баі пад Масквой, пад Тулай, пад Ленінградам, Растовам. Ларывон усё болей хмурнеў і горбіўся на зэдліку, Зося выцірала вочы, а Людачка, трымаючыся за матчын падол, з недзіцячай тугой пазірала на хлопца.

Аднаго разу Ларывон, устаўшы на золку, пачаў збірацца ў сланечнік. Яму, відаць, нездаровілася. Доўга абуваючыся, ён хваравіта пакрэктаў, браўся за бок, з недакручанай анучай на назе чагосьці задумваўся і сядзеў нерухома. Урэшце ён апрануўся, парыпаў па заснежаным двары, ладзячы санкі, і знік.

Зося гаспадарыла ў хаце, прыбірала, мыла посуд, чакала дзеда, але ён нешта забавіўся. Ужо прастыў і сняданак – пшонная каша, а старога ўсё не было. Тады жанчына занепакоілася, накінула на голаў свой шалік, замкнула Людачку і ўтаптанай сцяжынай пабегла за ваколіцу.

Быў сонечны марозны ранак. На ўвесь прасцяг ад сядла да краявіду ляжаў цудоўнай белізны прастор, ён ззяў мірыядамі іскрынак, пераліваўся мяккай сінявой ценяў ад хат, гурбаў, верб у ваколіцы. Высачэзныя дымы з комінаў грывастымі слупамі стаялі ў небе.

Стары ляжаў у лагчыне, каля наладаваных будыллем санак, і стагнаў. Зося спалохалася, думала, што здарылася бяда, але Ларывон папрасіў яе памагчы ўзняцца і доўга сядзеў на снезе. Яна выбавіла старога на роўнае, пасля

вывалакла санкі. Аднак ісці ён не мог. Як-кольвечы яна давезла яго да хаты, распранула, паклала ў ложка. Ён маўчаў усё, толькі ціха крактаў.

Адчуўшы благое, жанчына замітусілася, забедавала, не ведаючы, як памагчы чалавеку, спытала, ці не паклікаць людзей, з'ездзіць па фельчара. Ларывон ляжаў, заплюшчыўшы вочы, і коратка рашуча адказаў:

– Не трэба!

Болей ён не сказаў нічога, нічога не прасіў, не стаў снедаць, укрыўся сваім кажуском і прыціх у запеччы.

Надвячоркам, яшчэ завідна, чаго ніколі раней не здаралася, у хату ўляцеў Грышка. Ён быў на дзіва ажыўлены, неяк узрушаны. Ларывон паглядзеў на яго і сцяміў: нешта сталася. Сын, не распранаючыся, выцягнуў з-за пазухі нейкія паперы, адзін аркуш падаў бацьку.

Ларывон на час забыўся пра хворасць, прыўзняўся ў ложку – гэта было пісьмо ад Піліпа. Пакуль ён узіраўся памутнелым зрокам у не дужа зграбныя радкі і з намаганнем разбіраў сэнс слоў, Грышка апавядаў Зосі, што пад Масквой – перамога, што мы наступаем, што мы б'ём немцаў. А якія трафеі, а колькі адваявана рускай зямлі – аж трыста кіламетраў углыб! Во калі яно пачалося! Слухаючы гэта і чытаючы адначасова, Ларывон пакрысе разумеў, што сын пісаў са шпіталю, што ён паранены ў баях за Маскву і цяпер ляжыць на лячэнні ў горадзе Горкім, што рана цяжкая, з пашкоджаннем косці, але не бяда – ачуняе. Затое добра далі фрыцам, настала і на нашай вуліцы свята.

Ларывон апусціў на кажусок сваю высахлую – скура ды косці – руку, адхінуўся на падушку і заплюшчыў змакрэлыя вочы. Хвілін колькі ён не чуў і не бачыў нікога, толькі адчуваў, як агортвала яго позна прычаканая радасць...

Грышка заўважыў незвычайны стан бацькі і раптам неяк прыціх. Шчаслівымі слязьмі плакала Зося, толькі адна Людачка пазірала строга і сумна.

Суняўшы хваляванне, Ларывон папрасіў Грышку знайсці яму чыстую кашулю, не ўстаючы з ложка, адзеў яе, зноў лёг і паклікаў да сябе сына.

– Паглядзі-тка там, у куфры, – такі зялёны карабок. Дай сюды.

Грышка адчыніў цяжкае, размаляванае нейкімі кветкамі века матчынага сундука, адразу дастаў з-пад вопраткі добра вядомы з дзяцінства карабок і падаў бацьку. Той непаслухмянымі пальцамі адчыніў яго, выняў адтуль тры крыжыкі на паласатых чорна-рудых стужках і па адным пачаў прычэпліваць на свае знямоглыя старэчыя грудзі. Сын, Зося і Людэчка з маўклівай павагай стаялі побач.

Прыладзіўшы ўзнагароды, Ларывон адкінуўся на падушку і паглядзеў на прысутных. У яго зацененых касма-тымі брывамі вачах была спакойная разважнасць усё зведаўшага ў жыцці чалавека.

Сын неадрыўна пазіраў на бацьку, і ўсё болей марнела яго вясёлая ўзрушанасць, нешта жадаснае адбівалася на яго абсвераным маладым твары. Ён трымаў у руках паперку, усё збіраўся нешта сказаць бацьку і вагаўся.

– Тата, – урэшце наважыўся ён, – тата, мне вось павестка з ваенкамата. Таксама ў армію, а вы...

Ларывон зірнуў на яго, нібы здзівіўся. У армію? Пасля задумаўся і ляжаў доўга. Сын і Зося з дачкой усё стаялі побач і чамусьці, бы якога прысуду, чакалі, што скажа стары.

– Ну, што ж – ідзі... Усе мы хадзілі. Можа, ты шчаслівейшы... Зробіш, што нам не прыйшлося... Дажывеш – мір пабачыш... Эх, мір, мір! – гаротна выдыхнуў Ларывон і зноў замоўк, нерухомым поглядам уставіўшыся ў закураную нябеленую столь. Пасля ціха, але рашуча пацвердзіў:

– Ідзі, сын!

Ён склаў на грудзях рудыя, схуднелыя рукі, самі заплюшчыліся яго пагаслыя вочы, і стары заціх у забыцці – сухі, касмылявы, сівы, з трыма георгіеўскімі крыжамі на запалых грудзях.

Грышка боязна паглядзеў на бацьку, зірнуў на Зося з малою, уздыхнуў і пачаў збірацца ў сваю вялікую, нязнаную дарогу.

1959 г.

Эстафета

Ён упаў на забаранаваную мякаць агароднай зямлі, не дабегшы якіх дзесяці крокаў да пасечанага асколкамі белага доміка з разбураным чарапічным дахам – іхняга ўчарашняга арыенціра тры.

Перад тым ён, ірвучы гімнасцёрку, прабраўся праз калючы гушчар жывой загарадзі, у якой з самага ранку гэтага пагоднага красавіцкага дня гулі, варушыліся пчолы, і, акінуўшы хуткім позіркам рэдкі ланцужок постацей, што па свежаапрацаваных агародах беглі да ўскраінных домікаў, замахаў рукамі і праз стрэлы і выбухі крыкнуў:

– Прыняць улева, на кірху!!!

Пасля прыгнуўся, неяк баднуў галавой у зухавата прыткнутай пілотцы і, выпусціўшы пісталет, тыцнуўся тварам у цёплую мякаць зямлі.

Сяржант Лемяшэнка ў той час, размахваючы аўтаматам, зморана трухаў уздоўж калючай, дбайна падстрыжанай зялёнай сцяны і ледзьве не наскочыў на свайго нечакана распластанага ўзводнага. Спярша ён здзівіўся, што той гэтак недарэчна спатыкнуўся, нейкая няяснасць кораченька мільганула ў свядомасці, але затым усё стала на сваё месца. Лейтэнант назаўжды застыў, убіўшыся русавалосай галавой у пульхную зямлю, падкурчыўшы пад сябе калена левай нагі, выцягнуўшы правую, і некалькі пчол патрывожана мітусіліся над яго нерухомай прапацэлай спіною.

Лемяшэнка не спыніўся, толькі нервова перасмыкнуў вуснамі і, пераняўшы каманду, закрычаў праз грукат бою:

– Узвод, прыняць лявей! На кірху! Гэй, на кірху!!!

Узвода, аднак, ён не бачыў – два дзесяткі аўтамаатчыкаў ужо дасягнулі агароджаў, садкоў, будынкаў і прапалі ў

грукаце бою, які ўваходзіў у самую сілу. Справа ад сяржанта на суседнім панадворку мільгануў за шчыкетнікам шэры твар кулямётчыка Натужнага, недзе за ім паказаўся і знік малады бялявы Тарасаў. Астатніх байцоў яго аддзялення таксама не было відаць, але па тым, як час ад часу патрэскавалі іх аўтаматы, Лемяшэнка адчуваў, што яны недзе побач.

Трымаючы напаятове свой ППШ, сяржант абабег домік, запыленымі ботамі трушчачы шкло і паскіданую з даху чарапіцу. У ім усё тлеў невыразны, так і не праяснены смутак аб забітым узводным, у якога, бы эстафету, падхапіў ён чарговы клопат – павярнуць узвод фронтам да кірхі. Лемяшэнка не дужа разумеў, навошта гэта было, але апошні загад камандзіра набыў ужо сілу і веў яго новым кірункам.

Ад домака па вузенькай дарожцы, выкладзенай бетоннымі пліткамі, ён дабег да весніц. За шчыкетнай загарадкай цягнуўся нешырокі завулак. Сяржант зірнуў у адзін бок, у другі. Дзе-кольвечы сюды выбягалі з панадворкаў байцы і таксама азіраліся. Вунь і яго Ахметаў – выскачыў ля трансфарматарнай будкі, азірнуўся і, згледзеўшы аддзялённага, сярэдзінай вуліцы пашыбаваў да яго. Недзе між садкоў, шэрых катэджаў і домакаў з лютым крэткам разарвалася міна, побач на крутым даху, збітая асколкамі, зрушылася і пасыпалася ўніз чарапіца.

– Улева давай! На кірху!!! – крыкнуў сяржант і сам пабег па-над драцяной агароджай, шукаючы дзе якога праходу. Наперадзе з-за кучаравай зеляніны недалёкіх дрэў сінім шпілем тырчала ў неба кірха – новы арыенцір іхняга наступлення.

Тым часам у завулак адзін за адным высыпалі аўтаматчыкі; з'явіўся ззаду нізенькі, камлюкаваты, з крывымі ў абмотках нагамі кулямётчык Натужны, за ім – навічок масквіч Тарасаў, які з самага ранку не адставаў ад спрактыкаванага старога байца; з нейкага двара лез цераз загарадзь маруда Бабіч у перакручанай на галаве зімовай шапцы. «Не мог знайсці якога праходу, торба», – вылаяўся ў думках сяржант, убачыўшы, як той спачатку перакінуў

цераз плот свой аўтамат, а пасля нязграбна пераваліў на вуліцу няўключнае медзвездзяватае цела.

– Сюды, сюды давай! – махнуў ён, злуючы ад таго, што Бабіч, падняўшы аўтамат, пачаў атрэпваць свае запэцканья калені. – Хутчэй!

Аўтаматчыкі, нарэшце, зразумелі каманду і, знаходзячы праходы, знікалі ў весніцах, між дамоў, за будынкамі. Лемяшэнка натрапіў на расчыненыя вароты і ўбег у даволі шырокі заасфальтаваны двор, на якім размясцілася нейкая нізкая шэрая будыніна, відаць, гараж. Следам за сяржантам убеглі сюды яго падначаленыя – Ахметаў, Натужны, Тарасаў, апошні трухаў Бабіч.

– Лейтэнанта забіла, – кінуў ім сяржант, выглядаючы які-небудзь праход. – Ля белага доміка.

У той час аднекуль зверху і зблізку прагрукацела чарга, і кулі, пакідаючы на асфальце свежыя ямки і зрыкашэціўшы, імгненна разляцеліся ў бакі. Лемяшэнка кінуўся пад сховань глухой бетоннай сцяны, што агароджвала двор, за ім – астатнія, толькі Ахметаў спатыкнуўся, ухапіўся за біклагу ля пояса, з якой у два струмені нешта лілося.

– Сабакі! Куды ўцэлілі, гітлерчукі проклятыя...

– З кірхі, – сказаў Натужны, узіраючыся праз голле дрэў у бок шпіля. Яго невясёлы, папсуты воспаю твар агарнуўся клопатам.

За гаражом знайшліся весніцы з завязанай дротам клямкай. Сяржант выняў фінку і за два ўзмахі перарэзаў дрот. Яны штурханулі старыя дзверы і апынуліся пад разложыстымі галіністымі вязамі старога парку, але тут жа пападалі. Лемяшэнка разануў з аўтамата, за ім ударылі чэргамі Ахметаў і Тарасаў – між чорных жылістых камлёў беглі ўрассыпную зялёныя паджарыя постаці ворагаў. Непадалёку за дрэвамі праглядваў шырокі прастор нейкай плошчы, і за ім высілася ўжо нічым не затуленая кірха. Там бегалі і стралялі немцы.

Неўзабаве, аднак, ворагі заўважылі і іх, і першая кулямётная чарга пырснула жарствой з бетоннай сцяны, абцярушыла парэпаную кару вязаў. Трэба было бегчы далей,

да плошчы і кірхі, уссеўшы на ворага, не злазіць з яго карку, не даць яму апамятацца, але іх было мала. Сяржант паглядзеў у бакі – болей пакуль ніхто не прабраўся яшчэ да гэтага парку: чортавы панадворкі і загарадзі сваімі лабірынтамі трымалі людзей.

Кулямёты смалілі па сцяне, па шыферным даху гаража, байцы распласталіся на драбнюткай далікатнай вясновай траўцы і тыркалі кароткімі аўтаматнымі чэргамі. Натужны выпусціў з паўдыска і сціх – страляць не было куды, немцы пахаваліся ўжо ля кірхі, а іх агонь з кожнай хвілінай гусцеў.

Ахметаў, лежачы побач, толькі соп, злосна раздзімаючы тонкія ноздры, і паглядваў на сяржанта. «Ну, а што далей?» – пытаў гэты позірк, і Лемяшэнка ведаў, што і іншыя таксама пазіралі на яго, чакалі яго каманды, але скамандаваць што-небудзь было не дужа проста.

– А Бабіч дзе?

Іх было чацвёра з сяржантам – злева Натужны, справа – Ахметаў з Тарасавым, а Бабіч так і не выбег з двара. Сяржант хацеў загадаць каму паглядзець, што здарылася з гэтым мешкаватым байцом, але ў той час злева між дрэў замільгалі постаці аўтаматчыкаў іхняга ўзвода – яны сыпанулі аднекуль даволі густа і згодна ўдарылі з аўтаматаў па плошчы. Лемяшэнка не падумаў нават, а болей адчуў, што час падавацца далей, да кірхі, і, махнуўшы рукой, каб звярнуць на сябе ўвагу тых, злева, ірвануўся наперад. Крокаў праз некалькі пад камлём вяза ён упаў, даў дзве кароткія чэргі. Нехта глуха чмякнуўся побач, сяржант не ўбачыў яго, але па нечым няўлоўным адчуў, што гэта Натужны. Затым ён ускочыў і яшчэ сігануў некалькі шырокіх крокаў. Злева не сціхалі чэргі – гэта пасоўваліся ў глыб парку яго аўтаматчыкі.

«Хутчэй, хутчэй», – у такт зморанаму сэрцу стукала ў галаве думка. Не даць апамятацца, наскочыць, разagnaць, бо калі немцы паспеюць агледзецца і ўбачаць, што аўтаматчыкаў не шмат, тады будзе бяда, тады яны тут завязнуць...

Яшчэ прабегшы некалькі паспешлівых крокаў, ён упаў на старанна падгрэбены, прапахлы прэласцю дол; вязы ўжо засталіся ззаду, побач сціпла жаўцелі першыя веснавыя кветкі. Парк скончыўся, далей за зялёнай драцяною сеткай раскінулася блішчастая ад сонца плошча, вымашчаная дробнымі квадратамі шызаі брусчаткі. У канцы плошчы ля кірхі мітусіліся прыгнутыя постаці немцаў у касках.

«Дзе ж гэты Бабіч?» – чамусьці ўсё назаляла думка, хоць з'явіўся цяпер большы клопат: трэба было неяк атакаваць кірху цераз плошчу, а гэтая справа здавалася яму нялёгкай.

Аўтаматчыкі, не дужа зладжана страляючы, выбягалі за дрэў і залягалі пад агароджай. Далей бегчы не было як, і сяржанта дужа занепакоіла, як выбрацца з гэтага аблытанага дротам парку. Урэшце яго быццам нешта асвятліла знутры – ён выхапіў з кішэні гранату і павярнуўся, каб крыкнуць іншым. Але што крычаць у гэтым грукаце! Адзінай магчымай камандай тут быў уласны прыклад, надзейны камандзірскі загад: рабі, як я. Лемяшэнка вырваў з запала чакі і шпурнуў гранату пад сетку агароджы.

Дзірка атрымалася невялікая і няроўная. Разадраўшы на плячы гімнасцёрку, сяржант праціснуўся праз сетку, азірнуўся – следам, прыгнуўшыся, бег Ахметаў, ускакваў з кулямётам Натужны; побач грывнулі яшчэ разрывы гранат. Тады ён, ужо не азіраючыся болей, што было сілы рынуўся наперад, ляскаючы гумовымі падэшвамі па слізкай брусчатцы плошчы.

І раптам здарылася нешта незразумелае. Плошча хіснулася, збочыла, адным краем кінулася некуды ўгору і балюча выцяла яго ў бок і скроню. Ён пачуў, як коратка і звонка бразнулі аб цвёрдыя камяні яго медалі, блізка, ля самага твару, пырснулі і застылі ў пыле кроплі нечай крыві. Пасля ён павярнуўся на бок, усім целаю балюча адчуваючы непадатлівую мулкасць камення, аднекуль, з сіняга неба, зірнулі ў яго твар спалоханыя вочы Ахметава, але зараз жа зніклі. Яшчэ нейкі час праз грукат страляніны ён чуў побач сцятае дыханне, гулкае тупаценне ног, а пасля ўсё гэта сплыло далей, да кірхі, дзе, не сціхаючы, грукаталі стрэлы.

«Дзе Бабіч?» – зноў скаланула яго забытая думка, і кароткі забыты клопат за лёс узвода прымусіў напяцца і паварушыцца. «Што ж гэта такое?» – свідравала пачуцці няное запытанне. «Забіты, забіты», – казаў нехта ў ім ягонымі думкамі, і невядома было, ці гэта пра Бабіча, ці пра яго самога. Ён разумеў, што з ім сталася нешта благое, але болю не адчуваў, толькі знямога скавала цела, ды туман засціў вочы, не даваў бачыць, ці ўдалася атака, ці выскачыў з парку ўзвод.

Пасля кароткага правалу ў святдомасці ён зноў адчуў сябе і ўбачыў неба, якое чамусьці ляжала ўнізе, бы адбівалася ў якім агромністым возеры, а зверху на самую яго спіну навалілася пляскалая роўнядзь плошчы з рэдкімі цэламі прыліплых да яе байцоў.

Ён паварушыўся, спрабуючы ўбачыць дзе каго жывога – плошча і неба загойдаліся, а калі астаяліся, ён пазнаў кірху, нядаўна атакаваную без яго. Цяпер там ужо не чуваць было стрэлаў, але з варот яе чамусьці выбягалі аўтаматчыкі і беглі за вугал. Закінуўшы голаў, сяржант углядаўся, спрабуючы ўбачыць там Натужнага ці Ахметава, але іх не было, затое наперадзе ўсіх ля рага ён пазнаў свайго навічка Тарасава. Прыгнуўшыся, гэты маладзенькі баец спрытна сігаў да рага, спыніўся, зухавата замахаў некаму «сюды, сюды!» і знік – маленькі і кволы побач з высачэзным гмахам кірхі.

За ім пабеглі байцы, і на плошчы не засталася нікога. Тады сяржант напаследак уздыхнуў і неяк адразу і назаўсёды сціх.

Да перамогі пайшлі другія...

Сляды на зямлі

Галя прачнулася з прыкрым адчуваннем заўчасна патрывожанага сну.

Аднекуль знадворку ў ранішнюю цішыню пакоя ўрыва-ліся магутныя, як выбухі, удары. Бух-бух-бух! – мерна і гулка разлягалася за акном, і ад гэтых стукаў у пакоі пад расчыненай форткай уздрыгвалі дробныя лісткі герані. Было яшчэ рана, сонца, узнікаючыся з-за дахаў, асвяціла толькі верхнія вокны трохпавярховай школы, што стаяла пераз дарогу. Ніжэй на яе беленай сцяне ляжаў знаёмы цень ад іх двухпавярховага драўлянага доміка – тры коміны, тэлевізійная антэна і магутная верхавіна суседскага вяза.

Дзяўчына звычайна спала позна, ужо тыдзень яна была адна ў гэтай гарадской кватэры і на ўласны густ ладзіла ўсе свае справы. Бацькі не ўзялі яе з сабой на прыгарад-ную дачу, бо яна мела пераэкзаменаўку па музыцы і таму, як казалі маці, была прывязана да фартэпіяна.

– Бух-бух-бух! – усё неслася знадворку, і Галя, струх-нуўшы рэшткі сну, зацікаўленая, падскочыла да акна. За цюлевай занавескай ляжаў завулак – неўпарадкаваны гарадскі закутак, бы канавамі, парэзаны з вясны засохлымі каляінамі самазвалаў. Улетку тут панаваў пыл, а ўвосень – грязь; пасля таго як закончылася будаўніцтва школы, машыны ўжо не хадзілі, а пешаходы ў дажджлівых дні пераадольвалі гразкія мясціны, трымаючыся за шчыкеціны агарожы.

Цяпер тут рабілася нешта новае.

У нізінцы наўкос ад Галінага акна, на месцы самай упартай лужыны, якая высахала толькі ў сярэдзіне лета і куды жыхары скідвалі рознае смецце, банкі, бутэлькі, бітую

цэглу, — у гэтым запаведніку хлапчуковых гульніў цяпер з’явіліся новыя людзі. Прыладжаны на камянях, бы перакуленая задымленая прызма, стаяў там вялізны асфальтавы кацёл, пад якім незнаёмы чалавек распальваў агонь, а другі — нейкі голы да пояса хлопец — шырока расставіўшы ногі, лупіў шлягаю ў закураны жалезны бок.

Галя адчыніла акно і незадаволена паморшчылася заспаным кірпатым тварам, — калі ён так будзе бухаць доўга, дык, відаць, і сённа не дужа дарвешся да музыкі. А папрактыкавацца як след было неабходна — заставаўся апошнія два дні, усе ж астатнія патрачаны на волі, якая выдараецца рэдка і заўжды так вабіць шаснаццацігадовую дзяўчыну, не надзеленую вялікімі абавязкамі.

Чароўная свежасць першых гадзін ранку лілася ў вокны рэшткамі застаялай начной прахалоды, роснай духмянасцю кветак з гародчыку, светлай вольнасцю шырокага пагоднага неба. Расхінуўшы гардзіны, Галя яшчэ раз агледела завулак — над катлом, развяваючы наўкола гаркоту, ужо курыўся шызы дымок, а рабочы адышоў у бок і выціраў рукавом твар. Гэта быў стары сухенькі чалавек з пільнымі вузенькімі вачыма і маленькай галавою, накрытай захапаная кепкай-аладкай. Якіх паўхвіліны ён думаў аб чымсьці, зазірнуў у кацёл і сказаў маладому:

— Ну хопіць, ядрона рэпа.

Малады — невялічкі, ладна збіты крапак — паслухмяна апусціў шлягу і стаў, зморана аддыхваючыся, пабліскваючы матавымі загарэлымі да рудога лапаткамі. Калі хлопец павярнуўся тварам да вокан, Галя аж войкнула ад здзіўлення — такі ён быў белы — і вочы, і зубы, а валасы і бровы, бы заінелыя, аж свіцеліся на загарэлым смяшлівым твары. «Гэ, дзед Архіп і Лёнька», — чамусьці мільганула ў Галінай галаве, і яна засмяялася, нібы падгледзела што — патаемнае і сарамлівае. Адразу ёй стала чамусьці дурасліва і добра, знікла санлявасць і былая кароткая прыкрасць. Дзяўчына крутнулася ад акна і з зухаватай жвавасцю пачала прыбірацца. Двума ўдарамі Яна падбіла падушкі, страсла з коўдры заспанае кацяня, са спрытнай нядбайнасцю захінула пасцель. Пасля з гэткай жа лёгкай рухавасцю

памылася, апранула паркалёвую, у сіні гаршак сукенку і, закідваючы перад люстэркам галаву, некалькімі ўзмахамі грэбня прычасала кароткія валасы. «Усё», – сказала яна сабе і з налёту крутнулася на круглым фартэп'янным зэдліку.

Грэба было іграць надакучлівыя гамы.

Пальцы прызвычаена, самі сабой бегалі па клавішах, піяніна неахвотна выціскала скупыя разрозненыя гукі, а Галя неўзабаве адчула, што ёй карціць другое – паглядзець у акно. Нейкі час яна стрымлівалася, прымушала сябе да музыкі, але ўрэшце зноў расхінула гардзіны і аддалася цікаўнасці.

Лёнька ўжо болей не стукаў той аглушальнаю шлягай, а разам з Архіпам цяпер займаўся новаю справай. Стоячы па абодвух баках катла, яны даўжэзнымі лапатамі нешта мяшалі ў ім. Гэта, відаць, было вельмі цяжка. Стары, падобны на жука ў сваёй зашмальцаванай чорнай вопратцы, неяк па-маладому зухавата арудаваў лапатай. Напружваючыся з усяе сілы, ён уладарна падгінаў дзержанок пад сябе, пераварочваў у катле смалістую масу, крактаў ад напружання і задавальнення і падзяваў зноў. Малады з другога боку, мабыць з яшчэ большай заядласцю, рабіў тое ж самае, намагаючы болей рукамі. На яго загарэлай спіне ад вялікай натугі цвёрдымі жаўлакамі варушыліся мускулы.

– Пры-смылела, пры-кіпела, нада-ела – павярнісь! – прыпяваў стары, і Лёнька аж ззяючы бліскучым ад поту тварам, радасна варочаў дымнае чорнае месіва.

Міжвольна паддаючыся чароўнай сіле іх цяжкай працы, Галя ўжо забылася на свае абавязкі – ёй было хораша і забаўна тут, з вышыні другога паверха, назіраць за гэтымі па-шчырасці працавітымі вясёлымі людзьмі. Яна ўжо здагадалася, што яны вараць асфальт для вуліцы, і ў дзяўчыны разам з цікавасцю да іх справы з'явілася яшчэ і ўдзячнасць за клопаты, якія мелі дачыненне і да яе.

Над завулкам паволі ўзнімалася сонца, вузелі цені пад сценамі, школа насупраць ужо ярка зіхацела шматаконным фасадам. Вуліца поўнілася гарачынёй, пыльнай сухменню і гарачым смалістым смуродам асфальту. З двароў

да незвычайнага відовішча пазбягаліся малыя на чале са сваім заўсягдашнім завадатарам Генькам, унукам школьнага дворніка. Гэты пяцігадовы карапуз у вялікай вайсковай фуражцы з чорнай акольшкай адчуваў сябе ў працы, як рыба ў вадзе, і цяпер круціўся пад самымі нагамі Архіпа і Лёнькі, гатовы, здаецца, улесці з цікаўнасці ў самы кацёл.

Галя зусім ужо згубіла ахвоту да свайго занятку, ёй таксама хацелася туды, да дымлівага вогнішча, але яна сарамяжліва стрымлівала сябе. «Во, каб пайсці ў смалакуры, — гарэзна падумалася дзяўчыне. — Прыедуць — скажу маме: паступіла ў рабочыя. Бывай музыка. Ні табе гамаў, ні практыкаванняў... Ось будзе перапалох!»

Ад такое свавольнае думкі яна засмялася і адышла ад акна. У глыбіні душы ўзнікла і тлела нейкае невыразнае жаданне, цьмяная незадаволенасць нечым, імкненне кудысьці да лепшага. Новыя пачуцці неслі неспакой, шчымлівую заклапочанасць, але ці было тое смуткам ці цьмянай радасцю, дзяўчына не ведала.

На фартэпіяна чакалі яе два дні разгорнутыя практыкаванні, ды Галя ўжо забылася на гамы, яе душэўная ўзрушанасць прасіла чагосьці іншага — вольнага і шырокага. Бяздумная і далёкая, яна кранула клавішы — пальцы самі сабой натрапілі на дзівосныя такты любімага пракоф'еўскага «Вальса». Яна навучылася яго іграць даўно, яшчэ да музычнай школы, гэта быў яе любімы «твор для сябе», аднолькава блізкі ёй і ў гора, і ў радасць. Свежая, як ранак, мелодыя, поўная лірызму і летуценнасці, закружыла яе і панесла на сваіх бяздумна-салодкіх хвалях...

Невядома, колькі іграла яна, многа ці мала — паўтара-ла з пачатку ў канец, асобна праіграла некаторыя мясціны, дзе-нідзе збівалася з рытму, парушаючы стыль, але гэта было нічога; яна прымала яго і з фальшывасцю — як умела. Урэшце, супакоеная і трошкі стомленая, дзяўчына падышла да акна. Праз занавеску яна кінула погляд у завулак — там былі адны хлапчукі. Яшчэ поўная зачараванасці музыкай, Галя задуменна зазірнула ўніз і ўжо другі раз ледзьве не войкнула. Вялікія сінія вочы з-пад высока ўзнятых бе-

лых броваў здзіўлена і заворожана глядзелі на яе знізу ўгару з-за шчыкецін іх агародчыка.

Яна спачатку спалохалася гэтага ўтрапёнага позірку, а затым сарамліва ўсміхнулася. А ён, усё яшчэ не варушачыся і трымаючыся абедзвюма рукамі ў вялікіх рукавіцах за канцы шчыкецін, чуць прыадкрыўшы рот, усім сваім белабрысым бясхітрасным тварам уставіўся ў яе.

– Што... усё?– спытаўся ён, і лёгкі жаль адбіўся ў яго светлых вачах.

– Усё... А што?– сказала яна.

– Хіба... Хіба гэта ты?

Яна кіўнула і прыкусіла губу.

– Ну кажы – так і паверу, – не верыў хлопец. – Мусіць, хто старэйшы?

– Ну што вы! – сказала Галя, абапіраючыся на падаконнік. – Вельмі нават дрэнна, з чаго дзівіцца!

Хлопец пазіраў на яе ўсё яшчэ недаверліва і трошкі збянтэжана – відаць, ад нядаўняга ўражання, пасля зняў рукавіцу і паскроб белыя віхры на патыліцы.

– Тады малайчына, калі праўда... Мне б так навучыцца!..

– За чым жа стала, вучыся, – даляцела з-пад агародчыка, і тут толькі Галя заўважыла Архіпа; ён сядзеў на лаўцы пад кустом вяргіняў і разгортваў папяровы скрутак. Хлопец жа, безуважны да яго занятку, як стаяў, так і сеў проста на вуліцу, тварам да акна.

– А што, і навучыся, – задзірыста сказаў ён, ашчаперыўшы калені і зірнуўшы ў акно прыжмураным ад сонца вокам – здалося Галі – падміргнуў ёй.

– Ды ўжо ж, хвалілася каза, у хляве стоячы, – засмяяўся Архіп.

– А вось і не. Вы не ведаеце, а я ў вёсцы на гармоніку два гады граў.

– То гармонік, а то, брат, тонкі інструмент. Ігра ад ігры асобіцца, ядрона рэпа. На, лепш паснедай.

Ён расхінуў паперу, садраў з кефірнай бутэлькі срабрыстую галоўку, разламаў напалам батон і падаў Лёньку.

Хлопец няёмка паёрзаў, чамусьці ніякавата зірнуў на Галю ў акне, але ўзяў – далікатна і зважліва.

– Зараблю грошай – куплю баян, – абвясціў ён, адарваўшы зубамі добры кавалак булкі. – І яшчэ ў школу паступлю. Без музыкі ў душы цесна.

Галя тым часам зусім ужо асвойталася з імі, гэты хлопец чамусьці нагадаў ёй суседскага Віцьку – найўнага ласкавага пяцікласніка, і ёй стала добра. Лёнька старанна ўмінаў батон, ашчадна адпіваючы з бутэлькі, якую чакаў Архіп, а Галя, аблакаціўшыся на падаконнік, з усмешкай разглядала гэтага дзіўнага бялявага хлопца.

– Скажыце, а вы будзеце наш завулак асфальтаваць?

Лёнька ўзняў галаву, заўсміхаўся, таропка праглынуў кавалак і пацвердзіў:

– Ды ўжо ж. Ад тупіка да самай вуліцы. Сто метраў загадаў брыгадзір... Да вечара – хоць трэсні.

Ён аддаў Архіпу паўбутэлькі кефіру і ўзняўся, смешна расставіўшы ногі ў дашчэнтэ запэцканых штанах.

– Слухай, дзяўчо, пайграй яшчэ. Як гэта музыка завецца?

– Гэта «Вальс» Пракоф'ева, – сказала Галя, калупаючы падаконнік. – Толькі дарма вы, я зусім дрэнна іграю.

– Ну, дрэнна! Ты не нагаворвай на сябе, – усё смяўся Лёнька. – Аж дух займае. Дык пайграй, га?

Галя засаромелася, адступіла ад акна і сумелася. Яна яшчэ не чула, каб людзі гэтак прасілі музыкі – і ў школе, і дома яна прывыкла, што музыку паважалі, слухалі і ігралі, калі быў час, толькі ўслых ніхто не выказваў асаблівага ўзрушання ад яе. Шмат якія творы дзяўчына чула па радыё і ў выкананні маці, але ці, можа, таму, што прывыкла і страціла ўражанне навізны, ці, можа, ад бясконцых школьных практыкаванняў пераставала як след даражыць многім. «Каму патрэбна такая самадзейнасць? – казаў часам бацька. – Музыка, як і ўсё, – прадмет цэнтралізаванага забеспячэння: ёсць радыё». Маці і дачка не згаджаліся, але і не прарэчылі – сапраўды, у нейкай меры бацька меў рацыю. І тут – гэты белабрысы асфальціроўшчык з яго просьбамі...

Галя падышла да фартэпіяна, пагартала ноты, падумала, што ў некаторых мясцінах яна была бездапаможнай няўмекай. Не, яна не можа псаваць гэтай дзівоснай музыкі,

яна зусім яшчэ дылетантка, часта фальшывіць або проста праглынае, змазвае трудныя часткі – ёй ужо даўно казалы пра гэты і маці. Тое не так, тое не гэтак – гаварылі ёй штодзень, а гэты сказаў: дух займае. Але не, нельга ашукваць чалавека, які так шчыра аднёсся да яе майстэрства і перацаніў яе здольнасці. Нешта ў ёй прымусіла паставіцца да сябе стражэй, упершыню дзяўчына адчула сябе вінаватай за пераэкзаменаўку, пасаромелася за няўмельства, ёй хацелася ў нечым стаць вартай гэтых рабочых з іх нялёгкаю працай.

– Дык пайграеш, га? – чуўся за агародчыкам хлапечы голас, але яна ўжо не паказвалася ў акне. Прытаіўшыся за занавескай, Галя моўчкі сачыла за імі, – як яны курылі, нешта ўпаўголаса перагаворваліся аб сваіх справах, потым старэйшы ўзняўся, і яны пайшлі да катла. Лёнька азірнуўся на акно, і тады яна, засмуткаваўшы невядома чаго, уздыхнула.

...З паўдня Архіп і Лёнька пачалі асфальтаваць тратуары. На вузкай палосцы ля плота Архіп разгарнуў прывезены самавалам пясок, а Лёнька, зухавата падхапіўшы жалезную тачку, пачаў вазіць дымны смярдзючы асфальт. Гэта было, пэўна, нялёгка: на грудзях і руках хлопца напружваліся мускулы, спіна макрэла ад поту, але сам ён заставаўся па-ранейшаму вёрткі, вясёлы, нібы прыемней за гэту работу нічога не ведаў у жыцці. Варта было паглядзець, як ён, вывернуўшы пры плоце дымную кучу асфальту, бягом гнаў перад сабой тачку, поўнячы вуліцу шумам і грукатам, як спрытна варочаў у катле вялікай лапатай і з якой зачараванасцю бегала за ім галапузая басаногая блазнота, каб пераканацца, што гэтая праца для хлопца была прыемнай і звычайнай.

Галя шырока расхінула гардзіны, каб бачыць увесь завулак, і то сядзела на падаконніку, то бязмэтна тупала ля акна. Яна ўжо не іграла болей, прыціхла, бы злоўленае мышаня, увесь час адчуваючы насцярожаную хлопцаву ўвагу да акна. Пасля яна старанней прыбрала ў пакоі, перагарнула свае ноты, якія цяпер чамусьці набылі новы, куды больш аначны сэнс.

Тым часам завулак мяняў аблічча.

Архіп хутка разгортваў лапатай рыхлыя кучкі асфальту, затым кароценькай дошчачкай спрытна разгладжваў яго па зямлі. Уздоўж плота марудна, але няспынна расладаўжэла свежая, чорная і не астылая яшчэ пад спякотным сонцам палоса тратуара. Хлапчукі з дворнікавым завадтарам у вайскавай фуражцы ўсё штурхаліся ля Архіпа, ледзь не наступаючы яму на рукі, а ён не сварыўся, толькі нешта жартаваў з імі і сачыў, каб тыя не ступалі на мяккі яшчэ асфальт. Галя зайздросціла ім, гэтым падшывальцам, яна таксама хацела быць там, паспрабаваць самае тае нялёгкай і важнае працы, але пасля размовы з хлопцам сарамлівасць утрымлівала яе. Каб не губляць марна часу, яна ўзяла падручнік, прыладзілася на падаконніку і так, не адрываючыся ад падзей у завулку, спасцігала недацэненае раней мастацтва музыкі.

Архіп і Лёнька працавалі заўзята – смылілі ў завулку дымам, палілі кацёл вялікім і малым агнём, слалі і слалі пры плоце чорную стужку асфальту.

...Надвячоркам, калі спякотнае сонца ў бясхмарным небе кранулася даху школы, усё было скончана. Пад катлом засталася шэрая грудка попелу, Лёнька сабраў у кучу ўвесь іх закураны інструмент, выцер аб штаны страшэнна запэцканыя далоні. Архіп узяў з-пад плота несамавіты свой пінжачок, яны закурылі напаследак, і Лёнька ўзняў голаў да яе акна.

– Ну, дзякуй за музыку. Вучыся – на канцэрт слухаць прыйдзем, – гукнуў ён, заўсміхаўся і памахаў рукою. Твар яго быў ужо зусім чорны, абсмылены, а зубы, вочы і віхры валасоў таму здаваліся яшчэ святлейшыя.

Яна зразумела, што гэта развітанне, і дзяўчыне стала чагосьці нясцерпна шкада. Не адказваючы юнаку, Галя кінулася ў дзверы, па парэнчах ссунулася ўніз, ускочыла ў агародчык і пачала таропка рваць свае ўсё лета гадаваныя вяргіні. Яна рвала кветкі з лісцем, са сцябламі і галінамі – нарвала цэлы ахапак, спяшаючыся і баючыся спазніцца, адчуваючы, што мінаецца зараз нешта незвычайнае, непаўторнае і вельмі важнае.

Праз якую хвіліну, калі дзяўчына выскачыла з агародчыка, тыя двое людзей зморанай хадой працаўнікоў выходзілі з завулка на вуліцу. Яны ішлі няспешна – Архіп у накінутай на плечы світцы, Лёнька ў аблезлай майцы, туга напятай на яго дужай спіне. Асфальціроўшчыкі нават не азірнуліся назад, дзе з апушчаным букетам ярка-чырвоных вяргіняў разгублена стаяла дзяўчына і ляжаў аздоблены і ўпарадкаваны іх працай завулак. Бы дзве закапцелыя парныя лыжы, пралеглі абাপал дарогі зманлівыя, чысценькія, блішчастыя тратуары.

А завулак працягваў жыць сваім прывычным жыццём. Па зацвярдзелым ужо асфальце насілася басаногая вулічная драбнота – Колі, Васі, Пеці, Ігарочки, Людкі, Ленкі і, як заўсёды, наперадзе ўсіх – дворнікаў Генька ў насунутай на пераносе фуражцы.

– След, след, глядзі след! – закрычаў ён, раптам спатыкнуўшыся на ўскрайку чорнае паласы. – След застаўся, глядзі! Во!

Да яго навывперадкі, падаючы і разбіваючы з лёту насы, кінуліся малыя, а Галя задуменна стаяла, пазіраючы на іх мітусню і не могучы пераадолець у сабе невыразную са-лодку журботу.

«Сляды на зямлі! Як гэта важна – сляды на зямлі!» – думала яна, адчуваючы нейкі незразумелы яшчэ, але дарагі ёй след у сваёй душы, які пакінуў і пайшоў, не азірнуўшыся, той белабрысы працавіты хлопец з ёю выдуманым імем – Лёнька.

1959 г.

Сабакі

Шмат год у добрым суседстве жылі гэтыя людзі, жылі ціха і мірна, збіраліся калі ў святы, выпівалі па чарцы, спявалі і весяліліся. І ніколі іх узаемаадносіны не даходзілі да прыкрасці або сваркі. Бадай усе жыхары зялёнай ускраіннай вулічкі лічылі, што няма ў цэлым свеце лепшых дружбакоў, чым гэтыя дзве бяздзетныя паважаныя сям'і.

І раптам уся іх шматгадовая дружба імгненна паляцела ў тар-тарары.

У той цёплы вясенні адвячорак сядзелі яны ў двары свайго двухкватэрнага, пафарбаванага охрай доміка і, як заўсёды ў такі час, гулялі ў даміно. Яны – гэта пенсіянер Круглоў – здаровы і даволі яшчэ маладжавы дзядзька з голенай галавой і манерамі былога вайскоўца, яго жонка – Кацярына Кірылаўна, вельмі ж дзябёлая і рашучая з выгляду кабета, іх суседзі – ён і яна Аўсейчыкавы, – надзіва худыя, быццам высахлыя людзі, якія болей за ўсё на свеце клапаціліся пра свайго Банціка – вельмі рухавага, дабрадушнага і касмылявага сабачку. Гэты Банцік увесь час круціўся ў двары, прабаваў злавіць матыля, цёрся пад сталом аб гаспадарскія ногі, а пасля знік, і занятыя гульнёй Аўсейчыкавы, відаць, адразу таго не заўважылі.

Каб затым усё было зразумела, трэба зазначыць, што быў у гэтым двары і яшчэ адзін сабака, даўні прыжывалец Кругловых, якога гаспадар у пагодныя вечары асабіста вадзіў на прагулку. З выгляду ён нагадваў здаравеннага таўстамордага ваўкадава, з лянівым і змрочным характарам. Круглоў прыдбаў яго недзе ў Германіі і вельмі ганаваўся ягоным чыстакроўным паходжаннем.

І вось у такі час, калі гулякі, поўныя ўзаемнай павагі і лагоднае чуласці, умеру грукатліва дагульвалі свайго казла, аднекуль з-за хлеўчука з віскам і вуркатам, сашчапіўшыся ў клубок, выкацілася гэтая сабачая пара. Ніколі дагэтуль не было выпадку, каб яны пагрызліся, і таму гаспадары ад спалоху і здзіўлення ажно жахнуліся. Аўсейчыкаў імгненна кінуўся да гэтага мітуслівага клубка вызвалець Банціка, які страшэнна якатаў; грозна крыкнуў нешта на сабак Круглоў, але нішто не падзейнічала. Сабакі, як ашалелыя, перакаціліся цераз двор і грызлі адзін аднаго ў крапіве пад плотам. Тады Кацярына Кірылаўна, раптам праявіўшы незвычайны для яе таўшчэзнага цела спрыт, ускочыла з лаўкі і падхапіла з прызбы поўную вады палівачку. Сабакі ў апошні раз віскнулі, калі на іх пляснуў шырокі сцюдзёны струмень, і разбегліся ў розныя бакі. Банцік, зрэшты, не дужа ўцякаў – выйшаў на сярэдзіну двара і атрахваўся, і тут аказалася, што яму перапала больш і яго пакудлачаная намокшая шэрсць агідна тырчыць ва ўсе бакі. Абодва Аўсейчыкавы кінуліся да яго, пачалі лашчыць, і Аўсейчыкава жонка неспадзявана пасцюдзянелымі вачыма зірнула на суседку.

– Аднак нельга ж так. Дашчэнту мокры! – дзіўна дрыготкім голасам вымавіла яна.

– А каб на іх воўка, ашалелі, ці што, – казалла Кацярына Кірылаўна, няёмка месцячыся на вузкай дашчэццы лаўкі.

– Дык гэта ж усё ваш. А аблілі вы нашага, – не магла стрымаць крыўды Аўсейчыкава. Кацярына Кірылаўна здзіўлена ўскінула бровы.

– Дык ён жа Джульбарса за карак ірваў. Так учапіўся, што...

– Ага, ірванеш вашага Джульбарса. Чакайце! Такая ваўкадавіна!

– Ну годзе вам. Давайце гуляць, – басавіта прыпыніў непрыемную размову Круглоў.

Аўсейчыкава ўзнялася, не зводзячы позірку з мокрага Банціка, і тады аказалася, што той у дадатак да ўсяго яшчэ і кульгае.

— Ну, глядзіце, глядзіце, што нарабіў гэты ваўкадаў. Бядняжка! І яго яшчэ вадой абліваюць.

Тут ужо адбыўся перапалох. Аўсейчыкаў, уклечыўшы перад сабакам, пачаў аглядаць яго. Круглоў таксама падышоў да іх, адна Кацярына Кірылаўна нешта адчула і заставалася на месцы.

— Кроў? Нага пракушана, — панылым голасам канстатаваў Аўсейчыкаў. — Я ж казаў, Кузьма Іванавіч, трэба на прывязі трымаць. Цяпер палюбуецца, што нарабіў гэты дварняга.

— Хто? Наш Джульбарс — дварняга?! — жажнулася за сталом Кацярына Кірылаўна. — Гэта ваш — шаўка. Так яму і трэба.

— Хопіць! — строга крыкнуў на жонку Круглоў і павярнуўся да суседа. — Парода Джульбарса хай вас не датычыцца. А калі ваш сабака паддаецца, дык яго і прывязвайце.

Аўсейчыкаў з нянавісцю паглядзеў на пенсіянера, а яго жонка аж затрэслася нібы ў ліхаманцы.

— Ты нам не ўказ! — адпусціўшы ўсе павады стрыманасці, завірашчэла яна. — Гэта вам не армія! Мы тут пятнаццаць год жывем, і ніхто нашага сабачку раз не ўкусіў. А як вы прыехалі, яму жыцця не стала. Хамы вы!

Ось тут і пайшло, павяло на згубу ўсёй, столькі год ладжанай, мацаванай дружбе.

Кацярына Кірылаўна, устрапянуўшыся за сталом, сказала Аўсейчыкавай нешта куды больш калючае за шаблоннае слова «хамы». Аўсейчыкаў, звузіўшы злосныя вочы на худым твары, заікаючыся, зазначыў, што ён не чакаў такога ад паважаных суседзяў. Круглоў, адчуўшы зняважанай сваю беражоную годнасць, аб'явіў Аўсейчыкава сапляком і вытлумачыў, што ён, Круглоў, батальёнам камандаваў, калі абодва Аўсейчыкавы пехатой пад стол хадзілі. Аўсейчыкаў на тое адразу ж зазначыў, што гэта аднак не перашкодзіла былому камандзіру застацца ідыётам.

На крыкі і лаянку за плотам збегліся вулічныя хлопчкі, ціхенька прыадчыняліся за кветнікамі суседскія вокны, дзе-нідзе з-за вуголля паказваліся цікаўныя да сваркі жаночыя постаці, але сварліўцы ўжо не прыкмячалі нічога. Да позняй ночы, стараючыся перакрычаць адзін аднаго,

пералічвалі яны ўласныя крыўды і суседскія хібы – і тое, што Кацярына Кірылаўна варыць нікуды не варты крупнік, і тое, што ў Аўсейчыкавых не прыбіраецца кухня, і што Кругловы позняцца плаціць за кватэру, а Аўсейчыкавы плеткары і хціўцы, і што Кацярына Кірылаўна тоўстая, а Аўсейчыкава худая і непрыгожая. Угаманіліся, мабыць, апоўначы, а ўночы Круглоў бегаў у аптэку за лекаствам для жонкі, а Аўсейчыкава хліпала да ранку, пакутуючы ад намаганняў прыдумаць якую помсту за тысячу пякельных зняваг.

Назаўтра ўранку аказалася, што хляўчук, дзе ляжалі дровы Кругловых і дзе часам начаваў Банцік, запёрты на вялізны замок. Аўсейчыкаў, які ўжо ішоў на працу і выявіў тое, вярнуўся, здзеў свой макінтош, і, узяўшы малаток і цвікі, са зларадствам на твары падступіўся да прыбіральных. Ён мабыць гадзіны на дзве спазніўся на працу, але прыладзіў замок на дзверы гэтай забудовы і з выглядам здзейсненай помсты аднёс у кватэру ключ.

На ціхім зялёным падворку, з клумбай, кветнікам і бухматым кустом адцвіўшага бэзу, дзе раней быў райскі ўтулак і згода, разгарэлася незвычайная барацьба. Перш за ўсё тут абязлюдзела. Збіты вясной са старых дошак стол і дзве ўкапаня ў зямлю лаўкі цяпер пуставалі ўсе ранкі і вечары, дзверы агульнага калідорчыка рэдка расчыняліся, вокны былі заўжды завешаны паркалёвымі фіранкамі. Дом зрабіўся змрочны, непрыветны і варожы, як і яго гаспадары. Джульбарс цяпер без гаспадара не з'яўляўся ў двары (Кругловы баяліся атруты) і толькі ўвечары, калі на вуліцы запальваліся рэдкія ліхтары, зласчасны сабака выходзіў на кароткім павадку, заціснутым у дужай руцэ Круглова. Банцік жа круглыя суткі шкрэбаў дзверы ў пакоях Аўсейчыкаў.

Пасля таго вечара між варожымі бакамі не было сказана ні слова, але барацьба набыла лютую форму. Праз які тыдзень на падворку з'явіўся незнаёмы чалавек у цёмным пінжаку, выцяг з кішэні блакнот і, паглядзеўшы спачатку ў яго, а пасля на рог дома, рашуча пастукаў у дзверы. Адчыняць выбегла Аўсейчыкава, яна, пэўна, ведала, што патрэбна гэтаму чалавеку, які назваў сябе супрацоўнікам

рэдакцыі. Ён нешта выпытваў у яе, запісваў, пасля пастукаўся да Кругловых. Праз гадзіну пасля яго адыходу Круглоў надзеў кіцель з ордэнскімі планкамі, вайсковую фуражку і пайшоў. Неўзабаве ён вярнуўся з вусатым пажылым дзядзькам, які прынёс з сабой скрыначку са сталярскім інструментам. Яны разам агледзелі калідорчык, і дзядзька пачаў праразаць у яго дашчатай сцяне асобны ход. Дні праз тры, пэўна, у адказ на гэтую меру, тут з'явіліся двое вясёлых маладых хлопцаў, яны выкапалі ўпоперак двара некалькі ямак, укапалі слупы і да вечара збілі плот — магутны бастыён на рубяжы двух варожых уладанняў. А ўвечары таго дня ў вокнах Кругловых ледзь не да світаньня не гасла святло і на фіранцы ківаўся каржаваты цень гаспадара, які ўсё пісаў і пісаў нешта. Пэўна, тое пісанне ўнесла змены ў дамаседнае жыццё пенсіянера, які затым кожнага ранку адразу ж за служачым Аўсейчыкавым пачаў хадзіць некуды. Суседзі казалі, нібыта бачылі яго то ў ваенкамаце, то ў міліцыі, то ў гарсавеце. Аўсейчыкава ж даўно ўжо абівала парогі ў домакіраўніцтве, ветэрынарнай лячэбніцы і нават у пракуратуры.

У выніку гэтых дамаганняў праз колькі дзён Круглоў атрымаў павестку даставіць свайго Джульбарса ў ветэрынарную лячэбніцу для праверкі на шаленства. Пенсіянер выканаў гэта, але ў той жа вечар, не знайшоўшы іншага спосабу помсты, абрэзаў провад, які з рога яго кватэры падключаў іх дом да вулічнай электралініі. Некалькі начэй дом стаяў як не жылы — з цёмнымі вокнамі, маўчала радыё, і гаспадары адной кватэры слалі праклёны другім, а тыя ціха радаваліся.

І вось праз некалькі дзён ля брамкі іхняга дома спынілася чорная «Волга», з якой вылез сам старшыня гарсавета з начальнікам гаржыладдзела. Яны абышлі ўсё, агледзелі сляды застарэлай варожасці, паслухалі стрыманыя, поўныя ўзаемнай нянавісці довады дзвюх гаспадынь і, паківаўшы галовамі, паехалі. Паколькі справа гэтая здалася ім вельмі складанай, кіраўнікі паабяцалі назначыць камісію.

Некалькі дзён Аўсейчыкавы былі на сёмым небе. Прачынаючыся ўранку, яны перш за ўсё выглядвалі на вуліцу,

пасля пільнавалі ля вакон – чакалі створаную па іх заявах камісію, якая разбярэ справу і пакарае ворагаў. Але ворагі таксама не бедавалі. Круглоў час ад часу наведваўся ў горад, званіў з аўтамата – ён таксама чакаў камісію, якая для разбора ягонаі справы была створана ў ваенкамаце. У яго таксама была на яе вялікая надзея. Вестка аб доўгай барацьбе гэтых сем'яў ужо разнеслася па горадзе і шмат хто са знаёмых быў у курсе падзей і таксама чакаў камісій.

І вось камісія з'явілася.

У адзін вясёлы жнівеньскі ранак загрузкала з вуліцы брамка, і Круглоў з Аўсейчыкавай навыверадкі кінуліся адчыняць. Неяк так сталася, што пенсіянер не дабраў спрыту, і засоў адсунула Аўсейчыкава. Пасля яны абодва сціхамірыліся ля варотцаў, прапускаючы ў двор знаёмых і незнаёмых людзей – і намесніка старшыні гарсавета, і домакіраўніка, і гарадскога пракурора, і карэспандэнта мясцовай газеты, нейкага ваеннага ў форме і нават участкавага міліцыянера. Захожыя, не дужа вітаючыся з гаспадарамі, з гоманам разыходзіліся па панадворку, аглядаючы дзесяткі разоў апісанья ў скаргах замкі і платы, гамонячы паміж сабой і спрачаючыся. А Круглоў з Аўсейчыкавай у той час стаялі ля брамкі і ламалі галовы, згадваючы, чыя гэта камісія. Тое ж, відаць, больш за ўсё цікавіла і Кацярыну Кірылаўну з Аўсейчыкавым, якія нечакана попlech апынуліся ля ганку па другі бок двара. І тады раптам высветлілася, што абедзве камісіі аб'ядналіся.

На панадворах вынеслі крэслы, і людзі, абляпіўшы стол пад кустом бэзу, узяліся высвятляць справу.

Засядалі доўга. Былі выслуханы ўсе ўдзельнікі недарэчнае сваркі, якія нішчылі адзін аднаго і патрабавалі знішчэнне «шалёнай» сабакі. Кацярына Кірылаўна ў часе абмеркавання два разы млела, і Круглоў вяртаў ёй прытомнасць нашатырным спіртам, які спецыяльна для таго трымаў у кішэні; Аўсейчыкава разоў з дзесяць бралася плакаць. Абодвума бакамі ў адрас сваіх ворагаў было сказана столькі, што члены камісіі пазбягалі глядзець адзін аднаму ў вочы і толькі трудна ўздыхалі. Уздыхаць, прынамсі, было ад

чаго — час ішоў, а вінаватыя і сродкі прымірэння так і не былі вызначаны.

І ў такі час, калі ўсе ўжо былі страшэнна змораны чалавечай непрымірымасцю, за сталом раздаўся вясёлы голас маладога рахманага пракурора.

— А дзе ж тыя сабакі, якія ўсчалі ўсё гэта. Мо' і сапраўды трэба садраць з іх скуру, калі яны нарабілі тое. Можна яны сапраўды шалёныя?

Людзі пачалі азірацца, гаспадары кінуліся ў пакоі, дзе некалькі месяцаў пільна ўтрымліваліся іх падапечныя, але аказалася, што дзверы абодвух кватэр з ранку расчынены і сабакі зніклі.

Тады ўсе разышліся па двары, цюцюкаючы чацвераногіх зачыншчыкаў, і неўзабаве недзе за рогам раздаўся гучны, раскоісты, ажно гамерычны рогат пракурора.

— Ха-ха-ха! Ой, ха-ха-ха! Глядзіце: цуда і толькі.

Усе кінуліся ў той бок і абступілі чалавека, які, аберуч ухажушыся за жывот, рагатаў і ўсё паказваў пад плот.

Ля плота сабралася чалавек з дзесяць членаў камісіі, чацвёрэ суседзяў-ворагаў, і ўсе моўчкі, поўныя здзіўлення пазіралі ўніз, дзе ў цяньку ад плоту надзвычай лагодна прыхінуўшыся адзін да аднаго соладка і мірна спалі Джульбарс і Банцік. Смех і людзі, вядома, разбудзілі іх, але сабакі не збіраліся ўцякаць, толькі незадаволена прыўзнялі галовы і лена глядзелі на развяселелых людзей.

Сапраўды, уся гэтая застарэлая варожасць здалася дзівосна дробязнай, апрыклай і недарэчнай у параўнанні з бяздумным сабачым мірам. І першы тое адчуў, відаць, Круглоў. Ён раптам плюнуў пад ногі і торапка пайшоў у дом, гучна бразнуўшы дзвярыма.

За ім, хаваючы ад людзей вочы, папляліся Кацярына Кірылаўна і Аўсейчыкавы, а члены камісіі, раптоўна загаманіўшы ўсе разам, пачалі дружна збіраць са стала паперы.

Неўзабаве ў двары пад плотам засталіся адны, надзіва дружалюбныя, сабакі.

[1960 г.]

Хлебны акраец

Сіў-ш-шась, сіў-ш-шась, сіў-ш-шась...

Вузее-меншае травяністы хамлак на лугавіне, бліжай і бліжай да альховага ўзлеску падступаюць трое касцоў – ужо ўвесь луг за іх спінамі палёг даўжэзнымі, выгінастымі, як хвалі, пракосамі. Сонца, увабраўшыся ў сілу, зусім звузіла цень ад гушчару-алешніку, замакрэлі ад поту Сцяпанавы лапаткі пад старэнькай залапленай гімнасцёркай, прысохла і не адліпае ад голых валасатых лытак травяная драбязя. Сцяпан падганяе пад самы алешнік свой апошні пракос, размашыста забівае ў зямлю канец касавільна і ўзнімае голаў.

Сіў-ш-шась, сіў-ш-шась – шырока адмахвае за ім Лёнік Бокуць – здаровы рукасты дзяцюк з ленаватымі соннымі вачыма і бліскучымі ад поту плячмі. Майка яго таксама мокрая, хоць выціскай, па разгарачаным счырванелым твары паўзуць мутныя пісягі поту, блішчаць аблепленыя дзяцелінай халявы гумовых ботаў. Ленаваты Лёнька не прывык завельмі мардавацца на працы, і хоць стае маладое сілы, выдаткоўвае хлопец яе эканомна і пакутна. Дайшоўшы да дзядзькі Сцяпана, ён кідае на пакошу касу і знедужэла валіцца ў засень.

– Ах, каб на яе мухі з аваднямі... Уходаў ты нас, дзядзька Сцяпан...

Дзядзька Сцяпан чакае трэцяга. Грудзі яго пад распузанай і расшпіленай да апошняга гузіка гімнасцёркай размашыста-стомлена дыхаюць, нервова падрыгваюць на абадку касы парэпаныя натруджаныя пальцы, а на строгім хударлявым твары ціхая задаволенасць сваёй ужо не маладой сілай і асалода ад спрадвечна нялёгкай мужчынскай

працы – касьбы. І яшчэ на твары прытоеная скупая радасць, кароткая і сціпляя, і свеціцца ў глыбі адзінага вока ўсмешка. Другога вока ў дзядзькі няма. Замест яго – наўскасяк цераз лоб – чорны скураток павязкі з гэткім жа чорным пятаком-лапінкай пад налахмачаным русым брывом.

Следам за Лёнікам, нетаропка матляючы касавільнам, сунецца да ўзлеску барадаты дзядуля Змітрук. Гэта – немаладога веку калгаснік, пенсіянер і законнік, які ўжо год дваццаць хварэе на нейкую незразумелую старэчую хворобу і толькі ў касьбу ніяк не можа змірыцца з тою сваёй хворасцю і старасцю. Кожнае лета адольвае старога ахвота падпрэгчыся дзе-небудзь да маладзейшых і дзён пару да знямогі памахаць касой.

Дзядзька Сцяпан пазірае на Змітрука і думае, што сілы ў старога прыкметна паменшала. А некалі хвацкі быў дзед – у тыя даўнія ўжо часы, калі Лёніка яшчэ не было на свеце, а падлетак Сцяпан, здаралася, аберуч выдзіраў касу з якое купіны. Цяпер жа апошняя грыўка рамонак, смальянак і мятліцы ўперлася ў дзеда Змітрука і не дужа ахвотна карае пад яго касой.

– Давай, давай, Пятровіч, – падганяе дзядзька Сцяпан старога. – Пара ўжо снедаць.

Дзед Змітрук, аднак, не спяшаецца.

Бы і не чуючы таго, ён дастае з кішэні мянташку і пачынае агойсваць касу.

Вжык-вжык, вжык-вжык, вжык-вжык...

Яны цярпліва чакаюць яго – дзядзька Сцяпан, абAPERшыся на касу, а Лёнік, разлегшыся ў доле. Але дзед не спяшаецца – наладжвае касу, пасля дакошвае сваю грыўку, рупліва абівае пяткай рэшту травы пад алешнікам і пасля ўжо ўздзяе на плячо касавільна.

– Ну і пайшлі.

Дзядзька Сцяпан таксама ўскладвае касу на плячо і панад узлескам ідзе к дарозе, дзе яны ўранку пакінулі свае світкі з сякім-такім харчам. За ім брыдзе Змітрук, і апошні ўзнімаецца Лёнік. Ляніва цвыркнуўшы скрозь зубы, ён пляецца за ўсімі, знясілена цягнучы за сабой касавільна.

Дзядзька Сцяпан нетаропка вядзе сваю невялічкую брыгаду па-над абкошаным падлескам. З алешніку яшчэ дыхае роснай сырасцю, людзі ціснуцца да вещь, у засень, але засень малая, і іх галовы ўсё роўна прыпякае сонца. Сцяпан задаволены працай, ранкам, ламотная стома круціць лапаткі, але з непрывычкі яно аж прыемна. Дзядзька – механізатар, трактарыст; толькі цяпер, у касьбу, на лугі і балоты выходзяць усе, час гарачы – жывёле ўзімку патрэбны корм. І не ведае, ды і не імкнецца дазнацца ў самім сабе, ад чаго гэта такая лёгкасць у душы – ці то ад спластанага лугу, ці ад нялёгкае працы, ці проста ад пагоднага ранку. Яму добра, лагодна-супакойна, і ўсё.

Над алешнікам, каля вузенькай крываўлястай дарожкі, яны снедаюць. Сцяпан выцягвае з кішэні старога пінжака загорнуты ў газеціну харч – кавалак сухой каўбасы, кус падталага масла, Лёнік – ладны акраец хлеба з прыліплай да споду аірынай і, мабыць, з дзесятак вараных яек. Усё гэта ён выкладвае на разасланую перад Сцяпанам газеціну. Адзін толькі дзед Змітрук, прымасціўшыся зводдаль, аднекуль выцяг бутэльку з сіняватым ад шкла малаком і сілкуецца сабе на водшыбе ад усіх.

– Ты што, Пятровіч, – кажа дзядзька Сцяпан. – Давай да кучы, смачней будзе.

– Ды не. Я ўжо малачком пачастуюся. Зубы, ці ведаеш, моцы не маюць. Эх-хе!..

Лёнік за ежай паступова жывее ад сваёй санлявае стомы, адно за адным аблузвае ў траву яйкі і бы глытае іх – без солі і без хлеба. Дзядзька Сцяпан жуе каўбасу і толькі дзівуецца.

– Ну і ладны ты ядок, браце. Каб вось касіў так!

– А што? – буркае Лёнік, утаропіўшы ў дзядзьку вузенькія вочкі. – Што мне касіць! Адышло: касіць тэхніка будзе. Каса ўжо ў музей просіцца.

– У музей?!

– А што ж! У атамны век – касіць?

Дзед Змітрук няпэўна чмыхае, – відаць, не адабраючы хлопцавых слоў, дзядзька Сцяпан пазірае на Лёніка з дакорам, так і хочацца сказаць яму: «Дурны ты, хлопец! Дужы,

укормлены, а дурны!»). Але Сцяпан скупаваты на словы і толькі пазірае ва ўпор на яго адным вокам і чакае, што той скажа яшчэ.

Лёнік, аднак, нічога не кажа болей, абыякавы да ўсіх, з'ядае свае дзесяць як і бярэ акраец, што застаўся ад сняданку. Ён, відаць, добра перакусіў, аж ікае, страсае са штаноў шалупінне і не ведае, што зрабіць з хлебам. Пасля, пакруціўшы яго ў руках, размахваецца і шпурляе ўздоўж па дарозе. Акраец падскаквае некалькі разоў і знікае ў травяністай каляіне.

— Ай-яй, нядобра! — кажа дзед Змітрук. — Навошта ж так: хлеб жа!

У дзядзькі Сцяпана змыкаюцца сківіцы, нядобра сцюдзянее адзінае вока, і ён коратка кідае хлопцу:

— Ану падбяры!

— Хэ, падумаеш, скарынка! Мала вам хлеба, ці што?! — абыякава адгаворваецца Лёнік і соладка выцягваецца на траве.

— Падбяры хлеб, лайдак! — сурова ўжо выкрыквае дзядзька Сцяпан і не зводзіць позірку з Лёніка. Лёнік пазірае ў насуплены чалавекаў твар, і нешта там устрыжвае яго. Ён узнімаецца з долу, сядзе, але ўсё яшчэ спрабуе адбараніцца ад Сцяпана.

— Чаго прычапіўся?! Во яшчэ...

У дзядзькі Сцяпана раптам уздрыгвае брыво, у воку нешта мутнее; на момант ён, здаецца, мярцвее, утаропіўшыся ў хлопца, а затым апантана ўскаквае, хапае касу і замахваецца. Не паспявае Лёнік уцяміць, што гэта робіцца, як дзядзька добра агравае яго разы два касавільнам.

— Ой-ой! За што? — надрыўна якоча Лёнік і ўскаквае на ногі. Ухапіўшыся за пабітае плячо, ён кульгікае да дарогі, усё азіраючыся і не разумеючы, за што так вызверыўся на яго гэты чалавек.

А дзядзька Сцяпан кідае прэч касавільна і сядзе на сваё месца ў траве. Рукі яго дрыжаць, раменьчык глыбока ўрэзаўся ў лоб, ноздры шырока раздзімаюцца. Некалькі хвілін ён не можа супакоіцца ад сваёй нечаканай нервовасці, — ад нядаўняга лагоднага настрою не засталася і следу.

Лёнік неахвотна падыходзіць да акрайчыка ў каляіне, азіраецца, насуперак сваёй волі нахіляецца і паднімае з дарогі хлеб. Ён зноў не ведае, што рабіць з ім, недаўменна і крыўдліва пазірае на дзядзьку Сцяпана. А той ужо не бачыць ні Лёніка, ні гэтай травяністай дарогі: у яго ўзрушаную душу шырокім павадкам хлынулі паўзабытыя адчуванні даўніх жахлівых падзей...

...То быў спякотны, як сённяшні, ранак, пькельнае жнівеньскае неба, бясконцая стэпавая дарога і пыл, пыл...

Пыл густой рудай хмарай вісеў над дарогай, яго не зганяў вецер, бо не было ветру, і ён асядаў на навакольны сланечнік, кукурузу, на спіны, плечы, стрыжаныя галовы, бінты, шэрыя, рудыя, потныя твары байцоў.

Іх было шмат. Яны брылі па дарозе, па пяцёра ў рад, брылі без зброі, без ежы, без надзеі і вайсковае годнасці – брылі ў палон...

Абапал дарогі за пыльнай канавай, адставіўшы ўбок локці, неслі нарыхтаваныя аўтаматы насцярожаныя канваіры.

Людзі ішлі пятыя суткі...

Пятыя суткі без вады і без ежы, з закарэлымі на ранах бінтамі, са здзічэлым адчаем у вачах – абяззброеныя, пераможаныя, асуджаныя на пакуты і смерць...

Другім ад канавы ў гэтае безлічы няшчасных ішоў чырвонаармеец Сцяпан Валыга.

Ён быў яшчэ малады і вельмі не хацеў паміраць. Яго здаровае цела прагла жыцця, адпачынку, вады і хоць бы якога харчу. Але ні вады, ні ежы – пятыя суткі толькі дарога, пыл, бязладнае мільгаценне спавітых абмоткамі ног і тонкія тупыя ствалы аўтаматаў абапал.

А побач яшчэ шкандыбаў блізкі чалавек – аднавясковец, зямляк і сябар.

Ён зусім аслабеў, Кандрат Бокуць, – гэтага вось Лёніка бацька. Такі быў дужы і відны, а знясілеў раней за жылістага паджарага Сцяпана. Яны ішлі поруч, і Кандрат спачатку ціха, а затым усё з большай тугой і мальбою прасіў земляка:

– Сцяпанка, браток, памажы... Не кідай!

І Сцяпан, сам не чуючы пад сабой змярцвелых ног, памагаў чалавеку: нёс на сабе сваю і ягоную скаткі, пасля кінуў іх, падставіў Кандрату плячо, а затым і зусім павалок яго, перакінуўшы за сваю шыю яго руку. Толькі хіба гэтак доўга падможаш на спякотнай дарозе, у бязводзі, голадзе і пакутах!

Нарэшце знямог і Сцяпан. Як ні стараліся яны ісці разам з усімі, але неўзабаве задняя пяцёрка абмінула іх, пасля міналі і міналі іншыя, і Кандрат са Сцяпанам апынуліся спакваля ў хвасце гэтай вялізнай калоны. Тут былі адны бедалагі – зусім аслабелыя і дужа параненыя. Далей ужо адставаць не было куды – ззаду за імі крочыла смерць.

У тае іх смерці былі здаравенныя, валасатыя, голыя да лакцёў рукі, два пісталеты ва ўчэпістых паўпудовых кулаках, бліскучай прошвай-маланкай разрэзаны на грудзях камбінезон і жоўтая цыгарэтка ў роце. Ён увесь час маўчаў, гэты чалавек-смерць; невядома, які быў яго чын, імя, але некаторыя канваіры клікалі яго Панцыргансам.

Сцяпан валок Кандрата і ўсё болей асядаў у зад калоны – бліжай і бліжай да гэтага рукастага вылюдка. Ён ведаў, што варта толькі ім параўняцца, як усё будзе скончана. Так ужо сталася не з адным дзесяткам іхніх паплечнікаў, што, прыстрэленыя, назаўжды засталіся ззаду.

І Сцяпан цягнуў земляка і супакойваў яго, спадзеючыся на які цуд, бо іншай надзеі на жыццё ўжо не было. Але Кандрат не слухаў яго просьб, усё марудней перабіраў нагамі і ўсё больш павісаў на Сцяпанавай шыі.

Так яны падыходзілі да нейкага хутара. З густой чашчобы сланечніку, што абступаў дарогу, паказаліся саламяныя стрэхі мазанак, канваіры заварушыліся, загыркаталі, цясней збіваючы калону. Кандрат, згледзеўшы жыллё, трошкі прыбадзёрыўся, узняў ад долу зруднелы твар, у яго патухлых вачах бліснула іскрынка надзеі. Усюды, дзе яны праходзілі сёлы, ім кідалі з-за платоў, з двароў, з расчыненых вокнаў сякі-такі харч, і хоць канваіры крычалі, білі прыкладамі і нават стралялі, каму-нікому са «шчасліўцаў» усё ж трапляў які-небудзь кавалак, што адсоўваў пагібель.

Так яно здарылася і тут. Яшчэ на ваколіцы пачулі яны крыкі, жаночы плач, некалькі чэргаў з аўтаматаў, – калона страпанулася. Не зважаючы на смерць, людзі нарыхтаваліся і чакалі, каб кінуща за якой бульбінай ці лустай хлеба.

І вось ужо калона мінала гэты невялічкі хутарок, дрымучым лесам сланечніку прыціснуты к дарозе. Праходзілі паўз крайнія хаты рэдкія бязладныя рады замыкаючых, ззаду ўсё бліжай падступаў да іх страшны Панцырганс. Сцяпан, азірнуўшыся, убачыў, як пагрозліва выставіў ён наперад сваю шырокую сківіцу, зацяў у вуснах кароценькі абкурак цыгарэткі і ямчэй перабраў у кулаках два цяжкія пісталеты.

І ў той жа момант праз дзірку ў плятні зусім блізка ад яго з'явілася нястрыжаная віхрастая галоўка, за ёй – ручка з кавалкам хлеба. Бы малое адчайнае ваўчанё, хлопчык бліснуў на дарогу зыркiмі вочкамі – апошнія палонныя ўжо міналі яго, тады ён спахапіўся і таропка кінуў акраец на вуліцу.

Але кінуў, відаць, няўдала – кавалак падскочыў разы два і ўпаў у дарожны пыл пад самыя ногі занятага Панцырганса. Той спаткнуўся, азірнуўся, – хлопчык хуценька знік у дзірцы, – і немец, падбіўшы кавалак ботам, адкінуў яго далёка ў засмечаную, аброслую дзядоўнікам, канаву. Палонныя, немцы і сам Панцырганс пайшлі далей.

Сцяпан прыдушыў у сабе распачны енк і з яшчэ большай нязноснасцю адчуў уладарную патрэбу есці. Усё яго цела прагнула ежы, гэтая прага стала мацней за пагрозу смерці.

Яшчэ праз некалькі крокаў, калі знясілены чалавек гатоў быў завыць ад нямога бяссілля, над нізенькім плятнём ля нейкага глінянага хлёўчыка зноў з'явілася тая ж бялявая галоўка. У пыльным паветры над галовамі людзей мільганула нешта невялічкае і лягнулася на дарогу зусім недалёка ад Сцяпана. Ён не ведае і цяпер, як тады здарылася ўсё тое, толькі зусім блізка ад сябе між людскіх ног убачыў хлеб. Гэта быў ладны жытнёвы акраец з паджарыстай хрумсткай скарынкай, паўадрэзаны-паўадламаны ад большага бохана.

Зямля хіснулася пад яго нагамі, шалёна замільгацелі людскія гамашы, нехта грывнуўся ў пыл, заекатаў. Сцяпана балюча выцялі нечым тупым у бок, але ён стрываў, адчуўшы ў сваіх потных руках разам з пяском і пылам той шархавата-гладкі акраец. Чалавек ухапіў яго, прыгарнуў да грудзей, ад штурханіны і болю сцяў у сабе дыханне і ўжо гатовы быў зараўці ад шчасця. Але тады недзе над яго спіной люта грукатнуў аўтамат – і страшэнны боль пранізаў Сцяпанавы грудзі. Рукі яго адразу расслаблі, упусцілі акраец, заняло дыханне, і ён апошнім сударгавым намаганнем апруцянела пераваліўся тварам угору.

Праз якую секунду ён зразумеў, што гэта канец, і расплюшчыў засыпаных пяском вочы. Да яго падвалілася і смяртэльна торгалася нечая гарачая спіна, а затым з яснага спякотнага неба проста ў ягоны твар зірнулі з-пад калматых белых броваў пустэльныя вочы Панцырганса. Спяпан інстынктыўна тузануўся ў доле; бялесыя павекі цепнулі, затым у небе мільганула чорнае зрэнка парабелума, і грымотны стрэл ударыў яго ў галаву...

...Але ёсць на свеце добрыя людзі, і яны дамагліся таго, што праз многа-многа дзён усё ж убачыў Сцёпка Валыга і яснае неба, і тугія, паніклыя долы сланечнікі, і хлеб, да якога ўжо не было ранейшага смаку... Пасля ўбачыў маленькі надмагільны курганок між струхлелых і новых крыжоў за хутарам. Яшчэ праз немалы час убачыў мноства бяззбройных люфт-панцыр* і проста пяхотных «гансаў» на стэпавых дарогах, а праз доўгае доўга спаткаў малога Кандратавага сына – Лёніка. Самога ж Кандрата і таго белагаловага ўпартага хлапчука ўбачыць Сцяпану больш не давялося ніколі.

З таго часу з'явіўся ў яго на лобе чорны вузенькі раменьчык.

– Нягожа, нягожа так хлеб шпурлянь, – нязлосна кажа Змітрук, кідаючы непрыкметныя позіркі на скрыўлены бодем, пакутны Спяпанаў твар. – Хлеб – гэта божая сіла. Ад хлеба, брат, жысць на зямлі...

* Люфт-панцыр – авіяцыйных, танкавых (зноска *аўтара*).

Лёнік, валюхаючы тугімі, як у бацькі, плячыма, нясе падабраны кавалак і, не ведаючы, што зрабіць з ім, кідае на разасланую ля Сцяпана газеціну.

— Падумаеш!..— прыцішана буркае ён, трохкі боязна пазіраючы на дзядзьку Сцяпана. А той ужо крыху адышоў ад сваёй нервовасці, бярэцца за каўбасу, але ўсё яшчэ сурова, амаль з нянавісцю, адным сваім уцалелым вокам глядзіць на Лёніка. Чорны раменьчык глыбока ўрэзваецца ў яго набраклы ад гневу лоб.

— Эх-хе! — падмацаваўшыся, месціцца на траве дзед Змітрук. — Маладыя, дзе ім хлеб шанаваць, працу... Маладота-дурнота, хіба яна цяміць...

Дзядзька Спяпан на тое злосна паварочваецца да яго і кідае коратка і сурова, як прысуд:

— Разумень трэба! Не маленькі!

1960 г.

Чацвёртая няўдача

То была цяжкая работа.

Хай бы лепш ужо трапіўся глей, яго як-ніяк можна было б надзяўбці кіркай ды паціху павыкідаць рыдлёўкай. У гэтай жа праклятай лесавой зямлі, скрозь перавітай тоўстымі, як бізуны, і цвёрдымі, як дрот, яловымі каранямі, мала карысці ад кіркі, лома ці звычайнай штыхавой рыдлёўкі. Адно, што як-колечы памагала Турку капаць гэты акопчык, была сякера. Салдат раз-пораз выпроставаўся з ямы, якая патроху, але ўсё ж глыбела, браўся за гразкае тапарышча і блішчастым затупленым лязом сек у цвёрдай зямлі непадаткія смалыяныя карані. Пасля ён браў з кута рыдлёўку і кідаў ёю цераз плячо земляныя ацяробкі. Буйнейшыя камякі шасталі непадалёк у альховым кусце, а рассыпістая драбязя, падхопленая ветрам, пыльна трусіла на яго спіну, шыю, пілотку. Ад такой турботнае працы хлопец неўзабаве змарыўся. Не зважаючы на слоту асенняга надвор'я, ён расперазаў сваю трафейную дзягу з «гот міт унс» на алюмініевай спражцы, сцягнуў за рукавы шынель і выкінуў яго з акопа далей на мокрую, засыпаную зямлёй траву. За паўхвіліны тае перадышкі ён паспеў паглядзець назад, туды, на тэлефаністаў, што мясціліся з апаратамі на ўскрайку гэтай травяністай лясной прагаліны. Праўда, цікавілі Турка не тэлефаністы, а яго камандзір – старшы на батарэі лейтэнант Гаркавенка. Якраз было ціха, батарэя маўчала, і лейтэнант, расставіўшы калені, сядзеў на шырокім пні ля сваёй бусламогай бусолі і курыў. Позіркі іх сустрэліся.

– Ну што, пяхота? Уходаўся? – праз дым ад цыгаркі знарок зласнавата гукнуў лейтэнант, але Турок згледзеў,

што вочы ў камандзіра ўжо добрыя, нават смяшлівыя, а ад былое злосці не засталася і следу. За мянушку ж тую – пяхота! – Турок ужо даўно перастаў крыўдаваць на лейтэнанта і на хлопцаў, можа таму, што прывык, а можа адтаго, што не адчуваў тут ніякай сваёй віны. Хіба ён быў вінаваты, што яго перадалі гэтай батарэі са стралковага батальёна, у якім ён пачынаў франтавую службу, і таму ў артылерыйскай навуцы не дужа што, як кажуць, кумекаў. Ад лейтэнантавай адмякчэласці хлопцу трохі палепшала ў гэтай пераплеценай каранямі яме; ён уздыхнуў, папляваў на далоні і з новаю сілай узяўся за цёплы, адслізганы тронак рыдлёўкі.

З самага ранку гэтага слотнага дня паваліліся на радавога Турка дробныя і вялікія няўдачы. Пачалося з таго, што на старой агнявой пазіцыі, з якой яны на світанні зняліся, ён забыўся сваю тарбінку з сякім-такім салдацкім набыткам. Праўда, дужа каштоўнага там не было нічога, хіба толькі новыя байкавыя анучы, ні разу яшчэ не абутыя і беражоныя на самы неабходны выпадак. Турок пабедаваў крыху ды можа і забыўся б на тую няўдачу, калі б праз якую гадзіну не напаткала яго другая. Збіраючыся паснедаць і ўжо дастаючы з-за абмоткі сваю пагнутую лыжку, ён незнарок перакуліў кацялок і выліў у траву ўвесь крупнік. Пакуль хлопцы рагаталі з яго, Турок усухамятку зжаваў сваю хлебную пайку, нявесела пазіраючы ў той бок, дзе батарэйны кухар мыў у ручаіне парожнія тэрмасы.

Трэцяе ж ліха было куды горшае. Батарэя вяла агонь, лейтэнант Гаркавенка сваім заўсягдашнім нейкім злосным голасам крычаў ад бусолі каманды. Раз-пораз тузаючыся, бы прысядаючы на высокіх гумовых колах, гахалі гаўбіцы – недзе за лесам нашых атакоўвалі немцы. Турок быў зарадным – седзячы ў папараці каля гарматы, выдзіраў з гільз парафінавыя донцы і, слухаючы каманду Гаркавенкі, «рабіў зарад».

– Зарад трэці! – крычаў Гаркавенка, і Турок вымаў з шырокай, бы глечык, гільзы тры мяшэчкі дробнага пораху.

– Зарад чацвёрты! – вымаў чатыры мяшэчкі, пяты – пяць. Гільзу зараз жа трэба было перадаць зараджаючаму.

У той раз ці можа Турка задужа аглушыла стрэлам, ці заікнуўся як лейтэнант Гаркавенка, толькі салдат не пачуў нумара зарада і, схапіўшы са скрынкі слізкую ад змазкі гільзу, сумеўся. Пэўна, трэба было запытацца, але камандзір з выгляду быў дужа непрыступны і злосны, вакол грымелі стрэлы іншых гармат і ўстрывожана мітусіліся хлопцы. Зараджаючы ўжо працяг свае хапастыя рукі за чарговай гільзай, і Турок хуценька выкінуў у траву чатыры мяшэчкі. Затым гармата пальнула, хлопца абдало парахавым смуродам, ударыла ў левае вуха. Ён ухапіў новую гільзу, вырваў парафінавае донца, але Гаркавенка чамусьці не камандаваў далей і батарэя прыціхла. Хлопец устрывожана азірнуўся – старшы на батарэі, стоячы на каленях ля свайго прысадзістага пня, прыціх з блакнотам у руках і пазіраў на тэлефаніста, які штосьці не мог разабраць з таго, што чулася ў трубцы. Пасля гэтую трубку ў яго вырваў Гаркавенка.

«Камбат гаворыць», – здагадаўся Турок і сцяўся, прысеў у траве, адчуўшы, што памыліўся з зарадам і нарабіў ліха.

Так яно і сталася. Лейтэнант хутка кінуў тэлефаністу трубку, ускочыў на ногі і, паўстаўшы на прагаліне, як тая яго цыбатая бусоль, – вялізны, паджары і строгі – закрычаў да іхняй гарматы:

– Сяржант Петракоў, чаму снарад адарваўся? Далажыць прыцэл!

– Сто дваццаць чатыры, – адказаў сяржант, зірнуўшы ў сваю паперку.

– Зарад?

– Турок, які зарад? – здаецца, западозрыўшы штосьці, гукнуў да хлопца сяржант, і Турок, адчуўшы, як раптоўна самлелі яго калені, няпэўна сказаў:

– Дык гэта... Чацвёрты, я думаў.

– Чацвёрты!!! – грывотна раўнуў Гаркавенка. – Я табе пакажу чацвёрты! Уся батарэя страляе на трэцім, а яму чацвёрты! – Хуткім крокам ён рушыў да іхняй гарматы, але не дайшоў, спыніўся і закрычаў:

– Прэч адсюль! Марш ровік капаць! Жыва! – І дадаў цішэй, але яшчэ болей злосна і кпліва: – Ух ты, пяхота!

Так Турок апынуўся ў недакапанай яме і паныла калу-паўся тут ужо мабыць з паўдня. Даўно батарэя перастала страляць, хлопцы ў разліках маскіравалі гаўбіцы, чакалі вячэры, а ён усё не мог скончыць гэтага ровіка для батэрэйных снарадаў. У адзіноце і ўціхласці хлопцу было трохкі крыўдна на душы ад лейтэнантавай строгасці, трохкі прыкра на самога сябе за тую памылку. Памыляўся ён ужо не адзін раз, батэрэйцы за тое кпілі з яго, самага маладога тут і неспрактыкаванага, камандзіры часта скарыстоўвалі хлопца на розных дробязных турботных работах, бо якраз ён быў такі, каго тут найменш паважалі. Праўда, хлопец трываў, стараўся, не дужа крыўдаваў і ніколі не сварыўся ні з кім.

Урэшце можна было і спачыць, глыбіня ўжо стала такая, што Турок ледзьве не хаваўся ў яміне. Накапаная зямля затуліла ад яго і гарматы, і тэлефаністаў, і лейтэнанта Гаркавенку, толькі кашлатыя елкі тырчалі ў небе шышкатымі верхавінамі. Неба было самотна-шэрае, мутнае; з туману ці нізкіх ускалмачаных хмар сеялася на дол восеньская золь, – відаць, к ночы збіраўся дождж. Прыкметна вечарэла. За хмызняком, у баку ворага, стала зусім ціха – ні стрэлу, ні выбуху, толькі справа, у суседзяў, з роўнымі прамежкамі часу рваліся міны і ў лясной далечы прыцішана грукатала рэха.

Турок зморана аддыхаўся і думаў, што яшчэ якіх дватры штыхі і, пэўна, будзе даволі – метр пяцьдзесят, якраз у яго рост, а болей для ровіка пад снарады і не трэба. Але калі ён наступіў на рыдлёўку, каб як упіхнуць яе ў зямлю, пачуў нечы голас. Турок выпрастаўся – здаля яўна да яго гукаў лейтэнант Гаркавенка:

– ...не чуеш, ці што? Ану вылазь!

Турок падскочыў і выбраўся на бруствер. На пні ля лейтэнантавай бусолі сядзеў незнаемы афіцэр у фуражцы з самадзельным казырком, ля яго стаяў Гаркавенка і нецярпліва чакаў, пакуль Турок падбяжыць да іх. Хлопец

ацерушыў гімнасцёрку і паслухмяна падбег, запытальна пазіраючы ў заўсёды загадкавы лейтэнантаў твар.

– Ану адзявайся. Начальніка разведкі, капітана, да КП праводзіш. Ды падсобіш там: ён паранены.

Турок падбегам кінуўся да ровіка, струхнуў з шыняля пясок і тады спахапіўся, што не ведае, дзе той КП.

– А куды ж гэта ісці?

– Вось па лініі. Па чырвоным провадзе, – гукнуў з вузенькай траншэйкі тэлефаніст. – Проста цераз лес да дарогі, а там у палкавых сувязістаў спытаеш.

– Нашто пытаць, – сказаў лейтэнант і зусім ужо паяброўску паклікаў: – Ідзі сюды.

Напіваючы на сябе шынель, Турок падбег да камандзіра і спыніўся – нізенькі, з пакамечанымі пагонамі і расплюснутай на галаве пілоткай – побач з даўганогім вялізным Гаркавенкам. Лейтэнант павярнуў яго тварам да лесу і выцяг над плячом руку.

– Вунь, бачыш, між елак гарбіна голая. То вышыня трыццаць пяць і пяць. Яна ў немцаў. А вунь у бок ад яе тырчыць сухадрэвіна, ля яе і КП.

Турок не дужа ўпэўнена кінуў – сухадрэвіну ён сапраўды ўбачыў, толькі гэта было далёка, на бугры за лесам, – мабыць, якіх кіламетры за тры адгэтуль. Можна б, трэба было распытаць падрабязней, але лейтэнант строга прыкрыкнуў:

– І давай хутчэй! Каб праз гадзіну назад! Чуў ты, пяхота?

Турок закінуў на спіну вінтоўку, на хаду падперазаўся.

З пня зморана падняўся капітан – маладжавы плячысты дужак у расхрыстанай зялёнай ватоўцы, пад якою паблісквалі спражкі – большая на жываце ад рамяня і маленькая на грудзях – ад партупеі. Устаўшы, ён абапёрся на нейкую патарчаку, якая была ў яго замест кія, трохі перасмыкнуў вуснамі і засцярожліва ступіў на левую нагу. Турок пачакаў трохі, а пасля па-над провадам няспешна пайшоў да лесу.

Афіцэр, аднак, дужа кульгаў. Ледзь толькі прыступіўшы на левы бот, ён хуценька сігаў правай нагой і пасля маруд-

на, з асцярогай, пераносіў наперад левую. Твар ягоны пры гэтым – хударлявы, трошкі нервовы твар чалавека, нязвыкла да дробязных нягодаў жыцця, – выражаў незадаволенасць і прыкрасць. Турок праз якіх дваццаць крокаў спыніўся пад разлапістай елкай і пачакаў, пакуль капітан прыкульгікае бліжэй. Гэтага афіцэра Турок бачыў упершыню і, адчуваючы сябе гаспадаром у іх падарожжы, падумаў, што трэба нешта загаманіць да яго, бо моўчкі ісці нядобра. І ён запытаўся:

– Мусіць, здрава вас параніла?

– Ды ўжо ж, – скупа азваўся капітан, пакутна кульгікаючы.

– Куляй ці асколкам?

– А ты што – доктар?

Капітан праз боль на твары няласкава паглядзеў на хлопца, і той сумеўся, навошта было балбатаць: ведама ж, начальнік, ды яшчэ паранены. Афіцэр жа падышоў да яго бліжэй і, пэўна, каб паправіць уражанне, вытлумачыў:

– Куляй ці асколкам – цяпер усё роўна. Цяпер на пару тыдняў медсанбат. Калі толькі да немцаў не трапім.

– А хіба яны блізка? – здзівіўся Турок.

– Блізка. На стыку з сорок шостым прарваліся.

– З сорок шостым? – Салдат аж прыпыніўся. – Гэта там? – Ён паказаў у той бок, куды ім трэба было ісці.

– Эге ж, там.

Турок зноў прыпыніў хаду, услухаўся. Навокал уперамешку з алешнікамі, пагойдваючы верхавінамі, стаялі замшэлыя елкі, пад іх абвіслым долу суччом збіраўся ўжо змрок. Было ціха, толькі лесавы шум угары то расплываўся хвалямі, то заціхаў. Мінныя выбухі, што чуваць былі паўгадзіны назад, цяпер сціхлі, але недзе ўдалечы дробным рассыпістым рэхам пракацілася кулямётная чарга. Зблізку ў вяршалінах пракрумкала невядома чым патрывожаная варона.

Хлопец, аднак, прыцяў у сабе зачаткі трывогі – усё ж на тую хаду не яго была воля, капітана трэба было весці далей – і, страціўшы ахвоту да гаворкі, моўчкі пайшоў уперад. Лес быў не дужа густы, хмызняк пад елкамі ўжо

добра пацерабіла восень, у вільготным паветры стаяў гаркавата-смалісты пах ігліцы. Хутка ім трапіўся пністы расцяроб з высокай да калень папараццю і ссохлым паламаным маліннікам, у якіх зусім гублялася тоненькая нітачка проваду. Каб не збіцца з кірунку, хлопец раз-пораз браў яе ў руку і шкандыбаў так, прыслухоўваючыся да лесавых гукаў і далёкай страляніны. Провад казытаў далонь, часам на ім набягалі аголеныя драцяныя вузлы, яны балюча калолі далонь. Турок тады кідаў провад і стараўся толькі бачыць яго. У двух месцах на лініі трапіліся парожнія шпулькі – пакінутыя да часу сувязістамі, шпулькі ляжалі ў траве. На адной Турок згледзеў фанерную бірку з прозвішчам «Трахімчук» і прыпамятаў рабога сувязіста, забітага пад вёскай Лычы. Ад таго хлопцу стала крыху ніякавата – чалавека ўжо з месяц няма, а на шпульцы ўсё ягоная бірка, нібы і дагэтуль яе гаспадар – нябожчык Трахімчук.

Але елкі спакваля пачалі расступацца, стала крыху святлей, навокал усё болей трапляла алешніку. Капітан па-ранейшаму адставаў, і Турок, як ні намагаўся ісці павольней, усё адрываўся ад яго. Вакол былі глухмень і бязлюдзе.

Пасля пачалася нейкая забалаць, Турковыя башмакі шасталі ў апалым альховым лісці, пад якім чвякала макрэдзь. Капітану ісці стала яшчэ горш, ён усё болей ашчадна ставіў сваю параненую нагу і ўсё марудней кульгікаў за хлопцам. Тым часам змяркалася, провад у траве ўжо цяжка было згледзець, і Турок зноў узяў яго ў жменю. Неба касмылявілася, насела на самыя верхавіны дрэў, раз-пораз налятаў халодны вецер, устрывожана шамацеў хмызняком і напаўняў лес непрытульнасцю ды прадчуваннем ночы.

– Салдат! – раптам гукнуў ззаду капітан. – Стой!

Турок азірнуўся, капітан прыкульгікаў да струхлелага пня і, падкорчыўшы нагу, апусціўся на яго. Хлопец падышоў да афіцэра, той выставіў аблеплены лісцем бот і загадаў:

– Ану пацягни. Толькі паціху.

Турок прысланіў да алешыны вінтоўку і далікатна пацягнуў яго мокры бот. Капітан учапіўся рукамі ў трухляціны пня, упёрся здаровай нагою ў дол і сцяў сківіцы.

– Дужэй! Ды не рві адразу. Раўней.

Хлопец здзеў бот. Капітан, усё яшчэ не разнімаючы сківіц, пасядзеў з хвіліну, а пасля пачаў тужэй абмотваць анучай нагу. Пэўна, у боце ён ужо ісці не мог і рабіў гэта, каб аблегчыць пакуты. Турок памагаў загарнуць анучу, але яна ўсё раскручвалася ды і была не дужа вялікая, каб трымацца на назе. Гледзячы на зацяты афіцэраў твар, хлопец агартаўся спагадай да гэтага чалавека за яго пакуты і, як-колечы прыладзіўшы на яго забінтаваных шчыкалатках анучу, сказаў:

– А давайце яшчэ і мае накруцім.

Капітан не адмовіўся, і Турок разбэрсаў свае змакрэлыя чаравікі; удвох яны добра ўкруцілі параненую нагу. Каб лепей трымалася гэтая кульба, яе трэба было звязаць, і капітан зняў з рамяня партупею. З-пад ватоўкі на ягоных грудзях бліснулі тры ордэны, гэта яшчэ болей надало хлопцу павагі да афіцэра; ён ужо адчуваў у сабе нястрымную адданасць да яго. Пасля капітан абвязаў нагу партупеяй і ўстаў з пня.

– А вы ступайце на пятку. Так, пэўна, зручней будзе, – параіў Турок. Афіцэр без увагі на хлопца паціху пашкандыбаў па сцяжыне, несучы на незадаволеным твары абыякавасць да ўсяго, што не датычыла ягонай нагі.

Яны ішлі так адзін за адным. Турок увесь час азіраўся на спадарожніка, які нёс пад пахай свой здзеты бот і ішоў па-ранейшаму вельмі марудна. У лесе вечарэла, неяк непрытульна глушэла, хацелася хутчэй выбрацца куды на поле з гэтых хмызнякоў, і хлопец, сам таго не прыкмячючы, прыбаўляў хады. Навокал нідзе не было нікога, і гэтае бязлюддзе пачынала прыгнятаць. У голаў лезлі розныя нядобрыя думкі, і, каб пазбыцца іх, Турок пачаў думаць пра агнявую пазіцыю, дзе цяпер было ціха і спакойна; хлопцы, пэўна, павячэралі ўжо, толькі вось ён увесь дзень не еўшы. Хутчэй бы дайсці да КП, вярнуцца, тады б ужо ён пазбыўся гэтае трывожнай няўтульнасці. За шмат дзён вайны Турок прывык да батарэі і агнявую пазіцыю лічыў сваім нібы хатнім прытулкам.

Так думаў Турок, пазіраючы ўздоўж кривулястай лесавой сцяжыны ў хмызняку, як аднекуль, – здаецца, па-над самай яго галавой, раздаўся жаклівы, унутрана-гарлавы крык:

– У-у-у-у-уп!

Турок жакнуўся, скалануўся, аж прысеў, і не паспеў яшчэ апамятацца, як крык паўтарыўся двойчы:

– У-у-у-уп! У-у-у-уп!

Капітан таксама спыніўся, але толькі на якую секунду, затым зноў пакульгікаў сцяжынай. Турок стаяў і пазіраў то ў хмызьяк, то на свайго спадарожніка.

– Гідота птушка, – сказаў афіцэр, падышоўшы бліжэй. – А ты што, збаяўся?

Турок не адказаў і, азіраючыся па баках, пайшоў далей. Хоць цяпер хлопец і ведаў, што гэта не якая нядобрая сіла, але ад чакання зноў учуць гэты жаклівы крык у Турка ледзянела нутро. Ён яшчэ прайшоў крыху з вінтоўкай пад пахай і раптам спахапіўся, што на сцяжыне не відно провада. Уласна не было ўжо і сцяжыны, яны ішлі між кустоў ляшчынніка, рэдкіх маладых елачак, якія цьмянымі сілуэтамі падазрона чарнелі сям-там. Турок спыніўся, нахіліўся ў дол, кінуўся ўбок, прагрэб пальцамі апалае лісце, пасля падаўся ў другі бок. Капітан стаў, насуплена паглядзеў на мітусню свайго праважатага і нядобра сказаў: – Што, згубіў?

Турок усё кідаўся сюды-туды, яшчэ не трацячы надзеі знайсці провад, і ўсё бубніў сабе: «Толькі ж быў. От жа халера!..»

Капітан пастаяў, паслухаў; скрозь было ціха і пуста, хоць бы дзе які стрэл, які гук. Усё знікла, знямела, у кустах зусім разлеглася цемра; з навіслага неба пачаў накропваць дробны рэдзенькі дожджык. Турок адышоўся далёка, усё заграбаючы ў змроку лісцвяны дол, накалоў на сукавіну руку, але провада нідзе не знайшоў. Тады ён спалохаўся ад думкі, што ў гэтай дажджавой цемры можа згубіцца і капітан, і вярнуўся да яго. Хлопец адчуваў сябе зусім вінаватым і не ведаў, куды ісці далей.

– Ну дык што ж! – знарок спакойна сказаў капітан. – Значуем?

Турок пачуў непрыкрыты папрок у яго голасе, але змоўчаў, і афіцэр тады ўжо не стрымаў сваёй злосці.

– Балбес ты, а не салдат. Сказана ж было – па провадзе. Трэ было трымаць яго. Ну, а цяпер што?

Турок не ведаў, што рабіць цяпер; ён маўчаў, і было хлопцу вельмі адзінока тут, у лесе, уначы, побач з гэтым няласкавым на слова чалавекам. Капітан жа, да якога ён зусім нядаўна яшчэ пачаў гарнуцца душой, цяпер, не тоячы сваёй прыкрасці, зацята глядзеў на Турка.

– Пайшлі сюды! – сказаў урэшце афіцэр і пакульгікаў некуды ў змрок між кустоў; за ім, уздыхнуўшы, падаўся Турок.

Капітан вёў доўга і марудна. Сцябаючы хлопца веццем, ён прадзіраўся праз нейкі гушчар. Абудва яны адхіналіся ў бакі, нахіляліся, але ўсё роўна натыкаліся на суччо, паабдзіралі рукі і твары і толькі засцерагалі вочы. Навокал па кустах і апалай лістоце лапацеў пагусцелы дождж. Турковы плечы, пілотка і рукавы шыняля ўсё болей макрэлі. У думках хлопец праклінаў сябе за няўвагу, за тыя дзіцячыя страхі – ад нейкай там птушкі! – і адчуваў сябе вельмі няўдалым. Пра батарэю і лейтэнанта Гаркавенку ён проста баяўся падумаць – невядома было, як вяртацца туды пасля гэтай яго чацвёртай няўдачы.

Наваколле змоўкла, счарнела, схавалася, праглынутае непагодлівай ноччу, і нідзе не было ніякіх адзнак чалавека. Капітан часта спыняўся, слухаў, Турок таксама тады прыпыняўся за ягонаю спіной і таксама ўслухоўваўся ў ноч. Але скрозь было толькі роўнае лапатанне дажджу і болей нічога. Турку стала здавацца, што яны даўно ўжо мінулі тую вышыню з сухадрэвінай і той іх КП і блукаюць недзе ў тыле палка, а можа нават ля штаба дывізіі. Але яго меркаванне цяпер мала што значыла, наперадзе ішоў капітан, ён моўчкі некуды вёў, і хлопец пакорліва плёўся следам.

Так яны перайшлі грудок з бярэзнікам, у якім вельмі пахла прэлай ліствой і грыбамі. У адным месцы трапіўся на шляху нейкі гнілячок, аблеплены зеленаватым роівам светлячкоў. Турок дзеўбануў яго чаравікам, і светлячкі,

разляцеўшыся ў траве, ціха заблішчалі навокал. Хлопец прыгнуўся за адным, як раптам наваколле праяснілася, захісталася, — Турок схамянуўся, — нейкае святло наперадзе разагнала цемру, асвятліла неба, сталі відаць верхавіны алешын. Святло дрыготка пасунулася па небасхіле, прыцьмела і неяк раптоўна згасла. Стала яшчэ цямней, і Турок здагадаўся тады, што гэта ракета. Капітан спыніўся, трохі паслухаў, і паціху пайшоў ранейшым кірункам. Турок жа не ведаў, радавацца ад ракеты ці непакоіцца, хоць адчуванне блізкасці людзей надало крыху бадзёрасці.

Неўзабаве яны нечакана неяк вылезлі з кустоў на поле. Вецер дажджавой сцюжаю дыхнуў у іхнія твары; ад таго, што перастаў шастаць хмызняк, стала ціха і пуста. Капітан з паўхвіліны зноў пастаяў, паслухаў і ўжо ступіў уздоўж па ўзлеску некалькі сваіх кульгавых крокаў, як зноў спыніўся. Турок таксама стаў, схіліў набок голаў і ўслухаўся. Там былі людзі. Наперадзе ў полі перад узлескам чулася нейкая невыразная гамана, лязгнула жалеза, пасля нехта глуха, прастуджана закашляў. Турок спачатку ажно ўзрадаваўся, але насцярожаная падазронасць афіцэра прыглушыла яго заўчасную радасць. Каб лепей разгледзець што ў цемры, капітан прысеў пад кустоўем. Турок таксама ўкленчыў ля яго і паклаў далонь на рукаятку затвора. Пэўна што там, праз якіх сто метраў, былі людзі, але свае ці немцы — нельга было ні ўчуць, ні ўбачыць. А ў такі вось час, калі Турок з капітанам, нічога не ўчуўшы, хацелі было падацца далей, нехта выразна загаманіў з цемры:

— *Брынг маль, Отта, обер філь, дас золь фюр унс бейдэ генюген.*

Турок змярцвеў, учуўшы такое, а капітан побач выцягнуў з-пад ватоўкі пісталет. Тады зусім блізка наперадзе зашорхалі крокі, і з цемры коратка і буркатліва азваўся прастуджаны голас:

— *На шон, вірдгемахт.*

То былі немцы.

З-пад кустоўя стала добра чуваць, што проста на іх нетаропка ішоў чалавек. Ён кашлянуў, адкырхаўся, плюнуў і нетаропка пашкандыбаў да ўзлеску. Турок быццам

сцяўся ў боязны маленькі камячок, стуліўся ля афіцэрава пляча і ўсімі сіламі прымушаў сябе сядзець ціха, змярцвець і чакаць, што зробіць двое: капітан і той немец. Капітан настырчыўся, падцягнуўся, выцяг шыю, падабраў пад сябе рукі, бы перад скачком, а немец тым часам падышоў да ўзлеску ў дзесяці кроках ад іх і, сапучы ды шастаючы веццем, пачаў ламаць алешнік.

«Цікаць... цікаць... цікаць!» – патрабавала ўсё Туркова нутро, хлопец ажна акрыяў, што самае страшнае мінула, што немец не заўважыў іх. Але капітан марудзіў, і хлопец мярцвеў ля яго, баючыся паварушыцца, каб даць знак, што трэба ўцякаць. Праз якую хвіліну, праўда, капітан павярнуўся, загрэбшы рукой, падгарнуў да сябе Туркову голаў у мокрай пілотцы і абдаў яго шчаку цёплым дыханнем:

– Возьмем! Ты аглушы прыкладам!

Спачатку Турок не зразумеў яго, а затым з самай глыбіні ягонай душы ўзняўся пратэст – нашто? Так хацелася ўратавацца і так гэта было магчыма – навошта ісці самім па добрай волі ў самую ляпу смерці. Але капітан, бы і не падазраючы нічога, – ні боязі салдата, ні такой блізкай магчымасці паратунку – прыгнуўся і нячутна, на чацвярэнках, падаўся ў змрок. І Турок, маўкліва пратэстуючы ўсім нутром, мусіў прыдушыць у сабе баязліўца, заглушыць благія прадчуванні і, таксама прыгнуўшыся да самага долу, пасігаць за афіцэрам. Усё ў ім было паралізавана страхам і воляю капітана; супрацьлеглыя гэтыя адчуванні спляліся ўнутры, непадуладныя адзін аднаму. Так з імі Турок машынальна і сігаў у змрок, дзе зусім блізка шастаў хмызнік, хрускалі галінкі і пасопваў блізкі, загадкавы і страшны вораг.

Капітан урэшце спыніўся, зноў прыціснуўся к долу – адчувалася, немец быў ужо зусім побач, нават трохі відаць было на фоне неба, як гойдалася верхавіна алешыны, якую ламаў ён. Капітан тады павярнуўся, дацягнуўся да Турковага вуха і шапнуў:

– Ускочыш і глушы па галаве. Я следам...

Ён памаўчаў, угледзеўшыся ў цемру, трохі счакаў і затым цвёрдай рукой загадна штурхнуў яго ў спіну.

Турок не дужа спрытна ўскочыў, бадай не адчуваючы нічога. Пэўна, трэба было прыгнуцца, але ён ужо дрэнна валодаў сабой, на вялых, бы ватных нагах ступіў разы два ў цемру, дзе шастала дрэўца. У адно імгненне пад кустоўем трапінулася цьмяная постаць, мільганула і застыла шэрая пляма твару – выпушчаная з рук алешына махнула ўгары верхавінай. І тады Турок размахнуўся з усяе сілы і выцяў немца вінтоўкай па галаве.

Вораг, здаецца, адскочыў, застагнаў і мякка паваліўся на дол. І ў той жа час капітан з цемры кінуўся да яго. Адчуўшы самае страшнае, Турок прысеў, стуліўся, але капітан зараз жа гучным шэптам гукнуў яму:

– Давай сюды!

Ад гэтага яго шэпту Турок трохі апрытомнеў, у свядомасць цюкнула думка, што схібіць цяпер нельга, інакш яны абодва загінуць. І хлопец, інстынктыўна прыгнуўшыся, падаўся ў змрок да паваленага немца, на якога ўжо ўсеў капітан. Турок таксама рынуўся на варожае цела, ашчаперыў яго за калені, тыя напружыліся і разы два бяссільна трапінуліся. Некалькі часу хлопец толькі трымаў іх так – з усяе сілы. Пасля капітан ухапіў з немцавай галавы пілотку, ямчэй прыналёгшы на яго, запіхнуў яе ворагу ў рот і строгім загадным шэптам кінуў салдату:

– Абмотку, жыва!

Турок здагадаўся і, не выпускаючы з-пад пахі немцавых ног, дрыготкімі пальцамі аднае рукі адарваў завязку сваёй абмоткі і хуценька раскруціў яе. Капітан перакуліў немца на жывот, заламіў на спіне яго рукі і, пакрэктаваючы, укруціў іх абмоткай. Немец не супраціўляўся, Турку нават здалася, што ён нежывы, але хуткія засцярожлівыя рухі супольніка прымушалі думаць, што трэба быць пільным.

Здаецца, усё адбылося нечакана, удала і хутка. І вось капітан выпрастаўся, Турок намацаў у траве вінтоўку; яны ўдвох прыўзнялі пад пахі цяжкое нерухомае цела. Але капітан адразу ж спаткнуўся – замінала нага, і ён загадаў салдату:

– Ану цягні!

Турок уздзеў на плячо вінтоўку, аберуч ухапіў немца і павалок яго ў цемру – туды, адкуль яны ішлі. Немцавы

ногі валакліся ў доле, але ён не падаваў ніякіх адзнак жыцця і быў вельмі цяжкі. Зрэшты, хлопец не асабліва ўглядаўся ў немца, уся яго ўвага цяпер скіравалася туды, у поле, дзе былі іншыя, але тыя маўчалі, і трэба было спяшацца.

Капітан хуценька пракульгаў наперад, збочыў у хмызняк, расхінуў вецце, і хлопец звалок пад змрочны схой гушчару сваю ношу. Шастаючы голлем, капітан прадзіраўся далей. Ім трэба было як найхутчэй уцячы адсюль. Турок разумеў гэта і стараўся як мага цягнуць немца. Цягнуць жа было дужа дрэнна, скрозь замінаў хмызняк. У Турковы грудзі аднойчы балюча тыцнулася нейкая патарчака, і хлопец, застагнаўшы ад болю, ледзьве ўстаяў на нагах.

Гэтак мінула, мусіць, багата часу. Чапляючыся за суччо і штомінутна спатыкаючыся, зашчэмліваючыся ў ляшчынніку, яны караскаліся ў хмызняку, пакуль урэшце не выбраліся на нейкую прагаліну.

Капітан прыпыніўся і ўслухаўся, Турок жа адразу чмякнуў немца на дол і сам паваліўся побач. Ягоня грудзі пякла такая гаркота знямогі, што ён не мог сказаць слова. Толькі цяпер ён пачаў разумець, што яны пазбыліся бяды і, здавалася, зрабілі нешта большае, чым толькі ўратавалі сябе. Гэтае разуменне прыглушала страх, і таемная іскрынка радасці ўзгарэлася ў хлапечай душы. Некалькі хвілін ён перамагаў сваё непадуладнае сэрца, якое тугім камяком калацілася ў грудзях, а пасля з прыхаванай палёгкаю спытаў афіцэра:

— Ці жывы ён хаця?

Капітан, таксама змораны, прысланіўся да нятоўстай бярозкі, і гэты раз адказаў ахватней і неяк амаль па-сяброўску — як старэйшы таварыш маладзейшаму:

— А дзе ён дзенецца? Жыў будзе. Прыглушыў толькі занадта.

Нахіліўшыся над нерухомым палонным, ён расшпіліў светлыя гузікі яго шыняля і засунуў руку за пазуху.

— Жывы,— яшчэ раз задаволена пацвердзіў ён, вымаючы з кішэняў немцавы паперы.— А ты што: ніколі яшчэ па языка не хадзіў?

— Дзе там мне! — сумеўся ў цемры Турок. — Я ж не разведчык.

– Ну вось і разведчыкам пабыў, – усміхнуўся капітан. Яны памаўчалі, аддыхваючыся, і капітан занепакоіўся:

– Але куды ж нам кіраваць далей?

З цёмнага неба імжыў дробненькі дожджык, недзе ў вяршалінах елак шумеў вецер, наўкола па-начному заўзята шапацела лістота. І капітан і Турок дужа намоклі ў хмызняку, і ў кароткі гэты супынак абодвум стала холадна. Трошкі адпачыўшы, трэба было ісці далей, да сваіх – толькі куды? За час блукання без проваду і цяпер, уцякаючы ад немцаў, яны зусім збіліся з кірунку і маглі зноў трапіць дзе-небудзь да немцаў.

– Не ведаю, таварыш капітан, – шчыра прызнаўся Турок.

– Але ж, – згадзіўся капітан. – І я вось таксама. А ўсё ж пойдзем.

Яны ўсталі, Турок узяўся за немца, які нібы яшчэ больш пацяжалеў за якіх дзесяць хвілін адпачынку. Хлопец намогся, учапіўшыся за дзягу палоннага, прысеў, капітан дапамог, і яны ўдвох узвалілі непрытомнага ворага на салдатавы плечы. Немец перавешваўся напалам, спаўзаў са спіны, ад яго смярдзела застарэлым потам і дустам. Ён быў дужа цяжкі, і ў Турковых вачах ад знямогі пачалі расплывацца жоўтыя плямы. Але хлопец ішоў, хістаючыся, дзе-нідзе ледзьве ўтрымліваючыся, каб не ўпасці. Праўда, лес стаў радзейшы, не так замінаў хмызняк, але нябачныя ў цемры яловыя камлі, нібы штыхі, выстаўлялі ў бакі абломкі ніжніх сукоў, аб якія можна было знявечыцца. Капітан ішоў побач і, як мог, прытрымліваў немца.

Невядома, колькі цягнуўся іх той лесавы шлях. Здавалася Турку, што яны зайшлі ўжо вельмі далёка, а лес усё не канчаўся. Ужо двойчы хлопец падаў, разбіваючы аб карані локці. За імі ніхто не гнаўся, і нідзе не чуто было стрэлу, не бачна ніводнага ракетнага водбліску. Тым часам дождж перастаў, угары між вяршалін дрэў там-сям заміргалі рэдкія зоркі і з-за ашмоцця хмар выплыў над лесам месяц.

Турок ішоў за капітанам, выцягшы наперад левую руку, бы сляпы за павадыром, галава яго была прыціснута целам ворага, балела шыя, і ён нічога не бачыў у цемрыве

ночы. Капітан, абапіраючыся на палку, няроўна скакаў адным бокам. Але вось ён чагосьці спыніўся, паварушыў перад сабой кіем, як сляпы, намацваючы дарогу, пасля павярнуўся і папярэдзіў салдата:

– Асцярожней! Хадзі сюды.

Турок няспрытна павярнуў голаў – наперадзе пад слабым месячным святлом слалася ледзьве прыкметнае шызаватае курыва туману. Кустоўе тут адступілася, – відаць, непадалёк унізе раскінулася шырокая лесавая аўражына. Яны пайшлі па-над яе берагам. Здалося Турку, ішлі яны вельмі доўга. Немец сваім цяжарам упарта гнуў к долу хлапечую постаць, нястрымна спаўзаў з плячэй.

Аднойчы Турок наскочыў на куст ядлоўцу і ўпаў, балюча ўдарыўшыся бокам аб нешта цвёрдае. Немец распластаўся на моху, а ў хлапечых грудзях ад болю перацяло дыханне. Пачуўшы благое, капітан вярнуўся да салдата. Ён дапамог Турку сесці і сам апусціўся на імшарыну, выцягшы наперад натруджаную нагу. Нейкі час хлопец стагнаў і корчыўся, не могучы суняць боль, але пакрысе аддыхаўся.

– Ось такі, брат, разведчыцкі хлеб, – сур’ёзна зазначыў капітан. – Зразумеў?

Турок зразумеў, вядома, але ўсё маўчаў, бо дужа балела ў баку. Капітан, уздыхнуўшы, таксама змоўк, яны абодва суцішыліся і, з’яднаныя адным клопатам, у той час без слоў пабліжэлі адзін да аднаго. Пасля капітан сказаў:

– Дзве ночы да іх лазілі і марна. Шэсць чалавек палажылі. Мяне вось падстрэлілі. А тут неспадзеўку пашанцавала. – Ён трохі памаўчаў і дадаў з таварысцкай шчырасцю: – Але ты гэта ладна аглушыў яго. Я, прызнацца, не думаў.

Турку стала лягчэй ад тае пахвалы, аднак ён прастадушна прызнаўся:

– Я ўжо не памятаю, як усё і сталася. З непрывычкі.

– Нічога, прывыкнеш, – заспакоіў капітан. – Першы раз, ведама. – Пасля, нібы зняцку надумаўшы тое, спытаў: – Хочаш, я цябе ў разведку вазьму? Га? Як ты думаеш?

– Ну што вы?! – здзівіўся Турок, прыпамятаўшы лейтэнанта Гаркавенку і сваіх батарэйцаў, якія заўжды з’едліва пасмейваліся з яго нерухавасці. Зноў жа зусім яшчэ светлыя былі ў адчуванні нядаўнія страхі, нягожыя для разведчыка. Але падумаўшы крыху, Турок зразумеў, што ўсе пакуты засталіся адно ў ягонай душы, капітан жа меркаваў толькі па ўчынках. І, невядома чаму, гэтая капітанова прапанова праз хвіліну не здалася яму недарэчнай.

Праўда, ён усё ж не адважыўся пагадзіцца, а капітан, нібы адразу забыўшыся на сваю прапанову, угледзеўся ў ноч.

– Проклятая цемра. Хоць бы як з гэтага лесу выбрацца. Ты, мусіць, прыстаў ужо?

– Ды не, чаму? – прахапіўся Турок і заварушыўся, пакутна ўстаючы на ногі, але толькі падняўся на калені, як зноў апусціўся долу. Ён зусім ужо выбіўся з сілы і, добра не адпачыўшы, наўрад ці здолеў бы ўтрымаць на сабе немца. Слухаючы яго хрыпатае надрыўнае дыханне, капітан зразумеў гэта і змоўк. Побач ціха, не шавелячыся, ляжаў іхні «язык», а з другога боку ў месячным святле курылася туманом праваліна аўрага.

– Вось што, – падумаўшы, сказаў капітан. – Ты чакай тут, а я пайду. Можна каго спаткаю. Павінен жа быць нехта.

Турок заварушыўся, яму ўраз стала някавата за сваю знямогу; думалася, не капітан, а ён пасланы сюды, каб турбавацца, як выйсці да сваіх. Але сілы ў яго ўжо не засталася ніколькі.

– Бяры вінтоўку і глядзі. Чакай, – сказаў афіцэр, устаў і пакульгікаў у лес.

Турок трошкі суняў свае адчуванні, насцярожыўся, узяў у рукі вінтоўку. Капітан адразу ж прапаў, бы растаў у змроку – нейкі нядоўгі час чутны былі яго крокі, патрэсквалі галінкі ў доле, прашархацелі прыаўражныя кусты. Потым усё змоўкла.

Хлопец з асаблівай самотаю адчуў сваю адзіноту і аж схамянуўся ад няпэўнага таямнічага страху. Стаіўшыся ў імшарыне, ён стараўся не паварушыцца, каб не парушыць цішыні, а сам глядзеў да болю ў вачах і слухаў. Паблізу было ціха, але аднекуль здалёк, з лесавой чашчобы, вынікалі

загадкавыя гукі — нешта ціхенька заляскала ў галлі, разы тры піснула, пасля рыпнула, бы якая сухадрэвіна або дзяркач. Адноўчы ў тым баку, за аўрагам, залапатала крыламі нейкая патрывожаная птушка. Сярпок месяца сеў на выгінастую сукавіну елкі і то хаваўся за ашмоцце растрэсеных ветрам хмар, то зноў сціпла блішчаў на небе. Насцярожыўшыся і ўжо забыўшыся на знямогу, хлопец стаіўся, прыціх, нават запыніў дыханне і чакаў.

І ў гэтай яго насцярожанасці да загадкавых, таямнічых і падазронах спраў лесу зусім блізка ля хлопца ўсім цела трапятнуўся немец.

Гэта было так нечакана, што Турок таксама ажно здрыгануўся і ледзьве не крыкнуў. Хлопец падаўся назад, ухапіўшыся за ложа вінтоўкі, але немец ляжаў і не ўскок-ваў. Яшчэ праз якіх пяць хвілін Турок крыху ачуняў ад спалоху і падумаў, што немец заварушыўся ў непрытомнасці. Хлопец вельмі хацеў, каб «язык» не апрытомнеў цяпер, калі не было капітана; ён проста не ведаў, што рабіць яму, калі вораг усё ж ачнецца.

Вельмі непакоячыся, салдат паціху падняўся і, асцярожна ступаючы, падышоў да немца. Месяц якраз выбег з-за хмар і трохі асвятліў змрочную ў доле постаць, гузікі на шынялі, адарваны пагон, звернуты набок твар з глыбокімі цёмнымі плямамі замест вачэй. З роту ворага ўсё тырчаў кляп — ягоная пілотка.

Трошкі нагнуўшыся, Турок асцярожна зазірнуў зверху ў гэты прыцьмелы твар, як раптам немец зноў варухнуўся, крутнуў галавой і замычаў нешта. Турок адскочыў, інстынктыўна скіраваўшы на яго дула вінтоўкі, але немец відаць, уставаць не збіраўся. Ён толькі закруціў галавой, замычаў нешта, і Турка ахапіў отарап.

Пэўна, немцу дапякала нешта, — можа, боль ці якая патрэба, бо калі б ён хацеў устаць, дык зрабіў бы гэта. Але ён толькі пераваліўся на бок, скорчыўся з падкручанымі назад рукамі і мычаў, умольна, як здалася Турку, узіраючыся ў вартавога. Турок не ведаў, што яму рабіць, і напружана ўслухоўваўся ў начныя шolahі. Ён вельмі чакаў капітана.

А немец тым часам пачаў жаласна неяк скуголіць. Бы малое шчанё, круціў ён галавой і сяк і так, быццам стараючыся выкінуць з рота кляп. Стоячы праз тры крокі ад яго, Турок з кожнай хвілінай адчуваў усё больш непакою. Бездапаможныя енкi немца неяк аслабілі ў хлопца страх, ён апусціў долу вінтоўку і падумаў, ці не выцягнуць у яго кляп. Яшчэ каб не задушыўся. Скрозь было ціха, немец здаваўся дужа аслабелым, да таго ж рукі яго былі звязаны. І хлопец, нядоўга павагаўшыся, ступіў бліжэй і тузануў з варожага рота пілотку.

І ў тое ж імгненне нешта ўдарыла яго па нагах. Турок не паспеў нават войкнуць, як апынуўся ў доле, а немец, крутнуўшыся побач, нечым тупым і цяжкім, напэўна ботам, ляпнуў яго ў скроню. З хлапечых вачэй пырснулі іскры, і ў свядомасці бліснула кароценькая жажлівая думка – прапаў! Але Турок разгубіўся не болей як на імгненне. Услед за здзіўленнем шыбанула ў адчуванні злосць на гэтага злыдня-ворага, і хлопец, ледзьве не заплакаўшы ад крыўды, ухапіў у цемры яго за адзежыну і не даў хутка ўскочыць на ногі. Затым, разграбаючы чаравікам імшарыну, Турок упёрся ў зямлю, налаўчыўся і ўсім цела м рынуўся на немца. Ворагу заміналі звязаныя рукі, але затое немалая сіла з'явілася ў ягоных плячах, да таго ж ён шалёна брыкаўся ў цемры нагамі. «Э не, зладзюга», – задышліва прастагнаў Турок, ашчаперваючы ягоныя плечы. Затым ён яшчэ намогся і ўсеўся на яго, як мядзведзь, прыгнуў да зямлі. Немец яшчэ рвануўся, але падняцца не здолеў і сцішыўся.

Так ён апынуўся пад хлопцам, яшчэ не скароны і напружаны, хрыпата і злосна дыхаючы, а Турок, таксама сапучы, са страхам чакаў яго новых спроб вызваліцца. Але немец, відаць, не дужа спяшаўся, ён чакаў, выбіраючы лепшы для таго момант, і хлопец мусіў трымаць. Пастаяннае напружанне адбірала шмат сілы, да таго ж салдат адчуваў, што вораг усё ж дужэйшы за яго. Добра, што капітан моцна скруціў яго рукі – развязаць іх немцу пакуль не ўдалося, але хто ведае, што будзе далей.

Нейкі час абодва яны шалёна дыхалі, змарыўшыся ў той непрацяглай і лютай барацьбе, і чагосьці чакалі, пільна прыслухоўваючыся адзін да аднаго. Месяц схаваўся за елку, і тут стала зусім цёмна, пахла сырым прэлым долам, мохам, лесавой цвіллю і немцам. Турку было вельмі крыўдна, што немец гэтак няхітра ашукаў яго. «Вось табе і разведчык! – з'едліва падумаў ён пра сябе. – Капітан адышоўся, дык ледзьве не ўпусціў гэтага фрыцука». Хлопец пачаў напружана думаць, што рабіць далей, каб не даць уцячы немцу. І тады ягоная нага намацала побач вінтоўку. Немец пакрысе варушыўся пад ім, чамусьці хілячыся набок, ды мармытаў сабе «майн гот» ці яшчэ што. У Турка трохі прыбыло ўпэўненасці, але яшчэ не прайшоў канчаткова і страх, які паралізаваў яго сілы. Трэба было зрабіць нешта рашучае, і Турок спакваля зразумеў, што, не перамогшы баязлівасці, яму наўрад ці ўдасца перамагчы і немца. Было б недарэчна і злачынна выпусціць яго або даць яму даканаць сябе пасля таго, як гэтак даверліва паспадызяваўся на яго, Турка, капітан.

Прайшло яшчэ трохі часу. Месяц зноў паказаўся з-за хмар з другога боку счарнелай елкі. У Турка ад напружання млелі рукі, – здавалася, яшчэ праз дзесяць хвілін ён зусім абнядужае і выпусціць немца. Добра яшчэ, што немец не рваўся, – пэўна, ён таксама знямог, а можа меў на ўвазе што іншае. І Турок наважыўся тады на рашучы ўчынак. Раптоўна кінуўшы палоннага, ён адскочыў убок, схопіў з долу вінтоўку і імгненна лязгнуў затворам.

– Стой, гад! Ні з месца!!!

Немец крутнуўся, павёў плячыма, збянтэжана паглядзеў на яго і паволі ўсеўся на імшарыне з закладзенымі назад рукамі. Яго апушчаны твар быў скіраваны ўніз, але Турок адчуваў, што вораг спадылба пільна сочыць за ім. І Турок таксама не зводзіў з яго погляду, гатовы цяпер да новых варожых хітрыкаў.

Так мінула гадзіна ці болей, немец і Турок чуйна ўслухоўваліся ў лесавую ціш. І аднойчы да Турковага слыху данесліся свежыя гукі. Спачатку гэта былі далёкія, ледзь чутныя галасы, яны вынікалі з таго кірунку, куды пайшоў

капітан. Пасля недзе ў лесавых нетрах мільганула і прапа-ла маленькая плямка святла з ліхтарыка. Пазней раздало-ся шамаценне галля, зноў галасы, і ўрэшце з кустоў вылезлі цьмяныя постаці ў шархаткіх плашч-палатках.

Турок апусціў прыклад, узяў вінтоўку ў адну руку і, абясілены, апусціўся на дол.

У батарэю Турок ішоў на світанні.

Ён брыў па лесавой сцяжыне няпэўнай, п'янай хадой ушчэнт знямоглага, змардаванага чалавека. Пасля даждж-лівае ночы ў хмызняках стылі золкія клубы туману, елкі страсалі ў траву празрыстыя сцюдзёныя кроплі, з туман-най прыцьмеласці няпэўна праступалі вяршаліны дрэў. Мокры і знясілены, Турок ледзьве пераступаў нагамі і не вельмі нават узрадаваўся, калі сцяжына прывяла яго да знаёмай прагаліны на ўзлессі. Чатыры гаўбіцы спакойна драмалі ў тумане, гразкі і нейкі закінуты чарнеў недакапа-ны ім ровік. Для тэлефонаў каля шырокага пня над патух-лым цяпельцам драмаў тэлефаніст і тырчала бусоль з накінутым наверх футаралам. Для крайняй гаўбіцы, ледзь-ве прыкметна шавелячыся, стаяў вартавы. Усё гэта здало-ся хлопцу знаёмым, перажытым і нецікавым. Ён выйшаў на прагаліну, агледзеўся – салдат ужо не баяўся лейтэнан-та Гаркавенкі; хлопцу нават хацелася ўбачыцца з ім, але афіцэр, мусіць, спаў. І Турок, заплятаючыся нагамі, пады-шоў да сваёй, чацвёртай, гарматы.

Між станін на падасланым вецці, скурчыўшыся, у сы-рых шынялях, спалі хлопцы. Нехта надрыўна хроп, бы яго душыў хто, нехта заварушыўся, паторгаў нагамі і сціх, нацягнуўшы на голаў шынелак. Гэта былі хвацкія языкаст-тыя хлопцы, умелыя батарэйцы, але, пэўна, ніводзін з іх не перажыў таго, што сёння напаткала Турка. Змораны, ён няўцямна аглядаў іх, і ў ягонай душы цьмела ўсё тая капітанавы абяцанка наконт разведкі. Ён яшчэ не ведаў чаму, але батарэя ўжо не здалася яму жаданай і роднай, як заўжды, калі ён вяртаўся ў яе пасля доўгай адлучкі.

Турок сеў на ахопак вецця і прысланіўся спіной да вялізнага кола гаўбіцы. Яго поўнілі перажытыя і яшчэ не

аблеглыя пачуцці, яны рваліся, брулі, змагаліся ў ягонай душы. Турок быў сам не свой, бы тыя начныя пакуты як падмянілі яго, не даўшы часу даўмецца, усвядоміць, што гэта сталася з ім.

Марудна і ляніва прышкандыбаў да яго вартавы, сонна паглядзеў на хлопца, лыпнуў вачыма, падумаў і запытаўся:

– Дзе гэта цябе ўходала так?

У Турковых вушах усё яшчэ тлумна шумела галлѣ і скакалі, мітусіліся ўваччу прыцьмелая спежка, барвовая нітка проваду і чарнела кульгавая капітанава постаць. Павекі яго ўсё цяжалелі, ён быў дужа знямоглы і не сказаў чалавеку нічога.

Вочы яго ўжо заплюшчыліся, голаў павісла, увесь ён абмяк, нахіліўся і ўпёрся лбом у калені. І ўсе яго сённяшнія начныя турботы – крыклівы Гаркавенка, капітан, якога ён болей не ўбачыў, і той выкрутлівы немец – раптам зніклі, быццам і не было іх зусім. Турок заснуў глыбокім працаваным сном пазнаўшага сабе цану чалавека. Здаецца, у гэтай чацвёртай за суткі няўдачы ён знайшоў для сябе нейкую сілу, з якой лягчэй стала жыць.

1961 г.

Адна ноч

1

«Юнкеры» з'явіліся раптоўна.

Іх крыжастыя імклівыя цені нечакана выслізнулі з-за стромкіх, разбітых мінамі чарапічных дахаў і абрынулі на горад імпэтны грывотны рэў. Запаволіўшы бег, Валока ўстрывожана глянуў у задымленае пажарамі неба і, заўважыўшы, што ад бліжэйшага самалёта ўжо адваліліся першыя бомбы, скочыў пад чыгунную агароджу, збоч вуліцы. Некалькі доўгіх секунд гэты немалады ўжо, крутаплечы і рукаты баец у шапцы і цеснай старой гімнасцёрцы, сціснуўшыся нутром, чакаў. Бомбы рванулі ў скверыку за агароджай, зямля сударгава скаланулася, тугая гарачая хваля ўдарыла Валоку ў спіну, балюча аддалася ў вушах, нешта коратка і звонка бразнула побач, і затым вуліца, шэрыя дамы і сквер патанулі ў віхуры шызага пылу.

«Паўтонная, не меней», – падумаў Валока, выплёўваючы з рота пясок. Наўкола лапацела – ляскала аб дол каменне, цэгла, кавалкі асфальту; у паветры пыльнымі струменямі церушыла зямля; паволі асядаючы, доўга матляліся дробныя лісткі акацый, шматкі паперы, нейкае паленае рыззё. Недзе ўгары сярод дыму і рэву матораў прагрукацеў кулямёт – ад пашкрэбанага з балконамі дома насупраць сыпнула жарствой, і вялікая, з бабовы струк, жоўтая куля, цокнуўшы па камянях, шалёна закруцілася на тратуары. На чарговым заходзе зноў раўлі пікіроўшчыкі.

Трэба было бегчы далей.

У скверы між тоненькіх дрэўцаў ужо замільгалі прыгнутыя спіны, нехта выскачыў з-за агароджы і адразу кінуўся на другі бок вуліцы. Па цёмнаму лапіку на спіне Валока

пазнаў сяржанта, аддзялённага з іхняга ўзвода. Узрадаваўшыся, што наперадзе чалавек, баец ускочыў і, прыгнуўшыся, падаўся следам.

Сяржант у некалькі скачкоў перабег вуліцу і пад новы скогат бомбаў шаснуў убок, у падваротню. Валока ж трошкі адстаў, ззаду рванула, і калі, задыханы, ён уляцеў пад скляпенне, дык ад збянтэжанасці аж спаткнуўся: з двара на яго выскачылі два немцы. Валока ажно прысеў, але і немцы тут, відаць, не чакалі яго, пярэдні нешта гергетаў задняму, на імгненне ў яго расшыраных вачах бліснуў спалох і здзіўленне. У той жа момант Валока, не цэлячыся, ціскануў на спуск – аўтамат тузануўся, немец выпусціў з рук карабін і лягнуўся тварам на брук. Яго новенькая блішчастая каска, забразгаўшы, крыва пакацілася на тратуар.

Куды знік задні, Валока не згледзеў.

Будынкі зноў скалануліся, захісталіся ад блізкіх выбухаў, недзе з грымотным грукатам рухнула сцяна, ззаду ў пад'езд шуганулі клубы рудога цаглянага пылу. Валока ўгнуўся, скокнуў цераз адкінутую немцаву руку, на якой яшчэ торгаліся кашчавыя, з пярсцёнкам, пальцы, і кінуўся ў нейкія расчыненыя дзверы. У дзвярах паката хілілася столь, і некуды ад парога ўніз беглі прыступкі; спяшаючыся, Валока не патрапіў на іх, аўтамат загрузацеў па прыступках, наверху яшчэ раз ірванула, і, баец, трываючы боль у назе, паляцеў у цемру.

Тут было ціха і цёмна. Засень і халодны бетон падлогі прыемна студзілі яго разгарачанае, потнае цела. Валока сцішыўся, услухаўся, ступіў раз, другі, мацаючы ў доле ўпушчаную зброю, шырэй загроб ля сябе рукамі і знячэўку жахнуўся: пальцы шкрэбнулі па нечых пыльных і яшчэ цёплых ад надворнае гарачыні ботах. Баец унутрана скалануўся, а боты тузануліся з-пад яго рук, і ў той жа момант нешта тупое і цяжкае гахнула яго ў спіну. Валока войкнуў, ухапіў ротам паветра і з усяе сілы рвануў у цемру тыя ногі. Свядомасць разанула здагадка – немец!

Вораг не ўтрымаўся, хіснуўся, але яго рукі паспелі ўхапіць Валоку за галаву і сашчапіліся на шыі. Баец напружыўся, ірвануўся, ды марна. Вораг, сагнуўшы яго, гнуў

голаў уніз і, шкрэбаючы па падлозе падкутымі ботамі, намагаўся апынуцца наверх. Валока, крыху супакоіўшыся, ухапіўся за вопратку немца, напяўся і са злосцю падумаў, што лёгка яму не паддасца. Сам намацаўшы падэшвамі апору, ён усім целам рынуў на ворага.

– Ы-ых!

Валока, задыхаючыся ад болю ў шыі, адчуў, як грукнулі аб бетон варожыя косці. Ён цяпер апынуўся наверх і кідаў туды-сюды свае ногі – шукаў апору. Рукамі ж ён учапіўся ў варожыя рукі, што сціскалі яго шыю, і пачаў выдзіраць з іх галаву.

Праз хвіліну ці меней, натузваючыся, як толькі можна было, і ледзьве адольваючы варожую сілу, ён вызваліў галаву, дужа падаўся наперад плячом і з натугай распластаў немца ў доле. Няпэўна яшчэ, але Валока адчуў, што сам дужэйшы за яго, цяжэйшы; толькі, відаць, той быў больш спрытны, бо не паспеў баец саўладаць з пругкасцю яго ўчэпістых рук, як тыя зноў ухапілі яго за горла.

Немец гэта зрабіў нечакана і хвацка. Валока толькі крэкнуў ад неспадзеўкі і болю, на момант абвяў і разгубіўся, а немец крутнуўся пад ім, брыкнуў у бок нагамі і рвануўся наверх.

– А-а-а! Сволач! Ы-ых! – хрыпеў Валока.

Ён не ведаў ужо, як супраціўляцца, і інстынктыўна ўчапіўся ў тыя рукі, што сціскалі яго шыю. Ён ірваў іх ад сябе, стараючыся разняць мёртвую хватку і не даць кіпцюрастым пальцам ашчаперыць глотку. Урэшце, выкручваючыся з апошніх сіл на падлозе, Валока ўсё ж ададраў адну руку, але другая тады спаўзла ніжэй і ўчапілася ў каўнер яго зашпіленай гімнасцёркі.

Баец пачаў задыхацца. Грудзі распірала ад нястачы паветра, – здавалася, вось-вось хрусне горла, і Валоку апанаваў страх, што вось так недарэчна даў загубіць сябе. З распачнай нечалавечай сілай ён ірвануўся, як мог упёрся ў падлогу каленямі, напружыўся і дзвюма рукамі моцна крутнуў убок адну, найбольш учэпістую руку ворага. Каўнер байца затрашчаў; зноў нешта глуха стукнулася аб

падлогу, вораг засоп, размашыста шоргнулі па бетоннай падлозе ягонья боты.

Ад некалькіх распачных рыўкоў палепшала; Валока вызваліў шыю і, здаецца, пачаў асільваць немца. Тады ў пачуцці шыбанула злосць і недзе ў свядомасці мільгануў люты намер забіць адразу ж, — ён набавіў сілы. Баец цяпер зразумеў, што яму можа дапамагчы тут. Валтузячыся і сапучы, ён намацаў нагамі сцяну, зноў упёрся ў яе і пхнуўся ўсім целам на ворага. Той зноў апынуўся ўнізе — Валока нешта замычаў ад зларадства і, усё больш заходзячыся ад лютасці, урэшце дабраўся да варожае шыі.

— І-і-і, э-э! — мычаў немец, і Валока адчуваў, што перамагае. Вораг прыкметна збавіў імпэт і толькі абараняўся, хапаючыся за разлютаванья Валокавы рукі і шалёна тузаючыся. Валоку, аднак, вельмі замінала сумка з дыскамі, якая перакруцілася на баку, трапіла пад немца і почапкай трымала яго, як на прывязі. Пасля, змагаючыся, Валока зноў страціў апору, у валтузні недзе прапала сцяна; ногі шкрэблі па слізкай падлозе, але баец з усяе сілы трымаўся наверх і не выпускаў варожае шыі.

Немец распачна затрапятаў, заенчыў, захрыпеў, ірвануў абэруч ягонья рукі, ляпнуўся аб бетон галавой, напружыўся, кінуўся ўбок выгнутым целам. Толькі Валока не выпускаў яго, ямчэй прыналёг плячом, ухапіў пяцярнёй горла і ціскануў.

Але ў той момант здарылася штосьці страшнае.

Грымотны пярун ударыў у вушы, здрыганулася і рухнула ў нейкае бяздонне падлога, чорнае падзямелле громам і грукатам абрушылася на чалавека. На галаву, спіну, плечы рынула цэгла, зямля, пясок, задушыла нейкім смуродам, балюча ўдарыла ў голаў, навалілася і прыціснула... Валока інстынктыўна хіснуўся ад немца, ускінуў над сабою рукі, затуліўся, бездапаможна падставіўшы абвалу потную, пабітую спіну.

Грымоцце, аднак, хутка спынілася, сціхнуў абвал, але ўсё Валокава цела скавалі цесната і цяжар. Нельга было ні выдыхнуць, ні варухнуцца, і толькі ў свядомасці бліскала кароценькая і радасная думка: «Жывы». Але не было па-

ветра, і ён задыхаўся ад пяску і нейкага смярдзючага ўдушша. Адчуўшы, што гіне, Валока рвануўся з тае магілы; нешта туга, але падатліва рассунулася над ім, ён шпарка задыхаў і расплюшчыў запарушаныя пяском, балючыя вочы.

2

Дзіва, як ён уцалеў.

Навокал ужо не было ранейшай цемры, разам з ёю знік недзе і халаднаваты прастор склепа. Было душна, і скрозь грувасціўся цагляны ды бетонны друз. Спачатку Валоку здалося, што выбухам ён адкінуты кудысьці з таго месца, дзе біўся з немцам, але, угледзеўшыся ў прыцемкі, пазнаў абсыпаная шчэбнем уцалелыя крутыя прыступкі, з якіх ён зваліўся сюды. Іх было толькі шэсць; вышэй разламаная бетонная пліта, як крыга ў паводку, касабочыла са столі і, упершыся рабром у лесвіцу, загароджвала выхад. З другога боку, наўкось ад Валокі, урэзалася канцом у завалены цэглай дол шырокая двухтаўровая бэлька. Яна была сагнута, — пэўна, ад выбуху, і калі б упала на якіх паўметра бліжэй, дык наўрад ці давялося б цяпер Валоку бачыць яе.

Павярнуўшыся, баец вызваліў ад завалля рукі, прыўзняўся, але ногі былі яшчэ моцна нечым прыціснуты. Ці ён аглух, ці сапраўды было зусім ціха, толькі ў вушах нешта віскліва, працягла і балюча звінела. Пакрысе ён павярнуўся на бок і паспрабаваў устаць. Ногі, здаецца, уцалелі, рукі таксама, толькі адна вельмі балела ў плячы. Ссыпаючы з сябе пыл і абломкі, ён прыўзняўся на руках, выцягнуў з пад друзу адну нагу, пасля другую і сеў. І тады з грудзей яго прарваўся сударгавы нястрымны кашаль. Валока аж захліпаўся ад удушша, грудзі разрываліся; пыл і пясок забілі, мусіць, усе лёгкія. Уздрыгваючы ўсім целам, некалькі пакутных хвілін чалавек кашляў і адплёўваўся, і пасля, калі палегчала, зноў агледзеўся наўкола.

Так, яго добра заваліла тут. Заваліла лесвіцу і склеп, уцалеў толькі змрочны закутак за прыступкамі ды якіх метры са два ля выхаду. Той бок склепа, насупраць ад

увахода, быў зусім забіты цэглай, бетоннымі глыбамі; столь над ім скасабочылася, разламаўшыся на кавалкі, і з чорных шчылін дзе-нідзе тырчала ржавая арматура. З адной такой шчыліны ў паўзмрок сутарэння цадзіўся знадворку тоненькі мільготкі праменьчык. У ім, роячыся, густа бліскалі пылінкі, і ён ледзьве прабіваўся да долу, дзе клаў на цагляны зломак прыцьмелую плямку святла. Ад гэтай яго квалай спробы прабіць змрок і было тут трошкі відна.

Паматаўшы галавой, Валока вытрас з вушэй пясок і ўчуў, як глухімі ўздыхамі з-пад зямлі данесліся сюды гукі вайны – выбухі, далёкі маторны гул і глухаватыя кулямётныя чэргі. Гэта насцярожыла і заклапаціла; падумалася, што трэба хутчэй вылазіць, бо рота, мусіць, ужо адышлася далёка. Баец падняўся на ногі і, спатыкаючыся, пабрыў было да прыступак. Там ён агледзеўся, убачыў і выцягнуў з-пад шчэбня свой згублены аўтамат, рукавом выцер яго ад пылу. Тое, што знайшлася зброя, трохі супакоіла яго; чалавек аддыхаўся і адчуў, што болей за іншае баліць плячо. Упершыню ён успомніў тады пра немца. Вядома, таму ўжо капец; прыбіла, напэўна, у куце; так, дзякаваць Богу, не давялося і душыць, падумаў Валока. Да немца, мёртвага, у байца злосці ўжо не было.

Угары зноў прыглушана загрузкацелі чэргі, то наш «дзягцяр»; Валока пазнаў бы яго дзе хочаш. Гэта ўзбадзёрыла байца. Прыгнуўшы голаў, ён абмацаў навіслую над прыступкамі глыбу, паднатужыўся, паштурхаў, аднак нічога нідзе не кранулася. Мусіць, зверху яго тут добра прываліла нечым. Але як жа тады выкараскацца? Пакутуючы ад болю, ён сышоў з прыступак, угледзеўся ў змрок пакарэжанага падстоля. Нідзе ніякае дзіркі, ніякай адтуліны, здатнай для таго, каб можна было пралезці. Зрушваючы абломкі цэглы, баец ускарабкаўся на кучу друзу пад промнем і ў другім месцы памацаў рукамі скасабочаную патрэсканую столь. Адзін кавалак бетону кратаўся, але толькі ледзь-ледзь – хоць і быў разламаны, ды ўсё ж трымаўся, пэўна, на арматуры. Валока зазірнуў у шчыліну, але там, апроч добра асветленых на зломе тоўстых яе краёў, нічога не было відаць.

Што ж рабіць, — як вылезці, няўжо няма ніякага ходу? А можа, трэба крыкнуць, паклікаць на дапамогу? А калі тут паблізу немцы? Хто ведае, ці ўтрымалі нашы той сквер? Такая бамбёжка, мусіць, дала немцам якую карысць. Ён злез з друзу, зазірнуў у цёмны куток збоч лесвіцы — скрозь пыльнае цаглянае завалле. Колькі трэба перакапаць яго, каб дабрацца да якой праломіны! Дык што ж рабіць!

Раптам на кучы цэгля і ламачча варухнуўся кавалак цагліны. Пасля, крануты аднекуль знутры, заварушыўся друз і яшчэ некалькі кавалкаў ссунулася ўніз. Валока здрыгануўся, сумеўся і ажно прыгнуўся, углядаючыся. «Вось табе і на!» — без страху, поўны аднаго толькі здзіўлення, сказаў ён сабе. І ў той жа час згледзеў край чорнага, акаймаванага галуном пагона, засыпанае глінай плячо мундзіра, і раптам нечакана акрэсліўся дагэтуль не заўважаны ў паўзмроку твар немца. Яго немаладыя, вільготнага бляску вочы чамусьці вельмі напружана, быццам збянтэжана глядзелі на байца.

Валока ўнутрана сцяўся («Ах ты, пракляты, уцалеў!») і левай рукой падхапіў ствол аўтамата. Але былы страх знік, цяпер баец не дужа і баяўся гэтага недадушанага ворага. Немец, аднак, не варушыўся, яшчэ трохі паўзіраўся ў байца і затым тузануўся з ламачча. Твар яго пры гэтым скрывіўся ад болю, вораг прастагнаў і немачна заплюшчыў вочы.

«Забіць!» — бліснула думка. Валока прывычна скіраваў на ворага аўтамат, гатовы вось-вось націснуць на спуск; гэта было так лёгка зараз і так проста. Але, мабыць, гэтая лёгкасць і прытрымала яго рашучасць. Немец зноў аслабела заварушыўся, намагаючыся вызваліцца з-пад абломкаў. «Ну лезь, паспрабуй! Падыдзі! — казаў сабе баец, пільна назіраючы за кожным аслабелым рухам ворага. — Вылезеш, тут жа і ляжаш!»

Гэта быў чацвёрты вораг, які трапіў яму пад аўтамат. Першага ён падстрэліў у сорок трэцім пад Прохараўкай з акова, у часе нямецкай атакі. Той упаў тады на траву, павярнуўся, неяк здзіўлена паглядзеў на Валоку і спіх. З другім давялося трохі пазмагацца. Баец даганяў яго ў ако-

пе, той страляў з парабелума, параніў яго сябра Макіўчука, — то быў нейкі афіцэр у фуражцы з кукардай, і Валока, загнаўшы яго ў тупік, прыкалоў штыхом. Трэцяга расстраляў там, у пад'ездзе. Цяпер вось гэты.

Але страляць яго ў доле было неяк няёмка. Валока чакаў, калі ён вылезе і што будзе потым.

Толькі вылезці яму было нялёгка. Немец патузаўся плячыма, разварушыўшы цагліны, выцягнуў з-пад завалля руку, пакрывіўся тварам ад болю. Затым застагнаў, умоўна зірнуў на байца і зноў бяссільна абвяў.

«А, даняло, сабака!» — прабурчаў Валока, усё напружана сочачы за ім. Але аўтамат ён апусціў. Немец пакутна торгаўся, разварушваючы драбязу і ўсё не могучы выдраць ногі, прываленыя нейкай бетоннай глыбай. Валока яшчэ пастаяў насупраць, назіраючы за марнымі намаганнямі ворага. Мусіць, ад таго, што немец страціў ужо былую небяспеку для яго, паволі асядала ў байцу злосць і мякчэла, адступала кудысьці рашучасць забіць. Немец застагнаў, апусціў голаў, кусаючы вусны. «Пераломаны ногі, ці што?» — падумаў Валока. Бачачы, што немцу не выбрацца без дапамогі, ён неяк не ў лад са сваім пачуццём ступіў бліжэй і, упершыся абцасам, адваліў убок вялізны пляскаты кавалак сцяны.

Затым сам аж здзівіўся, навошта зрабіў тое, — немец вальней заварушыўся, абапёрся аб дол рукамі і, схіліўшы ўніз галаву з разматлянымі пыльнымі космамі, паволі выцягваў з-пад друзу ногі. Ага!.. Цэлы... Ён ужо апынуўся на волі, але чамусьці не спяшаўся скарыстаць яе, — мусіць, яго добра прыбіла ў часе абвалу. Тоячы ў душы супярэчліваю, перамешаную са спачуваннем зласлівасць, Валока стрымана назіраў за ім.

Абапіраючыся рукамі на загрузашчаны дол, немец нейкі час сядзеў, не могучы, відаць, саўладаць са слабасцю і болем. Побач, сцяўшы над пераноссем запарушаныя пылам бровы, з аўтаматам напатагове чакаў Валока. Немец усё мацаў сваю нагу ў калене, варушыў ботам. Затым, нібы чагосьці здзівіўшыся, зірнуў на байца і ўслухаўся. Знадворку глуха даносілася далёкая страляніна; грывнула некалькі выбу-

хаў; праз шчыліны ў столі сям-там прасеялася крыху пяску. Немец паглядзеў угору і, нібы прыпамятаўшы штосьці, таропка ўстаў і, кульгаючы, падаўся да лесвіцы.

Валока не бачыў у яго ніякае зброі, ведаў, нікуды яму не вырвацца адсюль, і таму спакойна сеў на цагляны зломак, з перавагай пазіраючы на ворага. Аўтамат ён трымаў між калень. «Ага, паспрабуй»,— з'едліва падумаў баец, гледзячы, як немец штурхае пліту над прыступкамі. Той рабіў гэта, відаць, з усяе сілы, ззаду ў кароткім разрэзе аж матляліся канцы мундзіра, але пліты зрушыць не здолеў. Тады немец павярнуўся; на яго збянтэжаным твары было пытанне, але безудзельна спакойны выгляд Валокі, мусіць, даў яму зразумець, што выйсця адсюль няма.

Ён вяла саступіў з прыступак і сеў, абхапіўшы рукамі нагу. Валока з прытоенай цікавасцю агледзеў яго пакаменчаную, абсыпаную пылам постаць з яфрэйтарскім шаўронам на разадраным да локця рукаве і ўпершыню ўбачыў на яго баку кабуру. Гэта зацікавіла і насцярожыла, з'явіўся новы клопат: што рабіць, калі вораг ажыў ды яшчэ ў дадатак да ўсяго і ўзброены?

Немец тым часам, відаць, паволі спакайнеў, правай нагой спіхнуў з левай бот, закасаў штаніну і насоўкай пачаў перавязваць калена. Калена было скрываўлена, кроў паўзла і паўзла з нейкае невялічкай, але вельмі крывацёчнае раны, і хутка насоўка стала ўшчэнт мокрая. Па ўсім выглядзе немца нельга было заўважыць, каб ён збіраўся ратавацца ад байца або нападаць, і гэта супакойвала. Неяк міжвольна пранікшыся спачуваннем да яго болю, Валока адставіў убок нагу і намацаў у кішэні пацёрты, даўно ўжо ношаны там перавязачны пакет. Баец мог і не даваць яго: не так ужо і шкада яму было гэтага падбітага гітлераўца. Аднак нейкае чалавечае велікадушша штурхнула дапамагчы, бо была ў тым патрэба.

Немец не чакаў, пэўна, гэтага, і пачак упаў у друз ля яго ботаў. Спярга салдат сумеўся, але затым зразумеў — погляд яго адразу праясніўся. Ён нават буркнуў «данке» і, праз боль усміхнуўшыся, дастаў пакет. Твар у яго быў ужо немалады, загарэлы лоб перарэзалі маршчыны і над

скронямі блішчалі залысіны. На абсівераных няголеных шчоках шархацела русявае шчацінне.

Валока ўсё глядзеў на ворага, не ведаючы, што рабіць далей, і толькі інстынктыўна адчуваючы, што трэба асцерагацца. Немец вышэй закасаў штаніну і пачаў ашчадна абкручваць бінтом калена. У гэтым занятку ён мерна гойдаўся, раз-пораз падстаўляючы святлу са шчыліны зашчаціненую шчаку з шырокім косым рубцом каля вуха, – мусіць, колішнім следам асколка. Валока ўбачыў тое і сам сабе ўсміхнуўся: гэтакі ж самы рубец насіў і ён на левым баку – то была памятка баёў пад Курскам. Немец відавочна ачуньваў і насцярожаным позіркам шэрых вачэй зрэдку пазіраў на байца.

Але доўга разглядваць адзін аднаго ім не давялося. Зямлю пад нагамі зноў затаўклі выбухі, – напэўна, то смялянула «кацюша» або шасціствольны нямецкі мінамёт. Зварухнуўшыся, абодва яны схілілі галовы і ўслухаліся. Немец застыў з нацягненым ля нагі бінтом і чакаў, утаропіўшы позірк у пакарэжаную столь skleпа. Але выбухі паволі заціхлі, асыпаліся апошнія пасмы пяску са шчылін, і зноў стала ціха і глуха. Адзін толькі праменьчык косаю дымчатаю паскай скупа цадзіўся ў паўзмрок падзямелля.

Валока заварушыўся: трэба ж было нешта рабіць, як вылазіць. І прыпёрла ж яшчэ гэтага немца! Але ён быў пабіты і, здаецца, дбаў толькі пра свой боль. Мабыць, таму галоўны Валокаў клопат, як вылезці, на нейкі час прыцішыў у ім страх перад немцам. «Хай спрабуе», – падумаў баец, маючы на ўвазе нечаканы напад. Ён трымаў у руках аўтамат, адчуваў у сабе сілу і спадзяваўся на яе. Да таго ж Валока бачыў побач не якога там загадкава драпежнага фашыста, а пажылога ўжо, пабітага і ўезджанага вайной чалавека. Хоць немец і маўчаў, аднак няцяжка было меркаваць, што ён адчуваў цяпер, і толькі яго салдацкая форма не давала Валоку забыцца, што гэта вораг. Засцярожліва пазіраючы спадылба, баец уздзеў на плячо аўтамат і, спатыкаючыся, палез па друзу пад паўразбураную, паламаную столь.

Трэба было шукаць нейкае выйсце.

Шчыліны на зломах у бетоне былі дзе-нідзе шырокія, у іх можна прасунуць пальцы, але ўхапіцца не было як. Здраўшы ў падстолле твар, Валока як-колечы спрабаваў расхістаць абломак, ля якога цадзіўся промень, штурхнуў яго ўгору і пацягнуў на сябе. З шчыліны пасыпаўся пясок і жарства, баец адхінуў убок твар і яшчэ больш напяўся, каб як-небудзь разварушыць пліту.

Увесь час ён не забываўся пра немца ўнізе і, ледзьве скасіўшы вочы, адчуваў і бачыў кожны яго рух на прыступках. Немец спачатку цікаўна глядзеў на марныя байцовы спробы, затым не дужа ўпэўнена ўстаў. Валока адразу кінуў пліту і ўзяўся за аўтамат. Але вораг у другі раз амаль добразычліва ўсміхнуўся і трахнуў на рамяні кабуру.

– Найн, найн, – заспакоена прагаварыў ён, махнуўшы прытым рукой. Здаецца, кабура ў яго сапраўды была пустая. Валока з недаверам, аднак, апусціў аўтамат і вылаўся ў душы. У яго зноў заварушылася непадуладная яму насцярожанасць да гэтага чалавека-ворага. А немец тым часам, узмахваючы рукамі і кульгаючы, узлез на кучу, здраў голаў, агледзеў шчыліны і ў адным месцы прасунуў у злом пальцы.

Дзве пары рук уперліся ў адзін кавалак бетону.

Дзіўна гэта было Валоку! Каб хто расказаў – не паверыў бы, але цяпер неяк усё выходзіла само сабой, і баец, здаецца, ні ў чым не мог папракнуць сябе. Толькі якую гадзіну назад, не бачачы і ніколі не ведаючы адзін аднаго, яны душыліся, біліся ў гэтым склепе, поўныя злосці і лютае прагі знішчэння, а зараз, нібы нічога між імі і не здарылася, суладна рвалі са столі кавалак бетону, каб выкараскацца з агульнай бяды.

Пліта краталася – трошкі ўгору, трошкі ўніз, жарства са шчылін усё сыпалася, і Валоку здавалася, што можна расхістаць і выдраць яе. Час ад часу крадком ён пазіраў на немца, які, выцягшы з шырокіх рукавоў валасатыя, загарэлыя рукі, стараўся трапляць у лад з яго намаганнямі.

Загарэлы шчаціністы твар немца з добра развітай ніжняй сківіцай крывіўся ад пяску і натугі, а таксама, напэўна, ад слабасці; на пераноссі густа высыпалі дробныя кропелькі поту. Зрэдку ён выціраў іх рукавом, размазваючы па замурзаных шчоках. Бінт на галаве, зашмальцаваны ад поту каўнер і плячо з адарваным пагонам неўзабаве густа абсыпаў пыл. Валока чуў блізкае няроўнае немцава дыханне, тупанне яго ботаў побач са сваімі, і ад гэтае блізкасці ці ад суладнасці агульных намаганняў тое варожае, што ўвесь час жыло ў ім да гэтага немца, пачало меншаць, раставаць і прападаць. Невыразна яшчэ адчуваючы ў сабе тую змену, Валока бянтэжыўся і чагосьці не мог зразумець у сабе.

Так яны варушылі тую зломіну хвілін дзесяць, але яна ўсё ж не падавалася. Немец зморана дыхаў, ды і Валока прымлеў і нарэшце апусціў рукі. Запылены тонкі праменьчык струнка упёрся ў запарушаны пяском немцаў бот.

– Халера, – сказаў баец, з прыкрасцю паглядзеўшы ў столь. – Сілы мала.

– Я, я, – зараз жа ціха адгукнуўся немец. Ён таксама з клопатам агледзеў столь і зусім нечакана, з марудлівым няўмелым намаганнем, вымавіў: – Малё сілы.

Валока варухнуў запарушанымі пяском бровамі, здзіўлена паглядзеў на немца – разумее, чмур!

– Што, фарштэй па-руску?

– Малё, малё, – сказаў немец і ўсміхнуўся. – Вітэбск руска фрау... гражданка малё-малё учыль.

– Глядзі ты! Ось дык фокус!

Баец злез з цаглянае кучы, стомлена апусціўся на канец пагнутага бэлькі і палез у кішэню – як заўжды ў цяжкім клопатным стане захацелася закурыць, «праясніць мазгі». Аўтамат ён прыткнуў між калень. Немец, нібы чакаючы гэтай перадышкі, таксама з гатоўнасцю сеў, дзе стаяў, – пад самым промнем на цэгле. Параненую нагу беражна выцягнуў перад сабой.

– Фокус, фокус... Не знай, што то ест, – казаў ён, крывачы твар ад болю.

– Ге! – упершыню ўсміхнуўся і Валока. – Гэта, брат, не адразу і зразумееш...

Заскарузлымі пальцамі баец развязаў вышыты пеўнямі кісет, дастаў складзены кавалак газеты, насыпаў і разраўняў махорку. Пасля крутнаў разы два матузком-завязкаю, але спыніўся, спадылба зірнуў на немца, трохі разважыў і махнуў кісетам.

– Лаві!

Немец зноў, відаць, не зразумеў сэнсу слова, трошкі спазніўся лапнуць далонямі, але ўсё ж ля самых ботаў кісет злавіў.

– О, рус махорка! – сказаў ён і па чарзе адной і другой наздрою панюхаў кісет. Пасля няўмела разматаў тугую завязку і неяк вельмі няспрытна згарнуў цыгарку.

Так яны закурылі, прыпаліўшы кожны паасобку – Валока ад запалкі, якая знайшлася ў яго патрушчаным карабку, немец – ад запальніцы, адмыслова змайстраванай накшталт маленькага блішчастага пісталеціка. Насалодзіўшы грудзі першай зацяжкай, Валока неяк уважліва, упершыню з добразычлівай зацікаўленасцю, агледзеў немца.

– Дык што ж рабіць будзем? Як выбірацца?

– Я, я, – пагадзіўся немец:– Ідзі. Нада ідзі. Туды, наверх, – паказаў ён пальцам у праламаную, але такую яшчэ моцную столь.

– Навэрх, – грубавата перадражніў Валока. – Вядома, наверх. Не ўніз жа. Але як вылезеш?

Невядома, што немец зразумеў з гэтае фразы, але ўраз заклапочана абвёў позіркам сцены, цёмны закутак за прыступкамі, задраўшы шырокія пашчэнкі, агледзеў столь.

– Арбайт нада, – кіўнуў ён галавой у самы змрочны куток, завалены цагляным друзам.– Арбайт... Мнёга арбайт.

– Арбайт, канечне... А ты хто? Рабочы ці гэта... хлеба-роб? – запытаў Валока.

Немец, наморшчыўшы лоб, угледзеўся ў яго.

– Я, я! – зразумеўшы пытанне, радасна адгукнуўся ён.– Арбайт! Как ета па-руску... тышлер.

Не прыпомніўшы патрэбнага рускага слова, ён дзвюма рукамі зрабіў такі рух, нібы габляваў дошку, і Валока здзівіўшыся, зразумеў:

– Столяр?

– Я, я, – пацвердзіў немец.

– От дык фокус! І я ж столяр. Я – столяр! – тыкаючы сябе пальцам у грудзі, гучней крыкнуў Валока, нібы гучнейшае немец мог лепш зразумець. І ўсё ж, відаць, ён зразумеў, коратка ўсміхнуўся праз дым і ашчадна дацмыгаў махорку.

– Іх хаўз, дом арбайт. Мнёга, мнёга хаўз, – казаў ён, рукамі робячы ў паветры такі рух, нібы абмацваў двухскатны дах.

– І я гэта... хаўзы будаваў, – сказаў Валока і, паказваючы, паклаў далонь на далонь. – Зрубы рубіў. Рускі вугал. І нямецкі рубілі. Ведаю гэта.

– Гут, гут, – задаволена ківаў галавой немец.

– Усё ведаю. Гэта яшчэ рыгель, рэйсмус, – вашыя ж назвы.

– Я, я. Рыгель! Рэйсмус, – як рэха, паўтарыў немец знаёмыя словы. Пасля ён пасур'ёзнеў і, счакаўшы, пакуль баец дакурыць цыгарку, устаў.

– Нада ідзі! – зноў падняўшы палец угору, сказаў немец. Валока таксама ўстаў, узяў у рукі аўтамат, недаўменна паглядзеў на яго, не ведаючы, куды прыбраць гэтую рэч, і пасля надзеў цераз галаву за спіну. Так ён заўсёды будзе пры ім і не дужа перашкодзіць у працы.

Немец узлез па цэгле ў самую гару, скурчыўся там у змроку і пачаў кідаць уніз цагляныя зломкі. Ва ўсёй яго цяперашняй паставе і абліччы баец не бачыў нічога варожага, нічога недаверліва хітраватага, немец быў просты, рухавы і нават, адчувалася па нечым, – чулы і шчыры чалавек. Валока падлез да яго ў змрок і, зусім зацяўшы ў сабе падазронасць, спытаў:

– Як цябе зваць?

Немец спыніў працу, праз пыл павярнуў да яго твар – ён не разумеў пытання.

– Завуць як? – гучней, бы глухога, запытаў Валока. – Мяне – Іван, а цябе? Ганс? Фрыц?

– Фрыц! Я, я! Фрыц Хагеман, – нібы ўзрадаваўшыся сваёй здагадлівасці, ахвотна абвясціў немец і засмяўся. –

Іх – Фрыц, ду – Іван. Гут! – І ён зноў засмяяўся, у дробныя зморшчынкі сабраўшы свой немалады ўжо твар.

– Гут-то гут, – разважна, але паддаючыся яго лёгкасці, сказаў Валока. – Толькі не дужа. Вось вылезем, а тады што?

Але на немца гэты Валокаў клопат не зрабіў уражання. Ён па-ранейшаму рупна выдзіраў з груды наваленыя сюды кавалкі нейкае разбуранай сцяны і кідаў іх уніз. Баец прымасціўся побач і, нязручна сагнуўшыся ў цеснаце, пачаў рабіць тое ж.

4

Невядома, колькі мінула часу. Яны ўжо багата перакідалі ўніз друзу, пад столлю можна было стаць – там, у змроку і пыле, сапраўды была праломіна некуды ўгору і ўбок, толькі яе моцна заваліла. Праменьчык са шчыліны знік, цяпер адтуль нясмела клалася ў пыл толькі маленькая плямка знадворнага святла, і ў сутарэнні панаваў густы, ледзь-ледзь прышарэлы змрок. Як-колечы прызвычаеныя да яго, дзве пары вачэй трохі бачылі паблізу, і людзі працавалі. Абодва яны наскрозь прапыліліся, немец разпораз чыхаў, а Валока цяжка, дыхавічна кашляў. Тое, што яны ўсё ж намацалі выхад, крыху абнадзейвала байца, цяпер ён ужо не думаў, што прападзе па-дурному. Затое новы, куды большы і складанейшы клопат усё настойлівей пачаў агартаць яго.

Які нячысік звёў яго з гэтым недарэчным немцам, думаў Валока. Праўда, пакуль яны былі тут і разам выкараскваліся з аднае бяды, баец сяк-так мог пагадзіцца на гэтае іх сяброўства. Але што рабіць, калі яны вылезуць? І хто там намерсе – свае ці немцы? Калі свае, то гэта яго клопат – яшчэ палова бяды: немца можа як-небудзь пашанцуе залучыць у палон. А калі немцы? Зноў біцца? Дык ці не лепш забіць яго тут?

Але Валока толькі думаў так, адчуваючы, што застрэліць цяпер гэтага чалавека ўжо не можа. Як было страляць яго,

калі між імі рушылася галоўнае для таго – узаемная нянавісьць, калі раптам у варожым мундзіры з’явіўся перад ім зважлівы, рупны, працавіты, самы звычайны чалавек, які і да Валокі ставіўся не як вораг-фашыст, а як супольнік і сябра. Здаецца, гэта быў зусім неблагі немец, і недзе ў сподзе пачуццяў баец адчуваў у сабе няёмкасць ад таго, што нядаўна ледзьве не задушыў яго. Але зноў жа вельмі нават магло стацца, што і ён забіў бы Валоку. Незвычайна гэта было і dziўна – адчуваць яго тут, побач з сабой; хвілінамі нават забывалася, што яны ворагі. Задумаўшыся, байцу хацелася падрабязней распытаць яго пра нямецкае ўмельства ў сталярнае справе, хацелася сесці, пакурыць, мірна і па-добраму пагутарыць; здавалася, у тае іх разважнае добразычлівасці адкрыецца нешта значнае і цікавае.

Але пагадзя Валока пачынаў сумнявацца. З выгляду немец быў неблагі чалавек, працавіты, – пэўна, лёгкага, спагаднага характару (такога, як іхні санінструктар Корзан), але хто ведае, што ў яго сядзела ўнутры. Пэўна ж, усе яны добрыя ў палоне або забітыя, але хто тады нарабіў такога гора людзям, хто столькі пазабіваў, папаліў, абабаваў, перавешаў, хто заліў крывёю ўвесь свет? Ды і што скажучь хлопцы і начальства, калі даведаюцца, як ён тут раскурваў маршанскую махорачку з гэтым фрыцам? А калі дазнаецца капітан Воранаў, маўклівы загадкавы чалавек са схаванымі пад бровы вачмі, як ён паставіцца да такой суполкі? Валока мог меркаваць – што-колечы наконт гэтага ён ужо чуў за паўгода службы ў палку.

Пакутна было і складана даўмецца, як яму быць тут, у гэтай недарэчнай і такой нечаканай бядзе.

Зноў добра ўмарыўшыся, яны паселі на цэглу ў куце і пачалі адплёўвацца. Валока дастаў кісет, насыпаў у паперку махоркі і, прытрымліваючы яе пальцамі, перадаў кісет немцу. Той ахвотна пераняў. Калі Валока саслуніў цыгарку, ён услужліва пстрыкнуў запальнічкай, даў прыкурыць яму, затым прыкурыў сам. Мільготкі, маленькі, як іскрынка, агеньчык запальнічкі трохі разагнаў змрок, асвяціў пакарэжаную столь, вывараціны цаглін у сцяне і два ўшчэнт запаленыя невясёлыя твары. Патрымаўшы ў кулаку

запальнічку, Фрыц, пэўна, рашыў не тушыць яе і пачаў прыладжваць у вышчарбіне сцяны. Яна дрэнна ўсталёўвалася там, і Валока падняў з долу кавалак цагліны.

– На вось прыпры.

Але немец раптам здрыгануўся, бялявыя бровы на яго твары саўгануліся на лоб, ён з жахам услухаўся ў нешта, што адбывалася знадворку. Валока ўзняў голаў – наверсе, над самымі іх галовамі, пачуліся крокі – туп... туп... туп... Праз бетон данёсся блізкі, аднак глухі, невыразны голас, недзе над прыступкамі штось грукнула і сціхла: чалавек, пэўна, спыніўся ці мо адышоўся далей. Баец ускочыў – першым яго жаданнем было крыкнуць, азвацца, але ў той жа момант ён злавіў на сабе напружана ўмольны позірк немца і сам схамянуўся.

Хто? Такое пытанне ўраз маланкай пранеслася ў свядомасці абодвух, і, вядома, абодва яны прагнулі рознага. Гэтая хвілінная іх раз’яднанасць зноў застарэлай варожасцю захліснула Валокава нутро, але толькі на кароткі час. Адразу, як сціхлі крокі, сціхла і нясцерпнае жаданне азвацца – цвярозая разважнасць падказвала яму, што трэба маўчаць і выбірацца з падземелля самім.

Яны яшчэ паўслухоўваліся, мярцвеючы ад празмернае ўвагі, затым немец выдыхнуў, неяк абвяў з цела і пачаў паволі прыладжваць у сцяне запальнічку. Баец закашляўся, зацяў рот далонямі. Крокаў болей не было чуваць.

– От папалі дык папалі, – не так немцу, як самому сабе сказаў Валока, выдыхаючы ў трапяткую цемру зацяжку. Немец звесіў з калень цяжкія натруджаныя рукі і ўздыхнуў. Яго нядаўні, трохі бесклапотна-бадзёры настрой відавочна прыхмурэў, – пэўна, ад працы ці мо ад гэтага трывожнага клопату.

– Вайна нікс гут! – раптам прыцішана, але з набалелай упэўненасцю азваўся ён, і баец ажно здзівіўся ад гэтае перамены ў настроі ворага. – Вайна – шайзэ!

Немец сказаў гэта з нейкім трудным, занятым адчаем у вачах. Валока, трохі разявіўшы рот, недаўменна, з прыхаванай іроніяй паглядзеў на яго.

– Во як: не гут! Чаму ж ты гэта не скажаш свайму фюрэру?

– Фюрэр – шайзэ! – строга абвясціў немец, відаць, толькі адно гэтае слова і зразумеўшы з доўгай Валокавай фразы. – Фюрэр свояч! Фюрэр эйнфахерменш нікс нада, – сказаў ён і стукнуў сябе кулаком у грудзі. – Фрыц Хагеман нікс нада вайна. Хагеман нада фрыедэн, нада кіндэр аўфцыген, арбайт нада, хаўз нада! Шайзэ вайна.

Валока зразумеў не ўсё, але ўцяміў прычыну абурэння гэтага немца, толькі спачуваць яму ён не збіраўся. Немец жа, мусіць, выліў свой даўні гнеў і на хвіліну змоўчаў. Баец тым часам дакурыў цыгарку і ўрэшце, наважыўшыся на тое, што ўвесь час непакоіла яго, сказаў:

– Слухай, Фрыц. Вылезем туды, – ён паказаў пальцам угору, – давай палон. Рус плен – і вайна капут. Га?

Немец уважліва выслухаў, нешта зразумеў, але з раздумнаю цвёрдасцю пакруціў галавой.

– Нікс плен. Плёхо плен. Рус энкеведэ дойч – Сібір. Пуф-пуф дойч.

– Ніхто цябе не будзе пуф-пуф. Чаго ты баішся? – загарачыўся Валока. – Ты ведаеш, колькі ў нас вашых камарадаў плен?

Фрыц зноў уздыхнуў, нявесела ўгледзеўся ў агеньчык запальнічкі ў сцяне. З ягоных вачэй выплыла і атуліла ўвесь твар туга чалавека, які колькі ні прыкідваецца сам сабе, як ні абнадзейвае сябе, а ўсё ж ніяк не можа пазбыцца вялікага і нязбыўнага, як смерць, клопату. Задумаўшыся, ён трошкі памаўчаў, пасля заварушыўся, расшпіліў кішэнь мундзіра і дастаў нейкія паперы. Перабраўшы іх, знайшоў там надарваны канверт з пацёртымі краямі і дастаў адтуль картку.

– Майн фрау унд кіндэр. Дрэздэн, – сказаў ён і падаў картку байцу. Той няўмела, з ашчаднаю зважлівасцю да чужога, але зразумелага і па-чалавечы дарагога наблізіў картку да слабенькага святла запальнічкі.

З фатаграфіі на яго пазіралі жанчына і трое малых. Старэйшы – галаногі хлапец у кароткіх штоніках стаяў каля крэсла, дзяўчынка сядзела на каленях у маці, сярэдні –

хлопчык год дзесяці – стаяў ля старэйшага і трымаў пад пахай паласаты мячык. Ззаду віднеўся невялічкі, але ладна адбудаваны і дагледжаны домік з верандаю, высокі чарапічцы дах, у прасценках густая лістота вінаградніку. На хвіліну баец ажно ўпіўся ў гэта вачмі.

– Ладная дамоўка, нічога не скажаш, – уздыхаючы, прагаварыў Валока, адчуўшы ў душы ціхенькі самотны боль не то ад разбуджанага суму па спрадвечнаму, мірнаму, гаспадарчаму жыццю, ці мо ад успамінаў аб сваіх там, дома... З прытоенай зайздрасцю і скрухаю ён аддаў картку назад.

– Драй кіндэр! – сказаў Фрыц, хаваючы ў кішэню паперы. – Плёха плен. Гаўптман гестапа Крафт шрайбен, – фрау, кіндэр ком, ком унд канцлагер. Плёха!

Валока зразумеў. Пэўна ж, так, яны, гэтыя немцы, не дужа там няньчацца і са сваімі – ён ужо чуў, што за такія справы сем’і гэтых фрыцаў па галовах не гладзяць. Ну, але што ж тады ім рабіць?

А Фрыц тым часам ямчэй усеўся на цагляным зломку і, памагаючы сабе рукамі, пачаў нешта тлумачыць.

– Фрыц нікс буржуй, Фрыц арбайт! – Нібы ў доказ таго ён выцягнуў перад сабой шырокія, дужыя, працавітыя далоні. – Маркі мала-мала Фрыц. Айн хаўз Фрыц. Хагеман – бедны чалавек. Рус Иван – бедны чалавек. Цвай бедны чалавек, – паказаў Фрыц два пальцы. – Мі панімайт.

– Ну гэта... Які я бедны? – невядома чаму сумеўся Валока. – Чаго Иван бедны? Што я, беспрацоўны? Калгаснік я.

– Я, я, – пагадзіўся немец. – Плёха рускі кальхаснік. Кальхас бедна.

«Што ён мяне тут ахмурае, – падумаў Валока. – Куды гне?» І яму дужа захацелася быць не горшым, чым гэты немец, – не ўступіў жа ён яму ў нядаўняе бойцы, быў роўны ў працы, і цяпер вельмі ж нежадана было яму аказацца нейкім бедняком, вартым спачування. Унутры ў ім усё запратэставала супраць гэтага абразлівага варожага спачування.

– Наш калгас багаты. Вось! У нас не такія – у нас яшчэ лепшыя дамы. Мы шыферам крылі. І хлеба – во! –

гаварыў ён, паказваючы далонню да шыі. Немец, здаецца, нічога не зразумеў і казаў сваё:

– Плёха рус кальхас... Бедна...

Баец адчуў, што не дужа абхітрыш гэтага немца, які прайшоў палову Расіі і, пэўна, нагледзеўся рознага. Але ўсё роўна Валока не хацеў здацца.

– Мала што дзе там бедна. А ў нас багата. Во. Мы хлеба па сто пудоў палучалі. І бульбы. І гароху. І масла па пуду, і грошы – тысячу рублёў. Тысячу, разумеш? – з пафасам назваў ён суму, якая ў даваенным сялянскім разуменні была ўвасабленнем параўнаўча высокага дастатку. Ва ўсякім разе за гэтыя грошы можна было купіць добрую карову. А гэта было ўжо нямала. Немец нахмурыў лоб, імкнучыся штосьці зразумець у запальчывай гэтай гамонцы, і Валока пальцам вывеў на запыленай сцяне палачку і тры нулі.

– Тысяча! От!

– Таўсенд! Кілёграм масле? – здзівіўся немец і недаверліва паглядаў то на лічбу, то на байца. А той, адчуўшы, што немец памыляецца, але, бачачы яго захапленне, не стаў выкрываць непаразумення і нахабнавата пацвердзіў:

– Ну! А ты думаў...

Немец загасіў у вачах недаверлівы агеньчык і паскроб патыліцу.

– Усё было. Да вайны, – гаварыў далей Валока з такім адчуваннем, бы рашыўся на штосьці адчайна забароннае, адкуль назад ніякага ходу ўжо не было. І ён лез напра-лом. – Радые было – раз, – пачаў ён загінаць на левай руцэ пальцы. – Лісапед. – Для нагляднасці ён падабраў ногі і пакруціў, бы педалямі, у паветры.

– Рад, – здагадаўся немец.

– Во, во, рад – два.

– Іх імель крафтрад, матацыкль, – аб’явіў немец.

– Матацыкл? Матацыкл што? Матацыкл ерунда. А ў мяне была... ведаеш што? Гэта што плавае – чых-чих-чих! Маторка звалася. Во! – паведаміў ён, знайшоўшы свой галоўны ў гэтай спрэчцы козыр.

– Лодка?

– Ага, лодка. От жылі. Каб не вы, фашысты...

Фрыц падумаў, яшчэ паўзіраўся ў байца, наморшчыў лоб і ўздыхнуў, няпэўна супакойваючыся. «Паверыў», – коратка, з надзеяй, падумаў Валока.

– Фашызм нікс гут. Плёха фашызм, – сказаў Фрыц, і баец цяжка падняўся з месца. Немец таксама ўстаў, услу-хаўся, але скрозь было ціха.

Яны зноў пачалі разбіраць завалле, выцягваць каменныя вывараціны з праломіны ў сцяне, але канца гэтае справе не было відаць. За праломінай ішла суцэльная сцяна друзу, і хутка з яе ўжо нічога нельга было выдраць – так там усё было туга спрасавана. Абодва за той час дужа ўходзіліся, запыліліся. Валока, не перастаючы, кашляў ад пылу. Урэшце ён вылаяўся і вылез на вальнейшае месца. Стала відаць, што калупацца там – справа дурная і марная.

Яны памаўчалі, змарыўшыся, пасля Валока пайшоў абмацваць усе закуткі гэтага падземля. Запальнічка свяціла слаба, і ён больш вобмацкам, чым бачачы, натрапіў на нейкую патарчаку, што высоўвалася ўгары са столі. Гэта было ў баку ад таго месца, дзе ўдзень прабіваўся праменьчык. Баец гукнуў, і Фрыц прынёс сюды свой мізэрны свяцільнік. Мільготкая іскрынка праплыла ў цемры і, толькі калі немец падняў яе ў кулаку пад самую столь, трошкі асвяціла цьмяны кавалак бетону.

Слабенькае святло хліпка блукала па столі, два твары напружана ўзіраліся ўгору. Валока напяўся – зломак кра-таўся. Немец свяціў адной рукой, а другой таксама ўпёрся ў край гэтае вывараціны.

– Ахтунг! Памалё! Малё трэба, Иван, – засцярожліва сказаў ён, і баец пачуў яго цёплае дыханне ля вуха. Там, ззаду, за спіной, вісеў яго аўтамат, які лёгка можна было ўхапіць, але Валока ўжо не звяртаў на гэта ўвагі.

– Што там «ахтунг!». Ану, дужэй. Раз, два, узялі! Шырока расставіўшы ногі, яны ўперліся, Валока папіхаў зломак у адзін бок, у другі, той яўна паддаваўся іхняе сіле. Тады баец напяўся яшчэ, і зломак зрабіў шырэйшы ход

туды і назад. Здавалася, у гэты раз яны сапраўды знайшлі выйсце. Валока аж акрыяў духам і, змораны, сабраў у сабе рэшту сіл. Зломак падаваўся, вось-вось павінен быў выпасці, як раптам немец засцярожліва ўскрыкнуў, запальнічка ўраз пагасла, і нейкі жажлівы цяжар, прарваўшыся, рухнуў на Валоку. Ён і не ўцяміў нават, што сталася, уваччу бліснула аранжавая зарніца, і страшны боль у галаве пагасіў адчуванне.

5

Не, ён не загінуў – ён жыў, але навакольны свет даходзіў да яго свядомасці праз пякельную нясцерпнасць пакут. Спачатку было такое ўражанне, нібы ён дзесьці сцяты, сціснуты, бы ў якой зубатай пашчы, і страшны боль пранізвае ўсё яго цела. Асабліва балела галава; нешта там, у самым нутры мозгу, торгала, калола, рэзала, варухнуцца не было сілы, і было вельмі пакутна. Яшчэ больш балела спіна. Ад гэтага болю ў адно з праясненняў свядомасці Валоку здалося, што ён раздзеты ляжыць на ржышчы, калючкі якога разам з калючкамі асоту ўпіваюцца ў яго цела. Ён хоча крыкнуць, пазваць суседа Трахіма, які жне побач на коннай жняярцы, але ніяк не можа выдавіць з сябе таго крыку. Праз хвіліну, аднак, ён бачыць жняяра; толькі гэта чамусьці не Трахім, а немец – той Фрыц, з якім ён спаткаўся куды пазней, на вайне, і ў яго аўтамат, – аднаруч ён тузае лейцы, а другой прытрымлівае на каленях зброю. Немец чамусьці гаворыць па-беларуску. Валока заходзіцца ад страху, бо ведае, што жняяр Фрыц зараз спыніць коней і застрэліць яго. Ён ездзіць па кру[зе] навокал байца, кругі ўсё звужаюцца, і зубы жняяркі ўсё бліжэй і бліжэй прысоўваюцца да яго ног. А тут яшчэ дужа пячэ сонца, так смаліць, што ажно разломваецца галава, унутры ўсё ссохла, і нясцерпна хочацца піць. Валока шэпча: «Піць, піць...» – толькі слоў няма: вусны варушацца, а гук прапаў. Затым сонца пачынае зніжацца, падступаць да яго, але чамусьці робіцца маленькім, не большым за агеньчык

запалкі. Страх патроху мінаецца, толькі спякота ўсё ранейшая і ўсё хочацца піць. І яшчэ робіцца цёмна, прападае кудысьці поле і Трахім, а ён апынаецца ўжо на вайне. За пагоркам стракоча кулямёт, а недзе паблізу над галавой чуецца спагадлівы голас іх ротнага санінструктара Корзана: «Гут, Іван, гут! Жывы Іван гут...». Санінструктар гаворыць па-нямецку, толькі байца гэта чамусьці не здзіўляе, той рады, што побач чалавек – ён дапаможа. І зноў загараецца ў цемры агеньчык і плыве некуды ўдалачынь. Валока жахаецца ад таго, што яго пакідаюць, ён ускрыквае ад жудасці, як некалі ўскрыкваў у маленстве, напалоханы жахамі сноў. І ўжо з большай рэчаіснасцю бачыць у змроку асветленую з таго боку постаць з адарваным пагонам, які цяляпаецца па плячы. Постаць сунецца кудысьці ў цёмны кут, на момант слабенькаю плямай асвятляецца сцяна ў адным месцы, пасля ў другім. І вось у асветленай мясціне мільгае знаёмы абрыс аўтамата. Валока здзіўляецца – гэта ж яго ППШ нумар НЛ 0482. Баец не цяміць яшчэ, што і як сталася папярэдне, не ведае, хто там, толькі здагадваецца, што гэта не санінструктар. І ўсведамленне таго, што яго абяззброілі, зноў жахам працінае байца. Пераадольваючы страшны боль у галаве, ён прыўзнямаецца з долу, пакутна сядзе, падпёршы сябе дрыготкімі рукамі, намацвае нейкі цагляны абломак і чакае. Забіць, забіць, забіць у што б там ні стала, інакш заб'е той!.. Валока спрабуе ўстаць, сэрца яго надрыўна калоціцца ў грудзях, толькі ён дужа слабы, цяжкія рукі не слухаюцца, і страшны боль у галаве, мацнее. А вораг усё поўзае ў цемрываі далечы, высветлівае глухі мур сцяны – што ён шукае? Затым плямка святла спыняецца, дрыжыць на адным месцы, коратка клацае затвор аўтамата. Валока, душачыся ад болю і знямогі, сціскаецца, у вачах мутнее, і тады ў куце грукае стрэл. Шырокі чырвоны бляск зусім асляпляе байца, рукі не вытрымліваюць, ён падае, але боль не павялічваецца – чалавек жыве. Ён збірае ў сабе сілы крыкнуць, нясцерпна паміраць у гэтай нямой маўклінасці, але ў той час да яго слыху даносіцца мернае, вельмі лагоднае цвіркатанне вады. Ну вядома ж, так можа цвірчэць толькі вада! Валока ўжо

бачыць у цемры яе зіхаваты струмень і, адчуваючы, як пакідаюць яго рэшткі свядомасці, выдаўлівае з сябе стогн.

Наступным яго адчуваннем было далікатнае, лагоднае казытанне на барадзе, на шыі; здавалася, нейкая жывая істота паўзла за каўнер, на грудзі, толькі на вуснах і ў роце стала лепш і нешта жалезна-цвёрдае дробненька стукала аб зубы. Валока расплюшчыў вочы – у зрок ударыла рассыпчатая яркасць іскраў; яны гойдаліся, скакалі на адным месцы ля самага яго твару, але не пяклі. Пасля ён сцяміў, што ўсё гэта адбівалася ў вадзе. Аднекуль здалёк да слыху даходзілі словы:

– Трынкен, Іван! Трынкен!

Ён глытаў доўга, многа, зубы ўсё ляскалі аб край нейкай пасудзіны, а ў свядомасці коратка і выразна бліснула ява – ён згадаў, дзе ён і хто з ім. «Немец! Фрыц!» На момант адарваўшыся ад вады, ён зірнуў угору, – над ім мільгала ў кулаку запальнічка і расплываўся ў нейкай недарэчнай ухмылцы страшны, тупы ад таго, што быў незвычайна падсветлены знізу, твар з вялікімі і валасатымі ноздрамі, брывастым ілбом, пад якім лыпалі выпуклыя жаўтлявыя бялкі вачэй. Вочы, аднак, таілі ў сабе лагоду і спагадлівасць, і гэта супакоіла байца.

– Трынкен, Іван. Трынкен...

Ён зноў апусціў голаў да пасудзіны; у глыбіні яе, у вадзе, гойдаўся агеньчык ад запальнічкі. Чамусьці Валоку зрабілася блага – ён хіснуўся ад вады, Фрыц штосьці сказаў, пабурчаў і прыбраў ваду ўбок.

Баец сцішыўся ў доле, так яму стала лягчэй – спякотны жар уняўся, толькі галава, плечы і нешта ўсярэдзіне тупа балелі. Ён зноў заплюшчыў вочы, аддаючыся спакою, і раптам прахапіўся ад думкі – дзе аўтамат? Чалавек ірвануўся з долу – немцавы рукі адразу прытрымалі яго, настойліва паклалі назад, і Валока ў нейкім раптоўным прасвятленні здзівіўся з самога сябе: было ад чаго палохацца, калі цяпер ён у поўнай уладзе гэтага немца. І ён адчуў нейкую сталую прыязнасць да яго, быццам яны знаёмы былі ўвесь век і цяпер сталі самымя найбліжэйшыя адзін аднаму і самымя патрэбныя. І таму – прэч усе падазрэнні,

засцярожлівасць, недавер! Усё, што стала над іх чалавечую сутнасцю,— усё, наслоенае іх нацыянальнаю рознасцю, палітычнай варожасцю, вайной,— усё гэта, адзеленае ад іх магільнаю тоўшчай руін, засталася там, наверсе, у беззваротным мінулым. Два гэтыя пажылыя, труднага лёсу працаўнікі былі тут людзі і толькі дбалі пра тое, як абодвум застацца жывымі дзеля іх сем'яў, мірнае справы, дзеля самых звычайных і незаменных чалавечых радасцей.

Валока памацаў рукой немцава калена побач і слаба паціснуў яго. Фрыц жыва адгукнуўся, падняў яго руку, таксама далікатна паціснуў яе ля локця і асцярожна паклаў на дол. Тлумачыць адзін аднаму нічога не трэба.

Пасля баец спіх і забыўся. Клопат яго знік, боль крыху прыціх, але нейкія ўнутраныя пакуты працягваліся. Невядома, ці гэта быў сон, ці трызненне хворага, толькі пакутныя здані і прывіды доўгі час не пакідалі яго.

Неяк ён убачыў сябе ў Брэслау, на гарадской ускраіне ў садку, дзе з тыдзень да наступлення перафарміроўваўся іх полк. І быццам яшчэ не было гэтага наступлення, але ўжо ўсё, што здарылася цяпер з ім, стала мінулым, і Валока не стараўся зразумець, чаму гэта так. І быццам быў жывы камбат Папрэнка, забіты яшчэ пад Оршай; ён выклікаў Валоку ў штаб, і баец з цяжкім сэрцам прыйшоў у бліндаж, хоць ведаў, што ў Брэслау штаб батальёна змяшчаўся ў ладным катэджы з балконамі, а не ў бліндажы. Але ў бліндажы чамусьці аказаўся не камбат Папрэнка, а капітан Воранаў. «Ну што, нямецкі шпіён?» Такім папрокам сустрэў ён Валоку, хапіў яго за плечы, здэёр пагоны, потым пачаў настаўляць пісталет у кружочкі медаляў на ягоных грудзях. «Немца хаваў? Ворага тытунём частаваў? Чаму не забіў?»

Валока вельмі хацеў вытлумачыць, што і як сталася з ім у гэтым склепе, але мову ў яго адняло, і ён адчуваў, што зараз будзе пагібель. І сапраўды, Воранаў стрэліў, але болю Валока не адчуў і тады здагадаўся: медалі. Медалі яго ўратавалі ад кулі. Але ў той жа час у Воранава замест пісталета апынулася супрацьтанкавае ружжо — гэта ўжо была пэўная смерць.

«Зраднік! Пракурыў Радзіму? Вышэйшую меру табе!»
— гучалі страшныя словы, і Валока азірнуўся ў пошуках выйсця. Але раптам аказалася, што ззаду роўнае поле, Воранаў некуды знік, і ён, Валока, як у даўнія, даваенныя часы, сядзіць у вясновы дзень на краі баразны, паставіўшы босыя ногі на мяккі вільготны глей. Побач шнурком сядзяць калгаснікі, яго аднавяскоўцы, у барознах адпачываюць коні, а ззаду, па раллі, ключычы вялікіх белых чарвякоў, скачуць гракі. Усе кураць, жартуюць, снедаюць тым, што папрыносілі ім дзеці і жонкі, п'юць квас. Валоку таксама вельмі хочацца піць, але сняданка яму ніхто не нясе, бо яго дом чамусьці далёка адсюль. Ён адзін тут вайсковец, на ім салдацкія галіфэ і гімнасцёрка, толькі яна без дзягі, якая разам з аўтаматам і скаткай ляжыць воддаль на раллі, і на скатцы сядзіць вялікі, нейкі нерухомы чорны грак. Усе смяюцца і кураць, а Валока ведае, што яму ўжо сняданка не будзе, бо ён асуджаны да смяротнае кары, і што ўсё тое, што ляжыць пад граком, ужо здадзена старшыні, які зняў яго і са сталавання.

Пасля таго коні, людзі і гракі знікаюць, толькі той, нерухавы, усё сядзіць на скатцы і крумкае. Аказваецца, гэта воран. Валока палохаецца настойлівай загадкавай птушкі, прабуе ўскочыць, тузаецца і ачынаецца.

6

За пакутную ноч памутнела яго свядомасць, і Валока не адразу ўцяміў, дзе ён і што з ім сталася.

Перш-наперш яго здзівіла блізкая, устрывожаная страляніна. Недзе таропка патрэсквалі аўтаматныя чэргі, бахалі вінтоўкі. Адноўчы нават данёсся крык, але Валока не зразумеў, у якім баку ён раздаўся. Перамагаючы санлівую аслабеласць, баец расплюшчыў вочы.

У склепе было светлавата. Па-над сцяной, дзе яны выдзіралі зломак, ляжала новая куча друзу, — відаць, тая, што абрынулася на яго, — і над ёю яркім дзённым святлом блішчала дзірка. Валоку адразу скаланула радаснае

імкненне, ён тузануўся ў доле, сеў, але боль у галаве прымусіў яго пакутна схіліцца набок.

Як-колечы ён, аднак, утрымаўся, перамог слабасць, трошкі аддыхаўся і паварушыў у ботах адубелыя ад сцюжы ногі. Пасля ён усё ж сеў і паволі падняў галаву, абкручаную нейкай анучай, шкумат якой звісаў каля вуха. Валок асцярожна памацаў гэты скрываўлены турбан і тады, ураз прыпамятаўшы, што з ім сталася, з удзячнасцю падумаў пра немца.

Фрыц Хагеман сядзеў побач, прысланіўшыся спіной да пагнутае бэлькі, і спаў. Галава яго звесілася на плячо, валасы растрапаліся, ніжняя губа адтапырылася. Шчацінне на яго шчоках за ноч пабольшала, і ўвесь ён выглядаў вельмі стомленым, пажылым чалавекам. Ля яго ног стаяла каска з рэштаю вады. Валок адразу памкнуўся за ёю, але, узяўшы ў рукі, зноў апусціў на зямлю. Вада дужа смярдзела потам, і байца ледзь не зблажыла. Гэта была нямецкая салдацкая каска, сотні якіх валяліся на месцах баёў; хлопцы іх заўжды адкідвалі з-пад ног ботамі, — тым больш што трапляліся акрываўленыя, прастрэленыя, усякія. Каска адразу напамніла байцу пра варожае і агіднае.

Валок паморшчыўся, зноў прыслухаўся і агледзеўся. У куце за прыступкамі, на закіданай друзам падлозе, цямнела вільготная пляма, і чуваць было, як мерна капае недзе вада: кап-кап-кап. З трубы, пэўна, падумаў Валок і зноў паглядзеў на немца. Відаць, прытаміўшыся за ноч, той моцна спаў, і баец стаў напружана думаць у цішы, што яму рабіць далей.

Трэба вылазіць. Здаецца, ён здолеў бы сам як-небудзь выкараскацца адсюль — дзірка ёсць, — што яму цяпер немец! Хай спіць, а прачнецца — хай сам дбае; без яго Валок спакайней, ды і бяды менш будзе. Толькі... Толькі хто там, намерсе? Страляніна, здавалася, яшчэ болей пашырылася — чутна стала і ў адным баку, і ў другім, раз за разам непадалёк гахнулі тры выбухі. Хто гэта? Нашы? А калі немцы? Калі немцы — яму будзе кепска з яго праламанаю галавой, а калі нашы — пападзе немцу. Нарвецца на якога аўтаматчыка, не паспее і рук падняць, як той прашые яго

чаргой. Хлопцы ёсць бязлітасныя, у многіх свежыя раны ў сэрцы – усё можа стацца.

Не, прыйдзеца, відаць, разам – здаць Фрыца ў палон, і на душы будзе спакайней.

Так разважаючы, Валока сядзеў каля немца і азіраў таго, соннага, без асаблівай варожасці да яго і без вялікай прыязнасці. Уначы было інакш – ён бачыў толькі яго асветлены запальнічкаю, звычайны, як і ва ўсіх, чалавечы твар, – а цяпер перад ім сядзеў немец у прапыленым, з адарваным пагонам мундзіры, у нізкіх скураных ботах, побач валялася ягоная каска з арлом на баку, не хапала толькі нямецкага аўтамата. Валокаў ППШ ляжаў зводдаль, і баец па салдацкай звычцы пацягнуўся да яго рукой, зачাপіў за почапку і павалок да сябе. Магазін заскрыгаў па жарсцвянаму долу, і немец, раптам абарваўшы мернае роўнае дыханне, прагнуўся.

Спачатку ён таксама, відаць, збянтэжыўся, залыпаў вачмі, а затым, пазнаўшы байца, усміхнуўся і трохі здзіўлена азваўся:

– О, Иван, лебенд? Гут, гут.

Заўважыўшы, што Валока прыбраў сабе аўтамат, ён заклапочана варухнуў бровамі. У вачах адбіўся кароценькі неспакой, але ён зараз жа падавіў яго і зноў бадзёра, стараючыся як мага выразна вымаўляць кожнае слова, сказаў:

– Можна ідзі. Туда ідзі. Дзверы туда іх махен...

– Дзверы?

Валока хацеў усміхнуцца, але ў галаве ўраз балюча кальнула, і твар яго зморшчыўся ў пакутнай гримасе.

– Болна?

– Ладна, – паморшчыўся баец. – Жывы будзем – не памром.

Ён не хацеў паказваць немцу свае слабасці – крыў Божа, не застагнаць – і, дапамагаючы сабе рукамі, устаў на ногі. У галаве адразу закалола, перад вачмі расплыліся рудыя кругі. Ён асцярожна і з вялікай натугай выпрастаўся, але не прастагнаў, стрымаўся. Трошкі пастаяўшы так, аслабела ступіў па друзе да дзіркі ў куце. Фрыц хацеў падтрымаць яго, але Валока ўпарта адняў руку.

Кульгаючы, немец падаўся туды таксама, першы далез да дзіркі і зазірнуў угору; за ім узабраўся на друз і Валока. Яму балюча было закідваць голаў, і баец не змог паглядзець угору. У той час недзе паблізу пратрашчала чарга, другая, пачуліся галасы – нехта крыкнуў, пасля там, на версе, загаварылі не ціха і не гучна, але так, што слоў разабраць было нельга. Валока сцяў сківіцы; немец, паўразявіўшы рот, з абвостраным неспакоем у шэрых вачах паглядзеў на байца. Яны нічога не сказалі адзін аднаму і на нейкі час замерлі пад тою праломінай. Зноў трывожнае, як подых пагібелі, пытанне «Хто?» секанула па іх свядомасці.

Але гамонка на версе спынілася – можа, людзі адбегліся, а можа, замоўклі, – яшчэ праз хвіліну аднекуль здалёк данесліся доўгія кулямётныя чэргі. Нешта там адбывалася. З пачаткам новага дня ўсчыналіся новыя схваткі, і Валоку ахапіў неспакой.

– Трэба лезці, туды, наверх, – паказаў ён немцу. Фрыц зразумеў, кортка пацвердзіў:

– Я-я, – і, пакульгваючы, замітусіўся, шукаючы, што б падкласці, каб зручней было дабрацца да дзіркі. З некалькіх кавалкаў бетону ён склаў невысокі падмостак, прымерыўся – трохі было нізка, тады ён скульгікаў уніз, прынес каску і паклаў яе наверх. Так можна было ўхапіцца за край праломіны.

Ён і сапраўды ўхапіўся і нават, прыўзняўшыся на руках, выглянуў, але ў нерашучасці апусціўся зноў. Зноў на імгненне сустрэліся іх вельмі сур’ёзныя позіркы, але ніводзін нічога не сказаў другому – абодва толькі слухалі, як прастор на версе калацілі стрэлы, і стараліся як-небудзь угадаць, хто там. Толькі ўгадаць не было як.

Тады немец нахмурыўся, рашуча напяўся, скочыў, высіліўшыся на руках, упёрся здаровым каленам у край і апынуўся на версе.

Некалькі секунд ён стаяў там, азіраючыся, а знізу на яго напружана глядзеў Валока. Баец з натугай трымаўся на нагах, у вачах хісталася наваколле, але цяпер – адчуваў ён – рашалася найбольшае, і ён з першай жа секунды

не хацеў прапусціць яго. У Валокавай душы раптам узнялося нешта крыўдліва-пакутнае, нейкае адчуванне сваёй аслабеласці, падумалася нават, — немец падасца адсюль, і ён застанеца адзін у гэтай яме. Валока адчуваў у сабе ўжо выразны зачаток прыхільнасці да гэтага незвычайнага ворага — цяпер ён быў яму гэтак патрэбны, як бывае патрэбны ў бядзе таварыш.

Толькі немец нікуды не бег. Ён пераступіў ботамі ля самае дзіркі, агледзеўся, з-пад абцасаў шархотка пасыпаўся ў склеп пясок, і затым з дзіркі ледзь не па локаць высунулася яго рука.

— Іван, шнэль! Быстра!..

Валока ўзлез на падмостак, падняў насустрач руку, але немец незадаволена пераступіў, махнуў кісцю — спярша ён збіраўся пераняць аўтамат. Баец зняў ППШ з пляча, бяздумна сунуў яму і раптам спалохаўся. Аўтамат апынуўся ў немца, і Валоку — кароценька, на імгненне — здалося: абхітрыў! Аднак немец не збіраўся ў яго страляць, а з салдацкай беражлівасцю да зброі паклаў ППШ на дол і працягнуў у дзірку абедзве рукі.

Напяўшыся, Валока даў свае, немец моцна ашчаперыў іх, пацягнуў, баец упёрся ботам у сцяну, да болю сцяў сквіцы, каб не застагнаць, і бокам пераваліўся цераз край праломіны.

Так абодва яны апынуліся на версе ў руінах вялізнага дома, канец якога, задраўшы ў неба ўцалелую тарцовую сцяну, стаяў, нібы агромністы помнік разбурэнням вайны. На сцяне другога ці трэцяга паверха коса вісела карціна ў пазалочанай раме, неяк трымаўся яшчэ пасечаны асколкамі габеленчык з ласямі; зачাপіўшыся за нешта, тырчаў дагары нагамі ложка з металічнаю сеткай. У выбітым, недарэчным цяпер на выгляд, акне варушылася на ветры фіранка. Ад вуліцы гэтае месца адгароджвала другая сцяна, якая рухнула ўнутр дома і вялізнаю плахай касабочылася ўгору з-пад самых іх ног. Там, недзе за вуліцай, у праяснелым ужо ранішнім небе ціха краталіся верхавіны ліп, у скверы ля якога ўчора хаваўся ад бомбаў Валока.

Яны трошкі аддыхаліся, услухаліся: зноў стала выразна чуваць, як блізка на вуліцы, страляючы, беглі людзі. Данесліся і крыкі, толькі Валока не разабраў слоў, а немец, раптам устрапянуўшыся і размахваючы рукамі, кінуўся па друзе ўгору. Аднак бегчы ў ламаччы было не дужа зручна, ды ён яшчэ і кульгаў, але ўсё ж далёка адарваўся ад байца, які, ледзьве перастаўляючы ногі ў грудях цэглы, брыў следам. Фрыц першы дабраўся да таго месца, адкуль можна было саскочыць на вуліцу, выпрастаўся ўсёй сваёю паджарай постацю на фоне нябеснае яснасці, і тады Валока вельмі выразна і непапраўна, як смерць, пачуў узрадаваныя галасы ворагаў:

— Хагеман! Хагеман! Ком! Ком! Хагеман!

Валока чакаў іх, увесь ранак быў гатовы на горшае, і ўсё ж у гэтую хвіліну яны абрынуліся на байца неспадзявана. Ён асеў у дол, а Фрыц, крутнуўшыся да яго на цагляным абрыве, з радасцю на раптоўна ажыўленым твары крыкнуў:

— Іван! Іван! Ком!

І памкнуўся скочыць, каб бегчы туды, куды звалі яго таварышы.

— Стой! — не так гучна, але з няскоранай рашучасцю прамовіў Валока.— Стой!

На момант на немцавым твары мільганула разгубленасць, нават боль, а можа, спалох, затым ён узмахнуў у паветры рукамі і знік па той бок руін.

Валока таксама на момант быццам самлеў, разгубіўшыся ад такой нечаканасці, а затым, не зважаючы на сваю знямогу, прыпадаючы на рукі, бягом кінуўся наверх, туды, дзе знік Фрыц.

Хагеман далёка не адбег, вуліца таксама скрозь была завалена рэшткамі дамоў, і ён пералазіў цераз цагляныя глыбы якраз пад тым месцам, дзе з'явіўся Валока. Насупраць, па-над чыгуннай агароджай скверыка, адстрэльваючыся і прыгінаючыся, беглі немцы.

— Стой! — крыкнуў Валока, убачыўшы яго.— Фрыц! Стой!

Немец аж скалануўся ад яго голасу, прыўзняў галаву – твар яго, здалося Валоку, зморшчыўся, нібы ад болю. І немец на момант спыніўся, зірнуў на байца, затым – на скверык, дзе немцы – усе, колькі іх было, – прымарудзілі хаду, некаторыя выпрасталіся, здзіўлена ўгледзеліся ў іх двух. Але гэта толькі на імгненне. Зараз жа там загаварылі, і зычны камандзірскі голас, як бізуном, ляснуў па руінах:

– Хагеман, ком! Шыссен!

Фрыц кульнуўся цераз глыбу, што перагароджвала яго шлях да сваіх, а Валока, адчуўшы, што зараз усё скончыцца, але ўжо не думаючы пра сябе, а толькі з усяе свае ўпартасці не жадаючы аддаць ворагам гэтага чалавека, стрыкнуў па-над ім чаргою. Кулі з пералётам і недалётам у розных месцах абсыпалі навокал яго руіны.

Тады немец яшчэ раз ускочыў, крутнуўся, зірнуў угору на Валоку – у яго вачах адбіўся ўжо страх і азвярэлая лютасць чалавека, у якога не было выйсця. Баец, сцяўшыся, упаў між ламачча, не зводзячы з немца позірку, і ўбачыў, як той ліхаманкавым рухам выхапіў нешта з кішэні, ірвануў другою рукой і, коратка размахнуўшыся, шпурнуў у яго. Яно, гэтае невялікае і імклівае, чорнаю птушкай мільганула ў ранішнім небе і, не даляцеўшы да Валокі, гулка-коратка шчоўкнула.

«Граната!» – чамусьці са спазненнем бліснула здагадка, і Валока, адчуўшы канец і не маючы ні сілы, ні якое магчымасці ўратавацца, ірвануў да пляча аўтамат.

Чаргі ён, невядома чаму, не пачуў, у нейкую долю секунды згледзеў толькі, як апруцянела хіснуўся Фрыц Хагеман, і ў той жа час вышэй ад Валокі, ударыўшыся ў прасценак, аглушальна рванула граната. Гарачы імпэтны ўдар сцэбануў яго па плячы, і зараз жа ўсё патанула ў пыле, які ўдушлівым воблакам накрыў байца.

Пыл яго і выратаваў.

Валока адчуў, як немцы ўдарылі з аўтаматаў, некалькі куль раскрышыла цагліны побач, але ён, прыгнуўшыся, з раптоўным спрытам ірвануўся назад, упаў, ускочыў зноў, перакаціўся цераз вялікі зломак, аббег глыбокую варонку, з якой яны толькі што вылезлі, і, запаволіўшы хаду, выб-

раўся з руін на закіданы друзам падворак. Па дарожцы, вымашчанай бетоннымі пліткамі, дабег да шнурка нейкай калючай загарадзі, прадраўся праз яе гушчар і, падлезшы пад прадраную драцяную сетку, апынуўся ў нейкім вузенькім незнаёмым правулку.

Яго адразу ледзьве не збілі з ног хлопцы-аўтаматчыкі.

Гучна ляскаючы падэшвамі, яны шалёна беглі некуды, — мабыць, напярэймы тым немцам, што адступалі ля сквера. Задні страхавіта зірнуў на яго скрываўленую галаву, але змоўчаў, не сказаў нічога. Ён быў знаёмы, гэты хлапец з рабацінкамі на пераносі і яснымі насцярожанымі вачмі, але Валока не здолеў прыпамятаць, дзе ён бачыў яго, і адчуў, як забалела параненае плячо.

Правулак быў вузенькі і зусім пусты. Валока паглядзеў у адзін канец яго, у другі і, сцяўшы пад пагонам рассечанае асколкам плячо, хістаючыся, пайшоў туды, адкуль беглі аўтаматчыкі. Угары, у ясным вясновым небе, бахала, сіпела, калацілася гулкае рэха бойкі.

«Што ж гэта? Як жа гэта?» — толькі цяпер акрэслілася ў яго галаве яшчэ няўцямная думка-здзіўленне. Узрушаны і змардаваны, ён нечага ніяк не мог сцяміць ці, можа, не мог чагосьці ўспомніць — разгарачаным нутром ён толькі адчуваў, што сталася вялікая, яшчэ не ўсвядомленая да канца несправядлівасць, перад магутнаю сілай якой і ён, і Фрыц Хагеман былі бездапаможнымі. І яму было вельмі пакутна ад таго і хацелася завьць ад крыўды, якая ашчаперыла і душыла яго.

1961 г.

Дарога дадому

– Што стаіш, Лёня! Аўтобус чакаеш?

– Ну.

– Пайшлі пешкі. Столькі ў духаце праседзелі. А тут благадаць якая!

– Ага, надвор'е наладзілася.

– Усё ўрэшце наладжваецца. «Стремится обрести равновесие», – як пішуць у кніжках. Ды яно і зразумела. Без раўнавагі нішто не можа існаваць у гармоніі. Натуральны стан рэчаў – раўнавага. Ты гэта, гляджу, хмурышся. З-за Лагуна? Угадаў?

– Ды што ўгадваць, Іван Нічыпаравіч, справа не ў тым... Чаму ён пра гэта раней не сказаў? Чаму са мной у адзеле не пагутарыў? А тут раптам – «Мой абавязак!», «Трэба прама сказаць!»... Дэмагог пракляты!

– Ён не дэмагог, Лёня. Проста ён сабешнік. Ягоны прынып – мяне не чапай і я не зачাপлю. А ўжо калі зачাপілі, дык будзе выкручвацца. Усімі сродкамі. Элементарныя прыныпы маралі тады ляцяць у тартарары. Абы апраўдацца.

– Але ж пры чым тут – «палажа руку на сэрца», «невзірая на ліца», «мой долг рукавадзіцеля»? Ён жа мне дагэтуль ніводнай заўвагі не зрабіў.

– Бо ты яго не чапаў.

– Ведаеш, Леанід, можа, мне і не трэба гаварыць табе, але ладна. Усё роўна дажывеш і ты да нашых гадоў. Пэўна, і загадчыкам яшчэ пабудзеш.

– Дзе ўжо мне ў загадчыкі!

– А што! З часам абламаешся, абатрэшся, падабрэш. Злосці ўбавіцца. Патлусцееш, паважнееш. А так жа ты во-кунь. Калочка!

– Не дужа каго ўколеш. Таўстаскурья ўсе сталі.

– Ну не кажы. Колеш! Вось і Лагуна ўкалоў. Зрэшты, гэта, браце, каштоўная якасць – ваша яршыстасць. Калі б усе з маладосці аберагалі яе да старасці, да высокіх пасад, было б чудоўна. Але ж дзе там! Вунь вазьмі Цімафеева. Я ж ведаю яго яшчэ з камсамола. Ужо нашто быў калючы – колькі начальству крыві перапсаваў. Ды і самому несалодка было. Але ўвогуле правільна. Крышталнае сумленне меў хлопец. Працавіты быў да самаадданасці. А цяпер? Дапяўся да высокай пасады – дача, машына, кватэра з пяці пакояў. І што? Нічога. Выступае заўжды па паперцы, з начальствам у дружбе, каньяхком балуецца. Лагода! Куды тая яршыстасць падзелася?

– Ну, Лагун яршыстым ніколі і не быў. Ціхоня.

– Лагун? Лагун, браце, іншага сорту рыбіна. Перш за ўсё ён дурань. Старанны, добрасумленны, цягавіты дурань. Ёсць такі тып дурня. Усё робіць з празмернай нават стараннасцю, з такой адмысловай правільнасцю, што, па сутнасці, шкодзіць таму, што робіць. Бо ў кожную справу трэба ўкласці сябе. Самому ў яе верыць. Быць перакананым у яе неабходнасці. Адухатварыць яе чалавечнасцю. У яго ж усё выходзіць дужа старанна, але бяздушна. І таму фармальна правільна, а на справе дык нават шкодна. Так, так, не глядзі з гэткім недаверам.

– Ды я нічога. Проста...

– Звычайная рэч! Казёншчына ў адносінах між людзьмі ніколі не здольна з'яднаць. Наадварот, раз'ядноўвае. Праўда, аб тым ва універсітэтах не вучаць.

– Не вучаць. Гэта... Іван Нічыпаравіч, можа, зойдзем? Па куфлю свежанькага?

– Свежанькага? Ну зойдзем, калі свежанькага. Хоць я, прызнацца, піва не дужа... Вінца каб. Сухога, балгарскага. Харошыя ў іх сухія.

– Ды ну яго, віно... Толькі перавод грошай. Калі ўжо піць, дык няма лепш за «Маскоўскую». Класічнае пітво.

– Гэта каму як. Я таксама некалі гэтак жа думаў. Але гады.

– Не, не!.. Иван Нічыпаравіч! Гэта ўжо я. Мая ініцыя-
тыва, так што схавайце вашыя. Дзевушка, два піва! Та-ак!
Трымайце. Во сюды, да сценкі, каб не замінаць дужа.

– А! Хораша. Свежае, праўда.

– Харашае. Дык вы кажаце, Лагун дурань? Можа, і
праўда, набрахаў, а цяпер і сам перажывае.

– Ну гэта не! Праз цябе ён перажываць не будзе. І
злавацца на цябе таксама не будзе. Але калі цябе будуць,
не дай Бог, звальняць, ён і пальцам не варухне. У тым жа
і справа, што кранае яго толькі тое, што яго асабіста да-
тычыцца. Астатняе яму – да лямпачкі.

– Ну але ж гэта свінства!

– Лёня, ведаеш што? На, закуры і паслухай. Я табе
раскажу адну гісторыю. З вайны яшчэ. Ты ж, мабыць, вайну
слаба і помніш? З якога года?

– Я? З трыццаць васьмага.

– Ну вось. Калі табе напаўзло чатыры гады, я ўжо быў
чырвонаармейцам. Якраз перад самай вайной. Служыў на
Украіне, пад Драгобычам. І быў у нас ва ўзводзе, як цяпер
памятаю, такі хлапец па прозвішчу Шумак...

– Лёня, прывет!

– Здароў.

– П'янствуем, значыць?

– П'ем піва. Давай да нас.

– Не, хлопцы вунь. Кампанія.

– Што, са стадыёна?

– Ну. Тры-ноль у нашу торбу. Макавеенка малайчына!
Галавой пад самую штангу.

– Галавой?

– Ну. На апошняй мінуце. Клас!

– А Сідоранка?

– Сідоранка трыбуха. Хіба ён што можа! Гнаць яго
трэба даўно. Колька, Колька, хвілінку. Ну, мужыкі, прашу
прабачэння, там свае...

– Давай. Дык прадаўжайце, Иван Нічыпаравіч.

– Ну што... Толькі гэта даўняя гісторыя. Калі, можа,
часу мала, дык на другі раз.

– Часу хопіць. Кажыце.

– Шумак, значыць. Прозвішчаў пазнейшых колькі з галавы вылецела, а гэтага памятаю, як зараз. На першы погляд такі свойскі хлопец, у казарме быў суседам маім па ложку. Так, увогуле, нішто жылі. Праўда, аднойчы здарылася адна замінка, трохі мяне насцярожыла. Ну але, думаў, драбяза. Справа ў тым, што ў яго вадзіліся грошы, з дому падсылалі. Ну і часам у гарадскім звальненні ён штоколедчы купляў з шамоўкі. Ведама ж, маладыя былі, апетыт воўчы. Раз неяк прынёс каўбасы з паўкіло і пернікаў. Яшчэ мяне частаваў. А тумбачка ў нас агульная, толькі ягоная палічка верхняя, а мая ніжняя...

– Як у бальніцы.

– Во-во. Увогуле ў казарме забаранялася трымаць харч. Ну але клалі. І вось увечары ён прынёс, значыць, а назаўтра ранічкай старшына надумаў праверку тумбачак. Роту выстраілі на сярэдзіне казармы, старшына, дзяжурны, днявальны і пайшлі шураваць. Я гэта стаю спакойна, ведаю – у мяне ўсё ў парадку. І раптам старшына камандуе: чырвонаармеец Ласкутнікаў, выйсі са строю. Выходжу, і старшына мне ў нос кавалак каўбасы. Аказваецца, ляжала на маёй паліцы. Пераклаў, значыць, мой сябрук. Паспеў! Хлопцы рагочуць, а мне загад: з’есці перад строем увесь кавалак. Каўбаса тлустая, як цяпер памятаю, кракаўская, старшына па строгасці – брытва, а я – чырвонаармеец першага года службы. Уяўляеш сітуацыю? Нічога не зробіш – даўлюся і ем. А ён стаіць насупраць, Шумак мой, і са святым выглядам пазірае старшыне ў вочы.

– Падонак!

– Я таксама было падумаў, але звальваць на яго не стаў – усё роўна ж камусьці адказваць. Хай, думаю, на гэты раз буду я. Пасля пагаварылі – бажыцца, не клаў на маю паліцу, не ведае сам, як яна там апынулася.

– Ну, у нас у інстытуце з такога б хутка дурноту выбілі. У нас на гэты конт мараль жалезная была.

– Гэта яшчэ не ўсё. Гэта драбяза. Далей сталася горш. Аднойчы, перад самай вайной ужо, заступілі мы ў гарнізонны нарад. Каравул невялічкі, на ўскраіне, тры ці чатыры пасты. Начальнікам свой хлопец, сяржант з аддзя-

лённых. Паблажку, вядома, зрабіў: каб не вадзіць усю ноч сюды-туды, вырашыў мяняць пасты не праз дзве гадзіны, а праз чатыры. Зручна. Адстоіш, затое пасля выпішся.

– Хіба чатыры гадзіны стаяць лепей, чым дзве?

– Уяві сабе – лепей! Улетку так салдаты любяць.

– Ну не ведаю. Не служыў.

– Дарэчы, дарма гэта. Наўрад ці добра, калі цяпер некаторыя міма салдатчыны ў жыццё ўваходзяць. Вайна – гадасць, вядома, а салдацкая служба на два-тры гады – не зашкодзіць. Характар ставіць, калектывізм выходзіць. Дае адчуць, што такое воля і як яе шанавалі трэба. Во! Дык, значыць, стаім у каравуле, чакаем правяраючых. Тады, перад вайной, на конт гэтага строга было. Разоў тры на ночы праверка – і свае з часці, і са штаба. Але наш каравул далёкі, за горадам. Дрывяны склад, на яго звычайна рэдка з праверкай хадзілі. Затое калі ўжо прыходзілі, дык самыя заядлыя, службісты! Так і ў той раз здарылася. Толькі пасты змянілі – з’яўляецца. Каравул – у ружжо, вядома, усіх выстраівалі, давай капаць усё да дробязі. І адразу скандал – у Шумака патронаў няма. І падсумка. Стаіць у страі з вінтоўкай, а патронаў няма. Што за ліха! Пытаецца старшы лейтэнант, дзе патроны? Кажы, не ведаю, клаўся адпачываць – былі, а ўстаў – няма. Давай усім каравулам шарыць на нарах, пад нарамі, у калідоры, у двары – няма патронаў. Чэпэ!

– Чэпэ. Ды цішай вы! Чаго штурхаецеся?

– А што пасталі слупамі? Выпіў – матай далей! Дай другім выпіць.

– У вас не запыталі, калі матаць.

– Заткнісь!

– Я табе заткнуся!

– Лёня, ды кінь ты! Бачыш, яны са стадыёна, раз’ятраныя, як быкі. Давай пойдзем адсюль.

– Можа, яшчэ па куфлю?

– Не, хопіць.

– Ну ладна. Тады матаем.

– Во, тут і сонца паказалася. Харашо!

– Давайце на той бок пярэйдзем. Там люду менш.

– Давай. Не бязы толькі. Што ты так ірвеш – з месца ў кар’ер.

– Во, тут штурхаць хоць не будуць. Цярпець не магу ў натоўпе. Ну дык а далей?..

– Ну што далей... Пачалі нас цягаць. Двох, што не спалі ў той час, на «губу» пасадзілі. Начальніка каравула таксама. І свае асабісты цягалі, і з арміі прыязджалі. Пасля падазрэнне легла на аднаго хлопца з Заходняй. Зямлі ў яго бацькі замнога аказалася. Праўда, бацька не раскулачаны, але па некаторых паказчыках амаль што кулак. Ну раз такая справа, за гэтага Андрукевіча і ўзяліся – класавы ж падыход, не проста так. А Шумака выпусцілі. І было гэта якраз за тыдзень да той праклятай нядзелі, дваццаць другога чэрвеня. Ну і вось сядзіць наш Андрукевіч. А скажу табе, неблагі такі хлопец быў, толькі маўчун. Так увогуле старанны ў службе, увішны, а на палітзанятках ні гугу. Сем разоў яму пералічаць склад Палітбюро, а ён паўтарыць разу не можа. Стаіць толькі ды пакутуе. І глядзіць у падлогу. Так, пэўна, і на следстве. А там жа трэба языкастаму быць, інакш пагарыш за хвіліну. Ну і гарэў Андрукевіч. Напісалі, што краў патроны з нейкаю пэўнай мэтай. Мэту толькі вось ніяк не маглі высветліць.

– Іван Нічыпаравіч, добры вечар!

– А-а, прывітанне.

– Што не заходзіш?

– Зайду, зайду абавязкова. Але і ты забыўся. Ці не забагацеў, можа?

– Дзе там у чорта! Некалі ўсё. Ну шчасліва!

– Бывай!.. Ага. І тут вось якраз вайна. Ведаеш жа, як пачыналася – за тры дні турнулі нас кіламетраў на сто. Кінулі горад, папалілі склады ўсе, два масты за сабой узарвалі, каб немцам не дасталіся. Андрукевіч увесь час з намі – не ведалі, што рабіць, выпусцілі ў апошнюю хвіліну. Ваяваў няблага. Моўчкі ўсё, праўда, але ўпраўна. Аднойчы пад Беражанамі двух немцаў прывёў, у палон узяў з падбітага матацыкла. Ротны хацеў да ўзнагароды прадставіць, ды палітрук спахапіўся: герой-та з-пад следства. Ламалі, ламалі галаву ды і махнулі рукой, маўляў,

пасля разбярэмся. Хто ж мог меркаваць тады, што вайна на чатыры гады закруцілася! Аж дні праз два не стала ўжо ні ротнага, ні Андрукевіча. Дывізія ўлезла ў акружэнне, страціла амаль усю тэхніку. Людзей засталася жменька. Наважыліся аднойчы прарывацца з «мяшка». Памятаю, ляжым ноччу ў пшаніцы, немец з трох бакоў цісне, гад, ракеты ўсё пускае. Праз гадзіну ўставаць і ісці на прарыў. І тут ля мяне Шумак гэты з абвязанай галавой, піць усё просіць, а вады няма, і есці няма, і хутка паміраць, пэўна, прыйдзецца – невясёлыя былі справы. І Шумак як заплача, помню, і кажа, што сам тады вінаваты быў з тымі патронамі – у прыбіральню ўпусціў, ну а пасля спалохаўся і сказаў, што ўкралі.

– Падлюга!

– Усё ж прарваліся мы ў тую ноч, хоць і не ўсе, вядома. Шумак прапаў недзе, уначы не дужа што ўбачыш, можа, забіла, а можа, і... Ва ўсякім разе пасля яго ўжо не было з намі. Выйшлі на Буг – не Заходні, а Паўднёвы – там пераправа, але і немцы па пятах насядаюць. Нас, чалавек дваццаць, кінулі на абслугоўванне пантонаў, астатнім зноў трымаць абарону паўкругам. Пераправу бамбяць, войскі, абозы напіраюць, пробкі ўвесь час, жах, што робіцца. У паўдзён, памятаю, шасцёрка «хейнкеляў» пакарэжала сярэдні пантон, разбіла насціл, рух спыніўся. Мы, вядома, кінуліся ратаваць пераправу, пантон ужо тануў, пачалі лапіць дзіркі, пайшлі ў ход барты ад кузавоў, вяроўкі, тэлефонны кабель. І тут на ўсходнім беразе з'яўляецца нейкая «эмка». Запыленая, з разбітым ветравым шклом, абдрыпаная – страхоцце. З «эмкі» вылязае вайсковец у сініх штанах, з партфелем пад пахай. Рэгуліроўшчык яго спыніў, тлумачыць, што праехаць нельга, а ён, бачым, па абломках лезе на гэты бок да каменданта. А камендант пераправы, сапёрны капітан, вядома, ля нашага пантона ўсё падганяе нас, каб хутчэй. І, ведаеш, пералез гэты вайсковец, з'яўляецца мокры да пояса, такі стараваты ўжо, у акульях. Пантон задраўся адным канцом, другі ў вадзе, я ваду вычэрпваю і ўсё чую, што яны побач гамоняць. «Прашу прапусціць мой аўтамабіль на заходні бераг». – «А вы

хто такі?» – «Ваенюрыст трэцяга рангу Саломін. Камандзіраваны ў вайсковую часць...» і называе нумар нашага палка. Я выпрастаўся – цікава, слухаю далей. Аказваецца, ён з Масквы, гэты юрыст, ледзьве дабраўся кружнымі дарогамі, шэсьць разоў трапляў пад бамбёжкі і едзе да нас па справе Андрукевіча.

– Вам сюды? На бульвар? Ну, я праводжу. А пасля вярнуся. Ну, ну? Цікава...

– Што за дзіва, думаю, там яшчэ з гэтым Андрукевічам. Мы ўжо і забыліся, дзе яго пахавалі, а тут усё тыя патроны. Ці не здурнеў гэты юрыст? Побач налезла камандзіраў, ды і камендант глядзіць на чалавека, як на вар'ята, ніяк зразумець не можа: «Якія патроны?». «Пятнаццаць вінтовачных патронаў калібру сем цэлых шэсьцьдзсят дзве сотых міліметра, згубленых у часе нясення гарнізоннай службы», – рэжа юрыст. «Вашы дакументы!» – кажа камендант. Юрыст расшпільвае партфель, паказвае паперы, камандзіровачнае прадпісанне. Усе глядзяць, маўчаць, мусіць, дакументы правільныя. Не шпіён, значыць, а сапраўды ваенюрыст трэцяга рангу Саломін, камандзіраваны з Масквы. На прадпісанні генеральскі подпіс, пячатка, як і належыць, і дата. А дата, аказваецца, дваццаць першае чэрвеня сорок першага года. Камендант як згледзеў гэта ды як зарагоча. «Вы чаму смеяцеся?» – холадна так пытаецца ваенюрыст, а сам аж пабялеў. Камендант перастаў смяяцца і кажа: «Вас не кантузіла ў дарозе?» – «Не, не кантузіла, к вашаму сведзенію». – «Тады вы дурань, хоць і юрыст, – кажа камендант. – Мы трыццаць гарадоў здалі, а вы пра пятнаццаць патронаў турбуецеся!» – «Не мае значэння, – кажа юрыст. – Страта або крадзеж патронаў разглядаецца як нанясенне шкоды боегатоўнасці і падлягае пад Указ аб ахове сацыялістычнай уласнасці. Вы чулі пра такі Указ?». Камендант яму і кажа: «Цяпер мне ўсё ясна – вы закончаны дурань. Пень!» – «Не ваша справа, хто я, – кажа юрыст. – Я прашу прапусціць мой аўтамабіль. Я праехаў на ім пяць тысяч кіламетраў і павінен разабрацца на месцы». І тут, ведаеш, я не вытрымаў і кажу: «Андрукевіча даўно ўжо няма ў нашай часці». Ваенюрыст гэты лып-лып

на мяне вачмі. «Як гэта няма? А дзе ён знаходзіцца ў гэты момант?» — «У брацкай магіле,— кажу.— На хутары Мікалаеўка». Гляджу, ён трохі сумеўся, акуляры паправіў і раптам успомніў: «А чырвонаармеец Шумак?» — «Загінуў, — кажу, — у апошнім прарыве». Гэта, відаць, на хвіліну збянтэжыла яго, глядзіць на мяне, аж рот разявіў. «Чуеце, — кажа камендант пераправы, — усе вашы абвінавачваемыя ўжо цю-цю. Так што вяртайцеся назад!» Але юрыст гэты — не чалавек, а дзіва, тут жа да каменданта: «Гэта не доказ. Калі ўсе загінулі, мне трэба аб тым афіцыйная даведка. Вы можаце мне яе даць?». Вядома, камендант не мог даць такой даведкі, але і прапусціць ягонае «эмкі» таксама нельга было. Тады ваенюрыст трэцяга рангу Саломін казырае і, зацяўшы пад пахаю свой партфельчык, лезе на абрыў.

Тут якраз пачаўся артабстрэл. На абрыве, на тым беразе і ў рацэ адразу тры выбухі. Я ледзьве ўтрымаўся за парэнчу, вадой усяго запляскала. Расплюшчыў вочы,— ну, думаю, канцы ваенюрысту трэцяга рангу. Але дзе там! Гляджу, вылез на абрыў і, знаеш, гэтак па-гарадскому абтрэпвае калені — галіфэ, значыць, запэцкаў. Пасля падабраў свой партфелік і бягом за пагорак.

Праўда, мы хутка на яго забыліся, зноў наляцелі пікіроўшчыкі, пераправу раскалешмацілі ўшчэнт, каменданта, бедалагу, бомбай разарвала, і шматка не засталася. Перапраўляліся ў наступную ноч кіламетраў праз дзесяць ніжэй, на калгасным пароме. Праўда, і там насунуліся немцы, паспелі толькі ўратаваць параненых ды што-коледчы з абозаў. Артылерыя амаль уся на заходнім беразе засталася. І вось зноў ідзем калонай, пяхота і разам фурманкі з параненымі. Сонца ўзышло, сухата, пыл над дарогай на тры вярсты. Чакаем зноў гасцінца з-пад неба. І тут, бачу, знаёмыя галіфэ ў возе. Прыгледзеўся — наш учарашні ваенюрыст трэцяга рангу! Сядзіць, звесіўшы ногі, панылы такі, акуляры ўжо з адным шкельцам, рука на падвязцы. Ні партфеля, ні «эмкі», толькі наган на баку. Цікава мне стала, падышоў, пытаюся: «Ну як, узялі даведку?». Паглядзеў на мяне гэтак, як, бывала, строгі настаўнік у школе, бровы аж на лоб ад здзіўлення: «А як жа! Безу-

моўна! Гэта мой абавязак!». Я тады, ведаеш, змоўчаў. Проста не мог яго зразумець. Толькі праз шмат год, калі пасталеў, жыццё набіла бакі, пачаў нешта кумекаць. Вось, ну, як гісторыя?

– Як вам сказаць? Не ведаю нават. Падумаць трэба.

– Падумай. Гэта карысна. У жыцці заўжды знойдзецца такое, над чым варта падумаць. Толькі часам не дужа хочацца. Лянота.

– Не думаць лягчэй.

– Вось іменна. Асабліва калі на футболе. Мазгі выключаюцца поўнасьцю. Адны вочы...

– Ды горла.

– А пасля – абмыць. Калі выйгрыш – на радасці. Пройгрыш – з гора. Ва ўсякім выпадку выгадна.

– Ну.

– Табе ж назад, Лёня. Ну то дзякуй за кампанію. Прагуляліся.

– Дарэчы, а вы болей не сустракалі ваенюрыста гэтага?

– Го! І нават колькі разоў! Водзяцца яшчэ. І Саломіны, і Шумакі. Андрукевічаў толькі меней стала.

– І праўда, меней.

– Пэўна, таму ёсць нейкая прычына. Таксама варта разважыць.

– Варта, ага. Ну дзякуй вам, Іван Нічыпаравіч. Да заўтра.

– Бывай, Лёня. І не перажывай. Не варта турбот. Пабачыш, Лагун заўтра зусім іншы будзе. Памірыцеся.

– Што ж, паглядзім.

– Я табе кажу. Ну, да пабачэння.

– Усяго добрага, Іван Нічыпаравіч. Шчасліва вам.

1965 г.

Салдацкі лёс

Дыялог з нагоды

- Гэй, цесля, перакур!
- Перакур, кажу. Пашкадуй сякеру!
- А-а! А я і не пазнаў. Гляджу, думаю, хто такі? Ну чакай, зараз злезу.
- Памагчы мо?
- Ну што ты? Я сам... Прывык, так што... Здалёку ідзеш?
- Ды з раёна. Чую, цюк-цюк. Гляджу, знаёмая галава тырчыць. Думаю, зазірну на хвіліну.
- Ну здароў! Калі так...
- Здароў! Глядзі, ладная дамоўка. З трысценам?
- З трысценам. Хай на яго. Трэба! Старая саўсім ужо струхлела, думаю, хоць на старасці ў новай пажыць. Ды і сын...
- Што, можа, ажаніўся?
- Не яшчэ, але, знаеш, збіраецца. Дзейсцвіцельную адслужыў жа. У сіле дзяцюк.
- Глядзі ты! А памятаю, нядаўна во такі быў.
- Яно здаецца – нядаўна. А гады ідуць.
- Ды ўжо ж.
- Дык сядзем. Калі перакур, кажаш. Не спяшаешся ж? Во на бервяно гэта. Гладкае. Курыш?
- Можа, маіх? Свежанькіх?
- Гэта якія? А, балгарскія. Не, я свае, памірскія. Ад іх, кажуць, крэпасць у нагах.
- Праўда? Не чуў. А ты чаго кульбу не зменіш? Цяпер жа пратэзы робяць – лепш за ўласныя.

– Ат, прывык. Ды і не збяруся. Пастройка гэтая... Усе жылы выцягнула.

– Аднаму – жах! Як гэта ты адважыўся? Рызыковы чалавек. Хаця ваяка ж!

– Рызыковы – не рызыковы, а што зробіш? Праўда, не хачу хлусіць – зрубіць сын памог. Браў водпуск. Дый сябрук адзін – з вайны яшчэ – памог. Мікалаіхі, што з Асавіння, брат. Мо ведаеш?

– Ну, калі сябрукі не забываюць, то паўбяды.

– Як табе сказаць? Папрасіў – памог. Выхадных са тры падзеўбалі. Самшылі. А ў цябе ж – новая?

– Дзе там – новая! У старой жыву. Перакрыў толькі тым летам.

– Шыфер?

– Не, які шыфер! Дранкай.

– А ў нас дык многія шыфер падаставалі. Фёдар – брыгадзёр і Тэклін прымак гэты, што з трактарам у азярко зваліўся. Не чуў такую сабыцію?

– Гэта вясной?

– Ну. Дастаюць недзе, халеры.

– Канешне, дастаюць. Тыя, хто талент маюць, як кажа наш дзед Лявон...

– Глядзі, жывы яшчэ?

– Жыве. Што яму. Нас з табой перажыве. Дык, кажа, талент трэба. Кожнаму ў жыцці выпадае па яго таленту. Што зрабіў – тое і палучай.

– Ну, не кажы! Тут я не згодны. Талент – талентам, а і лёс не мінай. Ці там случай. Ён тожа, брат, многа значыць. Часам, што чорт з шапкі выме, тое і будзе. У цябе вунь дваіня, а ў мяне во, бач, кульба. Дзерава! Думаеш, яна мала мяне памучыла? Ого! Двойчы рэзалі. Як пілююць – не чутно, бо ўсыпляюць. Затое пасля – хоць на сцяну лезь. А Краўчонок вунь гойсае на дзвюх ды яшчэ з ордэнам. А разам, у адной роце, ваявалі.

– Гэта які Краўчонок? З Замошша?

– Ну а які ж! Ордэн Леніна атрымаў. За Кішынёў. А бывала, трусаваты быў. Яшчэ я падганяў усё. Зямляк жа.

– Ну, мусіць, гэта ты загібаеш. Каб трусаваты, не далі б.

– Не верыш? Яй-богу, не хлушу. Далі – было за што, гэта праўда. Але тут, браце, болей чорт ці выпадак паспрыяў. Я ж ведаю. На маіх вачах усё было.

– Гэты ці не ў Ясса-Кішынёўскую?

– Ну! Узводны паслаў трох – сяржанта Дзянісава, мяне і гэтага Краўчонка. Лінію зматвалі. Якраз цераз лес дарожка ішла. Лес, скажу табе, спрэс дубовы, мацнецкі лясок. Дубы аж да неба і падлесак ладны. Ідзем. Дзянісаў наперадзе, слаўны такі хлапец, сібірак, малады яшчэ, а геройскі, два ордэны меў, камандзірам быў лінейнага аддзялення. За ім я – кручу на шпульку, а шпулька старая, халера на яе, усё заядае, шасцяронка спрацаваная.

– Трафейная, мусіць?

– Не, шпулька свая, памятаю. А кабель, праўда, трафейны. Чырвоны. У наступленні яго процьма. Мы не вельмі і даражылі ім, калі дык і не зматвалі, адключыш апараты і далей. На новым месцы знойдзем і кабель.

– Во як! А мы, памятаю, у абароне на калючым дроце працавалі. Замест кабелю – калючкі ў траншэі і нічога – балакае начальства.

– Дык то ж у абароне. У абароне на ўсё ліміт: на харч, снарады, махорку нават. У наступленні ж наконт гэтага раздольна. І шнапсу трапляла нават. Дык лінію тую трэба б кінуць, і ўсё. Але Дзянісаў не даў. Загадана, кажа, значыць, трэба выканаць. Службіст быў. Ну ідзем і матаем. Краўчонок поўныя шпулькі нясе. Ужо, напэўна, вярсты са дзве знялі, у Краўчонка тры цэлых шпулькі, у мяне амаль поўная. І Краўчонок усё азіраецца, вядома ж, боязна ісці ззаду. А скажу табе, немчурны там поўна было. Абкружылі ж іх пад Кішынёвам...

– А, чуў. Лектар неяк казаў. Быццам пятнаццаць тысяч.

– Гэ, пятнаццаць! Дрэнна ён тады ведае, твой лектар. У цябе гарыць?.. Халера, някрэпкія сталі сігарэты, ды і не гараць. Падмочаныя, ці што?.. Пятнаццаць? Усе трыццаць. Ці нават пяцьдзсят. Яны, брат, як ваўкі, паразбягаліся, хто куды. Каторыя, праўда, у палон здаваліся, а каторыя – эсэсаўцы, власаўцы ці там начальства, – тыя ўсё на захад, напралом да сваіх. З гэтымі ў нас стычкі былі ого! Браце ты мой! Камандзіра брыгады там параніла. Ага, дык ідзем,

значыць, і чуюм, быццам за кустамі тожа хтосьці нібыта брыдзе. Прыслухаліся – сціхла, быццам і няма нікога. Толькі зноў рушылі, Дзянісаў як крыкне: «Хальт!». Я, знаеш, за шпулькай так і прысеў. А Краўчонок ужо ляжыць. І тут, бачым, у кустах як ірванецца – чалавек з пяць. Наўцёк. Я толькі спіну аднаго ўбачыў – блізка, во як да зруба. Шапка іхняя і шынель з чорным каўняром. Я шпульку ўбок і за аўтамат. А Дзянісаў: «Стой, – кажа. – Так возьмем». І чаргой па дубах – ажно кара пасыпалася. Верхам браў, значыць. І сам туды, у кусты. Я за ім. О, чакай, брыгадзір коціць. Фёдар! Фёд! Дык гэта наконт каня як?

– На калі?

– На заўтра ранічкай...

– Заўтра не будзе. Заўтра ветправерка. На шчур.

– Во хай яе. Ну, можа, пад вечар?

– Кажу, заўтра нельга.

– Калі ж тады?

– Пройдзе праверка, пасля. Цяпер некалі.

– Ну канечне ж, некалі яму. Пагнаў у Стайнікі да Іллючонка чымергес піць. Не відно хіба. Да...

– Ну што ж... І выпіць трэба.

– Трэба! Хто кажа – не трэба? Гледзячы калі і як.

– Ну, ну. Дык Дзянісаў у кусты. А далей?

– Што далей? Далей – як пырсне чарга, дык мы вобзем. Чую, морда ўся мокрым заляпана. І пагоны, барада, рукі. Аж спалохаўся. Ды не баліць. Што за халера! А пасля бачу – ляжыць Дзянісаў, і мазгі на траве. Ты бачыў калі мазгі на траве?

– Не, не дай Бог...

– Не дай Бог! Я аж зледзянеў. І бачу, пабеглі трое. За дубы. Я прылажыўся, як даў – адзін вобзем. Адзін – прама, адзін – убок. Ну, ускочыў, Кажу Краўчонку: «Лапай таго!» – што ўбок, значыць. А сам за пярэднім. Як прыпушчу. Чорт, адкуль толькі спрыту набраў. Хаця маладзейшы ж быў. І два скакуны меў, не тое што цяпер. Як урэзаў – гляджу, даганяю. Ладны такі фрыцуга, цыбаты, у камбінзоне. Ён па мне з-за дуба пук-пук – кулі ля вуха. А і я за дуб. Камель – во! Ніякая куля не возьме. Ён пукне – ды за наступны. А я – за ягоны. Так і гулялі ў даганял-

ку. І я, ведаеш, правільна разлічыў. Думаю, страляй, страляй, – у мяне болей патронаў. Я цябе прыцісну...

– Ге, не дужа іх лёгка было прыціскаць. Мы раз пад Аўгустовам акружылі чалавек сто, дык біліся да апошняга. Толькі параненых некалькі засталася. Астатнія – трупы.

– Ну... Не, я правільна скумекаў. Сышліся мы за адзін дуб. Значыць, дагнаў я яго. Ён па адзін бок, я – па другі. Тут ужо ўцякаць яму – не з рукі, баіцца, адбяжыць – я і тыркну ў спіну. Дык ён хаваецца. Я аўтамат напярод і бокам за ім. Ён бокам ад мяне. Я ў другі бок – ён таксама. Як дзеці. Цяпер дык аж смешна. Тады – не да смеху, праўда, было. Злосць мяне разабрала, ашалеў проста. За Дзянісава – такі хлапец!.. І вось якраз падляцеў – прама на яго парабел. Чую – трэсь, курок, значыць, а стрэлу няма. Асечка, ці што? Ці, можа, патроны ўсе?

– Асечка. Калі патроны канчаюцца, тады гэты парабел іх затвор паднімае. Тарчком так.

– Можа, і асечка, ага. Падскочыў я ды як трахну яго прыкладам, ён і паляцеў спотырча. Я зверху. Згрэб яго рукі, аўтамат мой не ведаю, куды і дзяваўся. Але і ён, гадзіна, дужы, рукасты фрыц, не які там пархацік. Пісталет у яго выпаў, ну, думаю, цяпер ты мой, галубчык. І тут трохі здзівіла мяне, помню, рукамі ён не за мяне, а нешта за сябе хапнуўся. Так, глядзь я гэта, а ў яго на двух пальцах ужо колца з чакой. Выдзернуў, значыць. А ў другой граната.

– Ого!

– Я ўвесь ахалонуў, аж валасы дыбам. Але неяк паспеў, згрэб ягоную лапу з гранатай. Як цяпер памятаю – зялёненькая такая, круглая, бы гусінае яечка, з паскай пасярэдзіне. А ў канцы – вядома, узрывальнік. Знаеш жа – планку адпусціць, пстрыкне і – капут абодвум. Кішкі на сучча... Дай тваіх паспрабаваць, балгарскіх, гэтыя нягелыя нешта. Сігарэт і тых людскіх прывезці не можа. Гандлярка наша.

– Мусіць жа, сама не курыць?

– Сама-та не. Дык мужык курыць. Магла б пацікавіцца. А то ж без курава – якая жызнь!

– Не дужа яны тым цікавяцца.

– Ось і бяда. Ім абы выручка і каб клопату менш. Хаця магло і на базе не быць. І такое мажліва. Ну. Дык, значыць, сапім мы абодва і выкручваемся, як вужы. І ўсё ж я ашчаперыў яго лапу і дзяржу, аж жылы мае трашчаць. А ён і так, і гэтак – морда ўся ў поце, вочы на лоб, зуб сталёвы ў роце бліскае – болей мне з таго зуб гэты запомніўся – белы, як лыжка, бліскучы. І, мусіць, не ўтрываў я, здаў недзе. Ён і пхнуў гранату абоч, якраз ля майго калена ў траву. Я, ужо халадзеючы, неяк злаўчыўся, нагой яе як шпоркну ад сябе. Чую, хляснула – узрывальнік, значыць, я на другі бок за яго, а тут як грохне – дымам, зямлёй заваліла, боль... Не дакумекаеш ужо, што і балела. Проста боль, хоць зараві – я і ачумеў. Самлеў. Нічога не помню.

– Во і ў нас гэтак было. На Пулкаўскім. Наш аддзялёны Яфімкін першы ўварваўся ў дзот, схапіў кулямёт іхні... І давай...

– Ты чакай... Ачнуўся, чую – смярдзіць калёным, падняў галаву – млосна і ванітаваць хочацца. Ляжым мы крыж-накрыж – ён, праўда, на мне – і недзе рыззё тлее. А пада мной мокра – кроў яго і мая – усё ў адной лужыне. Нейк сапхнуў яго – камбінзон у шматы, уся спіна, знаеш, нібы ваўкі яе рвалі. Але і я – не дай Бог! Крануўся – чую, хана! Нага нежывая, косць тырчыць, ад бота – кірзовыя ласкуты. Давай крычаць. Разы два вякнуў і зноў самлеў.

– Ну! Ведама ж, калі крыві столькі. І яшчэ вады хочацца, ага?

– Во праўда. Смага – гарэла ўсё.

– Гэта ад крыві. Кроў выходзіць – піць хочацца. Знаю... І з Яфімкіным так было, ледзь уратавалі. Ну, прадставілі яго да Героя, а нас – каго да Айчынай, каго да адвагі...

– Усё ж пашэнціла. Пачулі сапёры. Унялі кроў, вывалаклі мяне на дарогу. У таго фрыца дакументы забралі. Прывязлі ў вёску, дзе штаб наш. А Краўчонок ужо сядзіць на прызбе, чакае палкоўніка да залівае хлопцам, як немца лавіў. Аказваецца, і ягоны фрыц тут жа, у хаце. Як мы разбегліся ў лесе, Краўчонок з ім дужа не цацкаўся – куляй цокнуў у плячо, той і задраў руку ўгору. Ну, Краўчо-

нак і выгнаў яго на дарогу. Падбеглі байцы – глядзяць, што за звер. А немчык стары такі, з адышкай, даволі плюгаваты – словам, нікчэмны фрыцок. Адно толькі пагоны нешта дужа кручоныя. Павялі ў штаб, а там як убачылі, як набеглі, – аказаўся генералам, крыж такі меў з дубовымі лісцямі. Ну яго, канешне, на самалёт і – у штаб фронту. Да самага камандуючага. А мой фрыц, калі раскумекалі ў дакументах, быў ягоны шафёр. Каб на цябе халера! Ну, вядома, праз месяц Краўчонку – ордэн Леніна, сяржанта прысвоілі. Во як! А я ўжо на тым і скончыў – сем месяцаў у шпіталі – адзінаццаць ран, не жартачкі. Нагу адцяпалі па калена. Во як!

– А мы гэта свае мядалькі праз тыдзень і палучылі. А Яфімкін, бедалак, прыходзіць са шпіталю, няма нічога. Кажуць – на Героя не пацягнуў. Так і застаўся без нічога.

– Ну дык гэта што! А Краўчонка ў штаб узялі. Як жа – з такім ордэнам. Гэткай узнагароды нават палкоўнік не меў. Дэмабілізаваўся – у калгас ужо не пайшоў, старшыней сельпа паставілі. Вунь паглядзеў бы на яго дамоўку.

– Бачыў. З верандай, сінім пафарбавана.

– Ну. Жыве чалавек! Але хай! Я не шкадую. Супраць нічога не маю. Толькі думаю: ось жа каму пашэнціць, а каму і не...

– Гэта так, канешне.

– Во я і кажу.

– Жыццё! Глядзі, а ў цябе ўжо і бульбачка зацвітае. Скараспелка?

– Ну. Ледзьве пад старасць на жыццё ўзбіўся. А то ўсё па бальніцах. І, халера на яго, – бо не за тым пабег. Але хто ж ведаў, за кім было бегчы.

– А я сваю ўжо раз паганяў. Ды дрэнь нешта. Калі б сорт памяняць.

– Ось так яно. А бульба што – вырасце. Хоць драбенькая. Вунь лета быццам нішто стаіць.

– Лета нішто. Людскае.

– Ну! А ты кажаш...

1966 г.

Ранак-світанак

1

Ён ляжыць на лаўцы, між двума вокнамі, з застыглым васковым тварам, на якім ужо ні руху, ні думкі – толькі слабы адбітак нейкай няпэўнай грывасы. Гриваса гэтая больш за мярцвецкае здранцвенне робіць яго твар амаль чужым, раней невядомым мне, напэўна, гэта таму, што пры жыцці была зусім неўласціва яму. Такія ж мёртвыя ў сваёй нерухомасці рукі яго складзены кісямі на жываце паверх непадпяразанай суконнай гімнасцёркі з дзвюма эмалевымі шпаламі ў палявых пятліцах. Ордэны з гімнасцёркі ўжо адвінчаны, і на грудзях чарнеюць дзве маленькія дзірачкі, ля якіх на сукне відаць плямкі ржы, хоць зусім можа быць, што гэта сляды крыві. На нагах акуратна падцягнутыя шарсцяныя трафейныя наскі, у якіх трошкі рассунутыя ступні здаюцца не па-мужчынску маленькімі.

– Ну, паглядзеў? – ціха пытаецца капітан Левін і паварочваецца да парога, даючы тым зразумець, што трэба выходзіць. Насунуўшы на галаву шапку, я асцярожна, каб не парушыць цішыні гэтай хаты, адчыняю дзверы. Зачыніць іх з маёй параненай, падвешанай на бінце, рукою не дужа ўпраўна, і капітан зачыняе дзверы сам.

На дварэ марозна і сонечна. Дзесь на перадавой за ляском грахаюць мінныя выбухі, а тут, у прыфрантавой вёсачцы, свае рытмы і свае клопаты. Па вуліцы на фурманках з нейкай паклажай едуць абознікі, іх абмінаюць трое верхавых у маскхалатах. Ля сцяны пад хлеўчуком два байцы з каменданцкага ўзвода майструюць труну. Абодва яны ма-

ладыя і, відаць, упершыню ў жыцці ўзяліся за такую не вельмі звычайную нават на вайне справу і, мусіць, таму нешта ўсё пагыркваюць адзін на аднаго.

– Трымай ты! Бязрукі, ці што! – нервова кідае адзін з іх, трымаючы рукой кароткі абрэзак дошкі, у які трэба забіць цвік.

– Трымаю. Не разяўляйся, крыкун!

Цвікі, напэўна ж, з дроту, яны гнуцца пад малатком і не лезуць у смалістае сучкаватае дрэва дошкі. «Крыкун», стоячы на каленях, сяк-так спраўляецца адзін і, адклаўшы малаток, заклапочана азірае сваю работу.

– Ну во! А шырыні такой хопіць? – пытаецца ён і зпад ілба кідае позірк на свайго напарніка. Пасля заўважае зводдаль мяне. У поглядзе хлопца такі пакутніцкі выраз, што, глянуўшы на яго, хочацца толькі лаяцца або плакаць.

– Трэба б схадзіць памераць, – кажа напарнік, белабрысы і сінявокі, з растапыранымі вушамі шапкі, з якіх вісяць матузы завязак. Другі маўчыць, пэўна, ісці у хату, дзе ляжыць забіты, ніводнаму з іх не хочацца, і «крыкун» махае рукой. Стаўшы на ногі, ён сцягвае з сябе ватоўку, нязграбна прымошчваецца і выцягваецца ў мелкай яшчэ, без адной сценкі, труне.

– Ну паглядзі. Харош?

– Пайдзёць. Мо шыракаваты трохі.

– А ты памячай. Нашто лішняе.

Светлавокі дзелавіта размячае на тарцы разварот бакавых дошак, а я ўжо не магу тут заставацца. Мне ўвесь час хочацца некуды ісці. Вядома, трэба дабірацца ў санбат, але машыны туды будуць яшчэ не хутка, толькі што адправілі цяжкіх, а лёгкапараненым, відаць, прыйдзецца чакаць да абеду.

Не ведаючы, чым заняцца, каб як-колечы скаратаць час, я марудна брыду па вясковай вуліцы к школе. Мне тужліва і самотна, вельмі баліць рука, пасля бяссоннае ночы разпораз кідае ў дрыжыкі, а ў вачах няспынна мітусяцца ўрыўкі ўчарашніх падзей, гучаць галасы людзей, якіх ужо няма і ніколі болей не будзе.

Надвячоркам узвод аўтаматчыкаў заняў хутар. Заняў лёгка, амаль што без бою; некалькі немцаў, здаецца, ні разу не стрэліўшы, уцяклі па саннай дарозе ў сяло, і мы, пастраліўшы па іх, болей каб напалохаць (было далёка), разышліся ў ланцуг і залеглі пад плотам – у пяцідзесяці кроках ад хаты з хлявамі.

Мы рашылі не наступаць далей, бо і без таго здорава вырваліся з баявых парадкаў палка, бой – чутна было – грукатаў справа і злева ззаду, дзе на ўзгорках біліся стралковыя батальёны. Цяжкія нямецкія міны, з візгам пралітаючы над нашымі галовамі, пералапачвалі там снег з зямлёй; часам даносілася аслабленае адлегласцю, нейкае дужа нерашучае «ўра», але кулямётна-вітовачная траскатня заглушала яго, і крыкі зусім прападалі. Не трэба было шмат вопыту, каб зразумець, якой цаной даставаліся палку ўзгоркі. Нам жа тут, пад носам у немцаў, як гэта ні дзіўна, было спакойна.

Я ляжаў на снезе пад плотам за перакуленай скрыняй параконнай нямецкай фурманкі і, узрушаны яшчэ не астыглай радасцю ад даволі лёгкага поспеху, адчуваў сябе амаль шчаслівым. Час ад часу пазіраючы з-за абсыпанай снегам скрынкі на поле і слухаючы грукат недалёкага бою, я стараўся заўважыць у ім хоць якую-небудзь прыкмету таго, што немцы адступаюць, але нічога заўважыць не мог. Тады з'явілася меркаванне, што, можа, так яшчэ і лепш: трымацца тут, на гэтым мыску, увогуле было няцяжка, і ў той жа час гэта быў мысок, які глыбока ўразаўся ў абарону ворага, што само па сабе красамоўна сведчыла аб пэўнай выключнасці нашай пазіцыі. Мінаў час, у нас па-ранейшаму было зацішна, і розныя фарсістыя прыдумкі ўсё настойлівей пачалі займаць маё ўяўленне.

Я ўжо бачыў, як на КП заўжды раззлаваны боем камандзір палка, маючы на ўвазе хутар, кажа зараз начальніку штаба: «Малайчына гэты аўтаматчык, іш урэзаўся куды!» або, можа, нават пакрыквае ў тэлефонную

трубку на нашага суседа камбата-тры: «Што там топчашся? Вунь аўтаматчыкі хутар узялі. На іх раўняйся!». Зрэшты, я быў бы рады, калі б ён нават не сказаў, а хоць бы падумаў пра мяне што-небудзь накшталт: «Малайчына младшой! Не з труслівага дзiesiąтка!».

Смелы я або трус – аб тым мне, дарэчы, яшчэ самому было невядома. Па прычыне зусім нядоўгае мае франтавой выслугі, выпадку як след праверыць сябе на гэтым пакуль не здаралася. Яшчэ два дні назад кожны візг міны над галавой вымушаў мяне сціскацца ўсім целам на снезе, не вельмі ўжо хутка я зразумеў, што міны ўсё ж ідуць міма, і неяк неўпрыкмет для сябе стаў прывыкаць. Ды і сорамна было памкамузвода сяржанта Хазяінава, шыракатварага нетаропкага чалавека, удвая старэйшага за мяне, які на кожны мой так старанна хаваны ў сябе спалох нібы незнарок кідаў:

– Нічога! Міма...

Я і сам ведаў, што міма, і, каб заглядзіць няёмкасць, спазнела, без яўнай патрэбы вытыркаўся з прыдарожнай канавы, у якой мы ляжалі ад раніцы, чакаючы сігналу на атаку. Але што я мог зрабіць, калі мае цела само, незалежна ад мае волі, так бессаромна рэагавала на кожны выбух. Яго хоць і чакаюць, аднак заўсёды ён застае цябе знянацку. А гэта, нават не пазіраючы ў мой бок, заўважаў сяржант Хазяінаў.

– Нічога. Абы да ночы...

Ён і тут, здаецца, адгадваў мае думкі і, пасмоктваючы з рукава махорачную самакрутку, таксама прыслухоўваўся да грымотнай таўкатні ззаду. Апрануты ён быў у новы яшчэ камсастаўскі паўшубак з выдраным клокам на левай лапатцы, на нагах яго сядзелі валёнкі, рукавіц ён, здаецца, не насіў, грэючы рукі цыгаркай. Падобна на тое, што яму было цёпла. Я ж у сваім «на рыбіным футры» шынелку пачынаў ужо зябнуць на снезе і, разы два павярнуўшыся, прыглядаўся да пабудоваў – загрузлай у снезе хаціны ды скасабочаных хлёўчукоў са снегавымі шапкамі на стрэхах. Жыхароў там, мусіць, не было, хутар выглядаў сіратліва пакінутым, і ўсё ж там, здавалася, было цяплей, чым на

ветраным прыбоі пад яго сценамі. Хазяінаў адразу зрэагаваў на гэты мой міжвольны клопат, зірнуў з-за скрынкі і, згледзеўшы байца, што бліжэй за іншых ляжаў у ланцугу, паціху паклікаў:

– Маханькоў! Чуеш – паглядзі там...

Як ні дзіўна, Маханькоў зразумеў, з гатоўнасцю ўвішнага салдата хуценька падхапіўся і, спрытна перабіраючы локцямі, папоўз цераз двор да ганка.

– Уначы абагрэемся. Не можа быць, – нібы каб сучешыць мяне ды і сябе таксама, сказаў Хазяінаў і смачна засмактаў цыгарку.

Ноч нам была патрэбна, я адчуваў гэта, ноччу мы маглі тут прасядзець, а раніцай... Зрэшты, мае думкі не ішлі далей ночы, ранак быў незвычайна далёкім і зусім няпэўным – ці мала што магло здарыцца яшчэ да світаньня.

Тым часам памалу змяркалася, цямнела нізкае шэрае, як вата з фуфаек, неба. За снежным полем удалечыні ўжо ледзьве праглядвалі дахі сяла, дым ад пажараў у тым баку зусім змяшаўся са змрокам і стаў нябачным у небе. Толькі слупы ля дарогі на фоне снежнае шэрасці яшчэ прыкметны былі ў прыцемках амаль да сяла. Міны над хутарам, здаецца, сталі віжаць трохі радзей. Мяркуючы па тым, як пацішэла страляніна ззаду, можна было здагадацца, што бой к ночы канчаўся, так і не даўшы палку патрэбнага поспеху. Напэўна, сапраўды нам выпадала тут каратаць ноч, напалову абкружанымі.

Ну што ж, мне ад таго чамусьці не было дужа боязна. Хаця мы і апынуліся амаль што ў мяшку, але затое адарваліся ад начальства, якое за тры дні наступлення проста заганяла ўзвод аўтаматчыкаў. (Нават Хазяінаў стаў бурчэць і лаяцца.) Увогуле пакуль што атрымлівалася паводле выслоўя: няма ліха без добра.

Мы яшчэ паляжалі некалькі хвілін. Мароз на змярканні, адчувалася, набіраў моцы. Байцы без усякай каманды ўзяліся за свае лапаткі, пачалі капаць у снезе ячэйкі – для сховы ад куль, а больш, каб сагрэцца. Горш за ўсё ў нашым становішчы – гэта няпэўна ляжаць ды мерзнуць, нічога не робячы. Думаючы аб сім-тым, я ўсё чакаў Маханькова, які

павінен прыпаўзці і нешта паведаміць, каб тым самым даць нам з Хазяінавым прыняць рашэнне на ноч. Але з хаты пачуўся ягоны голас:

– Таварыш сяржант! Таварыш сяржант Хазяінаў!

Голас быў не зусім звычайны – нібы ўстрыжаны і радасны адначасна, мы разам павярнуліся і ўбачылі ў прыадчыненых дзвярах ажыўлена-ўсмешысты твар байца:

– Ідзіце сюды!

Хазяінаў крэкнуў, памарудзіў, кінуў пільны нахмураны позірк у поле.

– Што там яшчэ такое?

Але Маханькоў чамусьці маўчаў, і сяржант, падхапіўшы свой аўтамат, хуценька пабег сагнуўшыся, спачатку паўз плот, а затым па-над сцяной хаты і нарэшце пераваліўся цераз парог. Маханькоў прычыніў дзверы.

Зноў пацягнуўся час.

Зрэшты, на гэты раз яны там маўчалі нядоўга. Неўзабаве ў прычыненых дзвярах зноў паказаўся круглявы, загадкава-ажыўлены твар Маханькова.

– Таварыш малодшы лейтэнант, памкамузвода клічуць.

Секунду я перасільваў у сабе тое меркаванне, што не трэба б паўзці адсюль, хоць і было ціха, аднак, мабыць, нягожа на полі бою пакідаць узвод без нагляду. Але зноў жа, калі клікаў Хазяінаў, дык, напэўна, прычына гэтага выкліку была слушная.

Таксама, як і Маханькоў, я па-пластунску дапоўз да парога і ўскочыў у сені, з якіх насцеж расчыненыя дзверы вялі ў пакой. Ад ранейшых жыхароў тут няшмат чаго і засталася, падлога была завалена зляжалай саломай, ля парога грувасцілася куча зялёных скрынак ад боепрыпасаў. Ні стала, ні ложкаў, ні іншых прадметаў звычайнага сялянскага ўжытку нідзе не было – відаць, на хутары даўно ўжо гаспадарылі немцы. Пасярод хаты на каленях стаяў Хазяінаў; нахінуўшы тэрмас, ён сіліўся нешта разгледзец у ім.

– Лейтэнант, во трафей знайшлі, – зірнуўшы на мяне, сказаў памкамузвода.

– Тэрмас?

– Не тэрмас. У тэрмасае.

Без вялікай цікавасці я таксама зірнуў у лужонае нутро тэрмаса, дзе, да палавіны налітая, гойдалася, адбіваючы акно, нейкая вадкасць.

– Шнапс?

– Гарэлка. Наша, радзімая. Руска-горкая.

Прызнацца, я трохі расчараваўся. Не тое каб я не піў зусім, але ніколі не адчуваў да гарэлкі асаблівай ахвоты. Куды з большым жаданнем я б знайшоў тут што-небудзь гарачае, што можна было б з’есці. А то – гарэлка! Піць яе ў мяне не было жаданай ахвоты – я хацеў есці.

– Давай пагрэемся, лейтэнант, – сказаў Хазяінаў. – Маханькоў, у цябе кварта была.

Маханькоў зняў са спіны даволі пляскаты рэчмяшок і выняў з яго алюмініевую кварту з двайной ручкай у плоскім баку.

– Та-ак! Зараз мы гэта... Толькі я першы. Ці мала чаго...

Папраўдзе, усё гэта мне мала падабалася, але нейкая зважлівая нерашучасць перад старэйшым, болей вопытным на вайне чалавекам не давала настоіць на сваім. Хазяінаў жа яўна радаваўся знаходцы, буйныя рысы яго абветранага, не часта голенага і даўно не маладога твару разгладзіліся, вочы ажывелі і падабрэлі. Церануўшы далонню кварту, ён ашчадна зачэрпнуў ёю з тэрмаса, пры скупым святле з выбітых вокан яшчэ раз паўзіраўся ў вадкасць і выпіў усю да дна.

– Хараша! Наша, наркомаўская.

– Дарма вы, – няўпэўнена пачаў я, але зараз жа змоўчаў пад здзіўленым, амаль што абураным поглядам майго памкамузвода.

– Як дарма? Вы што? Не хочаце – Маханькоў, давай фляжку. Мы яе зараз...

Маханькоў таропка адвязаў ад дзяткі шкляную, у брызентавым чахле флягу, беручы якую, Хазяінаў незадаволена хмыкнуў:

– Лепшай не мог дастаць? Ваяка...

Фляга сапраўды была не Бог ведае якой моцы, і памкамузвода, раней чым наліць у яе, пакруціў пасудзіну ў

руках, зазірнуў у рыльца, нават панюхаў. Затым чарпануў квартай з тэрмаса і беражна, тоненькім струменьчыкам пачаў наліваць гарэлку.

— Ану збегай да хлопцаў. Яшчэ фляг пяток будзе. Маханькоў ускочыў на ногі і толькі пераступіў парог, як дзесьці ў паўзмроку зімовага вечара над хатай раздаўся кароткі аглушальны трэскат. Ад нечаканасці мне здалося нават, што гэта Маханькоў незнарок даў чаргу з аўтамата. Але ў наступны момант трэск паўтарыўся, з акна са званам вылецела адзіная там шыба, недзе паблізу грукнуў выбух, і зараз жа дробна і часта затрашчалі наўкола аўтаматныя чэргі.

Спачатку мы ўпалі на салому, потым Хазяінаў, вылаяўшыся, кінуўся да акна, я — да другога, але наскочыў на тэрмас і зноў упаў, выпусціўшы аўтамат. Калі ж я схпіў зброю, Хазяінаў ля акна раптам ненатуральна выпрастаўся і з нейкай дзіўнай марудлівасцю стаў паварочвацца, паварочвацца ў мой бок. Устаючы з долу, я зірнуў у твар памкамузвода і не пазнаў яго — ніжняя сківіца сяржанта дробна тузалася, вочы расшырыліся, зрэнкі закаціліся ўніз. Марудна выпрастаўшыся ля акна і не сказаўшы ні слова, ён раптам усім целам рухнуў пад мае ногі.

Ушчэнт разгублены, я не разумеў, што адбываецца. Дзесь у падсвядомасці нават мільганула думка, што сяржант жартуе, але, здаецца, было не да жартаў. Упаўшы побач, я схпіў яго за плечы і пераваліў на спіну. Белы каўнер паўшубка быў заліты крывёю, кроў і пузырыстая ружовая пена білі з дзвюх кулявых ран на шыі, якраз паабапал горла. Я выхапіў з кішэні штаноў перавязачны пакет і дрыготкімі рукамі пачаў абмотваць бінтом яго шыю. Ля хутара ваўсю грымеў бой, я чуў, як кулі з глухім стукатам дзяўблі сцены, нехта прабег каля хаты, нехта на панадворку крычаў. Пацямнелае неба за акном прарэзаў вогненны бляск блізкіх трас. Трэба было быць там, я ўсёю істотай адчуваў, што сталася бяда, і, не завязаўшы канцы бінта, кінуўся ў дзверы.

У гэты час нехта ўскочыў на ганак.

На шчасце, у сенцах было цемнавата, і ён, пэўна, не адразу ўбачыў мяне. Гэта быў немец у касцы і даўгаполым, вываленым у снезе шынялі, мае рукі самі ўскінулі насустрач яму аўтамат і выпусцілі ва ўпор даўгую – занадта даўгую – чаргу. Немец падламіўся і сеў на ганак, але за ім адразу ж паявілася яшчэ некалькі. Не ведаючы ўжо, як ратавацца, я ўздоўж сцяны падаўся назад, у хату, шмыгнуў у кут насупраць печы і стаіўся. Адразу ж услед з дзвярэй запыхала дрыготкае белаватае полымя, доўгая траскотная чарга прабегла па саломе, па Хазяінаве, абсыпала кулямі два супрацьлеглых вуглы. Не цэлячыся, я такой жа чаргой ударыў з-за вушака проста па белай пляме, у сенцах нехта дзіка завуў. Я разумеў, што засталіся апошнія мае секунды, і ў кароценькай паўзе паміж чэргамі бокам падскочыў да акна. Тут мяне лёгка можна было расстраляць. Але яны не стралялі – яны кінулі праз дзверы гранату. Стукнуўшыся аб голую сцяну, яна адляцела ў парог, а я скочыў на скрынку пад акном і двума ўдарамі бота высадзіў раму.

Выскачыў за секунду да выбуху, абсыпаны саламянай трухой, падняўся з калень ля прызбы і што было сілы прыпусціў у поле, дзе ўрассыпную па снезе ўцякаў мой узвод. Многія былі ўжо далёка, а з-за хлявоў наўздагон нам джгалі злёненыя маланкі трас. Бегучы, я азірнуўся – ля крайняга ад лесу хлеўчука, бліскаючы агнём, стаялі два бронетранспарцёры, пяхота з якіх ужо ўварвалася на хутар.

3

Мы сабраліся ў рэдзенькай маладой пасадцы абоч дарогі, адкуль некалькі гадзін назад пачыналі атаку і дзе засталіся ў снезе нашы неглыбокія акупчыкі. Немцы за намі не пагналіся, пэўна, мэтай іх контратакі быў хутар, каторы цяпер, уначы, палыхаў за полем шалёным на ветры полымем. Недзе там жа засталіся і бронетранспарцёры. Іх буйнакаліберныя кулямёты час ад часу сыпалі ў наш бок агнянымі светлякамі куль.

Аўтаматчыкі затаіліся ў сваіх акопчыках, многія з якіх, дарэчы, так і засталіся пустымі. Я паслаў Маханькова палічыць, колькі ўцалела нашых, і тады аказалася, што мы страцілі ў гэтым злашчасным баі васьмярых – роўна трэцюю частку ўзвода. Чацвёрэра загінулі на хутары, двое засталіся ў полі, двое лёгкапараненых пайшлі па дарозе ў тыл. Самая цяжкая для мяне страта, вядома, быў мой памочнік сяржант Хазяінаў.

Збянтэжаны тым, што адбылося, не ў стане саўладаць з нервовай дрыготкай у нагах, я прыпёрся плячом да тонкага дрэўца ля акопчыка і сядзеў так, пазіраючы ў поле. Пасля ўсяго, што здарылася, лезці ў акопчык, хавацца было агідна. Чэргі з хутара цяпер не палохалі мяне, здаецца, я ўжо зусім вылечыўся ад страху. Я ўсё чагосьці не мог зразумець, у чымсь не мог разабрацца, я не ведаў, як усё гэта сталася і хто вінаваты. Я толькі адчуваў, што зараз жа трэба нешта зрабіць, каб паправіць становішча. Але што? Было відавочна, што супраць двух бронетранспарцёраў з іх кулямётамі мы бяссільны. У гэты момант я не думаў пра сваю бяспеку, тая стычка на хутары чамусьці не здавалася мне вельмі ўжо страшнай, я проста дрэнна памятаў яе, усё, што здарылася, было як у тумане і ўспаміналася нібы спрасоння. Я праклінаў хітрасць ворага, гарэлку, якая пагубіла Хазяінава, сваю такую недаравальна злачынную бяспечнасць. Маханькоў, мяркуючы па яго самотным выглядзе, не менш за мяне перажываў гэтую бяду і моўчкі сядзеў побач. Нейкім цудам яму ўдалося выскачыць цэлым з тае перапалкі, і цяпер, нібы адчуваючы якуюсь сваю віну, баец увесь час стараўся быць бліжэй да мяне.

– Ось дык пылае!..

Сапраўды, хутар пылаў, нібы цыстэрна з бензінам, і мы з тугой і распаччу глядзелі на агонь, з якога пашэнціла вынесці ногі. Хоць і не ўсім. Але што мы маглі зрабіць?

– І адкуль яны выскачылі? З-за бугра, пэўна. Мы іх чакалі з сяла, а яны – з-за бугра, – прыціхлым голасам, усё яшчэ здзіўляючыся, казаў Маханькоў. Я задумліва слушаў яго, пакутуючы ад непапраўнасці нашага становішча,

як у дальнім канцы канавы пачуўся голас. Неўзабаве ён паўтарыўся бліжэй, клікалі, здаецца, мяне.

– Што такое?

– Таварыш лейтэнант, там завуць.

– Хто заве?

Баец у суседняй ячэйцы, што перадаў мне гэта, аднак, змоўчаў, павярнуўшы голаў у бок дарогі. У начных прыцемках там угадвалася некалькі ценяў, якія, было падобна, кіравалі сюды.

– Дзе камандзір узвода?

Моўчкі я ўскочыў на ногі і ўзбег на дарогу, напружана ўзіраючыся ў шэры паўзмрок ночы. Вядома, я ўжо здагадаўся, хто гэта, і сэрца маё сціснулася ў прадчуванні і яшчэ горшага.

Камандзір палка Варонін, убачыўшы мяне, спыніўся трохі зводдаль, і я, падбегшы, моўчкі стаў перад ім. Няцяжка было здагадацца, якая справа прывяла маёра ва ўзвод аўтаматчыкаў, але слоў для апраўдання ў мяне не было, і я не стараўся знайсці іх.

– Чаму здадзен хутар?

Сударгава сціскаючы рэмень аўтамата на плячы, я маўчаў. Што я мог сказаць яму? Хіба ён сам не бачыў з НП, што адбывалася на гэтым хутары.

– Я пытаюся, чаму здадзен хутар?

– Бронетранспарцёры, таварыш маёр...

– Пляваць мне на бронетранспарцёры! Вы адказвайце, чаму здадзен хутар?

Ведама ж, мае тлумачэнні былі яму зусім непатрэбны, – яму патрэбен быў хутар, а не апраўданні. І я змоўк, гатовы прыняць ад маёра самую цяжкую кару, якую я заслугоўваў. Але ён злавесна маўчаў. Над полем з хутара ўзляцела ракета, у вышыні яна рассыпалася на тры, зорнае неба пыхнула сінявата-дымчатым водсветам. Нас маглі тут убачыць, але маёр нават не варухнуўся, утаропіўшы ў мяне злосны нахмураны позірк. Потым ён выцяг руку і, тыкаючы ёй у поле, ледзяным голасам абвясціў:

– Каб вы мне да раніцы яго ўзялі!

Я маўчаў. Я глядзеў на яго сутулаватую, паверх паўшубка апяразаную рамянямі постаць, і ў гэты момант для мяне не існавала ў свеце нічога, апроч ягонае гнеўнай улады.

– Вы зразумелі? – не пачуўшы адказу, павысіў голас маёр.

– Зразумеў, таварыш маёр.

– Не возьмеце да васьмі ноль-ноль, я вас расстраляю вось тут, з гэтага вось пісталета.

Ён лёгка выхапіў з расшпіленай кабуры чорны ТТ і ягоным ствалом красамоўна пакруціў перад маім носам.

– Ёсць! – сказаў я, і голас мой здрыгануўся ад поўнай разгубленасці.

– Вось так! У восем ноль-ноль. Запомніце.

Што ж, запомніў. Я яшчэ дрэнна разумеў усе вынікі гэтага папярэджання, але названую гадзіну я запомніў. Не дужа вясёлы для мяне яго сэнс марудна даходзіў да маёй свядомасці, і калі камандзір палка з двума аўтаматчыкамі далекавата ўжо адышоў па дарозе, я ўсё яшчэ стаяў на месцы, з усяе моцы сілячыся зразумець, што ж мне цяпер рабіць.

Над полем зноў узнялася ракета, затым, калі яна дагараэла, засвяцілася другая – у дрыготкім яе святле пад зоркамі ярка азначыўся выгнуты, растузаны ветрам, след першай. У той жа момант імклівыя пісягі трас замільгалі ад хутара, б’ючыся аб насып дарогі і рыкашэтам пырхаючы з-пад маіх ног – у зараз жа пагусцелы змрок ночы.

– Таварыш лейтэнант!..

Мяне клікалі, за мяне непакоіліся, і я, нібыта ў паўсне, сышоў у свой акупчык пад дрэўцам. Побач, не займаючы яго, ляжаў на баку Маханькоў, неўзабаве аднекуль з ланцуга прыбег і ўпаў побач Грынюк, адзіны ўцалелы ва ўзводзе камандзір аддзялення. Абодва маўчалі, напэўна, чакаючы, што скажу я, але я таксама маўчаў. Да той шматзначнай размовы з камандзірам палка, якую яны ўсе чулі, дадаць мне не было чаго.

Ноч раптам праяснілася, хмары ў небе прарэдзіліся, і ў іх ірваных прагалінах з’явіўся месяц. Немцы яшчэ выпусцілі

доўгуую чаргу трасіруючых, на гэты раз многа правей уз-
вода, у напрамку пагорка, куды пайшоў камандзір палка.

– Пуляе! Усё пуляе, гад,– заўважыў Грынюк. Махань-
коў не сказаў нічога, я таксама.

Некаторы час мы сядзелі моўчкі, але я ведаў, што абод-
ва яны спачувалі мне і, пэўна, хацелі супакоіць. Аднак
спачуванні цяпер не мелі сэнсу, і яны самі, відаць, няблага
разумелі гэта.

– Пакуль там што – давайце перакусім,– сказаў Гры-
нюк і, нешта дастаўшы з кішэні, падаў мне.

– Што гэта? А-а-а...

– Галеты, таварыш лейтэнант. Маханькоў, давай фляжку.

Маханькоў з гатоўнасцю падаў флягу, і я, амаль недаў-
менна (якая фляга, навошта фляга?), нібы прасыпаючыся
ад душэўнага змярцвення, узяў яе. Гэта была тая ж, знаё-
мая, нядобрай памяці шкляная фляга, і ў ёй важка, нібы
жывая істота, з ціхім пляскам боўталася з паўлітра гарэлкі.

– Выпіце, лейтэнант,– неяк проста, па-свойску сказаў
Грынюк.– Для сугрэву не пашкодзіць.

Я патрымаў флягу ў руцэ, падумаў і вырваў гумовую
пробку. Гарэлка была страшэнна сцюдзёная і гарчыла ў
роце, больш чым на тры глыткі ў мяне не хапіла дыхання.
Пасля, пакуль я з нечаканым апетытам жаваў скрыпучую
галету, глытнулі патроху Маханькоў і Грынюк.

– Во і добра! Сугрэўней стала. А то ночка – не мамачка.

Сапраўды, зрабілася неяк трохі цяплей, а галоўнае –
быццам весялей нават, з душы нібыта зваліўся гнятлівы
цяжар, і мая вялікая бяда стала раптам патроху меншаць.

– Грынюк, як у вас з патронамі?

– З патронамі? Анічога. Ёсць патроны.

– Маханькоў, перадай па ланцугу фляжку. Кожнаму –
адзін глыток.

Маханькоў падняў галаву, нібы чагось не разумеючы, і
я паўтарыў:

– Перадай, перадай! І – падрыхтавацца да атакі.

– Зараз? – здзівіўся Грынюк.

– Так, зараз.

Грынюк заёрзаў па снезе, высмаркаўся, выцерся рукавіцай і, яўна не адабраючы маё рашэнне, шумна ўздыхнуў. Мяне ж ці то ад гарэлкі, ці таму, што я толькі цяпер пачаў усведамляць усю незайздроснасць свае перспектывы, пачала распіраць неспатольная прага да дзеяння. Хацелася неадкладна кудысьці бегчы, нешта рабіць, здаецца, я пачынаў адчуваць у сабе сілу і рашучасць супраціўляцца абставінам.

Грынюк жа, мяркуючы па ўсім, адносіўся да гэтага інакш.

— Пачакаем. Да раніцы цэлая ноч.

— Ну і што? За ноч хутар бліжэй не стане. Маханькоў, бяжы спытай, колькі часу.

Маханькоў, прыгнуўшыся, шмыгнуў у канаву і пабег да байца Бабкіна, у якога быў графейны гадзіннік, а Грынюк, задраўшы падбародак, паглядзеў у неба, дзе час ад часу з'яўляўся з-за дранага ашмоцця воблакаў амаль правільны дыск месяца.

— Хоць бы гэта бяльмо схавалася. А так...

— Напляваць! Колькі, Маханькоў?

— Дваццаць хвілін першай, таварыш лейтэнант, — сказаў Маханькоў і апусціўся на адно калена.

Я ўстаў з акопа.

— Так! Падрыхтавацца да атакі. Дазарадзіць магазіны. Падрыхтаваць гранаты.

4

Я ледзьве вытрымаў, каб не падняць узвод зараз жа, цяжкі сачаў каля паўгадзіны і тады з дрыготкім сэрцам выйшаў з акупчыка. Поплеч адразу ж ускочыў Маханькоў, пасля ўсталі яшчэ, і ледзьве прыкметны ў прыцемках ланцужок рушыў па снежным полі ў напрамку да хутара.

Хутар ужо амаль дагарэў, і толькі некалькі агеньчыкаў слаба бліскалі ў цемры на самым краі поля. Я на ўсе вочы ўзіраўся ў гэты край, бо ад таго, заўважаць нас або не раней, чым мы зблізімся на кароткі рывок, залежала для мяне ўсё. Мне здавалася, што, раней чым немцы спахопяц-

ца, узвод паспее прабегчы хоць бы палавіну поля, астатняе, вядома, давядзецца адольваць пад нямецкім агнём. Напэўна, гэта было не самае лепшае, але іншага спосабу вярнуць хутар я не знаходзіў. Зрэшты, у адным нам як бы быццам пашэнціла – месяц, здавалася, надоўга схаваўся за густым навалаччам хмар і ноч добра-такі сцямнела.

Пад ботамі і валёнкамі ціха паскрыпваў марозны снег, халодны нямоцны вецер апякаў твары. Я вельмі спяшаўся і то шырокім крокам, то бягом усё далей вёў узвод ад дарогі. Было цёмна і ціха. Вядома, з хвіліны на хвіліну немцы павінны былі павесіць ракету, я чакаў яе, каб адразу ж залегчы, пакуль яна яшчэ будзе на ўзлёце. Але атрымалася так, што іх чамусьці ўзнялося тры разам. Прадчуваючы нядобрае, я тут жа распластаўся на снезе, непадалёк пападалі байцы, і толькі на правым фланзе хтось недаравальна прамарудзіў – доўгі трайны цень яго падзраднічку заматляўся па бязлітасна асветленым полі.

Ракеты не паспелі дагарэць, як з-за хутара імкліва ўзляцелі яшчэ тры, і тут жа прывідны ў іх святле прастор над галавамі прашылі першыя паскі трас. Чэргі вылецелі з аднаго месца, трошкі лявей ад хутара, пасля ў паветры да іх далучыліся іншыя, затрашчалі новыя кулямёты, і ў глухой дагэтуль начной цішыні ўсчаўся такі вэрхал, якога, здавалася, не было ўдзень, калі наступаў полк.

Я ўголас вылаяўся, уціснуўся ў снег, амаль фізічна адчуваючы, як мая ўзнёсласць і мая рашучасць уступаюць месца распачнай злой безвыходнасці. Было зразумела, што замысел мой разлятаўся ўшчэнт, наступаць пад такім агнём было самагабствам.

Ткнуўшы падбародак у снег, я пакутліва згадваў, што рабіць. У душы надоўга паныла ды і сканала нясмелая надзея на тое, што гэта – так, што немцы ўсчалі такую страляніну, каб напалохаць, што нас яны не заўважылі.

Думалася, а раптам усё сціхне. Але дзе там! Сотні агняных светлякоў, пераганяючы адзін аднаго, скрыжоўваючыся і размінаючыся, шалёна несліся ў наш бок, дзеўбаліся аб снег, зламаўшы траекторыю, узляталі зноў. У небе пад аблокамі няспынна віселі ракеты, і было відаць, як вецер

марудна раскручвае на небасхіле блытаніну іх дымных хвастоў.

Ад такога знішчальнага агню нас ратавала толькі адлегласць. Усё ж да хутара было не меней чым кіламетр, і таму расейванне іх чэргаў было вялізнае. Па сутнасці, немцы сеялі імі па ўсім полі.

Павярнуўшы голаў, я паглядзеў на свой узвод. Няроўны яго ланцужок, нібы замершы адразу, ляжаў пад зіхоткай агнянай мітуснёй уверсе, здавалася, ніводным рухам не дэмаскіруючы сябе ў гэтым полі. Але цяпер гэта яго нерухомасць ужо не была перавагай – нас, пэўна ж, убачылі. Мабыць, трэба было падаваць каманду, каб вяртацца назад.

Аднак я марудзіў. Я чакаў, усё яшчэ спадзеючыся на штось раптоўнае і спрыяльнае для нас, як цуд. Уздоўж ланцуга, грудзямі рассоўваючы снег, поўз Грынюк. Я бачыў яго, але сяржант, перш чым загаварыць, патузаў мяне за бот і праз трэскат і гром пракрычаў:

– Лейтэнант! Чаму ляжым? Камандуйце: па-пластунску наперад!

«Дзякуй, Грынюк!» – падумаў я. А то мне здалося, што ён прыпоўз не за тым. Давялося б ваяваць, узяў бы яго на месца Хазяінава. А так... Але куды тут па-пластунску?

– Параненых многа?

– Ды быццам няма. Давай наперад. Замярзаем.

– Бачыш, што робіцца?

– А! Была не была. Усё роўна ўбачылі.

Вядома, убачылі, цяпер літасці ад іх не чакай. Цяпер ужо можна збліжацца адкрыта. Толькі што мы зробім, калі і зблізімся? Пакласці пятнаццаць чалавек пры такім агні з блізкай адлегласці – работы на пяць хвілін. Загублю ўзвод і сам лягу. Не, так нельга.

Але ж тады як?

Ракеты над полем свяцілі безупынку. Толькі пачынала дагараць адна – зараз жа ў дымнае ад папярэдніх неба ўзлятала наступная. Ноч поўнілася стогалосым траскоццем стрэлаў і д'ябальскай несціханай мітуснёй агню ўгары, супраць якога ў нас не было сродкаў. Адзіны выхад здаваўся там, ззаду, дзе засталася наша канава ў рэдзенькай

маладой пасадцы. Яна, вядома, схвае, уратуе ўзвод, але мяне. Мне месца там няма – там мая пагібель.

Але што ж, – пэўна, такі ўжо лёс!

Глытаючы тугі камяк у горле, я скамандаваў па ланцу-гу адыход.

5

І вось мы зноў у нашых неглыбокіх акопчыках і чакаем цяпер ужо недалёкае раніцы. Немцы маўчаць. Ноч сціхла, усё навокал стаілася і змоўкла. У зорным праяснелым небе ярка блішчыць месяц, канчаткова нішчачы мае апошнія надзеі як-небудзь пазбыцца гэтай бяды.

Да світання засталася гадзіна. Маханькоў толькі што збегаў да Бабкіна і, паведаміўшы мне гэтую болей чым невясёлую вестку, паныла апусціўся на край акопчыка.

З непазбыўнай цягучай журбой у душы я глядзеў у срабрыстае ад месячнага святла поле, і думкі мае былі далёка ад гэтага злашчаснага хутара, які бліскаў здалёк двума агеньчыкамі, ад канавы з пятнаццацю аўтаматчыкамі і дарогі, на якой мне так хутка суджана было закончыць жыццё. Я думаў якраз аб гэтым сваім такім няўдалым жыцці.

Дурань, пянцох і няўдачнік. А яшчэ столькі марыў аб подзвігах! Зубрыў у вучылішчы статуты, стараўся па службе, меў выдатныя характарыстыкі. Экзамены здаў на пяцёркі. Выпусцілі па першым разрадзе з правам датэрміновага прысваення чарговага воінскага звання. Навошта цяпер гэтыя правы і гэта першае званне, якое стала і апошнім. Расстраляюць, як сабаку, за невыкананне баявога загаду, як парушальніка дысцыпліны і ваеннай прысягі. І ніхто нават не даведаецца ніколі, што перажываў перад смерцю камандзір узвода аўтаматчыкаў і якое было ў яго жыццё.

– Ось так, Маханькоў!..

У мяне гэта вырвалася ўголос, і Маханькоў зябка пацепаў плячыма пад сваім шыняльком.

Ну што ж – праз гадзіну мяне расстраляюць, я ведаў гэта, але зусім не мог адчуць сябе мёртвым. Нечага ў мяне

не хапала для таго – уяўлення, ці што? Або, можа, дастатковай упэўненасці ў грозную рашучасць камандзіра палка. Быццам застрэліць чалавека на вайне такая ўжо хітрая справа. І тым не менш менавіта гэтая няздольнасць адчуць смерць, як ні дзіўна, напаўняла мяне неўсвядомленым, амаль інстынктыўным пачуццём неўміручасці. Здавалася, камандзір палка пагражаў не мне. І хутар здаваў не я. Расстраляны таксама будзе нехта другі, таму што проста неверагодна забіць мяне, бо я ж – вось ён, жывы.

Але дзе там, думаў я, усё гэта глупства, вядома. Дарма чакаць цуда, на штось спадзявацца, час не спыніцца. Ды і Маханькоў, напэўна, выдатна разумеў мой незайдросны лёс і ўсім сваім выглядам сведчыў сваё спачуванне, ад якога, зрэшты, мне не рабілася лягчэй.

А вось Грынюка, здаецца, гэта зусім не турбавала. Пэўна, занудзіўшыся ў адзіноце на сваім не такім ужо і аддаленым фланзе, ён прыйшоў да нас па пратаптанай над канавай сцяжыне і спыніўся за спіной Маханькова.

– Нейкі крык там. Чулі?

Я падняў голаў. Маханькоў таксама насцярожыўся, хвіліну мы глядзелі на Грынюка, услухоўваючыся, але ніякага крыку не было.

– Там вунь, каля пагорка. Ці, можа, мне здалося.

– Быццам нічога няма, – сказаў Маханькоў.

– Ну здалося тады, – Грынюк зябка пастукаў абцасам аб заднік. – Фляжачку б для сугрэву, га? Маханькоў, у цябе там нічога не засталася?

Маханькоў здзіўлена паглядзеў на яго, не адказаўшы, і той, відаць, зразумеў, што турбавала нас.

– Кінець вы гараваць, лейтэнант.

– Ага, кінеш! Вунь гадзіна засталася.

– Го! Цэлая гадзіна! Цэлая гадзіна – гэта ого!

Я маўчаў. Ён мяне злаваў, гэты няпрошаны аптыміст, які, прытанцоўваючы ад марозу, казаў, на мой погляд, абсалютную недарэчнасць.

– Гадзіну – яе перажыць трэба.

– Вы – перажывіце.

– Можа, перажыву, а можа, і не. На вайне яно ўсяляк бывае.

Грынюк патопаў яшчэ і апусціўся на калені ля акупчыка. Затым, паціраючы рукі, даволі бадзёра, з нейкім нават уздымам падаўся да Маханькова.

– Закурым, ці што, дзяцюк. Каб дома не журыліся.

Я адварнуўся. Было, бадай што, агідна глядзець на гэтую яго беспадстаўную бадзёрасць, якая злавала мяне, акалелага ад сцюжы, змарнелага ад пакут гэтай жахлівай для мяне ночы. А тут яшчэ нясцерпна мерзлі ногі, але ўставаць і грэць іх няхітрым салдацкім спосабам у мяне проста не было сілы. Сцяўшы ў рукавіцах азяблыя рукі, я журботна глядзеў у начныя прыцемкі, дзе знікала дарога і дзе быў палкавы НП. І, пэўна, таму я адразу ж пачуў у тым баку адзіначны вінтовачны стрэл, які рэзка бахнуў у чуйнай ранішняй цішыні. Праўда, мая ўвага амаль не затрымалася на ім: ці мала страляюць уначы на перадавой ды і ў тыле. Але ў той жа момант таропка бабахнула яшчэ і яшчэ. І праз секунду затрашчала, зашыпела, заохала. Трасіруючыя, мабыць, з рыкашэта, веерам, разляцеліся над пагоркам.

Маханькоў і Грынюк з недакручанымі цыгаркамі збянтэжана знерухомелі каля акопа.

– Што такое?

– Ачумелі яны там, ці што?

– Вартавы, можа? З упуду, – сказаў хтосьці ў канаве. Не, мабыць, гэта не з перапуду. На выпадковы перапалох гэта наогул было мала падобна – дужа ўжо ашалела трашчэлі аўтаматы. Грымнуў, мабыць, гранатны выбух, і зноў – аўтаматы і рэдкае важнае баханне вінтовак.

– Што за халера?

Грынюк сунуў непрыкуруаную цыгарку за адварот шапкі і ўскочыў на ногі.

– Бадай, нелады. Трэба б паслаць каго.

– Ось і давай! Бяры аддзяленне і – бягом!

Малодшы сяржант кінуўся ўздоўж канавы, і Маханькоў таксама пераскочыў акупчык.

– І я.

На секунду ён затрымаўся, чакаючы мае згоды, але я трохі памарудзіў – штось ва мне раптам запырэчыла супраць таго, каб і ён бег туды. Пэўна, падзеі апошняй ночы зблізілі нас, і цяпер мне проста не хацелася заставацца тут без яго. Але я ўспомніў, колькі ўжо мала засталася хвілінак з майго апошняга часу, і махнуў рукой. Сем чалавек Грынюка выбягалі на дарогу, і Маханькоў, закінуўшы за плячо аўтамат, дагнаў іх.

Страляніна тым часам усё разгаралася, здаецца, сапраўды ў нашым тыле ішоў бой. Дзесьці за хутарам завухкалі нямецкія мінамёты, цяжкія іх міны, скаланаючы зямлю, пачалі рвацца на пазіцыях батальёнаў. Неба завыла, зашуршала, заварушылася. Але я ўсё не мог пагадзіцца з думкай, што праз баявыя парадкі палка прарваліся немцы – у такім разе мы самі апыналіся ў акружэнні, а гэта ўжо было горш за ўсе нашы ранейшыя беды. Аўтаматчыкі ў канаве ўсе насцярожыліся, павярнуліся ў акупчыках і, паглядваючы ў бакі, услухоўваліся ў загадкавую калатнечу.

І тады на дарозе невядома адкуль з'явіўся баец. У непадпярэзанай гімнасцёрцы, з аўтаматам у руках ён быў не наш, я адразу сцяміў тое і, нешта адчуўшы, падняўся яму насустрач. Баец, раптам згледзеўшы ўзвод, закрычаў амаль у распачы, як гэта магчыма, толькі калі трапіш у бяду:

– Аўтаматчыкі?.. Аўтаматчыкі – усім бягом туды! Чуеце? Немцы прарваліся...

– Куды прарваліся? Дзе прарваліся? – ужо ведаючы, што сталася кепскае, зацятым голасам пытаўся я.

– Камандзір, так? Начштаба загадаў: бягом!..

Баец раптам змоўк, нібы праглынуў словы, і пахіснуўся, хапаючыся за бок. Мы ўсе маўчалі, а ён стаў хіліцца ніжай і ніжай, каб не ўпасці, няўпэўнена пераступіў на дарозе.

– Рабяты, бінта...

Нехта кінуўся да яго з канавы, мяне ж у тую хвіліну нібы скаланула штосьці. У свядомасці бліснула здагадка-надзея, і я нават сцяўся ад думкі, што магу спазніцца. Выскачыўшы на палатно дарогі, я крыкнуў узводу: «За мной бягом!» – і ашалела пабег насустрач візгу і ціўканню бою. Ён цяпер не палохаў мяне, самае страшнае – хутар і да-

рога – заставалася ззаду, а смерць там, на НП, здавалася мне ўзнагародай.

6

І вось я не згінуў, а толькі паранены і нават лёгка – у руку. Тое, што адбылося потым на схіле пагорка з назіральным пунктам, заняло дзесяць хвілін і помніцца цяпер да кожнай драбніцы. Аказваецца, немцы абыходзілі мой узвод, каб ударыць па ім з тылу, ды налезлі ўначы на палкавы НП. На шчасце, мы былі побач і прыбеглі для паратунку ў час. Аўтаматчыкі ўварваліся ў траншэю, калі ў ёй ужо былі немцы – пайшлі ў ход гранаты, лапаты, нажы. Васемнаццаць нямецкіх тупаў засталася на гэтым бугры. Але перапала і нам.

Калі ўсё было скончана, у траншэі на мяне наскочыў начштаба, ён паціснуў маю здаровую руку і адразу ж запісаў імя і імя па бацьку – для ўзнагароды. Спачатку мне здалося, што ён жартуе, але капітан спытаўся яшчэ і прозвішча таго малодшага сяржанта, аддзяленне якога падбегла да пагорка першым і тым на хвіліну ўзяло на сябе агонь немцаў.

– Грынюк – было яго прозвішча, – сказаў я.

– Што – таксама?

– Таксама.

Капітан яшчэ больш спахмурнеў, на палявой сумцы хруснуў яго аловак. Начштаба вылаяўся.

Цяпер я сам не разумею сябе – адбылося нешта супярэчлівае і загадкавае. Недзе ў глыбіні душы я рады, амаль шчаслівы і ў той жа час мне як ніколі крыўдна і хочацца плакаць. Я ледзьве стрымліваю слёзы і не знаходжу сабе мясціны ў гэтым сяле. Я ўцякаю ад падворка каменданцкага ўзвода, дзе на акрываўленай саломе ляжаць пад брызентам Грынюк, Дудчанка, Усольцаў і Бабкін. Я стараюся больш не падыходзіць да хаты з раскіданай выбухам страхой, дзе ляжыць на лаве такі супакоены і чужы цяпер да ўсяго маёр Варонін. Не хочацца мне ісці і ў

санітарную роту. Зараз там гаманліва, накурана, параненыя чакаюць снядання, машын з медсанбата, а цераз сены насупраць памірае з расшкumatаным жыватом Маханькоў. Кажуць, везці яго ў медсанбат ужо няма сэнсу.

Да маёра ў мяне, не зважаючы ні на што, адно толькі — ціхае шкадаванне. У яго пагібелі я не маю віны, мы сумленна стараліся выручыць яго на НП, але я ўсё думаю: няхай бы ён жыў. Можна б, і не расстраляў, як аб тым гразіўся. І тут самае кепскае ў тым, што ніколі ўжо і не даведзешся, ці ён сапраўды хацеў выканаць сваю пагрозу, ці толькі палохаў. Гэта ўжо навек застанеца для мяне загадкай.

Машыны, мяркуючы па ўсім, будуць няхутка. У небе над вёскай вісіць невысокае сонца, за лесам, напэўна, усё на тых жа пагорках грывіць бой. Невядома, як пашанцуе сёння нашым батальёнам...

Краем вуліцы я памалу брыду да школы. Там на невялічкай пляцоўцы пад вокнамі чацвёрта маіх уцалелых аўтаматчыкаў капаюць магілу. Адну, брацкую. Спяраша камандзіра палка хацелі хаваць асобна, але камісар сказаў: не варта старацца. Ды і няма каму. Усяго жывых-здоровых у мяне засталася сямёра — трох адалі на папаўненне роты сувязі, чацвёрта пахаваюць забітых і пойдучы у стралковы батальён капітана Паршына.

Па рыхлай вохкай зямлі я ўзбіраюся на гліністую кучу і моўчкі гляджу ўніз. Хлопцы, навесіўшы цераз плячо дзяткі, працуюць у адных гімнасцёрках. Усе маўчаць, чутно толькі, як тупаюць, скрыгочуць па суглінку рыдлёўкі, зморана, адрывіста дыхаюць байцы. З ямы, раз за разам абсыпаючы мае боты, вылятае зямля. І я не збочваю ад рыдлёвак, — я адчуваю да гэтай магілы нейкае невыказнае сваё дачыненне. Напэўна, таму, што сярод тых, хто хутка ляжа сюды, вельмі нават магчыма мог бы ляжаць і я. Лёс або выпадак дамогся інакшага, і ўсё ж нейкая часцінка майго Я будзе вечно знаходзіцца тут — з Грынюком, Дудчанкам, Усольцавым, Бабкіным. Ды і з маёрам Вароніным таксама.

1966 г.

Сваякі

– Не! – сказала яна, стукнуўшы аб падлогу вілачнікам. – І не думайце!

Седзячы ля стала, яны пераглянуліся. Старэйшы – высокі, худы, па-юнацку нязграбны Алесь адразу нахмурыўся і зацяўся ў сабе, а на зусім яшчэ хлапечым пухлаватым твары пятнаццацігадовага Сёмкі мільганула нешта ўпартае і злоснае.

– Усё роўна пойдзем!

– Паспрабуйце! Паспрабуйце, ірады! Бач, удумалі! Смаркачы няшчасныя! Я вам пакажу партызанаў!

Гэта была пагроза, але ў ёй адчувалася не так сіла і ўпэўненасць, як бездапаможнасць, ад якой яна ўсхліпнула і з вілачнікам падскочыла да хлопцаў. Яны павінны былі б разбегчыся, як гэта рабілі заўжды дагэтуль, але цяпер нават не крануліся з месца, і гэта зусім раззлавала яе. Сёмка толькі ўзняў руку, яна выпяла і яго некалькі разоў, не глядзячы куды, потым адзін раз – Алесь. Старэйшы прыняў яе ўдар з каменнай абыякавасцю на змрочным худым твары, нават не ўздрыгнуў, толькі мацней сцяў вусны, і яна зразумела, што ўсё гэта – дарма. Дарма ўвесь яе гнеў, яе лаянка, яе запазнелая спроба вярнуць сваю ўладу над хлопцамі. Роспач адразу падламіла яе і, кінуўшы вілачнік, яна выйшла ў сенцы.

Некалькі пакутных хвілін яна корчылася на сундуку ад бездапаможнасці і крыўды, не ў стане зразумець, чаму яны такія ўпартыя ў гэтым відавочным і пагібельным сваім намеры? Яна разумела і нават апраўдвала, калі на гэта ішлі дарослыя – акружэнцы і свае мужыкі, але што ў той калатнечы магло прывабіць падлеткаў, амаль што дзяцей?

Што яны зробіць у лесе, апроч як па-дурному загінуць, як загінуў той, што тыдзень назад з ночы ляжаў да поўдня на аколцы, застрэлены нямецкай засадай, такі маладзенькі, прыгожы дзяцюк, у акрываўленай вайскавай сарочцы. Так і яны будуць валяцца дзе-небудзь, і на іх будуць страхавіта глядзець незнаёмыя людзі, і п'яныя паліцаі будуць перакочваць іх сваімі падкутымі ботамі, а па іх босых нагах будуць апантана бегачь прагныя веснавыя мухі...

Не, ужо таму не быць! Хопіць таго, што без пары без часу склаў голаў бацька, а ў іх яшчэ, слава богу, ёсць маці, яна не можа дапусціць іхняй пагібелі. Ёй, пэўна, вядома, хто падбіў іх на гэтую гібельную справу, яна знойдзе яго і не пакіне ніводнай валасіны ў ягонай фасоністай белай чупрыне.

З раптоўнай рашучасцю яна падхапілася з сундука, выбегла на падворак, але тут жа вярнулася, сюды-туды кінулася па сенцах, шукаючы якой падпоркі і, не знайшоўшы нічога зручнага, сарвала з крука карамысла. Ахопленая помслівым зларадствам, яна туга падперла карамыслам дзверы ў хату і кінулася на вуліцу, на бягу трохі аправіла касынку і ўжо не выцірала слёз, якія ўсё яшчэ цяклі па яе шчоках.

Яна бегла па вуліцы, разганяючы пад платамі курэй, босымі нагамі ўзнімаючы ў доле пыл, і галаву яе распірала ад гнеўных, народжаных яе, мацярынскаю крыўдай слоў. Яна скажа гэтаму Яхіму, што ён душагуб, ірад бязлітасны, яна дапытае, навошта яму спатрэбіліся гэтыя зялёныя хлапчукі? Калі ўжо ўдумаў, дык хай бы сабе і шоў сам куды толькі яму захочацца – хоць у партызаны, хоць у паліцыю, ці самому д'яблу ў зубы, толькі без іх. Хай ён зараз жа аб'явіць ім, што нікога з сабой не возьме, інакш яна паламае на ягонай галаве ўсе чапельнікі, збэсціць яго на ўсю вёску.

Са злосці яна дужа штурхнула дзверы гэтай старэнькай пакасelay хаціны, не зачыняючы іх, ірванула за клямку другія – з хаты патыхнула прахалодай земляной падлогі і бязлюднаю цішынёй. Тады яна тузанула пасцілку ў запеччы – з кучы цёмнага ашмоцця прыўзнялася белая га-

лава старога Лукаша, ягоныя падслепаватыя вочы хваравіта заміргалі насустрач.

– Дзе завадатар ваш?

– Гэта Яхімка, ці што? А хто ж яго ведае. Хіба цяперака дзеці пытаюцца ў бацькоў...

– А ўночы ён спаў дома?

– Не ведаю я. Будта не чутно было.

Вядома ж, што мог сказаць ён, гэты амаль аслеплы, забыты богам стары, мусіць, Яхіма не так проста было злавіць, яна адчула, што ўвесь запас яе гневу вось-вось мінецца без жаданай карысці і зноў не стрымала сябе. Праўда, слёз ужо не было, былі толькі ўдушлівыя камякі ў грудзях, і пакуль яна, прыпёршыся да печы, перасільвала іх, Лукаш цярпліва стагнаў у запеччы, спакучаны ўласнай хворасцю.

І ўсё ж яна іх не аддасць, яны – яе дзеці, яна – для іх маці і не пагодзіцца на іх пагібель, хутчэй сама ляжа трупам на гэтым іх вар’яцкім шляху, але засцеражэ іх ад смерці.

Яна ўвесь час амаль бегла – праз вёску, міма пунь, хлёўчыкаў, свіронкаў, з дзяцінства знаёмых хацінак, пасля – па выгане з маладой вясновай траўкай, уздоўж свежа і весела прыбранага першай веснавой зелянінай раўка. Як за апошнюю сваю магчымасць, яна ўчапілася цяпер за думку – прасіць Дразда, што жыў у суседняй цераз поле вёсцы. Праўда, ад зімы ён хадзіў паліцаем, з выгляду быў па-начальніцку важны і строгі, але яна ведала яго маці ды і яго ад самага дзяцінства, усё ж ён ёй дваюрадны пляменнік, не абы-хто чужы. Яна раскажа яму аб сваім горы, і ён павінен чымсь пасабіць, як мужчына, і галоўнае – свой чалавек. Хай ён іх напалохае, пасадзіць на колькі дзён у свіронак, хай нават нядоўга патрымае ў турме, але каб толькі не сышлі ў лес і на старасці не асірацілі яе.

Яна толькі баялася, каб Дрозд не паехаў куды, не быў заняты, не адмовіў і тым не адабраў у яе апошнюю магчымасць утрымаць іх. Але сонца апусцілася ўжо нізка, марудна садзілася ўдалечыні за шырокую хмару над лесам, – у такую пару, ведала яна, служачыя ў мястэчку разыходзіліся з устаноў і займаліся сваімі справамі. Праўда, яна

спяхапілася, што нічога не ўзяла з сабой, усё ж трэба б прынесці які-небудзь гасцінец ды і бутэльку таксама. Але за ёю не прападзе, няхай толькі паможа.

Ён быў дома, яна адразу сцяміла гэта, як толькі збочыла з вуліцы ў вузенькі абсаджаны вішаннікам завулак да яго ладнай з трысценкам дамоўкі. З двух расчыненых вокнаў неслася гучная музыка, і за радам вазонаў на падаконніку варушылася нейчае мужчынскае, з пагонам плячо.

Яна яшчэ раз паправіла на галаве хусцінку, скарэлымі ад заўсягдашніх мазалёў рукамі крадком выцерла вочы і, як мага цішэй узышла на ганак. Дзверы ў хату былі расчынены, ён сядзеў на ўслоне і адразу павярнуў да яе насаты голены твар, на якім перш-наперш адзначылася здзіўленне.

– Што табе, цётка?

Тое, што ён назваў яе звыкла па-вясковаму цёткай, надало ёй смеласці, пад ягоным строгім, нібыта нават зласнаватым позіркам яна ступіла па засцілцы ад парога і сказала:

– Прыйшла да цябе, Пятровіч, па дзелу.

Патэфон на канцы стала змоўк, хтось павярнуў у ім блішчасты рычаг, і некалькі мужчын з насцярожанаю ўвагай уставіліся ў яе. Яна крыху збянтэжылася пад гэтымі поглядамі і не ведала, як ёй вытлумачыць сваю такую, здавалася, простую і зразумелую патрэбу. Недзе ў адчуванні яе на імгненне варухнулася прыкрасць, нават шкадаванне, што прыйшла сюды, але якога іншага выхаду на запас у яе не было.

– Ды я каб параіцца. Сыны ў мяне...

– Што сыны? Гавары канкрэтна.

Яна пакутліва шукала словы, каб як мага карацей і зразумела растлумачыць ім, што яе прывяло сюды.

– Ну гавары, гавары, не бойся. Тут усе свае.

– Сыны ў мяне... Нядобрае ўдумалі.

– Што, з бандытамі знюхаліся?

Яны ўсе разам нібыта страпянуліся за сталом, павярнуліся да яе, а Дрозд рашуча ўскочыў – рослы цяжкі мужчы-

на ў сподняй блакітнай майцы – і дошкі ў падлозе хістка зазыбаліся пад ім.

– Ну, гавары!

Яна, выразна разумеючы, што павінна адважыцца на самае галоўнае, дзеля чаго гатова была на ўсё, амаль узмалілася:

– Пятровіч, родненькі, толькі ж прашу, не зрабі ж ім благога. Ну, можа, напалохай іх, не карай толькі. Маладыя ж яшчэ, блазнота зусім, старэйшаму васемнаццаты пайшоў са ўздзвіжання. Хіба ж яны разумеюць...

– Ага! Так-так. Ну ясна. Дзе яны цяпер?

– Дома. Я ж заперла іх.

– Заперла? Маладзец, цётка. Хадзем!

Ён таропка нацягнуў на сябе свой паліцэйскі мундзір, сарваў са сцяны вінтоўку. Іншыя таксама вылезлі з-за стала, і ў хаце адразу зрабілася цесна. Яна адступіла, у сярэдзіне ў яе нешта здрыганулася і апала, і пакуль Дрозд паднярэз-ваўся тоўстай вайсковай дзягай, яна, сашчапіўшы на грудзях рукі, прасіла:

– Пятровіч, сыноч, толькі ж вы па-харошаму каб...

– Мы па-харошаму! Культурна! Барсук, прыхапі канец.

Яны выйшлі на двор і, каб было бліжэй, хутка пусціліся па мяжы ў поле. Сонца ўжо схавалася за хмарай, па-ясноваму голае шэрае поле тужліва азмрочылася, але яшчэ было відно і ціха.

Тут, на волі, яна лепш разгледзела іх. Апроч Дразда, яшчэ двое былі ў нямецкіх мундзірах і пілотках, а адзін, задні, у сваім – пінжаку і шэрых картовых штанах навыпуск. Гэты, у штацкім, здалося, быў ёй знаёмы, і яна, забегшы трохі наперад, спытала:

– Гляджу гэта і пазнаю быдта. Ці не з Залесся будзеце?

– З Залесся, матка, – проста адказаў ён басам, але размовы не падтрымаў. Яна прыгледзелася да астатніх двух крутых стрыжаных патыліц, але гэтыя, бадай, былі чужыя.

Так яны перайшлі пагорак, клін сенажаці, мінулі лазовыя зараснікі ля ручая. Каля балотца-выгарыны калупаўся з плугам кульгавы Пракапчук, селянін з іх вёскі, ён прышыніў каня і доўга глядзеў здаля на жанчыну і чаты-

рох паліцаяў з вінтоўкамі. Яна нічога не сказала яму, нават не азвалася і прайшла міма, але зараз жа ёй стала ніякавата ад гэтай насцярожанасці знаёмага чалавека. Праўда, яна тут жа перасіліла ў сабе гэта непрыемнае страхавітае адчуванне. Хай, хай папалохаюць, не заб'юць жа, бо немцам яны благога яшчэ не зрабілі, завошта ж караць іх?

Яна ўвесь час бегла ззаду, у полі і на выгане, і толькі калі зайшлі на падворак, ля калодзежа Дрозд прапусціў яе ўперад і нават лёгенька штурхануў, маўляў, ідзі, а мы следам. Яна звыкла і рухава, як і заўжды, прыступіла на шырокі пляскаты камень, затым на парог і ў той жа час зразумела, што падпорка яе не ўтрымала, карамысла валялася ў доле, і дзверы ў хату былі расчынены. Аднак зараз жа яна згледела Сёмку, і яе ўразіў выраз спалоху, бадай-што, жаху, на яго яшчэ вельмі дзіцячым твары. Нагнуўшыся, сын стаяў над кубёлкам, у якім яны хавалі мясное, з кавалкам сала ў руцэ. Каля ног хлопца ляжала тарбінка з завязкамі, згледзеўшы якую, яна ўсё зразумела і коратка зларадна сабе ўсміхнулася. Але ў той жа час Сёмка крыкнуў, выпусціў сала і, угнуўшы голаў, кінуўся ў дзверы, на бягу моцна штурхануўшы яе ў бок. Ззаду закрычалі – Дрозд або хто іншы, і ў той жа момант аглушальна грывнуў адзін, другі, трэці стрэлы. У ёй усё абвяла, абмякла, яна пахіснулася, але стрымала сябе і, адчуўшы, як нешта крута збочыла да недарэчна і непатрэбна страшнага, выбегла з сенцаў.

– Сыночак! Сыночак! Пастой!

Яна кінулася да паліцая ў шэрай нямецкай пілотцы, які стаяў з карабінам каля паркана, хоць ужо не страляў. Ён апусціў карабін долу, вылаяўся, груба адштурхнуў яе і палез цераз перакладзіну ў гарод. Яна не разумела яго, як не разумела нічога з таго, што тут адбываецца. Сёмкі нідзе не было, і толькі калі паліцай шырока пакрочыў наўкось па забаранаваным гародзе, яна ўбачыла сынаву галаву, плечы і раскіданыя ў бакі рукі – ён нерухома ляжаў на глеі ў трох кроках ад буйна квітнеўшага на ўзмежку вішанніку.

Тады яна закрычала і рухнула на прапахлы ўсімі дваровымі пахамі дол, усведамленне велізарнай несправядлі-

васці збіла яе зпанталыку, яна ўжо не магла сцяміць, як здарылася такое. Яна білася галавой аб цвёрдую, як бетон, утаптаную зямлю падворка, біла яе сваімі не па-жаночы вялікімі кулакамі, зайшоўшыся ў амаль здзічэлай, шалёнае распачы ад такой непапраўнай бяды. З гэтага стану яе вырваў знаёмы і ў той жа час зусім нейкі інакшы голас яе старэйшага сына.

– Халуі прадажання!

Усё яшчэ не ўстаючы з долу, яна ўзняла голаў і праз слёзы ўбачыла, як Дрозд і з ім два паліцаі вывалаклі сына з сенцаў і пачалі груба круціць яго рукі, каб звязаць іх вяроўкай – канцом, што ўзялі ў Дразда.

– Бобікі. Будзе і на вас вяроўка!

– Маўчаць, шчанюк!

Паліцай, які быў у штанах навывпуск, коратка і моцна штурхануў яго каленам у живот, Алесь хіснуўся, але не ўпаў, і яна, зусім ужо губляючы над сабой уладу, закрычала:

– Сыночак!

Ён, аднак, нават не зірнуў у яе бок, твар яго быў гняўлівы і цвёрды, ён матнуў нагой у бацінку і выцяў паліцаю.

– Смерць Гітлеру!

– Ах так, шчанюк!

Дрозд дужа ўдарыў яго прыкладам, і ён упаў, – няўкладна, са звязанымі рукамі, плячмі на пляскаты ля парога камень. Яна падскочыла да пляменніка і, хапаючы яго за ногі ў брудных нячышчаных ботах, спрабавала спыніць, не даць біць сына. Але гэтыя ногі выцялі і адкінулі яе самую. Яна перавярнулася, захлынуўшыся ад болю ў грудзях.

– Ах так, шчанюк! – сказаў Дрозд. – Да сценкі яго!

Тыя два дужа рванулі сына за звязаныя рукі з долу, размашыста кінулі да патрэсканых бёрнаў сцяны, а Дрозд узняў свой карабін. Яна зноў падхапілася з месца, у гэты раз – ужо да сына, але над галавой яе грывнула, аглушыла. Алесь неяк дзіўна і жахліва напружыўся, вусны яго скрывіліся і галава бездапаможна ўпала падбародкам на грудзі. Ён споўз спіной па сцяне і ў недарэчна скурчанай позе застыў ля падмурка.

Тады яна зразумела, якую недаравальна жажлівую бяду наклікала на іх і на сябе таксама, ухапіла ля парога першае, што трапіла ёй на вочы – хварасціну, якой выганяла ўранку карову, і з безагляднаю лютасцю накінулася на Дразда.

– Гад, пошасць, забойца! Што ты нарабіў! Ірад, нечалавек!..

Яна меціла па галаве і па твары паліцай, але той увабраў галаву ў плечы, засланіўся локцем, і яна біла яго па гэтым ненавісным з паласатай павязкай лакцю, па чорнай пілотцы, пакуль Дрозд цяжкім жалезным прыкладам не адкінуў яе ад паркана.

– Прэч, гадаўка!

Аглушаная, яна зайшлася ад болю і змоўкла. Паліцай прывалок з гарода распластанае цела Сёмкі, кінуў яго на падворку і, задышліва адкашляўшыся, палез у кішэнь за махоркай. – А здорава ты яго – пад дых!– ваўкавата пахваліў яго Дрозд. Паліцай злосна вылаяўся:

– А што ж; туды-т яго враз! Не знаў ад каго. Ад міня не ўцекёць!

Задаволена мацюкаючыся, яны ўзяліся закурваць. Яна корчылася на маладой мураўцы, усё бачыла, але бадай нічога не заўважала і ні на што не рэагавала. Потым, калі трохі пацішэў балючы звон у галаве, паднялася, спачатку на калені, затым на свае босыя, скарэлыя ногі, акінула няцямяным, здзічэлым позіркам двор з нерухомымі цэламі яе сыноў. У яе ўжо вельмі нямнога засталася сілы, яна трымалася за паркан і так, перабіраючы рукамі, знясілена пайшла па-над ім да вуліцы. Паліцаі яе не спынялі і не крычалі, ды яна і не прыслухоўвалася ўжо ні да чаго ў гэтым свеце, страх яе сканаў увесь без рэшты. Яна дабрыла да калодзежа, упала жыватом на край яго прысадзістага аслізлага зруба і, убачыўшы ў ягонай глыбі далёкі праблеск святла, нібы за няздзейснай справядлівасцю таропка рынулася ў змрочную зыбкую пройму.

1966 г.

Круты бераг ракі

Звычайна ён прыходзіў сюды на заходзе сонца, калі міналася спёка і ля ракі на яе крутых, зарослых хмызняком берагах пачынала цягнуць прахалодай. Надвячоркам амаль сціхаў вечер, знікала дакучлівая рабізна на вадзе, наставаў час начное рыбалкі. Прыезджыя з горада рыбакі таропка растыкалі па камяністых водмелях кароценькія вудзільні донак і тут жа, кінуўшы на траву якую адзежыну, рыхтаваліся скаратаць на ёй нядоўгую ліпнёвую ноч.

Пятровіч выходзіў з травяністага ляснога раўка ад недалёкай прырэчнай вёскі і адзінока садзіўся на краі камяністага, амаль навіслага над вадой абрыву. Яго тут многія ведалі і зводдаль жартоўна гукалі, задаючы пустыя, неабавязковыя для адказу пытанні. Заняты сабой, ён болей маўчаў, не дужа ахвотна ішоў да людзей, відавочна, шануючы адзіноту на сваім улюбёным, нязручным для рыбалкі, заваленым камянямі абрыве. З гэтага абрыву адкрываўся, аднак, шырокі пагляд на ўвесь, ужо ахінуты вечаровым прыцемкам, бераг, плаўную паваротку ракі з парожыстым перакатам пасярэдзіне і высокай аркай чыгуначнага моста воддаль, на пакаты схіл таго берага, які нанач густа цягнуўся хвойнікам.

Яшчэ праз нядоўгі час з-за бетонных апор моста на прыціхлы рачны прастор імкліва вылятала «казанка». Расцягваючы ва ўсю шырыню ракі даўжэзны шлейф кармавой хвалі, яна спрытна мінала перакат і, памалу збаўляючы газ, кіравала да берага. Яшчэ здалёку было відаць, што ў лодцы сядзела двое — Юра Бартош, хлопец з суседняй вёскі, які працаваў у горадзе і наезджаў у тутэйшыя мясціны палавіць рыбу, і яго гарадскі прыцель Каламіец,

з якім яны ўдвух купілі гэтую срабрыстую «казанку» з новым дваццаціпяцісільным маторам.

Як і заўжды, у той вечар за рулём сядзеў Каламіец, крутаплечы чалавек з шырокімі даланямі рук і цяжкаватым позіркам з-пад доўгага цэлулоіднага казырка насунутай на лоб фуражкі. Паволі збаўляючы абароты вінта, ён упэўнена набліжаўся да берага, на якім ужо згледзеў адзінокую постаць Пятровіча.

– Ану падхапі! – крыкнуў ён, спыніўшы матор, і яго басавіты голас над ціхай ракой прагучаў дабрадушнай камандай.

– Навошта! – нязгодна прыўстаў за ветравым шклом Юра. – Я сам.

Ён спрытна перакінуў цераз верх шкла сваё загарэлае, доўгае, надта худое цела, лёгка саскочыў на водмель, і яны разам з Пятровічам усцягнулі між камянёў на бераг дзюралевы нос лодкі. Затым, пакуль Каламіец адкідваў і зачахляў матор, Юра ў закасаным да каленяў сінім трыко выгружаў з лодкі рукзакі, донкі, падкормку, а стары, як незнаёмы, стаяў убаку і пільна глядзеў цераз раку на той яе бераг, быццам убачыў там штось дужа важнае. Ён засяроджана, амаль маркотна маўчаў, і яны, занятыя сваёй справай, не звярталі на яго ўвагі.

Калі несамавітыя рыбацкія прылады былі выгружаны на бераг, Каламіец адразу ж, пакуль не зусім змерклася, заняўся сваімі донкамі, а Юра, скалануўшыся ад рачной свежасці, пачаў таропка нацягваць на плечы сіні спартыўны світэр.

– А як у нас з палівам сёння, Пятровіч?

Стары не адразу адарваў ад таго берага засяроджаны позірк сваіх выцвілых, слязлівых вачэй і вузлаватымі пальцамі вялікіх спрацаваных рук перабраў роўны рад гузікаў на зашмальцаваным вайсковым кіцелі.

– Трошкі назбіраў. Але мала.

Юра па камянях узбег на абрыў, дзе ляжаў невялікі, перавязаны старой вяроўчынай абярэмак ламачча.

– Э, малавата.

— Я так думаю, што звечара можна і не паліць,— марудна, са старэчым намаганнем ускараскаўшыся на абрыў, ціха загаварыў Пятровіч. — Пад ранак лепей. На золку. Звечара людзі ўсюды, калі што — памогуць. А як пад ранак паснуць, хто паможа?..

Цяжка валюхаючы ў кірзавых ботах, ён адышоўся на тры крокі ад абрыву і сеў. З расстаўленых каленяў звесіў свае пакручастыя, быццам карані, рукі. Пакутлівы позірк яго хутка абмінуў раку і звыкла спыніўся на тым яе беразе з лодкамі.

— Яно можна і пад ранак, — згадзіўся Юра. — Але і ноччу не шкодзіла б. Можа, я падскачу, таксама чаго пашукаю ў рове?

— Ноччу б, ведама, лепш... А то як пазнаюць? Раней дык вунь хутар быў. А цяпер няма. І гэты мост новы... Незнаёмы.

— Вось іменна.

— Маленькае хаця б вогнішча. Абы тлела — будзе відаць.

— Павінна відаць. Дык я збегаю, пакуль не сцямнела! — крыкнуў Юра з абрыву, і Каламіец унізе, які начапляў прынаду, незадаволена павярнуў галаву.

— Ды кінь ты з гэтымі вогнішчамі! Пакуль не сцямнела, давай лепш пазакідаем! А то агонь — патрэба такая! Вунь кухвайка ёсць.

— Ладна, я зараз! — кінуў Юра і спрытна палез па камянях да прыцьмелага ў раўку алешніку.

Стары моўчкі прыціх на абрыве, і яго аброслы шызаю шчэціцю твар набыў выраз даўняй звычайнай задумлівасці. Ён доўга напружана маўчаў, машынальна перабіраў пальцамі зашмальцаваныя краі кіцеля з чырвоным кантом па краі; слязлівыя вочы яго праз пагусцелыя прыцемкі ўпарта глядзелі ў зарэчча. Каламіец унізе размахаву канцом вуды і спрытна закінуў яе ў маслянiстую гладзь вады. Бліснула капронавая нітка, і грузіла з ціхім пляскам нырнула ў раку, леска струнка напялася.

— Ты во што, дзед,— рэзкім голасам сказаў ён пад абрываам. — Гэта самае... Кінь дурня строіць, камедзію іграць. Ніхто ўжо адтуль не прыйдзе. Паняў?

Пятровіч на абрыве лёгенька схамянуўся, нібы ад сцюжы, пальцы яго на грудзях знерухомелі, і ўся яго худая, кастлявая пад кіцелем постаць жаласна сцялася. Але позірк яго па-ранейшаму быў скіраваны да зарэчнага берага, на гэтым, здавалася, ён не заўважаў нічога і быццам бы нават і не ўчуў няласкавых слоў Каламійца.

– Яны ўсе цябе, дурня, за нос водзяць, паддакваюць. А ты і верыш. Прыйдуць! Хто прыйдзе, калі ўжо вайна вунь калі скончылася? Падумай сваёй башкой!

На рацэ прыкметна цямнела, шэрая постаць Каламійца невыразна варушылася ля самай вады. Болей ён нічога не сказаў старому і ўсё корпаўся з прынадай і вудамі, а Пятровіч, нейкі час пасядзеўшы моўчкі, загаварыў з застарэлым болем у голасе:

– Дык гэта малодшы, Толік... Вачамі захварэў. Як змеркнеца, нічога не бачыць. Старшы, той бачыў добра. А калі са старшым што?

– Што са старшым, тое ж і з младшым! – груба абарваў яго Каламіец. – Вайна, яна ні з кім не лічылася. Ды яшчэ ў блакаду.

– Ну, – проста пагадзіўся стары, – акурат блакада была. Толік з вачамі тыдзень дома пабыў, аж прыбягае Цімка. Кажа: абклалі з усіх бакоў, сілы мала. Ну і пайшлі. Малодшаму шаснаццаць было. Астацца прасіў – ні ў якую. Як немцы ўбярцуца, сказалі, каб агонь расклаў...

– Ось галава! – здзівіўся Каламіец і нават прыўстаў ад сваіх донак. – Сказалі раскласці! Калі гэта было?

– Ды на Пятроўку. Акурат на Пятроўку, ага...

– На Пятроўку! А колькі таму гадоў мінулася, ты кумекаеш?

– Гадоў?

Стары, падобна было, з нейкай натугай здзівіўся і, здаецца, упершыню за вечар адарваў свой пакутлівы позірк ад ледзьве прыкметнай у прыцемках лясной лініі берага.

– Ага, гадоў? Гэта ж дваццаць пяць год мінула, галава яловая.

Грымаса глыбокага болю зморшчыла старэчы твар чалавека, вусны яго зусім па-дзіцячы крыўдліва скрывіліся,

вочы хуценька зацепалі, і погляд разам патух. Відаць, толькі цяпер да азмрочанай яго свядомасці пачаў марудна даходзіць увесь страшны сэнс яго шматгадовай памылкі.

– Дык гэта... Дык гэта як жа?..

Напяўшыся ўвесь у якімсь намаганні, ён, мабыць, хацеў і не мог выказаць нейкую важную сваю думку, і ад гэтага непасільнага напружання позірк яго стаў нерухомы, страціў усякі сэнс і зышоў з таго берага.

– Я табе кажу: кінь гэтыя забаўкі, – корпаючыся ля вудаў, пераконваў унізе Каламіец. – Рабят не дажджэшся. Амба абодвум. Ужо дзе-небудзь і костачкі згнілі. Ось так!

Стары маўчаў, як глухі. Заняты сваёй справай, змоўк і Каламіец. Змрок блізкае ночы хутка паглынаў бераг, хмызняк; з прырэчных равоў папаўзлі шэрыя космы туману, лёгкія дымчастыя струмені яго пацягнуліся над ціхім плёсам. Хутка цягнучы, рака губляла свой дзённы бляск, змрочны той бераг шырока перакуліўся ў яе глыбіню і заліў рачную паверхню гладкай блішчатай цемрай. Землечарпалка перастала грукатаць, зрабілася зусім глуха і ціха, і ў гэтай цішыні тоненька і нясмела, як з невядомае далёкай далечы, дзынкнуў маленькі званочак донкі. Захлябаўшы па камянях падэшвамі гумовых ботаў, Каламіец кінуўся да крайняй на беразе вуды і таропка заматляў рукамі – пачаў даставаць з вады леску. Ён не бачыў, як Пятровіч на абрыве трудна падняўся, хіснуўся і згорблена, моўчкі падаўся кудысь – прэч з гэтага берага.

Напэўна, у цемры стары недзе размінуўся з Юркам, каторы неўзабаве паявіўся на абрыве, кінуў пад ногі траскотнае бярэма галля – вялікае бярэма побач з маленькай вязанкай Пятровіча.

– А дзе дзед?

– Глядзі, якога ўзяў! – пачуўшы сябра, бадзёра загаварыў пад абрываам Каламіец. – Колбік што трэба! Паўкіла пацягне.

– А дзе Пятровіч? – адчуўшы нядобрае, паўтарыў сваё пытанне Юра.

– Пятровіч? А хто яго... Пайшоў, мабыць. Я сказаў яму...

– Як? – аслупянеў на абрыве Юра. – Што ты сказаў?

– Усё сказаў. А то водзяць за нос. Паддакваюць...
– Што ты нарабіў? Ты ж прыкончыў яго!
– Ды ўжо ж – прыкончыў. Жывы будзе!
– От жа калун! От жа тумак! Я ж табе казаў! Яго ж тут бераглі ўсе! Ашчаджалі. А ты?..

– Што там ашчаджаць! Хай праўду ведае.
– Такая праўда яго даканае. Яго ж сыноў абодвух забілі ў блакаду. А перад тым ён іх сам вунь туды на лодцы адвёз. І чакае.

– Чаго ўжо чакаць?

– А што ж, лепш не чакаць? Як жа тады жыць? Эх ты!

– Ну ладна, ладна...

– Ды не ладна! Пайшоў ты, ведаеш куды! Дзе мой рюкзак?

Пад завалочаным цемрай абрываю пачуўся ціхі стук камянёў пад нагамі, рэзкі лязг ланцуга па гулкай абшыўцы лодкі і неўзабаве некалькі крокаў, якія хутка заціхлі ўначы. Над берагам запанавала цішыня. Ледзьве пабляскаваючы аспіднай паверхняй, цякла ў вечнасць рака, і паступова ў розных мясцінах на нябачных у змроку яе берагах блізка і далёка загараліся кастры рыбакоў. Сярод іх у той вечар не загарэўся толькі адзін – на абрыве насупраць ляснога перавозу, дзе да ранку было незвычайна пустынна і глуха.

Не загарэўся ён і ў наступную ноч.

І, мабыць, не загарыцца ніколі.

1972 г.

Каментары

Сёмы том Поўнага збора твораў В. Быкава змяшчае апавяданні, пачынаючы ад самых першых і заканчваючы тэкстамі 70-х гадоў.

Пры падрыхтоўцы да друку ўлічваліся як апошнія па часе публікацыі, так і машынапісы, рукапісы аўтара. Ніжэй у каментарых прыводзяцца выяўленыя тэксталагічныя варыянты некаторых апавяданняў (дробныя стылёвыя праўкі не пазначаліся).

Першыя апавяданні («В тот день» і «В первом бою») Васіль Быкаў напісаў у 1949 г. на рускай мове (падпісаны яны былі «В. Быков» і «Василий Быков» адпаведна)¹. Літаратурнае імя

¹ Між тым, сам пісьменнік у якасці свайго першага твора называў апавяданне «Цвілі акацыі». У «далітаратурнай біяграфіі» «Пункціры жыцця» ён пісаў: «Вясной пад Дзень Перамогі накрэмзаў нешта, што назваў апавяданьнем “Цвілі акацыі” і, набраўшыся рашучасці, аднёс намесьніку рэдактара Андрэю Абрамавічу Салаўёву. Той прачытаў і сказаў у сакратарыяце, каб усе чулі: “Гэта заслугоўвае самай сур’ёзнай увагі”. 9 мая надрукавалі. То было, канешне, абсалютна бездапаможнае сачыненне на прапагандовую тэму, але той першы водгук старэйшага таварыша меў для мяне вырашальнае значэнне. Можна, упершыню тады я адчуў, што нешта ўмею. Хоць, канешне, адчуваньне тое было надта ілюзорнае» (Першопублікацыя: Быкаў В. Пункціры жыцця // Дзеяслоў, 2005, № 6 (19), с. 164). Аднак публікацыя апавядання ў асабістым архіве В. Быкава не захавалася, пакуль не ўяўляецца магчымым знайсці яе і ў архіве «Гродненской правды» — у тых падшыўках, што захоўваюцца ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі і

Васіль Быкаў з'явіцца праз амаль дзесяць гадоў. Гэта магло б адбыцца раней, але ў тым жа 1949 г. пісьменнік, які быў зноў прызваны на вайсковую службу, пакідае Гродна і едзе на Далёкі Усход. Менавіта на чужыне, адарваны ад радзімы і, па сутнасці, ад сучаснага літаратурнага працэсу, у 1951 г. ён піша два апавяданні (зноў жа на ваенную тэму) «Смерць чалавека» і «Абознік», прычым, што сімвалічна, ужо на беларускай мове. В. Быкаў пасля тлумачыў: «Первый рассказ я написал на Курильских островах, где продолжал службу в первые послевоенные годы. Я, да и не только я, а многие из фронтовиков ничего о войне не читали и читать не хотели. Война была еще слишком жива в нашем сознании. Мы старались как можно скорее от нее отрешиться, прервать эту связь с прошлым. Но по прошествии некоторого времени я стал читать книги о войне, написанные писателями довольно известными, но я останавливал себя на том, что эти рассказы о войне меня не удовлетворяют. Мне казалось, то, что я читал, никак не соответствовало моему личному опыту, как-то все было не так и не то. Вот почему я попробовал из чисто полемических побуждений написать свой первый рассказ»². А яшчэ ў 1965 г. так успамінаў пра тыя свае літаратурныя вопыты: «Але тая першая спроба п'яра не хутка ўбачыла свет, і не толькі таму, што час быў мала для яе прыдатны, але і па прычыне вечнае неадпаведнасці “должнаго и сущего”, калі ісціна знаходзілася ў занадта высокім бастыёне, каб з першага наскоку ўдалося яе дасягнуць»³.

ў Нацыянальнай кніжнай палаце Беларусі частка нумароў адсутнічае, і менавіта тых, дзе гэтае апавяданне магло быць надрукавана (у прыватнасці, частка майскіх-чэрвеньскіх нумароў «Гродненской правды» за 1948 г.). Аднак рэдакцыйная калегія гэтага ПЗТ не губляе надзеі адшукаць твор да заканчэння падрыхтоўкі дадзенага збору.

² Трава после нас / Инт. Ф. Медведева с В. Быковым // Огонек, 1987, № 19, с. 4.

³ Быкаў В. Тры абзацы аўтабіяграфіі // Пра час і пра сябе: Аўтабіяграфіі беларускіх пісьменнікаў. Мн.: Беларусь, 1966. С. 57.

Апавяданні «Смерць чалавека» і «Абознік»⁴ Быкаў даслаў у часопіс «Полымя» М. Лынькову⁵. «Прозу гэтага аўтара любіў з даўняй пары і, думалася, ягоная ацэнка будзе спрыяльнай, – прыгадваў ён пазней. – І праўда, даволі хутка (за якіх, можа, тры месяцы) атрымаў адказ – падрабязны разбор на некалькіх старонках. Як цяпер прыпамінаю, апавяданні былі даволі слабыя, і Міхасю Ціханавічу спатрэбілася нямала такту, каб нешта сказаць па сутнасці і не параніць аўтарскага самалюбства. Аўтар адчуў тое і болей не пісаў. Доўга не пісаў наогул»⁶. Падчас жа гутаркі з пісьменнікам і сябрам А. Адамовічам (у 1985 г.) скажа ўжо наступным чынам: «Ну, гаўняныя, канешне, апавяданні былі. Але ён [М. Лынькоў. – С. III.] прыслаў падрабязны разгляд: мовы і ўсяго... Разгляд, я сказаў бы, шкалярскі быў, і ў канцы такая прыпіска, што ён – чалавек вельмі заняты, у Акадэміі, у Саюзе пісьменнікаў... Я зразумеў, што больш турбаваць не трэба. І я больш не пісаў. Кінуў гэта ўсё»⁷. Між тым, значна пазней Л. Лазараў ад-

⁴ У 2001 г. В. Быкаў скажа, што дасылаў М. Лынькову тры апавяданні (гл.: Гімпелевіч З. Літаратура застанецца: Фрагменты інтэрв'ю з Васілём Быкавым / Пер. з англійскай В. Кавалёвай // Беларусь і беларусы ў прасторы і часе: Зб. да 75-годдзя прафесара Адама Мальдзіса / Пад рэд. С. Запрудскага, А. Фядуты, З. Шыбекі. Мн.: Лімарыус, 2007. С. 353), аднак, па-першае, згадак пра тры апавяданні больш нідзе не сустракаецца; па-другое, у бібліяграфіі В. Быкава больш няма апавяданняў, якія былі б датаванымі пачаткам 50-х гг.

⁵ Лынькоў Міхась (Міхаіл Ціханавіч) (1899–1975) – празаік, крытык, літаратуразнавец, народны пісьменнік БССР (1962).

⁶ Быкаў В. Доўгая дарога дадому. Кніга ўспамінаў. Мн.: ГА БТ «Кніга», 2003. С. 165.

⁷ Чалавецтва ўратаецца падзвігам духу: Гутарка Алеся Адамовіча з народным пісьменнікам Беларусі Васілём Быкавым / / Полымя, 2001, № 6, с. 244. Аднак нельга не прывесці яшчэ адну істотную заўвагу В. Быкава – ужо ў 2001 г. ён скажа: «Калі ласка, зразумейце мяне слушна: я зусім не вінавачу яго [М. Лынькова. – С. III.] ў тым, што ён выліў цэбар халоднай вады на маю тагачасную чулліваю сарамяжлівасць. Лынькоў

значыць: «Эти рассказы уже заслуживают внимания»⁸. Таксама на думку іншага крытыка – І. Дзядкова, «еще больше начал будущей быковской прозы было в рассказе “Смерть человека”»⁹.

Аднак крытычны водгук М. Лынькова пачатку 50-х гг. прымусіць Быкава на пэўны час замаўчаць (праўда, «далёкаўсходнія» апавяданні ён усё-такі надрукуе, але ў 1957 г.).

Вярнуўшыся ў Гродна напрыканцы 1955 г. і пэўны час застаючыся без працы (у «Гродненскую правду» былога супрацоўніка возьмуць толькі на наступны год), В. Быкаў пачынае ўсур’ёз займацца літаратурай. Сам ён прыгадваў: «У тую зіму пісаў шмат, менш перапісваў і амаль усё рваў на шматкі. Мала што даводзіў да фіналу. Звычайна з ахвотай пачаўшы, неўзабаве траціў цікавасьць. Усё здавалася кепска. Даўшы паляжаць зь месяц, выбраў адно апавяданьне, аднёс у рэдакцыю. Міхась Васілёк¹⁰ сказаў, што будзе паседжаньне літгуртка, дзе і абмяркуем.

Тое паседжаньне абласных аматараў літаратуры было першым і апошнім, у якім я ўдзельнічаў. [...] Мне там далася болей за ўсіх. Рэдакцыйны супрацоўнік пападкрэсьліваў чырвоным алоўкам усе займеньнікі ён, атрыманая дужа страката і ўражліва. Тое і вырашыла прысуд: дрэнна ва ўсіх адносінах. Зрэшты, у іншых было ня лепш. Пасьля Міхась Восіпавіч суцяшаў, што напачатку так бывае заўжды, хаця для мяне тое было слабым суцяшэньнем. Няхутка пасьля таго наважыўся паслаць новае апавяданьне ў часопіс “Маладосьць” [...]»¹¹. Размова, трэба думаць, пра апавяданне «Страта» (1956), – менавіта з публікацыі

быў і застаецца адным з маіх улюбёных беларускіх пісьменнікаў» (Гімпелевіч З. Літаратура застанецца // Беларусь і беларусы ў прасторы і часе. С. 353).

⁸ Лазарев Л. Василь Быков: Очерк творчества. М.: Художественная литература, 1979. С. 12.

⁹ Дедков И. Василь Быков. Повесть о человеке, который выстоял. М.: Советский писатель, 1990. С. 33.

¹⁰ Васілёк Міхась (Касцевіч Міхаіл Восіпавіч) (1905–1960) – паэт, перакладчык, працаваў у газеце «Гродненская правда».

¹¹ Быкаў В. Доўгая дарога дадому. С. 200.

гэтага твора ў «Маладосці» і пачалася, па словах пісьменніка, яго «сталая літаратурная творчасць»¹².

Е. Асокіна напіша пра першыя літаратурныя творы Быкава: «Яны разнастайныя па тэматыцы і па жанру. Іх можна раздзяліць на 3 групы: апавяданні аб вайне, апавяданні аб мірным жыцці савецкіх людзей і сатырычныя апавяданні і фелетоны.

Усё гэта адлюстроўвае творчыя пошукі пачынаючага пісьменніка.

Апавяданні Быкава аб сучаснасці не ўздываюць вялікіх грамадскіх тэм. Аўтар бярэ сюжэты для іх з паўсядзённага жыцця самых звычайных людзей. Гэтым апавяданням не ўласцівы вострыя канфлікты, драматычныя сітуацыі, тут гутарка ідзе аб жыцці і смерці герояў, не адбываюцца подзвігі. Але ў кожным апавяданні прысутнічае духоўная тэма, якую пісьменнік вырашае ў адных выпадках больш удада, у іншых менш»¹³.

Запаўняючы ў 1958 г. анкету для асабістай справы Саюза пісьменнікаў, у ліку першых сваіх твораў В. Быкаў палічыць мэтазгодным назваць толькі наступныя: «Тупое пярэ» (1956), «Страта» (1956), «Даведка» (1956), «Радасць» (1957), «Патрулі» (1957), «Ход канём» (1956), «Буйны выйгрыш» (1957), «Арганізатар» (1957), «Смерць чалавека» (1957), «Уначы» (1957), «Апендыцыт» (1957), «Дапякло» (1957), «На возеры» (1958), «Ціхая жонка» (1958)¹⁴.

Не ўсе з апавяданняў 40–50-х і пачатку 60-х гг. пабачаць свет і ў кніжных выданнях: «Ход канём» (1960, Бібліятэка «Вожыка», № 4), «Жураўліны крык» (Мн.: Дзяржвыд БССР, 1960), зб. «Журавлиный крик», М.: Советский писатель, 1961, «Адна ноч» (Мн.: Беларусь, 1965), а ў шасцітомны Збор твораў, які будзе выдавацца ў 1990–1994 гг., пісьменнік уключыць толькі дзесяць апавяданняў перыяду

¹² Быкаў В. Пункціры жыцця // Дзеяслоў, 2005, № 6 (19), с. 176.

¹³ Асокіна Е. Васіль Быкаў // Наднёманскія былі: Зб. артыкулаў і нарысаў. Мн.: Беларусь, 1968. С. 199–200.

¹⁴ Справка о произведениях писателя // Асабістая справа пісьменніка Быкава В. У. Архіў Саюза беларускіх пісьменнікаў. Некаторыя даты ўказаны вельмі прыблізна.

50–70-х гг.: «Ранак-світанак», «Страта», «Адна ноч», «Эстафета», «На ўсходзе сонца», «На сцяжыне жыцця», «Незагойная рана», «Круты бераг ракі», «Салдацкі лёс», «Дарога дадому». Калі ж на пачатку 2000-х гг. «Мастацкая літаратура» задумае палітычную авантуру па быццам бы выданні васьмітомніка пісьменніка (але не будзе надрукаваны ніводны том), В. Быкаў у адным з варыянтаў плана-праспекта 1-га тома пажадае ўбачыць перавыдадзенымі, акрамя ўключаных у шасцітомнік, толькі «Чацвёртую няўдачу» і «Сваякоў», супраць жа апавяданняў «Смерць чалавека» і «Абознік», якія складальнік Збору твораў М. Тычына таксама прапаноўваў уключыць, напіша: «Апусціць»¹⁵. Зыходзячы з гэтага, можна зрабіць выснову, наколькі крытычна ставіўся з цягам часу сам аўтар да першых сваіх праявічых вопытаў.

Звярнуўшыся да жанра аповесці («Апошні баец» (1957), «Жураўліны крык» (1959), «Здрада» (1960–1961), «Трэцяя ракета» (1961), В. Быкаў усё радзей піша апавяданні, якія, па словах М. Тычыны, выступаюць у ролі, умоўна кажучы, дапаможнага жанру, яны цяпер будуць заставацца ў цені знакамітых аповесцяў пісьменніка. Толькі пачынаючы з 90-х гг. і да апошняга ў яго жыцці 2003 г. В. Быкаў зноў пачне актыўна выкарыстоўваць гэтую малую праявічую форму дзеля выказвання сваіх пачуццяў, жыццёвых поглядаў і маральна-этычных прынцыпаў (апавяданні названага перыяду прадстаўлены ў 1–2-м тамах гэтага Збору твораў). Васіль Быкаў завершыць сваю літаратурную дзейнасць тым, з чаго пачынаў больш за паўстагоддзя таму. Кола такім чынам замкнецца...

В тот день (стар. 5)

Упершыню – газ. «Гродненская правда», 1949, 22 мая. Друкуецца паводле гэтай публікацыі. Пазней апавяданне ніколі не друкавалася і на беларускую мову перакладзена не было.

Датуецца 1949 г.

¹⁵ Архіў В. Быкава.

В первом бою (стар. 10)

Упершыню – газ. «Гродненская правда», 1949, 19 июня. Друкуецца паводле гэтай публікацыі. Пазней апавяданне ніколі не друкавалася і на беларускую мову перакладзена не было.

Датуецца 1949 г.

В. Быкаў прыгадваў: «Напісаў і надрукаваў у сваёй газеце яшчэ адно апавяданьне “У першым баі”. Гэтае мне падабалася больш за папярэдняе, і таксама пра вайну. Асабліва яго ніхто не чытаў, водгукаў не было. Письменьніцкага асяроддзя тады ў Гародні не існавала, нават літаб’яднаньня не было. Што-нішто было ў мяне напісана і яшчэ, але пакуль я нікому тое не паказваў, ды і сам быў ім незадаволены»¹⁶.

Пэўна, невыпадковым было імя галоўнага героя апавядання, – менавіта так звалі двух франтавых сяброў пісьменніка – абодвух Мікалаямі Беражнымі¹⁷.

Смерць чалавека (стар. 18)

Упершыню – газ. «Літаратура і мастацтва», 1957, 5 кастр. У перакладзе на рускую мову пад назвай «Последний шаг» – часоп. «Советская Отчизна», 1959, № 1 (пер. В. Ільінскага).

Друкуецца паводле: зб. «Жураўліны крык». Мн.: Дзяржвыд БССР, 1960. Там жа пазначаны год напісання – 1951.

Пра гэтае апавяданне В. Быкаў пісаў у 1957 г. у лісце да Е. Лось¹⁸: «І наогул (прызнаюся Вам), мяне вельмі вабіць душа чалавека, драматызм, значнасць падзей, праяўленне

¹⁶ Быкаў В. Пункціры жыцця // Дзеяслоў, 2005, № 6 (19), с. 164–165.

¹⁷ Гл.: Быкаў В. Пункціры жыцця // Дзеяслоў, 2005, № 4 (17), с. 185.

¹⁸ Лось Еўдакія Яўкаўлеўна (1929 – 1977) – беларуская паэтэса.

найтанчэйшых унутраных рухаў чалавечай натуры. Праўда, цяжка гэта даецца ў літаратуры, патрабуе шмат працы і не заўсёды бывае прызнана. Тая-ж “Смерць чалавека”, з якой мяне віншавалі нядаўна Сабаленка¹⁹ і Ткачоў²⁰, як з «новай творчай удачай», напісана мною ў 52[-м] г., год праяжала ў “Полымі” і была вернута не прачытанай У. Карпавым²¹. Яе ж у свой час забракаваў М. Лынькоў, да якога я меў глупства звярнуцца за крытыкай. Маю “Страту”, якая вытрымала 3 выданні (у тым ліку адно ў маскоўскім часопісе) зусім забракаваў летась Піліп Пестрак²². Адным словам, цяжка цяпер правінцыяльнаму прэзаіку, які напіша нейкую “няўцямную” штукавіну і мае “нахабнасць” дамагацца заняць ёй паўстаронкі сталічнай газеты ці добры кавалак у ілюстраваным часопісе, на якім (кавалку) мог-бы змесціцца “актуальны” артыкул пра неіснуючае соцсаборніцтва на якім-небудзь прадпрыемстве»²³.

У фондзе газ. «Літаратура і мастацтва» захаваўся машынапіс апавядання з рэдактарскай праўкай: БДАМЛіМ. Ф. 12, воп. 1, адз. зах. 225, арк. 1–11. Па ім можна прасачыць тую праўку, якія былі зроблены падчас падрыхтоўкі твора да друку ў газеце і ў кніжным выданні. У асноўным гэта стылістычныя праўкі і некаторыя не надта істотныя скарачэнні, якія не змяняюць сэнсу твора, – за выключэннем толькі таго, што слова «Чалавек» пісалася В. Быкавым з вялікай літары, ды наступных вялікіх скарачэнняў:

¹⁹ Сабаленка Раман Карпавіч (1907–1975) – намеснік галоўнага рэдактара газеты «Літаратура і мастацтва».

²⁰ Ткачоў Мікола (Мікалай Гаўрылавіч) (1918–1979) – прэзаік, перакладчык, галоўны рэдактар газеты «Літаратура і мастацтва» (1957–1959).

²¹ Карпаў Уладзімір Барысавіч (1912–1977) – літаратуразнавец, крытык, прэзаік, загадчык аддзела прозы і крытыкі часопіса «Полымя» (1947–1960).

²² Пестрак Піліп Сямёнавіч (1903–1978) – прэзаік, перакладчык.

²³ З ліста ад 24 кастр. 1957 г. Беларускае дзяржаўнае архіў-музей літаратуры і мастацтва (далей – БДАМЛіМ). Ф. 141, воп. 3, адз. зах. 116, арк. 3–4.

Стар. 19. *...ціха варушыў самыя тонкія галінкі.* – Пасля гэтага сказа ў машынапісе ішоў абзац, які быў скарочаны ў «лімаўскай» і ў кніжнай публікацыях: «Жыццё апошні раз вярнулася к Чалавеку, каб назаўсёды пакінуць яго. Ён апрытомнеў, каб у свядомасці адчуць свае пакуты і слабеючым розумам лічыць апошнія ўздыхі. Зачым гэта? Хіба мала выпрабаванняў выпала яму ў жыцці, хіба чара жахлівых пакут не выпіта ім да дна? Хіба не лепш было-б²⁴ ужо не апрытомнець, ці загінуць адразу пад гусеніцай варажага танка? Дык не, прырода ці выпадак зрабілі інакш, і цяпер вось ён будзе адчуваць, як з кожнай хвілінай знікае з цела жыццё, пасля ўсяго, што зроблена для яго за шмат пражытых год».

Стар. 20. *...прыйшлася дарэчы...* – Пасля гэтага сказа ў машынапісе ішоў абзац, які быў скарочаны ў абодвух публікацыях: «Гэта будзе палёгкай чалавеку, скарочіць яго пакуты перад непазбежным канцом. Яно нядобра дабіць сябе, але хай даруе радзіма гэта таму, хто без рэшты аддаў сваё жыццё за яе».

Стар. 22. *...гэта недзе адкрылася рана.* – Пасля гэтага сказа ў машынапісе ішоў абзац, які быў зноў жа скарочаны ў абодвух публікацыях: «Чалавек бачыў, як сцякло ў траву некалькі буйных кропель, але цяпер ужо яму не шкада было сваёй крыві. Ён не выцер руку, нават не звярнуў на тое ўвагі, толькі для адзінай мэты трацячы зараз небагатыя свае сілы».

Стар. 27. *Так памёр Чалавек.* – Гэты апошні сказ у машынапісе адсутнічае. У «ЛіМе» апаবাদанне заканчвалася наступным чынам: «Чалавек і мёртвы змагаўся...»

Абознік (стар. 28)

Упершыню пад назвай «Абознік» – газ. «Гродзенская праўда», 1957, 26 мая. Пад назвай «Уначы» – газ. «Літатура і мастацтва», 1957, 14 снеж.

²⁴ Тут і далей захоўваецца арфаграфія арыгінала.

Друкуецца паводле: зб. «Жураўліны крык», Мн.: Дзяржвыд БССР, 1960. Там жа пазначаны год напісання – 1951.

У фондзе газ. «Літаратура і мастацтва» захаваўся машынапіс апавядання пад назвай «Уначы»: БДАМЛіМ. Ф. 12, воп. 1, адз. зах. 244, арк. 1–9. Шматлікія рэдактарскія праўкі датычацца толькі стылю і не ўплываюць на сэнс і змест твора.

Страта (стар. 36)

Упершыню – часоп. «Маладосць», 1956, № 10; «Нёман»: Зб. твораў пісьменнікаў Гродзенскай вобласці. Гродна, 1956.

Друкуецца паводле: Зб. тв.: У 6 т. Мн.: Мастацкая літаратура, 1994. Т. 6. Там жа пазначаны год напісання – 1956.

В. Быкаў прыгадваў: «Гэта падвойная ўдача²⁵ адразу ўзняла аўтара ў яго ўласных вачох, хаця зьнешне я стараўся быць як мага спакайнейшым. Мабыць, баяўся спалохаць нечаканую ўдачу. Тым болей што, прачытаўшы абодва тэксты, знайшоў там масу слабін і нават недарэчнасцяў, з чаго доўга пакутваў. Тыя перажыванкі імкнуўся заглушыць працай над новымі рэчамі, калі, здавалася, напішацца лепш. Бо ўжо займеў нейкі вопыт.

На жаль, лепей усё не пісалася»²⁶.

Падчас падрыхтоўкі 4-томнага Зб. тв. (Мн.: Мастацкая літаратура, 1982) В. Быкаў унёс у апавяданне некаторыя змены, якія ў асноўным датычыліся стылю, аднак было і некалькі прыкметных правак. У шасцітомніку твор быў апублікаваны ў гэтай новай рэдакцыі.

Стар. 36. *Над шэрай кучай зямлі пад плотам перасталі ўзлятаць угору дробныя камякі і паказалася аблезлая пілотка і кірпаты, апечаны сонцам твар.* – У ранейшай рэдак-

²⁵ Публікацыя «Страты» ў «Маладосці» і маскоўскім часопісе «Советский воин» (1957. № 4; пер. Я. Плехова).

²⁶ Быкаў В. Доўгая дарога дадому. С. 203.

цы: «Малады баец Матузка капаў свой акупчык. Ён углыбіўся ў зямлю так, што не відаць было нават аблезлай яго пілоткі і толькі высока ўгору ўзяталі гліністыя камякі зямлі. Але воклік прымусіў яго спыніць працу, і над брустверам паказаўся запэцканы зямлёю кірпаносы твар».

Стар. 36. *...ён спрытна выскачыў з акупчыка...* – У ранейшай рэдакцыі: «ён спрытна выкінуў з акупчыка гнуткае цела».

Стар. 37. *...будзе нешта сур'ёзнае.* – У ранейшай рэдакцыі: «будзе сапраўдны бой».

Стар. 37. *«Міны», – падумаў Матузка і здзівіўся...* – У ранейшай рэдакцыі: «“Міны”, – падумаў Матузка, услухоўваючыся, як халадзе на сэрцы, а праз момант здзівіўся».

Стар. 37. *...на спустошанай вайною зямлі.* – У ранейшай рэдакцыі далей ішло: «Лясны маладняк таксама карыстаўся людской няўвагай і спакваля падступаў да лазні. Узмежак, што цягнуўся ад яе да лесу, ужо быў добра абжыты кустамі лазняку і алешнікам».

Стар. 39. *...ён перастаў турбавацца.* – У ранейшай рэдакцыі: «ён перастаў дрыжэць».

Стар. 42. *Ён дастаў з рэчавага мяшка пагнуты кацялок і павольнай хадюю падаўся за лазню.* – У ранейшай рэдакцыі: «Ён дастаў з рэчавага мяшка пагнуты абдзёрты кацялок і непаспешлівай хадюю дужага чалавека падаўся за лазню».

Стар. 43. *...лясныя абшары.* – У ранейшай рэдакцыі далей ішло: «Нервы ў нечалавечым напружанні ледзь вытрымлівалі гэтую д'ябальскую пробу металам. Амаль фізічны боль пранізваў усю істоту, і, хоць не было ран, Матузка дрэнна адчуваў, жывы ён, ці ўжо мёртвы».

Стар. 46. *...сутаргавай ліхаманкай.* – У ранейшай рэдакцыі далей ішло: «Матузка не адняў пальца ад спуску, пакуль парожні дыск не спыніў чаргі».

Тупое пярэ (стар. 49)

Упершыню – газ. «Літаратура і мастацтва», 1956, 15 верас.; «Нёман»: 36. твораў пісьменнікаў Гродзенскай вобласці. Гродна, 1956.

Друкуецца паводле другога выдання. Датуецца годам апублікавання.

У фондзе газ. «Літаратура і мастацтва» захаваўся машынапіс апавядання з падзагалоўкам «Апавяданне былога селькора» і рэдакцыйным штампам на першым аркушы зверху: «АТРЫМАНА 5 верасня 1956 г. № 969 Подпіс [неразб.]». Захоўваецца: БДАМЛіМ. Ф. 12, воп. 1, адз. зах. 125, арк. 1–5. Напрыканцы тэкста В. Быкавым напісана: «[г. Гродна,] рэдакц. “Гродзенскай праўды”».

Зыходзячы з машынапісу, можна прасачыць, якія змены былі зроблены ў апавяданні падчас падрыхтоўкі яго да друку ў альманаху «Нёман». Аднак тая акалічнасць, што тэксты ў «Нёмане» і «ЛіМе» ў асноўным супадаюць (ад-розніваецца толькі канцоўка – у «ЛіМе» яна скарачана, у альманаху адпавядае машынапісу), дазваляе меркаваць, што твор мог быць дапрацаваны самім аўтарам. Ніжэй прыводзім найбольш значныя скарачэнні, якія былі зроблены падчас першых публікацый:

Стар. 49. *Я быў выкладчыкам...* – Перад гэтым сказам ішлі наступныя: «Гэта была вельмі пакутлівая праца. Я, нібы заклёты, ад ранку і да позняй ночы сядзеў над вучнёўскім сшыткам ля расчыненага вакна. Дні стаялі ветраныя, у садку бясконца мігацелі дробныя блікі, шумела вецце, і гэтакім-жа тлумным шумам поўнілася мая галава. Я пісаў, закрэсліваў, грыз канец ручкі і пакрысе вымучваў патрэбныя словы. Колькі яны мне прынеслі пакут, гэтыя словы!»

Стар. 49. *...абыходзіцца без іх?* – Пасля гэтых слоў ішоў наступны сказ: «Да таго-ж я не баюся працы і вельмі хацеў зрабіць свой допіс менавіта такой, усебакова цудоўнай штуковінай».

Стар. 50. *Не ў стане сайладаць...* – Перад гэтым сказам ішоў наступны: «Здавалася, на тым пакуты павінны былі-б скончыцца, але атрымалася інакш».

Стар. 50. *...прозвішчы шчаслівых аўтараў.* – Пасля гэтага сказа ішоў наступны: «Так прадаўжалася шмат часу, я, здаецца, зноў пачаў худзец, а мая цікаўная гаспадыня

спагадліва пазірала на мяне, часам напамінаючы пра дзявочае непастаянства, і чамусьці ўздыхала».

Стар. 51. *І пэўна я вярнуўся б назад, калі б у гэты час на парозе не з'явіўся высокі, вельмі худы і амаль жоўты чалавек у акулерах, які здаўся мне хворым.* – У машынапісе гэты сказ выглядае інакш: «Пэўна я вярнуўся-б назад ад яго скрыпучых прыступкаў, калі-б у той час не расчыніліся дзверы і на парозе не з'явіўся высокі вельмі худы і амаль жоўты чалавек у акулерах. Яго выгляд быў гэтакі апатычны, што здаваўся ён хворым і моцна пакутуючым».

Стар. 51. *Я павітаўся, пастаяў крыху і затым накіраваўся да чалавека, ля якога гудзеў той вентылятар.* – У машынапісе гэты сказ выглядае інакш: «Павітаўшыся, я пастаяў крыху і, разважыўшы аб субардынацыі ў гэтым пакоі, накіраваўся да таго вентылятара».

Стар. 51. *...потым яшчэ і яшчэ...* – Пасля гэтага сказа ішлі два наступныя: «Не маючы моцы захаваць спакой, я ўсхапіўся над сталом і жажнуўся яшчэ больш: пад бязлітасным рэдактарскім пяром адзін за адным гінулі мае эпітэты, метафары, параўнанні, і немаведама што толькі заставалася там.

Я зусім разгубіўся і дрэнна адчуваў сябе».

Стар. 52. *Замест таго, каб абурыцца, ён неспадзявана гэтак ветліва...* – Пачатак сказа выглядае ў машынапісе наступным чынам: «Я думаў, што гэты бессардэчны чалавек мо' нават з лаянкай накінецца на мяне, але ён неспадзявана гэтак ветліва...»

Стар. 52. *Прозвішча пастуха было пераблытана...* – У машынапісе: «Прозвішча пастуха было пераблытана з прозвішчам даяркі...»

Даведка (стар. 54)

Упершыню – газ. «Літаратура і мастацтва», 1956, 17 лістап.

Друкуецца паводле: зб. «Ход канём». [Без м.], 1960 (Бка «Вожыка». № 4).

Датуецца годам апублікавання.

Машынапіс апавядання з вялікай аўтарскай праўкай і рэдакцыйным штампам на першым аркушы зверху «АТ-РЫМАНА 25 верасня 1956 г. № 1013 Подпіс [неразб.]» захоўваецца ў фондзе газ. «Літаратура і мастацтва»: БДАМЛіМ. Ф. 12, воп. 1, адз. зах. 140, арк. 1–6. Паводле яго публікацыя ў кнізе «Ход канём» у значнай ступені адпавядае аўтарскаму варыянту.

Ход канём (стар. 59)

Упершыню – часоп. «Вожык», 1956, № 22.

Друкуецца паводле: зб. «Ход канём». [Без м.], 1960 (Б-ка «Вожыка». № 4).

Датуецца годам апублікавання.

Уначы (стар. 64)

Упершыню пад назвай «Патрулі» – часоп. «Маладосць», 1957, № 5.

Друкуецца паводле: зб. «Жураўліны крык». Мн.: Дзяржвыд БССР, 1960, дзе апавяданне апублікавана пад назвай «Уначы». Там жа пазначаны год напісання – 1956.

У 1957 г. апавяданне было прэміравана; В. Быкаў прыгадваў: «Адно апавяданьне паслаў на фестывальны конкурс (рыхтаваўся Сусьветны фестываль моладзі), надрукавала “Маладосць”. Пасля мне за тое апавяданьне прысудзілі нейкі прыз. Дарэчы, разам з другім пачаткоўцам – Ул. Караткевічам²⁷. Мне тады споўнілася 33 гады. Яшчэ быў малады»²⁸.

Падчас падрыхтоўкі кніжнага выдання В. Быкаў унёс у апавяданне некаторыя праўкі:

²⁷ Караткевіч Уладзімір Сямёнавіч (1930 – 1984) – беларускі празаік, паэт, сцэнарыст, публіцыст, перакладчык.

²⁸ Быкаў В. Пункціры жыцця // Дзеяслоў, 2005, № 6 (19), с. 177.

Стар. 70. – *Дык што табе, па мордзе заехаць?* – У ранейшай рэдакцыі: «Дык што табе, па песнях заехаць?»

Стар. 74. – *Ну ідзі, гад... калі... жыць абрыдла!* – У ранейшай рэдакцыі: «Ну ідзі, гад... калі... жыць надаела!»

Стар. 74. *...не ханіла смеласці?* – У першай рэдакцыі далей ішло: «Не, тут была сіла, мацнейшая за страх, за пачуццё самазахавання – сіла таварыскага абавязку. З усіх людзей Савецкага Саюза Алесь Вострыкаў меў зараз самыя найбольшыя магчымасці злавіць злачынцу, і ён не меў права не выкарыстаць іх».

* * *

Стар. 64. *У... фэзээнэйскай форме...* – ФЗН (фабрычна-заводская вучэльня).

Арганізатар (стар. 78)

Упершыню – часоп. «Вожык», 1957, № 1.

Друкуецца паводле: зб. «Ход канём». [Без м.], 1960 (Б-ка «Вожыка», № 4).

Год напісання – гіпатэтычна 1956.

РТС – раённая тэхнічная станцыя.

Да родных месц (стар. 83)

У кніжным выданні друкуецца ўпершыню паводле машынапісу, які захоўваецца ў фондзе часоп. «Беларусь»: БДАМЛіМ. Ф. 41, воп. 1, адз. зах. 377, арк. 38–44. Машынапіс з нязначнымі аўтарскімі праўкамі і подпісам ад рукі напрыканцы: «Васіль Быкаў (“Гродзенская праўда”)». Апроч таго, на апошняй старонцы значыцца рэзалюцыя рэдакцыі часоп. «Беларусь»: «Апавяданне само па сабе не арыгінальнае, але напісана гладка. 7/VI–56».

Падчас падрыхтоўкі гэтага тома апавяданне было апублікавана ў часоп. «Дзеяслоў» (2008, № 3 (33)).

Упершыню – газ. «Чырвоная змена», 1957, 17 сакав.
Друкуецца па гэтай жа публікацыі. Год напісання –
1957.

Берагодна, першапачатковая назва – «Вясновым ранкам». Захавалася копія ліста галоўнага рэдактара часопіса «Маладосць» А. Кулакоўскага²⁹ да В. Быкава (з якой можна зрабіць выснову, што гэтае апавяданне аўтар пачаў пісаць у 1956 г., аднак паколькі ў «Маладосці» яно не было прынята, пісьменнік, магчыма, дапрацаваўшы, прапанаваў твор газеце «Чырвоная змена»):

«[20 ліпеня (?) 1956 г.]

Паважаны таварыш Быкаў!

Просім прабачэння, што не адразу далі адказ на Ваша апавяданне “Вясновым ранкам”. Спачатку загадчык аддзела быў у адпачынку, а потым тут хлопцы чыталі, вырашылі, што рабіць з рукапісам.

Прачытаў і я апавяданне. Ва ўсіх у нас перш за ўсё з’явілася думка, што апавяданне напісана вельмі здольным аўтарам і што з гэтым аўтарам трэба, як кажуць, дружныць і працаваць. Многа добрага пачуцця ў апавяданні, ёсць сапраўды мастацкае апісанне прыроды. Цеплыня і шчырасць у апавяданні захапляе чытача, але гэтай шчырасці і асабліва выразнасці не хапае ў паказе паводзін, характару Слаўкі. Трэба акрэсліць лінію асноўнага персанажа, прасвятліць яе, каб яна не знікала (як гэта падчас адчуваецца) у апісаннях прыроды і не зусім першаступенных спраў. Трэба, каб Слаўка больш думаў, гэта будзе адпавядаць той манеры, з якой напісана Ваша апавяданне.

Пастараемся сёе-тое зрабіць тут самі. Калі-ж не здоле-ем, то звернемся тады да Вас з просьбай папрацаваць яшчэ над апавяданнем.

З прывітаннем!

Галоўны рэдактар
часопіса “Маладосць”

А. Кулакоўскі.³⁰

²⁹ Кулакоўскі Аляксей Мікалаевіч (1913 – 1986) – беларускі празаік, перакладчык.

³⁰ БДАМЛіМ. Ф. 37, воп. 1, адз. зах. 12, арк. 142.

Буйны выйгрыш (стар. 99)

Упершыню – газ. «Гродзенская праўда», 1957, 30 чэрв.
Друкуецца паводле: зб. «Ход канём». [Без м.], 1960 (Б-
ка «Вожыка», № 4).

Датуецца годам апублікавання.

Сам В. Быкаў прызнаваўся: «Між іншым, мой “Буйны выйгрыш”, напісаны па заказе для абласной газеты і не прынесшы мне літаратурнага гонару [...]»³¹.

У публікацыі апавядання ў «Маладосці» (1957, № 9) канцоўка была іншай – больш па-мастацку эфектнай і незаідеалагізаванай:

«Я рагачу. Для мяне смешная гэтая гісторыя. Дзядзька Пракоп хітравата гаворыць, успамінае пра сваё заморскае жыццё, а сам надта хвалюецца. Мне смешна, бо я ведаю: за пазухай у яго латарэйных білетаў больш, чым у мяне.

І ўвечары, атрымаўшы газету, мы віншавалі адзін аднаго. Праўда, я не выйграў ні “Масквіча”, ні “Волгі”. Мой выйгрыш выпаў на фестывальную пуцёўку, а дзядзька Пракоп выйграў дзіцячую каляску.

– Віншую, дзядзька Пракоп! – казай я. – Гэта не вам, а вашаму ўнуку пашанцавала»³².

На возеры (стар. 105)

Упершыню – газ. «Гродзенская праўда», 1957, 18 жн.
Друкуецца паводле: зб. «Жураўліны крык». Мн.: Дзяржвыд БССР, 1960. Там жа пазначаны год напісання – 1957.

Вельмі крытычна і скептычна ставячыся да сваіх першых літаратурных спроб, В. Быкаў да канца ўсё ж не страчваў веры ў свае сілы апавядальніка, і таму, напрык-

³¹ 3 ліста да Е. Лось ад 24 кастр. 1957 г. БДАМЛіМ. Ф. 141, воп. 3, адз. зах. 116, арк. 3.

³² Быкаў В. Буйны выйгрыш // Маладосць, 1957, № 9, с. 90.

лад, між іншим зауважаў у лісце да Е. Лось: «Я, можа, яшчэ і не маю рацыі папракаць “Маладосць”, можа, я і памыляюся (даў бы бог!), але мне здаецца, што яны дарэмна «заціснулі» ў сваіх бяздонных сталах маё невялічкае апавяданне “На возеры” (дзе, бадай, няма падзей, просты сюжэт і два тонкіх рухі двух розных сэрцаў)»³³.

Падчас падрыхтоўкі апавядання для часопіса (яно будзе апублікавана ў 1958 г. у № 2 часоп. «Маладосць») В. Быкаў унёс у твор даволі значныя праўкі. У гэтай новай рэдакцыі апавяданне, да таго ж трохі ўдасканаленае ў стылі, з’явіцца ў кнізе «Жураўліны крык» (1960). Сярод адметных правак, якія былі зроблены ў другой рэдакцыі, увагу звяртаюць наступныя:

Стар. 105. *У светлых хлапечых вачах, поўных упэўненасці і лянівае сілы, мільганула свавольная весялосць.* – У ранейшай рэдакцыі: «Стоячы да яго бокам, Мішка махнуў рукой».

Стар. 106. *Брыгадзір зноў пачаў лаяць хлопца, – тады Мішка, відаць, задаволіўшыся ягонай злосцю, крыкнуў...* – У ранейшай рэдакцыі:

«– Я праверу. Але ж мне ў зводку трэба ўпісаць. У праўленне еду.

– Я ж кажу – не.

– Вось лайдак. Ну, чакай, я дабяруся да цябе, – разлаваўся брыгадзір. Звыклы да ягонай злосці, Мішка пачакаў крыху, пакуль той уладкуецца на возе, і тады крыкнуў...»

Стар. 106. – *Ну, глядзі, а то я пажартую...* – У ранейшай рэдакцыі: «Ах, ты блазан! Я табе пажартую!»

Стар. 107. *Нядаўна яны прадзіравілі дзядзькаў човен, і стары, не ўмеючы плаваць, ледзь не ўтаніўся ў возеры. Пасля той човен зусім знік недзе, і да рыбацкіх паслуг старога засталася на возеры старэнькая, немаведама чья дубіца. Учора яна спатрэбілася Мішку – хлопец сагнаў яе ў затоку і схавай у трысці.* – У ранейшай рэдакцыі:

³³ З ліста ад 24 кастр. 1957 г. БДАМЛіМ. Ф. 141, воп. 3, адз. зах. 116, арк. 4.

«Вялікай прывабай для гэтага чалавека была рыба, на здабычы якой ён прападаў усе летнія дні, але аднойчы, гады са два таму, з чалавекам здарылася хіба.

Справа ў тым, што стары, не зважаючы на азёрную любоў, не ўмеў добра плаваць, і вось вясковыя свавольнікі захапілі аднойчы несамавіты дзядзькаў човен і прарабілі ў ім патайную зірку. Яе ніяк нельга было ўгледзець зверху, і, нічога не ведаючы, Алёкса надвячоркам выправіўся ў возера. І ледзь не ўтапіўся. З таго часу дзядзька вельмі баяўся глыбокіх мясцін і ненадзейнай пасудзіны. Прынамсі, з гэтым апошнім клопату яму стала меней, бо той яго човен даўно ўжо знік недзе, новых на возеры не было. І ўсе, у каго здаралася якая патрэба, карысталіся адзінай старэнькай дубіцай, невядома калі і кім зробленай. Гэтая дубіца нядаўна спадабалася Мішку – на правах уласніка ён учора сагнаў яе ў затоку і схваў у трысці».

Стар. 107. *«Выведзем на сярэдзіну, і ўжо ж я выкупаю яго...»* – У ранейшай рэдакцыі: «Вось будзе пацехі, калі я баўтну гэтага хрыча. У затоцы там неглыбока, нічога не здарыцца».

Стар. 108. *Хіба можна бацькі адцурацца?* – У ранейшай рэдакцыі далей ішло: «Што ты! Не, ён не зробіць гэтага. Ён мяне любіць, бо і я-ж яго любіў».

Стар. 110. *У той жа час Мішка шчыра ненавідзеў Восіпа і, праўду кажучы, трохі не разумей Алёксу, які, здавалася хлопцу, дарэмна аберагаў сына. Нейкія ўжо дужа невыразныя былі іх адносіны, але затое было відавочна, што стары насіў у сабе немалое гора.* – У ранейшай рэдакцыі: «Хлопцу цяпер недарэчным здаўся ягоны нядаўні свавольніцкі намер. Бадай, упершыню так глыбока ў яго душу зірнула чалавечае гора, гэтак патайна і няхітра замаскаванае. Ды і хіба можна было схваць яго, калі вунь яно ўсімі прыкметамі ляжыць на касмылявым твары чалавека, хоць той і кажа зусім іншыя, добрыя словы».

Стар. 111. *...паверыў у яго словы пра сына.* – У ранейшай рэдакцыі: «паверыў у тое, чаго хацеў чалавек».

Упершыню — газ. «Звязда», 1957, 25 жн.

Друкуецца паводле: зб. «Ход канём». [Без м.], 1960 (Б-ка «Вожыка». № 4).

Датуецца годам апублікавання.

Падчас падрыхтоўкі кніжнага выдання ў твор былі ўнесены невялікія праўкі, у тым ліку наступныя:

Стар. 115. *Безабразія, доктар!* — У ранейшай рэдакцыі: «Саромейцеся!»

Стар. 115. *Нейкі кіраўнік, відаць, з вобласці...* — У ранейшай рэдакцыі: «Нейкі кіраўнік, відаць, з раёна».

Стар. 115. — *Ці не з аўтаінспекцыі, — гадаў шафёр.* — У ранейшай рэдакцыі: «— Ці не з аўтаінспекцыі? — гадаў шафёр. — Там фанабэр многа».

Стар. 115. — *Хвацкі чалавек, гэта так, — згадзіўся шафёр.* — У ранейшай рэдакцыі: «— Незвычайны чалавек, гэта так, — згадзіўся шафёр».

Стар. 116. *...чалавек мае вялікія заслугі, мо' нават славу і займае пасаду не меней, чым абласнога маштабу.* — У ранейшай рэдакцыі: «чалавек мае вялікія заслугі».

Стар. 117. — *Безабразія! Куды глядзяць гэтыя медыкі! Паклічце доктара!* — У ранейшай рэдакцыі: «Паклічце доктара!»

Стар. 117. *Хварэць трэба ціха.* — У ранейшай рэдакцыі далей ішло: «Сварлівы чамусьці насупіўся і залез пад коўдру.

— А я сынка твайго сустрэў учора. Такі ладны хлопчык, вялікі ўжо, — казаў новы, пакутліва сядоучы на ложка».

Стар. 118. *Усё толькі сварыцца ды скаргі піша.* — У ранейшай рэдакцыі: «Двух жонак кінуў, дзяцей адцураўся, усё толькі сварыцца ды скаргі піша».

Стар. 118. *...а зараз не працуе.* — У ранейшай рэдакцыі: «...а цяпер не працуе. Каб аліментаў не плаціць, нідзе і не працуе».

* * *

Стар. 113. «Залатое цяля». — Раман І. Ільфа і Я. Пятрова.

Дапякло (Скарга раскрытыкаванага старшыні)
(стар. 119)

Упершыню пад назвай «Дапякло: Скаргі раскрытыкаванага старшыні» – часоп. «Вожык», 1957, № 23.

Друкуецца паводле: зб. «Ход канём». [Без м.], 1960 (Б-ка «Вожыка», № 4).

Датуецца годам апублікавання.

Была яшчэ адна публікацыя апавядання: «Гродзенская праўда», 1959, 26 ліп.; там тэкст быў апублікаваны пад назвай «Дапякло!: Скаргі раскрытыкаванага старшыні» і ў асобных месцах адрозніваецца ад першай рэдакцыі твора:

Стар. 119. *Спакой ужо не ўтрымаеш – на тыдзень настрой страціш.* – У газ. «Гродзенская праўда»: «Спакой ужо не ўтрымаеш, калі тая газэціна пачне цябе на ўвесь свет ганьбіць ды яшчэ малюнкi змяшчаць – на пацеху беспартыйным і несвядомым. Тут ужо абьякава не стрымаеш, на тыдзень настрой згубіш».

Стар. 119. *...ён, вядома, адукаваны чалавек.* – У газетнай рэдакцыі: «ён, вядома, чалавек адукаваны, і тая пісаніна – яго прафесія».

Стар. 120. *...з'явіўся той газетчык з раёна, малады, кірпаты, у шэрай кепцы.* «Прывітанне, – кажа, – старшыня. Як справы з уборкай?» – У газетнай рэдакцыі: «...з'явіўся той газетчык з раёна. Я тады брыгадзірам прапарку наладзіў і раззлаваны быў. А ён тут са сваімі пытаннямі – кажа, заметку піша, даныя трэба. А сам гэтак малады, курносы, у шэрай кепцы і гэтак смела падступае да мяне. Ды ну цябе, кажу, з тваімі данымі – у бухгалтэрыі бяры. Хлопец нібы сумеўся, але нічога, пайшоў да бухгалтара. Тады ж, увечары, ён і паехаў, і не ведаю, ці выкарыстаў дзе свае даныя, ці не. Аднак пад восень прыязджае зноў. Таксама быў адвяхорак, я гэта сядзеў на лаўцы перад канторай – з бухгалтарам па цыгарцы прыпалілі і гутарым. А ён, бы з старым знаёмым ужо: “Прывітанне, як справы з уборкай, таварыш старшыня?”»

Стар. 120. *Хай сабе і не патрабую. Ды і як ад яго патрабаваць, калі яны сёння тут, заўтра там, ды агрызаюцца*

яшчэ: у нас сваё начальства на ўказкі і гэтак далей. – У газетнай рэдакцыі: «Хай сабе і не спаганяю. Спагоніш тут, калі ў іх то балты, то гайкі, то спрадвечны недахоп запчастак».

Стар. 121. ...і дзіравая страха. – У газетнай рэдакцыі пасля гэтага сказаў далей ішло: «Газеціна прадпісвае прыняць меры і паведаміць».

Стар. 121. ...уявіў ён сябе карэспандэнтам – вось нарабіў на сваю галаву! – У газетнай рэдакцыі: «уявіў ён сябе карэспандэнтам, каб у газету плявузгаць пра такія дробязі».

Стар. 121. У «Новым шляху»... – У газетнай рэдакцыі: «У “Героі”».

Стар. 121 ...ці ты з глузду з’ехаў, хлопец? – У газетнай рэдакцыі пасля гэтага сказаў далей ішло: «Ці табе жыццё няміла?»

Стар. 121. А вінаватым такі аказаўся я. Бухгалтар падаў звесткі... – У газетнай рэдакцыі: «А перад начальствам вінаватым аказаўся я. Прыехаў інструктар, праверылі гэтае сіласаванне і ўзялі мяне ў абарот. Аказваецца, бухгалтар падаў звесткі...»

Незагойная рана (стар. 123)

Упершыню – зб. «Жураўліны крык». Мн.: Дзяржвыд БССР, 1960. Там жа пазначаны год напісання – 1957.

Друкуецца паводле: Зб. тв.: У 6 т. Мн.: Мастацкая літаратура, 1994. Т. 6.

Трэба думаць, пра гэтае апавяданне пісаў В. Быкаў у лістах да Е. Лось: «Быў і яшчэ адзін чалавек, дарагі мне, з якім я таксама расстаўся ў 41[-м] у Варонежы, – гэта мой стрыечны брат³⁴. Гаротны лёс гэтага чалавека. Яго

³⁴ Быкаў Мікалай Сцяпанавіч. 7 жн. 1944 г. В. Быкаў пісаў у лісце да родных: «В 1941 году, с начала войны я был в городе Шостка. В августе 41 г. город заняли немцы. Я вместе с Николаем Степановичем и другими тов[арищами] ушел из города вместе с Красной Армией. Всю осень части Красной Армии отступали. С ними отступал и я. Путь был тяжел и

бацькі да гэтага часу так і не маюць ніякіх вестак аб ім, бацька ўжо памёр, не дачакаўшыся, а маці ўсё чакае. Як гэта жажліва – не мне Вам тлумачыць. І вось цяпер я хаджу з пэўнымі думкамі ў галаве, спее апавяданне пра адзінокую старую маці, сын якой не вярнуўся з вайны. Яна чакае! Хай кажуць людзі, што ўжо няма яго, хай пішуць установы, што сын яе «ни в списках убитых, ни в списках без вести пропавших не числится», – бразне вецер аканіцай, шасне галінка ля сцежкі – уздрыгне маці, і скаланецца яе сэрца»³⁵. «Апавяданне я напісаў, але яно, здаецца, не з ліку ўдалых. Справа ў кампазіцыі. Атрымалася псіхалагічная штуковіна, якая вельмі аддае фрагментарнасцю і нагадвае, як мне сказаў адзін мой першакрытык, нудны раздзел з добрага рамана. Яшчэ ў ім моцныя ноткі ібсенаўшчыны і дастаеўшчыны, – што ўжо зусім дрэнна ў наш час»³⁶. І ў іншы раз: «Нешта яна³⁷ там задужа хваліць тую “рану” ўпачатку, а пад канец робіць (ці, як кажуць газетчыкі, вытварае) крытыку. Я казаў яшчэ тады ў Мінску, што апавяданне гэтае напісалася сэрцам, – розуму, майстэрства туды ўкладзена не шмат, таму яно і атрымалася такое – непуцёвае»³⁸. Ужо пазней В. Быкаў, мяркуючы па ўсім, прапанаваў твор адначасова ў часопіс «Беларусь» і штотыднёвік «Літаратура і мастацтва», паколькі пісаў: «“Незагойная рана” мая ляжыць у “ЛіМе” без руху, з “Бела-

долог. В непрерывных боях мы дошли до Воронежа. Там я потерял Николая, не знаю, куда ушел из Воронежа, но в той неразберихе ничего нельзя было понять. Больше я его не видел и ничего не слышал о нем» (Віцебскі абласны краязнаўчы музей. КП 21382/1).

³⁵ З ліста ад 24 кастр. 1957 г. БДАМЛіМ. Ф. 141, воп. 3, адз. зах. 116, арк. 3.

³⁶ З ліста ад 30 кастр. 1957 г. БДАМЛіМ. Ф. 141, воп. 3, адз. зах. 116, арк. 9.

³⁷ Васілевіч Алена Сямёнаўна (н. 1922) – прэзаік, загадчыца аддзела культуры часопіса «Работніца і сялянка» (1950–1972).

³⁸ З ліста ад 22 лістап. 1957 г. БДАМЛіМ. Ф. 141, воп. 3, адз. зах. 117, арк. 2.

русі” Сіўцоў³⁹ прыслаў маё апавяданне з заявай, што яно яму спадабалася ўвогуле, але тут жа зрабіў заўвагі для пераробкі, якія нічога не пакідаюць ад маёй задумы. Паклаў я яго – хай ляжыць»⁴⁰.

Машынапіс з аўтарскімі і рэдактарскімі праўкамі (13 старонак) захоўваецца ў Архіве В. Быкава. Яшчэ адзін машынапісны экзэмпляр захоўваецца ў фондзе часоп. «Беларусь»: БДАМЛіМ. Ф. 41, воп. 1, адз. зах. 520, 2–11 (гэта пазнейшы варыянт – з улікам таго дапісанага, якое прыводзіцца ніжэй, – з рэдактарскай праўкай і без дзвюх апошніх старонак; мяркуючы па бланку часоп. «Беларусь», на якім надрукавана першая старонка апавядання, не выключана, што рэдакцыя збіралася публікаваць твор, аднак у «Беларусі» «Незайгоная рана» надрукаванай не была). Да апавядання прыкладзены ліст да адказнага сакратара часоп. «Беларусь» І. Кудраўцава⁴¹:

«Шаноўны Іван!

Пасылаю табе гэтую штуковіну, зусім не маючы ўпэўненасці, што можна і трэба надрукаваць. Можа, нават і не варта савацца з такім несамавітым творам.

Увогуле – паглядзі. Калі што, дык вернеш, як гэта ты робіш і за што я ўдзячны табе. (Хоць перадрукоўваць лішні раз не трэба.) [...]

З павагай,

Вас. Быкаў.

24 лютага 59 г.»⁴²

Па экзэмпляры, які захоўваецца ў Архіве В. Быкава, можна прасачыць, якія змены былі зроблены аўтарам пад час апошняй працы над творам:

³⁹ Сіўцоў Іван Кузьміч (1922–1959) – празаік, з 1952 г. працаваў у рэдакцыі часопіса «Беларусь».

⁴⁰ З ліста да Е. Лось ад 1 сак. 1958 г. БДАМЛіМ. Ф. 141, воп. 3, адз. зах. 118, арк. 4.

⁴¹ Кудраўцаў Іван Фёдаравіч (нар. у 1922) – крытык, літаратуразнавец, адказны сакратар часоп. «Беларусь» (1955 – 1965).

⁴² БДАМЛіМ. Ф. 41, воп. 1, адз. зах. 520, арк. 1.

Стар. 128. *Яе суцяшалі суседзі, колькі разоў угаворвала Марыська, якая ўжо выйшла замуж і жыла ў далёкай вёсцы. Зяць пры кожнай сустрэчы цярдліва запрашаў яе да сябе – там гадаваліся ўнукі, і яна была дужа патрэбна.* – Гэтых сказаў у машынапісе няма – яны былі дапісаны рукой В. Быкава замест закрэсленага: «Ніхто нідзе нічога не чуў пра яго, і незагойная страшная рана раздзірала матчына сэрца...»

Стар. 130. *...памагае дачушка Марыська...* – Далей ішло: «якая год дзесяць таму памёрла ад родаў», аднак было закрэслена, магчыма, самім аўтарам. Можна меркаваць, што В. Быкаў ці сам, ці хутчэй за ўсё па нечай прапанове вырашыў не драматызаваць зусім ужо лёс Тэклі.

Стар. 132. *Няўжо сапраўды ўсё скончана і ніколі ёй не дачакацца яго, і давядзецца падацца ў чужыну да зяця?..* – Гэты сказ таксама пазней быў дапісаны В. Быкавым.

Стар. 134. *...старая ўпілася...* – У машынапісе ішло, але было закрэслена: «...старая вар’яцкімі вачыма з апошняй нялюдскай надзеяй...»

* * *

Імя аўтара эпіграфа апавядання – Міхася Васілька – адсутнічае ў апошняй прыжыццёвай публікацыі тэкста ў 6-томным Зборы твораў В. Быкава (было ўказана ў зб. «Жураўліны крык»).

Непагадзь (стар. 135)

Упершыню – часоп. «Беларусь», 1958, № 9.

Друкуецца паводле: зб. «Жураўліны крык». Мн.: Дзяржвыд БССР, 1960. Там жа пазначаны год напісання – 1957.

Менавіта ў 1957 г. В. Быкаў пісаў у лісце да Е. Лось: «Зараз засеў за новае апавяданне пра нешчаслівае каханне, пакуты, скруху, сардэчны боль і г. д. Адным словам, сумная рэч і сумная назва “Непагадзь”. Як бачыце, калінебудзь будзе падстава назваць мяне “ныцікам”, “песіміс-

там” і яшчэ якім небудзь бранным крытычным тэрмінам»⁴³. У другі раз: «Скончыў апавяданне наконт “тщетности мечтаний” і “обманутой любви”. Гэта новая для мяне тэма, не ведаю як удалася рэч. [...]

Апавяданне, што скончыў, мяркую паслаць у “Беларусь”, хоць там, Кажуць, бязлітасны да маладых, сам жа малады Сіўцоў»⁴⁴. І наступным разам: «Перад Новым годам паслаў у “Беларусь” новае апавяданне “Непагадзь” на тэму пра ілюзіі кахання, дождж, пакуты, сумненні і расчараванні...»⁴⁵.

Верагодна, пры падрыхтоўцы да друку апавяданне было значна перапрацавана, – В. Быкаў пісаў у лісце да Е. Лось: «...з “Беларусі” Сіўцоў прыслаў маё апавяданне з заявай, што яно яму спадабалася ўвогуле, але тут жа зрабіў заўвагі для пераробкі, якія нічога не пакідаюць ад маёй задумы. Паклаў я яго – хай ляжыць»⁴⁶. Тым не менш «Непагадзь» пісьменнік у часопісе ўсё ж надрукуе, што ж тычыцца правак, якія В. Быкаў быў вымушаны зрабіць, праз пэўны час у яго з’явіцца магчымасць апублікаваць гэтае апавяданне ў ранейшай рэдакцыі – у кнізе «Жураўліны крык».

Ціхманая жонка (стар. 148)

Упершыню пад назвай «Шчасце» – газ. «Гродзенская праўда», 1958, 16 сак. Пад назвай «Ціхая жонка» – газ. «Звязда», 1958, 20 крас.

Друкуецца паводле: зб. «Жураўліны крык». Мн.: Дзяржвыд БССР, 1960. Там пазначаны год напісання – 1957 г.

⁴³ З ліста ад 10 снеж. 1957 г. БДАМЛіМ. Ф. 141, воп. 3, адз. зах. 117, арк. 6.

⁴⁴ З ліста ад 22 снеж. 1957 г. БДАМЛіМ. Ф. 141, воп. 3, адз. зах. 117, арк. 10.

⁴⁵ З ліста ад 4 студз. 1958 г. БДАМЛіМ. Ф. 141, воп. 3, адз. зах. 118, арк. 1.

⁴⁶ З ліста ад 1 сак. 1958 г. БДАМЛіМ. Ф. 141, воп. 3, адз. зах. 118, арк. 4.

Страчанья мары (стар. 157)

Упершыню – «Нёман»: Зб. твораў пісьменнікаў Гродзенскай вобласці (Гродна, 1958)⁴⁷.

Друкуецца паводле: зб. «Жураўліны крык», Мн.: Дзяржвыд БССР, 1960. Там жа пазначаны год напісання – 1958.

Машынапіс з аўтарскай праўкай захоўваецца ў фондзе часоп. «Полымя»: БДАМЛіМ. Ф. 42, воп. 1, адз. зах. 126, арк. 1–16. Напрыканцы рукой пісьменніка зроблена пазнака: «Можа, спатрэбіцца гэтае апавяданне на сучасную тэму. В. Быкаў». Тут жа рэдакцыйны вердыкт (подпіс неразборлівы): «Апавяданне не дапісана. Яно нібы раздзел з аповесці. 21/XI.58».

Згодна машынапісу можна прасачыць, якія дзве змены былі зроблены падчас першых публікацый твора:

Стар. 161. ...*у імя рэвалюцыі*. – Пасля гэтага сказа ішлі два наступныя, якія былі скарачаны: «Яна гатова была пакланіцца гэтаму ўпартаму юнаку, яго подзвіг клікаў кудысьці, не даваў спакою ні ўдзень, ні ўначы. Дзён колькі запар Ірынка нічога не чытала, ні аб чым не думала, неяк хадзіла, нешта рабіла, адказвала на людскія пытанні, але ўсё гэта было, нібы ў сне».

Стар. 164. ...*чалавечай сілы і смеласці*. – Заканчэнне сказа: «яна захапіла ўсю істоту – іншаму ўжо не застава-лася нікога месца».

* * *

Стар. 161. ...*страшэннай сілы вобраз далёкага Мексіканца*. – Герой апавядання Дж. Лондана «Мексіканец».

Стар. 169. ...*на агнявокага, адзінокага Рыверу*... – Героя апавядання Дж. Лондана «Мексіканец».

⁴⁷ Там жа змешчаны два малюнкі В. Быкава да апавядання.

Дваццаты (стар. 172)

Упершыню пад назвай «Дваццаты» – часоп. «Полымя», 1958, № 10. Пад назвай «Трое» – «Нёман»: Зб. твораў пісьменнікаў Гродзенскай вобласці, Гродна, 1958⁴⁸.

Друкуецца паводле: зб. «Жураўліны крык». Мн.: Дзяржвыд БССР, 1960, дзе апавяданне апублікавана пад назвай «Дваццаты». Там жа пазначаны год напісання – 1958.

Яшчэ ў 1959 г. В. Бурносаў пісаў у выдавецкай рэцэнзіі: «Да апавядання “Трое” я хачу даць параду – альбо рэзка скараціць колькасць нямецкіх выразаў альбо зусім іх апусціць, але пры любой іх колькасці пераклад нямецкіх выразаў даваць не ў канцы апавядання, а ў кожным асобным выпадку на адной і той жа старонцы ўнізе»⁴⁹. Аднак скарачэнне не было зроблена – пераклад нямецкіх выразаў быў пададзены ўнізе (як і падчас публікацыі ў альманаху «Нёман» – у адрозненне ад «Полымя», дзе нямецкія выразы, за рэдкім выключэннем, адсутнічаюць, – яны падаюцца адразу на беларускай мове). Да таго ж В. Бурносаў заўважаў: «На старонцы II апавядання “Трое” ёсць частка фразы – “на ўсходзе нямецкія арміі акружалі Маскву”. Прычым адчуваецца, што тут і пункт гледжання аўтара. Трэба гэты выраз удакладніць, бо ён пакідае непрыемнае ўражанне і пярэчыць логіцы падзей»⁵⁰. І калі ў першых публікацыях гэтая фраза гучала сапраўды менавіта так⁵¹, дык у кнізе будзе выглядаць наступным чынам: «...на ўсходзе нямецкія арміі падыходзілі да Масквы»⁵².

Пры параўнанні часопіснай і кніжнай рэдакцый звяртаюць на сябе ўвагу скарачэнні, якія былі зроблены ці самім аўтарам, ці рэдактарай:

⁴⁸ Там жа змешчаны два малюнкi В. Быкава да апавядання.

⁴⁹ БДАМЛіМ. Ф. 11, воп. 1, адз. зах. 386, арк. 4.

⁵⁰ БДАМЛіМ. Ф. 11, воп. 1, адз. зах. 386, арк. 4–5.

⁵¹ Полымя, 1958, № 10. С. 138; Нёман. Гродна, 1958. С. 100.

⁵² Быкаў В. Жураўліны крык. С. 133.

Стар. 172. *...халодных вострых каленяў.* – У ранейшай рэдакцыі пасля гэтага сказа ішоў наступны: «Памарожаныя рукі ён засоўваў у рукавы, прыціскаў да грудзей і так заміраў на хвіліну ад знясілення і сцюжы».

Стар. 173. *...нясмелага позняга світаньня.* – У ранейшай рэдакцыі далей ішло: «Камісар цяжка ступаў у снег цвёрдымі, як косць, прамёрзлымі ботамі, за ім, хістаючыся ад слабасці, выпраўляліся астатнія».

Стар. 173. *...зноў адсталі ад свайго дужэйшага таварыша.* – У ранейшай рэдакцыі далей ішло з новага абзаца: «Валодзькін з апошняе сілы стараўся ступаць за камісарам⁵³, але з кожнай гадзінай усё цяжэйшай рабілася дарога і ўсё болей даймала стома. Хаваючы ў рукавах змерзлыя рукі, ён ледзьве брыў, не падымаючы галавы. Унізе віліся снежавыя струмені, яны на дзіва хутка зараўноўвалі неглыбокія камісаравы сляды. Ад іх няспыннага руху хмельна круцілася ў галаве і так хацелася спаць. Ужо не ежы, не цяпла, а толькі спакою прагнула знясіленае хлопцава цела».

Стар. 175. *...з надзеяй пазіраў на яго.* – У ранейшай рэдакцыі далей ішло з новага абзаца: «Трэба было памагаць слабейшаму, але і сам Валодзькін быў такі нядужы, што не адразу адважыўся сысці ўніз. Засопшыся, нейкі час хлопец стаяў на адхоне і думаў, як гэтая хада па снезе выматала яго сілы. Як хацелася прайсці па дарозе – не ехаць нават, а толькі ісці – па роўнай, цвёрдай, уезджанай... Але дарог яны пазбягалі пасля таго, як аднойчы іх дагналі паліцэйскія. Тады яны страцілі сем чалавек і далей ужо ішлі ўтрох. Гэта было страшэнна цяжка, але інакш не выпадала. У вёскі і хутары яны заходзілі ўначы – прасілі кавалак хлеба і ішлі далей. Людзі сустракалі па-рознаму: з жалем і гатоўнасцю памагчы ці, здаралася, цкавалі сабакамі і спрабавалі злавіць. Яны трывалі ўсё: хаваліся ці ўцякалі – адбівацца не было як, у іх скончыліся патроны. Учора яны перайшлі Буг, а наперадзе іх чакаў доўгі небяспечны шлях».

⁵³ У пазнейшай рэдакцыі – маёр.

Стар. 175. — *Канец... Усё роўна канец... Усім, усяму... — чулася яго надрыўная распачная скарга.* — У ранейшай рэдакцыі: «— Навошта... Навошта было тое? — чулася яго надрыўная распачная скарга. — Біўся, змагаўся, пакутваў, цярэў... Навошта? Усё роўна канец... Пагібель усім».

Стар. 176. *...салдаты ў мышастых шынялях.* — У ранейшай рэдакцыі далей ішло:

«Камісар першы ўчуў нядобрае і першы ўстрапянуўся. Узнімаючы коламі снег, машыны імчалі па полі і, здавалася, кіравалі проста на іх. Вядома, першае, да чаго памкнуўся чалавек, — бегчы. Але бегчы ўжо было позна, і камісар зноў выцягся ў доле, нешта шапнуўшы таварышам. Валодзькін ляжаў ціха, а Івашоў раптам усхапіўся і кульгава падаўся да адхону. Зразумеўшы, што далей ляжаць нельга, камісар вылаўся і таксама ўсхапіўся, за ім Валодзькін, і яны пабеглі.

Правальваючыся ў снег, Валодзькін ужо ведаў, што гэта прыйшоў канец. Ён стараўся толькі, каб не адстаць ад камісара, і вельмі шкадаваў, што не меў зброі. Вельмі балюча і крыўдна паміраць без карысці — паміраць няўдакам. Але болей рабіць было нечага.

Так яны беглі, аж пакуль ззаду не загрузалі стрэлы. Недзе побач коратка фыркнулі кулі — Валодзькін сцяўся нутром у тугі балючы камяк і азірнуўся на ворагаў. Калі ён зноў павярнуўся бегчы, камісар ужо бездапаможна курчыўся ў снезе.

І Валодзькін не пабег далей, не збаяўся, што яго заб'юць тут — ён спыніўся ля чалавека, які запалоніў яго сэрца за жахлівыя тыдні ўцёкаў... Да іх беглі ворагі, яны раўлі, крычалі нешта, а хлопец распачна туліўся да параненага, бы хацеў пераняць частку яго пякельнага болю. Камісар ад пакут і злосці скрыгаў зубамі, тузаўся на снезе і ціха шаптаў:

— Эх, чорт... не дай-ш-ш-ш-лі... не су-м-м-м-елі...

Хлопец хацеў памагчы таварышу, але неўзабаве яго адарвалі, адкінулі ўбок, потым узнялі, абмацалі кішэні, вопратку. Наўкола гаманілі, насядалі на яго дзiesiąткі ворагаў, калолі з усіх бакоў ненавісных позіркi, а ён не прык-

мячаў нічога. Усеабдымная журбота ад гэткай няўдачы прыдушыла яго, скавала волю, і пагібель, не далёкая і ўяўная, а ўжо блізкая і рэальная, ва ўсёй сваёй жахлівасці паўстала перад ім. Хлопец адразу адчуў гэта і зразумеў, што на паратунак не асталося ніякай надзеі. І ўсё ж свавольнае сэрца не хацела пагадзіцца з канцом і недарэчна прагла жыць, жыць, не зважаючы ні на што, жыць...»

Стар. 177. *Ён трохі варушыўся, зацята пазіраў на ворагаў і, сцяўшы сківіцы, з натугай перасільваў у сабе, відаць, немалы боль.* – У ранейшай рэдакцыі: «Знясілены, ён згорбіўся побач, балюча падкурчыўшы хворую нагу, на яго вастраносым, у рудым шчацінні твары застыглі боль і невымоўная туга».

Стар. 180. *...ад прыліву слабасці і жалю.* – У ранейшай рэдакцыі далей ішло: «Але хцівыя да людскіх пакут ворагі не далі нават зірнуць на чалавека апошні раз – чалавека, які доўгія дні і ночы быў самы блізкі і любы яму».

Стар. 180. *...іх празмерная тільнасць здалася яму нават прыемнай.* – У ранейшай рэдакцыі далей ішло: «І хлопец, бадай, упершыню за ўсе дні ўцёкаў і страхуў горда і смела закрочыў наперад!»

Стар. 181. *...распраўляцца з вінаватымі.* – У ранейшай рэдакцыі далей ішло: «Каб не атрымліваць балючага штурхаля, ён, аднак, ступаў жвава і ішоў першы. Івашоў ужо, відаць, не меў сілы, каб вытрымаць роўны тэмп хады. Ён некалькі разоў падаў, злуючы тым лёгкага на руку яфрэйтара».

Стар. 182. *Не ламайся, не ўпросіш.* – У ранейшай рэдакцыі: «Не поўзай, не ўпросіш».

Стар. 182. *...Івашоў, распластаны, ніцма ляжаў на снезе, голасна екатаў нешта і плакаў.* – У ранейшай рэдакцыі: «...Івашоў, распластаны ніц, ляжаў у доле. Яго счарнелыя, растапыраныя пальцы бяссільна хапалі і не маглі ўтрымаць яфрэйтаравы боты, якімі той ужо не біў палоннага, а толькі хацеў вызваліцца ад яго. Івашоў голасна екатаў нешта і плакаў. Укормлены мардач бясстрасна жаваў побач, назіраючы за незвычайнай гэтай барацьбой слабасці з лютасцю, чарнявы спрабаваў падняць чалавека».

Стар. 182. *...чаго патрабавалі ворагі.* – У ранейшай рэдакцыі далей ішло з новага абзаца: «Ён астаўся адзін і пайшоў далей, усё гэтак жа сашчапіўшы за спінай рукі, стрыманы і маўклівы. Яму было вельмі нялёгка на гэтай заваянай дарозе, але хлопец з усяе моцы стараўся не выдаць ворагам свае стомы. Ззаду, перагаворваючыся, ішлі яго канваіры».

* * *

Стар. 178. *О, банкоф Боркі.* – О, станцыя Боркі (ням.).

Стар. 186. *Ротэ армее сіген! Бліц крыг!* – Чырвоная армія пераможа! Маланкавая вайна! (ням.).

Стар. 186. *Москаў сіген!* – Масква пераможа (ням.).

Загад (стар. 189)

Упершыню – часоп. «Маладосць», 1958, № 12.

Друкуецца паводле: зб. «У глыбі жыцця» / Склад. Б. Сачанка. Мн.: Народная асвета, 1972.

Датуецца 1958 г. паводле зб. «Жураўліны крык». Мн.: Дзяржвыд БССР, 1960.

Машынапіс апавядання з аўтарскай і рэдактарскай праўкай захоўваецца ў фондзе часоп. «Маладосць»: БДАМЛіМ. Ф. 37, воп. 1, адз. зах. 59, арк. 1–10. Згодна машынапісу можна прасачыць найбольш значныя скарачэнні і праўкі:

Стар. 190. *Эх, Айбекаў!..* – У машынапісе і ў кнізе «Жураўліны крык»: «Эх, Айбекаў, ну нашто так марудна, хутчэй трэба...»

Стар. 191. *...то мацаў вывады правадоў, зазямленні...* – Далей ішло, але было скарачана В. Быкавым: «то выходзіў да Сімакова ў траншэю».

Стар. 197. *Тэлефаніст зразумей, што гэта выратаванне, і амаль фізічна адчуў, як упала з яго душы палова вялізнага гора. Шчыльна сцяўшы дрыготкія вусны, ён таропка злучыўся з “Волгай” і пасля, крыху перасіліўшы сябе, за-*

крычай у запацелую ля рота трубку... – У ранейшай рэдакцыі: «Тэлефаніст нема замычэў ад радасці і амаль фізічна адчуў, як звалілася з яго душы вялізнае гора. Ён зараз жа выклікаў “Волгу” і торапка, нібы баючыся згубіць сваё неспадзяванае шчасце, закрываў у трубку...»

На сцяжыне жыцця (стар. 198)

Упершыню пад назвай «Радасць» – часоп. «Полымя», 1959, № 6. У першым кніжным выданні – зб. «Жураўліны крык». Мн.: Дзяржвыд БССР, 1960 – пад назвай «На сцяжыне жыцця» (там жа пазначаны год напісання – 1958). У перакладзе на рускую (пер. М. Гарбачова) пад назвай «Фруза» – зб. «Журавлиный крик». М.: Советский писатель, 1961.

Друкуецца паводле: Зб. тв.: У 6 т. Мн.: Мастацкая літаратура, 1994. Т. 6.

Няўломак (стар. 228)

Упершыню – часоп. «Беларусь», 1959, № 7.

Друкуецца паводле: зб. «Жураўліны крык». Мн.: Дзяржвыд БССР, 1960. Там жа пазначаны год напісання – 1958.

В. Бурносаў, пішучы ў маі 1959 г. выдавецкую рэцэнзію на кнігу В. Быкава «Апошні баец», напрыканцы прапановаў: «Са свайго боку, я адважуся параіць і аўтару і рэдактару ўключыць у гэты зборнік цікавае новае апавяданне маладога пісьменніка “Няўломак”, якое мне давалося прачытаць выпадкова ў адной з рэдакцый. Апавяданне напэўна хутка з’явіцца ў перыядычным друку, і яго трэба было б уключыць у кніжку»⁵⁴. Гэтая прапанова, верагодна, і паспрыяла ўключэнню «Няўломка» ў першую кнігу В. Быкава.

⁵⁴ БДАМЛіМ. Ф. 11, воп. 1, адз. зах. 386, арк. 6.

Пазней, у адказ на ўдакладненне крытыка І. Дзядкова, В. Быкаў пісаў: «“Няўломак” вядома не мае рускага сінаніма, очевидно, гэта трэба разумець, як чалавек неуступчы, неукротимый, сваявольны. Кажэцца, гэта і по-беларускаму дыялектызм»⁵⁵.

Верагодна, спачатку В. Быкаў даслаў апавяданне ў «Малодосць», – машынапіс з буйнай рэдактарскай праўкай (якая ў асноўным датычыцца стылю) захоўваецца ў фондзе часоп. «Малодосць»: БДАМЛіМ. Ф. 37, воп. 1, адз. зах. 64, 1–20. Яшчэ адна, новая рэдакцыя апавядання (таксама машынапіс з аўтарскай і рэдактарскай праўкай) захоўваецца ў фондзе часоп. «Беларусь»: БДАМЛіМ. Ф. 41, воп. 1, адз. зах. 496, 1–15. Напрыканцы машынапісу, які быў дасланы ў «Малодосць», рукой В. Быкава зроблена пазнака: «Можа, так будзе лепей? З прывіт.[аннем]. ВВ». Згодна з гэтай пазнакай і двума вядомымі сёння машынапісамі, а таксама зыходзячы з тых правак, якія былі зроблены падчас падрыхтоўкі твора для кніжнага выдання, можна меркаваць, што аўтар неаднойчы дапрацоўваў апавяданне і яно мела, як мінімум, чатыры рэдакцыі. Адзначым яшчэ, што ў машынапісе фонда час. «Малодосць» галоўнага героя звалі інакш – апавяданне пачыналася наступным чынам: «У яго ладнае імя Косця, небагое прозвішча Лемех...». Да таго ж, згодна з гэтай, магчыма, другой рэдакцыяй, можна прасачыць, якія змены былі зроблены – не выключана, што самім В. Быкавым – у творы падчас першай кніжнай публікацыі:

Стар. 230. *Правіла яшчэ пажмурываўся...* – Пасля гэтага сказа пачынаўся раздзел II.

Стар. 230. *...адступіў на вальнейшае месца.* – Далей ішло: «каб уладкаваць у кішэні грошы».

Стар. 230. *...ён атрымае палучку, заробленую жорсткімі, збітымі цэглай рукамі...* – У другой рэдакцыі (у машынапісе, што захоўваецца ў фондзе «Малодосці»): «ён атрымае палучку – свае 350, а, можа, і 400 рублёў».

⁵⁵ З ліста ад 12 мая 1979 г. Копія. Архіў В. Быкава.

Стар. 230. *...ці скоро ранак.* — У дзвюх ранейшых рэдакцыях: «ці скоро ранак, каб рыхтавацца да працы».

Стар. 232. *Лічы, што парася гэгнулася...* — У другой рэдакцыі: «Ад парася застануцца капыты і вушкі...»

Стар. 232. *...у яе прывабны кірпаты твар.* — У другой рэдакцыі: «у яе прыветны курносы твар»; у трэцяй: «у яе прывабны курносы твар».

Стар. 234. *...да суседняй вёскі Глінішчай.* — У абодвух машынапісах: Глінішч.

Стар. 236. *...Каціся к сякой-такой матары, салага несалёная!..* — У другой рэдакцыі: «Каціся к сякой-такой матары, сабачы недагрызак, салага несалёная!..»

Стар. 236. *Правіла рвануў на грудзях світку і, сагнуўшыся крукам, цяжка ўзняўся за сталом, бы збіраючыся праз яго скочыць на хлопца.* — У другой рэдакцыі: «...Правіла ірвануў на грудзях світку і цяжка ўзняўся, ледзь не абярнуўшы стол».

Стар. 237. *...зароў дзікім голасам.* — У абодвух машынапісах: «зароў благім матам».

Стар. 237. *...у выбітую ў дзвярах шывіну.* — Далей у абодвух машынапісах ішоў наступны сказ: «За прылаўкам усё лемантавала буфетчыца, а хаўруснікі, не зважаючы на яе, працягвалі сваю справу».

Стар. 238. *...падумаў і пайшоў, цвёрда рашыўшы дамагчыся свайго.* — У ранейшых рэдакцыях: «падумаў і, цвёрда рашыўшы дамагчыся свайго, пайшоў у міліцыю».

Стар. 240. *Дык здаволіўся ўчора? Можа, і сёння таго ж хацеў бы?* — У другой рэдакцыі: «Ну што, задаволіўся ўчора? Казаў пачакай, дык табе Правіла даражэй, з ім пайшоў. Ну, а цяпер што?»

Стар. 240. *Федзька заварушыўся, пакутна паморшчыўся сваім круглявым тварам.* — У другой рэдакцыі: «Федзька пакутна паморшчыўся».

Стар. 241. *Не дам ні рубля, хоць канай. Хай табе Правіла дае, — злосна абвясціў Косця.* — У другой рэдакцыі: «Не дам ні рубля, хоць канай. І яшчэ ў Глінішчы напішу, які ты злыдзень».

Стар. 241. *...баючыся выбягаць на мокрае.* — Пасля гэтага сказа ішло: «Калі Косця наблізіўся, усё чамусьці змоўклі».

– хлопцы ваўкавата насупіліся, а дзяўчаты пра нешта зашапталіся. Косціку зноў стала няёмка і прыкра, але ён прыхаваў у сабе тое...»

Стар. 242. *Косця чамусьці аж узрадаваўся...* – Пачынаючы з гэтага сказа, канцоўка апавядання ў другой рэдакцыі выглядала інакш (свой канчатковы выгляд яна атрымае ў трэцяй рэдакцыі):

«Косця чамусьці аж узрадаваўся, убачыўшы блізкіх людзей, і яны, здаецца, пазналі яго. Але нешта новае, наспярожанае мільганула на ўсмешыстым Зініным твары, і хлопец здаля бачыў, як тузанула яна за руку Федзьку і сыйшла з тратуара. Азірнуўшыся, Федзька торапка падаўся за ёй, і неўзабаве яны апынуліся на другім баку вуліцы.

Ад нечаканасці Косця спыніўся і прыкусіў губу. На кароткі нястрымны момант ён адчуў у горле тугі камяк крыўды, але неяк перасіліў сябе.

– Ага, так? – нягучна прамовіў Няўломак. – Не, гэта ўжо не выйдзе.

Ён бесцырымонна гукнуў Федзьку і збочыў з тратуара, каб дагнаць сябра. Вострае пачуццё крыўды хутка міналася, усё болей расла злосная ўпартасць дамагчыся свайго – перайначыць Федзьку, хоць бы для таго спатрэбілася нават пасварыцца з Зінай».

Калі хочацца жыць... (стар. 243)

Упершыню – газ. «Гродзенская праўда», 1959, 15 сак. Друкуецца паводле: зб. «Жураўліны крык». Мн.: Дзяржвыд БССР, 1960. Там жа пазначаны год напісання – 1959.

Машынапіс апавядання з нязначнай рэдактарскай праўкай заховаўецца ў фондзе газ. «Літаратура і мастацтва»: БДАМЛіМ. Ф. 12, воп. 1, адз. зах. 484, арк. 1–4.

Стар. 244. *Уласайцы* – салдаты савецкай арміі генерала Уласава, якія разам з камандзірам перайшлі на бок нацысцкіх войскаў.

«Цябе пакрыўдзілі?..» (стар. 247)

Упершыню пад назвай «Цябе пакрыўдзілі?..» – часоп. «Работніца і сялянка», 1959, № 6.

Друкуецца па гэтым жа выданні.

Датуецца годам апублікавання.

Першапачатковая назва – «Люся». У фондзе часоп. «Работніца і сялянка» захоўваюцца два машынапісы апа-вядання: аўтарызаваны з вялікай рэдактарскай праўкай пад назвай «Люся» (назва закрэслена, зверху напісана: «Цябе пакрыўдзілі?..»); захоўваецца: БДАМЛіМ. Ф. 49, воп. 1, адз. зах. 35, 84–98) і пазнейшая рэдакцыя пад назвай «Цябе пакрыўдзілі?..» (БДАМЛіМ. Ф. 49, воп. 1, адз. зах. 35, арк. 71–83). Пры іх параўнанні нельга не заўважыць, што падчас другой рэдакцыі твора В. Быкаў улічыў прак-тычна ўсе праўкі і скарачэнні, якія былі зроблены раней. Прывядзём найбольш значныя з іх:

Стар. 247. *Ёй было цяжка ў шаснаццаць год...* – У абед-звюх ранейшых рэдакцыях: у пятнаццаць год.

Стар. 247. *...болеі за два гады.* – У ранейшых рэдакцы-ях далей ішло: «...болеі за два гады, сталуючыся на яе харчах і як колечы апрачаючыся на сваю сторублёвую зарплату».

Стар. 248. *...там табе добра будзе...* – Пасля гэтага сказа ў першай рэдакцыі ішло: «Яна казалася тое, быццам вінілася за нешта благое, а ў Люсі стукала ў скронях і густая ліпкая чырвань абажура засцілала зрок. Яна хацела сказаць гаспа-дыні, што не варта клапаціцца пра яе, што яна пражыве як-небудзь, не трэба і гэтага прабачлівага тону, яна разу-мее ўсё – не маленькая. Але дзяўчына не сказала нічога і пайшла на кухню дамываць посуд».

Стар. 248. *...і не сцяліла сабе пасцелі.* – У другой рэдак-цыі: «і не сцяліла сабе на старэнькай увагнутай⁵⁶ канапцы».

⁵⁶ У першай рэдакцыі: «прагнутай».

Стар. 249. *...даносіўся які стук.* – У ранейшых рэдакцыях далей ішло: «Так у пакуце мінаў гэты ранак. Справіўшыся, яны ўсе не спяшаючы паснедалі на кухні. Гаспадыня чагосьці ўздыхала, абедзве яны маўчалі, слухаючы толькі гамонку дзяцей. Недзе, заляцеўшы праз адчыненае акно, гудзеў у пакоях чмель, і гэты яго сумны, як пахавальная музыка, гуд узмацняў невыразную шчымлівую распач дзяўчыны».

Стар. 249. *...парог пераступіла поўная, немаладая ўжо кабета...* – У першай рэдакцыі: «у калідор улезла тоўстая, дыхавічная кабета».

Стар. 249. *...калі ўбачыла Дзіну Васільеўну.* – У ранейшых рэдакцыях далей ішло: «і, дробна тупаючы востранькімі, як шыльца, абцасікамі, падалася ў пакой. Дзверы яна не зачыніла, і Люся, трымаючыся за ручку, замерла так, збянтэжана пазіраючы ўслед жанчыне.

Калі неўзабаве гаспадыня паклікала яе, дзяўчына, ледзьве перастаўляючы раптам змярцвелыя ногі, пераступіла парог пакоя. Нейкая недарэчная зацягасць не давала ёй узняць позірк, але яна бачыла, ці, можа, хутчэй адчувала, што госця сядзіць у мяккім крэсле, закінуўшы за падлакотнік крысо расшпіленага стракатага плашча і заклаўшы нагу на нагу⁵⁷. Па ўсёй кватэры моцна патыхала яе прытарнымі духамі, а на твары па-ранейшаму гуляла мядовая, занадта лагодная ўсмешка».

Стар. 250. *...збіраць свой нямудры набытак.* – У першых рэдакцыях далей ішло: «Збіраць, уласна кажучы, не было чаго. Што-колечы з бялізны, школьнае карычневае плацце з белым каўнерыкам, старэнькі лыжны касцюм – навагодні падарунак Дзіны Васільеўны. Яшчэ была кніга “Граф Монте Кристо”⁵⁸, якую яна з маленства берагла і перачытала ўжо колькі разоў».

Стар. 251. *Яна прыладзілася на заднім сядзенні і маўчала.* – У другой рэдакцыі: «Яна прыладзілася на заднім

⁵⁷ У першай рэдакцыі: «па-мужчынску шырока расставіўшы ногі».

⁵⁸ У першай рэдакцыі: «Каралева Марго».

сядзенні, паклаўшы на калені клумак і адчувала, быццам правальваецца ў хмельнае самотнае бяздонне».

Стар. 251. *...астудзіўшы прыветную ласкаваць у вачах...* – У першай рэдакцыі: «згубіўшы прыветную ласкавасць у пасцюдзянеўшых, але па-ранейшаму прыгожых вачах».

Стар. 251. *Тут у нас ванная...* – У першай рэдакцыі перад гэтым сказам ішоў наступны: «Ігарок спіць уранку і не любіць, калі што дзе грукае».

Стар. 252. *Гэта яна?* – У першай рэдакцыі: «О кэй, прывет, крошка. Гэта яна?»

Стар. 252. *Спаць будзеш тут, на раскладушцы.* – У першай рэдакцыі: «Спаць будзеш вось на гэтай канапе, – паказала яна на тую прыгожую плюшавую канапу ў гасцінай».

Стар. 253. *Для хатняй работы...* – У першай рэдакцыі перад гэтым сказам ішоў наступны: «Ён празмерна ўста-рэў і выйшаў з моды».

Стар. 253. *...кітайскі халацік. Хоць ён быў стары і сямтам дзіравы, але ад яго нельга было адвесці вачэй.* – У першай рэдакцыі: «кітайскі халацік, які аж свяціўся нейкім унутраным святлом, блішчаў, пераліваўся, ды так ярка, што здавалася, аж кідаў навокал палымяныя блікі. Ён быў цудоўны і, відаць, дарагі гэты халацік...»

Стар. 253. *...калі станеш старацца...* – У першай рэдакцыі далей ішло: «Гэта Дзіна Васільеўна, вядома, скнара, яна, канешне, не дужа раздарвалася».

Стар. 254. *Гэта погляды тваёй Дзіны...* – У першай рэдакцыі перад гэтым сказам ішло: «Ты наўная, як вясковая цётка, – пагардліва чмыхнула Маргарыта Яўгеньеўна, спыніўшыся ў дзвярах».

Стар. 254. *...з яе абавязкамі...* – У першай рэдакцыі: «з яе абавязкамі, у тым ліку і вымаць раніцай газеты з паштовай скрынкі на дзвярах».

Стар. 254. *...так зняважліва адзывалася аб ёй за вочы.* – У першай рэдакцыі далей ішло: «Люся асуджала яе, але ў той жа час не магла не змякчэць да гаспадыні за яе падарункі, якія адразу так запаланілі душу дзяўчыны. Праўда, яе ўсё непакоіў той даўгавязы Ігар з сваім недарэчным «о

кэем» і самаўпэўненым выглядам у цялячых вачах, але яна старался як-небудзь не думаць аб ім.

Адной ёй стала вельмі вольна і раскошна ў гэтай прасторнай кватэры».

Стар. 255. *...прыгожых рэчаў.* – У першай рэдакцыі далей ішло: «нават паменшыла варожая насцярожанасць да Ігара, гэтага самаўпэўненага недарэкі».

Стар. 256. *...у галлі вераб'і.* – У першай рэдакцыі далей ішло: «і адчувала сябе зусім-зусім адзінокай і нешчасливай».

Стар. 256. – *Ігаа-а-а-ар, – засцярожліва праенчыла маці.* – У першай рэдакцыі:

«– Ну што ж гэта ты... Не мог узяць дзе з іншага месца, не для цябе было пакладзена, – мякка зазлавала Маргарыта Яўгеньеўна.

Ігар, нічога не адказваючы, пусціў струмень дыму ў напрамку Люсі, якая ўсё стаяла перад акном і калупала падаконнік. Пасля ён, нібы заўважыўшы што, прагугнявіў:

– О кэй! А новай крошцы куды лепей ідзе гэтае плацце. Зусім не тое, што той даўгавязай Любцы.

– Ігаа-а-а-ар, – засцярожліва праенчыла маці.

Люся раптам зразумела ўсё – і тое агіднае здарэнне з грашымі і паганую вартасць гэтага падарунка. Душная хмельная хваля шыбанула ў яе адчуванні, узняла буру нянавісці ў яе строгай дзявочай душы – гэта было нешта звыш таго, што яна магла стрываць».

Стар. 256. *Яе душыла вялікая крыўда.* – У першай рэдакцыі: «Вусны яе ўвесь час шапталі «як гадка, як гадка», яна ўжо не магла прымірыцца з сабой за кароткую былую радасць. Дзяўчыну душыла вялікая крыўда».

Стар. 257. *...выбегла ў калідор...* – У першай рэдакцыі далей ішло: «У апошні момант, нібы скрозь запацелую шыбу, заўважыла яна, як пераламіліся вузкія бровы на дагледжаным твары Маргарыты Яўгеньеўны, пачула недарэчнае Ігарава “О кэй”. Потым ужо ў апошніх дзвярах з гэтай нянавіснай кватэры да яе данёсся злосны лямант гаспадыні, якая бегла па калідору і патрабавала плацце. “Падавіцеся вы вашым плаццем і ўсім, усім гэтым”, –

шаптала Люся і цераз двор і пад'езд выбегла на сонечную блішчастую вуліцу. Яна не дужа ўдумвалася, што нарабіла, не ведала, куды ёй падацца далей, яна толькі адчувала кожнай частачкай сваёй душы, што там яна жыць не магла. А куды ісці?.. Што ж, свет не без добрых людзей, знойдзеца месца і для Люсі».

Паядынак (стар. 258)

Упершыню – газ. «Гродзенская праўда», 1959, 6 верас. Друкуецца паводле: зб. «Жураўліны крык». Мн.: Дзяржвыд БССР, 1960. Там жа пазначаны год напісання – 1959.

В. Быкаў у 1979 г. пісаў у лісце да І. Дзядкова: «Что же касается “Поединка”, то я сам уже не помню, что я имел в виду в этом довольно слабом рассказе. М. б. лучше вообще не упоминать о нем»⁵⁹.

Пры падрыхтоўцы кніжнага выдання твора, верагодна, самім аўтарам у тэкст былі ўнесены невялікія дапаўненні (ці ўзноўлены скарачэнні, якія маглі быць зроблены пад час першай публікацыі ў «Гродзенскай праўдзе», – высветліць гэта пакуль немагчыма, паколькі рукапіс ці машынапіс апавядання не захаваліся) і нязначныя праўкі, сярод якіх вылучаюцца наступныя:

Стар. 261. *...і думай, што трэба будзе намерці па-людску.* – У ранейшай рэдакцыі: «і адчуваў, што трэба змагацца».

Стар. 261. *...не жадаючы ўступіць гэтаму немцу.* – У ранейшай рэдакцыі: «не хочучы ўступіць у гэтай бяззбройнай барацьбе».

Стар. 262. *Услед за першымі выскачылі...* – У ранейшай рэдакцыі перад гэтым сказам ішоў наступны: «Жудаснае пачыналася».

Стар. 263. *...у яго кароткім жыцці.* – У ранейшай рэдакцыі: «у яго кароткім няўдалым жыцці».

⁵⁹ З ліста ад 12 мая 1979 г. Копія. Архіў В. Быкава.

На ўсходзе сонца (стар. 266)

Упершыню – газ. «Чырвоная змена», 1959, 13 снеж.

Друкуецца паводле: Зб. тв.: У 6 т. Мн.: Мастацкая літаратура, 1994. Т. 6. Там жа пазначаны год напісання – 1959.

Пры падрыхтоўцы кніжнага выдання твора (у кнізе «Жураўліны крык» (1960); менавіта ў гэтай рэдакцыі апавяданне было апублікавана і ў 6-томным Зборы твораў) аўтарам былі ўнесены невялікія дапаўненні (ці ўзноўлены скарачэнні, якія маглі быць зроблены падчас першай публікацыі ў газ. «Чырвоная змена», – высветліць гэта не ўяўляецца магчымым, паколькі рукапіс ці машынапіс апавядання не захаваўся) і невялікія праўкі, сярод якіх вылучаюцца наступныя:

Стар. 267. *На ўра атакаваць, і канец.* – У ранейшай рэдакцыі: «На ўра атакаваць і кропка».

Стар. 267. *...тонкі, як дубец...* – У ранейшай рэдакцыі: «тонкі, як хвошч».

Стар. 267. *...усім было чамусьці няёмка.* – У ранейшай рэдакцыі: «нясцерпна няёмка».

Стар. 267. *А то ўсё бедаваў, чым будзеш займацца.* – У ранейшай рэдакцыі: «...чым на гражданцы заняцца».

Стар. 269. *...незвычайнае і дзівоснае сонца.* – У ранейшай рэдакцыі: «незвычайнае і дзівоснае ў гэтую раніцу сонца».

Стар. 270. *...коратка кіўнуў Чарняку. Той прывычна падпарадкаваўся, але, ступіўшы крокаў два, чагосьці спыніўся, паглядзеў на сяржанта, і ў гэтым яго позірку востра адбілася нейкая незвычайная жаласлівая знямога.* – У ранейшай рэдакцыі: «...коратка кіўнуў Чарняку – давай, маўляў, ідзі першы».

Стар. 270. *...што ў яго дома старая маці...* – У ранейшай рэдакцыі: «дзевяностагадовая маці».

Стар. 271. *...што на пяць хвілін не дажыў да чаканага дня.* – У ранейшай рэдакцыі: «...хто на пяць хвілін не дажыў за чатыры гады чаканага дня».

У ліхую часіну (стар. 272)

Упершыню – зб. «Жураўліны крык». Мн.: Дзяржвыд БССР, 1960.

Друкуецца па тым жа выданні. Там жа пазначаны год напісання – 1959.

Эстафета (стар. 283)

Упершыню – на рускай мове ў перакладзе аўтара пад назвай «Эстафета Победы» ў газ. «Во славу Родины», 1959, 11 окт. Упершыню на беларускай мове пад назвай «Эстафета» – зб. «Жураўліны крык». Мн.: Дзяржвыд БССР, 1960. Там жа пазначаны год напісання – 1959.

Друкуецца паводле: Зб. тв.: У 6 т. Мн.: Мастацкая літаратура, 1994. Т. 6.

Аўтарызаваны машынапіс пад назвай «Эстафета вайны» (6 старонак) захоўваецца ў Архіве В. Быкава. Ён сведчыць аб тым, што ў тэксце былі зроблены невялікія стылёвыя ўдакладненні, сярод якіх вылучаецца толькі наступная змена: апошні сказ «Эстафету вайны панеслі другія...» быў зменены на «Да перамогі пайшлі другія...»

Сляды на зямлі (стар. 289)

Упершыню пад назвай «След на зямлі» – часоп. «Полымя», 1960, № 3. У першым кніжным выданні – у зб. «Жураўліны крык». Мн.: Дзяржвыд БССР, 1960 – пад назвай «Сляды на зямлі». Друкуецца па гэтым выданні. Там жа пазначаны год напісання – 1959.

Падчас падрыхтоўкі кніжнага выдання аўтарам былі зроблены невялікія стылёвыя праўкі, у тым ліку ў апошнім абзацы слова «след» было напісана ў множным ліку, што ў выніку прывяло да карэкціроўкі назвы.

Сабакі (стар. 298)

Упершыню пад назвай «Суседзі» – газ. «Гродзенская праўда», 1963, 3 лют.(?)⁶⁰.

Друкуецца паводле машынапісу (8 стар.), які захоўваецца ў Архіве В. Быкава.

Пра гэтае апавяданне В. Быкаў пісаў у лісце да Е. Лось: «...“Сабакі” мае – так сабе твор, ад няма чаго рабіць. Пісаўся для “Вожыка”, але там нешта не спадабаўся, таксама, відаць, з-за прэтэнцыёзнай назвы»⁶¹. Зыходзячы з гэтага ліста, можна меркаваць, што год напісання твора, магчыма, – 1960.

Хлебны акраец (стар. 305)

Упершыню пад назвай «Акраец хлеба» – газ. «Літаратура і мастацтва», 1960, 16 снеж. У першым кніжным выданні – зб. «Адна ноч». Мн.: Беларусь, 1965 – пад назвай «Хлебны акраец».

Друкуецца па другім выданні. Там жа пазначаны год напісання – 1960.

Пры састаўленні плана-праспекта Збора твораў у 4-х тт. (Мн.: Мастацкая літаратура, 1980–1982) пісьменнік назаве гэтае апавяданне «Акрайчык хлеба»⁶², аднак у канчатковы варыянт 4-га тома яно ўключана не будзе.

⁶⁰ Публікацыя апавядання ў «Гродзенскай праўдзе» ў Архіве В. Быкава не знойдзена – вядома толькі публікацыя аўтарскага пераклада гэтага твора: Быков В. Соседи // Гродненская правда, 1963, 3 февр. Зыходзячы з гэтай даты і ўлічваючы тое, што «Гродненская правда» выходзіла на дзвюх мовах, можна меркаваць, што на беларускай мове апавяданне магло быць надрукавана таксама 3 лют. 1963 г. – удакладніць гэта не ўяўляецца магчымым, паколькі падшыўка «Гродзенскай праўды» за дадзены перыяд адсутнічае і ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, і ў Нацыянальнай кніжнай палаце Беларусі.

⁶¹ 3 ліста ад 10 верас. 1960 г. БДАМЛіМ. Ф. 141, воп. 3, адз. зах. 120, арк. 7.

⁶² Архіў В. Быкава.

Машынапіс апавядання з аўтарскай і нязначнай рэдактарскай праўкай і пад назвай «Трэба разумець» (якая закрэслена, мяркуючы па ўсім, самім аўтарам, зверху напісана: «Акраец хлеба») захоўваецца ў фондзе газ. «Літаратура і мастацтва»: БДАМЛіМ. Ф. 12, воп. 1, адз. зах. 570, арк. 1–10. Напрыканцы машынапісу стаіць подпіс: «В. Быкаў»; ніжэй рукой пісьменніка: «25.8.60 г.».

Чацвёртая няўдача (стар. 314)

Упершыню – часоп. «Маладосць», 1961, № 2.

Друкуецца паводле: зб. «Адна ноч». Мн.: Беларусь, 1965. Там жа пазначаны год напісання – 1961.

Машынапіс апавядання з даволі значнай аўтарскай і рэдактарскай праўкай захоўваецца ў фондзе часоп. «Маладосць»: БДАМЛіМ. Ф. 37, воп. 1, адз. зах. 167, 1–23. Аднак тая праўка падчас падрыхтоўкі першага кніжнага выдання ўлічана не была – апавяданне было апублікавана практычна ў ранейшай рэдакцыі, за выключэннем толькі заканчэння, якое выглядала наступным чынам:

Стар. 335. *...не сказаў чалавеку нічога.* – Пасля гэтага сказа ішло:

«Толькі не ў стане адолець уладарных турботаў службы Турок запытаўся:

– Не ведаеш, Гаркавенка пытаў пра мяне?

Вартавы пазяхнуў, паглядзеў па-над елкамі ў неба, якое ўжо хутка шарэла ў гэты запознены восеньскі ранак, і сказаў няпэўна:

– А хто яго ведае. Можа, і пытаўся, а, можа, і не. Спіць. І мне змена хутка.

Турок, аднак, не даслухаў гэтага адказу. Вочы яго адразу заплюшчыліся, голаў павісла, увесь ён абмяк, нахіліўся і ўперся ілбом у калені. І ўсе яго сённяшнія начныя турботы – крыклівы Гаркавенка, капітан, якога ён болей не ўбачыў, і той выкрутлівы немец – раптам зніклі, быццам і не было іх зусім. Турок заснуў глыбокім запрацаваным сном пазнаўшага сабе цану чалавека».

Стар. 314. «Гот міт унс». – Бог з намі (ням.).

Стар. 324. *Брынг маль, Отта, обер філь, дас золь фюр унс бейдэ генюген.* – Прынясі яшчэ, Ота, крыху, гэтага мусіць хапіць для нас абодвух (ням.).

Стар. 324. *На шон, вірдгемахт.* – Калі ласка, зроблена (ням.).

Адна ноч (стар. 336)

Упершыню – часоп. «Маладосць», 1963, № 1.

Друкуецца паводле: Зб. тв.: У 6 т. Мн.: Мастацкая літаратура, 1994. Т. 6.

Адна з першапачатковых назваў – «Забітыя» (машынапіс (36 старонак) захоўваецца ў Архіве В. Быкава; там жа пазначаны год напісання – 1961). Другая назва – «Праклён» – была заменена самім В. Быкавым на «Адну ноч»; машынапіс апавядання з аўтарскімі і рэдактарскімі праўкамі захоўваецца ў фондзе часоп. «Маладосць»: БДАМЛіМ. Ф. 37, воп. 1, адз. зах. 257, арк. 1–38.

Падчас гутаркі з крытыкам В. Аскоцкім аўтар распавядаў пра тое, якім менавіта чынам узнікла ідэя апавядання: «Одна такая історыя случилась в полку, в котором я воевал. Произошло это в Венгрии. В погребке оказались немецкий обер-лейтенант и наш солдат. Оба ранены. И оба настороженно следят друг за другом, но не стреляют, потому что не знают, кто наверху. А наверху были немцы. Они и обнаружили в погребке обоих после боя. Немец перевязал нашего и спросил, куда он хочет: в плен или к своим... Конечно, к своим! Его положили на плащ-палатку и перетасили ближе к нашим окопам, а дальше он сам дополз. Попал в госпиталь. И там по секрету рассказал кому-то, что и как с ним приключилось. После этого в полку его уже не видели. Сгинул. Ниточка к рассказу, пожалуй, отсюда»⁶³.

⁶³ Шестьдесят лет спустя... / Беседа В. Оскоцкого с В. Быковым // Посев, 2002, № 8, с. 18.

⁶⁴ Быкаў В. Доўгая дарога дадому. С. 126–127.

Мяркуючы па ўсім, спачатку В. Быкаў прапаноўваў апавяданне ў часопіс «Полымя» — ён прыгадваў: «...грамадства, а найперш нашая рэдактура не былі гатовыя прыняць падобныя тэмы, ад якіх патыхала непрымальным для іх пацыфізмам. Тагачасны рэдактар “Полымя” Максім Танк адмовіў аўтару ў публікацыі таго апавядання з прычыны “невывразнасці”, як ён напісаў, ідэі. Думаецца, ідэя была выразная, як надта выразнымі былі і партыйныя ўстаноўкі ў адносінах да яе.

Во ўжо гэтыя партыйна-кадэбёўскія адносіны!»⁶⁴.

Змена назвы з «Праклёну» на «Адно ноч» у нейкім сэнсе была матывавана, паколькі падчас рэдагавання была скарачана канцоўка пазнейшага варыянта твора, якая, зрэшты, і тлумачыла назву «Праклён»: «— Што ж гэта? Чаму так?.. Завашта? Каты! Душагубы!.. Сволачы!.. Будзьце вы навек прокляты...» — гэтых слоў Івана Валокі ў канчатковым варыянце не застанецца.

Наогул, падчас падрыхтоўкі апавядання да публікацыі ў «Малодосці» В. Быкавым былі вымушана зроблены значныя змены і скарачэнні, якія, дарэчы, у пазнейшых выданнях аўтар не ўлічваў — прытрымліваўся ранейшых рэдакцый твора, і таму ў гэтых каментарых яны не разглядаюцца (за выключэннем аднаго прыклада), паколькі мелі, так бы мовіць, часовы характар. Звернемся толькі да тых прыкметных змен, якія былі зроблены падчас падрыхтоўкі апошняга прыжыццёвага выдання:

Стар. 339. Толькі *Валока не выпускаў яго, ямчэй прыналёг плячом, ухапіў пяцярнёй горла і ціскануў*. — У першай рэдакцыі: «Але Іван не выпускаў яго і душыў. І тады вораг, яшчэ трапятнуўшыся некалькі разоў, неяк злаўчыўся і ўхапіў зубамі яго руку.

Іван не чакаў такога знянацкага болю, які імгненна пранізаў яго да пляча. Пальцы яго не ўтрымалі, немец ураз крутнуўся, вырваўся і адскочыў у цемру.

Змораны да непрытомнасці, Валока ўхапіў ротам паветра і, разлютаваны барацьбой, памкнуўся ў цемру за ворагам».

Стар. 341. *...не давялося і душыць...* – У абедзвюх ранейшых рэдакцыях: «не давялося душыць гэтую гадасць».

Стар. 342. *Што ж рабіць, – як вылезці...* – У ранейшых рэдакцыях: «Паволі ў Івана нарастаў устрывожаны клопат – як вылезці...»

Стар. 344. *Аднак нейкае чалавечае велікадушыша штурхнула дапамагчы, бо была ў тым патрэба.* – У першай рэдакцыі: «...але ўжо такую меў чалавек натуру, што пры патрэбе пасабляў бліжняму».

Стар. 348. – *Навэрх, – грубавата перадражніў Валока.* – У абедзвюх ранейшых рэдакцыях: «– Дзівак! – бы з малога падзівіўся Валока».

Стар. 353. *Во як: не гут! Чаму ж ты гэта не скажаш свайму фюрэру?* – У ранейшых рэдакцыях: «Во як: не гут! А дзе ж вы раней былі? У сорок першым? Чаму ж не турнулі пад зад вашага фюрара. Вот і быў бы гут»⁶⁵.

Стар. 354. *...ажно ўпіўся ў гэта вачмі.* – У ранейшых рэдакцыях далей ішло: «вядома, тое жытла не раўна было яго хаце з пазелянелаю ад моху страхою, як-колечы абшалёванай не столькі для прыгоства і ладу, колькі для таго, каб захінуць ад непагоды дзіркі. А была яна ў іх вёсцы не самая горшая, Іван жа мог і падрамантаваць і дагледзець, не тое што ў якіх там удоў ці нягеглых нядбайных гаспадароў».

Стар. 354. *...аб сваіх там, дома...* – У ранейшых рэдакцыях далей ішло: «– чатырох блазотках-дзяўчынках, якія цяпер там і аралі і сеялі. Такая малеча з адною маткаю, без яго».

Стар. 354. *Унутры ў ім усё запратэставала супраць гэтага абразлівага варожага спачування.* – У першых рэдакцыях: «Невядома чаму, але гэта абражала. Яго сапраўднашная беднасць, галодныя гады ў калгасе цяпер невыказнаю прыніжанасцю бянтэжылі Івана, і ўнутры ўсё ў ім запратэставала супраць гэтае беднасці і спачування ворага».

⁶⁵ У першай рэдакцыі: «Вот і не было б вайны, і быў бы гут».

Стар. 355. ...нагледзеўся рознага. Але ўсё роўна Валока не хацеў здацца. — У ранейшых рэдакцыях: «нагледзеўся на калгаснае жыццё. Але ўсё роўна Валока не хацеў здацца і ўхапіўся за хлусню, як за паратунак».

Стар. 355. ...была ўвасабленнем параўнаўча высокага дастатку. Ва ўсякім разе за гэтыя грошы можна было купіць добрую карову. А гэта было ўжо нямала. — У ранейшых рэдакцыях: «была ўвасабленнем найбольшага з магчымага. Гэтым коштам сяляне яго вёскі мералі самы высокі набытак, марылі пра яго ўсё жыццё, але мелі, толькі прадаўшы самае дарагое з свайго майна — карову».

Што датычыцца значных правак, якія былі зроблены падчас падрыхтоўкі твора да друку ў «Маладосці», прывядзём адзін толькі прыклад. Так, аўтар быў вымушаны скараціць значную частку дыялога Івана Валокі з Фрыцам Хагеманам пра калгасы⁶⁶ — да слоў: «Матацыкл? Матацыкл што?»⁶⁷. Закрэсліўшы больш за старонку тэкста, В. Быкаў злева зверху коратка дапісаў:

«— Плёха рус кольхоз. Бедно. Радзіо нет. Крафтрад... Как его.. мотоцікл нет. Конь! Но, пошэль, сівка!.. Бедно, — пакруціў галавой немец.

Валока паёрзаў на цэгле.

— Што там матацыкл! Глупства гэта адно. У мяне во машына была, што шые — ціх-ціх-ціх... Зінгер звалася. Во!

— Зінгер?

— Ну.

Немец, зразумеўшы штось, іранічна ўсміхнуўся».

Стар. 360. Неяк ён убачыў сябе ў Брэслау... — У першых рэдакцыях: «Неяк ён убачыў сябе ў Вроцлаве...»

Канцоўка апавядання адрознівалася ўжо ў першых дзвюх рэдакцыях. Так, у самай першай твор заканчваўся наступным чынам:

⁶⁶ У дадзеным выданні пасля фразы «Плёха рус кальхас... Бедна» (стар. 355.)

⁶⁷ Стар. 355.

«Чаргі ён невядома чаму не пачуў, у нейкую долю секунды згледзеў толькі, як апруцянела хіснуўся Фрыц Хагеман, і ў той жа час вышэй ад Валокі, ударыўшыся ў прасценак, аглушальна ірванула граната. Люты нясцерпны боль пранізаў яго цела, свет знік і з ягоных грудзей вырваўся ўжо непадуладны яму енк-стогн...

Валока не бачыў, як у скверыку замітусіліся немцы, які кінуліся яны да руін, на ўскрайку якіх навек выцягся іх салдат Фрыц Хагеман. Абыякавы ўжо да ўсяго ляжаў Іван на цагляным заваллі ў пятнаццаці кроках ад чорнае дзіркі ў склеп, дзе пачалося і гэтак няўдала скончылася іх недарэчнае франтавое братэрства».

У другой рэдакцыі:

«Узрушаны і змардаваны, ён нечага ніяк не мог сцяміць ці, можа, не мог чагосьці ўспомніць – разгарачаным спакутаным нутром ён толькі адчуваў, што сталася вялікая, яшчэ не ўсвядомленая да канца несправядлівасць, перад магутнаю сілай якой і ён, і Фрыц Хагеман, і мноства іншых людзей былі не болей чым мошкі. І яму было вельмі пакутна ад таго і хацелася завьць ад усеабдымнага болю, ад свае ашалеласці, ад гора, якое ашчаперыла і душыла, камячыла яго душу. Але плачу не было, бо не было слёз, толькі з глыбіні грудзей ірваўся трудны распачны, поўны нясцерпнага болю крык.

– Што ж гэта? Чаму так?.. Завошта? Каты! Душагубы!.. Сволачы!.. Будзьце вы навек пракляты...».

* * *

Стар. 348. *Арбайт*. – Працаваць (ням.).

Стар. 352. *Вайна нікс гут!* – Вайна гэта надобра! (бел.-ням.).

Стар. 353. *Фюрэр шайзэ!* – Правадыр дзярмо! (ням.).

Стар. 353. *Фюрэр эйнфахерменш нікс нада*. – Такого правадыра не трэба (ням.).

Стар. 353. *Фрыц Хагеман нікс нада вайна. Хагеман нада фрыедэн, нада кіндэр айфцыген, арбайт нада, хаўз нада!* – Фрыцу Хагеману не трэба вайны. Хагеману трэба

свабоды, трэба дзяцей гадаваць, працаваць трэба, дахаты трэба! (бел.-ням.).

Стар. 354. *Драй кіндэр!* – Трое дзяцей (ням.).

Стар. 354. *Гаўптман гестапа Крафт шрайбен, – фрау, кіндэр ком, ком унд канцлагер.* – Гаўптман гестапа Крафт піша, – жонка, дзеці – ідзіце, ідзіце да канцлагера (ням.).

Стар. 355. *Рад.* – Кола (ням.).

Стар. 359. *Трынкен, Иван! Трынкен!* – Пі, Иван! Пі! (ням.).

Стар. 363. *О, Иван, лебенд? Гут, гут.* – О, Иван, жывы? Добра, добра (ням.).

Стар. 363. *Дзверы туды іх махен...* – Дзверы туды я раблю (бел.-ням.).

Між тым асабліваю ўвагу трэба звярнуць і на аўтарызаваны пераклад на рускую мову М. Гарбачова. У Архіве пісьменніка захоўваецца экзэмпляр зборніка «Третья ракета» (М.: Молодая гвардия, 1963), у якім менавіта ў апавяданні «Проклятье» самім аўтарам унесены значныя праўкі, прычым не толькі стылістычныя, але і такія, якія пэўным чынам уплываюць на сэнс твора. Сярод апошніх вылучаюцца наступныя:

Назва «Проклятье» закрэслена – зверху рукой В. Быкава напісана: «Одна ночь».

У апаведзе пра хату Івана Валокі, пачынаючы з «...с позеленевшей от мха крышей. А была она в их деревне не самая худшая. Иван мог бы и подремонтировать и утеплить, вот не успел только – грянула война», усё закрэслена (як і ў ранейшых рэдакцыях на беларускай мове).

Былі ўнесены змены і ў наступны фрагмент (якога няма ні ў адной беларускай рэдакцыі апавядання):

«– Плёхо рус колхоз... Бедно...»

Іван почувствоваў, што не так проста убедить этого немца, прошедшего половину России и повидавшего всякое.

– Есть и плёхо, – Иван даже слегка передразнил немца⁶⁸. – Это, наверное, там, где твой фатэр разорял в восемнадцатом. Там, конечно... Одного леса не напасешься.

⁶⁸ В. Быкавым папраўлена: «Иван сказал:».

– Найн. Май фатэр никс война.

– Ну не твой фатэр, так другие, – не давал ему оправдаться Иван. – Тогда Вильгельм приказывал, теперь – Гитлер, а вы и рады чужое в карман сунуть⁶⁹. У вас хорошо, но мы не хотим вашего, у нас плёхо, а вы лезете к нам. *Колотили, колотили вас, – тут Иван сделал выразительный жест рукой, – а вы все свое... – И после паузы добавил: – А потом плёхо, хаузы наши не нравятся. Не успеваешь накрывать хаузы... – Теперь Иван говорил уже без запинки. – Мы вам покажем, кто бедный. Видал, как бедные гонят богатых: уже в Германии. Зер гут?*⁷⁰

– Я, я, – пробормотал немец и потупил глаза.

По апатичному выражению лица Иван догадался, что этим его не очень проймешь – то он не понимает, то, поняв, не подает виду. И Ивану вдруг представилось, что он один на этом замкнутом «пяточке» в подземелье в такой вот странной обстановке ведет спор со всей Германией.

– Рус Иван не бедный человек – запомни это, Фриц. Колхоз у нас хороший, дружный, все арбайт и фюрер у нас, – он вспомнил своего председателя артели, – зер гут. Он тоже теперь бьет вашего фюрера.

Посмеявшись, Волока снова перешел к разговору о до-
статке⁷¹.

Аднак у 4-томным Зборы твораў (Мн.: Молодая гвардия, 1986) гэты фрагмент выглядае наступным чынам:

«– Есть и плохие, – признал он. – Это там, где вы побывали да поразграбили.

Немец загасил в глазах недоверие и почесал затылок».

Значныя змены ўнесены і ў аповед пра другі сон Валокі – усё закрэсленае тут выдзелена курсівам (у беларускіх рэдакцыях гэты фрагмент быў захаваны, хоць у другім

⁶⁹ Папраўлена: «за чужим броситься».

⁷⁰ Тое, што тут і далей выдзелена курсівам, В. Быкавым было закрэслена.

⁷¹ Побач з двума апошнімі абзацамі В. Быкавым напісана: «что вряд ли он что понял, но ему захотелось высказаться, чтобы реабилитировать себя в глазах немца».

машынапісе (пад першапачатковай назвай «Праклён») ён таксама закрэслены, аднак пакінуты ў 6-томным Зборы твораў):

«Ну что, немецкий шпион?» – такими словами встретил он Волоку, схватил его за плечи, сорвал погоны, потом начал наставлять пистолет в кружки медалей на его груди. «Немца укрывал? Врага табаком угощал? Почему не убил?»

Иван хотел пояснить, что и как произошло с ним в этом подвале, но лишился дара речи и почувствовал, что вот-вот наступит смерть⁷². И Воронов действительно выстрелил, но боли Иван не ощутил и тогда догадался: медали. Медали спасли его от пули. Но вот у Воронова вместо пистолета оказалась тяжелая противотанковая граната – это уже была явная гибель.

«Изменник! Прокурил Родину? Высшую меру тебе!» – звучали страшные слова, и Иван оглянулся в поисках выхода».

Трэба адзначыць, што ў 4-томным Зборы твораў аповед пра абодва сны Валокі адсутнічае.

Змены адбыліся і з фіналам твора. У кнізе «Третья ракета» ён выглядае наступным чынам:

«Как же это? Что это?» – роились в голове Волоки смятенные мысли, и ему захотелось ругаться и реветь от боли и горя, которые терзали его тело и душу. Но плача не было, не было слез, и от этого становилось еще хуже.

Преисполненный горя и душевной сумятицы, он медленно брел по середине исковерканного войной переулка и, сжимая в отчаянии большие дрожащие кулаки, твердил:

– Гады! Душегубы! Сволочи! Будьте вы навек прокляты, варвары!!!»

Аднак пасля правак аўтара канцоўка атрымала іншы выгляд:

«[...] ...и ему хотелось ругаться от боли и тупой несправедливости того, что случилось. Переполненный душевной

⁷² Паверх гэтага сказа В. Быкавым напісана: «язык плохо слушался его».

сумятицы он брел серединой разбитого бомбами переулка и твердил в отчаянии:

– От же гады! От гады!..»⁷³

Менавіта ў такой рэдакцыі (з нязначнымі стылістычнымі праўкамі) канцоўка была апублікавана ў 4-томным Зборы твораў.

Дарога дадому (стар. 369)

Упершыню ў перакладзе на рускую мову (пер. І. Панцеляймонава) пад назвай «По дороге домой» – часоп. «Неман», 1966, № 9.

Друкуецца паводле: Зб. тв.: У 6 т. Мн.: Мастацкая літаратура, 1994. Т. 6. Там жа пазначаны год напісання – 1965.

Машынапіс апавядання з аўтарскай праўкай (11 старонак) захоўваецца ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры: КП 10735/823 (на першай старонцы зверху алоўкам рукой В. Быкава: «У дадатак да ранейшага. ВБ»), а таксама копія машынапісу захоўваецца ў Архіве пісьменніка. Пры параўнанні гэтых машынапісаў з публікацыяй у Зборы твораў можна прыйсці да высновы, што ніякіх зменаў у апавяданні зроблена не было.

Салдацкі лёс: Дыялог з нагоды (стар. 379)

Упершыню – газ. «Літаратура і мастацтва», 1966, 21 чэрв.

Друкуецца паводле: Зб. тв.: У 6 т. Мн.: Мастацкая літаратура, 1994. Т. 6. Там жа пазначаны год напісання – 1966.

Машынапіс (8 старонак) захоўваецца ў Архіве В. Быкава. Пры параўнанні яго з публікацыяй у Зборы твораў

⁷³ Ніжэй В. Быкавым было напісана, але пасля закрэслена: «Гады вы, гады!.. Гады и сволочи».

можна прыйсці да высновы, што зменаў у апавяданні зроблена не было.

Ранак-світанак (стар. 386)

Упершыню – часоп. «Маладосць», 1966, № 9. У перакладзе на рускую мову (пер. аўтара) пад назвай «Утро вечера мудреннее» – часоп. «Дружба народов», 1966, № 11.

Друкуецца паводле: Зб. тв.: У 6 т. Мн.: Мастацкая літаратура, 1994. Т. 6. Год напісання – 1966.

Як сведчыў сам пісьменнік, апавяданне гэтае ў нечым аўтабіяграфічнае: у кастрычніку 1943 г., пасля заканчэння Саратаўскага артвучылішча і прысваення звання малодшага лейтэнанта, В. Быкаў трапіў на фронт, у стралковы полк, і ў якасці камандзіра стралковага ўзвода прыняў першы бой, – «той выпадак адбіўся ў напісаным праз дваццаць гадоў апавяданні “Ранак-світанак”»⁷⁴.

Захавалася дзве рэдакцыі апавядання: першы варыянт – машынапіс з аўтарскай і рэдактарскай праўкай – знаходзіцца ў фондзе часоп. «Малалосць»: БДАМЛіМ. Ф. 37, воп. 1, адз. зах. 402, 1–25; на ім рукой В. Быкава пазначана (і закрэслена): «чэрвень 1966 г.». Пазнейшы, папраўлены варыянт – машынапіс, 24 старонкі – захоўваецца ў Архіве пісьменніка. Пры падрыхтоўцы апошняга прыжыццёвага выдання В. Быкавым былі ўлічаны амаль усе тыя праўкі, якія былі зроблены ім самім (нешматлікія праўкі, зробленыя рэдактурай «Маладосці», аўтар не ўлічыў).

Стар. 389. *Смелы я або трус...* – У першай рэдакцыі В. Быкавым папраўлена: «Смелы я ці баязлівец».

Стар. 390. *Ну што ж, мне ад таго чамусьці не было дужа боязна.* – У першай рэдакцыі гэты абзац быў адзначаны, трэба думаць, рэдактурай «Маладосці» і закрэслены. У часопіснай публікацыі ён адсутнічае⁷⁵.

⁷⁴ Быкаў В. Доўгая дарога дадому. С. 58.

⁷⁵ Быкаў В. Ранак-світанак // Маладосць, 1966, № 9, с. 71.

Стар. 399. *Я на ўсе вочы...* – У першай рэдакцыі В. Быкавым было папраўлена: «да болю ў вачах».

Стар. 407. *Кажуць, везці яго ў медсанбат ужо няма сэнсу.* – У першых дзвюх рэдакцыях пасля гэтага сказа ішло асобным абзацам: «Хай яно ўсё згарыць!»

Сваякі (стар. 408)

Упершыню пад назвай «Свае людзі» – часоп. «Малодосць», 1966, № 12. У кніжным выданні – Выбр. тв.: У 2 т. Мн.: Мастацкая літаратура, 1974. Т. 2 – пад назвай «Сваякі».

Друкуецца паводле: Зб. тв.: У 4 т. Мн.: Мастацкая літаратура, 1982. Т. 4. Там жа пазначаны год напісання – 1966.

Захавалася тры машынапісныя варыянты апавядання: першы пад назвай «Свае людзі» з невялікай аўтарскай і рэдактарскай праўкай знаходзіцца ў фондзе часоп. «Малодосць»: БДАМЛіМ. Ф. 37, воп. 1, адз. зах. 404, 1–9. Другі і трэці варыянты машынапісу памерам 9 і 10 старонак (пад назвамі «Свае людзі» і «Сваякі» адпаведна) захоўваюцца ў Архіве В. Быкава. Пры параўнанні іх з публікацыяй ў Зборы твораў можна прыйсці да высновы, што зменаў у апавяданні зроблена не было.

Круты бераг ракі (стар. 416)

Упершыню – газ. «Літаратура і мастацтва», 1972, 13 кастр. У перакладзе на рускую мову (пер. аўтара) пад назвай «На рэчном берагу» – газ. «Известия», 1972, 14 окт.

Друкуецца паводле: Зб. тв.: У 6 т. Мн.: Мастацкая літаратура, 1994. Т. 6. Там жа пазначаны год напісання – 1972.

У Архіве В. Быкава захоўваецца два машынапісы апавядання памерам 7 і 5 старонак кожны (першы – з аўтарскімі праўкамі, другі, ужо выпраўлены, без заканчэння), якія дазваляюць прасачыць тыя праўкі, якія былі зроб-

лены аўтарам падчас падрыхтоўкі апошняга прыжыццёвага выдання (публікацыя ў «ЛіМе» адпавядае ранейшай рэдакцыі):

Стар. 416. *...густа цямнейся хвойнікам.* – У ранейшай рэдакцыі далей ішло: «Трошкі вышэй па рацэ фыркалагрукатала іржавая аграмадзіна землечарпалкі, што ўвесь доўгі дзень цягала з рачнога дна мокрыя кучы жвіру. Але баржа яму, відаць, не замінала».

Стар. 417. *...не звярталі на яго ўвагі.* – У ранейшай рэдакцыі далей ішло: «Яны ўжо ведалі, што цяпер ён будзе да змроку паныла ўзірацца ў тое месца на беразе, дзе з маладога хвайнічку збягала да ракі сцяжынка і дзе годаліся на раскалыханых “казанкаю” хвалях дзве прымкнёныя да камяня лодкі. Там быў лясны перавоз, але людзей амаль ніколі не было відаць; лодкамі, апроч леснікоў, відаць, мала хто карыстаўся».

Стар. 419. *...не ўчуў няласкавых слоў Каламійца.* – У ранейшай рэдакцыі далей ішло: «Каламіец тым часам звычайнай рукой закінуў у ваду яшчэ дзве або тры донкі, уваткнуў у бераг кароткія, з малюсенькімі званкамі вудзільны».

Стар. 419. *...аж прыбязгае Цімка.* – У ранейшай рэдакцыі – Алесь.

Стар. 420. *...зышоў з таго берага.* – У ранейшай рэдакцыі далей ішло: «Стары ўвачавідкі абвяў, азмрачнеў яшчэ болей, увесь зацяўся ў сабе. Напэўна, унутры ў ім было нешта такое, што надоўга скавала яго нерухомасцю і немагой».

Стар. 420. *Стары маўчаў, як глухі.* – У ранейшай рэдакцыі: «Стары маўчаў, як аглух».

Сяргей Шапран

Рэдкалегія гэтага выдання ўдзячная захавальніцы Архіва Васіля Быкава Ірыне Міхайлаўне Быкавай ды Беларускаму дзяржаўнаму архіву-музею літаратуры і мастацтва і асабіста Ганне Вячаславаўне Запартыцы за спрыянне і дапамогу падчас падрыхтоўкі «Каментароў».

Змест

Апавяданні 1949–1972 гг.

В тот день	5
В первом бою	10
Смерць чалавека	17
Абознік	27
Страта	35
Тупое пяро	48
Даведка	53
Ход канём	58
Уначы	63
Арганізатар	77
Да родных месц	82
Радасць	90
Буйны выйгрыш	98
На возеры	104
Апендыцыт	112
Дапякло	118
Незагойная рана	122
Непагадзь	134
Ціхманая жонка	147
Страчанья мары	156
Дваццаты	171
Загад	188

На сцяжыне жыцця	197
Няўломак	227
Калі хочацца жыць... ..	242
«Цябе пакрыўдзілі?..»	246
Паядынак	257
На ўсходзе сонца	265
У ліхую часіну	271
Эстафета	282
Сляды на зямлі	288
Сабакі	297
Хлебны акраец	304
Чацвёртая няўдача	313
Адна ноч	335
Дарога дадому	368
Салдацкі лёс	378
Ранак-світанак	385
Сваякі	407
Круты бераг ракі	415
<i>Каментары</i>	421

Літаратурна-мастацкае выданне

ВАСІЛЬ БЫКАЎ

*Поўны збор твораў
у чатырнаццаці тамах*

Том 7

Апавяданні

Мастак

Валеры Калныньш

Фота

Уладзіміра Крука

Сканаванне тэкстаў і макетаванне

Герман Гайдніш

Карэктары

Вольга Рухлевіч, Алесь Акуліч

Подпісана в печать 21.01.2009.

Формат 84×108¹/₃₂. Бумага пісчая.

Усл. печ. л. 25,2. Тираж 3000 экз.

Заказ № 19.

«Время»

115326, Москва, ул. Пятницкая, 25

Телефон: (495) 231 1864

<http://www.vremya.ru>

e-mail: books@vremya.ru

Отпечатано в соответствии с качеством
предоставленного оригинал-макета
в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»
620041, ГСП-148, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13
<http://www.uralprint.ru> e-mail: book@uralprint.ru



Васіль

Быкаў

7 том

Поўны збор
твораў

Bacciarò

7

Bacciarò